



Diebrink macaneta

НОСТОЕБЕРКМН

Федор

Федор Достоевский

Дневник писателя

«Отчет о виденном, слышанном и прочитанном»

Литературная деятельность Достоевского была сопряжена с «тоской по текущему», другими словами, с глубоким интересом к современным событиям, характерным явлениям, выразительным деталям окружающей его действительности. Наблюдая за всеми оттенками развития «живой жизни», он с неослабным вниманием следил за отражением ее проявлений в русской и иностранной периодике. По признанию очевидцев, писатель ежедневно просматривал газеты и журналы «до последней литеры», стремясь уловить в богатом многообразии значительных и мелких фактов их внутреннее единство, социально-психологические основания, духовно-нравственную суть, философско-исторический смысл.

Такая потребность диктовалась не только своеобразием романистики Достоевского, в которой органично сплелись вечные темы и злободневные проблемы, мировые вопросы и узнаваемые детали быта, высокая художественность и острая публицистичность. Писатель всегда испытывал страстное желание говорить напрямую с читателем, непосредственно влиять на ход социального развития, вносить незамедлительный вклад в улучшение отношений между людьми. Еще в издаваемых им совместно с братом в 1860-х годах журналах «Время» и «Эпоха» печатались его отдельные художественно-публицистические очерки и фельетоны.

Однако Достоевский намеревался выпускать сначала едиличный журнал «Записная книга», а затем — «нечто вроде газеты». Эти замыслы частично осуществились в 1873 году, когда в редактируемом им в это время журнале князя В. П. Мещерского «Гражданин» стали печататься первые главы «Дневника писателя». Но заданные рамки еженедельника и зависимость от издателя в какой-то степени ограничивали как тематическую направленность статей Достоевского, так и их идейное содержание. И вполне естественно, что он стремился к большей свободе в освещении «бездны тем», волновавших его, к раскованной беседе с читателями прямо от своего лица, не прибегая к услугам редакционных и издательских посредников.

С 1876 по 1881 год (с двухлетним перерывом, занятым работой над «Братьями Карамазовыми») Достоевский выпускал «Дневник писателя» уже как самостоятельное издание, выходившее, как правило, раз в месяц отдельными номерами, объемом от полутора до двух листов (по шестнадцать страниц в листе) каждый. В предуведомляющем объявлении, появившемся в петербургских газетах, он разъяснял: «Это будет дневник в буквальном смысле слова, отчет о действительно выжитых в каждый месяц впечатлениях, отчет о виденном, слышанном и прочитанном».

И в самом деле, на его страницах автор заводит пристрастный разговор, перемежающийся с личными воспоминаниями, о разных вещах и внешне вроде бы совсем не соприкасающихся сферах — о внешней и внутренней политике, аграрных отношениях и земельной собственности, развитии промышленности и торговли, научных открытиях и военных действиях. Внимание писателя привлекают железнодорожные катастрофы,

судебные процессы, увлечение интеллигенции спиритизмом, распространение самоубийств среди молодежи. Его беспокоит распад семейных связей, разрыв между различными сословиями, торжество «золотого мешка», эпидемия пьянства, искажение русского языка и многие другие болезненные вопросы. Перед читателем открывается широчайшая историческая панорама пореформенной России: именитые сановники и неукорененные мещане, разорившиеся помещики и преуспевающие юристы, консерваторы и либералы, бывшие петрашевцы и народившиеся анархисты, смиренные крестьяне и самодовольные буржуа. Читатель знакомится и с необычными суждениями автора о личности и творчестве Пушкина, Некрасова, Толстого...

Однако «Дневник писателя» — не многокрасочная фотография и не калейдоскоп постоянно сменяющих друг друга пестрых фактов и непересекающихся тем. В нем есть свои закономерности, имеющие первостепенное значение. Взять, к примеру, «детскую тему», дающую к тому же наглядное представление о стиле и методах публицистической работы автора. Присутствуя на рождественской елке в клубе художников, Достоевский внимательно всматривается в лица и манеры, изучает психологию мальчиков и девочек разного возраста. Но его наиконкретнейшие наблюдения тотчас же вырастают до пронизательных размышлений об облегченной педагогике, «обжорливой младости», «праве на бесчестье». Одновременно он не может не сравнивать поведение так называемых благополучных подростков с судьбами их обездоленных сверстников, живущих среди пьянства и разврата, гибнущих от голода и лишений. Писатель посещает воспитательный дом, колонию малолетних преступников, просиживает целыми днями на

судебных заседаниях, где защищают интересы детей. Его страстные, психологически и нравственно обоснованные выступления в защиту их интересов не только помогают иной раз вынести более справедливый приговор, как в случае с молодой беременной женщиной, в состоянии аффекта столкнувшейся с четвертого этажа шестилетнюю падчерицу, но и подвигают к раздумьям о взаимоотношениях «отцов» и «детей», об ответственности общества за воспитание подрастающего поколения, от которого зависит будущее России.

Это характерное для каждой страницы «Дневника» столкновение личного и социального, конкретного и общего можно пронаблюдать — по тематическому контрасту — и в совсем иной области авторских рассуждений, рассуждений о внешней политике: о неприемлемости усиления милитаризма бисмарковской Германии, о коварстве правительственных действий Англии и Австрии и, в первую очередь, о необходимости деятельной помощи России угнетенным славянам. В 1875–1876 годах Герцеговина и Босния, а затем Болгария и Сербия восстали против турецкого ига. Государственные власти, испытывая давление европейской дипломатии, поначалу не решались выступить открыто на стороне восставших. В обществе же разрасталось добровольческое движение, в котором приняли участие представители всех сословий. Большую роль в этом движении играл славянский благотворительный комитет, организованный для помощи братским народам. Его членом был и Достоевский, неустанно призывавший со страниц «Дневника» к активной поддержке национально-освободительной борьбы славян и последовательно освещавший ее развитие. С точностью

военных сводок он сообщает о ходе боевых операций, со знанием дела обсуждает замыслы европейских правительств или насущные проблемы тактики и вооружения, с глубокой болью рассказывает о мучительных страданиях болгар, особенно женщин и детей, с сердечной гордостью повествует о героизме и благородстве добровольцев, о пожертвованиях русского народа в пользу угнетенных славян. Вместе с тем готовность к бескорыстной помощи, объединявшей людей поверх социальных барьеров и сословных границ и укреплявшей их души сознанием самопожертвования, наводила Достоевского на размышления о том, что Россия в будущем сможет сказать миру «великое слово», способное служить «заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету». Осмысляя конкретные факты участия России в освободительной войне на Балканах, писатель приходит ко все более обобщающим выводам: «Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями служения человечеству, то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и умрут».

И о чем бы ни заводил речь автор «Дневника» — будь то общество покровительства животным или литературные типы, замученный солдат или добрая няня, кукольное поведение дипломатов или игривые манеры адвокатов, кровавая реальность террористических действий или утопические мечтания о «золотом веке», — его мысль всегда обогащает текущие факты глубинными

ассоциациями и аналогиями, включает их в главные направления развития культуры и цивилизации, истории и идеологии, общественных противоречий и идейных разногласий. Причем при освещении столь разнородных тем на предельно конкретном и одновременно общечеловеческом уровне Достоевский органично соединял различные стили и жанры, строгую логику и художественные образы, «наивную обнаженность иной мысли» и конкретные диалогические построения, что позволяло передать всю сложность и неоднородность рассматриваемой проблематики. В самой же этой проблематике он стремился определить ее этическую сущность, а также «отыскать и указать, по возможности, нашу национальную и народную точку зрения». По мнению Достоевского, всякое явление современной действительности должно рассматриваться сквозь призму опыта прошлого, не переставшего оказывать свое воздействие на настоящее через те или иные традиции. И чем значительнее национальное, историческое и общечеловеческое понимание злободневных текущих задач, тем убедительнее их сегодняшнее решение.

Такая работа, кажущаяся непосильной в наше время и целой редакции, полностью захватывала Достоевского и требовала от него огромного напряжения физических и духовных сил. Ведь ему одному необходимо было собирать материал, тщательно готовить его, составлять, уточнять, успеть издать его в срок, уложившись в заданный объем. Чрезвычайная добросовестность заставляла Достоевского по несколько раз переписывать черновики, самого рассчитывать количество печатных строк и страниц. Боясь за судьбу рукописей, он сдавал их в типографию лично или передавал через жену, незаменимую помощницу, которая активно участвовала в

подготовке «Дневника писателя» и в его распространении. После каждого выпуска Достоевский, по свидетельству очевидца, «несколько дней отдыхал душою и телом... наслаждаясь успехом...».

А успех действительно был огромным. Интерес читающей публики к столь оригинальному изданию с каждым выпуском все возрастал. Тираж «Дневника», расхोdivшегося по подписке и в розничной продаже, постепенно увеличился до шести тысяч экземпляров. К голосу автора «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», авторитетного писателя, находившегося в расцвете своей духовной мощи и таланта, прислушивались представители разных слоев мыслящего русского общества. Его выступления, будившие в согражданах чувства совести, чести и справедливости, воспринимались как учительное и пророческое слово.

В адрес Достоевского стала поступать читательская почта. «К концу первого года издания „Дневника“, — вспоминает метранпаж М. А. Александров, — между Федором Михайловичем и его читателями возникло, а во втором году достигло больших размеров общение, беспрецедентное у нас на Руси: его засыпали письмами и визитами с изъявлениями благодарности за доставление прекрасной моральной пищи в виде „Дневника писателя“. Некоторые говорили, что они читают его „Дневник“ с благоговением, как Священное Писание; на него смотрели одни как на духовного наставника, другие как на оракула и просили его разрешить их сомнения насчет некоторых жгучих вопросов времени».

Многие корреспонденты видели в авторе не только талантливого писателя, но и мудрого человека с чутким и отзывчивым сердцем, способного дать единственно

правильный совет, уберечь от непоправимых поступков, обогреть душу. «Я скажу прямо, — писала ему революционерка-народница А. П. Корба, — что я жду от Вас помощи, не имея на то права, разве только право страждущего от боли; а у меня в течение долгих лет наболела душа, и если теперь я решаюсь беспокоить Вас стонами, то потому, что знаю, что лучшего врача не найду». Другая читательница, благодарная заступничеству писателя за незаслуженно обиженных детей, признавалась: «Если бы можно было сейчас, сию минуту очутиться возле Вас, с какой радостью я обняла бы Вас, Федор Михайлович, за Ваш февральский „Дневник“. Я так славно поплакала над ним и, кончив, пришла в такое праздничное настроение, что спасибо Вам. Мать». А вот еще одно трогательное признание, сделанное подростком: «Для чего я Вам пишу, не знаю, меня тянет как-то безотчетно Вам написать, и бывает всякий раз, как прочитаю Ваш „Дневник“, — я чувствую Вас как бы родным, но высказать свои мысли — не умею».

Подобные отклики доставляли Достоевскому глубокое моральное удовлетворение, поддерживали силы в многотрудной работе. Впрочем, отклики были самые разные и содержали, например, просьбы об устройстве на службу, оказании материальной помощи, оценке рукописи начинающего писателя. Очень часто читатели обращали внимание автора на те или иные факты и вступали с ним в серьезный разговор, влиявший на подвижность литературной формы и стиля «Дневника». Достоевский нередко цитирует получаемые письма, анализирует их, соглашается или спорит с высказываемыми мнениями. Оценивая нравственное и творческое значение непосредственного общения с

читателями, он замечал: «Писателю всегда милее и важнее услышать доброе и ободряющее слово прямо от сочувствующего ему читателя, чем прочесть какие себе угодно похвалы в печати. Право, не знаю, чем это объяснить: тут, прямо от читателя, — как бы более правды, как бы более **в самом деле**».

Что же касается профессиональных отзывов в печати, опосредованных идейными пристрастиями, то и в них, несмотря на имевшиеся разногласия, отдавалась дань гражданской самоотверженности, благородству намерений и проникновенности суждений автора «Дневника». Либеральные, консервативные, народно-демократические органы отмечали «высокую гуманность», «горячую веру в необъятную мощь народа» и «неподдельное сочувствие к его страданиям», «оригинальные, глубокие и светлые мысли» Достоевского. Правда, нередко раздавались голоса, что он, напротив, не знает народа, не понимает молодежи, не уважает дворянства и возводит «абсурдные обвинения» на русское общество. Независимость позиции озадачивала журналистов различных направлений, противоречиво менявших свое отношение к изданию. Внимательно изучая сочувственные и полемические отзывы, Достоевский в следующих выпусках уточнял ту или иную точку зрения, разъяснял свои выстраданные убеждения и таким образом становился едва ли не самым заметным участником идейной жизни России второй половины 70-х годов XIX века.

Однако в конце 1877 года Достоевский был вынужден приостановить печатание «Дневника писателя», чтобы целиком посвятить себя работе над романом «Братья Карамазовы». Намереваясь возобновить публицистическую деятельность с начала

1881 года, Достоевский тем не менее уже в 1880 году издал один выпуск со своей знаменитой пушкинской речью. Она была произнесена по случаю торжественного открытия памятника Пушкину в Москве. Произведения Пушкина были для автора «Братьев Карамазовых» предметом постоянных творческих раздумий. В героях этих произведений Достоевский видел не просто персонажей определенного исторического времени, а «колоссальные лица», воплотившие основные коллизии русской действительности XIX века. Особую заслугу поэта Достоевский находил и в том, что Пушкин сумел увидеть «смирную красоту» русского человека, понять всю ценность народных идеалов и святынь. Достоевский обнаруживает в творчестве Пушкина проявление «всемирной отзывчивости», залог возможного единения интеллигенции и народа, России и Европы, всего человечества.

Огромнейший успех речи на пушкинских торжествах и возникшая вокруг нее полемика свидетельствовали о все более возрастающей и духовно обеспеченной популярности Достоевского, убеждали его в насущной необходимости продолжать, как и задумывалось, издание любимого детища. Но удалось подготовить лишь январский выпуск «Дневника». Уже умирающий писатель все еще волновался за его судьбу и вносил последние поправки в корректурные листы. Анна Григорьевна Достоевская вспоминала: «Среди дня стал беспокоиться насчет „Дневника“... пришел метранпаж из типографии Суворина и принес последнюю сводку. Оказалось лишних семь строк, которые надо было выбросить, чтобы весь материал уместился на двух печатных листах. Федор Михайлович затревожился, но я предложила сократить несколько строк на предыдущих страницах, на что муж

согласился. Хоть я задержала метранпажа на полчаса, но после двух поправок, прочтенных мною Федору Михайловичу, дело уладилось. Узнав чрез метранпажа, что номер был послан в гранках Н. С. Абазе (цензору. — *Б. Т.*) и им пропущен, Федор Михайлович значительно успокоился».

Читая «Дневник писателя» сегодня, не перестаешь удивляться, может быть, самому главному в нем — что и через сто лет многие авторские выводы не только жгуче актуальны, но и жизненно необходимы при совестливой, глубокой и по-настоящему реалистической проверке нравственного содержания тех или иных задач и соответствия выбираемых для их осуществления средств. И вряд ли стоит сомневаться, что они еще долго останутся актуальными, хотя действительность сильно меняется и неузнаваемо изменится в будущем.

Думается, тайна неумирающего значения необычной и непривычной для нас публицистики заключается не столько в ее точности и остроте, сколько в мудром проникновении в самую сердцевину рассматриваемых проблем, а также в единстве, которое обнаруживается в предельно разнообразном содержании. Поэтому, очерчивая тематический круг публицистики Достоевского с ее болью и тревогой, чрезвычайно важно выделить в ней руководящие идеи, раскрывающие внутреннюю логику порою невидимой связи несходных фактов, событий, явлений, обнажающие общие корни тех или иных «больных» вопросов жизни и подсказывающие пути их решения.

Публицистика Достоевского дает редкий и выразительный, но, к сожалению, недостаточно

усвоенный урок многостороннего и предугадывающего понимания современной ему действительности. Пожалуй, более чем кто-либо из русских писателей он пристально всматривался в эту действительность, когда в пореформенной России совместились «жизнь разлагающаяся» и «жизнь вновь складывающаяся», когда «все вверх дном на тысячу лет». В одной из статей Достоевский так характеризовал создавшееся положение: «Прежний мир, прежний порядок — очень худой, но все же порядок — отошел безвозвратно. И странное дело: мрачные нравственные стороны прежнего порядка — эгоизм, цинизм, рабство, разъединение, продажничество — не только не отошли с уничтожением крепостного быта, но как бы усилились, развились и умножились; тогда как из хороших нравственных сторон прежнего быта, которые все же были, почти ничего не осталось...»

Новые условия оказались благоприятными для развития буржуазного индивидуалистического сознания, вытеснявшего традиционные духовно-нравственные ценности и способствовавшего разрастанию самозабвенного практицизма деловых людей с их полуосозанным внутренним девизом «после меня хоть потоп»: «...материализм, слепая, плотоядная жажда личного материального обеспечения, жажда личного накопления денег всеми средствами — вот все, что признано за высшую цель, за разумное, за свободу...»

При столь своеобразном понимании разумности, свободы и высшей цели естественно распадается семья, учащаются самоубийства, процветает пьянство. «...Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы

разбойничают... Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц?»

Среди признаков неустойчивого переходного времени Достоевский с горечью наблюдал и отчужденность высших слоев общества и интеллигенции от народа, шаткость вековых убеждений и прекраснодушный гуманизм, идейный крах «старых» и теоретическую узость «новых» людей. Даже в нарождающейся архитектуре с ее огромными и высокими, но обезличенными и обездушенными зданиями обнаруживается «какая-то безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безалаберщине настоящей минуты».

Достоевского чрезвычайно озадачивало, что в эпоху «безалаберщины» и «великих обособлении» возникает «куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных». Однако сложность «теперешнего момента» усугублялась в его представлении тем, что «каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все crescendo. В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые решения задач хуже хаоса». Хуже потому, что не вылечивают социальные болезни, а лишь загоняют их вглубь. Не лучше и прямолинейные решения, страдающие воинствующей односторонностью. Как среди «старичков» и консерваторов, так среди «молодых» и либералов, замечает писатель, «народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, — и все прямо и прямо, все в прямой линии и в одну точку».

Будучи принципиальным противником скороспелых и прямолинейных решений, Достоевский тщательно изучал текущие явления в эту «самую смутную, самую

неудобную, самую переходную и самую роковую минуту, может быть, из всей истории русского народа» в свете великих идей, мировых вопросов, всего исторического опыта, запечатлевшего основные свойства человеческой природы. Характеризуя собственную публицистическую методологию, он говорил о необходимости давать «отчет о событии: не столько как о новости, сколько о том, что из него (события) останется нам более постоянного, более связанного с общей, с цельной идеей». По его мнению, нельзя «уединять случай» и лишать его «права быть рассмотренным в связи с общим целым». В любой социально значимой деятельности «надо кореннее браться за дело», то есть исследовать генеалогию происходящего в сокровенных глубинах человеческой души. Проницательный ум писателя и был направлен в корни природы человека, скрыто питающие плоды его истории, в нервные узлы, а не периферийные окончания общественных процессов, жизненных зависимостей, интимно-личностных отношений. Это сущностное зрение, в высшей степени свойственное не только его художественным, но и публицистическим произведениям, позволяло лучше понимать, что можно ждать от человека, на что надеяться и чего опасаться в нем.

Достоевский отчетливо видел, как в процессе многовекового движения истории изменялся внешний облик человечества благодаря улучшению материальных условий его существования, что было обусловлено взаимосвязью интеллектуальных свершений и успехов в производстве, науке и технике. Однако в духовно-психологическом ядре человека оставались неискоренимыми властолюбие, зависть, тщеславие и другие эгоистические начала, вносящие дисгармонию в любые социальные отношения.

Достоевский страстно мечтал о такой целостности, когда люди, преодолев корыстолюбивые слабости своей природы, могли бы искренне и простодушно обняться. «Выше этой мысли *обняться* ничего нет», — отмечено им в записных книжках. Без этой высшей цели автор «Дневника писателя» считал человеческое существование недостойным и бессмысленным, но вместе с тем он прекрасно сознавал невероятные препятствия на пути к ней: «Я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное».

Стать немного получше — оказывается такой задачей, которая по идеальности и сложности неизмеримо превышает трудности покорения природы и ее приспособления для увеличения материального комфорта. Более того, выдвижение на первый план физического благополучия — что, по убеждению прямолинейно мыслящих теоретиков, должно создать основания для возвышения и облагораживания жизни — является, по мнению Достоевского, одной из капитальнейших причин многочисленных «недоумений» современной цивилизации и неоднозначно отражается на духовном состоянии человека. Предвидя грядущие гигантские результаты науки в деле преобразования природы, «приручения» вещей, Достоевский спрашивал в «Дневнике писателя»: «Что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем

теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека... — словом, ешь, пей и наслаждайся. „Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уже более материальных лишений, нет более заедающей «среды», бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займется высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!..

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках, увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы». Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижении*».

Эти мысли заставляют вспомнить многочисленные выступления последнего времени в периодике по вопросам вещизма и потребительства, дискуссии о подлинном и мнимом жизненном успехе и т. п. Рассуждение Достоевского более чем столетней давности

по своей сути и глубине намного опережает размышления некоторых авторов подобных выступлений и участников подобных дискуссий. В этих размышлениях решение встающих проблем сводится иной раз к ускоренному и более справедливому, если так можно выразиться, насыщению материальных потребностей людей, в чем видится порою весьма расплывчатый и никак не определяемый критерий улучшения человеческих отношений.

По многоходовой же логике Достоевского, осыпанность счастьем и зарытость в материальных благах не только не освобождают сознание человека от повседневных забот для духовного совершенствования, не только не делают его прекрасным и праведным, но, напротив, гасят в нем высшую жизнь и устремленность ко всеобщим явлениям, превращают лик человеческий в «скотский образ раба».

Достоевский считал, что полное и скорое утоление потребностей понижает духовную высоту человека, незаметно приковывает его еще сильнее к узкой сфере самоценного умножения чисто внешних форм жизни, обостряющих многосторонность насладительных ощущений и связанных с ними «бессмысленных и глупых желаний, привычек и нелепейших выдумок». Все это, в свою очередь, способствует в виде обратного эффекта развитию «имущественной похоти», нескончаемому наращиванию самих сугубо материальных потребностей, беспрестанно насыщаемых обновляемыми вещами, что делает человека пленником собственных ощущений. По мнению писателя, люди, находясь в плену такого цикла, невольно соглашаются жить как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнезда и выводить детей.

О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет привлекать человека на земле...».

В представлении Достоевского подобные «идеалы» далеко не безобидны для нравственного состояния личности и направления исторического развития, поскольку укрепляют в человеке «ожирелый эгоизм», делают его неспособным к жертвенной любви, потворствуют формированию разъединяющего людей гедонистического жизнепонимания. И тогда «чувство изящного обращается в жажду капризных излишеств и ненормальностей. Страшно развивается сладострастие. Сладострастие родит жестокость и трусость... Жестокость же родит усиленную, слишком трусливую заботу о самообеспечении. Эта трусливая забота о самообеспечении всегда, в долгий мир, под конец обращается в какой-то панический страх за себя, сообщается всем слоям общества, родит страшную жажду накопления и приобретения денег. Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в помощь общества, провозглашается громко тезис: „Всякий за себя и для себя“... все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие».

Глубокое понимание подобных нетривиальных причинно-следственных связей и непрямолинейных закономерностей общественного развития позволяло Достоевскому еще в зародыше раскрывать нравственную половинчатость различных новоиспеченных идеалов, а точнее идолов, не искореняющих, а лишь иначе направляющих и тем усложняющих извечные пороки людей, приспособляющихся к ним. Таких идолов или «невыясненных идеалов» в системе его размышлений можно назвать еще «несвятыми святынями». «Я ищу святынь, — писал он, — я люблю их, мое сердце их

жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее, не то стоит ли им поклоняться?»

Под несвятыми святынями в процитированных строках имеется в виду не всегда совпадающая с подлинной формальная справедливость «юной школы изворотливости ума и засушения сердца» — так называл писатель судебную практику в буржуазно-демократических правовых отношениях, достоинством которых, как он полагал, необходимо отдавать должное, но нельзя их абсолютизировать. Правовой строй в его представлении направлен лишь на регулирование благопристойности внешних отношений между людьми, а не на внутреннее содержание, скрывающееся за этими отношениями. «Хитрый закон требует, чтобы соблюдена была при этом надлежащая учтивость». «Учтив буду, а хлеба не дам», — раскрывал Достоевский идолопоклонничество перед юридическим формализмом, в благопристойной оболочке которого склонность личности к дурным поступкам делается незаметнее, тоньше, изощреннее, что еще более укореняет изначальные слабости человеческой природы.

В записной книжке писателя есть такие слова: «Дуэль — приняв букву, мы расширили склонность к дурным поступкам». То есть имеется в виду, что внешне благородный кодекс не врачует, а распаляет самолюбие людей и доводит их разделение до убийства. Таких красивых «букв», превращающихся при бездумной фетишизации в «мундирные» идеи, Достоевский находил вокруг себя предостаточно — например, фальшивые лозунги свободы, равенства и братства, ведущие на деле к торжеству посредственности и денежного мешка. Чутье на такие перевертыши, когда за речами о правде

скрывается ложь, за претензией на истину и здравый смысл — мошенничество, за стремлением к подвигу — злодейство и т. п., у него было необыкновенное. И он постоянно снимал позолоту с благородных по видимости формулировок, обнажал в них не всегда осознаваемые глубинные мотивы, не входящие в поле зрения «мудрецов чугуновых идей» и «исступленной прямолинейности».

Поэтому важное значение в публицистике Достоевского имеет критическое рассмотрение внедряемых в социальное сознание репутаций различного рода деятелей, своеобразие которых заключается не в высоком духовно-нравственном состоянии их души, а в привилегированном социальном положении, в достижениях ума и таланта. Перед условными лучшими людьми, как он их называл, преклоняются как бы по принуждению, в силу их социально-кастового авторитета, который меняет свои формы при перестройке конкретно-исторических обстоятельств. Писатель и наблюдал как раз одну из подобных смен, когда от прежних условных людей «как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность» (княжеская, боярская, дворянская) и их место занимали профессиональные политики, деятели науки, денежные дельцы... С беспокойством отмечал он, что никогда в России не считали новую условность — «золотой мешок» — за высшее на земле, что «никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время», когда поклонение деньгам и стяжание захватывают все сферы жизни и когда под эгидой этой новой условности наибольший авторитет приобретают промышленники, торговцы, юристы и т. п. «лучшие

люди». Достоевский считал, что развратительнее подобного поклонения не может быть ничего, и с опасением обнаруживал везде его развращающее воздействие: «В последнее время начало становиться *жутко* за народ: кого он считает за своих лучших людей... Адвокат, банкир, интеллигенция».

К «лучшим людям», по его наблюдению, все чаще стали относить деятелей науки, искусства и просвещения: «Решили наконец, что этот новый и „лучший“ человек есть просто человек просвещенный, „человек“ науки и *без прежних предрассудков*». Но мнение это трудно принять по очень простому соображению: «человек образованный не всегда человек честный», а «наука еще не гарантирует в человеке доблести».

Противоречие между образованностью и нравственностью Достоевский относил к числу важнейших в новое время и постоянно отмечал его. «Или вы думаете, — обращался он к тем, кто видел в повышении образования панацею от всех бед, — что знания, „науки“, школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков?» По его убеждению, своеобразие научной деятельности, требующей, казалось бы, самоотвержения и великодушия, обнаруживает тем не менее «низменность нравственного запроса, нравственного чувства», что не способствует духовному просветлению и душевному оздоровлению человека. Отсюда и естественное появление высокообразованных и прехитрых монстров с многосложной жаждой интриги и власти, а также таких,

например, вопросов: «Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, сластолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такую страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему участвовать во всеобщей пышности, в блеске... Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какую-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей».

В эпоху всевозможных смешений и сложных сочетаний, коварных идолов и раздвоенности поведения Достоевский придавал особое значение духовной трезвости, нелегкому умению отделять зерна от плевел, способности распознавать еще в истоках порочные движения «натуры», нередко глубоко спрятанные под покровом самых благопристойных форм неосознанного эгоистического лицемерия, престижных видов деятельности или даже человеколюбивых идей. «Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем!.. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!»

По наблюдению Достоевского, наступили такие времена, когда со всей остротой и серьезностью встают проблемы честной неправды или искренней лжи, то есть бессознательной подмены подлинных ценностей

мнимыми, безотчетно укороченного, непродуманного до конца отношения к разным вопросам жизни. В результате люди теряют способность замечать, «что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность беспрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут, подавляемые беспрерывно накапливающейся ложью!». Так, наивное приятие условными лучшими людьми своей условности за нечто безусловное, самоотождествление с играемой в обществе ролью придает их поведению невольный оттенок обманывающего актерства. В их душе создается своеобразный «внутренний театр», поддерживающий естественность внешнего рисунка исполняемой роли и маскирующий пороки, что существенно усиливает взаимное непонимание представителей разных сословий и групп общества. Отрицательное значение игры в благородство, когда блестящая наружность поведения светских людей, правительственных чиновников, литераторов, артистов сочетается с «недоделанностью» их души, а над сердцем и умом висит «стальной замочек хорошего тона», писатель видел в том, что она вместо действительной «красоты людей» создает фальшивую «красоту правил», которая не только маскирует пороки, но и незаметно помрачает простоту души и «съедает» ее подлинные достоинства. Ведь по какому-то особому закону «буква и форма правил» незаметно скрадывают «искренность содержания», что мешает самосовершенствованию человека, укрепляет его «недоделанность».

Даже в таланте писатель находил часто неизбежную возможность излишней «отзывчивости» и «игривости», что опять-таки невольно усыпляет совесть, уклоняет от

истины, удаляет от человеколюбия. Например, увлечение красным словцом или высоким слогом постепенно мельчит ум и огрубляет душу у иного великодушного литератора или юриста. Вместо сердца у такого деятеля начинает биться «кусочек чего-то казенного, и вот он, раз навсегда, забирает напрокат, на все грядущие экстренные случаи, запасик условных фраз, словечек, чувствиц, мыслиц, жестов и воззрений, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь, погружается в спокойствие и блаженство».

Неразличение правды, основанное на искренней лжи, Достоевский обнаруживал и в необузданном оптимизме современных прогрессистов, возлагавших надежду при движении к всечеловеческому братству на успехи культуры и цивилизации. Однако при непредвзятом взгляде оказывается, что в результате цивилизации люди приобрели «коротенькие идейки и парикмахерское развитие... циничность мысли вследствие ее короткости, ничтожных, мелочных форм», окультурились лишь в новых предрассудках, новых привычках и новом платье.

К тому же набравшая силу буржуазная цивилизация породила процессы, не побуждавшие к глубокой духовной культуре, которая преобразила бы весь строй душевного мира человека и эгоистических стимулов его поведения. «Война бывает каждые 25 лет. Не останавливают ее ни развитие, ни ничего... Так что прогресс и гуманность одно, а какие-то законы — другое».

Согласно этим неявным законам, прогресс и «гуманность», не имеющие достаточного духовного основания и ясного нравственного содержания, грозят

обернуться и оборачиваются регрессом и варварством. Например, внешнее достижение благородной цели равенства людей не облагораживает их внутренне. Ведь «что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть...». И никакие договоры не способны предотвратить войны, если сохраняется подобное состояние человеческих душ, видимое или невидимое соперничество которых порождает все новые материальные интересы и соответственно требует увеличения разнообразия всевозможных захватов. В результате мирное время промышленных и иных бескровных революций, если оно не способствует преобразению эгоцентрических начал человеческой деятельности, а, напротив, создает для них питательную среду, само вызывает потребность войны, «выносит ее из себя как жалкое следствие». Поэтому, считал Достоевский, необходимо трезво и, так сказать, заранее оценивать те или иные перспективы «хода дела», постоянно спрашивать себя: «В чем хорошее и что лучшее... В наше время вопросы: хорошо ли хорошее?»

Подобные вопросы вставали перед ним и тогда, когда он анализировал радикальные теории утопического социализма, основанные на утилитарных и рационалистических началах. Писатель считал, что вульгарно-социологические проекты «разумного» общественного устройства, основанные на равновеликой экономической пользе, не учитывают противоречивой глубины человеческой свободы, несовершенные движения которой изначально устремлены к расширению и возвышению своих прав, собственности, своеволия. По его мнению, всякое «научное» решение социальных вопросов без корректив на неоднозначную волевою

глубину с ее тайными страстями грозит трагическими срывами.

Стремление достичь общечеловеческой гармонии «извне», с помощью ограниченных и не до конца продуманных теорий при отсутствии внимания к изначальному внутреннему несовершенству человека приводит к практическому банкротству этих теорий, с чем, предупреждал Достоевский, придется столкнуться будущим поколениям. Такая возможность казалась ему неизбежной еще и потому, что из поля зрения искателей справедливого общественного устройства ускользал и целый ряд других сверхрассудочных особенностей человеческого бытия, не поддающихся строгому логическому вычислению. Внимание писателя к подобным особенностям позволяло ему определить одно важное явление, которое он в зависимости от контекста и степени снижения нравственного содержания называл «лакейством мысли» или «волочением идеи по улице». Благородство и чистота помыслов всех тех, кто взыскует равенства и братства, могут, по его наблюдению, искажаться уже одной только торопливостью в выводах и обобщениях, принятием гипотез за несокрушимые аксиомы, бездумным, не позволяющим себе никакого анализа, воплощением гуманных идей, сопровождающимся огульным отрицанием тысячелетних традиций, исторических ценностей и народных идеалов. Когда же эти идеи «попадают на улицу», то к ним примазываются «плуты, торгующие либерализмом», или интриганы, намеревающиеся грабить, но придающие своим намерениям «вид высшей справедливости». И в конце концов «смерды направления» доходят до убеждения, что «денежки лучше великодушия» и что

«если нет ничего святого, то можно делать всякую пакость».

Закон искажения великодушных идей Достоевский рассматривал с законом их таинственного отражения, то есть безотчетного столкновения в самой глубине души человека ощущения их смысловой неполноты и чувства их реальной неосуществимости для каждой конкретной личности с требованиями абсолютной разумности. Роль унавоживающего материала для будущей гармонии невольно заставляет человека задумываться (с разной степенью отчетливости и осознанности) над тем, что «жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что на завтра же по достижении „гармонии“ (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же *нуль*, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, — эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество и — по закону отражения идей — убивает в нем даже самую любовь к человечеству».

Многосторонний анализ подобных законов показывал Достоевскому, что ни утопические теории, ни цивилизация, ни демократия, ни равновеликая для всех возможность «есть, пить и наслаждаться» не увеличивают область добра в душе человека и не подвигают его к братолюбию. Напротив, зло и эгоизм как бы переодеваются в процессе истории, приспособляются к новым условиям, становятся замаскированнее, изощреннее, следовательно, устойчивее, потенциально опаснее и страшнее.

Размышляя над этими вопросами, он отмечал в «Дневнике писателя»: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что в никаком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят от нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных* ...»

Раскрывая сложный духовный мир человека, многообразные движения его свободной воли, Достоевский обнаруживал, что все они, несмотря на неодинаковое содержание и разные сферы действия, направлены обычно к самосохранению, господству и наслаждению. И в бытовых, служебных, любовных взаимоотношениях людей, и во всеохватных принципах и идеях по видимости не похожих друг на друга «учредителей и законодателей человечества» естественные гордо-эгоистические и агрессивно-гедонистические свойства человеческой природы, если их «натуральность» не пресечена и не подчинена действительно укорененному в бытии высочайшему идеалу, ведут потенциально и реально к самопревозношению разнородных личностей, к их разъединенности и вражде.

Писатель внимательно изучал самые разные, казалось бы, мелочи (а на самом деле не мелочи!) окружавшей его жизни, часто находя в них, к своему сожалению, отражения вездесущих эгоистических стремлений к принижаящему других господству. Грубость, раздражение, «мелочное юпитерство», вызванное затаенным желанием отомстить кому-то за

свое ничтожество пренебрежением и невнимательностью, особенно заметны «в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч.». Похожую картину можно наблюдать и на железных дорогах, где даже самый последний чиновник «смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу».

На таком небольшом примере писатель наглядно показывает, как разлагаются человеческие отношения и переворачивается всякий порядок, когда вольно или невольно выпячивается «Я» со своей жадой хоть крошечной, да власти. Он хорошо видел, что в эпоху «шатких семейств» и «скептических отцов», равнодушных к высшим ценностям, эта жажда особенно обостряется и рождает время «хотя великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера». И многие, хотя не пишут таких писем, являются в душе анонимными ругателями. Онтологическая и нравственная необеспеченность социальных целей при ослаблении основополагающих идеалов создает, считал Достоевский, благоприятные условия, препятствующие самоуважению человека в собственном его положении и развивающие завистливую «роковую заботу» отыскивать везде и всегда как можно больше людей хуже себя. Отсюда повсеместная гонка и непрерывное соревнование неутоленных честолюбий и обойденных самолюбий, а также наивное внутреннее недоумение: «Зачем, дескать, везде *они*, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». Подобные стремления и чувства нередко

могут не осознаваться, доставлять большие мучения, даже иной раз выливаться в крайние жестокости и немотивированные преступления, ну а чаще всего — превращаться в желание «просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить».

Достоевский подчеркивает, что тщеславие и зависть, питающие затаенную наглость и ждущую своего часа несправедливость, разъедают личность и вносят разлад в самые обычные бытовые отношения. Но то же самое происходит, как явствует из его размышлений, и на уровне личности той или иной нации, в масштабе межгосударственных отношений. И торжество эгоистических интересов здесь, затирающих нравственные начала, также не может продолжаться безнаказанно: «...позорное и порочное несет само в себе смерть и, рано ли, поздно ли, само собою казнит себя. Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет в себе болезнь, а за ней и смерть».

Достоевский утверждал, что свобода как величайшая ценность человека есть и самый крупный камень преткновения, если она понимается как «разнузданность желаний», приводящих к рабской зависимости от похоти, денег и ложных авторитетов, а в конечном итоге — к самоуничтожению. Подлинная же свобода заключается «в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому

себе настоящим хозяином». Поэтому для достойной жизни как отдельных личностей, так и целых народов необходимо, по мнению писателя, умение справиться с собственной свободой, переплавить жизнеотрицающую силу мнимой свободы в жизнеутверждающую силу свободы действительной, направить ее центростремительно, альтруистически, к объединению с целым.

Такое перерождение от рабства к свободе, от своекорыстного к добролюбящему расположению души осуществимо лишь при глубоком переживании или ясном осознании возможностей и парадоксов природы человека и его истории. Оздоровление корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные «идеалы» и идола.

Абсолютным и прекрасным идеалом, создающим непосредственное ощущение непобедимой красоты и отклоняющим природу от эгоистического своеволия, была для Достоевского, как известно, личность Христа, в которой, по его убеждению, воплотились свойства высшего и полного развития человека. В логике Достоевского безраздельная и беззаветная любовь Христа к людям, являющаяся главной силой идеала и как бы венчающим синонимом высшего и полного развития личности, предельного выражения ее свободы, есть одновременно и величайшее самоотеснение, жертва, победа над «адамовой» натурой. Писатель постоянно подчеркивал, что основное свойство подлинной, духовной, любви заключается в ее бескорыстной жертвенности, полной самоотдаче ради предмета любви.

В противном случае возникают ее суррогаты, выступающие в замаскированных формах чувственного эгоизма.

В эпоху Достоевского возникало много толкований духовности, много разных «нравственностей», которые скрыто или явно, осознанно или неосознанно, приспособлялись к порочным началам человеческой природы, а не искореняли их. Настоящая нравственность, по мнению писателя, противоположна множественности понятий и вытекает из «признания высшей красоты, служащей идеалом для всех». Только высшее, самое высшее, не уставал повторять он в своих статьях, — высшее сознание, высшее развитие, высшие цели жизни, вытекающие из «вековечного идеала», — отрывает человека от самолюбивых склонностей его натуры и ведет «по дороге жизни» к действительному братолюбию. И не образованием, не внешней культурностью и светским лоском, не научными и техническими достижениями, а лишь «возбуждением высших интересов» можно перестроить глубинную структуру эгоистического мышления. «Да тем-то и сильна великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремится их будущее к целям вековечным, к радости абсолютной».

Без «великой нравственной мысли», считал Достоевский, невозможно нормальное развитие, гармоничный ум и жизнеспособность личности, государства, всего человечества, поскольку только в ней человек постигает «всю разумную цель свою на земле» и осознает в себе «лик человеческий». Без обретения же смысловой полноты и высоты бытие человека оказывается неестественным и нелепым, связи его с

различными проявлениями жизни становятся тоньше, а сама жизнь выливается в перекосы и катастрофы. Потому-то так тревожило писателя его время, когда с прогрессирующей быстротой стало повсеместно распространяться безразличное и даже нигилистическое отношение к высшим идеям человеческого существования как к «вздору» и «стишкам».

Но именно в потере вековых идеалов, высшего смысла, высшей цели жизни, в исчезновении «высших типов» вокруг Достоевский находил первопричину подспудного разлития нигилистической атмосферы, когда «что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование».

«Почему же мы дрянь?» — спрашивал Достоевский, вникая в эти неосознанные учения и безотчетные верования, и отвечал: «Великого нет ничего». В отсутствии представлений о величии и неслучайности человеческой жизни на земле он обнаруживал корни взаимообусловленных духовных болезней своего века.

Молодежь, считал он, не может остановиться на еде, чинах, поклонении подчиненных, везде и всегда она жаждала и искала положительных идеалов — во что верить, что уважать, к чему стремиться. Однако в семье, школе и у своих идейных руководителей она усваивает лишь скептический взгляд на высшие цели жизни, заменяемые более практическими интересами и

современными задачами, которые имеют скудное нравственное содержание. Провозглашаемые при этом абстрактные призывы к справедливости и братству, поначалу увлекая юных людей, тем сильнее разочаровывают их впоследствии, когда оказывается на поверку ошибочным полагать, будто «добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений». Это разочарование приводит к ослаблению у молодого поколения чувства долга и обязанности по отношению к отцам и матерям, к принципам и убеждениям, в конце концов к тем же самым практическим интересам и современным задачам. У юношей и девушек теряется подлинная свобода, то есть становится все «меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося», и страдания от бессознательной тоски из-за бесцельной жизни приводят наиболее ранимых среди них к самоубийству.

Достоевскому казались легкомысленными и бесчестными те выступления журналистов, которые вместо указания на эти цели бездумно захваливали молодежь и заигрывали с ней для повышения собственной популярности, угождая ее сиюминутным требованиям. В результате «многие из молодежи... действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу...». А это создает им дополнительные психологические препятствия для понимания «лжи и неправды почти всего, что считают светом и истиной», для осознания глубинных оснований их духовного неблагополучия.

В пренебрежении к высшим преобладающим и объединяющим идеям определял Достоевский и главную причину разлада во взаимоотношениях отцов и детей. У отцов Достоевский не находил ни одной действительно великой, глубокой и сильной идеи, в которую они бы по-настоящему верили. «Рутинная наша, и богатая и бедная, любит ни о чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди лучше рутинные „обособляются“ в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат». Однако кружковая, искусственная и иллюзорная вера способствует образованию «случайных семейств», воспитание в которых не имеет достаточных духовно-нравственных опор.

Писатель подмечает, например, важную отрицательную особенность современной педагогики, озабоченной желанием обезопасить ребенка с самого рождения от любых затруднений и лишений, стремящейся облегчить ему всякое приобретение знаний и даже детские игры. Но ведь порою «облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то, ни се, ни доброе, ни злое...»

В теплохладном равнодушии облегченной школы и вырастает незаметно поклонение «вечному и глупому идеалу середины, вседозволенному самомнению и пошлостью благоразумию», влияние которого может предупредить лишь воспитание, зароняющее в сердце «великие вопросы». По убеждению Достоевского, «без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение

в путь». Однако в действительности все происходит наоборот именно потому, что «общего нет ничего у современных отцов... связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить *прекрасное* в воспоминаниях детей».

Обретение же «великой веры» зависит от преодоления разрыва между поколениями и соединения, как подчеркивал Достоевский, с лучшими историческими традициями и подлинными святынями народа, которые осмеивались и презрительно отбрасывались «ходом дела» в буржуазном обществе. «В народные идеалы не верят многие, — отмечал он, — и не знают их, даже говорят, что лучше совсем без идеалов». Ампутация исторической народной памяти, обладающей, подобно совести и любви, «удлиняющими», восстанавливающими и связующими свойствами, и породила в ряду других причин «коротенькие идейки» и большие трагедии.

Воспроизводя логику деятелей полуобразования и полупросвещения, создававших из положительного знания новую разъединяющую силу и крепостную зависимость от «высокомерного просвещения», Достоевский писал: «Образование же его (народа. — *Б. Т.*) мы оснуем и начнем с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же начнем обольщать его... утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных, но мы все-таки заставим его

петь рифмованный водевиль... Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ».

Обращаясь к инициаторам «парикмахерского развития», которые пытались учить народ поклоняться новым идолам и «новым предрассудкам», чреватым и новыми драматическими переворотами и разломами, Достоевский одновременно как бы обращался и к самому себе, ко всей интеллигенции: «нравственное-то, высшее-то что передадим народу», чем мы «нравственно, существенно» выше его? Цивилизация, повторял он, не может создать и укрепить братского общества. Оно «созидается нравственными началами, а в нравственных началах выше народ». Народная жизнь, по его представлению, полна сердцевины, силы, непосредственности и мысли, «а вот ее-то вы, стремясь в нее с вашей глупенькою культурою, и хотите уничтожить».

Достоевский не идеализировал народ, хорошо видел его недостатки, никогда не скрывал их, а, напротив, стремился выявлять для лучшего осознания и напоминания о их возможных последствиях. Например, его всегда настораживала чрезмерная широта русского характера, способность уживаться со многими уродливыми явлениями и раздвигать совесть «до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?». А ожидать можно, отвечал писатель, сплошного отрицания, вплоть до отречения от «самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего». В этом забвении всякой меры во всем не

только «русский Мефистофель», но и «иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в самые роковые минуты его жизни».

Вместе с тем писатель призывал судить о нравственной силе русского народа по той высоте духа, на которую он способен подняться. Несмотря на тяжелые исторические испытания, в самом зерне народной жизни сохраняются идеалы высшей красоты и правдивости, которые «и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном, гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет».

Именно в народной вере в вечный свет Достоевский находил основу для настоящего просвещения, без которого неосуществимо «великое дело любви». Смысл подлинного просвещения выражен, по его мнению, в самом корне этого понятия, есть «свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сердце, направляющий ум, подсказывающий ему дорогу жизни». Такое просвещение и отличает, по его мнению, условных лучших людей от безусловных, которые познаются не социально-кастовой принадлежностью, не умом, образованностью, богатством и т. п., а наличием духовного света в своей душе, благоустроенностью

сердца, высшим нравственным развитием и влиянием. К таким людям он относил испокон веков распространенных на Руси праведников, в которых ярко выражена «потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины». Народные святыни, а не науки и привилегии, отмечал писатель, указывают лучших людей. «Лучший человек по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном... любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью».

При общем взгляде на публицистику писателя прослеживается взаимосвязь тех свойств, которые составляют «благородный материал», входят в «эстетику души» безусловных лучших людей, получивших истинное просвещение и способных стать братьями другим. Праведность, правдолюбие, глубокий ум, возвышенность, благородство, справедливость, честность, подлинное собственное достоинство, самоотверженность, чувство долга и ответственности, доверчивость, открытость, искренность, простодушие, скромность, умение прощать, органичность и целостность мировосприятия, внутреннее благообразие и целомудрие — эти духовно-душевные черты, свидетельствующие о внутренней победе над эгоцентрическими началами несправедливого строя жизни, определяют личности, перед которыми «добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть», перед которыми преклоняются «сердечно и несомненно».

Достоевский подчеркивал в этой взаимосвязи особую роль незаметно-«детских» и миролюбиво-«женских» качеств (от доверчивости до умения прощать), поскольку они с их чрезвычайно значащей незаметностью как бы определяют

возвышающее и уравнивающее действие остальных свойств и полярно противостоят понижающим и вносящим дисгармонию самолюбивым началам. Соответственно погашенность любых агрессивных-захватнических проявлений составляет твердую сердцевину «плюсовых людей», которая, по убеждению Достоевского, защищает их от воздействия «излишеств и уклонений нашей культуры». Они принципиально сильны именно своей «слабостью», то есть органической расположенностью к добру и мужеством отказа распространять зло в мире в каких бы то ни было формах, даже в форме ложного добра и житнетворчества. Отсюда и их историческая непрявленность, «тихость». Безусловные лучшие люди, отмечал он, «отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы...».

Летопись истории обычно заполнена героями, полководцами, историческими деятелями, иначе говоря, людьми выдающимися, которые, по логике Достоевского, неизбежно втянуты в сферу влияния разрушительной гордости и, следовательно, в разной степени являются носителями зла. Между тем в «рядовых» истории, в ее второстепенных персонажах наиболее определенно и вполне закономерно проявляются в несмешанном виде самые простые, но одновременно и самые глубокие нравственные чувства. И без «тихой истории» праведников, как бы нейтрализующих «шум» и «ярость» бурного общественно-исторического процесса, зло не имело бы никаких преград. В «тихой истории» и в утверждающих ее духовно-волевых качествах содержится предпосылка и принципиально иного житнетворчества, из которого было бы искоренено до сих пор естественно входящее в самые разные его формы

самопревозношение, не успокаивающее, а, напротив, постоянно разжигающее зависть и жажду первенства. Поэтому писатель призывал не стыдиться «наивных и простодушных форм, в которых народ „лучшего человека“ указывает», понять важное значение «незаметности» и «смирения» в созидании высокой духовной атмосферы общества.

Это значение связано и с излюбленной мыслью Достоевского о виновности отдельной личности перед остальными, виновности не юридической, а онтологической, основанной на признании изначального несовершенства человека и вместе с тем его сопричастности всему происходящему в мире. Каждый виноват в меру отсутствия света в собственной душе и бескорыстной любви к людям. Следствия душевного мрака и эгоцентризма, различные по степени и содержанию, но неискоренимые до конца в любом человеке, по невидимым каналам разливаются вокруг. И малейшие наши злые помыслы, слова и поступки, как считал Достоевский, незримо отпечатываются в душах окружающих, распространяются все дальше и дальше в пространстве и времени, подвигая кого-то к зависти или гордости, к рабству или тиранству. Так накапливается и растет в мире отрицательный духовный потенциал, питающий происходящие в нем злодеяния.

Поэтому мудрое понимание собственной теоретической и практической ограниченности, изменение себя в сторону подлинного совершенствования, то есть увеличения света и бескорыстной любви к людям в своей душе, способствует согласованности целей и средств, препятствует смешению добра и зла, предопределяет движение к мировой гармонии «изнутри». Такой ход мысли

дополнительно объясняет известный призыв Достоевского к «гордому человеку» в пушкинской речи смириться и потрудиться на родной ниве. «Победишь себя, усмиришь себя, — и станешь свободным как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь... нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд...»

Достигая высшей свободы для служения великому делу, человек, по мнению писателя, своим личным благолепием существенно изменяет сознание других к лучшему, поскольку людей особенно нравственно ободряет живой пример соответствия слова и дела. И наоборот. «О том, что литературе (в наше время) надо высоко держать знамя чести, — замечал Достоевский в записной тетради. — Представить себе, что бы было, если б Лев Толстой, Гончаров оказались бы бесчестными? Какой соблазн, какой цинизм и как многие бы соблазнились. Скажут: „Если уж эти, то... и т. д.“. То же и наука». Писатель призывал всех тех, кто взял на себя по роду деятельности ответственность сеять «доброе, разумное, вечное»: «Прежде чем проповедовать людям: „как им быть“, — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут... Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага».

Достоевский считал, что не «**начало** только всему» есть личное самосовершенствование, но и продолжение всего и исход. Оно объемлет, зиждет и сохраняет организм национальности, и только оно одно, поскольку идеал гражданского устройства, складываясь исторически, является исключительно результатом «нравственного самосовершенствования единиц, с него и

начинается... было так спокон века и пребудет во веки веков».

Таким образом, подлинное преуспевание общества в самых разных областях неразрывно связано с внутренним нравственным благоустройством его граждан. Говоря, например, о возможном изменении и оздоровлении чиновничьей деятельности, Достоевский подчеркивает: «Оппозиция бюрократии бьет мимо цели. Главного-то шагу и не видят... Сущность в воспитании нравственного чувства». Без учета этой сущности постоянное сокращение штатов приводит тем не менее к тому, что штаты парадоксальным образом как бы увеличиваются. Чиновники же, симулируя никак не определяемую нравственную активность, пытаются ограничиться косметическими переменами, ничего по существу не меняя и рассуждая про себя: «...мы уж лучше сами как-нибудь там исправимся, пообчистимся, ну, что-нибудь введем новое, более, так сказать, прогрессивное, духу века соответствующее, ну там станем как-нибудь добродетельнее или что...» В результате освобожденный от крепостной зависимости народ не имеет самостоятельности и духовной поддержки, поскольку в земстве, общине, суде присяжных и в других демократических формах общества «тянет к чему-то похожему на начальство». Назначаются ревизии, устраиваются комиссии, выделяющие из себя подкомиссии. Дотошные наблюдатели, замечает писатель, подсчитали, что «у народа теперь, в этот миг, чуть ли не два десятка начальственных чинов, специально к нему определенных, над ним стоящих, его оберегающих и опекающих. И без того уже бедному человеку все и всякий начальство, а тут еще двадцать штук специальных! Свобода-то движения ровно как у

мухи, попавшей в тарелку с патокой. А ведь это не только с нравственной, но и с финансовой точки зрения вредно, то есть такая свобода движения».

Отсутствие «главного шагу» ослабляет, по мысли Достоевского, и различные экономические реформы, сияющиеся сию же минуту, «вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз даже никак до того неожиданным предписанием начальства», улучшить текущую действительность, повысить бюджет государства, погасить долги, преодолеть дефицит. Однако при такой торопливости добиваются только «временной, материальной глади», воспроизводят в слегка подновленном виде лишь существующее. Эти «механически-успокоительные утешения» не приводят к «действительно гражданскому, нравственно-гражданскому» порядку и сохраняют общую атмосферу для тех, кто точит зубы на казну и общественное достояние, кто превращается «в карманных промышленников, иные в дозволенных, а иные и прикрывать себя юридически не станут». Нравственно-гражданский беспорядок при паллиативном экономическом процветании разлагает сознание наблюдающих его и укрепляет социальное нестроение. «Посмотрит иной простак кругом себя и вдруг выведет, что одному-де кулаку и мироеду житье, что как будто для них все и делается, так стану-де и я кулаком, — и станет. Другой, посмирнее, просто сопьется, не потому, что бедность одолела, а потому, что от бесправицы тошно. Что же тут делать? Тут фатум».

Для одоления этого фатума необходимо, утверждал Достоевский, направить внимание «в некую глубь, в которую, по правде, доселе никогда и не заглядывали, потому что глубь искали на поверхности». Нужен

«поворот голов и взглядов наших совсем в иную сторону, чем до сих пор... Принципы наши некоторые надо бы совсем изменить, мух из патоки повытащить и освободить». Следует, считал он, хоть на малую долю забыть о сиюминутных потребностях, сколь ни казались бы они насущными, и сосредоточиться на «оздоровлении корней», другими словами, на создании условий для сохранения народных традиций и идеалов, для развития подлинного просвещения, для формирования безусловных лучших людей. Тогда появится надежда на соборное разрешение разногласий различных слоев общества, «всеобщего демократического настроения и всеобщего согласия всех русских людей, начиная с самого верху». Тогда и текущая действительность с ее безотлагательными задачами, финансовыми и экономическими проблемами может измениться не косметически только, а радикально, поскольку сама подчинится новому принципу и «войдет в смысл и дух его, преобразится непременно к лучшему». Тогда и нравственность выйдет из-под разрушительного управления экономики, которая (а вместе с ней науки, ремесла, техника) под ее воздействием станет более разумной и человеческой, поскольку разумными и человеческими станут и потребности людей.

По убеждению Достоевского, в числе новых принципов следует твердо усвоить, что нельзя искусственно подгонять историю и устраивать из нее водевиль (порою жестокий и трагический), что всякие, даже здравые, новшества не осуществляются в один миг, а их успех определяется «предварительной культурой», обогащенностью результатами духовного труда многих предшествующих по колений.

Надо помнить и не забывать, подчеркивал Достоевский, что истинный плодотворный результат любого дела зависит не от верного денежного расчета и не от деятельности мифического «нового человека», которого никто и нигде не видел и «новая нравственность» которого не поддается разумному уяснению, а от золотого запаса благородного человеческого материала, постоянно создаваемого растущими из древних корней и непрерываемыми духовными традициями. «Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры сам отлично преподавать педагогию, а все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну, а на века надо время, годков эдак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны».

Достоевский не сомневался, что нравственные начала являются основой всему, в том числе и благополучию государства, хотя оно на первый взгляд

кажется зависимым от выигранных битв или хитроумной политики.

Для достойной и долговечной жизни народам и государствам, полагал писатель, необходимо свято хранить высокие идеалы, ибо «как только после времен и веков (потому что тут тоже свой закон, нам неведомый) начинал расшатываться и ослабевать в данной национальности ее идеал духовный, так тотчас же начинала падать и национальность, а вместе падал и весь ее гражданский устав, и померкали все те гражданские идеалы, которые успевали в ней сложиться... Стало быть, гражданские идеалы всегда прямо и органично связаны с идеалами нравственными, а главное то, что несомненно из них только одних и выходят! *Сами же по себе* никогда не являются, ибо, являясь, имеют лишь целью утоление нравственного стремления данной национальности, как и поскольку это нравственное стремление в ней сложилось».

Следовательно, политика чести и великодушия, которая подчиняется «нравственному стремлению» и которую не следует разменивать на торопливые барыши, есть «не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум, ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь всегда кончали тем, что всегда торжествовали. А если и не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди».

По логике Достоевского, принципы «святости текущей выгоды» и «плевок на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клочок» могут временно давать определенные материальные результаты. Но они же порождают захватнические войны, духовно развращают нации и в конце концов губят их. И наоборот. Вера в вечные (а не условно-выгодные) идеалы придает политике духовный смысл, поддерживает нравственное здоровье и величие нации. В таком случае войны, если они вынужденны, носят исключительно освободительный характер и преследуют лишь «великую и справедливую цель, достойную великой нации».

Именно в контексте нравственно состоятельной политики рассматривал Достоевский в «Дневнике» бескорыстную помощь России борьбе балканских славян против турецкого ига. По мнению писателя, подлинная выгода русского государства заключается в том, чтобы всегда поступать честно, идти даже на математически явную невыгоду и жертву, лишь бы не нарушить справедливости.

История показывала Достоевскому, что Россия сильна «идеей, завещанной ей рядом веков», «всецелостью и духовной нераздельностью» народа, способного в годину суровых испытаний проявить величайшую волю ради подвига великодушия. Дойдя «до последней черты, то есть когда уже идти некуда», русский народ преодолевал роковые раздоры и тяжелые страдания благодаря «единению нашего духа народного», без которого и политика, и наука, и техника, и оружие оказались бы беспомощными. Писатель призывал всемерно сохранять это единение не только в кризисные моменты истории, но и в повседневной жизни и не разменивать «великие мысли» на третьестепенные

соображения. Ведь только тогда пробуждается и поддерживается в сердцах людей вера в высокое предназначение России, «вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажда служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций...».

Залоги такой жизни Достоевский находил и в вершинных достижениях русской литературы, которая «в лучших представителях своих, и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась пред народной правдой, признала идеалы народные за действительно прекрасные», что и определило ее историческое значение. Это значение проявилось прежде всего, по его мнению, в творчестве Пушкина, отличавшемся наряду с художественным совершенством «всемирной отзывчивостью», подлинным национальным своеобразием и философско-психологической глубиной. Сходным образом он оценивает, например, и роман Льва Толстого «Анна Каренина»: «Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии и своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени».

Вообще следует подчеркнуть, что в своих публицистических статьях писатель рассматривает вопросы литературы, как и все другие, в нравственной доминанте, неразрывной связи с социальными и

насущными проблемами жизни. Искусство представляет для него своеобразный сгусток человеческой деятельности, не только концентрированно отображающий в себе типичные процессы в обществе, но и освещающий их высоким духовным светом. «Искусство, то есть *истинное* искусство, именно и развивается потому во время долгого мира, что идет вразрез с грузным и порочным усыплением душ, и, напротив, созданиями своими, всегда в эти периоды, взывает к идеалу, рождает протест и негодование, волнует общество и нередко заставляет страдать людей, жаждущих проснуться и выйти из зловонной ямы».

Казалось бы, при такой постановке вопроса на первый план должна выйти литература «с направлением», обличающая пороки и указующая пути их исправления. Однако, по убеждению Достоевского, художнику не стоит «вытягивать из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению», а необходимо дать возможность излиться и развить естественно просящиеся из души образы. Ведь «всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художественной потребности, и даже на сюжет посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь „направительное“... окажется гораздо полезнее для его же целей... в истинно художественном произведении, хотя бы оно толковало о других мирах, не может не быть истинного направления и верной мысли». Такие отличающиеся естественной правдивостью и столь же непринужденной нравственностью произведения, в которых писатель дает свободу своим чувствам и «своей идее (идеалу)» и тем самым усиливает полноту

эстетической реальности, Достоевский называл литературой красоты и противопоставлял ее литературе дела и литературе сплошного отрицания, скованных своей заданностью и предвзятостью и не имеющих «положительного идеала в подкладке». Литература дела полна неясных и путаных исканий, поскольку «дело еще не разъяснено, лишь мечта». Что же касается сугубо обличительной литературы, то она и вовсе лишена всякого созидательного начала, способна возбуждать к ненависти и мести, «нужна тем, кто не знает, за что держаться, как быть и кому верить... Положительный идеал мешает их (авторов нигилистических произведений. — Б. Т.) пороку, а отрицательное ни к чему не обязывает».

Не отражая «прямо» и «направленно» злободневные события и факты действительности, литература красоты тем не менее и создает как раз образы, вбирающие в себя наиболее существенные черты текущей жизни. Татьяна Ларина и Евгений Онегин Пушкина, Пирогов и Хлестаков Гоголя, Потугин Тургенева, Влас Некрасова, Левин Толстого становятся в статьях Достоевского своеобразными символами, помогающими ему проникательнее анализировать духовное состояние общества и тенденции исторического процесса. Он глубоко ценил такие выразительные типы и сожалел, что мельчающая словесность теряет способность их создавать. «Много чего не затронула еще наша художественная литература из современного и текущего, много совсем проглядела и страшно отстала... Даже и в исторический-то роман, может, потому ударилась, что смысл текущего потеряла». Достоевский считал, что необходим талант, равный, по крайней мере, гоголевскому, чтобы выявить и обобщить, например, тип

анонимного ругателя с его непомерным самомнением при затаенном самонеуважении или тип бездарного и тщеславного невежды, воображающего себя великим деятелем и непревзойденным гением. «Сядет перед вами иной передовой и поучающий господин и начнет говорить: ни концов, ни начал, все сбито и сверчено в клубок. Часа полтора говорит и, главное, ведь так сладко и гладко, точно птица поет. Спрашиваешь себя, что он: умный или иной какой? — и не можешь решить. Каждое слово, казалось бы, понятно и ясно, а в целом ничего не разберешь. Курицу ль впредь яйца учат, или курица будет по-прежнему на яйцах сидеть, — ничего этого не разберешь, видишь только, что красноречивая курица, вместо яиц, дичь несет. Глаза выпучишь под конец, в голове дурман. Это тип новый, недавно зародившийся; художественная литература его еще не затрагивала...»

Х у д о ж е с т в е н н о е о б о б щ е н и е социально-психологических причин появления подобных говорунов, задуривающих сознание больших масс людей и замутняющих ход жизни, тем более важно, что оно одновременно оказывается и одним из путей преодоления их воздействия, уяснения подлинных ценностей. В литературе, как и во всякой другой деятельности, Достоевский стремился выделить главное и значительное для понимания природы человека и творимой им истории. И в своей неповторимой публицистике он также исследует тесную пульсирующую взаимосвязь между законами человеческого духа и законами общественного организма, что позволяло ему предвосхищать объективную, независимую от индивидуального произвола и субъективных представлений различного рода позитивистов, логику развития жизни, предсказывать за многие десятилетия

конечные результаты определенных социальных процессов, предупреждать о тупиках грядущей мировой истории. «Ясно, что общество имеет предел своей деятельности, тот забор, о который оно наткнется и остановится. Этот забор — есть нравственное состояние общества, крепко соединенное с социальным устройством его...»

И потому высшим нравственным сознанием, качеством святых и совестью человека, его способностью искренне побрататься с другими, пожертвовать не только лишним, но и хлебом насущным измерял Достоевский намерения и истинность достижений людей, всякую их деятельность, направленную на преодоление жизненного несовершенства. Но подобное преодоление может быть, по его убеждению, сколь-нибудь успешным лишь тогда, когда все проявления зла, особенно завуалированные одеждами добропорядочности, будут открыто обнажаться в душе человека, а не откладываться за слоем благопристойных форм на глубине ее дна.

Лишь выпукло обозначив ростки зла в ядре внутреннего мира, человек может направить свое внимание и силы на их искоренение, предотвратить их органический рост и распространение, нащупать и разрушить мосты между эгоистическими свойствами «натуры» и ложными идеями, предупредить девальвацию таких высоких понятий, как идеал, свобода, братство.

В представлении Достоевского выбор пути всего человечества неотделим от самоопределения отдельной личности. Ведь линия, разделяющая добро и зло, проходит «не за морем где-нибудь», «не в вещах», «не вне тебя», а через все человеческие сердца, через

каждое сердце. И публицистика великого русского писателя приглашает читателя заглянуть поглубже в свою душу и непредубежденно посмотреть на свои дела, чтобы определить, куда направлены растрачиваемые нами силы, — идут ли они на «самоукорачивание», превращение человека в «скотский образ раба» или на «самоудлинение», восстановление в человеке «образа человеческого».

Выпалывая сорняки из собственной души, обнаруживая «глубоко запрятанную» мощь любви, которая «есть в каждом из нас», любая личность тем самым способствует победе над «прежним животным» и возвращению «воистину новых людей», вытесняет космическое зло из вселенной, участвует в разрешении будущих судеб человечества. И в этом Достоевский не видел ничего фантастического. Надо только хорошо помнить, подчеркивал он, что «силен может быть один человек», что в его мыслях и поступках «бесчисленное множество скрытых от нас разветвлений» и что «все как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается».

Борис Тарасов

Дневник писателя. 1873

Вступление

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное

церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, — мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»,^[1] сам же, напротив, стал отлично писать статьи, — так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

¹ я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»... — Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков».

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и — к удивлению — понятно; да и то если принадлежат известному перу.^[2] В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже в тринадцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»^[3] — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?»

² ...принадлежат известному перу. — Имеется в виду редактор — издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков.

³ «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»... — Иронический намек на покаянные слова Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, — нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же — никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин»

должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье^[4] о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.». (Вошла в собрание его сочинений.) В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!

⁴ ...Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье... — Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, профессор Московского университета. Речь идет о статье Погодина «А. И. Герцен» (Заря. 1870. № 2).

Старые люди

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde*^[5] прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора-два десятилетия предшествующей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то

⁵ Русский дворянин и гражданин мира (*франц.*).

идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектёр. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною

признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, — Белинский был вовсе не *gentilhomme*, — о нет. (Он бог знает от кого происходил. Отец его был, кажется, военным лекарем.)

Белинский был по преимуществу не рефлексивная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращаться ко мне в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка^[6] в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же

⁶ *Интернационалка* — Международное товарищество рабочих, I Интернационал.

время понимал глубже всех, что один разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в непрерывном неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым

препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «Vie de Yésus»,^[7] что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского,^[8] которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.^[9]

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет... Да поверьте же, наивный вы человек, — набросился он опять на

⁷ «Жизнь Иисуса» (франц.).

⁸ ...один из друзей Белинского... — Вероятно, писатель и критик В. П. Боткин.

⁹ ...начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе... — И. С. Тургенев.

меня, — поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-ет! — подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперед по комнате.) — Ну нет; если бы теперь появился Христос, он бы примкнул к движению и стал во главе его...

— Ну да, ну да, — вдруг и с удивительною поспешностью согласился Белинский. — Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда всё французы: прежде всех Жорж Занд,^[10] теперь совершенно забытый Кабет,^[11] Пьер Леру^[12] и Прудон,^[13] тогда еще только начинавший свою деятельность. Этих четырех, сколько припомню, всего более уважал тогда Белинский. Фурье^[14] уже далеко не так уважался. Об них толковалось у него по целым вечерам. Был тоже один немец, перед которым тогда он очень склонялся, —

¹⁰ *Жорж Занд* (Санд) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876).

¹¹ *Кабет* — Этьен Кабе (1788–1856) — французский коммунист-утопист.

¹² *Пьер Леру* (1797–1871) — французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.

¹³ *Прудон* Пьер Жозеф (1809–1865) — французский публицист, теоретик анархизма.

Фейербах.^[15] (Белинский, не могший всю жизнь научиться ни одному иностранному языку, произносил: Фиербах.) О Штраусе^[16] говорилось с благоговением.

При такой теплой вере в свою идею это был, разумеется, самый счастливейший из людей. О, напрасно писали потом, что Белинский, если бы прожил дольше, примкнул бы к славянофильству. Никогда бы не кончил он славянофильством. Белинский, может быть, кончил бы эмиграцией, если бы прожил дольше и если бы удалось ему эмигрировать, и скитался бы теперь маленьким и восторженным старичком с прежнею теплою верой, не допускающей ни малейших сомнений, где-нибудь по конгрессам Германии и Швейцарии или примкнул бы адъютантом к какой-нибудь немецкой m-me Гёгг, на побегушках по какому-нибудь женскому вопросу.

Этот всеблаженный человек, обладавший таким удивительным спокойствием совести, иногда, впрочем, очень грустил; но грусть эта была особого рода, — не от сомнений, не от разочарований, о нет, — а вот почему не сегодня, почему не завтра? Это был самый торопившийся человек в целой России. Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идет домой.

— Я сюда часто захожу взглянуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет

¹⁵ *Фейербах* Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-материалист.

¹⁶ *Штраус* Давид Фридрих (1803–1874) — немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена.

хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце.

Это было горячо и хорошо сказано; Белинский никогда не рисовался. Мы пошли вместе. Он, помню, сказал мне дорогою:

— А вот как зароят в могилу (он знал, что у него чахотка), тогда только спохватятся и узнают, кого потеряли.

В последний год его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял все учение его. Еще год спустя, в Тобольске, когда мы в ожидании дальнейшей участи сидели в остроге на пересыльном дворе, жены декабристов умолили смотрителя острога и устроили в квартире его тайное свидание с нами. Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. Ни в чем не повинные, они в долгие двадцать пять лет перенесли все, что перенесли их осужденные мужья. Свидание продолжалось час. Они благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием — единственная книга, позволенная в остроге. Четыре года пролежала она под моей подушкой в каторге. Я читал ее иногда и читал другим. По ней выучил читать одного каторжного. Кругом меня были именно те люди, которые, по вере Белинского, не могли не сделать своих преступлений, а стало быть, были правы и только несчастнее, чем другие. Я знал, что весь русский народ называет нас тоже «несчастливыми», и слышал это название множество раз и из множества уст. Но тут было

что-то другое, совсем не то, о чем говорил Белинский, и что слышится, например, теперь в иных приговорах наших присяжных. В этом слове «несчастные», в этом приговоре народа звучала другая мысль. Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедиться... Теперь именно об этом хотелось бы поговорить.

Среда

Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности (кроме прочих, разумеется, ощущений), должно быть ощущение власти, или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. Но хоть и в незаметном виде, хоть и подавленное целою массою иных благороднейших ощущений, — все-таки оно должно крепиться в каждой заседательской душе, даже при самом высоком сознании своего гражданского долга. Мне думается, что это как-нибудь выходит из самых законов природы, и потому, я помню, ужасно мне было любопытно в одном смысле, когда только что установился у нас новый (правый) суд. Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние крепостные. Прокурор, адвокаты будут к ним обращаться, заискивая и заглядывая, а наши мужички будут сидеть и про себя помалчивать: «Вон оно как теперь, захочу, значит, оправдаю, не захочу — в самое Сибирь».

И вот, однако же, замечательно теперь, что они не карают, а сплошь оправдывают. Конечно, это тоже пользование властью, даже почти через край, но в какую-то одну сторону, сентиментальную, что ли, не

разберешь, — но общую, чуть не предвзятую у нас повсеместно, точно все сговорились. Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправдания во что бы то ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь всех русских присяжных, даже самого высокого подбора нобльменов^[17] и профессоров университета. Уже одна эта общность представляет прелюбопытную тему для размышлений и наводит на многообразные и, пожалуй, странные иногда догадки.

Недавно в одной из наших влиятельнейших газет, в очень скромной и очень благонамеренной статейке, была мельком проведена догадка: уж не склонны ли наши присяжные, как люди, вдруг и ни с того ни с сего ощутившие в себе столько могущества (точно с неба упало), да еще после такой вековой приниженности и забитости, — не склонны ли они подсолить вообще «властям», при всяком удобном случае, так, для игривости или, так сказать, для контраста с прошедшим, прокурору хоть например? Догадка недурная и тоже не лишенная некоторой игривости, но, разумеется, ею нельзя всего объяснить.

«Просто жаль губить чужую судьбу; человеки тоже. Русский народ жалостлив», — разрешают иные, как случалось иногда слышать.

Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по

¹⁷ *Нобльмен* — человек высшего сословия, от английского nobleman — дворянин, пэр.

крайней мере гуманность есть; есть сознание и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, до твердого и самостоятельного убеждения; даже, может быть, более твердого, чем у нас, взяв во внимание тамошнюю образованность и вековую самостоятельность. Там ведь не «вдруг с неба» им столько власти свалилось. Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили.

А между тем там присяжный заседатель понимает, чуть только займет свое место в зале суда, что он не только чувствительный человек с нежным сердцем, но прежде всего гражданин. Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и немедленно возмущающие общее мнение. Там присяжный понимает прежде всего, что в руках его знамя всей Англии, что он уже перестает быть частным лицом, а обязан изображать собою мнение страны. Способность быть гражданином — это и есть способность возносить себя до целого мнения страны. О, и там есть «жалостливость» приговора, и там принимается во внимание «заедающая среда» (кажется, любимое теперь учение наше) — но до известного предела, насколько допускает здоровое мнение страны и степень просвещения ее христианскою нравственностью (а степень-то, кажется, довольно высокая). Но зато, и весьма часто, тамошний присяжный, скрепя свое сердце,

произносит приговор обвинительный, понимая прежде всего, что обязанность его состоит в том преимущественно, чтобы засвидетельствовать своим приговором перед всеми согражданами, что в старой Англии, за которую всякий из них отдаст свою кровь, порок по-прежнему называется пороком и злодейство — злодейством и что нравственные основы страны всё те же, крепки, не изменились, стоят, как и прежде стояли.

— Даже хоть и предположить, — слышится мне голос, — что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) всё те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, — хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. Ведь они придавили его, ведь они пока для него только бремя, бремя!

— Конечно, есть правда в вашем замечании, — отвечаю я голосу, несколько повеся нос, — но ведь опять-таки русский народ...

— Русский народ? Позвольте, — слышится мне другой голос, — вот, говорят, что дары-то с горы скатились и его придавили. Но ведь он не только, может быть, ощущает, что столько власти он получил как дар, но и чувствует, сверх того, что и получил-то их даром, то есть что не стоит он этих даров пока. Заметьте, это вовсе не значит, что и в самом деле он не стоит этих даров и что *не надо* или *рано* было одарять его; совсем даже напротив: это сам народ в своей смиренной совести сознает, что он недостойн даров таких, — и это смиренное, но высокое сознание народное о своей

недостойности есть именно залог того, что он-то их и достоин. А покамест, в смирении своем, народ смущен. Кто заглядывал в сокровенные тайники его сердца? Может ли у нас хоть кто-нибудь сказать, что вполне знаком с русским народом? Нет, тут не одна только жалостливость и слабосердость, как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. Из страха милуем. Мы сидим присяжными и, может быть, думаем: «Сами-то мы лучше ли подсудимого? Мы вот богаты, обеспечены, а случись нам быть в таком же положении, как он, так, может, сделаем еще хуже, чем он, — мы и милуем». Так ведь это еще, может быть, хорошо-с, умиление-то это сердечное. Это, может быть, залог к чему-нибудь такому высшему христианскому в будущем, чего еще и не знает мир до сих пор!

«Это отчасти славянофильский голос», — рассуждаю я про себя. Мысль действительно утешительная, а догадка о смирении народном пред властью, полученною даром и дарованною пока «недостойному», уж конечно, почище догадки о желании «поддразнить прокурора», хотя все-таки и эта догадка продолжает мне нравиться своим реализмом (конечно, принимая ее более в виде частного случая, как выставлял, впрочем, и сам автор ее), но... но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? «Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. Правда выше вашей боли.

В самом деле, ведь если уж мы считаем, что сами иной раз еще хуже преступника, то тем самым

признаемся и в том, что наполовину и виноваты в его преступлении. Если он преступил закон, который земля ему написала, то сами мы виноваты в том, что он стоит теперь перед нами. Ведь если бы мы все были лучше, то и он бы был лучше и не стоял бы теперь перед нами...

— Так вот тут-то и оправдать?

Нет, напротив: именно тут-то и надо сказать правду и зло назвать злом; но зато половину тяготы приговора взять на себя. Войдем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает лучшими. Ведь сделавшись сами лучшими, мы и среду исправим и сделаем лучшею. Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать — ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». Дойдем до того, по клубку, что преступление сочтем даже долгом, благородным протестом против «среды». «Так как общество гадко устроено, то в таком обществе нельзя ужиться без протеста и без преступлений». «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Ведь вот что говорит учение о среде в противоположность христианству, которое, вполне признавая давление среды и провозгласивши милосердие к согрешившему, ставит, однако же, нравственным долгом человеку борьбу со средой, ставит предел тому, где среда кончается, а долг начинается.

Делая человека ответственным, христианство тем самым признает и свободу его. Делая же человека

зависящим от каждой ошибки в устройстве общественном, учение о среде доводит человека до совершенной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. Ведь этак табаку человеку захочется, а денег нет — так убить другого, чтобы достать табаку. Помилуйте: развитому человеку, ощущающему сильнее неразвитого страдания от неудовлетворения своих потребностей, надо денег для удовлетворения их — так почему ему не убить неразвитого, если нельзя иначе денег достать? Да неужели вы не прислушивались к голосам адвокатов: «Конечно, дескать, нарушен закон, конечно, это преступление, что он убил неразвитого, но, господа присяжные, возьмите во внимание и то...» и т. д. Ведь уже почти раздавались подобные голоса, да и не почти...

— Ну, вы, однако же, — слышится мне чей-то язвительный голос, — вы, кажется, народу новейшую философию среды навязываете, это как же она к нему залетела? Ведь эти двенадцать присяжных иной раз сплошь из мужиков сидят и каждый из них за смертный грех почитает в пост оскоромиться. Вы бы уже прямо обвиняли их в социальных тенденциях.

«Конечно, конечно, где же им до „среды“, то есть сплошь-то всем, — задумываюсь я, — но ведь идеи, однако же, носятся в воздухе, в идее есть нечто пронцающее...»

— Вот на! — хохочет язвительный голос.

— А что, если наш народ особенно склонен к учению о среде, даже по существу своему, по своим, положим, хоть славянским склонностям? Что, если

именно он-то и есть наилучший материал в Европе для иных пропагаторов?

Язвительный голос хохочет еще громче, но как-то выделанно.

* * *

Нет, тут с народом пока еще только фортель, а не «философия среды». Тут есть одна ошибка, один обман, и в этом обмане много соблазна.

Обман этот можно разъяснить в таком виде, примером по крайней мере.

Положим, народ называет осужденных «несчастливыми», подает им гроши и калачи. Что же хочет он этим сказать, вот уже, может быть, в продолжение веков? Христианскую ли правду или правду «среды»? Именно тут-то и камень преткновения, именно тут-то и скрывается тот рычаг, за который с успехом мог бы ухватиться пропагатор «среды».

Есть идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно чувствуемые; таких идей много как бы слитых с душой человека. Есть они и в целом народе, есть и в человечестве, взятом как целое. Пока эти идеи лежат лишь бессознательно в жизни народной и только лишь сильно и верно чувствуются, — до тех пор только и может жить сильнейшею живою жизнью народ. В стремлениях к выяснению себе этих сокрытых идей и состоит вся энергия его жизни. Чем непоколебимее народ содержит их, чем менее способен изменить первоначальному чувству, чем менее склонен подчиняться различным и ложным толкованиям этих идей, тем он могучее, крепче, счастливее. К числу таких сокрытых в русском народе идей — идей русского народа

— и принадлежит название преступления несчастием, преступников — несчастными.

Идея эта чисто русская. Ни в одном европейском народе ее не замечалось. На Западе провозглашают ее теперь лишь философы и толковники. Народ же наш провозгласил ее еще задолго до своих философов и толковников. Но из этого не следует, чтобы он не мог быть сбит с толку ложным развитием этой идеи толковником, временно, по крайней мере с краю. Окончательный смысл и последнее слово останутся, без сомнения, всегда за ним, но *временно*— может быть иначе.

Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастливым»: «Вы согрешили и страдаете, но и мы ведь грешны. Будь мы на вашем месте — может, и хуже бы сделали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступления ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся. А пока берите, „несчастные“, гроши наши; подаем их, чтобы знали вы, что вас помним и не разорвали с вами братских связей».

Согласитесь, что ничего нет легче, как применить к такому взгляду учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспечены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы — сделали бы то же самое, что и вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе».

Вот в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил.

Нет, народ не отрицает преступления и знает, что преступник виновен. Народ знает только, что и сам он

виновен вместе с каждым преступником. Но, обвиняя себя, он тем-то и доказывает, что не верит в «среду»; верит, напротив, что среда зависит вполне от него, от его беспрерывного покаяния и самосовершенствования. Энергия, труд и борьба — вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства. «Достигнем того, будем лучше, и среда будет лучше». Вот что невысказанно ощущает сильным чувством в своей сокрытой идее о несчастьи преступника русский народ.

Представьте же теперь, что если сам преступник, слыша от народа, что он «несчастный», сочтет себя только несчастным, а не преступником. Вот тогда-то и отшатнется от такого лжетолкования народ и назовет его изменою народной правде и вере.

Я бы мог представить и примеры тому, но отложим их пока и скажем так.

Преступник и намеревающийся совершить преступление — это два разные лица, но одной категории. Что же, если, приготовляясь к преступлению сознательно, преступник скажет себе: «Нет преступления!» Что, назовет его народ «несчастливым»?

Может, и назовет; без сомнения, назовет; народ жалостлив; да и ничего нет несчастнее такого преступника, который даже перестал себя считать за преступника: это животное, это зверь. Что ж в том, что он не понимает, что он животное и заморил в себе совесть? Он только вдвое несчастнее. Вдвое несчастнее, но и вдвое преступнее. Народ пожалеет и его, но не откажется от правды своей. Никогда народ, называя преступника «несчастливым», не переставал его считать за преступника! И не было бы у нас сильнее беды, как если

бы сам народ согласился с преступником и ответил ему: «Нет, не виновен, ибо нет „преступления“!»

Вот наша вера, наша общая вера, хотелось бы мне сказать; вера всех уповающих и ожидающих. Прибавлю еще два слова.

Я был в каторге и видал преступников, «решеных» преступников. Повторяю, это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких, новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слышал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и — «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего. Я видал их одиноко задумчивых, я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдельным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, — о, поверьте, никто из них не считал себя правым в душе своей!

Не хотел бы я, чтобы слова мои были приняты за жестокость. Но все-таки я осмелюсь высказать. Прямо скажу: строгим наказанием, острогом и каторгой вы, может быть, половину спасли бы из них. Облегчили бы их, а не отяготили. Самоочищение страданием легче, — легче, говорю вам, чем та участь, которую вы делаете многим из них сплошным оправданием их на суде. Вы

только вселяете в его душу цинизм, оставляете в нем соблазнительный вопрос и насмешку над вами же. Вы не верите? Над вами же, над судом вашим, над судом всей страны! Вы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду Божию; оставляете его смущенного... Он уходит и думает: «Э, да вот как теперь, нету строгости. Поумнели, знать. Боятся, может. Значит, оно можно и в другой раз так же. Понятно, коли я был в такой нужде — как же было не своровать».

И неужто вы думаете, что, отпуская всех сплошь невиновными или «достойными всякого снисхождения», вы тем даете им шанс исправиться? Станет он вам исправляться! Какая ему беда? «Значит, пожалуй, я и не виновен был вовсе» — вот что он скажет *в конце концов*. Сами же вы натолкнете его на такой вывод. Главное то, что вера в закон и в народную правду расшатывается.

Еще недавно я жил несколько лет сряду за границей. Когда я выехал из России, новый суд только что у нас начинался. С какой жадностью я читал там все, что касалось русских судов, в наших газетах. За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов;^[18] на детей их, не знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самую силу вещей обратится под конец в эмигрантов. Об этом мне всегда было больно думать: столько сил, столько, может быть, лучших людей, а у нас так нуждаются в людях! Но иногда, выходя из читальной залы, ей-богу, господи, я невольно мирился с абсентеизмом и абсентеистами. Сердце поднималось до боли. Читаешь — там оправдали жену, убившую мужа. Преступление явное, доказанное;

¹⁸ *Абсентеисты* — так Достоевский называл русских, живущих за границей, от латинского *absentia* — отсутствие.

она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, любовнице угодить». — «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечатление выносилось смутное и — почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясинной, болотом, на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхности какого-нибудь горохового киселя, ступите — и так и скользнете вниз, в самую бездну. Я очень упрекал себя за мое малодушие; меня ободряло, что все-таки я издали могу ошибаться, что все-таки я покамест тот же абсентеист, не вижу близко, не слышу ясно...

И вот я давно уже снова на родине.

«Да полно, жалко ли им в самом деле» — ведь вот вопрос! Не смейтесь, что я придаю такую важность ему. «Жалость» по крайней мере хоть что-нибудь и как-нибудь объясняет, хоть из потемок выводит, а без этого последнего объяснения — одно недоумение, точно мрак, в котором живет какой-то сумасшедший.

Мужик забивает жену, увечит ее долгие годы, ругается над нею хуже, чем над собакой. В отчаянии решившись на самоубийство, идет она почти обезумевшая в свой деревенский суд. Там отпускают ее, промямлив ей равнодушно: «Живите согласнее». Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едва различает, что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали,

у которого еще не ворочается язык, чад и безумие в голове.

История этой женщины, впрочем, известна, слишком недавняя. Ее читали во всех газетах и, может быть, еще помнят. Просто-запросто жена от побоев мужа повесилась; мужа судили и нашли достойным снисхождения. Но мне долго еще мерещилась вся обстановка, мерещится и теперь.

Я все воображал себе его фигуру: сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще — с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого: поймает курицу и повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая черта! Он бил жену чем попало несколько лет сряду — веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги, а половицу притиснет и бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет, так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом, по три дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб, ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба, это *мой* хлеб», — чрезвычайно характерная тоже черта! Она побиралась с десятилетним ребенком у соседей: дадут хлебца — поедят, не дадут — сидят голодом. Работу с нее спрашивал; все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала наконец как помешанная. Я воображаю и ее наружность: должно быть, очень маленькая, исхудавшая, как щепка, женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины, с белым,

пухлым телом, женятся на очень маленьких, худеньких женщинах (даже наклонны к таким выборам, я заметил), и так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку; а то чего-то как будто недостает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужичья жизнь лишена эстетических наслаждений — музыки, театров, журналов; естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить? Знаете, господа, люди рождаются в разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»?^[19] Я ведь не говорю, что была, — и было бы это очень смешно утверждать, — но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут как кошку! Удары сыплются все чаще, резче,

¹⁹ ...Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»... — героини трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), комедии «Много шума из ничего» (1598) Уильяма Шекспира, трагедии «Фауст» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гете.

бесчисленнее; он начинает разгорячаться, входить во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдальцы хмелят его как вино: «Ноги твои буду мыть, воду эту пить», — кричит Беатриче нечеловеческим голосом, наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит, дыхание поминутно обрывается, а удары тут-то и чаще, тут-то и садче... Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине, — баста! Отходит, садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их (была же и у них дочь!), на печке в углу дрожит, прячется: она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.

А он ей, уходя, своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это *мой* хлеб».

Под конец ему нравилось тоже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет, и начнет висячую... А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется.

Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и проямлили ей: «Живите согласнее».

Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико

осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец.

И вот он перед судом — важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», — роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но *достоин снисхождения*».

Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не «снисхождение» присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но с «снисхождением» ему только восемь месяцев пробывать в остроге, а там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать.

«Достоин снисхождения!» И ведь этот приговор дан зазнамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. К кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, и вертит.

Постойте, расскажу еще анекдот.

Когда-то, еще до новых судов (впрочем, незадолго до них), прочитал я в наших газетах вот какой один фактик: мать таскала на руках ребенка годового или четырнадцати месяцев. В этот возраст идут зубки; дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у ней было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она. А впрочем, неужто бить за это такого маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки... Ведь и не уймешь, коли прибьешь: он зальется своими слезками и вас же обхватит ручками, а то вас же

начнет целовать, и плачет, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку секунд десять.

Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и «по кратком совещании» выносят приговор: «Достойна всякого снисхождения».

Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат:

— Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целости, представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...

О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки, — согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно недаром деньги берут.

— Да подите! — восклицает вдруг давешний язвительный голос. — Ведь все это вздор и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора

присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Всё напредставили.

А жена, привешенная вверх ногами как курица, а «это *мой* хлеб, не смей есть его», а девочка, дрожащая на печи, полчаса слушающая крики матери, а «мама, на что ты давишься?» — это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь *почти* то же самое!

«Неразвитость, тупость, пожалейте, среда», — настаивал адвокат мужика. Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги! Ведь все-таки тут должна быть черта... С другой стороны, вот и образованный человек, да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей «средой».

Влас^[20]

Помните ли вы Власа? Он что-то мне вспоминается.

В армяке с открытым воротом,

С обнаженной головой,

Медленно проходит городом

Дядя Влас — старик седой.

На груди икона медная:

Просит он на Божий храм...

У этого Власа, как известно, прежде «Бога не было»;

²⁰ Достоевский использует стихотворение Н. А. Некрасова «Влас» для высказывания своих любимых идей о русском характере и национальных идеалах.

...побоями

В гроб жену свою вогнал,
Промышляющих разбоями,
Конокрадов укрывал.

Даже и конокрадов, — пугает нас поэт, впадая в тон набожной старушки. Ух ведь какие грехи! Ну и грянул же гром. Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше:

Видел света преставление,
Видел грешников в аду:
Мучат бесы их проворные,
Жалит ведьма-егоза,
Ефиопы — видом черные
И как углие глаза.

.

Те на длинный шест нанизаны,
Те горячий лижут пол...

Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. «Но всего не описать», — продолжает поэт.

Богомолки, бабы умные,
Могут лучше рассказать.

О поэт! (к несчастью, истинный поэт наш) если бы вы не подходили к народу с вашими восторгами, про которые

Богомолки, бабы умные,

Могут лучше рассказать, —

то не оскорбили бы и нас выводом, что вот из-за таких-то в конце концов бабьих пустяков

Вырастают храмы божии

По лицу земли родной.

Но хоть и по «глупости» своей ходит с котомкою Влас, но серьезность его страдания вы все-таки поняли; все же вас поразила величавая фигура его. (Да ведь и поэт же вы; не могло быть иначе.)

Сила вся души великая

В дело Божие ушла, —

великолепно говорите вы. Хочу, впрочем, верить, что вы вставили вашу насмешку невольно, страха ради либерального, ибо эта страшная, пугающая даже, сила смирения Власова, эта потребность самоспасения, эта страстная жажда страдания поразила и вас, общечеловека и русского gentilhomme'a, и величавый образ народный вырвал восторг и уважение и из вашей высоколиберальной души!

Роздал Влас свое имение,

Сам остался бос и гол

И собирать на построение

Храма божьего пошел.
С той поры мужик скитается
Вот уж скоро *тридцать* лет,
Подаянием питается —
Строго держит свой обет.

.

Полон скорбью неутешною
Смуглолиц, высок и прям,
(чудо как хорошо!)
Ходит он стопой неспешною
По селеньям, городам.

.

Ходит с образом и с книгою,
Сам с собой все говорит
И железною веригою
Тихо на ходу звенит.

Чудо, чудо как хорошо! Даже так хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто вместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни.^[21] А впрочем — не кривлялись вы и «на Волге», разве только немножко: вы

²¹ ...точно это не вы, а кто другой вместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни. — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге».

и на Волге любили общечеловека в бурлаке и действительно страдали по нем, то есть не по бурлаке собственно, а, так сказать, по общебурлаке. Видите ли-с, любить общечеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека. Я нарочно подчеркнул неизмеримо прекрасные стихи в этом шутовском (в его целом, уж извините меня) стихотворении вашем.

Я потому припомнил этого стихотворного Власа, что слышал на днях один удивительно фантастический рассказ про другого Власа, даже про двух, но уже совершенно особенных, даже неслыханных доселе Власов. Происшествие это истинное и уже по одной своей необыкновенности замечательное.

На Руси, по монастырям, есть, говорят, и теперь иные схимники, монахи — исповедники и советодатели. Хорошо или дурно это, нужно ли монахов или не нужно их — про это в данную минуту не хочу рассуждать и не для того взял перо. Но так как мы живем в данной действительности, то ведь нельзя же выпихнуть из рассказа хотя бы даже и монаха, если на нем зиждется рассказ. Эти монахи-советодатели бывают иногда будто бы великого образования и ума. Так, по крайней мере, повествуют о них; я ничего не знаю. Говорят, что встречаются некоторые с удивительным будто бы даром проникновения в душу человеческую и умения совладать с нею. Несколько таких лиц известны, говорят, всей России, то есть, в сущности, тем, кому надо. Живет этот старец, положим, в Херсонской губернии, а к нему едут или даже идут пешком из Петербурга, из Архангельска, с Кавказа и из Сибири. Идут, разумеется, с раздавленной отчаянием душою, которая уже и не ждет себе исцеления, или с таким страшным бременем на сердце,

что грешник уже и не говорит о нем своему священнику-духовнику, — не от страха или недоверия, а просто в совершенном отчаянии за спасение свое. А прослышит вдруг про какого-нибудь такого монаха-советодателя и пойдет к нему.

«И вот, — говорил один из таких старцев однажды в дружеской беседе наедине с одним слушателем, — выслушиваю я людей двадцать лет, и верите ли, уж сколько, казалось бы, в двадцать лет знакомства моего с самыми потаенными и сложными болезнями души человеческой; но и через двадцать лет приходишь иногда в содрогание и в негодование, слушая иные тайны. Теряешь необходимое спокойствие духа для подания утешения и сам вынужден себя же укреплять в смирении и безмятежности...»

И тут-то он и рассказал ту удивительную повесть из народного быта, о которой я выше упомянул.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях. Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом ко мне:

— Нет мне спасения; проклят! И что бы ты ни сказал — все одно проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек; издалека.

— Собрались мы в деревне несколько парней, — начал он говорить, — и стали промежду себя спорить: «Кто кого дерзостнее сделает?» Я по гордости вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне с глазу на глаз:

— Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал, как говоришь. Хвастаешь.

Я ему стал клятву давать.

— Нет, стой, поклянись, говорит, своим спасением на том свете, что все сделаешь, как я тебе укажу.

Поклялся.

— Теперь скоро пост, говорит, стань говеть. Когда пойдешь к причастью — причастье прими, но не проглоти. Отойдешь — вынь рукой и сохрани. А там я тебе укажу.

Так я и сделал. Прямо из церкви повел меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: положи! Я положил на жердь.

— Теперь, говорит, принеси ружье.

Я принес.

— Заряди.

Зарядил.

— Подыми и выстрели.

Я поднял руку и наметился. И вот только бы выстрелить, вдруг предо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем в бесчувствии».

Происходило это еще за несколько лет до прихода к старцу. Кто был этот Влас, откуда и как его имя — старец, разумеется, не открыл, равно как и покаяние, которое наложил на него. Должно быть, обременил душу страшным трудом, даже не по силам человеческим, рассуждая, что чем больше, тем тут и лучше: «Сам за страданием приполз». Не правда ли, что происшествие даже весьма характерное с одной стороны, на многое

намекающее, так что, пожалуй, и стоит двух-трех минут особенного разбора. Я всё того мнения, что ведь последнее слово скажут они же, вот эти самые разные «Власы», кающиеся и некающиеся; они скажут и укажут нам новую дорогу и новый исход из всех, казалось бы, безысходных затруднений наших. Не Петербург же разрешит окончательную судьбу русскую. А потому всякая, даже малейшая, *новая* черта об этих теперь уже «новых людях» может быть достойна внимания нашего.

* * *

Во-первых, мне именно удивительно — удивительно всего более — самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: «Кто кого дерзостнее сделает?» Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем даже и неожиданный; а я видывал-таки довольно народу, да еще самого характерного. Замечу тоже, что кажущаяся исключительность факта тем самым, однако, и свидетельствует о его достоверности: когда лгут, то изобретают что-нибудь гораздо более обыкновенное и к обыденному подходящее, чтобы все поверили.

Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюцинация есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюцинации, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, — может быть, случай еще неслыханный. Но это дело медицинское, а я в нем мало знаю.

Другое дело психологическая часть факта. Тут являются перед нами два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его

целом. Это прежде всего забвение всякой меры во всем (и, заметьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся как бы каким-то наваждением). Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и — в частных случаях, но весьма нередких — броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговееющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. Особенно поражает та торопливость, стремительность, с которою русский человек спешит иногда заявить себя, в иные характерные минуты своей или народной жизни, заявить себя в хорошем или в поганом. Иногда тут просто нет удержу. Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть — тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, Бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником, — стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. Но зато с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жадью самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что

обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения. То есть то бывает всегда на счету как бы мелкого малодушия; тогда как в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе.

Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков. Страдальческая струя проходит через всю его историю, не от внешних только несчастий и бедствий, а бьет ключом из самого сердца народного. У русского народа даже в счастье непременно есть часть страдания, иначе счастье его для него неполно. Никогда, даже в самые торжественные минуты его истории, не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости Господа. Страданием своим русский народ как бы наслаждается. Что в целом народе, то и в отдельных типах, говоря, впрочем, лишь вообще. Вглядитесь, например, в многочисленные типы русского безобразника. Тут не один лишь разгул через край, иногда удивляющий дерзостью своих пределов и мерзостью падения души человеческой. Безобразник этот прежде всего сам страдалец. Наивно-торжественного довольства собою в русском человеке совсем даже нет, даже в глупом. Возьмите русского пьяницу и, например, хоть немецкого пьяницу: русский пакостнее немецкого, но пьяный немец несомненно глупее и смешнее русского. Немцы — народ по преимуществу самодовольный и

гордый собою. В пьяном же немце эти основные черты народные вырастают в размерах выпитого пива. Пьяный немец несомненно счастливый человек и никогда не плачет; он поет самохвальные песни и гордится собою. Приходит домой пьяный как стелька, но гордый собою. Русский пьяница любит пить с горя и плакать. Если же куражится, то не торжествует, а лишь буйнит. Всегда вспомнит какую-нибудь обиду и упрекает обидчика, тут ли он, нет ли. Он дерзостно, пожалуй, доказывает, что он чуть ли не генерал, горько ругается, если ему не верят, и, чтобы уверить, в конце концов всегда зовет «караул». Но ведь потому он так и безобразен, потому и зовет «караул», что в тайниках пьяной души своей наверно сам убежден, что он вовсе не «генерал», а только гадкий пьяница и опакостился ниже всякой скотины. Что в микроскопическом примере, то и в крупном. Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей, что в конце концов он лишь негодяй, и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до краю, борясь с накопляющимся ежеминутно в сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже более, чем вымещал на других в чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою.

Кто натолкнул обоих парней на спор о том: «Кто сделает дерзостнее?» — и какими причинами сложилась возможность подобного состязания — осталось неизвестным, но несомненно, что оба страдали — один

принимая вызов, другой предлагая его. Конечно, тут было что-нибудь предварительно: или затаенная ненависть между ними, или ненависть с детства, и даже неизвестная им самим и вдруг проявившаяся в минуту спора и вызова. Последнее вероятнее; и вероятно, они были друзьями до сей минуты и жили в согласии, которое становилось, чем далее, тем невыносимее; но в момент вызова напряжение взаимной ненависти и зависти жертвы к своему Мефистофелю уже было необыкновенное.

— Не побоюсь ничего, сделаю все, что укажешь; погибай душа, а осрамлю тебя!

— Хвастаешь, убежишь, как мышь в подполье, насмеюсь над тобой, погибай душа!

Можно было выбрать для состязания что-нибудь очень дерзкое и другого рода — разбой, убийство, открытое буйство против могущественного человека. Ведь поклялся же парень, что на все пойдет, и искуститель его знал, что на этот раз серьезно говорено, впрямь пойдет.

Нет. Самые страшные «дерзости» кажутся искустителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную дерзость, небывалую и немислимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное.

Немыслимую? А между тем одно уже то, что он именно остановился на ней, показывает, что он уже, может быть, мыслил о ней. Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползала в душу его, потрясала ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже, и ружье и огород, и держал только в страшной тайне — в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы

исполнить, да и не посмел бы, может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, проникало его душу изредка, манило его, а он робко подавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там хоть всё пропадай! И, уж конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но — «был же и я на таком верху!..».

Можно многое не сознавать, а лишь чувствовать. Можно очень много знать бессознательно. Но, не правда ли, любопытная душа, и, главное, из этого быта. В этом все ведь и дело. Хорошо бы тоже узнать, как он считал себя: виновнее или нет своей жертвы? Судя по кажущемуся его развитию, надо полагать, что считал виновнее или по крайней мере по вине; так что, вызывая жертву на «дерзость», вызывал и себя.

Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно, так, но Христа он знает и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос, и он любит образ его по-своему, то есть до страдания. Названием же православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего. Повторю: можно очень много знать бессознательно.

И вот надругаться над такой святыней народной, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во веки веков для одной лишь минуты торжества

отрицаньем и гордостью — ничего не мог выдумать русский Мефистофель дерзостнее! Возможность такого напряжения страсти, возможность таких мрачных и сложных ощущений в душе простолюдина поражает! И заметьте, все это возросло почти до сознательной идеи.

Жертва, однако же, не сдаётся, не смиряется, не пугается. По крайней мере, делает вид, что не пугается. Парень принимает вызов. Проходят дни, и он стоит на своем. Наступает уже не мечта, а самое дело: он ходит в церковь, слышит ежедневно слова Христовы и не отступает. Бывают страшные убийцы, не смущающиеся даже при виде убитой ими жертвы. Один из таких убийц, явный и уличенный на месте, не сознавался до конца и продолжал лгать перед следователем. Когда же тот встал и велел его отвести в острог, то он с умиленным видом попросил как милости проститься с лежавшею тут же убитою (его бывшею любовницею, которую он убил из ревности). Он нагнулся, поцеловал ее с умилением, заплакал и, не вставая с колен, еще раз повторил над нею, простирая руку, что он не виновен. Я только хочу заметить, до какой зверской степени может доходить в человеке бесчувственность.

Но здесь была совсем не бесчувственность. Сверх того, было еще нечто совсем особенное — мистический ужас, самая огромная сила над душой человеческой. Он несомненно был, судя по крайней мере по развязке дела. Но сильная душа парня с этим ужасом еще могла вступить в борьбу; он доказал это. Сила ли это, впрочем, или в последней степени малодушие? Вероятно, и то и другое вместе, в соприкосновении противоположностей. Тем не менее этот мистический ужас не только не порвал, но еще продлил борьбу, и, наверно, он-то и способствовал привести ее к окончанию именно тем, что

удалял от сердца грешника всякое чувство умиления, и чем сильнее подавлял его, тем невозможнее оно становилось. Ощущение ужаса есть чувство жесткое, сушит и каменит сердце для всякого умиления и высокого чувства. Вот почему преступник выдержал и момент перед чашей, хотя, может быть, и цепенея от страху до изнеможения. Я думаю тоже, что взаимная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болезненной злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, наверно, считал себя бессильным его кончить один. Для чего же они продолжали его, для чего же приняли столько муки? Они и не могли, впрочем, разорвать союз. Если бы их контракт был нарушен, то тотчас же возгорелась бы взаимная ненависть в десять раз сильнее прежнего и, наверно, произошло бы убийство: мученик убил бы своего мучителя.

Пусть и это. Даже и это бы ничего перед вынесенным жертвою ужасом. То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. Не простые же были это баловники, мальчишки тупые и глупые, — начиная с состязания о «дерзости» и кончая отчаянием перед старцем.

Заметьте еще, что искуситель не открыл своей жертве всей тайны: она еще не знала, выходя из церкви, что должна будет сделать с святыней, до самого того момента, как он велел принести ружье. Столько дней такой мистической неизвестности опять свидетельствуют об ужасном упорстве грешника. С другой стороны, и деревенский Мефистофель выказывает себя большим психологом.

Но, может быть, придя в огород, оба они уже не помнили себя? Парень помнил, однако, как заряжал ружье и наводил. Может быть, действовал лишь машинально, хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, — и не до, а уж после выстрела. Нет, вероятнее всего, что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. И уже потому, что жертва выдержала такое давление ужаса, нараставшего прогрессивно, повторю опять, она была несомненно одарена огромною душевною силой.

Обратим внимание на то, что зарядание ружья есть операция, во всяком случае требующая некоторого внимания. Самое труднейшее и невыносимое дело в подобную минуту, по-моему, есть способность оторваться от своего ужаса, от подавляющей собою идеи. Обыкновенно до последней степени пораженные ужасом уже не могут оторваться от его созерцания, от предмета или идеи, их поразивших: они стоят перед ними как вкопанные и своему ужасу смотрят прямо в глаза как

очарованные. Но парень зарядил ружье внимательно, он это помнил; он помнил, как потом стал наводить, помнил все до последнего момента. Могло быть и то, что процесс зарядания ружья был ему облегчением, исходом страждущей души его, и он рад был сосредоточить себя хотя бы одно только мгновение на каком-нибудь исходном внешнем предмете. Так бывает на гильотине с теми, которым рубят голову. Дюбарри^[22] кричала палачу: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!»^[23] В двадцать раз она бы выстрадала больше в эту даровую минуту, если б ей ее подарили, а все-таки кричала и молила о ней. Но если предположить, что зарядание ружья было для нашего грешника вроде как у Дюбарри «encore un moment», то, уж конечно, он бы не мог после такого момента опять обратиться к своему ужасу, от которого раз оторвался, и продолжать дело, наводить и стрелять. Тут просто бы онемели руки и перестали бы слушаться, ружье бы вывалилось из них само собою, несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю.

И вот в самый последний момент — вся ложь, вся низость поступка, все малодушие, принимаемое за силу, весь срам падения — все это вырвалось вдруг в одно мгновение из его сердца и стало перед ним в грозном обличии. Неимоверное видение предстало ему... все кончилось.

Суд прогремел из его сердца, конечно. Почему прогремел не сознательно, не внезапным прояснением

²² Дюбарри Мари-Жанна (1743–1793) — фаворитка французского короля Людовика XV.

²³ «Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!» (франц.)

ума и совести, почему проявился в образе, как бы совершенно внешним, независимым от его духа фактом? В этом огромная психологическая задача и дело Господа. Для него, для преступника, без сомнения, было делом Господним. Влас пошел по миру и потребовал страдания.

Ну а другой-то Влас, оставшийся, искуситель? Легенда не говорит, что он пополз за покаянием, не упоминает о нем ничего. Может, пополз и он, а может, и остался в деревне и живет себе до сих пор, опять пьет и зубоскалит по праздникам: ведь не он же видел видение. Так ли, впрочем? Очень бы желательно узнать и его историю, для сведения, для этюда.

Вот почему еще желательно бы: что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенский, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого страдания, человеческого унижения, — черт знает, может быть, из ученого наблюдения?

Если уж есть и такие черты даже и в народном характере (а в настоящее время все возможно предположить), да еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано было прежде о подобных чертах. Искуситель у г-на Островского в прекрасной комедии «Не так живи, как хочется» вышел даже очень плоховат. Жаль, что тут нельзя узнать ничего достоверного.

Конечно, интерес рассказанной истории, — если только в ней есть интерес, — лишь в том, что она

истинная. Но заглядывать в душу современного Власа иногда дело не лишнее. Современный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. Говорят, уж закутил. Рассказывают и печатают ужасы: пьянство, разбой, пьяные дети, пьяные матери, цинизм, нищета, бесчестность, безбожие. Соображают иные, серьезные, но несколько торопливые люди, и соображают по фактам, что если продолжится такой «кутеж» еще хоть только на десять лет, то и представить нельзя последствий, хотя бы только с экономической точки зрения. Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с невероятной силой обличения. Очнется Влас и возьмется за дело Божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу (в совершенно, может быть, неожиданном виде для наших либералов, и в этом будет много комического). Есть даже намеки на эту неожиданность, наклеиваются и теперь даже факты... Впрочем, об этом можно и после поговорить. Во всяком случае наша несостоятельность как «птенцов гнезда Петрова»^[24] в настоящий момент несомненна. Да ведь девятнадцатым февралем и закончился по-настоящему петровский период русской истории, так что мы давно уже вступили в полнейшую неизвестность.

²⁴ «Птенцы гнезда Петрова» — эти слова из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» Достоевский использует для обозначения образованного дворянства, сформировавшегося в России после петровских преобразований.

По поводу выставки

Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди — сочтемся», или даже любую, — и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, — и я, право, не знаю, что выйдет. Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны европейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща. (NB. Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное.) Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу,

что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, все комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), заляешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, — все это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски, без сомнения, тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, все характерное, все наше национальное по преимуществу (а стало быть, все истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемой. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее.

Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане, даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное... Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Все это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в

суждениях о России; на их видимую склонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебности к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы... Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы...

Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скучная природа»,^[25] вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто пронизывает всего, вы почти ее чувствуете, и на середине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.

²⁵ «Эта скучная природа»... — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...», особенно любимого Достоевским.

Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, — не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления. Но жанр, наш жанр — в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами и, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они, видимо, уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель... Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что

он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазававший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно, личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостью (нельзя же-с)... Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж очень хорош у него соловей!». Чай кончится, и начнется торг... Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец <...> Может, кто и растолкует, в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее — это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, пойдем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не

поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.

Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна; но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется... Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.

Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь,

однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Всё это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человечек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предположить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен»! Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так... что тут что-то вовсе другое...

Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое

произведение окажется гораздо полезнее для *его же целей*, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда,^[26] а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что

²⁶ ...окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)... — Имеется в виду статья Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», где упоминается стихотворение английского поэта Т. Гуда «Песня о рубашке», изображающее тяжелое положение женщины-швеи и направленное против эксплуатации женского труда.

решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова^[27] — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности... да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая» (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно. Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться... Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что

²⁷ Я читал две последние поэмы Некрасова... — Речь идет о поэмах «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская», напечатанных под общим заглавием «Русские женщины».

делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит... Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.

Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина, то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонки... и — и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, — именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к

этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не любя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу... Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские. Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.

Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла. Вот это какие иногда субъекты. Но все же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и

независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.

Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-н Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внуку» в романе «Лавка древностей»; нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внука» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно

«идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, готовится, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова:^[28] иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.

Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел

²⁸ Бронников Ф. А. (1827–1902) — профессор исторической живописи, автор упомянутой в тексте картины «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869), написанной в академической манере, на характерный для этого художника возвышенный античный сюжет.

собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю *nota bene*: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многообразии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности.) Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно, не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие и особенно давно прошедшее, завершённое, историческое (а жить и не воображать о прошлом нельзя), то событие *непрерывно* представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности — историческую

и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и при чем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?

Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут все фальшивое.

С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же все происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»; тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.

* * *

Однако я и забыл о выставке. Впрочем... Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.

Мечты и грезы

1

Мы в прошлом № «Гражданина» опять заговорили о пьянстве, или, скорее, о возможности исцеления от язвы всенародного пьянства, о наших надеждах, о нашей вере в ближайшее лучшее будущее. Но уже давно и невольно грусть и сомнения приходят на сердце. Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего делового человека нашего времени — *après moi le déluge*.^[29] Но людям праздным, непрактическим и не имеющим дел, право, простительно помечтать иногда о дальнейшем, если только мечтается. Мечтал же Поприщин («Записки сумасшедшего» Гоголя) об испанских делах: «...все эти события меня так убили и потрясли, что я...» и т. д., писал он сорок лет назад. Я признаюсь, что и меня

²⁹ После меня хоть потоп (*франц.*).

иногда многое потрясает, и, право, я даже в унынии от моих мечтаний. Я на днях мечтал, например, о положении России как великой европейской державы, и уж чего-чего не пришло мне в голову на эту грустную тему!

Взять уже то, что нам во что бы ни стало и как можно скорее надо стать великой европейской державой. Положим, мы и есть великая держава; но я только хочу сказать, что это нам слишком дорого стоит — гораздо дороже, чем другим великим державам, а это предурной признак. Так что даже оно как бы и не натурально выходит. Спешу, однако, оговориться: я единственно только с западнической точки зрения сужу, и вот с этой точки оно действительно так у меня выходит. Другое дело точка национальная и, так сказать, немножко славянофильская; тут, известно, есть вера в какие-то внутренние самобытные силы народа, в какие-то начала народные, совершенно личные и оригинальные, нашему народу присущие, его спасающие и поддерживающие. Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился.^[30] Разумеется, я желаю и по-прежнему продолжаю желать изо всех моих сил, чтобы драгоценные, твердые и самостоятельные начала, присущие народу русскому, существовали действительно; но согласитесь тоже — что же это за такие начала, которых даже сам г-н Пыпин не видит, не слышит и не примечает, которые спрятаны, спрятались и никак не хотят отыскаться? А потому

³⁰ *Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился.* — Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — историк литературы, долголетний сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», автор работ по древней и новой русской литературе, истории, общественной мысли, этнографии, фольклору. Речь идет о шестой части («Славянофильство») его труда «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. Исторические очерки».

невольно остается и мне обойтись без этих утешающих душу начал. Таким образом, и выходит у меня, что мы покамест всего только лепимся на нашей высоте великой державы, стараясь изо всех сил, чтобы не так скоро заметили это соседи. В этом нам чрезвычайно может помочь всеобщее европейское невежество во всем, что касается России. По крайней мере, до сих пор это невежество не подвержено было сомнению — обстоятельство, о котором нам вовсе нечего горевать; напротив, нам очень будет даже невыгодно, если соседи наши нас рассмотрят поближе и покороче. То, что они ничего не понимали в нас до сих пор, — в этом была наша великая сила. Но в том-то и дело, что теперь, увы, кажется, и они начинают нас понимать лучше прежнего; а это очень опасно.

Огромный сосед изучает нас неусыпно и, кажется, уже многое видит насквозь. Не вдаваясь в тонкости, возьмите хоть самые наглядные, в глаза бросающиеся у нас вещи. Возьмите наше пространство и наши границы (заселенные инородцами и чужеземцами, из года в год все более и более крепчающими в индивидуальности своих собственных инородческих, а отчасти и иноземных соседских элементов), возьмите и сообразите: во скольких точках мы стратегически уязвимы? Да нам войска, чтобы все это защитить (по моему, штатскому, впрочем, мнению), надо гораздо больше иметь, чем у наших соседей. Возьмите опять и то, что ныне воюют не столько оружием, сколько умом, и согласитесь, что это последнее обстоятельство даже особенно для нас невыгодно.

Теперь почти в каждые десять лет изменяется оружие, даже чаще. Лет через пятнадцать, может, будут стрелять уже не ружьями, а какой-нибудь молнией,

какою-нибудь всежигающею электрическою струею из машины. Скажите, что можем мы изобрести в этом роде, с тем чтобы приберечь в виде сюрприза для наших соседей? Что, если лет через пятнадцать у каждой великой державы будет заведено, потаенно и про запас, по одному такому сюрпризу на всякий случай? Увы, мы можем только перенимать и покупать оружие у других, и много-много что сумеем починить его сами. Чтобы изобретать такие машины, нужна наука самостоятельная, а не покупная; своя, а не выписная; укоренившаяся и свободная. У нас такой науки еще не имеется; да и покупной даже нет. Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекните: во что нам наша дорожная сеть, необходимая нам как великой державе, обойдется? И заметьте: там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоокеанских. Мы уже и теперь больно чувствуем, во что нам обошлось лишь начало нашей сети; каким тяжелым отвлечением капиталов в одну сторону ознаменовалось оно, в ущерб хотя бы бедному нашему земледелию и всякой другой промышленности. Тут дело не столько в денежной сумме, сколько в степени усилия нации. Впрочем, конца не будет, если по пунктам высчитывать наши нужды и наше убожество. Возьмите, наконец, просвещение, то есть науку, и посмотрите, насколько нам нужно догнать в этом смысле других. По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь из великих держав, — взяв и то, что время уже слишком

упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение.

Все это мои мечты, разумеется; но... повторяю, невольно мечтается иногда в этом смысле, а потому и продолжаю мечту. Заметьте, что я ценю все на деньги; но разве это верный расчет? Деньгами ни за что не купишь всего; так может только какой-нибудь необразованный купец рассуждать в комедии г-на Островского. Деньгами вы, например, настроите школ, но учителей сейчас не наделаете. Учитель — это штука тонкая; народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. Но, положим, наделаете деньгами не только учителей, но даже, наконец, и ученых; и что же? — все-таки людей не наделаете. Что в том, что он ученый, коли дела не смыслит? Педагогии он, например, выучится и будет с кафедры отлично преподавать педагогию, а сам все-таки педагогом не сделается. Люди, люди — это самое главное. Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не покупаются, а опять-таки только веками выделяются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. Человек идеи и науки самостоятельной, человек самостоятельно деловой образуется лишь долгою самостоятельной жизнью нации, вековым многострадальным трудом ее — одним словом, образуется всею историческою жизнью страны. Ну а историческая жизнь наша в последние два столетия была не совсем-таки самостоятельной. Ускорять же

искусственно необходимые и постоянные исторические моменты жизни народной никак невозможно. Мы видели пример на себе, и он до сих пор продолжается: еще два века тому назад хотели поспешить и все подогнать, а вместо того и застряли; ибо, несмотря на все торжественные возгласы наших западников, мы несомненно застряли. Наши западники — это такой народ, что сегодня трубят во все трубы с чрезвычайным злорадством и торжеством о том, что у нас нет ни науки, ни здравого смысла, ни терпения, ни умения; что нам дано только ползти за Европой, ей подражать во всем рабски и, в видах европейской опеки, преступно даже и думать о собственной нашей самостоятельности; а завтра, заикнитесь лишь только о вашем сомнении в безусловно целительной силе бывшего у нас два века назад переворота, — и тотчас же закричат они дружным хором, что все ваши мечты о народной самостоятельности — один только квас, квас и квас и что мы два века назад из толпы варваров стали европейцами, просвещеннейшими и счастливейшими, и по гроб нашей жизни должны вспоминать о сем с благодарностию.

Но оставим западников и положим, что деньгами все можно сделать, даже время купить, даже самобытность жизни воспроизвести как-нибудь на парах; спрашивается: откуда такие деньги достать? Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. И кто же хотел этого? это

случилось невольно, само собой, строгим историческим ходом событий. Освобожденный великим монаршим словом народ наш, неопытный в новой жизни и самобытно еще не живший, начинает первые шаги свои на новом пути: перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории по своей цельности и по своему характеру. Эти первые и уже собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной осторожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в довершение — дешевку и жида. Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке. Показали ль ему хоть что-нибудь лучше дешевки? Развлекли ли, научили ль чему-нибудь? Теперь в иных местностях, во многих даже местностях, кабаки стоят уже не для сотен жителей, а всего для десятков; мало того — для малых десятков. Есть местности, где на полсотни жителей и кабак, менее даже чем на полсотни. «Гражданин» уже сообщал раз, в особой статье, подробный бюджет теперешнего нашего кабака: возможности нет предположить, чтобы кабаки могли существовать лишь одним вином. Чем же, стало быть, они окупаются? Народным развратом, воровством, укрывательством, ростовщичеством, разбоем, разрушением семейства и стыдом народным — вот чем они окупаются!

Матери пьют, дети пьют, церкви пустеют, отцы разбойничают; бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли,^[31] а в кабак приняли!

³¹ ...бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли... — Имеется в виду памятник герою борьбы против польских интервентов Ивану Сусанину в

Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пьяниц? Но пусть, пусть (и дай боже!), пусть это лишь одна мечта пессимиста, в десять раз преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но... если в текущие десять, пятнадцать лет склонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то — не оправдается ли и вся мечта? Вот нам необходим бюджет великой державы, а потому очень, очень нужны деньги; спрашивается: кто же их будет выплачивать через эти пятнадцать лет, если настоящий порядок продолжится? Труд, промышленность? ибо правильный бюджет окупается лишь трудом и промышленностью. Но какой же образуется труд при таких кабаках? Настоящие, правильные капиталы возникают в стране не иначе как основываясь на всеобщем трудовом благосостоянии ее <...>. Не раз уже приходилось народу выручать себя! Он найдет в себе охранительную силу, которую всегда находил; найдет в себе начала, охраняющие и спасающие, — вот те самые, которых ни за что не находит в нем наша интеллигенция. Не захочет он сам кабака; захочет труда и порядка, захочет чести, а не кабака!..

И, слава богу, все это, кажется, подтверждается; по крайней мере, есть признаки; мы уже упоминали об обществах трезвости. Правда, они едва начинаются; попытки слабые, едва заметные, но — но только бы не помешали им развернуться вследствие каких-нибудь особенных поводов! Напротив — о, если бы их поддержать! Что, если б, с своей стороны, поддержали их и все наши передовые умы, наши литераторы, наши

социалисты, наше духовенство и все, все изнемогающие ежемесячно и печатно под тяжестью своего долга народу. Что, если бы поддержал их и нарождающийся наш школьный учитель! Я знаю, что я человек непрактический (теперь, после известной недавней речи г-на Спасовича,^[32] в этом даже лестно признаться), но мне — представьте себе — мне воображается, что даже самый беднейший какой-нибудь школьный учитель и тот бы ужасно много мог сделать и единственно одной лишь своей инициативой, захоти только сделать! В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно способен хотеть. На учительское место у нас большею частью приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и благородных, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучшему, а потом — или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случалось и, говорят, случается и теперь. Там, в Америке, какой-нибудь гнуснейший антрепренер морит его на грубой ручной работе, обсчитывает и даже тузит его кулаками, а он за каждым тузом восклицает про себя в умилении: «Боже, как эти же самые тузы на моей родине ретроградны и неблагородны и как, напротив, они здесь благородны, вкусны и либеральны!» И долго еще так ему будет

³² *Спасович* Владимир Данилович (1829–1906) — известный русский адвокат и писатель.

казаться; не изменять же из-за таких пустяков своим убеждениям! Но оставим его в Америке; я буду продолжать мою мысль. Моя мысль — напомню ее — в том, что даже самый мелкий сельский школьный учитель мог бы взять на себя весь почин, всю инициативу освобождения народа от варварской страсти к пьянству, если б только того захотел. На этот счет у меня есть даже сюжет одной повести, и, может быть, я рискну сообщить его читателю раньше повести...

Нечто о вранье

Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно — не случилось ли ему раз двадцать прибавить,

например, число верст, которое проскакали в час времени везшие его тогда-то лошади, если только это нужно было для усиления радостного впечатления в слушателе. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тотчас же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на пари обогнала железную дорогу, и т. д. и т. д. Ну а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечил здесь Боткин?^[33] Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!» Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного. Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидках и не зная в зуб толкнуть о естественных науках? Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам

³³ *Боткин* Сергей Петрович (1832–1889) — врач-терапевт, основатель физиологического направления в русской клинической медицине.

же его про себя и рассказывало? Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слушателя, упорно на вас устремленном (ибо в таких случаях почему-то с удесятеренным упорством смотрят друг другу в глаза); помните, как, несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы все-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее с нервно-уторопленными учтивостями, пожатием рук и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дернуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии крикнуть уже на лестницу сбежавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тетушки, то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит: *нет*, то есть что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницы о здоровье тетушки и что ничего подобного с ним никогда не случилось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь да рядом лжет совсем для себя не приметно, так что просто можно было совсем не заметить. Ведь что случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.

«Э, вздор! — скажут мне опять. — Лганье, невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на благородные

свойства характера, на чувство благодарности, например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться в числе проскаканных вами верст или в чудесах, сделанных с вами Боткиным. Но это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказание, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные. Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). Таким образом у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что все, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете.

Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить. И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное Богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и все это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреодолимое; но, в сознании, русские — хотя бы и самые полные самоотрицатели из них — все-таки с ничтожностью своею не так скоро соглашаются в таком

случае и непременно требуют уважения: «Я ведь совсем как англичанин, — рассуждает русский, — стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают». Двести лет выработывался этот главный тип нашего общества под неперменным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя — и результаты вышли самые полные. Нет ни немца, ни француза, нет в целом мире такого англичанина, который, сойдясь с другими, стыдился бы своего лица, если по совести уверен, что ничего не сделал дурного. Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина; а воспитанный русский знает и то, что не стыдиться своего лица, даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином, именно затем, чтоб и его приняли поскорей за такого же, который нигде и никогда не стыдится своего лица.

* * *

«Невинности, старина, говорено уже тысячу раз», — скажут опять. Пусть, но вот уже нечто похарактернее. Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и ни за что уступить не может. (Другое дело у себя дома и сам про себя.) Пункт этот — ум, желанье показаться умнее, чем есть, и — замечательно это — отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь *не глупее никого*. «Признай, дескать, меня, что я не глупее никого, и я тебя признаю, что и ты не глупей

никого». Опять-таки тут нечто вроде взаимной благодарности. Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешностью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. О, другое дело, если гениальное лицо сойдет с пьедестала или даже просто выйдет из моды: тогда нет строже русской интеллигенции к такому лицу, нет предела ее высокомерию, презрению, насмешке. Мы пренаивно удивляемся потом, если вдруг как-нибудь узнаем, что в Европе всё еще продолжают смотреть на сошедшее у нас с пьедестала лицо с уважением и ценить его по достоинству. Но зато тот же самый русский человек, хотя бы и преклонился пред гением в моде даже и без анализа, все-таки ни за что и никогда не признает себя глупее этого гения, пред которым сам сейчас преклонился, будь он разьевропейский. «Ну Гете, ну Либих,^[34] ну Бисмарк,^[35] ну положим... а все-таки и я тоже», — представляется каждому русскому непременно, даже из самых плюгавеньких, если только дойдет до того. И не то что представляется, ибо сознания тут почти никакого, а только как-то его всего дергает в этом смысле. Это какое-то непрерывное ощущение праздного и шатающегося по свету самолюбия, ничем не оправданного. Одним словом, до такого, может быть, самого высшего проявления человеческого достоинства — то есть признать себя глупее другого, когда другой

³⁴ *Либих* Юстус (1803–1873) — немецкий химик.

³⁵ *Бисмарк* Отто Эдуард Леопольд (1815–1898) — государственный и политический деятель Пруссии и Германии. С основания Германской империи в 1871 году до 1890 года занимал пост имперского канцлера. Оказал существенную помощь при подавлении Парижской коммуны. Сторонник укрепления Германии под прусской эгидой.

действительно умнее его, — русский человек высших классов никогда и ни в каком случае не может дойти, и даже я не знаю, могут ли быть исключения. Пусть не очень-то смеются над моим «парадоксом». Соперник Либиха, может быть, и в гимназии не окончил курса и, уж конечно, с Либихом не свяжется спорить о первенстве, когда ему скажут и укажут, что это вот Либих. Он промолчит — но все-таки его будет дергать, даже при Либихе... Другое дело, если б, например, он встретился с Либихом, не зная, что это вот Либих, хоть в вагоне железной дороги. И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия». Он удивил бы, конечно, Либиха, но — кто знает — в глазах слушателей остался бы, может быть, победителем. Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов. Тут именно происходит феномен, существующий только в русской интеллигентных классов душе: не только нет в душе этой, *лишь только она почувствует себя в публике*, сомнения в уме своем, но даже в самой полной учености, если только дело дойдет до учености. Про ум еще можно понять; но про ученость свою, казалось бы, каждый должен иметь самые точные сведения...

Конечно, все это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя... Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит... Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености.

Мне самому случилось выслушать недавно, сидя в вагоне, целый трактат о классических языках в продолжение двух часов дороги. Говорил один, а все слушали. Это был никому из пассажиров не знакомый господин, осанистый, зрелых лет, сдержанного и барского вида, веско и неторопливо выпускавший слова. Он всех заинтересовал. Очевидно было с самых первых слов его, что он не только в первый раз говорил, но даже, может быть, в первый раз и думал об этой теме, так что это была лишь блестящая импровизация. Он вполне отрицал классическое образование и введение его у нас называл «историческим и роковым дурачеством» — впрочем, это было единственное резкое слово, которое он себе позволил; тон его взят был слишком высоко и не позволял ему горячиться, из одного уж презрения к факту. Основания, на которых стоял он, были самые первоначальные, приличные разве лишь тринадцатилетнему школьнику, почти те же самые, на которых еще до сих пор стоят иные из наших газет, воюющие с классическими языками, например, «так как все латинские сочинения переведены, то и не надо латинского языка», и проч. и проч. — в этом роде. В нашем вагоне он произвел чрезвычайный эффект; многие, расставаясь с ним, благодарили его за доставленное удовольствие, особенно дамы. Я убежден, что он ушел, чрезвычайно уважая себя.

Теперь у нас в публике (в вагонах ли, в другом ли месте) разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей — на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят — в такой пафос иной раз войдут, что почти

надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смиренно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные. Задача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении давать врать другим и как можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная выгода. Но, как я сказал уже, есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провести: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения, ищут, жаждут учителей, и особенно женщины, особенно матери семейств. Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько

порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на все более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, — об этом уже нечего и упоминать. В другой раз мне, тоже в вагоне и тоже недавно, случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского и инженерного вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждой слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова: он принимал существование монастырей за нечто неотъемлемое от догматов веры, воображал, что монастыри содержатся от государства и дорого стоят казне, и, забывая, что монахи совершенно свободная ассоциация лиц, как и всякая другая, требовал во имя либерализма их уничтожения, как какую-то тиранию. Он кончил совершенным и безбрежным атеизмом на основании естественных наук и математики. Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук в продолжение всей своей диссертации. Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и все», — порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили,

расставаясь, за доставленное удовольствие, причем одна дама, мать семейства, щеголевато одетая и очень недурная собою, громко и с милым хихиканьем объявила, что она теперь совершенно убеждена, что в душе ее «один только пар». Этот господин тоже, должно быть, ушел с необыкновенным чувством уважения к себе.

Вот это-то уважение к себе и сбивает меня с толку. Что есть дураки и болтуны, — конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику — а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они хоть вскользь, а побывали в его голове. Но *ему не было стыдно, ему не было совестно!* Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом

обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества. Публика, то есть внешность, европейский облик, раз навсегда данный из Европы закон, — эта публика производит на всякого русского человека действие подавляющее: в публике он европеец, гражданин, рыцарь, республиканец, с совестью и с своим собственным, твердо установленным мнением. Дома, про себя, — «Э, черт ли в мнениях, да хошь бы высекли!» Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слесарем Шиллером, был страшным пророчеством, пророчеством гения, так ужасно угадавшего будущее, ибо Пироговых оказалось безмерно много, так много, что и не пересечь. Вспомните, что поручик сейчас же после приключения съел слоеный пирожок и отличился в тот же вечер в мазурке на именинах у одного видного чиновника. Как вы думаете: когда он откалывал мазурку и вывертывал, делая па, свои столь недавно оскорбленные члены, думал ли он, что его всего только часа два как высекли? Без сомнения думал. А было ли ему стыдно? Без сомнения нет! Проснувшись на другой день поутру, он наверно сказал себе: «Э, черт, стоит ли начинать, коли никто не узнает!..» Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами

бледнеет и гаснет даже все безграничное. Двухсотлетняя отвычка от малейшей самостоятельности характера и двухсотлетние плевки на свое русское лицо раздвинули русскую совесть до такой роковой безбрежности, от которой... ну чего можно ожидать, как вы думаете?

Я убежден, что поручик в состоянии был дойти до таких столпов или до такой безбрежности, что, может быть, в тот же вечер своей даме в мазурке, старшей дочери хозяина, объяснился в любви и сделал формальное предложение. Бесконечно *трагичен* образ этой барышни, порхающей с этим молодцом в очаровательном танце и не знающей, что ее кавалера всего только час как высекли и что это ему совсем ничего. Ну а как вы думаете, если б она узнала, а предложение все-таки было бы сделано — вышла бы она за него (разумеется, под условием, что более уж никто не узнает)? Увы, непременно бы вышла!

А все-таки из числа Пироговых и вообще всех «безбрежных», кажется, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине все более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине все это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она *серьезнее*, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб *казаться*. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?

Одна из современных фальшей

Некоторые из наших критиков заметили, что я в моем последнем романе «Бесы» воспользовался фабулой известного нечаевского дела;^[36] но тут же заявили, что собственно портретов или буквального воспроизведения нечаевской истории у меня нет; что взято явление и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это, скажу от себя, совершенно справедливо. До известного Нечаева и жертвы его, Иванова, в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее, в форме романа дать на него ответ: каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны — не Нечаев, а *Нечаевы*, и каким образом может случиться, что эти *Нечаевы* набирают себе под конец нечаевцев?

И вот недавно — впрочем, уже с месяц назад — прочел я в «Русском мире» следующие любопытные строки:

«...нам кажется, что нечаевское дело могло убедить, что *учащаяся* молодежь в подобных безумствах не бывает у нас замешана. Идиотический фанатик, вроде Нечаева, мог найти себе прозелитов только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодежи».

³⁶ *Нечаевское дело* — убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, совершенное 21 ноября 1869 года организатором тайного общества «Народная расправа» С. Г. Нечаевым при участии П. Г. Успенского, А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова, Н. Н. Николаева.

И далее:

«...тем более что еще на днях министр народного просвещения (в Киеве) заявил, что после осмотра учебных заведений в 7 округах он может сказать, что «последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательнее работает».

Сами по себе, то есть судя безотносительно, строки эти довольно ничтожны (автор, надеюсь, извинит меня). Но в них есть выверт и старая приевшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что Нечаевы если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики, а если им и удастся найти себе прозелитов, то непременно «только среди праздной, недоразвитой и *вовсе* не учащейся молодежи». Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом собственно автор статьи «Русского мира»: хотел ли он польстить учащейся молодежи? Или, напротив, хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, — то есть для ее же пользы, — и для достижения цели употребил столь известный прием гувернанток и нянюшек с маленькими ребятами: вот, дескать, милые дети, видите, какие *те* нехорошие буяны, кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие «недоразвитки»; вы же вот такие милые хваленые паиньки, за столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостинцу дадут. Или, наконец, просто-запросто автору захотелось «защитить» нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким?

Прямо скажу: хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статейки «Русского мира» не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтоб оговориться окончательно, прибавлю, что ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я склонен считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей беззащитности во всяком другом случае. Но кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид (несмотря даже на то, что является в «Русском мире»), — кроме того, бросается в глаза и то, что никогда еще не являлась она в столь обнаженном, точном и безыскусственном виде, как в этой статейке. Подлинно, заставь иного человека молиться Богу, и он лоб расшибет. Вот в этом-то виде и любопытно проследить эту ложь и вывести ее на свет по возможности, ибо когда-то еще дождешься в другой раз такой безыскусственной откровенности!

Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времен в нашей газетной прессе принято за правило «защищать молодежь», — против кого? против чего? — это иногда остается во мраке неизвестности и таким образом часто принимает пребестолковый и даже прекомический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что «вот, дескать, мы либеральные, а вы-то нападаете на молодежь, стало быть, вы ретрограднее». Замечу в скобках, что в той же статейке «Русского мира» есть обвинение, прямо направленное на «Гражданин», в том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в

Петербурге, Москве и в Харькове. Не говоря уже о том, что автор статейки сам *отлично хорошо знает*, что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было, я просто попрошу нашего обвинителя объяснить: что значит обвинять молодежь поголовно? Я совершенно не понимаю этого! Это, конечно, значит сплошь почему-то не любить всю молодежь, — и не столько даже молодежь, сколько известный возраст наших молодых людей! Что за сумбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение и защита сделаны сплеча, даже не думавши много. Стоит, дескать, об этом задумываться: показал, что сам либерален, что хвалю молодежь, что ругаю тех, которые ее не хвалят, ну и довольно для подписки, и с плеч долой! Именно с плеч долой — ибо только самый злейший враг нашей молодежи мог бы решиться защищать ее *таким образом* и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся (нечаянно — я убежден в этом теперь более, чем когда-нибудь) простодушный автор статейки «Русского мира».

В том-то и вся важность, что прием этот не выдумка одного только «Русского мира», а прием, общий многим органам нашей псевдолиберальной прессы, и там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, *во-первых*, в сплошной похвале молодежи, во всем и во всяком случае, и в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволяют себе отнестись даже и к молодежи критически. Прием этот основан на смешном предположении, что молодежь настолько еще не доросла и так любит лесть, что не разберет и примет все за чистую монету. И вправду, достигли того, что уже очень многие из молодежи (мы твердо верим, что далеко не все) действительно полюбили грубую похвалу, требуют

себе лести и без разбора готовы обвинить всех тех, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, тут пока еще вред всего только временный; с опытом и с возрастом и взгляды молодежи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечет уже непосредственный и вещественный вред.

Эта другая сторона приема «защиты нашей молодежи пред обществом и перед правительством» состоит в простом *отрицании факта*, иногда самом грубом и нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клеветает на молодежь, значит, враг нашей молодежи!

Вот прием. Повторяю, самый злейший враг нашей молодежи не выдумал бы ничего вреднее для прямых ее интересов. Мне непременно хочется доказать это.

Отрицанием факта во что бы ни стало можно достигнуть удивительных результатов.

Ну что вы тем докажете, господа, и чем облегчите дело, если начнете удостоверять (и, главное, бог знает для чего), что «увлекающаяся» молодежь, то есть те, которые могут «увлечься» (пусть даже и Нечаевым), непременно должны состоять из одних только «праздных недоразвитков», из тех, которые *вовсе* не учатся, — одним словом, из шалопаев с самыми дурными наклонностями? Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы учащихся и сводя непременно лишь на «праздных недоразвитков», вы тем самым уже заранее обвиняете этих несчастных и отказываетесь от них окончательно: «Сами виноваты, буяны и ленивцы, и смирно за столом не умели сидеть». Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым (а в этом-то и состоит единственная возможная

защита несчастных «заблудшихся!»), вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их и что эти юноши, даже и без всякого преступления, должны возбуждать к себе презрение и отвращение.

С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь *деле* оказались бы замешанными вовсе не недоразвитки, вовсе не буяны, болтающие ногами под столом, вовсе не одни ленивцы, а, напротив, молодежь прилежная, горячая, именно учащаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная? (Поймите это слово: *направленная*. Где, в какой Европе найдете вы теперь более шаткости во всевозможных направлениях, как у нас в наше время!) И вот, по вашей теории «лентяев и недоразвитков», эти новые «несчастные» окажутся уже втрое виновнее: «Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, — нет у них оправданий! Они втрое менее, чем праздные недоразвитки, могут заслуживать милосердия!» Вот результат, прямо выходящий из вашей теории.

* * *

Позвольте, господа (я говорю вообще, а не одному только сотруднику «Русского мира»), вы, на основании «отрицания факта», утверждаете, что Нечаевы непременно должны быть идиотами, «идиотическими фанатиками». Так ли это опять? Справедливо ли? Устраняю в настоящем случае Нечаева, а говорю «Нечаевы», во множественном числе. Да, из Нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по

происхождению жажды интриги, власти, с страстной и болезненно-ранней потребностью выказать личность, но — почему же они «идиоты»? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прехитрыми и даже образованными людьми. Или вы думаете, что знания, «научки», школьные сведеньица (хотя бы университетские) так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков? Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут тотчас же, по-вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих прегрешению.

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», — говорит один Нечаев, положим, у меня в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев, должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, *когда уже все прошло*, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев. Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное; ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, *в случае если б так обернулось дело?* Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло *так обернуться дело?* Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: *Нечаевым*, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее буду продолжать только об одном себе, о других же если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. *Дело* же петрашевцев — это такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, петрашевцами, не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте, или из тех, которые остались нетронутыми, — это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал

опровергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные — против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его.

Луи Блана^[37] напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно, густейшие длинные и черные волосы) члены-товарищи его Национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго^[38] (астроном, член правительства, теперь уже умерший), в то несчастное утро в мае месяце 48-го года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Журнал же Консидерана,^[39] равно как статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и

³⁷ *Блан Жан Жозеф Луи* (1811–1882) — французский политический деятель, публицист, историк.

³⁸ *Араго Доминик Франсуа* (1786–1853) — французский ученый и политический деятель.

³⁹ *Консидеран Виктор* (1808–1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье.

ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (то есть из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, чтоб настоящее провалилось, — и вот пока вся формула политического социализма.) Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда, даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, согласно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 48-го года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 46 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного мира» и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу

во всеобщем развитии, и проч. и проч. — все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий — а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?

Чудовищное и отвратительное московское убийство Иванова, безо всякого сомнения, представлено было убийцей Нечаевым своим жертвам «нечаевцам» как дело политическое и полезное для будущего «общего и великого дела». Иначе понять нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многообразные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем! Это и не у нас одних, а на всем свете

так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. Но у нас это более чем где-нибудь возможно, и именно в наше время, и эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. В возможности считать себя, и даже иногда почти в самом деле быть, немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость, — вот в чем наша современная беда!

Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники ее, чуть лишь только она занималась и училась прилежно, немедленно требуете от нее такой стойкости и такой зрелости убеждений, какой не было даже у их отцов, а теперь менее чем когда-нибудь есть. Наши юные люди наших интеллигентных сословий, развитые в семействах своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов) и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей; где дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющемся в последнее время, — тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла: в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сани

европейца под неперменным условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!

* * *

Но вы этим слишком общим указанием, кажется, не поверите. «Образование, — твердите вы, — прилежание»; «праздные недоразвитки», — повторяете вы. Заметьте, господа, что все эти европейские высшие учителя наши, свет и надежда наша, все эти Милли,^[40] Дарвины^[41] и Штраусы преудивительно смотрят иногда на нравственные обязанности современного человека. А между тем это уже не лентяи, ничему не учившиеся, и не буяны, болтающие ногами под столом. Вы засмеетесь и спросите: к чему вздумалось мне заговорить непременно об этих именах? А потому, что трудно и представить себе, говоря о нашей молодежи, интеллигентной, горячей и учащейся, чтоб эти имена, например, миновали ее при первых шагах ее в жизни. Разве может русский юноша остаться индифферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» пусть мне простят, единственно потому что эта русская сторона этих учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже и не подозреваема. Мне скажут, пожалуй, что эти

⁴⁰ *Милль* Джон Стюарт (1805–1873) — английский философ, логик, экономист.

⁴¹ *Дарвин* Чарлз Роберт (1809–1882) — основоположник научной теории развития органического мира.

господа вовсе не учат злодейству; что если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом и учение его возвышенно и благородно как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрессивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново — то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может прийти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе.

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступить в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем...

разумеется опять-таки, если попадет на Нечаева; это уже sine qua non...^[42]

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давнопрошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием

⁴² Непременное условие (*букв.* — без чего нет) (*лат.*).

исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.

Повторяю, это не так скоро произошло, а постепенно и после очень-очень долгого времени. Не гордость, не самолюбие мешали сознаться. А между тем я был, может быть, одним из тех (я опять про себя одного говорю), которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь десять лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частью, выносит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, — если и мне, говорю я, было так

трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшим с народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов?..

Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно; да и не идет как-то к фельетонной статье.

* * *

Господа защитники молодежи нашей, возьмите, наконец, ту среду, то общество, в котором она возрастает, и спросите себя: может ли быть в наше время что-нибудь менее защищено от *известных влияний?*

Прежде всего поставьте вопрос: если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями; если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное (большею частию) отрицание; если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием; если великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях «общечеловеческих»; если еще в детстве их прогоняли их нянек за то, что те над колыбельками их читали «Богородицу», — то скажите: что можно требовать от этих детей и — гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделяваться одним лишь отрицанием факта?

Недавно я наткнулся в газетах на следующее entrefilet:^[43]

«Камско-Волжская газета» сообщает, что на днях три гимназиста 2-й казанской гимназии, 3-го класса, *привлечены к ответственности* по обвинению в каком-то преступлении, имеющем связь с *их предполагавшимся бегством в Америку* («С. — Пет<ербургские> вед<омости>», 13 ноября).

Двадцать лет назад известие о каких-то бегущих в Америку гимназистах из 3-го класса гимназии показалось бы мне сумбуром. Но уж в одном том обстоятельстве, что *теперь* это не кажется мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я *понимаю*, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание!

Оправдание! Боже мой, возможно ли так сказать!

Я знаю, что это не первые гимназисты, что уже бежали раньше их и другие, а те потому, что бежали старшие братья и отцы их. Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике,^[44] бежавшем *пешком*, через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон, где тот определил его в свою типографию наборщиком? Помните рассказ самого Герцена о том *кадете*, который отправился, кажется, на Филиппинские острова заводить коммуну и оставил ему 20 000 франков на будущих эмигрантов? А между тем все это уже древняя история! С

⁴³ Заметка (франц.).

⁴⁴ Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицерике... — Речь идет об очерке русского литератора Василия Ивановича Кельсиева «Из рассказов об эмигрантах» (1869).

тех пор бежали в Америку изведать «свободный труд в свободном государстве» старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры... разве только что не было одних семинаристов. Винить ли таких маленьких детей, этих трех гимназистов, если и их слабыми головенками одолели *великие идеи* о «свободном труде в свободном государстве» и о коммуне и об общеевропейском человеке; винить ли за то, что вся эта дребедень кажется им религией, а абсентизм и измена отечеству — добродетелью? А если винить, то в какой же степени — вот вопрос.

Автор статейки «Русского мира» в подкрепление своей идеи, что в «подобных безумствах» замешаны у нас лишь *одни* лентяи и праздношатающиеся недоразвитки, приводит столь известные и отрадные слова министра народного просвещения, недавно высказанные им в Киеве, о том, что он имел случай убедиться после осмотра учебных заведений в 7 учебных округах, что *«последние годы молодежь несравненно серьезнее относится к делу науки, несравненно более и основательно работает»*.

Да, это, конечно, слова отрадные, слова, в которых, может быть, *единственная* надежда наша. В учебной реформе нынешнего царствования — чуть не вся наша будущность, и мы знаем это. Но сам же министр просвещения, помнится, заявил в той же речи своей, что еще долго ждать окончательных результатов реформы. Мы всегда веровали, что наша молодежь слишком способна отнестись к делу науки серьезнее. Но пока еще кругом нас такой туман фальшивых идей, столько миражей и предрассудков окружает еще и нас и молодежь нашу, а вся общественная жизнь наша, жизнь отцов и матерей этой молодежи, принимает все более и

более такой странный вид, что поневоле приискиваешь иногда всевозможные средства, чтобы выйти из недоумения. Одно из таких средств — самим быть поменее бессердечными, не стыдиться хоть иногда, что вас кто-нибудь назовет гражданином, и... хоть иногда сказать правду, если б даже она была и недостаточно, по-вашему, либеральна.

Дневник писателя. 1876

Январь

Вместо предисловия

О Большой и Малой Медведицах, о молитве великого Гёте и вообще о дурных привычках

...Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку боялся, что вот его возьмут да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с полным спокойствием.

Нынче все с полным спокойствием. Спокойны и, может быть, даже счастливы. Вряд ли кто дает себе отчет, всякий действует «просто», а это уже полное счастье. Нынче, как и прежде, все проедены самолюбием, но прежнее самолюбие входило робко, оглядывалось лихорадочно, вглядывалось в физиономии: «Так ли я вошел? Так ли я сказал?» Нынче же всякий и прежде всего уверен, входя куда-нибудь, что все принадлежит ему одному. Если же не ему, то он даже и не сердится, а мигом решает дело; не слышали ли вы про такие записочки:

«Милый папаша, мне двадцать три года, а я еще ничего не сделал; убежденный, что из меня ничего не выйдет, я решился покончить с жизнью...»

И застреливается. Но тут хоть что-нибудь да понятно: «Для чего-де жить, как не для гордости?» А другой посмотрит, походит и застрелится молча, единственно из-за того, что у него нет денег, чтобы нанять любовницу. Это уже полное свинство.

Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают.^[45] «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и вынырнет, и именно там, где наметил». Я убежден, напротив, что он вовсе ничего не думает, что он решительно не в силах составить понятие, до дикости неразвит, и если чего захочет, то утробно, а не сознательно; просто полное свинство, и вовсе тут нет ничего либерального.

И при этом ни одного гамлетовского вопроса:

Но страх, что будет там...

И в этом ужасно много странного. Неужели это безмыслие в русской природе? Я говорю безмыслие, а не бессмыслие. Ну, не верь, но хоть помысли. В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется *я* и есть существо бессмертное. Он даже как будто никогда не слыхал о том ровно ничего. И, однако, он вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера... У наших — полное *tabula rasa*,^[46] да и какой тут Вольтер: просто нет денег, чтобы нанять любовницу, и больше ничего.

⁴⁵ Уверяют печатно... что они много думают. — Полемический намек на рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина «Непочтительный Коронат».

⁴⁶ Пустота (букв. — чистая доска) (лат.).

Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним. О, как сказался в этой черточке только что начинавшийся тогда Гете! Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он осознавал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с бесконечностью бытия... и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему: кто он? — он обязан лишь *своему лику человеческому*.

«Великий Дух, благодарю Тебя за лик человеческий, Тобою данный мне».

Вот какова должна была быть молитва великого Гете во всю жизнь его. У нас разбивают этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов, а с Медведицами, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попрощаться, а и вздумает, так не станет: очень уж это ему стыдно будет.

— О чем это вы заговорили? — спросит меня удивленный читатель.

— Я хотел было написать предисловие, потому что нельзя же совсем без предисловия.

— В таком случае лучше объясните ваше направление, ваши убеждения, объясните: что вы за человек и как осмелились объявить «Дневник писателя»?

Но это очень трудно, и я вижу, что я не мастер писать предисловия. Предисловие, может быть, так же трудно написать, как и письмо. Что же до либерализма (вместо слова «направление» я уже прямо буду употреблять слово: «либерализм»), что до либерализма, то всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих,^[47] говоря о том, как встретила пресса наша новый 1876 год, упоминает, между прочим, не без едкости, что все обошлось достаточно либерально. Я рад, что он проявил тут едкость. Действительно, либерализм наш обратился в последнее время повсеместно — или в ремесло, или в дурную привычку. То есть сама по себе это была бы вовсе не дурная привычка, но у нас все это как-то так устроилось. И даже странно: либерализм наш, казалось бы, принадлежит к разряду успокоенных либерализмов; успокоенных и успокоившихся, что, по-моему, очень уж скверно, ибо квиетизм^[48] всего бы меньше, кажется, мог ладить с либерализмом. И что же, несмотря на такой покой, повсеместно являются несомненные признаки, что в обществе нашем мало-помалу совершенно исчезает понимание о том, что либерально, а что вовсе нет, и в этом смысле начинают сильно сбиваться; есть примеры даже чрезвычайных случаев сбивчивости. Короче, либералы наши, вместо того чтоб стать свободнее, связали себя либерализмом

⁴⁷ ...всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих... — Речь идет о фельетоне «Недельные очерки и картинки» А. С. Суворина, выступавшего под псевдонимом Незнакомец.

⁴⁸ *Квиетизм* (от лат. *quietus* — спокойный безмятежный) — религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному «спасению». Возникло в XVII веке внутри католицизма, было осуждено церковными инстанциями. Переносное значение — созерцательность, бездейственность.

как веревками, а потому и я, пользуясь сим любопытным случаем, о подробностях либерализма моего умолчу. Но вообще скажу, что считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокоиваться. Ну вот и довольно об этом. Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился: «Je suis un homme heureux qui n'a pas l'air content», то есть по-русски: «Я человек счастливый, но — кое-чем недовольный»...

На этом я кончаю предисловие. Да и написал-то его лишь для формы.

Будущий роман

Опять «случайное семейство»

В клубе художников была елка и детский бал, и я отправился посмотреть на детей. Я и прежде всегда смотрел на детей, но теперь присматриваюсь особенно. Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении. Поэма готова и создалась прежде всего, как и всегда должно быть у романиста. Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства.

Когда, полтора года назад, Николай Алексеевич Некрасов приглашал меня написать роман для «Отечественных записок», я чуть было не начал тогда моих «Отцов и детей», но удержался, и слава богу: я был не готов. А пока я написал лишь «Подростка» — эту первую пробу моей мысли. Но тут дитя уже вышло из детства и появилось лишь неготовым человеком, робко и

дерзко желающим поскорее ступить свой первый шаг в жизни. Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и «случайность» свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любит его еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — все это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на Бога. Всё это выкидыши общества, «случайные» члены «случайных» семей.

В газетах все недавно прочли об убийстве мещанки Перовой и об самоубийстве ее убийцы. Она с ним жила, он был работником в типографии, но потерял место, она же снимала квартиру и пускала жильцов. Началось несогласие. Перова просила его ее оставить. Характер убийцы был из новейших: «Не мне, так никому». Он дал ей слово, что «оставит ее», и варварски зарезал ее ночью, обдуманно и преднамеренно, а затем зарезался сам. Перова оставила двух детей, мальчиков 12 и 9 лет, прижитых ею незаконно, но не от убийцы, а еще прежде знакомства с ним. Она их любила. Оба они были свидетелями, как с вечера он, в страшной сцене, измучил их мать попреками и довел до обморока, и просили ее не ходить к нему в комнату, но она пошла.

Газета «Голос» взывает к публике о помощи «несчастливым сиротам», из коих один, старший, воспитывался в 5-й гимназии, а другой пока жил дома. Вот опять «случайное семейство», опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость еще с тех дней,

...КОГДА НАМ НОВЫ

Все впечатленья бытия,^[49]

а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая, замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век. Да благословит Господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. На этот счет общество наше отзывчиво и благородно. Неужели им оставить гимназию, если уж они начали с гимназии? Старший, говорят, не оставит, и его судьба будто уж устроена, а младший? Неужто соберут рублей семьдесят или сто, а там и забудут про них? Спасибо и «Голосу», что напоминает нам о несчастных.

**Елка в клубе художников. Дети
мыслящие и дети облегчаемые.
«Обжорливая младость». Вуйки.
Толкающиеся подростки**

**Поторопившийся московский
капитан**

Елку и танцы в клубе художников я, конечно, не стану подробно описывать: все это было уже давно и в свое время описано, так что я сам прочел с большим

⁴⁹ ...когда нам новы//Все впечатленья бытия... — Перефразированная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон».

удовольствием в других фельетонах. Скажу лишь, что слишком давно перед тем нигде не был, ни в одном собрании, и долго жил уединенно.

Сначала танцевали дети, все в прелестных костюмах. Любопытно проследить, как самые сложные понятия прививаются к ребенку совсем незаметно, и он, еще не умея связать двух мыслей, великолепно иногда понимает самые глубокие жизненные вещи. Один ученый немец сказал, что всякий ребенок, достигая первых трех лет своей жизни, уже приобретает целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стариком в могилу. Тут были даже шестилетние дети, но я наверно знаю, что они уже в совершенстве понимали: почему и зачем они приехали сюда, разряженные в такие дорогие платьица, а дома ходят замарашками (при теперешних средствах среднего общества — непременно замарашками). Мало того, они наверно уже понимают, что так именно и надо, что это вовсе не уклонение, а нормальный закон природы. Конечно, на словах не выразят; но внутренне знают, а это, однако же, чрезвычайно сложная мысль.

Из детей мне больше понравились самые маленькие; очень были милы и развязны. Постарше уже развязны с некоторою дерзостью. Разумеется, всех развязнее и веселее была будущая середина и бездарность, это уже общий закон: середина всегда развязна, как в детях, так и в родителях. Более даровитые и обособленные из детей всегда сдержаннее, или если уж веселы, то с непременной повадкой вести за собою других и командовать. Жаль еще тоже, что детям теперь так всё облегчают — не только всякое изучение, всякое приобретение знаний, но даже игру и игрушки. Чуть только ребенок станет лепетать первые слова, и уже тотчас же начинают его облегчать. Вся педагогика

ушла теперь в заботу об облегчении. Иногда облегчение вовсе не есть развитие, а, даже напротив, есть отупление. Две-три мысли, два-три впечатления поглубже, выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, так и страданием), проведут ребенка гораздо глубже в жизнь, чем самая облегченная школа, из которой сплошь да рядом выходит ни то ни се, ни доброе ни злое, даже и в разврате не развратное, и в добродетели не добродетельное.

Что устрицы, пришли? О радость!

Летит обжорливая младость

Глотать...^[50]

Вот эта-то «обжорливая младость» (единственный дрянной стих у Пушкина потому, что высказан совсем без иронии, а почти с похвалой) — вот эта-то обжорливая младость из чего-нибудь да делается же? Скверная младость и нежелательная, и я уверен, что слишком облегченное воспитание чрезвычайно способствует ее выделке; а у нас уж как этого добра много!

Девочки все-таки понятнее мальчиков. Почему это девочки, и почти вплоть до совершеннолетия (но не далее), всегда развитее или кажутся развитее однолетних с ними мальчиков? Девочки особенно понятны в танцах: так и прозреваешь в иной будущую «Вуйку», которая ни за что не сумеет выйти замуж, несмотря на все желание. Вуйками я называю тех девиц, которые до тридцати почти лет отвечают вам: вуй да

⁵⁰ *Что устрицы, пришли? О радость//Летит обжорливая младость//Глотать...* — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

нон. Зато есть и такие, которые, о сию пору видно, весьма скоро выйдут замуж, тотчас как пожелают.

Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право, нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители.

Но мне все чрезвычайно нравилось, и если бы только не толкались подростки, то все обошлось бы к полному удовольствию. В самом деле, взрослые все празднично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, и которых была тьма) — толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. Меня толкнули раз пятьдесят; может быть, их так тому и учат для развития в них развязности. Тем не менее мне все нравилось, с долгой отвычки, несмотря даже на страшную духоту, на электрические солнца и на неистовые командные крики балетного распорядителя танцев.

Я взял на днях один номер «Петербургской газеты» и в нем прочел корреспонденцию из Москвы о скандалах на праздниках в дворянском собрании, в артистическом кружке, в театре, в маскараде и проч. Если только верить корреспонденту (ибо корреспондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не было ближе к скандалу, как теперь. И странно: отчего это, еще с самого моего детства, и во всю мою жизнь, чуть только я попадал в большое праздничное собрание русских людей, тотчас всегда мне начинало казаться, что это они только так, а вдруг

возьмут, встанут и сделают дебош, совсем как у себя дома. Мысль нелепая и фантастическая, — и как я стыдился и упрекал себя за эту мысль еще в детстве! Мысль, не выдерживающая ни малейшей критики. О, конечно, купцы и капитаны, о которых рассказывает правдивый корреспондент (я ему вполне верю), и прежде были и всегда были, это тип неумиряющий; но всё же они более боялись и скрывали чувства, а теперь нет-нет и вдруг прорвется, на самую середину, такой господин, который считает себя совсем уже в новом праве. И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что их за это теперь уже похвалят, а не выведут. С другой стороны, я понимаю и то, что чрезвычайно приятно (о, многим, многим!) встать посреди собрания, где всё кругом, дамы, кавалеры и даже начальство так сладки в речах, так учтивы и равны со всеми, что как будто и в самом деле в Европе, — встать посреди этих европейцев и вдруг что-нибудь гаркнуть на чистейшем национальном наречии, — свистнуть кому-нибудь оплеуху, отмочить пакость девушке и вообще тут же среди залы нагадить: «Вот, дескать, вам за двухсотлетний европеизм, а мы вот они, все как были, никуда не исчезли!» Это приятно. Но все же дикарь ошибется: его не признают и выведут. Кто выведет? Полицейская сила? Нет-с, совсем не полицейская сила, а вот именно такие же самые дикари, как и этот дикарь! Вот она где сила. Объяснюсь.

Знаете ли, кому, может быть, всех приятнее и драгоценнее этот европейский и праздничный вид собирающегося по-европейски русского общества? А вот именно Сквозникам-Дмухановским, Чичиковым и даже,

может быть, Держиморде, то есть именно таким лицам, которые у себя дома, в частной жизни своей — в высшей степени национальны. О, у них есть и свои собрания и танцы, там, у себя дома, но они их не ценят и не уважают, а ценят бал губернаторский, бал высшего общества, об котором слышали от Хлестакова, а почему? А именно потому, что сами не похожи на хорошее общество. Вот почему ему и дороги европейские формы, хотя он твердо знает, что сам, лично, он не раскается и вернется с европейского бала домой все тем же самым кулачником; но он утешен, ибо хоть в идеале да почтил добродетель. О, он совершенно знает, что все это мираж; но все же он, побывав на бале, удостоверился, что этот мираж продолжается, чем-то все еще держится, какою-то невидимую, но чрезвычайною силою, и что вот он сам даже не посмел выйти на средину и что-нибудь гаркнуть на национальном наречии, — и мысль о том, что ему этого не позволили, да и впредь не позволят, чрезвычайно ему приятна. Вы не поверите, до какой степени может варвар полюбить Европу; все же он тем как бы тоже участвует в культе. Без сомнения, он часто и определить не в силах, в чем состоит этот культ. Хлестаков, например, полагал, что этот культ заключается в том арбузе в сто рублей, который подают на балах высшего общества. Может быть, Сквозник-Дмухановский так и остался до сих пор в той же самой уверенности про арбуз, хотя Хлестакова и раскусил, и презирает его, но он рад хоть и в арбузе почтить добродетель. И тут вовсе не лицемерие, а самая полная искренность, мало того — потребность. Да и лицемерие тут даже хорошо действует, ибо что такое лицемерие? Лицемерие есть та самая дань, которую порок обязан платить добродетели, — мысль безмерно

утешительная для человека, желающего оставаться порочным практически, а между тем не разрывать, хоть в душе, с добродетелью. О, порок ужасно любит платить дань добродетели, и это очень хорошо; пока ведь для нас и того достаточно, не правда ли? А потому и гаркнувший среди залы в Москве капитан продолжает быть лишь исключением и поторопившимся человеком, ну, по крайней мере, пока; но ведь и «пока» даже утешительно в наше зыбучее время.

Таким образом бал есть решительно консервативная вещь, в лучшем смысле слова, и я совсем не шучу, говоря это.

Золотой век в кармане

А впрочем, мне было и скучно, то есть не скучно, а немного досадно. Кончился детский бал и начался бал отцов, и боже, какая, однако, бездарность! Все в новых костюмах, и никто не умеет носить костюм; все веселятся, и никто не весел; все самолюбивы, и никто не умеет себя показать; все завистливы, и все молчат и сторонятся. Даже танцевать не умеют. Взгляните на этого вертящегося офицера очень маленького роста (такого, очень маленького ростом и зверски вертящегося офицера вы встретите непременно на всех балах среднего общества). Весь танец его, весь прием его состоит лишь в том, что он с каким-то почти зверством, какими-то саккадами^[51] вертит свою даму и в состоянии перевертеть тридцать — сорок дам сряду и гордится этим; но какая же тут красота! Танец — это ведь почти объяснение в любви (вспомните менуэт), а он точно

⁵¹ ...какими-то саккадами... (от франц. saccade — рывок) — сильный толчок.

дерется. И пришла мне в голову одна фантастическая и донельзя дикая мысль: «Ну что, — подумал я, — если б все эти милые и почтенные гости захотели, хоть на миг один, стать искренними и простодушными, — во что бы обратилась тогда вдруг эта душная зала? Ну что, если б каждый из них вдруг узнал весь секрет? Что, если б каждый из них вдруг узнал, сколько заключено в нем прямотушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, великодушных чувств, добрых желаний, ума, — куда ума! — остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и это в каждом, решительно в каждом из них! Да, господа, в каждом из вас все это есть и заключено, и никто-то, никто-то из вас про это ничего не знает! О, милые гости, клянусь, что каждый и каждая из вас умнее Вольтера, чувствительнее Руссо, несравненно обольстительнее Алкивиада,^[52] Дон-Жуана, Лукреций,^[53] Джульет и Беатричей! Вы не верите, что вы так прекрасны? А я объявляю вам честным словом, что ни у Шекспира, ни у Шиллера, ни у Гомера, если б и всех-то их сложить вместе, не найдется ничего столь прелестного, как сейчас, сию минуту, могло бы найтись между вами, в этой же бальной зале. Да что Шекспир! тут явилось бы такое, что и не снилось нашим мудрецам. Но беда ваша в том, что вы сами не знаете, как вы прекрасны! Знаете ли, что даже каждый из вас, если б только захотел, то сейчас бы мог осчастливить всех в этой зале и всех увлечь за собой? И эта мощь есть в

⁵² *Алкивиад* (около 450–404 до н. э.) — афинский политик и полководец.

⁵³ *Лукреция* — добродетельная красавица, жена римлянина Коллатина. История Лукреции, обесчещенной сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшейся кинжалом, рассказана Титом Ливием и воплощена во многих литературных произведениях.

каждом из вас, но до того глубоко запрятанная, что давно уже стала казаться невероятной. И неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках?

Не хмурьтесь, ваше превосходительство, при слове *золотой век*: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. Уверяю вас, что в золотой век могут попасть люди даже в генеральских чинах. Да попробуйте только, ваше превосходительство, хотя бы сейчас, — вы же старший по чину, вам инициатива, — и вот увидите сами, какое пионовское, так сказать, остроумие^[54] могли бы вы вдруг проявить, совсем для вас неожиданно. Вы смеетесь, вам невероятно? Рад, что вас рассмешил, и, однако же, все, что я сейчас навосклицал, не парадокс, а совершенная правда... А беда ваша вся в том, что вам это невероятно».

Мальчик с ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой и в самую елку перед Рождеством я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем, — значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчишки. Таких, как он, множество, они вертятся на

⁵⁴ ...пионовское, так сказать, остроумие... — Прилагательное образовано от имени французского поэта Алексиса Пирона, известного остроумными репликами и едкими эпиграммами.

вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмуца: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресекшимся дыханием, упадет чуть не без памяти на пол.

...и в рот мне водку скверную

Безжалостно вливал...^[55]

Когда он подрастет, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но все, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно

⁵⁵ ...и в рот мне водку скверную//Безжалостно вливал... — Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Детство».

пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности действия. Под конец переносят всё — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живет, ни какой он нации, есть ли бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

**Колония малолетних
преступников. Мрачные особи
людей. Переделка порочных душ
в непорочные. Средства к тому,
признанные наилучшими.
Маленькие и дерзкие друзья
человечества**

На третий день праздника я видел всех этих «падших» ангелов, целых пятьдесят вместе. Не подумайте, что я смеюсь, называя их так, но что это «оскорбленные» дети — в том нет сомнения. Кем оскорбленные? Как и чем и кто виноват? — всё это пока праздные вопросы, на которые нечего отвечать, а лучше к делу.

Я был в колонии малолетних преступников, что за Пороховыми заводами. Я давно порывался туда, но не

удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались всё показать. Мы отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и колония. Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. Тут до пятисот десятин лесу пожертвовано колонии, и вся она состоит из нескольких деревянных, красиво выстроенных домов, отстоящих друг от друга на некотором расстоянии. Все это выстроено на пожертвованные деньги, каждый дом обошелся тысячи в три, в каждом доме живет «семья». Семья — это группа мальчиков от двенадцати до семнадцати человек, и в каждой семье по воспитателю. Мальчиков положено пока иметь до семидесяти, судя по размерам колонии, но в настоящее время, почему-то, всего лишь до пятидесяти воспитанников. Надобно сознаться, что средства употреблены широкие, и каждый маленький преступник обходится в год недешево. Странно и то, что санитарное состояние колонии, как извещали еще недавно в газетах, не совсем удовлетворительно: в последнее время было много больных, а уж как, кажется, хороши бы и воздух и содержание детей! Мы провели в колонии несколько часов, с одиннадцати утра до полных сумерек, но я убедился, что в одно посещение во все не вникнешь и всего не поймешь. Директор заведения приглашал меня приехать пожить дня два с ними; это очень заманчиво.

Директор П. А-ч Р-ский^[56] известен в литературе; его статьи появляются иногда в «Вестнике Европы». Я встретил от него самый приветливый прием, полный

⁵⁶ Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916) — этнограф, путешественник, публицист.

предупредительности. В конторе заведена книга, в которую посетители, если хотят, вписывают свои имена. Между записавшимися я заметил много известных имен; значит, колония известна, и ею интересуются. Но при всей предупредительности почтенный директор, кажется, человек очень сдержанный, хотя он почти с восторгом выставлял перед нами отрадные черты колонии, в то же время, однако, несколько смягчая все неприятное и еще неналаженное. Спешу прибавить, что сдержанность эта, как мне показалось, происходит от самой ревливой любви к колонии и к начатому делу.

Все четыре воспитателя (кажется, их четверо, по числу семей) всё люди не старые, даже молодые, получают по триста рублей жалованья и почти все вышли из семинарии. Они живут с воспитанниками совсем вместе, даже носят с ними почти одинаковый костюм — нечто вроде блузы, подпоясанной ремнем. Когда мы обходили камеры, они были пусты; дело праздничное, и дети где-то играли, но тем удобнее было осмотреть помещения. Никакой ненужной роскоши, ничего слишком излишнего, навеянного излишнею добротою или гуманностью жертво-вателей и учредителей заведения, — а это очень могло бы случиться, и вышла бы значительная ошибка. Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла тоже весьма нещегольские, но теплые. Воспитанники встают рано и сами, все вместе, убираются, чистят камеры и, когда надо, моют полы. Близ иных коек слышался некоторый запах, и я узнал почти невероятную вещь, что иные из воспитанников (немногие, но, однако, человек восемь или девять) и не очень маленькие, лет даже двенадцати и тринадцати, — так и делают свою нужду во сне, не

вставая с койки. На вопрос мой: не особая ли тут какая болезнь — мне ответили, что совсем нет, а просто от того, что они дикие, — до того приходят дикими, что даже и понять не могут, что можно и надо вести себя иначе. Но где же они были в таком случае до того, в каких трущобах выросли и кого видели! Нет почти такой самой бедной мужицкой семьи, где бы ребенка не научили в этом случае, как надо держать себя, и где бы даже самый маленький мальчик не знал того. Значит, каковы же люди, с которыми он сталкивался, и до чего зверски равнодушно относились они к существованию его! Этот факт, однако же, точный, и я считаю его большой важности; пусть не смеются, что я этот грязненький фактик «вздуваю» до таких размеров: он гораздо серьезнее, чем может показаться. Он свидетельствует, что есть же, стало быть, до того мрачные и страшные особи людей, в которых исчезают даже всякие следы человечности и гражданственности. Понятно также после того, во что обращается, наконец, эта маленькая, дикая душа при такой покинутости и при такой изверженности из людей. Да, эти детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями надобно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; задача большая.

— Вы не поверите, какими сюда являются дикими иные из них, — сказал мне П. А-ч, — ничего иной не знает ни о себе, ни о социальном своем положении. Он бродяжил почти бессознательно, и единственное, что он знает на свете и что он мог осмыслить, — это его

свобода, свобода бродяжить, умирать с холоду и с голоду, но только бродяжить. Здесь есть один маленький мальчик, лет десяти, не больше, и он до сих пор никак, ни за что не может пробыть, чтобы не украсть. Он ворует даже безо всякой цели и выгоды, единственно чтобы украсть, машинально.

— Как же вы надеетесь перевоспитать таких детей?

— Труд, совершенно иной образ жизни и справедливость в обращении с ними; наконец, и надежда, что в три года, сами собою, временем, забудутся ими старые их пристрастия и привычки.

Я осведомился: нет ли между мальчиками еще и других, известных детских порочных привычек? — Кстати напомню, что мальчики здесь от десяти и даже до семнадцатилетнего возраста, хотя принимаются на исправление никак не старше четырнадцати лет.

— О, нет, этих скверных привычек не может и быть, — поспешил ответить П. А-ч, — воспитатели при них неотлучно и беспрестанно наблюдают за этим.

Но мне показалось это невероятным. В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке,^[57] теперь там уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. Потом я узнал с совершенною достоверностью, что разврат между ними в замке был необычайный, что те из поступивших в замок бродяг, которые еще не заражены были этим развратом и сначала гнушались им, подчинялись ему почти потом

⁵⁷ *Литовский замок* — тюремное заведение в Петербурге.

поневоле, из-за насмешек товарищей над их целомудрием.

— А много ли было рецидивистов? — осведомился я.

— Не так много; из всех выпущенных из колонии было всего до восьми человек (цифра, однако, не маленькая).

Замечу, что воспитанники выпускаются по преимуществу ремесленниками и им приискивается «предварительно» помещение. Прежде паспорта, выдаваемые от колонии, им очень вредили. Теперь же нашли средство выдавать им такие паспорта, из которых нельзя, с первого взгляда по крайней мере, увидеть, что предъявитель его из колонии преступников.

— Зато, — прибавил поспешно П. А-ч., — у нас есть и такие выпущенные, которые до сих пор не могут забыть о колонии и чуть праздник — непременно приходят к нам побывать и погостить с нами.

Итак, самое сильное средство перевоспитания, переделки оскорбленной и опороченной души в ясную и честную — есть труд. Трудом начинается день в камере, а затем воспитанники идут в мастерские. В мастерских: в слесарной, в столярной, мне показывали их изделия. Поделки, по возможности, хороши, но, конечно, будут и гораздо лучше, когда более наладится дело. Они продаются в пользу воспитанников, и у каждого таким образом скопляется что-нибудь к выходу из колонии. Работой дети заняты и утром, и после обеда, — но без утомления, и, кажется, труд действительно оказывает довольно сильное впечатление на их нравственную сторону: они стараются сделать лучше один перед другим и гордятся успехами.

Другое средство их духовного развития — это, конечно, самосуд, введенный между ними. Всякий провинившийся из них поступает на суд всей «семьи», к которой принадлежит, и мальчики или оправдывают его, или присуждают к наказанию. Единственное наказание — отлучение от игр. Не подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них Петропавловка^[58] — так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для временно удаленных. Впрочем, заключение в Петропавловку зависит, кажется, единственно от директора. Мы ходили в эту Петропавловку; там было тогда всего двое заключенных, и замечу, что заключают осторожно и осмотрительно, за что-нибудь слишком уж важное и закоренелое. Эти двое заключенных помещались каждый в особой маленькой комнатке и взаперти, но нам их лично не показали.

Этот самосуд, в сущности, конечно, дело хорошее, но отзывается как бы чем-то книжным. Есть много гордых детей, и гордых в хорошую сторону, которые могут быть оскорблены этою вечевою властью таких же, как они, мальчиков и преступников, так что могут и не понять эту власть настоящим образом. Могут случиться личности гораздо талантливее и умнее всех прочих в «семье», и их может укусить самолюбие и ненависть к решению среды; а среда почти и всегда середина. Да и судящие мальчики понимают ли и сами-то хорошо свое дело? Не явятся ли, напротив, и между ними их детские партии каких-нибудь тоже соперничающих мальчиков, посильнее и побойчее прочих, которые всегда и непременно являются

⁵⁸ *Петропавловка* — так назывался карцер по аналогии с тюрьмой Петропавловской крепости в Петербурге.

между детьми во всех школах, дают тон и ведут за собою остальных как на веревке? Всё же ведь это дети, а не взрослые. Наконец, осужденные и потерпевшие наказание будут ли смотреть потом так же просто и братски на своих бывших судей и не нарушается ли этим самосудом товарищество? Конечно, это развивающее воспитательное средство основано и придумано в той идее, что эти, прежде преступные дети таким правом самосуда как бы приучаются к закону, к самосдержанию, к правде, о которой прежде вовсе не ведали, разовьют, наконец, в себе чувство долга. Всё это мысли прекрасные и тонкие, но несколько как бы обоюдоострые. Насчет же наказания, конечно, выбрано самое действительное из самых сдерживающих наказаний, то есть лишение свободы.

Кстати, верну сюда одно странное нотабене.^[59] Мне нечаянно удалось услышать на днях одно весьма неожиданное замечание насчет отмененного у нас повсеместно в школах телесного наказания: «Отменили везде в школах телесное наказание, и прекрасно сделали; но чего же, *между прочим*, достигли? Того, что в нашем юношестве явилось чрезвычайно много трусов, сравнительно с прежним. Они стали бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, всякой даже обиды, всякого уязвления их самолюбия, и до того, что некоторые из них, как показывают примеры, при весьма незначительной даже угрозе, даже от каких-нибудь трудных уроков или экзаменов, — вешаются или застреливаются». Действительно, всего

⁵⁹ *Нотабена, нотабене* (лат. nota bene — заметь хорошо) — буквы N. B. или знак NB на полях книги или рукописи, обращающие внимание на данное место в тексте.

вернее объяснить несколько подобных и в самом деле происшедших случаев единственно трусостью юношей перед чем-нибудь грозящим или неприятным; но странная, однако, точка зрения на предмет, и *наблюдение* это по меньшей мере оригинально. Вношу его для памяти.

Я видел их всех за обедом; обед самый простой, но здоровый, сытный и превосходно приготовленный. Мы его с большим удовольствием попробовали еще до прихода воспитанников; и, однако, еда каждого мальчика обходится ежедневно всего лишь в пятнадцать копеек. Подают суп или щи с говядиной и второе блюдо — каша или картофель. Поутру, вставши, чай с хлебом, а между обедом и ужином хлеб с квасом. Мальчики очень сыты; за столом прислуживают очередные дежурные. Садясь за стол, все превосходно пропели молитву: «Рождество твое, Христе Боже наш». Петь молитвы обучает один из воспитателей.

Тут, за обедом, в сборе, мне всего интереснее было всмотреться в их лица. Лица не то чтобы слишком смелые или дерзкие, но лишь ничем не конфузящиеся. Почти ни одного лица глупого (хотя глупые, говорили мне, между ними водятся; всего более отличаются этим бывшие питомцы воспитательного дома); напротив, есть даже очень интеллигентные лица. Дурных лиц довольно, но не физически; чертами лица все почти недурны; но что-то в иных лицах есть как бы уж слишком сокрытое про себя. Смеющихся лиц тоже мало, а между тем воспитанники очень развязны перед начальством и перед кем бы то ни было, хотя несколько и не в том роде, как бывают развязны другие дети с более открытым сердцем. И, должно быть, ужасно многим из них хотелось бы

сейчас улизнуть из колонии. Многие из них, очевидно, желают не проговариваться, это по лицам видно.

Гуманное и до тонкости предупредительное обращение с мальчиками воспитателей (хотя, впрочем, они и умеют быть строгими, когда надо), — мне кажется, не совсем достигает в некоторых случаях до сердца этих мальчиков и, уж конечно, и до их понятия. Им говорят *вы*, даже самым маленьким. Это *вы* показалось мне здесь несколько как бы натянутым, немного как бы чем-то излишним. Может быть, мальчики, попав сюда, сочтут это лишь за господскую затею. Одним словом, это *вы*, может быть, ошибка и даже несколько серьезная. Мне кажется, что оно как бы отдаляет от детей воспитателя; в *вы* заключается как бы нечто формальное и казенное, и нехорошо, если иной мальчик примет его за нечто как бы к нему презрительное. Ведь не поверит же он в самом деле, что он, видевший такие непомерные виды и выслушивавший самую неестественную брань, наконец, проворовавшись до потери удержу, так вдруг заслужил такое господское обращение. Одним словом, *ты*, по-моему, было бы более похожим на реальную правду в настоящем случае, а тут как бы все немного притворяются. Ведь гораздо же лучше, если дети наконец осмыслят, что воспитатели их не гувернеры, а отцы их, а что сами они — всего только лишь дурные дети, которых надобно исправлять. Впрочем, может быть, это *вы* и не испортит мальчика; а если его и скорчит потом от *ты* или даже от брани, которую он услышит опять неминуемо, в тот же самый день, как его выпустят из заведения, то еще с большим умилением вздохнет по своей колонии.

Из неналаженных вещей особенно замечается чтение. Мне говорили, что дети очень любят читать, то

есть слушать, когда им читают, по праздникам или когда есть время, и что между ними есть хорошие чтецы; я слышал лишь одного из чтецов, он читал хорошо и, говорят, очень любит читать всем вслух и чтоб все его слушали; но есть между ними и совсем малограмотные, есть и совсем неграмотные. Но что, однако, у них читают! лежит на столе — я видел это в одной семье после обеда — какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то Ольгой об разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». Я видел их «библиотеку» — это шкаф, в котором есть Тургенев, Островский, Лермонтов, Пушкин и т. д., есть несколько полезных путешествий и проч. Все это сборное и случайное, тоже пожертвованное. Чтение, если уж оно допущено, конечно, есть чрезвычайно развивающая вещь, но я знаю и то, что если б и все наши просветительные силы в России, со всеми педагогическими советами во главе, захотели установить или указать: что именно принять к чтению таким детям и при таких обстоятельствах, то, разумеется, разошлись бы, ничего не выдумав, ибо дело это очень трудное и решается окончательно не в заседании только. С другой стороны, в нашей литературе совершенно нет никаких книг, понятных народу. Ни Пушкин, ни «Севастопольские рассказы», ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов даже особенно) непонятны совсем народу. Конечно, эти мальчики не народ, а, так сказать, бог знает кто, такая особь человеческих существ, что и определить трудно: к какому разряду и типу они принадлежат? Но если б они даже нечто и поняли, то уж, конечно, совсем не ценя, потому что все это богатство им упало бы как с неба; они

же прежним развитием совсем к нему не приготовлены. Что же до писателей-обличителей и сатириков, то такие ли впечатления духовные нужны этим бедным детям, видевшим и без того столько грязи? Может быть, этим маленьким людям вовсе не хочется над людьми смеяться. Может быть, эти покрытые мраком души с радостью и умилением открылись бы самым наивным, самым первоначально-простодушным впечатлениям, совершенно детским и простым, таким, над которыми свысока усмехнулся бы, ломаясь, современный гимназист или лицеист, сверстник летами этих преступных детей.

Школа тоже находится в совершенном младенчестве, но ее тоже собираются наладить в самом ближайшем будущем. Черчению и рисованию почти совсем не учат. Закона Божия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. Церковь эта деревянная, теперь строится. Начальство и строители гордятся ею. Архитектура действительно недурна, в несколько, впрочем, казенном, усиленно русском стиле, очень приевшемся. Кстати, замечу: без сомнения, преподавание Закона Божия в школах — преступников или в других наших первоначальных школах — не может быть поручено никому другому, кроме священника. Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые рассказы из священной истории? Бесспорно, из великого множества народных учителей могут встретиться действительно дурные люди; но ведь если он захочет учить мальчика атеизму, то может сделать это и не уча священной истории, а просто рассказывая лишь об утке и «чем она покрыта». С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! я вовсе не хочу никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из

«батюшек», но, однако же, что сообщали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? Публиковались пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, бросали школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно — «трудящийся достоин платы», но этот вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. Газеты наши берут сторону ноющих, да и я, конечно, тоже; но как-то все мечтается притом о тех древних подвижниках и проповедниках Евангелия, которые ходили наги и босы, претерпевали побои и страдания и проповедовали Христа без прибавки жалованья. О, я не идеалист, я слишком понимаю, что ныне времена наступили не те; но не отрадно ли было бы услышать, что духовным просветителям нашим прибавилось хоть капельку доброго духу еще и до прибавки жалованья? Повторяю, пусть не обижаются; все отлично знают, что в среде нашего священства не иссякает дух и есть горячие деятели. И я заране уверен, что такой именно и будет в колонии; но всего бы лучше, если б им — просто рассказывали священные истории, без особой казенной морали и тем ограничи бы пока законоучение. Ряд чистых, святых, прекрасных картин сильно подействовал бы на их жаждущие прекрасных впечатлений души...

Впрочем, я простился с колонией с отрадным впечатлением в душе. Если что и не «налажено», но есть, однако же, факты самого серьезного достижения цели. Расскажу из них два, чтоб закончить ими. В Петропавловке, в заключении, в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в тюрьме Литовского замка, когда там еще было отделение малолетних преступников.

Присужденный поступить в колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, он прямо объявил, что не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. К Рождеству родственники принесли ему гостинцев, но гостинцев к нему не допустили как к заключенному, и их конфисковал воспитатель. Это страшно обидело и поразило мальчика, и в посещение директора он стал ему горько жаловаться, ожесточенно обвиняя воспитателя в том, что тот посылку и гостинцы конфисковал себе, в свою пользу; тут же со злобой и насмешкой выражался об колонии и об товарищах, он всех винил. «Я с ним сел и серьезно поговорил, — рассказывал мне П. А-ч. — Он все время мрачно молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему — и что же: бросился ко мне со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие вещи, которые от всех доселе таил, случившиеся с ним прежде; рассказал за тайну, что он давно уже предан одной постыднейшей привычке, от которой не может отвязаться, и что это его мучит, — одним словом, это была полная исповедь. Я с ним провел часа два, — прибавил П. А-ч. — Мы поговорили; я посоветовал некоторые средства, чтоб побороть привычку, ну там и проч. и проч.».

П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, об чем они там между собою переговорили; но, согласитесь, есть же умение проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе правды молодого преступника. Признаюсь, я бы очень желал узнать в подробности этот разговор. Вот другой факт: каждый воспитатель, в каждой семье, не только

наблюдает за тем, чтобы воспитанники убирали камеру, мыли и чистили ее, но и участвует вместе с ними в работе. Там моют полы по субботам; воспитатель не только показывает, как надо мыть, но сам вместе с ними принимается мыть и вымывает пол. Это уже самое полное понимание своего призвания и своего человеческого достоинства. Где вы, в чиновничестве например, встретите такое отношение к делу? И если в самом деле, вправду, эти люди решились соединить задачи колонии с своею собственною целью жизни, то дело, конечно, будет «налажено», несмотря даже ни на какие теоретические ошибки, если б таковые и случились вначале.

«Герои, — вы, господа романисты, всё ищете героев, — сказал мне на днях один выдавший виды человек, — и, не находя у нас героев, сердитесь и брюзжите на всю Россию, а вот я вам расскажу один анекдот: жил-был один чиновник, давно уже, в царствование покойного государя, сперва служил в Петербурге, а потом, кажется, в Киеве, там и умер, — вот, по-видимому, и вся его биография. А между тем, что бы вы думали: этот скромный и молчаливый человек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас человек, образ и подобие Божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, — в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выкупил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. Все это произошло безвестно, тихо, глухо. Конечно, какой это герой: это „идеалист

сороковых годов” и только, даже, может быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным^[60] быть подобнее к России и не бросать в нее за все про все грязью».

Я помещаю здесь этот анекдот (кажется, совсем не идущий к делу) лишь потому только, что не имею поводов сомневаться в его достоверности.

И, однако, вот бы нам каких людей! Я ужасно люблю этот комический тип маленьких человечков, серьезно воображающих, что они своим микроскопическим действием и упорством в состоянии помочь общему делу, не дожидаясь общего подъема и почина. Вот такого типа человек пригодился бы, может быть, и в колонии малолетних преступников... о, разумеется, под руководством более просвещенных и, так сказать, высших руководителей...

Впрочем, я в колонии провел всего лишь несколько часов и мог многое напредставить себе, недоглядеть и ошибиться. Во всяком случае, средства к переделке порочных душ в непорочные нахожу пока недостаточными.

⁶⁰ *Потугин* — персонаж романа И. С. Тургенева «Дым», представлявший, по словам самого автора, «совершенного западника». Отношение Достоевского к этому роману и его персонажу было резко отрицательным. Имя Потугина часто встречается на страницах «Дневника писателя» как символ непонимания России.

Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. Зелено-вино

Зуд разврата и воробьев. С конца или с начала?

В № 359 «Голоса» мне случилось прочесть о праздновании торжественного юбилея первого десятилетия Российского Общества покровительства животным. Какое приятное и гуманное общество! Сколько я понял, главная мысль его заключается почти вся в следующих словах из речи князя А. А. Суворова, председателя Общества:

«И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными».

И действительно, не одни же ведь собачки и лошадки так дороги «Обществу», а и человек, русский человек, которого надо образить^[61] и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать. Научившись жалеть скотину, мужик станет жалеть и жену свою. А потому, хоть я и

⁶¹ *Образить* — словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных. (Примеч. авт.)

очень люблю животных, но я слишком рад, что высокоуважаемому «Обществу» дороги не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света! Всякое просветительное средство дорого, и желательно лишь, чтобы идея «Общества» стала и в самом деле одним из просветительных средств. Наши дети воспитываются и возрастают, встречая отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на теленка. Ему сидеть было мягко, точно на диване с пружинами, но теленок, высунув язык и вылупив глаза, может, издох, еще не доехав до бойни. Эта картинка, я уверен, никого даже и не возмутила на улице: «все-де равно их резать везут»; но такие картинки, несомненно, зверят человека и действуют развратительно, особенно на детей. Правда, на почтенное «Общество» были и нападки; я слышал не раз и насмешки. Упоминалось, например, что когда-то, лет пять тому, одного извозчика «Общество» привлекло к ответственности за дурное обращение с лошадей и его присудили заплатить, кажется, пятнадцать рублей; это-то уж, конечно, было неловкостью, потому что, действительно, после такого приговора многие не знали кого пожалеть: извозчика или лошадь. Теперь, правда, положено брать, по новому закону, не более десяти рублей. Потом я слышал будто бы о слишком излишних хлопотах «Общества», чтобы бродяжих и, стало быть, вредных собак, потерявших хозяев, умерщвлять хлороформом. Замечали на это, что, пока у нас люди мрут с голоду по голодным губерниям,

такие нежные заботы о собачках несколько как бы режут ухо. Но все подобные возражения не выдерживают никакой критики. Цель «Общества» вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна привиться и восторжествовать. Тем не менее, смотря и с другой точки, чрезвычайно бы желательно, чтобы действия «Общества» и вышесказанные «временные случайности» вошли, так сказать, во взаимное равновесие; тогда, конечно, яснее бы определился тот спасительный и благодетельный путь, которым «Общество» может прийти к обильным и, главное, к практическим уже результатам, к результатам действительного достижения цели... Может быть, я неясно выражаюсь; расскажу один анекдот, одно действительное происшествие, и надеюсь, что наглядным изложением его яснее передам то, что мне хотелось выразить.

Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доисторическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. Я и старший брат мой ехали с покойным отцом нашим в Петербург, определяться в Главное инженерное училище. Был май месяц, было жарко. Мы ехали на долгих, почти шагом, и стояли на станциях часа по два и по три. Помню, как надоело нам, под конец, это путешествие, продолжавшееся почти неделю. Мы с братом стремились тогда в новую жизнь, мечтали об чем-то ужасно, обо всем «прекрасном и высоком», — тогда это словечко было еще свежо и выговаривалось без иронии. И сколько тогда было и ходило таких прекрасных словечек! Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали всё, что требовалось к

экзамену из математики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. Тогда, всего два месяца перед тем, скончался Пушкин, и мы, дорогой, сговаривались с братом, приехав в Петербург, тотчас же сходить на место поединка и пробраться в бывшую квартиру Пушкина, чтобы увидеть ту комнату, в которой он испустил дух. И вот раз, перед вечером, мы стояли на станции, на постоялом дворе, в каком селе не помню, кажется в Тверской губернии; село было большое и богатое. Через полчаса готовились тронуться, а пока я смотрел в окно и увидел следующую вещь.

Прямо против постоялого двора через улицу приходился станционный дом. Вдруг к крыльцу его подлетела курьерская тройка и выскочил фельдъегерь в полном мундире, с узенькими тогдашними фалдочками назад, в большой трехугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями (забыл эту подробность и мог бы справиться, но мне помнится, что мелькали и зеленые перья). Фельдъегерь был высокий, чрезвычайно плотный и сильный детина с багровым лицом. Он пробежал в станционный дом и уж наверно «хлопнул» там рюмку водки. Помню, мне тогда сказал наш извозчик, что такой фельдъегерь всегда на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы «такой муки». Между тем к почтовой станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал с ступенек и сел в тележку. Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь приподнялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов,

поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опустил его в самый затылок ямщика. Тот весь тряхнулся вперед, поднял кнут и изо всей силы охлестнул коренную. Лошади рванулись, но это вовсе не укротило фельдъегеря. Тут был метод, а не раздражение, нечто предвзятое и испытанное многолетним опытом, и страшный кулак взвился снова и снова ударил в затылок. Затем снова и снова, и так продолжалось, пока тройка не скрылась из виду. Разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, непрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые. Наш извозчик объяснил мне, что и все фельдъегеря почти так же ездят, а что этот особенно, и его все уже знают; что он, выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья и бьет «всё на этот самый манер», безо всякой вины, бьет ровно, подымает и опускает и «продержит так ямщика с версту на кулаках, а затем уж перестанет. Коли соскучится, может, опять примется среди пути, а может, Бог пронесет; зато уж всегда подымается опять, как подъезжать опять к станции: начнет примерно за версту и пойдет подымать и опускать, таким манером и подъедет к станции, чтобы все в селе на него удивлялись; шея-то потом с месяц болит». Парень воротится, смеются над ним: «Ишь тебе фельдъегерь шею накостилял», а парень, может, в тот же день прибьет молодую жену: «Хоть с тебя сорву»; а может, и за то, что «смотрела и видела»...

Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным решился привлечь этого мужика к ответственности за

бесчеловечное обращение с своими лошадками, ведь не правда ли?

Эта отвратительная картинка осталась в воспоминаниях моих на всю жизнь. Я никогда не мог забыть фельдъегеря и многое позорное и жестокое в русском народе как-то поневоле и долго потом склонен был объяснять, уж конечно, слишком односторонне. Вы поймете, что дело идет лишь о давно минувшем. Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставлявшее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку. В конце сороковых годов, в эпоху моих самых беззаветных и страстных мечтаний, мне пришла вдруг однажды в голову мысль, что если б случилось мне когда основать филантропическое общество, то я непременно дал бы вырезать эту курьерскую тройку на печати общества как эмблему и указание.

О, без сомнения, теперь не сорок лет назад, и курьеры не бьют народ, а народ уже сам себя бьет, удержав розги на своем суде. Не в этом и дело, а в причинах, ведущих за собою следствия. Нет фельдъегеря, зато есть «зелено-вино». Каким образом зелено-вино может походить на фельдъегеря? — Очень может, — тем, что оно так же скотинит и зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой. Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не

знавшая, чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. И напрасно я рассказал об ней, ибо таких случаев сотни и тысячи, только разверните газеты. Но главнейшее сходство зелена-вина с фельдъегерем бесспорно в том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей.

Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот пятидесяти членов, людей, могущих иметь влияние. Ну что, если б оно захотело поспособствовать хоть немного уменьшению в народе пьянства и отравления целого поколения вином! Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, беднеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, выросшие в скверне отцов своих? Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. Примеры эти еще пока ничтожные, ввиду неисчисленных будущих ужасов. Почтенное Общество, если б захотело хоть немного поспособствовать устранению первоначальных причин, тем самым наверно облегчило бы себе и свою прекрасную пропаганду. А то как заставить сострадать, когда вещи сложились именно как бы с целью искоренить в человеке всякую человечность? Да и одно ли вино свирепствует и развращает народ в наше удивительное время? Носится как бы какой-то дурман повсеместно, какой-то зуд разврата. В народе началось какое-то неслыханное извращение идей с повсеместным поклонением материализму. Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг

прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, — все вздор. Беда, если он укрепитя в таких мыслях; как ему и не мыслить так? Неужели, например, это недавнее крушение поезда на Одесской железной дороге с царскими новобранцами, где убили их более ста человек, — неужели вы думаете, что на народ не подействует такая власть развратительно? Народ видит и дивится такому могуществу: «Что хотят, то и делают», — и поневоле начинает сомневаться: «Вот она где, значит, настоящая сила, вот она где всегда сидела; стань богат, и все твое, и все можешь». Развратительнее этой мысли не может быть никакой другой. А она носится и проникает все мало-помалу. Народ же ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей проповедью других противоположных идей. По всей России протянулось теперь почти двадцать тысяч верст железных дорог, и везде, даже самый последний чиновник на них, стоит пропагатором^[62] этой идеи, смотрит так, как бы имеющий беззаветную власть над вами и над судьбой вашей, над семьей вашей и над честью вашей, только бы вы попались к нему на железную дорогу. Недавно один начальник станции вытащил, собственною властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы отдать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, — и это без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же как бы ошалел от собственного могущества. Все эти случаи и примеры

⁶² *Пропагатор* (франц. *propagateur*) — распространитель.

прорываются в народ непрерывным соблазном, он видит их каждый день и выводит неотразимые заключения. Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым.^[63] Мне казалось, что нельзя же так вывести совсем неповинного человека на позор, да еще с описанием всех душевных его движений. Но теперь я несколько изменил свой взгляд даже и на этот случай. И какое мне дело, что г-н Голубев не виноват! Г-н Голубев может быть чист, как слеза, но зато Воробьев виноват. Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезда, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» Но главная вина этого пагубного пришельца в том, что он стал над народом как соблазн и развратительная идея. А впрочем, что ж я так на Воробьева, один ли он стал как развратительная идея? Повторяю, что-то носится в воздухе полное материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, всякое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. Я ведь знаю, что и прежде было много скверного, но ныне бесспорно удесятерилось. Главное, носится такая мысль, такое как бы учение или верование. В Петербурге, две-три недели тому, молоденький

⁶³ Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым... — Речь идет о реакции Достоевского на нашумевшее в 1873 году столкновение между фельетонистом «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Сувориным и управляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым.

паренек, извозчик, вряд ли даже совершеннолетний, вез ночью старика и старуху и, заметив, что старик без сознания пьян, вынул *перочинный ножичек* и стал резать старуху. Их захватили, и дурачок тут же повинился: «Не знаю, как и случилось и как ножичек очутился в руках». И вправду, действительно не знал. Вот тут так именно среда. Его захватило и затянуло, как в машину, в современный зуд разврата, в современное направление народное; — даровая нажива, ну, как не попробовать, хоть перочинным ножичком.

«Нет, в наше время не до пропаганды покровительства животным: это барская затея», — вот эту самую фразу я слышал, но глубоко ее отвергаю. Не будучи сам членом Общества, я готов, однако, служить ему, и, кажется, уже служу. Не знаю, выразил ли я хоть сколько-нибудь ясно желание мое о том «равновесии действий Общества с временными случайностями», о которых написал выше; но, понимая человеческую и очеловечивающую цель Общества, все же ему глубоко предан. Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы. Я знаю и верую твердо, что всеобщее просвещение никому у нас повредить не может. Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было, ибо у нас и теперь никто не захочет стать за идею о необходимости озверения одной части людей для благосостояния другой

части, изображающей собою цивилизацию, как это везде во всей Европе. У нас же добровольно, самым верхним сословием, с царскою волею во главе, разрушено крепостное право! И потому, еще раз, приветствую Общество покровительства животным от горячего сердца; а хотел я лишь только высказать мысль, что желалось бы действовать не все с конца, а хоть отчасти бы и с начала.

Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти

Но вот, однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. Вижу, что надобно писать теснее и сжиматься, — указание впредь. Кстати, словечко о декабристах, чтобы не забыть: извещая о недавней смерти одного из них,^[64] в наших журналах отозвались, что это, кажется, один из самых последних декабристов; — это не совсем точно. Из декабристов живы еще Иван Александрович Анненков, тот самый, первоначальную историю которого перековеркал покойный Александр Дюма-отец, в известном романе своем «Les Mèmoi— res d'un maître d'armes».^[65] Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол,

⁶⁴ ...извещая о недавней смерти одного из них... — Речь идет о кончине декабриста Е. Е. Лачинова.

⁶⁵ «Записки учителя фехтования» (франц.).

родной брат казненного. Живы Свистунов и Назимов; может быть, есть и еще в живых.

Одним словом — многое приходится отложить до февральского номера. Но заключить настоящий январский дневник мне хотелось бы чем-нибудь повеселее. Есть одна такая смешная тема, и, главное, она в моде: это — черти, тема о чертях, о спиритизме. В самом деле, что-то происходит удивительное: пишут мне, например, что молодой человек садится на кресло, поджав ноги, и кресло начинает скакать по комнате, — и это в Петербурге, в столице! Да почему же прежде никто не скакал, поджав ноги, в креслах, а все служили и скромно получали чины свои? Уверяют, что у одной дамы, где-то в губернии, в ее доме столько чертей, что и половины их нет столько даже в хижине дядей Эдди.^[66] Да у нас ли не найдется чертей! Гоголь пишет в Москву с того света^[67] утвердительно, что это черти. Я читал письмо, слог его. Убеждает не вызывать чертей, не вертеть столов, не связываться: «Не дразните чертей, не якшайтесь, грех дразнить чертей... Если ночью тебя начнет мучить нервическая бессонница, не злись, а молись, это черти; крести рубашку, твори молитву». Подымаются голоса пастырей, и те даже самой науке советуют не связываться с волшебством, не исследовать «волшебство сие». Коли заговорили даже пастыри, значит, дело разрастается не на шутку. Но вся беда в

⁶⁶ ...в хижине дядей Эдди... — Братья Горацио и Вильям Эдди из американской фермерской семьи приобрели широкую известность своими выступлениями в качестве медиумов. Достоевский иронически перефразирует название романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

⁶⁷ Гоголь пишет в Москву с того света... — Имеются в виду сообщения в петербургских газетах о московском спирите, которому дух Гоголя диктовал второй том «Мертвых душ» по сожженной рукописи.

том: черти ли это? Вот бы составившейся в Петербурге ревизионной над спиритизмом комиссии решить этот вопрос! Потому что если решат окончательно, что это не черти, а так какое-нибудь там электричество, какой-нибудь новый вид мировой силы, — то мигом наступит полное разочарование: «Вот, скажут, невидальщина, какая скука!» — и тотчас же все забросят и забудут спиритизм, а займутся по-прежнему делом. Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли между ними найдется хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в Бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетентна. Вся беда моя в том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория моя уничтожается сама собой. Вот эту-то теорию я и намерен, в завершение, сообщить читателю. Дело в том, что я защищаю чертей: на этот раз на них нападают безвинно и считают их дураками. Не беспокойтесь, они свое дело знают; это-то я и хочу доказать.

Во-первых, пишут, что духи глупы (то есть черти, нечистая сила: какие же тут могут быть другие духи, кроме чертей?), — что когда их зовут и спрашивают (столоверчением), то они отвечают всё пустячки, не знают грамматики, не сообщили ни одной новой мысли, ни одного открытия. Так судить — чрезвычайная ошибка. Ну что вышло бы, например, если б черти сразу показали

свое могущество и подавили бы человека открытиями? Вдруг бы, например, открыли электрический телеграф (т. е. в случае, если б он еще не был открыт), сообщили бы человеку разные секреты: «Рой там-то — найдешь клад или найдешь залежи каменного угля» (а кстати, дрова так дороги), — да что, это еще всё пустяки! — Вы, конечно, понимаете, что наука человеческая еще в младенчестве, почти только что начинает дело и если есть за ней что-либо обеспеченное, так это покамест лишь то, что она твердо стала на ноги; и вот вдруг посыпался бы ряд открытий вроде таких, что Солнце стоит, а Земля вокруг него обращается (потому что наверно есть еще много таких же точно, по размерам, открытий, которые теперь еще не открыты, да и не снятся мудрецам нашим); вдруг бы все знания так и свалились на человечество и, главное, совершенно даром, в виде подарка? Я спрашиваю: что бы тогда случилось с людьми? О, конечно, сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши русские социалисты, — словом, ешь, пей и наслаждайся. «Вот, — закричали бы все филантропы, — теперь, когда человек обеспечен, вот теперь только он проявит себя! Нет уж более материальных лишений, нет более заедающей „среды“, бывшей причиною всех пороков, и теперь человек станет

прекрасным и праведным! Нет уже более непрерывного труда, чтобы как-нибудь прокормиться, и теперь все займутся высшим, глубокими мыслями, всеобщими явлениями. Теперь, теперь только настала высшая жизнь!» И какие, может, умные и хорошие люди это закричали бы в один голос и, может быть, всех увлекли бы за собою с новинки, и завопили бы, наконец, в общем гимне: «Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!»^[68]

Но вряд ли и на одно поколение людей хватило бы этих восторгов! Люди вдруг увидели бы, что жизни уже более нет у них, нет свободы духа, нет воли и личности, что кто-то у них все украл разом; что исчез человеческий лик, и настал скотский образ раба, образ скотины, с тою разницею, что скотина не знает, что она скотина, а человек узнал бы, что он стал скотиной. И загнило бы человечество; люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках,^[69] увидя, что жизнь у них взята за хлеб, за «камни, обращенные в хлебы».^[70] Поняли бы люди, что нет счастья в бездействии, что погаснет мысль не трудящаяся, что нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего, что гнусно жить на даровщинку и что *счастье не в счастье, а лишь в его достижении*. Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы явятся толпами, а не так, как

⁶⁸ *Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси!* — Цитата составлена из двух различных стихов тринадцатой главы Апокалипсиса.

⁶⁹ *И загнило бы человечество, люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках...* — Образ, заимствованный из Апокалипсиса.

⁷⁰ *....камни, обращенные в хлебы.* — Образ, заимствованный из евангельской притчи об искушении Христа дьяволом в пустыне.

теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым ими вместе со всеми открытиями. И тогда, может быть, и возопиют остальные к Богу: «Прав ты, Господи, не единым хлебом жив человек!» Тогда восстанут на чертей и бросят волхование... О, никогда бог не послал бы такой муки человечеству! И провалится царство чертей! Нет, черти такой важной политической ошибки не сделают. Политики они глубокие и идут к цели самым тонким и здравым путем (опять-таки если в самом деле тут черти!).

Идея их царства — раздор, то есть на раздоре они хотят основать его. Для чего же им раздор именно тут понадобился? А как же: взять уже то, что раздор страшная сила и сам по себе; раздор, после долгой усобицы, доводит людей до нелепости, до затмения и извращения ума и чувств. В раздоре обидчик, сознав, что он обидел, не идет мириться с обиженным, а говорит: «Я обидел его, стало быть, я должен ему отомстить». Но главное в том, что черти превосходно знают всемирную историю и особенно помнят про все, что на раздоре было основано. Им известно, например, что если стоят секты Европы, оторвавшиеся от католичества, и держатся до сих пор как религии, то единственно потому, что из-за них пролита была в свое время кровь. Кончилось бы, например, католичество, и непременно затем разрушились бы и протестантские секты: против чего же бы им осталось тогда протестовать? Они уж и теперь почти все склонны перейти в какую-нибудь там «гуманность» или даже просто в атеизм, что в них, впрочем, уже давно замечалось, и если всё еще лепятся как религии, то потому, что еще до сих пор протестуют.

Они еще прошлого года протестовали, да еще как: до самого папы добирались.

О, разумеется, черти в конце концов возьмут свое и раздавят человека «камнями, обращенными в хлебы», как муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека? Разумеется: «divide et impera» (разъедини противника, и восторжествуешь). А для того надобен раздор. С другой стороны, люди соскучатся от камней, обращенных в хлебы, а потому надо приискать им занятие, чтоб не скучали. А раздор ли не занятие для людей!

Теперь проследите, как черти у нас вводят раздор и, так сказать, с первого шагу начинают у нас спиритизм с раздора. Как раз этому способствует наше мечущееся время. Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследовать свое дело, несмотря на раздор. Да и как им перестать исследовать: черти начинают с краю, возбуждают любопытство, но сбивают, а не разъясняют, путают и явно смеются в глаза. Умный и достойный всякого постороннего уважения человек стоит, хмурит лоб и долго добивается: «Что же это такое?» Наконец махает рукой и уже готов отойти, но в публике хохот пуще, и дело расширяется так, что адепт поневоле остается из самолюбия.

Перед нами ревизионная над спиритизмом комиссия во всеоружии науки. Ожидание в публике, и что же: черти и не думают сопротивляться, напротив, как раз

постыднейшим образом пасуют: сеансы не удаются, обман и фокусы явно выходят наружу. Раздается злобный хохот со всех сторон; комиссия удаляется с презрительными взглядами, адепты спиритизма погружаются в стыд, чувство мести закрадывается в сердца обеих сторон. И вот, кажется бы, погибать чертям, так вот нет же. Чуть отвернутся ученые и строгие люди, они мигом и покажут опять какую-нибудь штучку посверхъестественнее своим прежним адептам, и вот те опять уверены пуще прежнего. Опять соблазн, опять раздор! В Париже, прошлым летом, судили одного фотографа за спиритские плутни; он вызывал покойников и снимал с них фотографии; заказов получал пропасть. Но его накрыли, и на суде он во всем сознался, даже представил и ту даму, которая помогала ему и представляла вызванные тени. Что же вы думаете, те, которых обманул фотограф, поверили? Ничуть; один из них, говорят, сказал так: «У меня умерло трое детей, а портретов их не осталось; и вот фотограф мне снял с них карточки, все похоже, я всех узнал. Какое мне теперь дело, что он сознался вам в плутовстве? На то у него свой расчет, а у меня в руках факт, и оставьте меня в покое». Это было в газетах; не знаю, так ли я передал подробности, но сущность верна. Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия, кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса^[71] и Олькота,^[72] — отведут его в сторонку,

⁷¹ Уильям Крукс (1832–1919) — английский физик и химик.

подымут его на пять минут на воздух, оматерьялизуют ему знакомых покойников, и всё в таком виде, что уже нельзя усумниться, — ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать совершившийся факт — и это он, читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. Ну, а что, если черти, приготовив поле и уже достаточно насадив раздор, вдруг захотят безмерно расширить действие и перейдут уже к настоящему, к серьезному? Это народ насмешливый и неожиданный, и от них станется. Ну что, например, если они вдруг прорвутся в народ, ну хоть вместе с грамотностью? А народ наш так незащищен, так предан мраку и разврату, и так мало, кажется, у него в этом смысле руководителей! Он может поверить новым явлениям с страстью (верит же он Иванам Филипповичам^[73]), и тогда — какая остановка в духовном развитии его, какая порча и как надолго! Какое идольское поклонение материализму и какой раздор, раздор: в сто, в тысячу раз больше прежнего, а того-то и надо чертям. А раздор несомненно начнется, особенно если спиритизм добьется стеснения, преследования (а оно может даже неминуемо последовать от остального же народа, не уверовавшего спиритизму) — тогда он мигом разольется, как зажженный керосин, и все запылает. Мистические идеи любят преследование, они

⁷² *Генри Стил Олькот* (1832–1907) — американский юрист, журналист.

⁷³ *...верит же он Иванам Филипповичам.* — Соединение имен двух предводителей хлыстовской секты.

им создаются. Каждая такая преследуемая мысль подобна тому самому петролею, которым обливали полы и стены Тюльери^[74] зажигатели перед пожаром и который, в свое время, лишь усилит пожар в охраняемом здании. О, черти знают силу запрещенного верования, и, может быть, они уже много веков ждали человечество, когда оно споткнется о столы! Ими, конечно, управляет какой-нибудь огромный нечистый дух, страшной силы и поумнее Мефистофеля, прославившего Гете, по уверению Якова Петровича Полонского.^[75]

Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение: если взглянуть на спиритизм как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов склонны капельку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. А потому дай бог поскорей успеха свободному исследованию с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух, а может быть, и обогатит науку новым открытием. А кричать друг на друга, позорить и изгонять друг друга за спиритизм из общества — это, по-моему, значит лишь укреплять и распространять идею спиритизма в самом дурном ее смысле. Это начало нетерпимости и преследования. Чертям того и надо!

⁷⁴ *Тюльери* — дворец Тюильри в Париже, взорванный в период Парижской коммуны в мае 1871 года.

⁷⁵ *...по уверению Якова Петровича Полонского.* — Имеется в виду стихотворение Я. П. Полонского «Старые и новые духи».

Февраль

О том, что все мы хорошие люди

Сходство русского общества с маршалом Мак-Магоном¹

Первый № «Дневника писателя» был принят приветливо; почти никто не бранил, то есть в литературе, а там дальше я не знаю. Если и была литературная брань, то незаметная. «Петербургская газета» поспешила напомнить публике в передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фельетоне, перепечатала из моего «Дневника» целый рассказ: «Мальчик у Христа на елке», по крайней мере, свидетельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей. Впрочем, это все пустяки, а занимателен для меня лишь вопрос: хорошо или не хорошо, что я всем угодил? Дурной или хороший это признак? Может быть ведь и дурной? А впрочем, нет, зачем же, пусть лучше это будет хороший, а не дурной признак, на том и остановлюсь.

Да и в самом деле: ведь мы все хорошие люди, ну, разумеется, кроме дурных. Но вот что замечу к слову: у нас, может быть, дурных-то людей и совсем нет, а есть разве только дрянные. До дурных мы не доросли. Не смейтесь надо мной, а подумайте: мы ведь до того доходили, что за неимением своих дурных людей (опять-таки при обилии всяких дрянных) готовы были, например, чрезвычайно ценить, в свое время, разных дурных человечков, появлявшихся в литературных наших типах и заимствованных большею частью с

иностранного. Мало того, что ценили, — рабски старались подражать им в действительной жизни, копировали их и в этом смысле даже из кожи лезли. Вспомните: мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении «Героя нашего времени». Родоначальником этих дурных человечков был у нас в литературе Сильвио, в повести «Выстрел», взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона. Да и сам-то Печорин убил Грушницкого потому только, что был не совсем казист собой в своем мундире и на балах высшего общества, в Петербурге, мало походил на молодца в глазах дамского пола. Если же мы так в свое время ценили и уважали этих злых человечков, то единственно потому, что они являлись как люди будто бы *прочной* ненависти, в противоположность нам, русским, как известно, людям весьма непрочной ненависти, а эту черту мы всегда и особенно презирали в себе. Русские люди долго и серьезно ненавидеть не умеют, и не только людей, но даже пороки, мрак невежества, деспотизм, обскурантизм, ну и все эти прочие ретроградные вещи. У нас сейчас готовы помириться, даже при первом случае, ведь не правда ли? В самом деле, подумайте: за что нам ненавидеть друг друга? За дурные поступки? Но ведь это тема прескользкая, прещекотливая и пренесправедливая, — одним словом: обоюдоострая; по крайней мере, в настоящее время за нее лучше не приниматься. Остается ненависть из-за убеждений; но тут-то уж я в высшей степени не верю в серьезность наших ненавистей. Были, например, у нас когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, с уничтожением крепостного права, закончилась реформа Петра, и наступил всеобщий

sauve qui peut.^[76] И вот, славяно-филы и западники вдруг сходятся в одной и той же мысли, что теперь нужно всего ожидать от народа, что он встал, идет и что он, и только он один, скажет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, славянофилам и западникам можно было и примириться; но случилось не так: славянофилы верят в народ, потому что допускают в нем свои собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну вот драка и продолжается; что же бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю: драка дракой, а любовь любовью. И почему дерущиеся не могли бы в то же время любить друг друга? Напротив, это даже очень часто у нас случается, в тех случаях, когда подерутся уж слишком хорошие люди. А почему мы не хорошие люди (опять-таки кроме дрянных)? Ведь деремса-то мы главное и единственно из-за того, что теперь вдруг настало время уже не теорий, не журнальных ошибок, а дела и практического решения. Вдруг потребовалось высказать слово положительное — по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и т. д. и т. д., на сотни тем, и, главное, все это сейчас и как можно скорее, чтобы не задерживать дела; а так как все мы, за двухсотлетней отвычкой от всякого дела, оказались совершенно неспособными даже на малейшее дело, то естественно, что все вдруг и вцепились друг другу в волосы, и даже так, что чем более кто почувствовал себя неспособным, тем пуще и полез в драку. Что же тут нехорошего, я спрошу вас. Это только трогательно, и более ничего.

⁷⁶ Потоп (букв. — сигнал тревоги: «Спасайся кто может!») (франц.).

Взгляните на детей: дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать свои мысли, ну вот точь-в-точь так и мы. Ну и что же, тут вовсе нет ничего безотрадного; напротив, это отчасти доказывает лишь нашу свежесть и, так сказать, непочатость. Положим, у нас, в литературе например, за неимением мыслей, бранятся всеми словами разом: прием невозможный, наивный, у первобытных народов лишь замечающийся, но ведь, ей-богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное: именно эта неопытность, эта детская неумелость даже и выбраться как следует. Я вовсе не смеюсь и не глумлюсь: есть у нас повсеместное честное и светлое ожидание добра (это уж как хотите, а это так), желание общего дела и общего блага, и это прежде всякого эгоизма, желание самое наивное и полное веры и при этом ничего обособленного, кастового, а если и встречается в маленьких и редких явлениях, то как нечто неприметное и всеми презираемое. Это очень важно, знаете чем: тем, что это не только не мало, но даже и очень много. Ну вот и довольно бы с нас: зачем нам еще какой-то там «прочной ненависти». Честность, искренность нашего общества не только не подвержены сомнению, но даже бьют в глаза. Вглядитесь и увидите, что у нас прежде всего вера в идею, в идеал, а личные, земные блага лишь потом. О, дурные людишки успевают и у нас обделывать свои дела, даже в самом противоположном смысле, и, кажется, в наше время даже несравненно больше, чем когда-либо прежде; но зато эти дрянные людишки никогда у нас не владеют мнением и не предводительствуют, а, напротив, даже будучи наверху честей, бывали не раз принуждаемы рабски подлаживаться под тон людей идеальных, молодых, отвлеченных, смешных для них и бедных. В

этом смысле наше общество сходно с народом, тоже ценящим свою веру и свой идеал выше всего мирского и текущего, и в этом даже его главный пункт соединения с народом. Идеализм-то этот приятен и там и тут: утратить его, ведь никакими деньгами потом не купишь. Наш народ хоть и объят развратом, а теперь даже больше чем когда-либо, но никогда еще в нем не было безначалия, и никогда даже самый подлец в народе не говорил: «Так и надо делать, как я делаю», а, напротив, всегда верил и воздыхал, что делает он скверно, а что есть нечто гораздо лучшее, чем он и дела его. А идеалы в народе есть и сильные, а ведь это главное: переменятся обстоятельства, улучшится дело, и разврат, может быть, и соскочит с народа, а светлые-то начала все-таки в нем останутся незыблемее и святее, чем когда-либо прежде. Юношество наше ищет подвигов и жертв. Современный юноша, о котором так много говорят в разном смысле, часто обожает самый простодушный парадокс и жертвует для него всем на свете, судьбою и жизнью; но ведь все это единственно потому, что считает свой парадокс за истину. Тут лишь непросвещение: подоспеет свет, и сами собою явятся другие точки зрения, а парадоксы исчезнут, но зато не исчезнет в нем чистота сердца, жажда жертв и подвигов, которая в нем так светится теперь — а вот это-то и всего лучше. О, другое дело и другой вопрос: в чем именно мы все, ищущие общего блага и сходящиеся повсеместно в желании успеха общему делу, — в чем именно мы полагаем средства к тому? Надо признаться, что у нас в этом отношении совсем не спелись, и даже так, что наше современное общество весьма похоже в этом смысле на маршала Мак-Магона. В одну из поездок своих, весьма недавних, по Франции, почтенный маршал в одной из торжественных ответных речей своих

какому-то мэру (а французы такие любители всяких встречных и ответных речей) объявил, что, по его мнению, вся политика заключается для него лишь в слове: «Любовь к отечеству». Мнение это было изречено, когда вся Франция, так сказать, напрягалась в ожидании того, что он скажет. Мнение странное, бесспорно похвальное, но удивительно неопределенное, ибо тот же мэр мог бы возразить его превосходительству, что иною любовью можно и утопить отечество. Но мэр не возразил ничего, конечно, испугавшись получить в ответ: «J'y suis et j'y reste!»^[77] — фразу, дальше которой почтенный маршал, кажется, не пойдет. Но хотя бы и так, а все-таки это точь-в-точь как и в нашем обществе: все мы сходимся в любви если не к отечеству, то к общему делу (слова ничего не значат) — но в чем мы понимаем средства к тому, и не только средства, но и самое-то общее дело, — вот в этом у нас такая же неясность, как и у маршала Мак-Магона.^[78] И потому, хоть я и угодил иным и ценю, что мне протянули руку, ценю очень, но все-таки предчувствую чрезвычайные размолвки в дальнейших подробностях, ибо не могу же я во всем и со всеми быть согласным, каким бы складным человеком я ни был.

⁷⁷ «Я так сказал, и баста!» (букв.: «Я здесь и здесь останусь») (франц.).

⁷⁸ Патрис Мак-Магон (1808–1893) — маршал Франции, командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуну в 1871 году. В 1871–1879 гг. президент Франции.

О любви к народу

Необходимый контракт с народом

Я вот, например, написал в январском номере «Дневника», что народ наш груб и невежествен, предан мраку и разврату, «варвар, ждущий света». А между тем я только что прочел в «Братской помочи» (сборник, изданный Славянским комитетом в пользу дерущихся за свою свободу славян), — в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова,^[79] что русский народ — давно уже просвещен и «образован». Что же? Смутился ли я от такого, по-видимому, разногласия моего с мнением Константина Аксакова? Нисколько, я вполне разделяю это же самое мнение, горячо и давно ему сочувствую. Как же я соглашаю такое противоречие? Но в том и дело, что, по-моему, это очень легко согласить, а по другим, к удивлению моему, до сих пор эти обе темы несогласимы. В русском человеке из простонародья нужно уметь отвлекать красоту его от наносного варварства. Обстоятельствами всей почти русской истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим, что еще удивительно, как он дожил, сохранив человеческий образ, а не то что сохранив красоту его. Но он сохранил и красоту своего образа. Кто истинный друг человечества, у кого хоть раз билось сердце по страданиям народа, тот поймет и извинит всю непроходимую наносную грязь, в которую погружен народ наш, и сумеет отыскать в этой грязи

⁷⁹ ...в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова... — Речь идет о статье К. С. Аксакова «О современном человеке».

бриллианты. Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. А ведь не все же и в народе — мерзавцы, есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают! Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается L'Ordre^[80] и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. Нет, судите наш народ не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать. А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностью и широким всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это — лишь наносное и временное, наваждение дьявольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. Я не буду вспоминать про его исторические идеалы, про его Сергиев,^[81] Феодосиев Печерских^[82] и даже про Тихона

⁸⁰ Порядок (*франц.*).

⁸¹ *Сергий* — Сергей Радонежский (около 1315–1392) — основатель Троице-Сергиева монастыря, святой русской православной церкви.

Задонского.^[83] А кстати: многие ли знают про Тихона Задонского? Зачем это так совсем не знать и совсем дать себе слово не читать? Некогда, что ли? Поверьте, господа, что вы, к удивлению вашему, узнали бы прекрасные вещи. Но обращусь лучше к нашей литературе: все, что есть в ней истинно прекрасного, то все взято из народа, начиная с смиренного, простодушного типа Белкина, созданного Пушкиным. У нас всё ведь от Пушкина. Поворот его к народу в столь раннюю пору его деятельности до того был беспримерен и удивителен, представлял для того времени до того неожиданное новое слово, что объяснить его можно лишь если не чудом, то необычайною великостью гения, которого мы, прибавлю к слову, до сих пор еще оценить не в силах. Не буду упоминать о чисто народных типах, появившихся в наше время, но вспомните Обломова, вспомните «Дворянское гнездо» Тургенева. Тут, конечно, не народ, но все, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному. Не дивитесь, что я заговорил вдруг об русской литературе. Но за литературой нашей именно та заслуга, что она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции, заметьте себе это, преклонилась перед правдой народной, признала идеалы народные за действительно прекрасные. Впрочем, она принуждена

⁸³ Тихон Задонский (1724–1783) — святой русской православной церкви.

была взять их себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. Но об литературе пока довольно, да и заговорил я об ней по поводу лишь народа.

Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И, однако же, народ для нас всех — все еще теория и продолжает стоять загадкой. Все мы любители народа, смотрим на него как на теорию, и, кажется, ровно никто из нас не любит его таким, каким он есть в самом деле, а лишь таким, каким мы его каждый себе представили. И даже так, что если б народ русский оказался впоследствии не таким, каким мы каждый его представили, то, кажется, все мы, несмотря на всю любовь нашу к нему, тотчас бы отступились от него без всякого сожаления. Я говорю про всех, не исключая и славянофилов; те-то даже, может быть, пуще всех. Что до меня, то я не потаю моих убеждений, именно чтобы определить яснее дальнейшее направление, в котором пойдет мой «Дневник», во избежание недоумений, так что всякий уже будет знать заранее: стоит ли мне протягивать литературную руку или нет? Я думаю так: вряд ли мы столь хороши и прекрасны, чтоб могли поставить самих себя в идеал народу и потребовать от него, чтоб он стал непременно таким же, как мы. Не дивитесь вопросу, поставленному таким нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: «Что лучше — мы или народ? Народу ли за нами или нам за народом?» — вот что теперь все говорят, из тех, кто хоть капельку не лишен мысли в голове и заботы по общему делу в сердце. А потому и я отвечу искренно: напротив, это мы должны

преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду, даже и в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи.^[84] Одним словом, мы должны склониться, как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но воротившиеся, однако же, все-таки русскими, в чем, впрочем, великая наша заслуга. Но, с другой стороны, преклониться мы должны под одним лишь условием, и это *sine qua* поп:^[85] чтоб народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было его правдой; наше пусть останется при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже, в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибам врознь. Да противного случая и не будет вовсе; я же совершенно убежден, что это *нечто*, что мы принесли с собой, существует действительно, — не мираж, а имеет и образ и форму, и вес. Тем не менее, опять повторяю, многое впереди загадка и до того, что даже страшно и ждать. Предсказывают, например, что цивилизация испортит народ: это будто бы такой ход дела, при котором, рядом с спасением и светом, вторгается столько ложного и фальшивого, столько тревоги и сквернейших привычек, что разве лишь в поколениях впереди, опять-таки, пожалуй, через двести лет, возрастут добрые семена, а детей наших и нас, может быть, ожидает что-нибудь ужасное. Так ли это, по-вашему, господа? Назначено ли нашему народу

⁸⁴ *Четьи-Минеи* — сборники духовно-учительной литературы, в которой материал для чтения распределен по месяцам и числам.

⁸⁵ Обязательно (*лат.*).

неприменно пройти еще новый фазис разврата и лжи, как прошли и мы его с прививкой цивилизации? (Я думаю, никто ведь не заспорит, что мы начали нашу цивилизацию прямо с разврата?) Я бы желал услышать на этот счет что-нибудь утешительное. Я очень наклонен уверовать, что наш народ такая огромность, что в ней уничтожатся, сами собой, все новые мутные потоки, если только они откуда-нибудь выскочат и потекут. Вот на это давайте руку; давайте способствовать вместе, каждый «микроскопическим» своим действием, чтоб дело обошлось прямее и безошибочнее. Правда, мы сами-то не умеем тут ничего, а только «любим отечество», в средствах не согласимся и еще много раз поспоримся; но ведь если уж решено, что мы люди хорошие, то что бы там ни вышло, а ведь дело-то, под конец, наладится. Вот моя вера. Повторяю: тут двухсотлетняя отвычка от всякого дела и более ничего. Вот через эту-то отвычку мы и покончили наш «культурный период» тем, что повсеместно перестали понимать друг друга. Конечно, я говорю лишь о серьезных и искренних людях, — это они только не понимают друг друга; а спекулянты дело другое: те друг друга всегда понимали...

Мужик марей

Но все эти professions de foi,^[86] я думаю, очень скучно читать, а потому расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот; так, одно лишь далекое воспоминание, которое мне почему-то очень хочется рассказать именно здесь и теперь, в заключение нашего трактата о народе. Мне было тогда всего лишь девять

⁸⁶ Исповедания веры (франц.).

лет от роду... но нет, лучше я начну с того, когда мне было двадцать девять лет от роду.

Был второй день светлого праздника. В воздухе было тепло, небо голубое, солнце высокое, «теплое», яркое, но в душе моей было очень мрачно. Я скитался за казармами, смотрел, отсчитывая их, на пали крепкого острожного тына, но и считать мне их не хотелось, хотя было в привычку. Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было множество, ругательства, ссоры начинались поминутно во всех углах. Безобразные, гадкие песни, майданы^[87] с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых до полусмерти каторжных, за особое буйство, собственным судом товарищей и прикрытых на нарах тулупами, пока оживут и очнутя; несколько раз уже обнажавшиеся ножи, — все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. В эти дни даже начальство в острог не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять, раз в год, даже и этим отверженцам и что иначе было бы хуже. Наконец в сердце моем загорелась злоба. Мне встретился поляк М-цкий, из политических; он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись. «Je hais ces brigands!»,^[88] — проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо. Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков

⁸⁷ *Майдан* (воровской жаргон) — игорный дом или карточная игра.

⁸⁸ «Ненавижу этих разбойников!» (франц.)

бросились, все разом, на пьяного татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоями; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. Теперь, воротясь, я заметил в конце казармы, на нарах в углу, бесчувственного уже Газина почти без признаков жизни; он лежал прикрытый тулупом, и его все обходили молча: хоть и твердо надеялись, что завтра к утру очнется, «но с таких побоев, не ровен час, пожалуй, что и помрет человек». Я пробрался на свое место, против окна с железной решеткой, и лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. Я любил так лежать: к спящему не пристанут, а меж тем можно мечтать и думать. Но мне не мечталось; сердце билось беспокойно, а в ушах звучали слова М-цкого: «Je hais ces brigands!» Впрочем, что же описывать впечатления; мне и теперь иногда снится это время по ночам, и у меня нет снов мучительнее. Может быть, заметят и то, что до сегодня я почти ни разу не заговаривал печатно о моей жизни в каторге; «Записки же из Мертвого дома» написал, пятнадцать лет назад, от лица вымышленного, от преступника, будто бы убившего свою жену. Кстати прибавлю как подробность, что с тех пор про меня очень многие думают и утверждают даже и теперь, что я сослан был за убийство жены моей.

Мало-помалу я и впрямь забылся и неприметно погрузился в воспоминания. Во все мои четыре года каторги я вспоминал непрерывно все мое прошедшее и, кажется, в воспоминаниях пережил всю мою прежнюю жизнь снова. Эти воспоминания вставали сами, я редко вызывал их по своей воле. Начиналось с какой-нибудь точки, черты иногда неприметной, и потом мало-помалу вырастало в цельную картину, в какое-нибудь сильное и

цельное впечатление. Я анализировал эти впечатления, придавал новые черты уже давно прожитому и, главное, поправлял его, поправлял беспрерывно, в этом состояла вся забава моя. На этот раз мне вдруг припомнилось почему-то одно незаметное мгновение из моего первого детства, когда мне было всего девять лет от роду, — мгновенье, казалось бы, мною совершенно забытое; но я особенно любил тогда воспоминания из самого первого моего детства. Мне припомнился август месяц в нашей деревне: день сухой и ясный, но несколько холодный и ветреный; лето на исходе, и скоро надо ехать в Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мне так жалко покидать деревню. Я прошел за гумна и, спустившись в овраг, поднялся в *Лоск* — так назывался у нас густой кустарник по ту сторону оврага до самой рощи. И вот я забился гуще в кусты и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик. Я знаю, что он пашет круто в гору и лошадь идет трудно, и до меня изредка долетает его окрик: «Ну-ну!» Я почти всех наших мужиков знаю, но не знаю, который это теперь пашет, да мне и все равно, я весь погружен в мое дело, я тоже занят: я выламываю себе ореховый хлыст, чтоб стегать им лягушек; хлысты из орешника так красивы и так непрочны, куда против березовых. Занимают меня тоже букашки и жучки, я их собираю, есть очень нарядные; люблю я тоже маленьких, проворных, красно-желтых ящериц, с черными пятнышками, но змеек боюсь. Впрочем, змейки попадаются гораздо реже ящериц. Грибов тут мало; за грибами надо идти в березняк, и я собираюсь отправиться. И ничего в жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших

листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и слышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.

Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, — мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно-русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, слышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другою за его рукав, то он разглядел мой испуг.

— Волк бежит! — прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.

— Где волк?

— Закричал... Кто-то кричал сейчас: «Волк бежит»... — пролепетал я.

— Что ты, что ты, какой волк, померещилось; вишь! Какому тут волку быть! — бормотал он, ободряя меня.

Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.

— Ишь ведь испужался, ай-ай! — качал он головой. — Полно, родной. Ишь малец, ай!

Он протянул руку и вдруг погладил меня по щеке.

— Ну, полно же, ну, Христос с тобой, окстись.

Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивавших моих губ.

— Ишь ведь, ай, — улыбнулся он мне какою-то материнскою и длинною улыбкой, — господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!

Я понял наконец, что волка нет и что мне крик: «Волк бежит» — померещился. Крик был, впрочем, такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. (Потом, с детством, эти галлюцинации прошли.)

— Ну, я пойду, — сказал я, вопросительно и робко смотря на него.

— Ну и ступай, а я те вослед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь, — ну, Христос с тобой, ну ступай. — И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился.

Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался. Мне, признаться, было немножко перед ним стыдно, что я так испугался, но шел я, все еще очень побаиваясь волка, пока не поднялся на косогор оврага, до первой риги; тут испуг соскочил совсем, и вдруг откуда ни возьмись бросилась ко мне наша дворовая собака Волчок. С Волчком-то я уж вполне ободрился и обернулся в последний раз к Марее; лица его я уже не мог разглядеть ясно, но чувствовал, что он

все точно так же мне ласково улыбается и кивает головой. Я махнул ему рукой, он махнул мне тоже и тронул кобыленку.

— Ну-ну! — слышался опять отдаленный окрик его, и кобыленка потянула опять свою соху.

Все это мне разом припомнилось, не знаю почему, но с удивительной точностью в подробностях. Я вдруг очнулся и присел на нарах и, помню, еще застал на лице моем тихую улыбку воспоминания. С минуту еще я продолжал припоминать.

Я тогда, придя домой от Марeya, никому не рассказал о моем «приключении». Да и какое это было приключение? Да и об Марее я тогда очень скоро забыл. Встречаясь с ним потом изредка, я никогда даже с ним не заговаривал, не только про волка, да и ни об чем, и вдруг теперь, двадцать лет спустя, в Сибири, припомнил всю эту встречу с такою ясностью, до самой последней черты. Значит, залегла же она в душе моей не приметно, сама собой и без воли моей, и вдруг припомнилась тогда, когда было надо; припомнилась эта нежная, материнская улыбка бедного крепостного мужика, его кресты, его покачиванье головой: «Ишь ведь, испужался, малец!» И особенно этот толстый его, запачканный в земле палец, которым он тихо и с робкою нежностью прикоснулся к вздрагивавшим губам моим. Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлую любовью взглядом, а кто его заставлял? Был он собственный крепостной наш мужик, а я все же его барчонок; никто бы не узнал, как он ласкал меня, и не наградил за то. Любил он, что ли, так уж очень

маленьких детей? Такие бывают. Встреча была уединенная, в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какою тонкою, почти женственною нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего, не гадавшего тогда о своей свободе. Скажите, не это ли разумел Константин Аксаков, говоря про высокое образование народа нашего?

И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом и что вдруг, каким-то чудом, исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь в встречавшиеся лица. Этот обритый и шельмованный мужик, с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную сиплую песню, ведь это тоже, может быть, тот же самый Марей: ведь я же не могу заглянуть в его сердце. Встретил я в тот же вечер еще раз М-цкого. Несчастный! У него-то уж не могло быть воспоминаний ни об каких Мареях и никакого другого взгляда на этих людей, кроме «Je hais ces brigands!». Нет, эти поляки вынесли тогда более нашего!

По поводу дела Кронеберга

Я думаю, все знают о деле Кронеберга, производившемся с месяц назад в с. — петербургском окружном суде, и все читали отчеты и суждения в газетах. Дело слишком любопытное, и отчеты о нем были замечательно горячие. Опоздав месяц, я не буду подымать его в подробности, но чувствую потребность сказать и мое слово по поводу. Я совсем не юрист, но тут столько оказалось фальши со всех сторон, что она и не

юристу очевидна. Подобные дела выпрыгивают как-то нечаянно и только смущают общество и, кажется, даже судей. А так как касаются при том всеобщего и самого драгоценного интереса, то понятно, что затрагивают за живое, и об них иной раз нельзя не заговорить, хотя бы прошел тому уже месяц, то есть целая вечность.

Напомню дело: отец высек ребенка, семилетнюю дочь, слишком жестоко; по обвинению — обходился с нею жестоко и прежде. Одна посторонняя женщина, из простого звания, не стерпела криков истязаемой девочки, четверть часа (по обвинению) кричавшей под розгами: «Папа! Папа!» Розги же, по свидетельству одного эксперта,^[89] оказались не розгами, а «шпицрутенами», то есть невозможными для семилетнего возраста. Впрочем, они лежали на суде в числе вещественных доказательств, и их все могли видеть, даже сам г-н Спасович. Обвинение, между прочим, упоминало и о том, что отец перед сечением, когда ему заметили, что вот хоть этот сучок надо бы отломить, ответил: «Нет, это придает еще силы». Известно тоже, что отец после наказания сам почти упал в обморок.

Помню, какое первое впечатление произвел на меня номер «Голоса», в котором я прочел начало дела, первое изложение его. Это случилось со мной в десятом часу вечера, совсем нечаянно. Я весь день просидел в типографии и не мог проглядеть «Голос» раньше и об возникшем деле ничего не знал. Прочитав, я решился во что бы ни стало, несмотря на поздний час, узнать в тот же вечер о дальнейшем ходе дела, предполагая, что оно

⁸⁹ ...по свидетельству одного эксперта... — Имеется в виду адъюнкт-профессор Петербургской медико-хирургической академии В. М. Флоринский.

могло уже, пожалуй, и кончиться в суде, может быть, даже в тот же самый день, в субботу, и зная, что отчеты в газетах всегда опаздывают. Я вздумал тотчас же съездить к одному слишком мне известному, хотя и очень мало знакомому человеку,^[90] рассчитывая по некоторым соображениям, что ему, в данную минуту, скорее всех моих знакомых может быть известно окончание дела, и что даже наверно, может быть, он и сам был в суде. Я не ошибся, он был в суде и только что воротился; я застал его, в одиннадцатом часу, уже дома, и он сообщил мне об оправдании подсудимого. Я был в негодовании на суд, на присяжных, на адвоката. Теперь этому делу уже три недели, и я во многом переменяю мнение, прочтя сам отчеты газет и выслушав несколько веских посторонних суждений. Я очень рад, что судившегося отца могу уже не принимать за злодея, за любителя детских мучений (такие типы бывают), и что тут всего только «нервы», и что он только «худой педагог», по выражению его же защитника. Я, главное, желаю теперь лишь указать в некоторой подробности на речь адвоката-защитника в суде, чтобы яснее обозначить — в какое фальшивое и нелепое положение может быть поставлен иной известный, талантливый и честный человек, единственно лишь фальшью первоначальной постановки самого дела.

В чем же фальшь? Во-первых, вот девочка, ребенок; ее «мучили, истязали», и судьи хотят ее защитить, — и вот какое бы уж, кажется, святое дело, но что ж выходит: ведь чуть не сделали ее навеки несчастною; даже, может быть, уж сделали! В самом деле, что, если б

⁹⁰ ...съездить к одному слишком мне известному, хотя и очень мало знакомому человеку... — Вероятно, речь идет о журналисте А. С. Суворине или юристе А. Ф. Кони.

отца осудили? Дело было поставлено обвинением так, что в случае обвинительного приговора присяжных отец мог быть сослан в Сибирь. Спрашивается, что осталось бы у этой дочери, теперь ничего не смыслящего ребенка, потом в душе, на всю жизнь, и даже в случае, если б она была потом всю жизнь богатою, «счастливою»? Не разрушено ли б было семейство самим судом, охраняющим, как известно, святыню семьи? Теперь возьмите еще черту: девочке семь лет, — каково впечатление в таких летах? Отца ее не сослали и оправдали, хорошо сделали (хотя аплодировать решению присяжных, по-моему, публике бы и не следовало, а аплодисмент, говорят, раздался); но все же девочку притянули в суд, она фигурировала; она все видела, все слышала, сама отвечала за себя: «Je suis voleuse, mep-teuse».^[91] Открыты были взрослыми и серьезными людьми, гуманными даже людьми, вслух перед всей публикой — секретные пороки ребеночка (это семилетнего-то!) — какая чудовищность! Mais il en reste toujours quelque chose,^[92] на всю жизнь, поймите вы это! И не только в душе ее останется, но, может быть, отразится и в судьбе ее. Что-то уж прикоснулось к ней теперь, на этом суде, гадкое, нехорошее, навеки и оставило след. И, кто знает, может быть, через двадцать лет ей кто-нибудь скажет: «Ты еще ребенком в уголовном суде фигурировала». Впрочем, опять-таки я вижу, что я не юрист и всего этого не сумею выразить, а потому лучше обращусь прямо к речи защитника: в ней все эти недоразумения чрезвычайно ярко и сами собой выставились. Защитником подсудимого был г-н Спасович;

⁹¹ «Я воровка, лгунья» (франц.).

⁹² Но ведь какой-то след непременно останется (франц.).

это талант. Где ни заговорят о г-не Спасовиче, все, повсеместно, отзываются о нем: «Это талант». Я очень рад тому. Замечу, что г-н Спасович был назначен к защите судом и, стало быть, защищал, так сказать, вследствие некоторого понуждения... Впрочем, тут я опять не компетентен и умолкаю. Но прежде, чем коснусь вышеупомянутой и замечательной речи, мне хочется включить несколько слов об адвокатах вообще и о талантах в особенности, так сказать, сообщить читателю несколько впечатлений и недоумений моих, конечно, может быть, крайне несерьезных в глазах людей компетентных, но ведь я пишу мой «Дневник» для себя, а мысли эти крепко у меня засели. Впрочем, сознаюсь, это даже и не мысли, а так всё какие-то чувства...

Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности

Впрочем, собственно об адвокатах лишь два слова. Только лишь взял перо и уже боюсь. Заранее краснею за наивность моих вопросов и предположений. Ведь слишком уж было бы наивно и невинно с моей стороны распространяться, например, о том, какое полезное и приятное учреждение адвокатура. Вот человек совершил преступление, а законов не знает; он готов сознаться, но является адвокат и доказывает ему, что он не только прав, но и свят. Он подводит ему законы, он подыскивает ему такое руководящее решение кассационного департамента сената, которое вдруг дает делу совсем

иной вид, и кончает тем, что вытягивает из ямы несчастного. Преприятная вещь! Положим, тут могут поспорить и возразить, что это отчасти безнравственно. Но вот перед вами невинный, совсем уж невинный, простячок, а улики, однако, такие и прокурор их так сгруппировал, что совсем бы, кажется, погибать человеку за чужую вину. Человек притом темный, законов ни в зуб и только знает бормочет: «Знать не знаю, ведать не ведаю», — чем под конец раздражает и присяжных, и судей. Но является адвокат, съевший зубы на законах, подводит статью, подводит руководящее решение кассационного департамента сената, сбивает с толку прокурора, и вот — невинный оправдан. Нет, это полезно. Что бы стал делать у нас невинный без адвоката?

Все это, повторяю, рассуждения наивные и всем известные. Но все-таки чрезвычайно приятно иметь адвоката. Я сам испытал это ощущение, когда однажды, редактируя одну газету, вдруг нечаянно, по недосмотру (что со всеми случается) пропустил одно известие, которое не мог напечатать иначе, как с разрешения г-на министра двора. И вот мне вдруг объявили, что я под судом. Я и защищаться-то не хотел; «вина» моя была даже и мне очевидна: я преступил ясно начертанный закон, и *юридического* спору быть не могло. Но суд мне назначил адвоката (человека несколько мне знакомого и с которым мы заседали прежде в одном «Обществе»). Он мне вдруг объявил, что я не только не виноват, но и совершенно прав, и что он твердо намерен отстоять меня изо всех сил. Я выслушал это, разумеется, с удовольствием; когда же настал суд, то, признаюсь, я вынес совершенно неожиданное впечатление: я видел и слушал, как говорил мой адвокат, и мысль о том, что я,

совершенно виноватый, вдруг выхожу совсем правым, была так забавна и в то же время так почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса в суде я отношу к самым веселым в моей жизни; но ведь я был не юрист и потому не понимал, что совершенно прав. Меня, конечно, осудили: литераторов судят строго; я заплатил двадцать пять рублей и, сверх того, отсидел два дня на Сенной, на абвахте, где провел время премило, даже с некоторою пользою и кое с кем и с чем познакомился. А впрочем, я чувствую, что сильно соскочил в сторону; перейду опять к серьезному.

В высшей степени нравственно и умилительно, когда адвокат употребляет свой труд и талант на защиту несчастных; это друг человечества. Но вот у вас является мысль, что он заведомо защищает и оправдывает виновного, мало того, что он иначе и сделать не может, если б и хотел. Мне ответят, что суд не может лишать помощи адвокатской никакого преступника и что честный адвокат всегда в этом случае останется честным, ибо всегда найдет и определит настоящую степень виновности своего клиента, но лишь не даст его наказать сверх меры и т. д. и т. д. Это так, хотя это предположение и похоже на самый безграничный идеализм. Мне кажется, что избежать фальши и сохранить честность и совесть адвокату так же трудно, вообще говоря, как и всякому человеку достигнуть райского состояния. Ведь уж случалось нам слышать, как адвокаты почти клянутся в суде, вслух, обращаясь к присяжным, что они — единственно потому только взялись защищать своих клиентов, что вполне убедились в их невинности. Когда вы выслушиваете эти клятвы, в вас тотчас же и неотразимо вселяется самое скверное подозрение: «А ну, если лжет и только деньги взял?» И

действительно, очень часто выходило потом, что эти, с таким жаром защищаемые, клиенты оказывались вполне и бесспорно виновными. Я не знаю, бывали ли у нас случаи, что адвокаты, желая до конца выдержать свой характер вполне убежденных в невинности своих клиентов людей, падали в обморок, когда присяжные выносили обвинительный приговор? Но что проливали слезы, то это, кажется, уже случалось в нашем столь молодом еще суде. Как хотите, а тут, во всем этом установлении, сверх всего бесспорно прекрасного, заключается как бы нечто грустное. Право: мерещатся «Подковырники-Клещи», слышится народное словцо: «адвокат — нанятая совесть»; но главное, кроме всего этого, мерещится нелепейший парадокс, что адвокат и никогда не может действовать по совести, не может не играть своею совестью, если б даже и хотел не играть, что это уже такой обреченный на бессовестность человек и что, наконец, самое главное и серьезное во всем этом то, что такое грустное положение дела как бы даже узаконено кем-то и чем-то, так что считается уже вовсе не уклонением, а, напротив, даже самым нормальным порядком...

Впрочем, оставим; чувствую из всех сил, что заговорил не на свою тему. И даже уверен, что юридической наукой все эти недоразумения давным-давно уже разрешены, к полному спокойствию всех и каждого, а только я один из всех про это ничего не знаю. Поговорю лучше о таланте; все же я тут хоть капельку да компетентнее.

Что такое талант? Талант есть, во-первых, преползная вещь. Литературный талант, например, есть способность сказать или выразить хорошо там, где бездарность скажет и выразит дурно. Вы скажете, что

прежде всего нужно направление и уже после талант. Пусть, согласен, я не о художественности собрался говорить, а лишь о некоторых свойствах таланта, говоря вообще. Свойства таланта, говоря вообще, чрезвычайно разнообразны и иногда просто нестерпимы. Во-первых, talent oblige, «талант обязывает» — к чему, например? Иногда к самым дурным вещам. Представляется неразрешимый вопрос: талант ли обладает человеком или человек своим талантом? Мне кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладать с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант поработывает себе своего обладателя, так сказать, как бы схватывая его за шиворот (да, именно в таком унижительном нередко виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. У Гоголя где-то (забыл где) один враль^[93] начал об чем-то рассказывать и, может быть, сказал бы правду, «но сами собою представились такие подробности» в рассказе, что уж никак нельзя было сказать правду. Это я, конечно, лишь для сравнения, хотя действительно есть таланты собственно вралей или вранья. Романист Теккерей, рисуя одного такого светского вряля и забавника,^[94] порядочного, впрочем, общества, и шатавшегося по лордам, рассказывает, что он, уходя откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть приберегал самую лучшую выходку или остроту к концу.

⁹³ ...у Гоголя где-то (забыл где) один враль... — речь идет о Ноздреве в «Мертвых душах».

⁹⁴ Романист Теккерей, рисуя одного такого светского вряля и забавника... — Речь идет о литераторе Уэгге, персонаже романа Уильяма Теккерей «Пенденнис» (1850).

Знаете что: мне кажется, очень трудно оставаться и, так сказать, уберечь себя честным человеком, когда так заботишься приберечь самое меткое словцо к концу, чтобы оставить по себе взрыв смеха. Самая забота эта так мелочна, что под конец должна выгнать из человека все серьезное. И к тому же если меткое словцо к концу не припасено, то его надо ведь выдумать, а для красного словца

не пожалеешь матери и отца.

Скажут мне, что если такие требования, то и жить нельзя. Это правда. Но во всяком таланте, согласитесь сами, есть всегда эта некоторая почти неблагородная, излишняя «отзывчивость», которая всегда тянет увлечь самого трезвого человека в сторону,

Ревет ли зверь в лесу глухом^[95] ...

или там что бы ни случилось, тотчас же и пошел, и пошел человек, и взыграл, и размазался, и увлекся. Эту излишнюю «отзывчивость» Белинский, в одном разговоре со мной, сравнил, так сказать, с «блудодействием таланта» и презирал ее очень, подразумевая, конечно, в антитезе, некоторую крепость души, которая бы могла всегда совладать с отзывчивостью, даже и при самом крепком поэтическом настроении. Белинский говорил это про поэтов, но ведь и все почти таланты хоть капельку да поэты, даже столяры, если они талантливы. Поэзия есть, так сказать, внутренний огонь всякого таланта. А если уж столяр бывает поэтом, то наверно и адвокат, в случае если тоже талантлив. Я несколько не спорю, что при суровой

⁹⁵ *Ревет ли зверь в лесу глухом...* — Первая строка стихотворения А. С. Пушкина «Эхо».

честности правил и при твердости духа даже и адвокат может справиться с своею «отзывчивостью»; но есть случаи и обстоятельства, когда человек и не выдержит: «представятся само собою такие подробности» и — увлечется человек. Господа, все, что я здесь говорю об этой отзывчивости, почти вовсе не пустяки; как это ни просто, по-видимому, но это чрезвычайно важное дело, даже в каждой жизни, даже у нас с вами: вникните глубже и дайте отчет, и вы увидите, что чрезвычайно трудно остаться честным человеком иногда именно через эту самую излишнюю и разбалованную «отзывчивость», принуждающую нас лгать беспрерывно. Впрочем, слово *честный человек* я разумею здесь лишь в «высшем смысле», так что можно оставаться вполне спокойным и не тревожиться. Да и уверен, что с моих слов никто и не затревожится. Продолжаю. Помнит ли кто из вас, господа, про Альфонса Ламартина,^[96] бывшего, так сказать, предводителя временного правительства в февральскую революцию сорок восьмого года? Говорят, ничего не было для него приятнее и прелестнее, как говорить бесконечные речи к народу и к разным депутациям, приходившим тогда со всей Франции, из всех городов и городишек, чтоб представиться временному правительству, в первые два месяца по провозглашении республики. Речей этих произнес он тогда, может быть, несколько тысяч. Это был поэт и талант. Вся жизнь его была невинна и полна невинности, и все это при прекрасной и самой внушительной наружности, созданной, так сказать, для кипсеков.^[97] Я

⁹⁶ *Ламартин* Альфонс (1790–1869) — французский поэт-романтик и политический деятель.

⁹⁷ *Кипсек* (от англ. keepsake — подарок на память, альбом с иллюстрациями) —

вовсе не приравниваю этого исторического человека к тем типам отзывчиво-поэтических людей, которые, так сказать, так и рождаются с соплей на носу, хотя, впрочем, он и написал «*Harmonies poétiques et religieuses*»^[98] — необыкновенный том бесконечно долговязых стихов, в которых увязло три поколения барышень, выходивших из институтов. Но зато он написал потом чрезвычайно талантливую вещь: «Историю жирондистов», доставившую ему популярность и, наконец, место как бы шефа временного революционного правительства, — вот именно когда он и насказал столько бесконечных речей, так сказать, упиваясь ими первый и плавая в каком-то вечном восторге. Один талантливый остряк, указывая раз тогда на него, вскричал: «*Ce n'est pas l'homme, c'est line lyre!*» («Это не человек: это лира!»).

Это была похвала, но высказана она была с глубоким плутовством, ибо что, скажите, может быть смешнее, как приравнять человека к лире? Только прикоснуться — и сейчас зазвенела! Само собою, что невозможно приравнять Ламартина, этого вечно говорившего стихами человека, этого оратора-лиру, к кому-нибудь из наших шустрых адвокатов, плутоватых даже в своей невинности, всегда собою владеющих, всегда изворотливых, всегда наживающихся? Им ли не совладать с своими лирами? Но так ли это? Истинно ли это так, господа? Слаб человек к похвале и «отзывчив», даже и плутоватый! С иным нашим адвокатским талантом, взамен «лиры», может случиться в

подарочное иллюстрированное издание.

⁹⁸ «Поэтические и религиозные гармонии» (франц.).

иносказательном роде то же самое, что случилось с одним московским купчиком. Помер его папаша и оставил ему капитал (читайте капиктал, ударение на *и*). Но мамаша его тоже вела какую-то коммерцию на свое имя и запуталась. Надо было выручить мамашу, то есть заплатить много денег. Купчик очень любил маменьку, но приостановился: «Все же нам никак нельзя без капитала. Это чтоб капиталу нашего решиться — это нам никоим образом невозможно, потому как нам никак невозможно, чтобы самим без капиталу». Так и не дал ничего, и маменьку потянули в яму. Примите за аллегория и приравняйте талант к капиталу, что даже и похоже, и выйдет такая речь: «Это чтоб нам без блеску и эффекту, это нам никоим образом невозможно, потому как нам никак невозможно, чтобы нам совсем без блеску и эффекту». И это может случиться даже с серьезнейшим и честнейшим из адвокатских талантов даже в ту самую минуту, когда он примется защищать дело, хотя бы претящее его совести. Я читал когда-то, что во Франции, давно уже, один адвокат, убедясь по ходу дела в виновности своего клиента, когда пришло время его защитительной речи, встал, поклонился суду и молча сел на свое место. У нас, я думаю, этого не может случиться: «Как же я могу не выиграть, если я талант; и неужели же я сам буду губить мою репутацию?» Таким образом, *не одни деньги страшны* адвокату, как соблазн (тем более, что и не боится он их никогда), а и собственная сила таланта.

Однако раскаиваюсь, что написал все это: ведь известно, что г-н Спасович тоже замечательно талантливый адвокат. Речь его в этом деле, по-моему, верх искусства; тем не менее она оставила в душе моей почти отвратительное впечатление. Видите, я начинаю с

самых искренних слов. Но виною всему та фальшь всех сгруппировавшихся в этом деле около г-на Спасовича обстоятельств, из которой он никак не мог выбраться по самой силе вещей; вот мое мнение, а потому все натянутое и вымученное в его положении, как защитника, само собою отразилось и в речи его. Дело было поставлено так, что в случае обвинения клиент его мог потерпеть чрезвычайное и несоразмерное наказание. И вышла бы беда: разрушенное семейство, никто не защищен, и все несчастны. Клиент обвинялся в «истязании» — эта-то постановка и была страшна. Г-н Спасович прямо начал с того, что отверг всякую мысль об истязании. «Не было истязания, не было никакой обиды ребенку!» Он отрицает все: шпицрутены, синяки, удары, кровь, честность свидетелей противной стороны, все, все — прием чрезвычайно смелый, так сказать, наскок на совесть присяжных; но г-н Спасович знает свои силы. Он отверг даже ребенка, младенчество его, он уничтожил и вырвал с корнем из сердец своих слушателей даже самую жалость к нему. Крики, «продолжавшиеся четверть часа под розгами» (да хотя бы и пять минут): «Папа! Папа!» — все это исчезло, а на первом плане явилась «шустрая девочка, с розовым лицом, смеющаяся, хитрая, испорченная и с затаенными пороками». Слушатели почти забыли, что она семилетняя; г-н Спасович ловко конфисковал лета, как опаснейшую для себя вещь. Разрушив все это, он естественно добился оправдательного приговора; но что же было ему и делать: «а ну, если присяжные обвинили бы его клиента?» Так что, само собою, ему уже нельзя было останавливаться перед средствами, белоручничать. «Всякие средства хороши, если ведут к прекрасной

цели». Но рассмотрим эту замечательную речь в подробности, это слишком стоит того, вы увидите.

Речь г-на Спасовича. Ловкие приемы

Уже с первых слов речи вы чувствуете, что имеете дело с талантом из ряда вон, с силой. Г-н Спасович сразу раскрывается весь, и сам же первый указывает присяжным слабую сторону предпринятой им защиты, обнаруживает свое самое слабое место, то, чего он всего больше боится. (Кстати, я выписываю эту речь из «Голоса». «Голос» такое богатое средствами издание, что, вероятно, имеет возможность содержать хорошего стенографа.)

«Я боюсь, г-да присяжные заседатели, — говорит г-н Спасович, — не определения судебной палаты, не обвинения прокурора... я боюсь отвлеченной идеи, призрака, боюсь, что преступление, как оно озаглавлено, имеет своим предметом слабое беззащитное существо. Самое слово „истязание ребенка“, во-первых, возбуждает чувство большого сострадания к ребенку, а во-вторых, чувство такого же сильного негодования к тому, кто был его мучителем».

Очень ловко. Искренность необыкновенная. Нахохлившийся слушатель, заранее приготовившийся выслушать непременно что-нибудь очень хитрое, изворотливое, надувательное, и только что сказавший себе: «А ну, брат, посмотрим, как-то ты меня теперь надуешь», — вдруг поражен почти беззащитностью человека. Предполагаемый хитрец сам ищет защиты, да еще у вас же, у тех, которых собрался надуть! Таким приемом г-н Спасович сразу разбивает лед

недоверчивости и хоть одной капелькой, а уж профильтровывается в ваше сердце. Правда, он говорит про призрак, говорит, что боится лишь «призрака», то есть почти предрассудка; вы еще ничего не слышали далее, но вам уже стыдно, что вас неравно сочтут за человека с предрассудками, не правда ли? Очень ловко.

«Я, г-да присяжные, не сторонник розг, — продолжает г-н Спасович. — Я вполне понимаю, что может быть *проведена система воспитания* (не беспокойтесь, это всё такие новые выражения и взяты целиком из разных педагогических рефератов), из которой розга будет исключена; тем не менее я так же мало ожидаю совершенного и безусловного искоренения телесного наказания, как мало ожидаю, чтобы вы перестали в суде действовать за прекращением уголовных преступлений и нарушением той правды, которая должна существовать как в семье, так и в государстве».

Так все дело, стало быть, идет всего только о розге, а не о пучке розог, не о «шпицрутенах». Вы вглядываетесь, вы слушаете, — нет, человек говорит серьезно, не шутит. Весь содом-то, стало быть, подняли из-за розочки в детском возрасте и о том: употреблять ее или не употреблять. Стоило из-за этого собираться. Правда, он-то сам не сторонник розги; сам объявляет, но ведь — «В нормальном порядке вещей употребляются нормальные меры. В настоящем случае была употреблена мера несомненно ненормальная. Но если вы вникнете в обстоятельства, вызвавшие эту меру, если вы примете в соображение натуру дитяти, темперамент отца, те цели, которые им руководили при наказании, то вы многое в этом случае поймете, а раз вы поймете — вы оправдаете, потому что *глубокое* понимание дела

неприменно ведет к тому, что тогда многое объяснится и покажется естественным, не требующим уголовного противодействия. Такова моя задача — объяснить случай».

То есть, видите ли: «наказание», а не «истязание», сам говорит, значит, всего только родного отца судят за то, что ребенка побольнее посек. Эк ведь время-то пришло! Но ведь если глубже вникнуть... вот то-то вот и есть, что поглубже не умели вникнуть ни судебная палата, ни прокурор. А раз мы, присяжные заседатели, вникнем, так и оправдаем, потому что «*глубокое понимание ведет к оправданию*», сам говорит, а *глубокое-то понимание*, значит, только у нас и есть, на нашей скамье! «Ждал-то нас, должно быть, сколько, голубчик, умаялся по судам-то да по прокурорам!» Одним словом: «польсти, польсти!» — старый, рутинный прием, а ведь преблагонадежный.

За сим г-н Спасович прямо переходит к изложению исторической части дела и начинает ab ovo.^[99] Мы, конечно, не будем передавать дословно. Он рассказывает всю историю своего клиента. Г-н Кронеберг, видите ли, кончил курс наук, учился сначала в Варшаве в университете, потом в Брюсселе, где полюбил французов, потом опять в Варшаве, где в 1867 году кончил курс в главной школе со степенью магистра прав. В Варшаве он познакомился с одной дамой, старше его летами, и имел с нею связь, расстался же за невозможностью брака, но, расставаясь, и не знал, что она от него осталась беременною. Г-н Кронеберг был огорчен и искал развлечения. В франко-прусскую войну

⁹⁹ От самых истоков, с азов (букв. — от яйца) (лат.).

он вступил в ряды французской армии и участвовал в 23 сражениях, получил орден Почетного легиона и вышел в отставку подпоручиком. Мы, русские, тогда, конечно, тоже желали, все сплошь, удачи французам; не любим мы как-то немцев сердечно, хотя умственно готовы их уважать. Возвратясь в Варшаву, он встретился опять с той дамой, которую так любил; она была уже замужем и сообщила ему, в первый раз в жизни, что у него есть ребенок и находится теперь в Женеве. Мать тогда нарочно съездила в Женеву, чтобы разрешиться там от бремени, а ребенка оставила у крестьян за денежное вознаграждение. Узнав о ребенке, г-н Кронеберг тотчас же пожелал его обеспечить. Тут г-н Спасович произносит несколько строгих и либеральных слов о нашем законодательстве за строгость его к незаконнорожденным, но тотчас же и утешает нас тем, что «в пределах империи есть страна, Царство Польское, имеющая свои особые законы». Одним словом, в этой стране можно легче и удобнее усыновить незаконного ребенка. Г-н Кронеберг «пожелал сделать для ребенка самое большее, что только можно сделать по закону, хотя у него тогда еще не было своего собственного состояния. Но он был уверен, что его родные, в случае его смерти, позаботятся о девочке, носящей имя Кронеберг, и что в крайнем случае она может быть принята в одно из правительственных воспитательных заведений Франции как дочь кавалера Почетного легиона». Затем г-н Кронеберг взял девочку у женевских крестьян и поместил ее в дом к пастору де Комба, в Женеве же, на воспитание; жена пастора была крестною матерью девочки. Так прошли годы 72, 73 и 74-й до начала 1875 года, когда, вследствие изменившихся

обстоятельств, г-н Кронеберг съездил опять в Женеву и взял свою девочку уже к себе в Петербург.

Г-н Спасович открывает нам, между прочим, что клиент его есть человек, жаждущий семейной жизни. Он было и хотел раз жениться, но брак расстроился, и притом одним из сильнейших препятствий оказалось именно то, что он не скрыл, что у него есть «натуральная дочь». Это только первая капля, г-н Спасович не прибавляет ничего, но вам понятно, что г-н Кронеберг уже отчасти пострадал за свое доброе дело, за то, что признал дочь свою, которую мог не признать и забросить у крестьян навсегда. Стало быть, мог уже, так сказать, роптать на это невинное создание; по крайней мере, вам это так представляется. Но в этих маленьких, тонких, как бы мимолетных, но непрерывных намеках г-н Спасович величайший мастер и не имеет соперника, в чем и уверитесь далее.

Далее, г-н Спасович начинает вдруг говорить о девице Жезинг. В Париже, видите ли, г-н Кронеберг познакомился с девицею Жезинг и в 1874 году привез ее с собою в Петербург.

«Вы могли оценить (вдруг возвещает нам г-н Спасович), насколько г-жа Жезинг походит или не походит на женщин полусвета, с которыми завязываются только летучие связи. Конечно, она не жена Кронеберга, но их отношения не исключают ни любви, ни уважения».

Ну, это дело субъективное, ихнее, а нам бы и все равно. Но г-ну Спасовичу надо непременно выхлопотать уважение.

«Вы видели, бессердечна ли эта женщина к ребенку и любит ее или нет ребенок? Она желала бы сделать ребенку всякое добро...»

Все дело в том, что ребенок звал эту даму татан и в ее же сундуке взял чернослив, за который его так высекли. Так вот, чтобы не подумали, что Жезинг враг ребенку, что напрасно на него наговаривала и тем возбуждала против него Кронеберга. Что же, мы и не думаем; нам даже кажется, что этой даме не с чего ненавидеть ребенка: ребенок приучен целовать у ней ручку и называть ее татан. Из дела видно, что эта дама, испугавшись «шпицрутенов», даже попросила (хотя и unsuccessfully), перед самым сечением, отломить один опасный сучок. По свидетельству г-на Спасовича, Жезинг-то и подала мысль Кронебергу взять ребенка из Женевы от де Комба.

«Кронеберг не имел еще в то время определенного намерения взять ребенка, но решился заехать в Женеву посмотреть...»

Известие весьма характерное, его надо запомнить. Выходит, что г-н Кронеберг в то время еще не очень-то думал о ребенке и вовсе не имел собственной сердечной потребности держать его при себе.

«В Женеве он был поражен: ребенок, которого он посетил неожиданно, в незаконное время, был найден одичалым, *не узнал отца*».

Особенно заметьте это словечко: «не узнал отца». Я сказал уже, что г-н Спасович великий мастер закидывать такие словечки; казалось бы, он просто обронил его, а в конце речи оно откликается результатом и дает плод. Коли «не узнал отца», значит, ребенок не только одичалый, но уж и испорченный. Все это нужно впереди;

далее мы увидим, что г-н Спасович, закидывая то там, то тут по словечку, решительно разочарует вас под конец насчет ребенка. Вместо дитяти семи лет, вместо ангела, — перед вами явится девочка «шустрая», девочка хитрая, крикса, с дурным характером, которая кричит, когда ее только поставят в угол, которая «горазда кричать» (какие русизмы!), лгунья, воровка, неопрятная и с скверным затаенным пороком. Вся штука в том, чтобы как-нибудь уничтожить вашу к ней симпатию. Уж такова человеческая природа: кого вы невзлюбите, к кому почувствуете отвращение, того и не пожалеете; а сострадания-то вашего г-н Спасович и боится пуще всего: не то вы, может быть, пожалев ее, обвините отца. Вот ведь фальшь-то положения! Конечно, вся группировка эта, все эти факты, собранные им над головой ребенка, не стоят, каждое, выеденного яйца, и дальше вы это непременно заметите сами. Нет, например, человека, который бы не знал, что трехлетний, даже четырехлетний ребенок, оставленный кем бы то ни было на три года, непременно забудет того в лицо, забудет даже до малейших обстоятельств все об том лице и об том времени, и что память детей не может, в эти лета, простираться далее года или даже девяти месяцев. Это всякий отец и всякий врач подтвердит вам. Тут виноваты скорее те, которые оставили ребенка на столько лет, а не испорченная натура ребенка, и, уж конечно, присяжный заседатель это тоже поймет, если найдет время и охоту подумать и рассудить; но рассудить ему некогда, он под впечатлением неотразимого давления таланта; над ним группировка: дело не в каждом факте отдельно, а в целом, так сказать, в пучке фактов, — и как хотите, но все эти ничтожные факты, все вместе, в пучке, действительно производят под конец

как бы враждебное к ребенку чувство. Il en reste toujours quelque chose, — дело старинное, дело известное, особенно при группировке искусной, изученной.

Зайду вперед и выставлю еще один такой пример искусства г-на Спасовича. Он, например, подобным же приемом совершенно и разом уничтожает в конце речи самую тяжкую против его клиента свидетельницу, Аграфену Титову. Тут даже и не группировка, тут он подхватил всего только одно словечко, ну и воспользовался им. Аграфена Титова — бывшая горничная г-на Кронеберга. Это она-то первая, вместе с Ульяной Бибиной, дворничихой на даче в Лесном, где квартировал г-н Кронеберг, возбудила дело об истязании ребенка. Скажу от себя, к слову, что, по моему мнению, эта Титова и в особенности Бибина — чуть ли не два наиболее симпатичные лица во всем этом деле. Они обе любят ребенка. Ребенку было скучно. Только что привезенный из Швейцарии, он почти не видел отца. Отец занимался делами одной железной дороги и уезжал из дому с утра, а возвращался поздно вечером. Когда же, приехав вечером, узнавал о какой-нибудь детской шалости ребенка, то сек и бил его по лицу (факты подтвердившиеся и не отрицаемые самим г-ном Спасовичем); бедная девочка, вследствие этой безотрадной жизни, дичала и тосковала все больше и больше. «Теперь девочка все сидит одна и ни с кем не говорит», — показала этими самыми словами Титова, когда приносила жалобу. В этих словах не только слышится глубокая симпатия, но и виден тонкий взгляд наблюдательницы, взгляд с внутренним мучением на страдания оскорбляемого крошечного создания Божия. Естественно после того, что девочка любила прислугу, от которой одной только и видела любовь и ласку, бегала

иногда вниз к дворничихе. Г-н Спасович обвиняет за это ребенка, приписывает его пороки «развращающему влиянию прислуги». Заметьте, что девочка говорила только по-французски и что Ульяна Бибина, дворничиха, не могла хорошо понимать ее, стало быть, полюбила ее просто из жалости, из симпатии к дитяти, которая так свойственна нашему простому народу.

«Однажды вечером (как говорится в обвинении), в июле, Кронеберг опять стал сечь девочку и на этот раз сек так долго, и она так страшно кричала, что Бибина испугалась, опасаясь, что девочку засекут, а потому, вскочив с постели, как была в рубашке, подбежала к окну Кронеберга и закричала, чтоб ребенка перестали сечь, а не то она пошлет за полицией; *тогда сечение и крики прекратились...*»

Видна ли вам эта курица, эта наседка, ставшая перед своими цыплятами и растопырившая крылья, чтоб их защитить? Эти жалкие курицы, защищая своих цыплят, становятся иногда почти страшными. В детстве моем, в деревне, я знал одного дворового мальчишку, который ужасно любил мучить животных и особенно любил сам резать кур, когда их надо было готовить господам к обеду. Помню, он лазил в риге по соломенной крыше и очень любил отыскивать в ней воробьиные гнезда: отыщет гнездо и тотчас начнет отрывать воробьям головы. Представьте же себе, этот мучитель ужасно боялся курицы, когда та, расшвыряв крылья, становилась перед ним, защищая цыплят своих; он всегда тогда прятался за меня. Ну так вот, эта бедная курица чрез три дня опять не выдержала и пошла-таки жаловаться начальству, захватив с собой пук розог, которыми секли девочку, и окровавленное белье. Вспомните при этом отвращение нашего простонародья

от судов и боязнь связаться с ними, если только прямо самого в суд не тянут. Но она пошла, пошла тягаться, жаловаться, за чужого, за ребенка, зная, что во всяком случае получит лишь неприятности и никакой выгоды, кроме хлопот. И вот про этих-то двух женщин г-н Спасович свидетельствует как о «развращающем влиянии на ребенка прислуги». Мало того, подхватывает вот какой фактик: на ребенка, как увидят дальше, взведено было обвинение в воровстве. (Вы увидите потом, как ловко г-н Спасович обратил взятую ребенком без спросу ягодку чернослива в кражу банковых билетов.) Но девочка *в краже* сначала не сознавалась, даже говорила, что «она у них ничего не взяла».

«Девочка отвечала упорным молчанием (говорит г-н Спасович); потом, уже несколько месяцев спустя, она рассказала, что *хотела взять деньги для Аграфены*. Если б он (т. е. отец девочки) расследовал более подробно обстоятельства кражи, он, быть может, пришел бы к тому заключению, что ту порчу, которая вкралась в девочку, надо отнести на счет людей, к ней приближенных. Самое молчание девочки свидетельствовало, что ребенок не хотел выдавать тех, с которыми был в хороших отношениях».

«Хотела взять деньги для Аграфены» — вот это словечко! «Через несколько месяцев» девочка, разумеется, *выдумала*, что хотела взять деньги для Аграфены, выдумала из фантазии или потому, что ей было так внушено. Ведь говорила же она в суде: «Je suis voleuse, menteuse», тогда как никогда ничего она не украла, кроме ягоды черносливу, а безответственного ребенка просто уверили в эти месяцы, что он крал, даже совсем и не уверяя уверили, и единственно тем, что она непрерывно выслушивала, как ежедневно все кругом

нее говорят про нее, что она воровка. Но если б даже была и правда, что девочка хотела взять деньги для Аграфены Титовой, то из того вовсе не следует еще, что Титова сама учила и сама склоняла ее стащить для нее деньги. Г-н Спасович искусен, он прямо этого ни за что не скажет; такую обиду Титовой он сделать не может, не имея никаких прямых и твердых доказательств, но зато он тотчас же, тут же после слов девочки, что та «хотела взять деньги для Аграфены», запускает и свое словцо, что «ту порчу, которая вкралась в девочку, надо отнести на счет людей, к ней приближенных». И уж, конечно, этого довольно. В сердце присяжного естественно просачивается мысль: «Так вот каковы эти обе главные свидетельницы; для них, значит, она и краля, сами же они и учили ребенка красть, чего же стоит после того их свидетельство?» Эта мысль даже и не может никак миновать ваш ум, раз вы ее услышали при таких обстоятельствах. И вот опасное свидетельство уничтожено, раздавлено, и именно когда надо г-ну Спасовичу; как раз в конце речи, для последнего влияния и эффекта. Нет, это искусно. Да, тяжела обязанность адвоката, поставленного в такие тиски, а что ж было ему делать иначе: надо было спасти клиента. Но все это только цветочки, ягодки дальше.

Ягодки

Я сказал уже, что г-н Спасович отрицает всякое мучение, всякое истязание, причиненное девочке, и даже смеется над этим предположением. Перейдя к «катастрофе 25-го июля», он прямо начинает считать рубцы, синяки, всякий шрамик, всякий струпик, кусочки отвалившейся кожицы, все это кладет потом на весы: «столько-то золотников, не было истязания!» — вот его

взгляд и прием. Г-ну Спасовичу уже заметили в печати, что эти счета рубчиков и шрамов не идут к делу и даже смешны. Но, по-моему, на публику и присяжных вся эта бухгалтерия должна была непременно подействовать внушительно: «Экая, дескать, точность, экая добросовестность!» Я убежден, что непременно нашлись такие слушатели, которые с особенным удовольствием узнали, что за справкой о каком-то рубчике нарочно послали в Женеву, к де Комба. Г-н Спасович победоносно указывает, что не было никаких рассечений кожи:

«При всей неблагоприятности для Кронеберга мнения г-на Лансберга (N B, доктор, свидетельствовавший наказанную 29-го июля и над мнением которого чрезвычайно едко подсмеивается г-н Спасович) — я для защиты заимствую многие данные из его акта от 29 июля. Г-н Лансберг положительно удостоверил, что на задних частях тела девочки не было никаких рассечений кожи, а только темно-багровые подкожные пятна и таковые же красные полосы...»

Только! Заметьте же это словцо. И главное, пять дней спустя после истязания! Я бы мог засвидетельствовать г-ну Спасовичу, что эти темно-багровые подкожные пятна проходят очень скоро, без малейшей опасности для жизни, тем не менее неужели же они не составляют мучения, страдания, истязания?

«Пятен этих всего более было на левой седалищной области с переходом на левое же бедро. Не найдя травматических знаков, никаких даже царапин, г-н Лансберг засвидетельствовал, что полосы и пятна не представляют *никакой опасности* для жизни. Через шесть

дней потом, 5-го августа, при осматривании девочки профессором Флоринским, он заметил не пятна, а только полосы — одни поменьше, другие побольше; но он вовсе не признал, чтоб эти полосы составляли повреждение сколько-нибудь значительное, хотя и признал, что наказание было сильное, особенно ввиду того орудия, которым наказали дитя».

Я сообщу г-ну Спасовичу, что в Сибири в гошпитале, в арестантских палатах, мне случалось видеть спины только что приходивших сейчас после наказания шпицрутенами (сквозь строй) арестантов, после пятисот, тысячи и двух тысяч палок разом. Видел я это несколько десятков раз. Иная спина, верите ли мне, г-н Спасович, распухла в вершок толщины (буквально), а, кажется, много ли на спине мяса? Они были именно этого темно-багрового цвета с редкими рассечениями, из которых сочилась кровь. Будьте уверены, что ни один из теперешних экспертов-медиков не видывал ничего подобного (да и где нам в наше время увидеть?). Эти наказанные, если только получали не свыше тысячи палок, приходили, сохраняя всегда весьма бодрый вид, хотя бывали в видимо сильном нервном возбуждении, и то только в первые два часа. Никто из них, сколько ни запомню, в эти первые два часа не ложился и не садился, а лишь все ходил по палате, вздрагивая иногда всем телом, с мокрой простыней на плечах. Все лечение состояло в том, что приносили ему ведро с водой, в которое он изредка обмакивал простыню, когда та обсыхала на его спине. Всем им, сколько ни запомню, ужасно хотелось поскорее выписаться из палаты (потому что предварительно долго под судом сидели взаперти, а другим просто хотелось поскорее опять учинить побег). И вот вам факт: такие наказанные на шестой, много на

седьмой день после наказания почти всегда выписывались, потому что в этот срок спина *успевала почти всегда зажить вся*, кроме некоторых лишь самых слабых, сравнительно говоря, остатков; но через десять, например, дней всегда уже все проходило бесследно. Наказание шпицрутенами (то есть на деле всегда палками), если не в очень большом количестве, то есть не более двух тысяч разом, никогда не представляло ни малейшей опасности для жизни. Напротив, все, каторжные и военные арестанты (видавшие эти виды), постоянно и много раз при мне утверждали, что розги мучительнее, «садче» и несравненно опаснее, потому что палок можно выдержать даже и более двух тысяч без опасности для жизни, а с четырехсот только розог можно помереть под розгами, а с пятисот или шестисот *за раз* — почти наверная смерть, никто не выдержит. Спрашиваю вас после того, г-н защитник: хоть палки эти и не грозили опасностью для жизни и не причиняли ни малейшего повреждения, но неужели же такое наказание не было мучительно, неужели тут не было истязания? Неужели же и девочка не мучилась четверть часа под ужасными розгами, лежавшими в суде на столе, и крича: «Папа! Папа!» Зачем же вы отрицаете ее страдание, ее истязание?

Но я уже сказал выше, почему тут такая путаница; повторю еще: дело в том, что у нас в «Уложении о наказаниях», по показанию г-на Спасовича, насчет понятия и определения что именно подразумевать под истязанием? — существует «неясность, неполнота, пробел».

«...Поэтому правительственный сенат, в тех же решениях, на которые ссылается обвинительная власть, определил, таким образом, с другой стороны, что под

истязаниями и мучениями следует разуметь такое посягательство на личность или личную неприкосновенность человека, которое сопровождалось мучением и жестокостью. При истязаниях и мучениях, по мнению сената, физические страдания должны непременно представлять высшую, более продолжительную степень страдания, чем при обыкновенных побоях, хотя бы и тяжких. Если побои нельзя назвать тяжкими, а истязания должны быть тяжелее тяжких побоев, если ни один эксперт не назвал их тяжкими, кроме г-на Лансберга, который сам отказался от своего вывода, то *спрашивается, каким образом можно подвести это деяние под понятие истязания и мучения? Я полагаю, что это немыслимо*».

Ну, вот в том-то и дело: в «Уложении о наказаниях» неясность, и клиент г-на Спасовича мог подпасть, в обвинении по истязанию, под одну из самых строгих и неприложимых, во всяком случае, к размерам его преступления статей закона, а по этим статьям ждет весьма уже тяжелое, совершенно не соразмерное с его «деянием» наказание. Ну, казалось, так бы прямо и разъяснить нам это недоумение: «Было, дескать, истязание, да все же не такое, как определяет закон, то есть *не тяжелее всяких тяжких побоев*, а потому и нельзя обвинить моего клиента в истязании». Но нет; г-н Спасович уступить ничего не хочет, он хочет доказать, что не было совсем никакого истязания, ни законного, ни незаконного, и никакого страдания, совсем! Но скажите, что нам-то за дело, что мучения и истязания этой девочки не подходят буква в букву под определение истязания законом? Ведь в законах пробел, сами же вы сказали. Ведь все же равно ребенок страдал: неужто же не страдал, неужто же не истязали его на самом-то деле,

взаправду-то, неужто же можно нам так отводить глаза? Да, г-н Спасович именно это и предпринял, он решительно хочет отвести нам глаза: ребенок, говорит он, на другой же день «играл», она «отбывала урок». Не думаю, чтоб играл. Бибина, напротив, свидетельствует, что когда она осматривала девочку, перед тем как идти жаловаться, «то девочка горько плакала и приговаривала: „Папа! Папа!“ Ах, боже мой, да ведь такие маленькие дети бывают так скоровпечатлительны и восприимчивы! Ну что ж из того, что она, может быть, даже и поиграла на другой день, еще с сине-багровыми пятнами на теле. Я видел пятилетнего мальчика, почти умиравшего от скарлатины, в полном бессилии и изнеможении, а между тем он лепетал о том, что ему купят обещанную собачку, и попросил принести ему все его игрушки и поставить у постельки: „Хоть погляжу на них“. Но верх искусства в том, что г-н Спасович совершенно конфисковал лета ребенка! Он все толкует нам о какой-то девочке, испорченной и порочной, пойманной неоднократно в краже и с потаенным развратным пороком в душе своей, и совершенно как бы забыл сам (а мы вместе с ним), что дело идет всего только об семилетнем младенце, и что это самое *дранье*, целую четверть часа, этими девятью рябиновыми «шпицрутенами», — не только для взрослого, но и для четырнадцатилетнего было бы наверно в десять раз легче, чем для этой жалкой крошки! Спрашиваешь себя невольно: к чему все это г-ну Спасовичу? К чему ему так упорно отрицать страдания девочки, тратить на это почти все свое искусство, так изворачиваться, чтоб нам глаза отвести? Неужели всего только из одного адвокатского самолюбия: «Вот, дескать, не только выручу клиента, но и докажу, что все дело — полный

вздор и смех и что судят отца за то только, что раз посек скверную девчонку розгой»? Но ведь сказано уже, что ему надо истребить к ней всякую вашу симпатию. И хоть у него для этого запасены богатые впереди средства, но все же он боится, что страдания ребенка вызовут в вас, неровен час, человеческие чувства. А человеческие-то чувства ваши ему и опасны: пожалуй, вы рассердитесь на его клиента; их надо ему подавить заблаговременно, извратить их, осмеять, — одним словом, предпринять, казалось бы, невозможное дело, невозможное уже по тому одному, что перед нами совершенно ясное, точное, вполне откровенное показание отца, твердо и правдиво подтвердившего истязание ребенка:

«25 июля, раздраженный дочерью (показывает отец), высек ее этим пучком, высек сильно и, в этот раз, *сек долго, вне себя, бессознательно, как попало*. Сломались ли розги при этом последнем сечении — он не знает, но помнит, что, когда он начал сечь девочку, они были длиннее».

Правда, несмотря на это показание, отец все-таки не признал себя на следствии виновным в истязании своей дочери и заявил, что до 25 июля наказывал ее всегда легко. Замечу мимоходом, что воззрение на легкость и тягость и тут дело личное: удары по лицу семилетнему младенцу, с брызнувшей кровью из носу, которые не отрицает ни Кронеберг, ни защитник его, очевидно, и тем и другим считаются наказанием легким. У г-на Спасовича на этот счет есть и другие драгоценные выходки и их много, например:

«Вы слышали, что знаки на локтях образовались почти несомненно только от того, *что держали за руки* при наказании».

Слышите: *только от того!* Хорошо же держали, коли додержали до синяков! О, ведь и г-н Спасович не утверждает вполне, что все это прекрасно и благоуханно; вот, например, еще рассужденьице:

«Они говорят, что это наказание выходит из ряда обыкновенных. Это определение было бы прекрасно, если б мы определили, что такое обыкновенное наказание; *коль скоро этого определения нет*, то всякий затруднится сказать, выходило ли оно из ряда обыкновенных (это после-то показания отца, что *сек долго, бессознательно и вне себя!!!*). Допустим, что это так; что ж это значит? Что наказание это, в большинстве случаев, есть наказание, неприменимое к детям. Но и с детьми могут быть чрезвычайные случаи. Разве вы не допускаете, что власть отеческая может быть, в исключительных случаях, в таком положении, что отец должен употребить более строгую меру, чем обыкновенно, которая не похожа на те обыкновенные меры, которые употребляются ежедневно».

Но вот и все, что соглашается уступить г-н Спасович. Все это истязание он, стало быть, сводит лишь «на более строгую меру, чем обыкновенно», — но раскаивается даже и в этой уступке: в конце своей защитительной речи он берет все это назад и говорит: «Отец судится; за что же? За злоупотребление властью; спрашивается, где же предел этой власти? Кто определит, сколько может ударов и в каких случаях нанести отец, не повреждая при этом наказании организма дитяти?»

То есть не ломающий ему ногу, что ли? А если не ломает ноги, то уж можно всё? Seriously вы говорите это, г-н Спасович? Seriously вы не знаете, где предел этой

власти и «сколько может ударов и в каких случаях нанести отец»? Если вы не знаете, то я вам скажу, где этот предел! Предел этой власти в том, что нельзя семилетнюю крошку, безответственную вполне, во всех своих «пороках» (которые должны быть исправляемы совсем другим способом), — нельзя, говорю я, это создание, имеющее ангельский лик, несравненно чистейшее и безгрешнейшее, чем мы с вами, г-н Спасович, чем мы с вами и чем все бывшие в зале суда, судившие и осуждавшие эту девочку, — нельзя, говорю я, *драть* ее девятью рябиновыми «шпицрутенами», и *драть* четверть часа, не слушая ее криков: «папа, папа!», от которых почти обезумела и пришла в исступление простая, деревенская баба, дворничиха, — нельзя, наконец, по собственному сознанию говорить, что «сек долго, *вне себя*, бессознательно, как попало!» — нельзя быть *вне себя*, потому что есть предел всякому гневу и даже на семилетнего безответственного младенца за ягодку чернослива и за сломанную вязальную иголку! Да, искусный защитник, есть предел всему, и если б только я не знал, что вы говорите все это нарочно, лишь притворяетесь из всех сил, чтоб спасти вашего клиента, то прибавил бы и еще, собственно для вас самих, что есть предел даже всяким «лирам» и адвокатским «отзывчивостям», и предел этот состоит в том, чтоб не договариваться до таких столпов, до которых договорились вы, г-н защитник! Но увы, вы только пожертвовали собою для клиента вашего, и я уже не вправе вам говорить про пределы, а лишь удивляюсь великости вашей жертвы!

Геркулесовы столпы^[100]

Но столпы, настоящие геркулесовы столпы, вполне начинаются там, где г-н Спасович договаривается до «справедливого гнева отца».

«Когда обнаружилась в девочке эта дурная привычка, — говорит г-н Спасович (то есть привычка лгать), — присоединившаяся ко всем другим недостаткам девочки, когда отец узнал, что она *ворует*, то действительно пришел в большой гнев. Я думаю, что каждый из вас пришел бы в такой же гнев, и я думаю, что преследовать отца за то, что он наказал больно, но *поделом*, свое дитя, — это плохая услуга семье, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье... Если отец вознегодовал, он был совершенно в своем праве...»

Постойте, г-н защитник, я пока не останавливаю вас на слове «ворует», употребленном вами, но поговоримте немного про эту «справедливость гнева отца». А воспитание с трехлетнего возраста в Швейцарии у де Комба, у которых, сами же вы свидетельствуете, девочка испортилась и приобрела дурные наклонности? В таких летах чем же она сама-то могла быть виновною в своих дурных привычках и, в таком случае, где тут справедливость гнева отца? Я поддерживаю полную безответственность девочки в этом деле, если даже и допустить, что у ней были дурные привычки, и что бы вы ни говорили, вы не можете оспорить этой

¹⁰⁰ *Геркулесовы столпы*. — Согласно мифу, Геракл поставил эти столпы (скалы на противоположных берегах Гибралтарского пролива) в память своих странствий. Крылатое выражение «дойти до Геркулесовых столпов» означает «дойти до предела».

безответственности семилетнего ребенка. У ней нет еще и не может быть столько ума, чтоб заметить в себе худое. Ведь вот мы все, а может быть, и вы тоже, г-н Спасович, — ведь не святые же мы, несмотря на то, что у нас ума больше, чем у семилетнего ребенка. Как же вы налагаете на такую крошку такое бремя ответственности, которое, может, и сами-то снести не в силах? «Налагают бремена тяжкие и неудобноносимые»,^[101] вспомните эти слова. Вы скажете, что мы должны же исправлять детей. Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают нашу душу одним только своим появлением между нами. А потому мы их должны уважать и подходить к ним с уважением к их лику ангельскому (хотя бы и имели их научить чему), к их невинности, даже и при порочной какой-нибудь в них привычке, — к их безответственности и к трогательной их беззащитности. Вы же утверждаете, напротив, что битье по лицу, в кровь, от отца — и справедливо и не обидно. У ребенка был какой-то струп в носу, и вы говорите:

«Быть может, пощечины ускорили излияние этой крови из струпа золотушного в ноздре, но это вовсе не повреждение: *кровь без раны и ушиба вытекла бы немного позже.* Таким образом, кровь эта не заключает в себе ничего такого, что могло бы расположить против Кронеберга. В ту минуту, когда он нанес удар, он *мог не*

¹⁰¹ *Налагают бремена тяжкие и неудобноносимые...* — Неточно цитируемые слова Христа о книжниках и фарисеях, ревнителях «буквы» религиозных правил.

помнить, мог даже не знать, что у ребенка бывает кровотечение из носу».

«Мог не помнить, не знать!» Да неужто ж вы можете допустить про г-на Кронеберга, что он ударил по больному месту зазнамо? Разумеется, не знал. Итак, вы сами свидетельствуете, что отец не знал о болезни своего ребенка, а между тем поддерживаете право его на битье ребенка. Вы утверждаете, что удары по лицу от отца не обидны. Да, для семилетней крошки, пожалуй, и безобидны, а оскорбление? Об оскорблении нравственном, сердечном вы ничего во всей вашей речи не упомянули, г-н защитник; вы все время говорили только об одной физической боли. Да и за что били ее по лицу? Где поводы к такому ужасному гневу? Разве это серьезный преступник? Эта девочка, эта преступница сейчас же побежит играть с мальчиками в разбойники. Ведь тут семь лет, всего только семь лет, ведь надобно же это помнить беспрестанно в этом деле, ведь это все мираж, что вы говорите! А знаете ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары вызывают в них горестное удивление и слезы, которые видит и сочтет Бог. Ведь их рассудок никогда не в силах понять всей вины их. Видали ли вы или слышали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о сиротках в иных чужих злых семьях? Видали ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я это сам видел) — и *ударяя себя крошечным кулачком в грудь*, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят. Я ничего не знаю лично о г-не Кронеберге, я не хочу и не могу вторгаться в душу и в сердце его, его и семьи его, потому

что я могу сделать большую несправедливость, не зная его вовсе, и потому сужу единственно лишь по вашим словам и указаниям, г-н защитник. Вы сказали о нем в вашей речи, что он «плохой педагог»; это все то же, по-моему, что и неопытный отец или, лучше сказать, непривычный отец. Я поясню это: эти создания тогда только вторгаются в душу нашу и прирастают к нашему сердцу, когда мы, родив их, следим за ними с детства, не разлучаясь, с первой улыбки их, и затем продолжаем родниться взаимно душою каждый день, каждый час в продолжение всей жизни нашей. Вот это семья, вот это святыня! Семья ведь тоже *созидается*, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовыми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. Тогда только это и крепко, тогда только это и свято. Созидается же семья неустанным трудом любви. Вы сознаетесь, впрочем, г-н защитник, что ваш клиент сделал две *логические* ошибки (только логические?) и что одна из них, между прочим, в том, что он —

«...поступил слишком рьяно, он предполагал, что можно одним разом, одним ударом искоренить все зло, которое посеяно годами в душу ребенка и годами возвращено. Но этого сделать нельзя, надо действовать медленно, иметь терпение».

Клянусь, немного бы его потребовалось, этого терпенья, потому что эта крошка — всего семилетняя! Опять-таки эти семь лет, которые исчезают везде в вашей речи и в ваших соображениях, г-н защитник! «Она воровала, — восклицаете вы, — она крала!»

«25 июля приезжает отец на дачу и в первый раз узнает сюрпризом, что ребенок шарил в сундуке Жезинг,

сломал крючок (то есть вязальный крючок, а не замок какой-нибудь) и *добирался* до денег. Я не знаю, господа, можно ли равнодушно относиться к таким поступкам дочери? Говорят: «За что же? Разве можно так строго взыскивать за несколько штук черносливу, сахару?» Я полагаю, что от чернослива до сахара, от сахара до денег, от денег до банковых билетов путь прямой, открытая дорога!»

Я вам расскажу маленький анекдот, г-н защитник. Сидит за столом отец, добывающий деньги тяжелым трудом. Он сочинитель, так же как и я, он пишет. Вот он положил перо, и к нему подходит его девочка, дочка, шести лет от роду, и начинает говорить ему, чтоб он ей купил новую куклу, а потом коляску, настоящую коляску с лошадьми; она сядет с куколкой и с няней в коляску и поедет к Даше, няниной внучке. «Потом ты вот что купи мне еще, папа...» и т. д. и т. д. — счету не было покупкам. Все она только что навыдумала и нафантазировала у себя в уголке, играя с куклой. Фантазия у этих шестилетних малюток беспримерная, и это превосходно, в этом их развитие. Отец слушал с улыбкой.

— Ах, Соня, Соня, — сказал он вдруг полушутливо, полугрустно, — накупил бы тебе всего, да негде денег взять; не знаешь ты, как трудно они достаются!

— А ты вот что, папа, сделай, — подхватила Соня с весьма серьезным и конфиденциальным видом, — ты возьми горшочек и возьми лопаточку и пойди в лес, и там покопай под кустиком, вот и накопаешь денег; положи их в горшочек и принеси домой.

Уверяю же вас, что эта девочка весьма и весьма неглупая, но такое понятие она составила себе о том, как

добываются деньги. Неужели вы думаете, что семилетняя далеко ушла от этой шестилетней в понятии о деньгах? Конечно, может быть, уже знала, что денег нельзя накопать из-под кустика, но откуда они в самом деле достаются, по каким законам, что такое банковые билеты, акции, концессии — вряд ли знает. Помилосердуйте, г-н Спасович, про такую разве можно говорить, что она *добиралась* до денег? Это выражение и понятие, с ним сопряженное, применимо лишь к взрослому вору, понимающему, что такое деньги и употребление их. Да такая если б и взяла деньги, так это еще не кража вовсе, а лишь детская шалость, то же самое, что ягодка черносливу, потому что она совсем не знает, что такое деньги. А вы нам наставили, что ей уже недалеко до банковых билетов, и кричите, что «это угрожает государству!». Разве можно, разве позволительно после этого допустить мысль, что за такую шалость *справедливо* и *оправдываемо* такое дранье, которому подверглась эта девочка. Но она и не шарила в деньгах, она их не брала вовсе. Она только пошарила в сундуке, где лежали деньги, и сломала вязальный крючок, а больше ничего не взяла. Да и незачем ей денег, помилуйте: убежать с ними в Америку, что ли, или снять концессию на железную дорогу? Ведь говорите же вы про банковые билеты: «от сахара недалеко до банковых билетов», почему же останавливаться перед концессиями?

Ну, не столпы это, г-н защитник?

— Она с пороком, она с затаенным скверным пороком...

Подождите, подождите, обвинители! И неужели не нашлось никого, чтоб почувствовать всю невозможность,

всю чудовищность этой картины! Крошечную девочку выводят перед людей, и серьезные, гуманные люди — позорят ребенка и говорят вслух о его «затаенных пороках»!.. Да что в том, что она еще не понимает своего позора и сама говорит: «Je suis voleuse, menteuse»? Воля ваша, это невозможно и невыносимо, это фальшь нестерпимая. И кто мог, кто решился выговорить про нее, что она «крала», что она «добиралась» до денег. Разве можно говорить такие слова о таком младенце! Зачем сквернят ее «затаенными пороками» вслух на всю залу? К чему брызнуло на нее столько грязи и оставило след свой навеки? О, оправдайте поскорее вашего клиента, г-н защитник, хотя бы для того только, чтоб поскорее опустить занавес и избавить нас от этого зрелища. Но оставьте нам, по крайней мере, хоть жалость нашу к этому младенцу; не судите его с таким серьезным видом, как будто сами верите в его виновность. Эта жалость — драгоценность наша, и искоренять ее из общества страшно. Когда общество перестанет жалеть слабых и угнетенных, тогда ему же самому станет плохо: оно очерствеет и засохнет, станет развратно и бесплодно...

— Да, оставь я вам жалость, а ну как вы, с большой-то жалости, да осудите моего клиента.

Вот оно положение-то!

Семья и наши святыни

Заключительное словцо об одной юной школе

В заключение г-н Спасович говорит одно меткое слово:

«В заключение я позволю себе сказать, что, по моему мнению, все обвинение Кронеберга поставлено совершенно неправильно, т. е. так, что вопросов, которые вам будут предложены, совсем решать нельзя».

Вот это умно; в этом вся суть дела, и от этого вся фальшь дела; но г-н Спасович прибавляет и еще несколько довольно торжественных слов на тему: «Я полагаю: вы все признаете, что есть семья, есть власть отеческая...» Выше он восклицал, что «государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье».

На это и я позволю себе включить одно лишь маленькое словечко, и то лишь мимоходом.

Мы, русские, — народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание. Мы народ свежий, и у нас нет святынь *quand môme*.^[102] Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле святы. Мы не потому только стоим за них, чтоб отстоять ими l'Ordre. Святыни наши не из полезности их стоят, а

¹⁰² Из ложного пристрастия (франц.).

по вере нашей. Мы не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестанем верить сами, как древние жрецы, отстаивавшие, в конце язычества, своих идолов, которых давно уже сами перестали считать за богов. Ни одна святыня наша не побоится свободного исследования, но это именно потому, что она крепка в самом деле. Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не потому только, что на ней крепко стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, временами, будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся, если будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление родительской власти. Не станем мы защищать эту власть *quand m'êте*. Святыня воистину святой семьи так крепка, что никогда не пошатнется от этого, а только станет еще святее. Но во всяком деле есть предел и мера, и это мы тоже готовы понять. Я не юрист, но в деле Кронеберга я не могу не признать какой-то глубокой фальши. Тут что-то не так, тут что-то было не то, несмотря на действительную виновность. Г-н Спасович глубоко прав в том месте, где он говорит о постановке вопроса; но, однако, это ничего не разрешает. Может быть, необходим глубокий и *самостоятельный* пересмотр законов наших в этом пункте, чтоб восполнить пробелы и стать в меру с характером нашего общества. Я не могу решить, что тут нужно, я не юрист...

Но я все-таки восклицаю невольно: да, блестящее установление адвокатура, но почему-то и грустное. Это я сказал вначале и повторяю опять. Так мне кажется, и, наверно, от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере

надобности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере спроса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все аплодируют. Что ж, неужто я посягаю на адвокатуру, на новый суд? Сохрани меня боже, я всего только хотел бы, чтоб все мы стали немного получше. Желание самое скромное, но, увы, и самое идеальное. Я неисправимый идеалист; я ищу святынь, я люблю их, мое сердце их жаждет, потому что я так создан, что не могу жить без святынь, но все же я хотел бы святынь хоть капельку посвятее; не то стоит ли им поклоняться? Так или эдак, а я испортил мой февральский «Дневник», неумеренно распространившись в нем на грустную тему, потому только, что она слишком поразила меня. Но — il faut avoir le courage de son opinion,^[103] и, кажется, эта умная французская поговорка могла бы послужить руководством для многих, ищущих ответов на свои вопросы в сбивчивое время наше.

Март

Верна ли мысль, что «лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша»?

В «Листке» г-на Гаммы^[104] («Голос», № 67) я прочел такой отзыв на мои слова, в февральском «Дневнике», о народе:

¹⁰³ Надо обладать мужеством иметь свое мнение (*франц.*).

¹⁰⁴ *Гамма* — псевдоним журналиста Г. К. Градовского, с которым часто

«Как бы то ни было, у одного и того же писателя, на расстоянии одного месяца, мы встречаемся с двумя, резко противоположными друг другу мнениями по поводу народа. А ведь это не водевиль, а картинка передвижной выставки: ведь это приговор над живым организмом; это все равно что вертеть ножом в теле человека. Из своего действительного или мнимого противоречия г-н Достоевский выгораживается тем, что приглашает нас судить народ „не по тому, чем он есть, а по тому, чем желал бы стать“. Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь на деле, но зато идеалы у него хороши. Идеалы эти „сильны и святы“, и они-то „спасали его в века мучений“. Не поздоровится от таких выгораживаний! Ведь и сам ад вымощен добрыми намерениями, и г-ну Достоевскому известно, что „вера без дел мертва“. Да откуда же стали известны эти идеалы? Какой пророк или сердцевед в состоянии проникнуть или разгадать их, если вся действительность противоречит им и недостойна этих идеалов? Г-н Достоевский оправдывает наш народ в том смысле, что „они немножечко дерут, зато уж в рот хмельного не берут“. Но ведь отсюда недалеко и до нравоучения: пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша».

В этой выписке всего важнее вопрос г-на Гаммы: «Да откуда же стали известны эти идеалы?» (то есть народные). Положительно отказываюсь отвечать на такой вопрос, ибо, сколько бы мы ни проговорили на эту тему с г-ном Гаммой, мы никогда ни до чего не

договоримся. Это спор длиннейший, а для нас важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет — вот вопрос нашей жизни или смерти. Спор этот ведется слишком уж давно и остановился на том, что одним эти идеалы выяснились как солнце, другие же совсем их не замечают и окончательно отказались замечать. Кто прав — решим не мы, но решится это, может быть, довольно скоро. В последнее время раздалось несколько голосов в том смысле, что у нас не может быть ничего охранительного, потому что у нас «нечего охранять». В самом деле, если нет своих идеалов, то стоит ли тут заботиться и что-нибудь охранять? Что ж, если эта мысль приносит такое спокойствие, то и на здоровье.

«Народ, видите ли, ужаснейшая дрянь, но только идеалы у него хороши». Эту фразу или эту мысль я никогда не высказывал. Единственно, чтоб оговориться в этом, я и отвечаю г-ну Гамме. Напротив, я именно заметил, что и в народе — «есть прямо святые, да еще какие: сами светят и всем нам путь освещают». Они есть, почтенный публицист, есть в самом деле, и блажен — кто может их разглядеть. Думаю, что у меня тут, то есть собственно в этих словах, нет ни малейшей неясности. К тому же неясность не всегда происходит от того, что писатель неясен, а иногда и совсем от противоположных причин...

Что же касается до нравоучения, которым вы кончаете вашу заметку: «Пусть лучше идеалы будут дурны, да действительность хороша», — то замечу вам, что это желание совершенно невозможное: без идеалов, то есть без определенных хоть сколько-нибудь желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положительно, что ничего не будет, кроме еще пущей мерзости. У меня

же, по крайней мере, хоть шанс оставлен: если теперь неприглядно, то, при ясно сознаваемом желании стать лучшими (то есть при идеалах лучшего), можно действительно когда-нибудь собраться и стать лучшими. По крайней мере, это вовсе не столь невозможно, как ваше предположение стать лучшими при «дурных» идеалах, то есть при дурных желаниях.

Надеюсь, что на мои несколько слов вы не рассердитесь, г-н Гамма. Останемся каждый при нашем мнении и будем ждать развязки; уверяю вас, что развязка, может быть, вовсе не так отдаленна.

«Обособление»

А между тем я пишу «о виденном, слышанном и прочитанном». Хорошо еще, что не стеснил себя обещанием писать обо всем «виденном, слышанном и прочитанном». Да и слышишь-то все больше странности. Как передавать их, когда все это само собою лезет врозь и ни за что не хочет сложиться в один пучок! Право, мне все кажется, что у нас наступила какая-то эпоха всеобщего «обособления». Все обособляются, уединяются, всякому хочется выдумать что-нибудь свое собственное, новое и неслыханное. Всякий откладывает все, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей и чувств. Всякому хочется начать с начала. Разрывают прежние связи без сожаления, и каждый действует сам по себе и тем только и утешается. Если не действует, то хотел бы действовать. Положим, ужасно многие ничего не начинают и никогда не начнут, но всё же они оторвались, стоят в сторонке, глядят на оторванное место и, сложив руки, чего-то ждут. У нас все чего-то ждут. Между тем ни в чем почти

нет нравственного соглашения; все разбилось и разбивается и даже не на кучки, а уж на единицы. И главное, иногда даже с самым легким и довольным видом. Вот вам наш современный литератор-художник, то есть из новых людей. Он вступает на поприще и знать не хочет ничего предыдущего; он от себя и сам по себе. Он проповедует новое, он прямо ставит идеал нового слова и нового человека. Он не знает ни европейской литературы, ни своей; он ничего не читал, да и не станет читать. Он не только не читал Пушкина и Тургенева, но, право, вряд ли читал и своих, т. е. Белинского и Добролюбова. Он выводит новых героев, новых женщин, и вся новость их заключается в том, что они прямо делают свой десятый шаг, забыв о девяти первых, а потому вдруг очутываются в фальшивейшем положении, в каком только можно представить, и гибнут в назидание и в соблазн читателю. Эта фальшь положения и составляет все назидание. Во всем этом весьма мало нового, а, напротив, чрезвычайно много самого истрепанного старья; но не в том совсем дело, а в том, что автор совершенно убежден, что сказал новое слово, что он сам по себе, и обособился и, разумеется, этим очень доволен. Этот примерчик, впрочем, старый и маленький, но слышал я и еще на днях рассказ об одном новом слове: был некто «нигилистом», отрицал, пострадал и, после долгих передраг и даже заточений, обрел в сердце своем вдруг религиозное чувство. Что ж, вы думаете, он тотчас сделал? Он мигом «уединился и обособился», нашу христианскую веру тотчас же и тщательно обошел, все это прежнее устранил и немедленно выдумал свою веру, тоже христианскую, но зато «свою собственную». У него жена и дети. С женой он не живет, а дети в чужих руках. Он на днях бежал в

Америку, очень может быть, чтоб проповедовать там новую веру. Одним словом, каждый сам по себе и каждый по-своему, и неужто они только оригинальничают, представляются? Вовсе нет. Нынче у нас момент скорее правдивый, чем рефлекторный. Многие, и, может быть, очень многие, действительно тоскуют и страдают; они в самом деле и серьезнейшим образом порвали все прежние связи и *принуждены* начинать сначала, ибо свету им никто не дает. А мудрецы и руководители только им поддакивают, иные страха ради иудейского (как-де не пустить его в Америку: в Америку бежать все-таки либерально), а иные так просто наживаются на их счет. Так и гибнут свежие силы. Мне скажут, что это всего два-три факта, которые ничего не означают, что, напротив, все несомненно тверже прежнего обобщается и соединяется, что являются банки, общества, ассоциации. <...>

Впрочем, я о банках вдвинул шутя: не мое пока дело, а я только об обособлении. Как бы мне объяснить эту мысль получше? Кстати, приведу несколько мыслей о наших корпорациях и ассоциациях из одной рукописи, не моей, а мне присланной и нигде не напечатанной. Автор обращается к своим оппонентам в провинции:

«Вы говорите, что артели, ассоциации, корпорации, кооперации, торговые и другие всякие товарищества основаны на врожденном человеку чувстве общительности? Выгораживая русскую артель, которая еще слишком мало исследована, чтобы говорить о ней что-либо положительное, мы думаем, что все эти ассоциации, корпорации и проч. — все это лишь союзы одних против других, союзы, основанные на чувстве самоохранения, вызванные борьбою за существование; и это мнение наше подтверждается историею

возникновения этих союзов, которые заключались сначала бедными и слабыми против богатых и сильных, а потом и эти последние стали пользоваться оружием своих противников. Да, история несомненно свидетельствует, что все эти союзы возникли из братской вражды, основаны не на потребности общения, как вы полагаете, а на чувстве страха за свое существование или же на желании получить барыш, выгоду, пользу, хотя бы и на счет ближнего. Всматриваясь же в устройство всех этих детищ утилитаризма, мы видим, что главная их забота — это устройство надежного контроля каждого за всеми и всех за каждым, — попросту, поголовного шпионства из боязни, как бы кто не надул кого. Все эти ассоциации с их контролем внутри и завистливою ко всему постороннему внешнею деятельностью представляют поразительную параллель с тем, что творится в политическом мире, где взаимные отношения народов характеризуются вооруженным миром, прерываемым кровопролитными схватками, внутренняя же их жизнь — бесконечною борьбою партий. О каком же общении, о какой любви тут может быть речь! Не потому ли все эти учреждения так плохо и прививаются у нас, что мы еще слишком просторно живем, что нам нет еще основания слишком вооружаться друг против друга, что в нас слишком еще много расположения, веры друг к другу, и эти чувства мешают нам устроить такой контроль, такое шпионство друг за другом, как это необходимо при устройстве всех этих ассоциаций, коопераций, торговых и других товариществ, при недостаточности же контроля они идти не могут, они непременно лопаются.

Уж не будем ли мы сокрушаться о таких наших недостатках, сравнительно с нашими более

образованными западными соседями?! Нет, мы, по крайней мере, в этих наших недостатках видим наше богатство, видим, что в нас еще действует с некоторой силой то чувство единения, без которого человеческие общества существовать не могут; хотя оно, действуя в людях бессознательно, приводит их как к великим подвигам, так, весьма часто, и к великим порокам. Но в ком это чувство еще не убито, для того все возможно, лишь бы оно, это чувство, из бессознательного, из инстинкта, обратилось в силу сознannую, в такую, которая не бросала бы нас в ту или другую сторону, по слепому капризу случая, а направлялась бы нами к достижению разумных целей; без этого же чувства единения, взаимной любви, общения людей между собою, немыслимо ничто великое, потому что немыслимо и само общество».

То есть автор, видите ли, может быть, и не совсем уж так прокликает ассоциации и корпорации, а он только утверждает, что их *теперешний* главный принцип состоит всего лишь только в утилитаризме да еще в шпионстве и что это вовсе не есть *единение людей*. Все это молодо, свежо, теоретично, непрактично, но в принципе совершенно верно и написано не только искренно, но с страданием и болением. И заметьте всеобщую черту: все дело у нас теперь в первом шаге, в практике, а все, все до единого, кричат и заботятся лишь о принципах. <...> История рукописи, из которой взял я вышеприведенную выдержку, следующая. Почтенный автор ее (не знаю только, молодой ли человек или из молодых стариков) напечатал одну небольшую заметку в одном губернском издании, а редакция губернского издания, поместив его заметку, сделала рядом и свою оговорку, отчасти с ним не согласную. Затем, когда автор заметки написал в

опровержение этой, с ним не согласной, оговорки уже целую статью (впрочем, не очень большую), то редакция губернского издания отказалась поместить у себя эту статью под предлогом, что это «скорее проповедь, чем статья». Тогда автор обратился ко мне письмом и, посылая мне эту отказанную статью, просил меня, чтоб я ее прочел, вникнул и сказал об ней, в «Дневнике», мое мнение. Во-первых, я благодарю за доверие к моему мнению, а во-вторых — благодарю за статью, потому что она доставила мне чрезвычайное удовольствие: я редко читал что-нибудь *логичнее*, и хоть я всю статью поместить не могу, но предыдущую выдержку сделал с намерением, которого и не потаю: дело в том, что у автора ее, хлопчущего об истинном единении людей, я нашел чрезвычайно тоже «обособленный» в своем роде размах, и именно в тех частях рукописи, которые я не рискну приводить, до того обособленный, что даже редко и встречается; так что не статья одна, а и сам уже автор ее как бы подтверждает мою мысль об «обособлении» единиц и чрезвычайном, так сказать, химическом разложении нашего общества на составные его начала, наступившем вдруг в наше время.

Прибавлю, однако, что если все теперь «сами от себя и сами по себе», то не без связи же, однако, и с предыдущим. Напротив, связь эта должна существовать непременно, хотя бы и все казалось разрозненным и друг друга не понимающим, и проследить эту связь всего бы любопытнее. Одним словом, хоть и старо сравнение, но наше русское интеллигентное общество всего более напоминает собою тот древний пучок прутьев, который только и крепок, пока прутья связаны вместе, но чуть лишь расторгнута связь, то весь пучок разлетится на множество слабых былинков, которые разнесет первый

ветер. Так вот этот-то пук у нас теперь и рассыпался. Что ж, неужели не правда, что правительство наше, за все время двадцатилетних реформ своих, не нашло у нас *всей* поддержки интеллигентных сил наших? Напротив, не ушла ли огромная часть молодых, свежих и драгоценных сил в какую-то странную сторону, в обособление с глумлением и угрозой, и именно опять-таки из-за того, чтоб вместо первых девяти шагов ступить прямо десятый, забывая притом, что десятый-то шаг, без предшествовавших девяти, уж *во всяком случае* обратится в фантазию, даже если б он и значил что-нибудь сам по себе. Всего обиднее, что понимает что-нибудь в этом десятом шаге, может быть, всего только один из тысячи отщепенцев, а остальные слышали, как в колокола звонят. В результате пусто: курица болтуна снесла. Видали ль вы в знойное лето лесной пожар? Как жалко смотреть и какая тоска! сколько напрасно гибнет ценного материала, сколько сил, огня и тепла уходит даром, бесследно и бесполезно.

Дон Карлос^[105] и сэр Уаткин^[106]

Опять признаки «Начала конца»

Я с большим любопытством прочел о въезде дона Карлоса в Англию. Всегда говорят, что действительность скучна, однообразна; чтобы развлечь себя, прибегают к искусству, к фантазии, читают романы. Для меня,

¹⁰⁵ *Дон Карлос* — Дон Карлос Младший (1848–1909) — претендент на испанский престол под именем Карла VII, организатор второй карлистской войны. Карлистские войны — династические войны между двумя ветвями дома испанских Бурбонов.

¹⁰⁶ *Уаткин* Эдуард Уильям (1819–1901) — член английского парламента.

напротив: что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? Что может быть даже невероятнее иногда действительности? Никогда романисту не представить таких невозможностей, как те, которые действительность представляет нам каждый день тысячами, в виде самых обыкновенных вещей. Иного даже вовсе и не выдумать никакой фантазии. И какое преимущество над романом! Попробуйте, *сочините* в романе эпизод, хоть с присяжным поверенным Куперником,^[107] выдумайте его сами, и критик в следующее же воскресенье, в фельетоне, докажет вам ясно и непобедимо, что вы бредите и что в действительности этого никогда не бывает и, главное, никогда и не может случиться, потому-то и потому-то. Кончится тем, что вы сами со стыдом согласитесь. Но вот вам приносят «Голос», и вдруг в нем вы читаете весь эпизод об нашем стрелке и — и что же: сначала вы читаете с удивлением, с ужасным удивлением, даже так, что, пока читаете, вы ничему не верите; но чуть вы прочитали до последней точки, вы откладываете газету и вдруг, сами не зная почему, разом говорите себе: «Да, все это непременно так и должно было случиться». А иной так даже прибавит: «Я это предчувствовал». Почему такая разница в впечатлениях от романа и от газеты — не знаю, но такова уж привилегия действительности.

Дон Карлос, спокойно и торжественно въезжающий гостем в Англию, после крови и резни «во имя короля, веры и Богородицы», — вот еще фигура, вот еще

¹⁰⁷ *Куперник* Лев Абрамович — адвокат и публицист, защитник во многих политических процессах, в том числе и в нечаевском деле. Достоевский имеет в виду газетные сообщения о том, что Куперник в целях ускорения езды угрожал ямщикам стрельбою из пистолета.

обособление! Ну можно ли выдумать что-нибудь подобное самому? Кстати, помните ли вы эпизод, два года назад, с графом Шамбором (Генрих V)? Это — тоже король, легитимист и тоже отыскивал свой престол во Франции, в одно и то же время, как дон Карлос в Испании. Они даже могут считаться друг другу родственниками, одной фамилии и одного корня, но какая разница! Один — твердо замкнувшийся в своих убеждениях, фигура меланхолическая, изящная, человечная. Граф Шамбор, в самый роковой момент, когда действительно мог стать королем (конечно, на мгновение), — не прельстился ничем, не отдал своего «белого знамени» и тем доказал, что он великодушный и истинный рыцарь, почти Дон-Кихот, древний рыцарь с обетом целомудрия и нищеты, достойная фигура, чтоб величаво заключить собою свой древний род королей. (Величаво и только разве капельку смешно, но без смешного и не бывает жизни.) Он отверг власть и трон единственно потому, что хотел стать королем Франции не для себя только, а для ее же спасения, а так как, по его взгляду, спасение не согласовалось с уступками, которые от него требовались (уступками очень возможными), то он и не захотел царствовать. Какая разница с недавним Наполеоном, пройдохой и пролетарием, обещавшим все, отдававшим все и надувшим всех, только чтоб достигнуть власти. Я сейчас приравнял графа Шамбора к Дон-Кихоту, но я выше похвалы не знаю. Кто это, Гейне, что ли, рассказывал, как он, ребенком, плакал, обливаясь слезами, когда, читая Дон-Кихота, дошел до того места, как победил его презренный и здравомыслящий цирюльник Самсон Караско. Во всем мире нет глубже и сильнее этого *сочинения*. Это пока последнее и величайшее слово

человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля, и спросили там, где-нибудь, людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать Дон-Кихота: «Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?» Я не утверждаю, что человек был бы прав, сказав это, но...

Дон Карлос, родственник графа Шамбора, тоже рыцарь, но в этом рыцаре виден Великий Инквизитор. Он пролил реки крови *ad maiorem gloriam Dei*^[108] и во имя Богородицы, кроткой молельщицы за людей, «скорой заступницы и помощницы», как именует ее народ наш. Ему тоже, как и графу Шамбору, делали предложения, — и он тоже отверг их. Это, кажется, случилось вскоре после Бильбао и сейчас после его большой победы, когда в сражении погиб главнокомандующий мадридской армии. Тогда к нему засылали узнать из Мадрида: «Что бы он сказал, если б его впустили в Мадрид, и не даст ли он хоть какой-нибудь программки для возможного начатия переговоров?» Но он надменно отклонил всякую мысль о переговорах, и, конечно, не из одной надменности, а тоже из глубоко засевшего в душе принципа: не мог он признать в засылавших воюющей стороны, и не мог он, «Король», входить в какие бы то ни было соглашения с «революцией»! Сжато, полусловом, но ясно он дал знать, что «король сам знает, что надо ему сделать, когда достигнет своей столицы», и больше ничего не прибавил. От него, разумеется, тотчас же отвернулись и вскорости позвали короля Альфонса. Благоприятная минута была потеряна, но он продолжал

¹⁰⁸ К вящей славе божьей (*лат.*). — девиз ордена иезуитов.

воевать; он писал манифесты высоким и величавым слогом, и сам, первый, в них верил вполне; он надменно и величаво расстреливал своих генералов «за измену» и усмирять бунты своих измучившихся солдат и, надо ему отдать справедливость, как воину, — воевал до самого последнего вершка земли. Теперь он, уезжая из Франции в Англию, объявил в мрачном и гордом письме к французским друзьям своим, что «доволен их службой и поддержкой, что, служа ему, они служили себе, и что он всегда готов опять обнажить свой меч на призыв несчастной страны своей». Не беспокойтесь, он еще явится. Кстати, этим письмом к «друзьям» хоть капельку да объясняется загадка: на какие средства и на чьи деньги этот ужасный человек (молодой и прекрасный, говорят, собой) так долго и упорно мог вести войну? Друзья-то, стало быть, и сильны и многочисленны. Кто бы такие? Вероятнее всего, что его наиболее поддерживала католическая церковь, как последнюю свою надежду из королей. А то никакие друзья не могли бы собрать ему столько миллионов.

Заметьте, что этот человек, гордо и резко отвергнувший всякое соглашение с «революцией», поехал в Англию и отлично знал прежде, что поедет искать гостеприимства в этой свободомыслящей и вольной стране, революционной — по его понятиям; какое, однако, совмещение понятий! И вот при въезде его в Англию и случился с ним маленький, но характерный эпизод. Сел он в Булони на пароход, чтоб высадиться в Фокстоне; но на этом же пароходе ехали в Англию тоже гости, члены Булонского муниципалитета, приглашенные англичанами на мирное торжество открытия новой железнодорожной станции в Фокстоне. Этих гостей, в числе которых был и депутат от

департамента Па-де-Кале, ожидала на английском берегу, чтоб приветствовать их, толпа англичан, власти, нарядные дамы, корпорации и депутации разных обществ с знаменами и с музыкой. Тут случился один член парламента, сэра Эдуард Уаткин, в сопровождении двух других членов парламента. Узнав, что между пассажирами прибыл дон Карлос, он мигом пошел к нему представиться и засвидетельствовать свое почтение; он проводил его со всею вежливостью до станции и усадил в вагон в отдельное закрытое купе. Но остальная публика была не так вежлива; при виде дон Карлоса, когда он проходил и садился в вагон, раздались свистки и шиканье. Такое поведение соотечественников глубоко оскорбило сэра Уаткина. Он, впрочем, сам это описал в газете и по возможности смягчил отзыв о невежливом приеме «гостя». Он рассказывает, что всему виною лишь один нечаянный случай, а то все обошлось бы иначе:

«...В минуту (повествует он), когда мы входили на платформу и дон Карлос приподнимал шляпу в ответ на возгласы нескольких человек, приветствовавших его, ветер развил знамя ассоциации Odd Fellows,^[109] и на этом знамени появилось изображение Милосердия, покровительствующего детям, с девизом: «Не забудьте вдов и сирот!» Эффект был быстрый и поразительный: в толпе раздался ропот, но он выражал скорее печаль, чем порывы гнева. Хотя я и сожалею о происшедшем, но должен сказать, что ни один народ, собравшийся на веселое празднество и внезапно очутившийся лицом к лицу с главным актером кровопролитной и братоубийственной войны, не выказал бы столько

¹⁰⁹ Тайные братья (*англ.*). — название благотворительного общества.

вежливости, сколько выказало оной громадное большинство фокстонской публики».

Какая своеобразность взгляда, какая твердость своего мнения и какая ревнивая гордость за свой народ! Может быть, многие из наших либералов сочли бы поведение сэра Уаткина чуть не за низость, за низкие чувства заискивания перед знаменитым человеком, за мелкое вылезание вперед. Но сэр Уаткин думает не по-нашему: о, он и сам знает, что приехавший гость есть главный актер кровопролитной и братоубийственной войны; но, встречая его, он тем самым удовлетворяет свою патриотическую гордость и изо всех сил служит Англии. Протягивая руку обагренному кровью тирану, от имени Англии и в сане члена парламента, он тем как бы говорит ему: «Вы деспот, тиран, а все-таки пришли же в страну свободы искать в ней убежища; того и ожидать было надо; Англия принимает всех и никому не боится давать убежище: *entrée et sortie libres*;^[110] милости просим». И не одна невежливость «малой части собравшейся публики» огорчила его, а и то, что в неудержимости чувства, в свистках и шиканье он заметил промах против того собственного достоинства, какое должно быть неотменно у каждого истинного англичанина. Пусть там, на континенте и во всем человечестве, считается даже прекрасным, если народ не сдерживает оскорбленного чувства и публично клеймит злодея презреньем и свистками, будь он даже гость этого народа; но все это годится для каких-нибудь там парижан или немцев: англичанин обязан вести себя иначе. В подобные минуты он должен быть хладнокровен, как джентльмен, и не высказывать своего

¹¹⁰ Въезд и выезд свободный (франц.).

мнения. Гораздо лучше будет, если гость ничего не узнает о том, что о нем думают встречающие; а всего бы лучше, если б каждый стоял неподвижно, заложив за спину руки, как прилично англичанину, и глядел на прибывшего взглядом, полным холодного достоинства. Несколько вежливых возгласов, но вполголоса и умеренно, ничему тоже не помешали бы: гость тотчас же различил бы, что это лишь обычай и этикет, а что собственно волнения он не мог у нас возбудить никакого, будь он хоть семи пядей во лбу. А теперь, как закричали и засвистали, гость и подумает, что это лишь бессмысленная уличная чернь, как и на континенте. Кстати, вспомнился мне теперь один премилый анекдот, который я прочел недавно, где и у кого не запомню, о маршале Себастьяни^[111] и об одном англичанине, еще в начале столетия, при Наполеоне 1-м. Маршал Себастьяни, важное тогда лицо, желая обласкать одного англичанина, которые все были тогда в загоне, потому что беспрерывно и упорно воевали с Наполеоном, сказал ему с любезным видом, после многих похвал его нации:

— Если б я не был французом, то желал бы стать англичанином.

Англичанин выслушал, но, нимало не тронутый любезностью, тотчас ответил:

— А если б я не был англичанином, то я все-таки пожелал бы стать англичанином.

Таким образом, в Англии все англичане и все одинаково уважают себя, может быть, единственно за то, что они англичане. Уж одного этого бы, кажется,

¹¹¹ *Себастьяни* Франсуа Орас Бастьен (1772–1851) — французский дипломат и военный деятель.

довольно для крепкой связи и для единения людей в стране этой: крепок пучок. И, однако, на деле там то же самое, что и везде в Европе: страстная жажда жить и потеря высшего смысла жизни. Приведу здесь, тоже в виде примера оригинальности, взгляд одного англичанина на свою веру, протестантизм. Вспомним, что англичане, в огромном большинстве, народ в высшей степени религиозный: они жаждут веры и ищут ее непрерывно, но, вместо религии, несмотря на государственную «англиканскую» веру, рассыпаны на сотни сект. Вот что говорит Сидней Доббель^[112] в недавней статье своей «Мысли об искусстве, философии и религии»: «Католицизм велик, прекрасен, премудр и могуч, — он самое устойчивое, самое благоразмерное из зданий, какие воздвигал человек, но он *не воспитателен* и вследствие того обречен на смерть; мало того, повинен смерти, ибо причиняет вред, и тем больше вреден, чем совершеннее его устройство. Протестантизм узок, безобразен, бесстыден, неразумен, непоследователен, несогласен сам с собой; это вавилон словопрения и буквальности, это клуб состязания полумыслящих педантов, полуграмотных гениев и неграмотных эгоистов всякого рода, это колыбель притворства и фанатизма; это сборное праздничное место для всех вольноприходящих безумцев. Но он *воспитателен*, и вследствие того ему суждено жить. Мало того: его следует питать и устраивать, окружать заботой и отстаивать в борьбе, как необходимую потребность *sine qua non* духовной жизни для человека».

Какое самое невозможное суждение! А между тем тысячи европейцев ищут своего спасения в таких же

¹¹² Доббель Синди Томпсон (1824–1874) — английский поэт.

заклучениях. В самом деле, здорово ли то общество, в котором серьезно и с таким жаром выставляются такие выводы о духовных требованиях человеческих? «Протестантизм, видите ли, дик, безобразен, бесстыден, узок и глуп, но он *воспитателен*, а потому надо его сохранять и отстаивать!» Во-первых, что за утилитаризм в таком деле и в таком вопросе? Дело, которому должно быть все подчинено (если действительно Сидней Доббель хлопчет о *вере*), — это дело, напротив, рассматривается лишь единственно с точки зрения его полезности англичанину. И, уж конечно, такой утилитаризм стоит той невоспитательной замкнутости и законченности католичества, за которую этот протестант так его прокликает. И не похожи ли такие слова на иные отзывы тех «глубоких политических и государственных мыслителей» всех стран и народов, изрекающих иногда премудрые изречения вроде следующих: «Бога нет, разумеется, и вера вздор, но религия нужна для черного народа, потому что без нее его не сдержать». В том разве разница, что в этом мнении государственного мудреца, в основе, холодный и жестокосердый разврат, а Сидней Доббель — друг человечества и хлопчет лишь о его прямой пользе. Зато взгляд на пользу драгоценен: вся польза в том, видите ли, что отворены ворота настежь для всякого суждения и вывода; и в ум и в сердце — *entrée et sortie libres*; ничего не заперто, не ограждено и не закончено: плыви в безбрежном море и спасай себя сам, как хочешь. Суждение, впрочем, широкое — широкое, как безбрежное море, и, уж конечно, — «ничего в волнах не видно»; зато национальное. О, тут глубокая искренность, но не правда ли, что эта искренность граничит как бы с отчаянием. Характерен тоже тут и прием мышления, характерно то,

об чем думают, пишут и заботятся там у себя эти люди: ну станут, например, у нас писать и заботиться наши публицисты о таких фантастических предметах, да и ставить их на такой высший план? Так что можно бы даже сказать, что мы, русские, люди с гораздо более реальным, глубоким и благоразумным взглядом, чем все эти англичане. Но англичане не стыдятся ни своих убеждений, ни нашего об них заключения; в чрезвычайной искренности их встречается иногда даже нечто глубоко трогательное. Вот что, например, передавал мне один наблюдатель, особенно следящий за этим в Европе, о характере иных, уже совершенно атеистических учений и толков в Англии: «Вы входите в церковь, — служба благолепная, богатые ризы, кадила, торжественность, тишина, благоговение молящихся. Читается Библия, все подходят и лобызают святую книгу со слезами, с любовью. И что же? Это церковь — атеистов. Все молящиеся не верят в Бога; неприменный догмат, неприменное условие для вступления в эту церковь — атеизм. Зачем же они целуют Библию, благоговейно выслушивают чтение ее и плачут над нею? А затем, что, отвергнув Бога, они поклонились „Человечеству“. Они верят теперь в Человечество, они обоготворили и обожают Человечество. А что было человечеству дороже этой святой книги в продолжение стольких веков? Они преклоняются теперь пред нею за любовь ее к человечеству и за любовь к ней человечества. Она благодетельствовала ему столько веков, она как солнце светила ему, изливала на него силу и жизнь; и „хоть смысл ее теперь и утрачен“, но, любя и благотворя человечество, — они не могут стать неблагодарными и забыть ее благодеяния ему...»

В этом много трогательного и много энтузиазма. Тут действительное обоготворение человечества и страстная потребность проявить любовь свою; но какая, однако же, жажда моления, преклонения, какая жажда Бога и веры у этих атеистов и сколько тут отчаяния, какая грусть, какие похороны вместо живой, светлой жизни, бьющей свежим ключом молодости, силы и надежды! Но похороны ли или новая грядущая сила — это еще для многих вопрос. Позволю себе сделать выписку из одного моего недавнего романа — «Подросток». Об этой «Церкви атеистов» я узнал лишь на днях, гораздо позже того, как я окончил и напечатал роман мой. У меня тоже об атеизме — но это лишь мечта одного из русских людей нашего времени, сороковых годов, бывших помещиков-прогрессистов, страстных и благородных мечтателей рядом с самою великорусскою широкостью жизни на практике. Сам этот помещик — тоже без всякой веры и тоже обожает человечество, «как и следует русскому прогрессивному человеку». Он высказывает мечту свою о будущем человечестве, когда уже исчезнет в нем всякая идея о Боге, что, по его понятиям, несомненно случится на всей земле.

«Я представляю себе, мой милый, — начал он с задумчивою улыбкою, — что бой уже кончился и борьба улеглась. После проклятий, комьев грязи и свистков настало затишье, и люди остались *одни*, как желали: великая прежняя идея оставила их; великий источник сил, до сих пор питавший их, отходил как величавое, зовущее солнце, но это был уже как бы последний день человечества. И люди вдруг поняли, что они остались совсем одни, и разом почувствовали великое сиротство. Милый мой мальчик, я никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. Осиротевшие

люди тотчас стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют всё друг для друга. Исчезла бы великая идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был бессмертием, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою проходимость и конечность, и уже особенною, уже не прежнюю любовью. Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любовника на возлюбленную. Они просыпались бы и спешили бы целовать друг друга, торопясь любить, сознавая, что дни коротки, что это — все, что у них остается. Они работали бы друг на друга, и каждый отдавал бы всем все свое и тем одним был бы счастлив. Каждый ребенок знал бы и чувствовал, что всякий на земле — ему как отец и мать. «Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» — и эта мысль, что они останутся, все так же любя и трепеща друга за друга, заменила бы мысль о загробной встрече. О, они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоким и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть...»

Не правда ли, тут в этой фантазии есть несколько сходного с этою, уже действительно существующею «Церковью атеистов».

Лорд Редсток^[113]

Кстати уж об этих сектах. Говорят, в эту минуту у нас в Петербурге лорд Редсток, тот самый, который еще три года назад проповедовал у нас всю зиму и тоже создал тогда нечто вроде новой секты. Мне случилось его тогда слышать в одной «зале», на проповеди, и, помню, я не нашел в нем ничего особенного: он говорил ни особенно умно, ни особенно скучно. А между тем он делает чудеса над сердцами людей; к нему льнут; многие поражены: ищут бедных, чтоб поскорей облагодетельствовать их, и почти хотят раздать свое имение. Впрочем, это может быть только у нас в России; за границей же он кажется не так заметен. Впрочем, трудно сказать, чтоб вся сила его обаяния заключалась лишь в том, что он лорд и человек независимый и что проповедует он, так сказать, веру «чистую», барскую. Правда, все эти проповедники-сектанты всегда уничтожают, если б даже и не хотели того, данный церковью образ веры и дают свой собственный. Настоящий успех лорда Редстока зиждется единственно лишь на «обособлении нашем», на оторванности нашей от почвы, от нации. Оказывается, что мы, то есть интеллигентные слои нашего общества, — теперь какой-то уж совсем чужой народик, очень маленький, очень ничтожненький, но имеющий, однако, уже свои привычки и свои предрассудки, которые и принимаются

¹¹³ Редсток Гренвил Валдигрев (1831–1913) — английский проповедник-евангелист.

за своеобразие, и вот, оказывается, теперь даже и с желанием своей собственной веры. Собственно про учение лорда трудно рассказать, в чем оно состоит. Он англичанин, но, говорят, не принадлежит и к англиканской церкви и порвал с нею, а проповедует что-то свое собственное. Это так легко в Англии: там и в Америке сект, может быть, еще больше, чем у нас в нашем «черном народе». Секты скакунов, трясучек, конвульсьонеров, квакеров, ожидающих миллениума^[114] и, наконец, хлыстовщина (всемирная и древнейшая секта) — всего этого не перечесть. Я, конечно, не в насмешку говорю об этих сектах, сопоставляя их рядом с лордом Редстоком, но кто отстал от истинной церкви и замыслил свою, хотя бы самую благолепную на вид, непременно кончит тем же, чем эти секты. И пусть не морщатся почитатели лорда: в философской основе этих самых сект, этих трясучек и хлыстовщины, лежат иногда чрезвычайно глубокие и сильные мысли. По преданию, у Татариновой,^[115] в Михайловском замке, около двадцатых годов, вместе с нею и с гостями ее, такими, как, например, один тогдашний министр, вертелись и пророчествовали и крепостные слуги Татариновой: стало быть, была же сила мысли и порыва, если могло создаться такое «неестественное» единение верующих, а секта Татариновой была, по-видимому, тоже хлыстовщина или одно из бесчисленных ее разветвлений. Я не слышал из рассказов о лорде

¹¹⁴ *Миллениум* — тысячелетнее «царство божие на земле», которое, по учению различных сект, должно установиться со вторым пришествием Христа и предшествовать концу мира.

¹¹⁵ *Татаринова* Екатерина Филипповна (1783–1856) — основательница сектантского союза, родственного хлыстам и скопцам.

Редстоке, чтоб у него вертелись и пророчествовали (верчение и пророчество — есть необходимейший и древнейший атрибут почти всех этих западных и наших сект, по крайней мере, чрезвычайного множества. И тамплиеры^[116] тоже вертелись и пророчествовали, тоже были хлыстовщиной и за это самое сожжены, а потом восхвалены и воспеты французскими мыслителями и поэтами перед первой революцией); я слышал только, что лорд Редсток как-то особенно учит о «схождении благодати» и что будто бы, по выражению одного передававшего о нем, у лорда «Христос в кармане», — то есть чрезвычайно легкое обращение с Христом и благодатью. О том же, что бросаются в подушки и ждут какого-то вдохновения свыше, я, признаюсь, не понял, что передавали. Правда ли, что лорд Редсток хочет ехать в Москву? Желательно, чтоб на этот раз никто из нашего духовенства не поддакивал его проповеди. Тем не менее он производит чрезвычайные обращения и возбуждает в сердцах последователей великодушные чувства. Впрочем, так и должно быть: если он в самом деле искренен и проповедует новую веру, то, конечно, и одержим всем духом и жаром основателя секты. Повторяю, тут плачевное наше обособление, наше неведение народа, наш разрыв с национальностью, а во главе всего — слабое, ничтожное понятие о православии. Замечательно, что о лорде Редстоке, кроме немногих исключений, почти ничего не говорит наша пресса.

¹¹⁶ Тамплиеры — средневековый католический рыцарско-духовный орден.

Словцо об отчете ученой комиссии. О спиритических явлениях

«Обособление» ли спириты? Я думаю, что да. Наш возникающий спиритизм, по-моему, грозит в будущем чрезвычайно опасным и скверным «обособлением». «Обособление» есть ведь разъединение; я в этом смысле и говорю, что в нашем молодом спиритизме заметны сильные элементы к восполнению и без того уже все сильнее и прогрессивнее идущего разъединения русских людей. Ужасно мне нелепо и досадно читать иногда, у некоторых мыслителей наших, о том, что наше общество спит, дремлет, лениво и равнодушно; напротив, никогда не замечалось столько беспокойства, столько метания в разные стороны и столько искания чего-нибудь такого, на что бы можно было нравственно опереться, как теперь. Каждая самая беспутная даже идея, если только в ней предчувствуется хоть малейшая надежда что-нибудь разрешить, может надеяться на несомненный успех. Успех же всегда ограничивается «обособлением» какой-нибудь новой кучки. Вот так и с спиритизмом. И каково же было мое разочарование, когда я прочел наконец в «Голосе» отчет известной комиссии, о которой так все кричали и возвещали, о спиритических явлениях, наблюдавшихся всю зиму в доме г-на Аксакова.^[117] А я-то так ждал и надеялся, что этот отчет раздавит и раздробит это непотребное (в его мистическом значении) новое учение. Правда, у нас, по-видимому, еще не

¹¹⁷ Аксаков Александр Николаевич (1832–1903) — пропагандист спиритизма в России, автор книги «Спиритизм и наука».

замечается никаких *учений*, а идут лишь пока одни «наблюдения»; но так ли это на самом деле? Жаль, что в эту минуту я не имею ни времени, ни места подробнее изложить мою мысль; но в следующем, апрельском моем «Дневнике» я, может быть, и решусь заговорить опять о спиритах. Впрочем, может быть, я обвиняю отчет комиссии напрасно: не она, конечно, виновата в том, что я так сильно на нее надеялся и что ожидал от нее, может быть, совсем невозможного, чего она никогда и не могла дать. Но во всяком случае «Отчет» грешит изложением, редакцией. Изложение это такого свойства, что в нем противники отчета непременно отыщут «предвзятое» отношение к делу (стало быть, весьма ненаучное), хотя, может быть, в комиссии вовсе не было столько этой «предвзятости», чтоб можно было за то обвинить ее. (Немного-то предвзятости было, без этого у нас уж никак нельзя.) Но редакция грешит несомненно: комиссия позволяет, например, себе заключать о таких явлениях спиритизма (о материализации духов, например), которые она, по собственному ее признанию, не наблюдала вовсе. Положим, она сделала это в виде, так сказать, нравоучения, в нравоучительном и предупредительном смысле, забегая вперед явлений, для пользы общества, чтоб спасти легкомысленных людей от соблазна. Идея благородная, но вряд ли уместная в настоящем случае. Впрочем, что же: неужели сама комиссия, состоящая из стольких ученых людей, могла серьезно надеяться затушить нелепую идею в самом начале? Увы, если б комиссия представила даже самые явные и прямые доказательства «подлогов», даже если б она изловила и изобличила «плутующих» на деле и, так сказать, поймав их за руки (чего, впрочем, отнюдь не случилось), то и тогда бы ей никто не поверил из

увлекшихся спиритизмом, даже из желающих только увлечься, по тому вековечному закону человеческой природы, по которому, в мистических идеях, даже самые математические доказательства — ровно ничего не значат. А тут, в этом-то, в нашем возникающем спиритизме, — клянусь, на первом плане лишь идея мистическая, и — что же вы с нею можете сделать? Вера и математические доказательства — две вещи несовместимые. Кто захочет поверить — того не остановите. А тут вдобавок и доказательства далеко не математические.

Тем не менее отчет все бы мог быть полезен. Он мог быть несомненно полезен для всех еще не соvrащенных и пока еще равнодушных к спиритизму. А теперь, при «хотении верить», хотению может быть дано новое оружие в руки. Да и слишком презрительно-высокомерный тон отчета можно бы было смягчить; право, можно подумать, читая его, что обе почтенные стороны, во время наблюдений, почему-либо лично поссорились. На массу это подействует не в пользу «Отчета».

Единичные явления

Но является и другой разряд явлений, довольно любопытный, особенно между молодежью. Правда, явления пока единичные. Рядом с рассказами о нескольких несчастных молодых людях, «идущих в народ», начинают рассказывать и о другой совсем молодежи. Эти новые молодые люди тоже беспокоятся, пишут к вам письма или сами приходят с своими недоумениями, статьями и с неожиданными мыслями, но совсем не похожими на те, которые мы до сих пор в

молодежи встречать привыкли. Так что есть некоторый повод предположить, что в молодежи нашей начинается некоторое движение, совершенно обратное прежнему. Что же, этого, может быть, и должно было ожидать. В самом деле: чьи они дети? Они именно дети тех «либеральных» отцов, которые, в начале возрождения России, в нынешнее царствование, как бы отторгнулись всей массой от общего дела, вообразив, что в том-то и прогресс и либерализм. А между тем — так как все это отчасти прошедшее, — много ли было тогда воистину либералов, много ли было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких, как, например, недавний еще тогда покойник Белинский (не говоря уже об уме его)? Напротив, в большинстве это все-таки была лишь грубая масса мелких безбожников и крупных бесстыдников, в сущности тех же хапуг и «мелких тиранов», но фанфаронов либерализма, в котором они ухитрились разглядеть лишь право на бесчестье. И чего тогда не говорилось и не утверждалось, какие нередко мерзости выставлялись за честь и доблесть. В сущности, это была грубая улица, и честная идея попала на улицу. А тут как раз подоспело освобождение крестьян, а с ним вместе — разложение и «обособление» нашего интеллигентного общества во всех возможных смыслах. Люди не узнавали друг друга, и либералы не узнавали своих же либералов. И сколько было потом грустных недоумений, тяжелых разочарований! Бесстыднейшие ретрограды вылетали иногда вдруг вперед, как прогрессисты и руководители, и имели успех. Что же могли видеть многие тогдашние дети в своих отцах, какие воспоминания могли сохраниться в них от их детства и отрочества? Цинизм, глумление, безжалостные посягновения на первые нежные святыне верования

детей; затем нередко открытый разврат отцов и матерей, с уверенным и *научением*, что так и следует, что это-то и истинные «трезвые» отношения. Прибавьте множество расстроившихся состояний, а вследствие того нетерпеливое недовольство, громкие слова, прикрывающие лишь эгоистическую, мелкую злобу за материальные неудачи, — о, юноши могли это наконец разобрать и осмыслить! А так как юность чиста, светла и великодушна, то, конечно, могло случиться, что иные из юношей не захотели пойти за такими отцами и отвергли их «трезвые» наставления. Таким образом, подобное «либеральное» воспитание и могло произвести совсем обратные следствия, по крайней мере в некоторых примерах. Вот эти-то, может быть, юноши и подростки и ищут теперь новых путей и прямо начинают с отпора тому ненавистному им циклу идей, который встретили они в детстве, в своих жалких родных гнездах.

Апрель

Идеалы растительной стоячей жизни. Кулаки и мироеды. Высшие господа, подгоняющие Россию

В мартовском № «Русского вестника» сего года помещена на меня «критика», г-на А., т. е. г-на Авсеенко.^[118] Отвечать г-ну Авсеенко нет никакой выгоды: трудно представить писателя, менее вникающего в то, что он пишет. А впрочем, если б он и

¹¹⁸ *Авсеенко* Василий Григорьевич (1842–1913) — писатель-беллетрист и критик.

вникал, то вышло бы то же самое. Все, что в статье его касается до меня, написано им на тему, что не мы, культурные люди, должны преклониться перед народом — ибо «идеалы народные суть по преимуществу идеалы растительной стоячей жизни», — а что, напротив, народ должен просветиться от нас, культурных людей, и усвоить нашу мысль и наш образ. Одним словом, г-ну Авсеенке очень не понравились мои слова в февральском «Дневнике» о народе. Я полагаю, что тут лишь одна неясность, в которой я сам виноват. Неясность и надо разъяснить, отвечать же г-ну Авсеенко буквально нельзя. Что вы, например, будете иметь общего с человеком, который вдруг говорит о народе, например, такие слова:

«На его плечах (т. е. на плечах народа), на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам — создалась независимость России, ее сила и способность к историческому призванию. Он сохранил нам чистоту христианского идеала, высокий и смиренный в своем величии героизм и те прекрасные черты славянской природы, которые, отразившись в бодрых звуках пушкинской поэзии, *постоянно питали потом живую струю нашей литературы ...*»

И вот, только что это написалось (то есть переписалось из славянофилов), на следующей же странице г-н Авсеенко сообщает про тот же русский народ совершенно противоположное:

«Дело в том, что народ наш не дал нам идеала деятельной личности. Все прекрасное, что мы замечаем в нем и что наша литература, к ее великой чести, приучила нас любить в нем, является только на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического (?) быта или

пассивной жизни. Как скоро выделяется из народа *деятельная, энергическая* личность, очарование по большей части исчезает, и чаще всего индивидуальность является в непривлекательной форме мироеда, кулака, самодура. Активных идеалов в народе до сих пор нет, и надеяться на них — значит отправляться от неизвестной и, может быть, мнимой величины».

И все это сказать сейчас же после того, как на предыдущей странице было объявлено, что на «плечах народа, на его терпении и самопожертвовании, на его живучей силе, горячей вере и великодушном презрении к собственным интересам — создалась независимость России!» Да ведь, чтоб выказать живучую силу, нельзя быть *только* пассивным! А чтобы создать Россию, нельзя было не проявить силы! Чтобы выказать *великодушное презрение* к собственным интересам, непременно надо было проявить великодушную и активную *деятельность* в интересе других, то есть в интересе общем, братском. Чтобы «вынести на плечах своих» независимость России, никак нельзя было сидеть *пассивно* на месте, а непременно надо было хоть привстать с места и хоть раз шагнуть; по крайней мере хоть что-нибудь сделать, а между тем сейчас же и прибавляется, что чуть народ начнет что-нибудь делать, то тотчас заявляет себя «в непривлекательных формах мироеда, кулака или самодура». Выходит, стало быть, что кулаки, мироеды и самодуры и вынесли на плечах Россию. Значит, все эти наши святые митрополиты (стоятели за народ и строители земли русской), все благочестивые князья наши, все бояре и земские люди из тех, которые работали и служили России до пожертвования жизнью и имена которых благоговейно сохранила история, — всё это были только мироеды, кулаки и самодуры! Может

быть, скажут, что г-н Авсеенко не про тогдашних говорил, а про теперешних, — а история это там сама по себе, и что все то было при царе Горохе. Но в таком случае выходит, что народ наш переродился? И про какой же теперешний народ говорит г-н Авсеенко? Откуда он его начинает? С реформы Петра? С культурного периода? С окончательного закрепощения? Но в таком случае культурный г-н Авсеенко сам себя выдает; всякий скажет ему тогда: стоило вас культурить, чтоб взамен того развратить народ и обратить его в одних кулаков и мошенников. Да неужели вы до такой степени «имеете дар одно худое видеть»,^[119] г-н Авсеенко? Неужели ж народ наш, закрепощенный именно ради вашей же культуры (по крайней мере, по учению генерала Фадеева^[120]), после двухсотлетнего рабства своего заслужил от вас, от окультурившегося человека, вместо благодарности или даже жалости, лишь один только этот высокомерный плевок про кулаков и мошенников. (То, что вы похвалили его выше, я ни во что не считаю, ибо вы уничтожили это на другой же странице.) За вас же он был двести лет связан по рукам и по ногам, чтобы вам ума из Европы прибыло, и вот вы, когда вам прибыло из Европы ума (?), избоченившись перед связанным и оглядывая его с культурной высоты своей, вдруг заключаете о нем, что «плох и пассивен и мало выказал деятельности (это связанный-то), а проявил лишь некоторые пассивные добродетели, которые хоть и питали литературу живыми соками, но в сущности не стоят медного гроша, потому что чуть только народ начнет действовать, как тотчас же является

¹¹⁹ ...имеете дар одно худое видеть... — Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья».

¹²⁰ Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) — отставной генерал, публицист.

кулаком и мошенником». Нет, не следовало бы отвечать г-ну Авсеенко, и если я отвечаю, то единственно признавая за собою собственный промах, который и объясню ниже. Тем не менее, так как уж пришлось к слову, все-таки считаю не лишним дать некоторое понятие читателю и о г-не Авсеенко. Он представляет собою, как писатель, весьма интересный для наблюдения маленький культурный тип своего рода, имеющий некоторое общее значение, что весьма даже нехорошо.

Культурные типики. Повредившиеся люди

Г-н Авсеенко давно пишет критики, несколько лет уже, и я, каюсь в том, все еще возлагал на него некоторые надежды: выпишется, думал я, и что-нибудь скажет; но я мало знал его. Заблуждение мое продолжалось вплоть до октябрьского № «Русского вестника» 1874 года, в котором г-н Авсеенко в статье своей по поводу комедий и драм Писемского вдруг произнес следующее: «...Гоголь заставил наших писателей слишком небрежно относиться к внутреннему содержанию произведений и слишком полагаться на одну только художественность. Такой взгляд на задачу беллетристики разделялся весьма многими в нашей литературе сороковых годов, и в нем отчасти лежит причина: почему *эта литература была бедна внутренним содержанием (!)*».

Это литература-то сороковых годов была бедна внутренним содержанием! Такого странного известия я не ожидал во всю мою жизнь. Это та самая литература, которая дала нам полное собрание сочинений Гоголя, его комедию «Женитьба» (бедную внутренним содержанием,

ух!), дала нам потом его «Мертвые души» (бедные внутренним содержанием — да хоть бы что другое сказал человек, ну первое слово, которое на ум пришло, все бы лучше вышло). Затем вывела Тургенева с его «Записками охотника» (и эти бедны внутренним содержанием?), затем Гончарова, написавшего еще в 40-х годах «Обломова» и напечатавшего тогда же лучший из него эпизод «Сон Обломова», который с восхищением прочла вся Россия! Это та литература, которая дала нам, наконец, Островского, — но именно про типы-то Островского и раздражается г-н Авсеенко в этой же статье самыми презрительными плевками:

«Мир чиновников оказался, вследствие внешних причин, не вполне доступен для театральной сатиры; зато с тем большим усердием и пристрастием устремилась наша комедия в мир замоскворецкого и апраксинского купечества,^[121] в мир странниц и свах, пьяных приказных, бурмистров,^[122] причетников,^[123] питерщиков.^[124] Задача комедии сузилась непостижимым образом до копирования пьяного и безграмотного жаргона, воспроизведения диких ухваток, грубых и оскорбительных для человеческого чувства типов и характеров. На сцене безраздельно воцарился жанр, не тот теплый, веселый, буржуазный (?) жанр, который порою так пленителен на французской сцене (это

¹²¹ *Апраксинское купечество* — купцы, торговавшие в бывшем Апраксином дворе на Садовой улице в Петербурге.

¹²² *Бурмистр* — назначенный помещиком управляющий из крепостных крестьян.

¹²³ *Причетник* — младший член церковного причта (духовенства какой-либо церкви).

¹²⁴ *Питерщик* — крестьянин, уходивший на заработки в Петербург (Питер).

водевильчик-то: один залез под стол, а другой вытащил его за ногу?),^[125] а жанр грубый, нечистоплотный и отталкивающий. Некоторые писатели, как, например, г-н Островский, внесли в эту литературу много таланта, сердца и юмора, но в общем театр наш пришел к крайнему понижению внутреннего уровня, и весьма скоро оказалось, что ему *нечего сказать* образованной части общества, что он и дела не имеет с этой частью общества».

Итак, Островский понизил уровень сцены. Островский ничего не сказал «образованной» части общества! Стало быть, необразованное общество восхищалось Островским в театре и зачитывалось его произведениями? О да, образованное общество, видите ли, ездило тогда в Михайловский театр, где был тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». А Любим Торцов^[126] «груб, нечистоплотен». Про какое же это образованное общество говорит г-н Авсеенко, любопытно бы узнать? Грязь не в Любиме Торцове: «он душою чист», а грязь именно, может быть, там, где царствует этот «теплый буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». И что за мысль, что художественность исключает *внутреннее содержание*? Напротив, дает его в высшей степени: Гоголь в своей «Переписке» слаб, хотя и характерен. Гоголь же в тех местах «Мертвых душ», где, переставая быть художником, начинает рассуждать прямо от себя, просто

¹²⁵ ...это водевильчик-то: один залез под стол, а другой вытащил его за ногу? — Неточная цитата из «Театрального разъезда» Н. В. Гоголя.

¹²⁶ Любим Торцов — персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок».

слаб и даже не характерен, а между тем его создания, его «Женитьба», его «Мертвые души» — самые глубочайшие произведения, самые богатые внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. Эти изображения, так сказать, почти давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли, с которыми, чувствуется это, справиться можно далеко не сейчас; мало того, еще справишься ли когда-нибудь? А г-н Авсеенко кричит, что в «Мертвых душах» нет внутреннего содержания! Но вот вам «Горе от ума», — ведь оно только и сильно своими яркими художественными типами и характерами, и лишь один художественный труд дает все внутреннее содержание этому произведению; чуть же Грибоедов, оставляя роль художника, начинает рассуждать сам от себя, от своего личного ума (устами Чацкого, самого слабого типа в комедии), то тотчас же понижается до весьма незавидного уровня, несравненно низшего даже и тогдашних представителей нашей интеллигенции. Нравоучения Чацкого несравненно ниже самой комедии и частью состоят из чистого вздора. Вся глубина, все содержание художественного произведения заключается, стало быть, только в типах и характерах. Да и всегда почти так бывает.

Таким образом, читатель видит, с каким критиком имеет дело, и уже отсюда слышу вопросы: да зачем же вы с ним связываетесь? Повторяю еще раз, что хочу лишь разъяснить собственную оплошность, а собственно г-ном Авсеенко занимаюсь в эту минуту, как и сказал выше, не как критиком, а как отдельным и любопытным литературным явлением. Тут своего рода тип, мне полезный. Я очень долго не понимал г-на Авсеенко, — то

есть не статей его, я статей его и всегда не понимал, да и нечего в них понимать или не понимать, — с этой же статьи в октябрьском № «Русского вестника» 1874 года я прямо уже махнул рукой, впрочем, постоянно и глубоко недоумевая; каким это образом статьи такого сбивчивого писателя появляются в таком серьезном журнале, как «Русский вестник»? Но вот вдруг случилось одно комическое происшествие — и я вдруг понял г-на Авсеенко: он вдруг начал печатать в начале зимы свой роман «Млечный путь». (И зачем этот роман перестал печататься!) Этот роман мне вдруг разъяснил весь тип писателя Авсеенко. Собственно про роман мне даже и не идет говорить: я сам романист, и мне не годится критиковать собрата. А потому я и не буду критиковать роман, нисколько, тем более, что он доставил мне несколько искренно веселых минут. Там, например, молодой герой, князь, в опере, в ложе, всенародно хнычет, расчувствовавшись от музыки, а великосветская дама пристаёт к нему в умилении: «Вы плачете? Вы плачете?» Но не в том совсем дело, а в том, что я сущность писателя понял: г-н Авсеенко изображает собою, как писатель, деятеля, потерявшегося на обожании высшего света. Короче, он пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо всем этом непрерывно, благоговейно, молебнo и молитвенно, одним словом, совершает как будто какое-то даже богослужение. Я слышал (не знаю, может быть, в насмешку), что этот роман предпринят с тем, чтоб поправить Льва Толстого, который слишком объективно

отнесся к высшему свету в своей «Анне Карениной», тогда как надо было отнестись молитвеннее, коленопреклоненнее, и, уж конечно, не стоило бы об этом обо всем говорить вовсе, если б, повторяю, не разъяснился совсем новый культурный тип. Оказывается ведь, что в каретах-то, в помаде-то и в особенности в том, как лакеи встречают барыню, — критик Авсеенко и видит всю задачу культуры, все достижение цели, все завершение двухсотлетнего периода нашего разврата и наших страданий, и видит совсем не смеясь, а любуясь этим. Серьезность и искренность этого любования составляет одно из самых любопытных явлений. Главное в том, что г-н Авсеенко, как писатель, не один; и до него были «коленкорových манишек беспощадные Ювеналы»,^[127] но никогда в такой молитвенной степени. Положим, что не все они таковы, но в том-то и беда моя, что я мало-помалу наконец убедился, что таких представителей культуры даже чрезвычайное множество в литературе и в жизни, хотя бы и не в таком строгом и чистом типе. Признаюсь, меня как бы светом озарило: после этого, конечно, понятны пасквильные слова на Островского и тот «теплый, веселый, буржуазный жанр, который порою так пленителен на французской сцене». Э, тут вовсе даже и не Островский, и не Гоголь, и не сороковые года (очень их надо!), тут просто Михайловский петербургский театр, посещаемый высшим обществом и к которому подъезжают в каретах, — вот это и все, вот это-то и увлекло, вот это-то и захватило писателя с беспощадною силой, и прельстило его, закружив и замотав его ум навеки. Повторяю опять, на

¹²⁷ ...коленкорových манишек беспощадные Ювеналы... — Цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Физиология „Нового поэта“».

это не надо смотреть с одной лишь комической точки, все это гораздо любопытнее. Тут, одним словом, многое происходит от особого рода мании, почти болезненной, так сказать, слабости, которую надо бы щадить. Карета высшего света едет, например, в театр: вы только посмотрите, как она едет и как свет от фонарей, врываясь в окошки кареты, веселит в ней сидящую даму: это уже не перо, это молитва, и этому надобно сострадать! Конечно, многие из них тщеславятся перед народом как бы чем-то и высшим перчаток; между ними много чрезвычайно даже либеральных людей, почти республиканцев, а между тем нет-нет и скажется вдруг перчаточник. Эта слабость, эта мания к красотам высшего света с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах,^[128] эта мания, — как ни невинна, но она породила, например у нас, даже крепостников особого рода между такими личностями, которые и душ-то своих никогда не имели; но, раз признав кареты и Михайловский театр за завершение культурного периода Российской истории, они вдруг стали совсем крепостниками по убеждению, и хотя вовсе не мыслят ничего закрепостить вновь, но, по крайней мере плюют на народ со всею откровенностью и с видом самого полного культурного права. Вот они-то и сыплют на него удивительнейшие обвинения: связанного двести лет сряду дразнят пассивностью, бедного, с которого драли оброк, обвиняют в нечистоплотности, не наученного ничему обвиняют в ненаучности, а битого палками — в грубости нравов, а подчас готовы обвинить даже за то, что он не напомажен и не причесан у парикмахера из

¹²⁸ ...с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах... — Имеются в виду бытовые детали из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина и «Ревизора» Н. В. Гоголя.

Большой Морской. Это вовсе не преувеличение, это буквально так, и вот в том-то все и дело, что не преувеличение. У них отвращение от народа остервенелое, и если когда и похвалят народ, — ну, из политики, то наберут лишь громких фраз, для приличия, в которых сами не понимают ни слова, потому что сами себе через несколько строк и противоречат. Кстати, припоминаю теперь один случай, бывший со мною два с половиною года назад. Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком. Сколько я мог разглядеть в темноте, это был сухенький человечек, лет пятидесяти, с красным и как несколько распухшим носом и, кажется, с больными ногами. Был он чрезвычайно порядочного типа — в манерах, в разговоре, в суждениях и говорил даже очень толково. Он говорил про тяжелое и неопределенное положение дворянства, про удивительную дезорганизацию в хозяйстве по всей России, говорил почти без злобы, но с строгим взглядом на дело и ужасно заинтересовал меня. И что же вы думаете: вдруг, как-то к слову, совершенно не заметив того, он изрек, что считает себя и в физическом отношении несравненно выше мужика и что это уж, конечно, бесспорно.

— То есть, вы хотите сказать, как тип нравственно развитого и образованного человека? — пояснил было я.

— Нет, совсем нет, совсем не одна нравственная, а прямо физическая природа моя выше мужицкой; я телом выше и лучше мужика, и это произошло от того, что в течение множества поколений мы перевоспитали себя в высший тип.

Спорить тут было нечего: этот слабый человечек, с золотушным красным носом и с больными ногами (в

подагре, может быть, — дворянская болезнь) совершенно добросовестно считал себя физически, телом, выше и прекраснее мужика! Повторяю, в нем не было никакой злобы, но согласитесь, что этот беззлобный человек, даже и в беззлобии своем, может вдруг, при случае, сделать страшную несправедливость перед народом, совершенно невинно, спокойно и добросовестно, именно вследствие презрительного взгляда его на народ, — взгляда почти бессознательного, почти от него не зависящего.

Тем не менее собственную оплошность мою мне поправить необходимо. Я написал тогда об идеалах народа и о том, что мы, «как блудные дети, возвратясь домой, должны преклоняться перед правдой народной и ждать от нее лишь одной мысли и образа. Но что, с другой стороны, и народ должен взять у нас нечто из того, что мы принесли с собой, что это нечто существует действительно, не мираж, имеет образ, форму и вес, и что, в противном случае, если не согласимся, то пусть уже лучше разойдемся и погибнем врознь». Вот это-то всем, как вижу теперь, и показалось неясным. Во-первых, стали спрашивать: что за такие идеалы у народа, перед которыми надо преклоняться; а во-вторых: что я подразумеваю под тою драгоценностью, которую мы принесли с собою и которую должен народ принять от нас *sine qua non*? И что не короче ли, наконец, не нам, а народу преклониться перед нами, единственно по тому одному, что мы Европа и культурные люди, а он лишь Россия и *пассивен*? Г-н Авсеенко положительно решает вопрос в этом смысле, но я уже не одному г-ну Авсеенко хочу теперь отвечать, а всем, не понявшим меня «культурным» людям, начиная с «коленкорových манишек беспощадных Ювеналов» до недавних еще господ,

провозгласивших, что у нас и *сохранять совсем нечего*. Итак, к делу; если б я не погнался тогда за краткостью и разъяснил подробнее, то, конечно, можно бы было не согласиться со мной, но зато не исказить меня и не обвинять в неясности.

Сбивчивость и неточность спорных пунктов

Нам прямо объявляют, что у народа нет вовсе никакой правды, а правда лишь в культуре и сохраняется верхним слоем культурных людей. Чтоб быть добросовестным вполне, я эту дорогую европейскую нашу культуру приму в самом высшем ее смысле, а не в смысле лишь карет и лакеев, именно в том смысле, что мы, сравнительно с народом, развились духовно и нравственно, очеловечились, огуманились и что тем самым, к чести нашей, совсем уже отличаемся от народа. Сделав такое беспристрастное заявление, я уже прямо поставлю перед собой вопрос: «Точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И, наконец, что именно мы принесли с собой из Европы народу?»

Но прежде, чем отвечать на такой вопрос, для порядку устраним всякую речь, например, о науке, промышленности и проч., чем Европа справедливо может гордиться перед нашим отечеством. Такое устранение будет совершенно правильным, ибо вовсе не об том идет *теперь* дело; тем более, что и наука-то эта там в Европе, а мы-то сами, то есть верхние слои культурных людей в России, еще не очень блистаем наукой, несмотря на двухсотлетнюю школу, и что поклоняться нам, культурному слою, за науку во всяком случае еще рано.

Так что наука вовсе не составляет какого-нибудь существенного и непримиримого различия между обоими классами русских людей, то есть между простонародьем и верхним культурным слоем, и выставлять науку как главное существенное различие наше от народа, повторяю, совсем неверно и было бы ошибкою, а различие надо искать совсем в другом. К тому же наука есть дело всеобщее, и не один какой-нибудь народ в Европе изобрел ее, а все народы, начиная с древнего мира, и это дело преемственное. С своей стороны русский народ никогда и не был врагом науки, мало того, она уже проникала к нам еще и до Петра. Царь Иван Васильевич употреблял все усилия, чтоб завоевать Балтийское побережье, лет сто тридцать раньше Петра. Если б завоевал его и завладел его гаванями и портами, то неминуемо стал бы строить свои корабли, как и Петр, а так как без науки их нельзя строить, то явилась бы неминуемо наука из Европы, как и при Петре. Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар, но вряд ли европейцы примкнут к хору Потугиных. Слишком ясно и понятно, что все делается по известным законам природы и истории и что не скудоумие, не низость способностей русского народа и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности. Такое-то дерево вырастает в столько-то лет, а другое вдвое позже его. Тут все зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами и что ему прежде всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и всё ясных и точных. Никто из здравых умом не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего за то, что ему не двадцать пять лет. «Европа, дескать, деятельнее и

остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет». Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и *сознательно* создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за собою свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, еще их расшатаем. К концу концов, после тысячи лет — у нас явилось царство и политическое единство беспримерное еще в мире, до того, что Англия и Соединенные Штаты, единственные теперь оставшиеся два государства, в которых политическое единство крепко и своеобразно, может быть, в этом нам далеко уступят. Ну, а взамен того в Европе, при других обстоятельствах политических и географических, возросла наука. Но зато, вместе с ростом и укреплением ее, расшаталось нравственное и политическое состояние Европы почти повсеместно. Стало быть, у всякого свое, и еще неизвестно, кому придется завидовать. Мы-то науку во всяком случае приобретем, ну а неизвестно еще, что станет с политическим единством Европы? Может быть, немцы, всего еще лет пятнадцать тому назад, согласились бы променять половину своей научной славы на такую силу политического единства, которая была у нас уже очень давно. И немцы теперь достигли крепкого политического единства, по крайней мере по своим понятиям, но тогда у них еще не было Германской империи, и, уж конечно, они нам завидовали про себя, несмотря на все их презрение к нам. Итак, не об науке и не о промышленности надо поставить вопрос, а

собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали *нравственно, существенно* выше народа и какую такую недосыгаемую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры? Почему мы люди чистые, а народ все еще человек черный, почему мы всё, а народ ничего? Я утверждаю, что в этом между нами, культурными людьми, чрезвычайная неясность и что мало кто из «культурных» на это ответит правильно. Напротив, тут — кто в лес, кто по дрова, а насмешки над тем, зачем сосна не выросла в семь лет, а требует всемеро больше для росту лет, — еще до того обыденны и обыкновенны, что не редкость их услышать даже и не от одних Потугиных, а и от людей гораздо повыше их по развитию. О г-не Авсеенко уж и не упоминаю. А затем прямо обращаюсь к вопросу, поставленному вверху главы: точно ли мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И если мы и несем что с собой, то что именно? На это прямо отвечаю, что мы гораздо хуже народа, и почти во всех отношениях.

Нам говорят, что в народе чуть деятель, то тотчас кулак и мошенник. (Это не один г-н Авсеенко утверждает, да и вообще г-н Авсеенко никогда и ничего не скажет нового.) Во-первых, это неправда, а во-вторых, разве между культурными Русскими не такие же кулаки и мошенники поминутно? Да чуть ли не больше еще, и это тем стыднее, потому что они окультурены, а народ нет. Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ, что чуть в нем объявится деятель, то в большинстве выйдет кулак и мошенник. Не знаю, где выросли утверждающие это, я же с детства и во всю жизнь мою видел совсем другое. Мне было всего еще девять лет от роду, как, помню, однажды, на третий день светлого

праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и как мы все отправимся туда на лето. Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо «управляющего», всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев.

Описывать не стану, что за тем последовало; отец и мать были люди небогатые и трудящиеся — и вот такой подарок к светлому дню! Оказалось, что все сгорело, все дотла: и избы, и амбар, и скотный двор, и даже яровые семена, часть скота и один мужик, Архип. С первого страху вообразили, что полное разорение. Бросились на колена и стали молиться, мать плакала. И вот вдруг подходит к ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у нас по найму, вольная то есть, из московских мещанок. Всех она нас, детей, взрастила и выходила. Была она тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказывала такие славные сказки! Жалованья она не брала у нас уже много лет: «Не надо мне», и накопилось ее жалованья рублей пятьсот, и лежали они в ломбарде, — «на старость пригодится» — и вот она вдруг шепчет маме:

— Коли надо вам будет денег, так уж возьмите мои, а мне что, мне не надо...

Денег у ней не взяли, обошлись и без того. Но вот вопрос: к какому типу принадлежала эта скромная женщина, давно уже теперь умершая, и умершая в богадельне, где ей очень ее деньги понадобились. Ведь, я думаю, таких нельзя сопричислить к кулакам и мошенникам, а если нельзя, то как определить ее поступок: явилась ли она с ним лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни», — или проявила что-нибудь поэнергичнее пассивности? Очень любопытно бы послушать, как разрешил бы это г-н Авсеенко. Мне с презрением ответят, что это единичный случай; но я и один успел вот заметить в жизни моей таких случаев многие сотни в нашем простонародье, а между тем я твердо знаю, что есть и другие наблюдатели, тоже умеющие смотреть на народ без плевка. Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умолила в слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весной, когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, изломавшийся и прошедший всего только несколько часов спустя по переходе. Помните ли вы прелестное описание этого перехода, и как потом, когда перешли, мужики и денег брать не хотели, понимая, что сделали всё из-за слез матери и для Христа бога нашего. Происходило же это в самое темное время крепостного права! Что же, все это единичные факты? А если и похвальные, — то лишь «на степени стихийного существования, замкнутого, идиллического быта и пассивной жизни»? Да так ли? единичные ли, случайные ли это только факты? Деятельный риск собственною

жизнию из сострадания к горю матери — можно ли считать лишь пассивностью? Не из правды ли, напротив, народной, не *из милосердия ли и всепрощения и широкости взгляда народного* произошло это, да еще в самое варварское время крепостного права? Да народ и веры не знает, скажете вы, он и молитвы не умеет прочесть, он поклоняется доске и лепечет какой-то вздор про святую пятницу и про Фрола и Лавра.^[129] На это отвечу вам, что вот эти-то мысли и явились у нас из продолжающегося презрения вашего к русскому народу и упорно сохраняющемуся в русском культурном типе. Мы о вере народа и о православии его имеем всего десятка два либеральных и блудных анекдотов и услаждаемся глумительными рассказами о том, как поп исповедует старуху или как мужик молится пятнице. Если б г-н Авсеенко действительно понимал то, что он написал о вере народной, спасшей Россию, а не выписал бы у славянофилов, то не оскорбил бы народа тут же сейчас, обозвав его чуть не сплошь «кулаком и мироедом». Но в том и дело, что эти люди ровно ничего не понимают в православии, а потому ровно ничего не поймут никогда и в народе нашем. Знает же народ Христа Бога своего, может быть, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, — потому что во много веков перенес много страданий и в горе своем всегда, с начала и до наших дней слыхивал об этом Боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у гробов их молится. Поверьте, что в этом смысле даже самые темные слои народа нашего образованны гораздо

¹²⁹ Фрол и Лавр (II в.) — святые православной церкви.

больше, чем вы в культурном вашем неведении об них предполагаете, а может быть, даже образованнее и вас самих, хоть вы и учились катехизису.

Парадоксалист

Кстати, насчет войны и военных слухов. У меня есть один знакомый парадоксалист. Я его давно знаю. Это человек совершенно никому не известный и характер странный: он мечтатель. Об нем я непременно поговорю подробнее. Но теперь мне припомнилось, как однажды, впрочем уже несколько лет тому, он раз заспорил со мной о войне. Он защищал войну вообще и, может быть, единственно из игры в парадоксы. Замечу, что он «статский» и самый мирный и незлобивый человек, какой только может быть на свете и у нас в Петербурге.

— Дикая мысль, — говорил он, между прочим, — что война есть бич для человечества. Напротив, самая полезная вещь. Один только вид войны ненавистен и действительно пагубен: это война междоусобная, братоубийственная. Она мертвит и разлагает государство, продолжается всегда слишком долго и озверяет народ на целые столетия. Но политическая, международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому совершенно необходима.

— Помилуйте, народ идет на народ, люди идут убивать друг друга, что тут необходимого?

— Всё и в высшей степени. Но, во-первых, ложь, что люди идут убивать друг друга: никогда этого не бывает на первом плане, а, напротив, идут жертвовать собственной жизнью — вот что должно стоять на первом плане. Это же совсем другое. Нет выше идеи, как пожертвовать собственной жизнью, отстаивая своих

братьев и свое отечество или даже просто отстаивая интересы своего отечества. Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что человечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной идее. Тут потребность.

— Да разве человечество любит войну?

— А как же? Кто унывает во время войны? Напротив, все тотчас же ободряются, у всех поднят дух, и не слышно об обыкновенной апатии или скуке, как в мирное время. А потом, когда война кончится, как любят вспоминать о ней, даже в случае поражения! И не верьте, когда в войну все, встречаясь, говорят друг другу, качая головами: «Вот несчастье, вот дожили!» Это лишь одно приличие. Напротив, у всякого праздник в душе. Знаете, ужасно трудно признаваться в иных идеях: скажут, — зверь, ретроград, осудят; этого боятся. Хвалить войну никто не решится.

— Но вы говорите о великодушных идеях, об очеловечении. Разве не найдется великодушных идей без войны? Напротив, во время мира им еще удобнее развиваться.

— Совершенно напротив, совершенно обратно. Великодушие гибнет в периоды долгого мира, а вместо него являются цинизм, равнодушие, скука и много-много что злобная насмешка, да и то почти для праздной забавы, а не для дела. Положительно можно сказать, что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, — главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир — все эти

прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают всё. Остается под конец лишь одно лицемерие — лицемерие чести, самопожертвования, долга, так что, пожалуй, их еще и будут продолжать уважать, несмотря на весь цинизм, но только лишь на красных словах для формы. Настоящей чести не будет, а останутся формулы. Формулы чести — это смерть чести. Долгий мир производит апатию, измененность мысли, разврат, притупляет чувства. Наслаждения не утончаются, а грубеют. Грубое богатство не может наслаждаться великодушием, а требует наслаждений более скромных, более близких к делу, то есть к прямейшему удовлетворению плоти. Наслаждения становятся плотоядными. Слстолюбие вызывает сладострастие, а сладострастие всегда жестокость. Вы никак не можете всего этого отрицать, потому что нельзя отрицать главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству.

— Но наука, искусства — разве в продолжение войны они могут развиваться; а это великие и великодушные идеи.

— Тут-то я вас и ловлю. Наука и искусства именно развиваются всегда в первый период после войны. Война их обновляет, освежает, вызывает, крепит мысли и дает толчок. Напротив, в долгий мир и наука глохнет. Без сомнения, занятие наукой требует великодушия, даже самоотвержения. Но многие ли из ученых устоят перед язвой мира? Ложная честь, самолюбие, слстолюбие захватят и их. Справьтесь, например, с такою страстью, как зависть: она груба и пошла, но она проникнет и в самую благородную душу ученого. Захочется и ему

участвовать во всеобщей пышности, в блеске. Что значит перед торжеством богатства торжество какого-нибудь научного открытия, если только оно не будет так эффектно, как, например, открытие планеты Нептун. Много ли останется истинных тружеников, как вы думаете? Напротив, захочется славы, вот и явится в науке шарлатанство, гоньба за эффектом, а пуще всего утилитаризм, потому что захочется и богатства. В искусстве то же самое: такая же погоня за эффектом, за какую-нибудь утонченностью. Простые, ясные, великодушные и здоровые идеи будут уже не в моде: понадобится что-нибудь гораздо поскоромнее; понадобится искусственность страстей. Мало-помалу утратится чувство меры и гармонии; явятся искривления чувств и страстей, так называемые утонченности чувства, которые в сущности только их огрубелость. Вот этому-то всему подчиняется всегда искусство в конце долгого мира. Если б не было на свете войны, искусство бы заглохло окончательно. Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. Подите в трагедию, смотрите на статуи: вот Гораций Корнеля,^[130] вот Аполлон Бельведерский,^[131] поражающий чудовище...

— А Мадонны, а христианство?

— Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не прейдет до кончины мира: это очень замечательно и поражает. О, без сомнения, в высшем, в нравственном смысле оно отвергает войны и

¹³⁰ ...Гораций Корнеля... — герой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Гораций» (1640).

¹³¹ Аполлон Бельведерский — хранящаяся в Ватикане римская копия древнегреческой скульптуры Аполлона, сына Зевса, бога-целителя и прорицателя, покровителя искусств.

требует братолюбия. Я сам первый возрадуюсь, когда раскуют мечи на орала. Но вопрос: когда это может случиться? И стоит ли расковывать теперь мечи на орала? Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранять, совестно и пошло сохранять. Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от них свободную волю и возможность просвещения. Ведь вы же не можете не нуждаться в рабе, кто бы вы ни были, даже если вы самый гуманнейший человек? Замечу еще, что в период мира укореняется трусливость и бесчестность. Человек по природе своей страшно склонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. Война развивает братолюбие и соединяет народы.

— Как соединяет народы?

— Заставляя их взаимно уважать друг друга. Война освежает людей. Человеколюбие всего более развивается лишь на поле битвы. Это даже странный факт, что война менее обозляет, чем мир. В самом деле, какая-нибудь политическая обида в мирное время, какой-нибудь нахальный договор, политическое давление, высокомерный запрос — вроде как делала нам Европа в 63-м году — гораздо более обозляют, чем откровенный бой. вспомните, ненавидели ли мы французов и англичан во время Крымской кампании?^[132]

¹³² *Крымская кампания* — Крымская война 1853–1856 гг.

Напротив, как будто ближе сошлись с ними, как будто породнились даже. Мы интересовались их мнением об нашей храбрости, ласкали их пленных; наши солдаты и офицеры выходили на аванпосты во время перемирий и чуть не обнимались с врагами, даже пили водку вместе. Россия читала про это с наслаждением в газетах, что не мешало, однако же, великолепно драться. Развивался рыцарский дух. А про материальные бедствия войны я и говорить не стану: кто не знает закона, по которому после войны все как бы воскресает силами. Экономические силы страны возбуждаются в десять раз, как будто грозовая туча пролилась обильным дождем над иссохшею почвой. Пострадавшим от войны сейчас же и все помогают, тогда как во время мира целые области могут вымирать с голоду, прежде чем мы почешемся или дадим три целковых.

— Но разве народ не страдает в войну больше всех, не несет разорения и тягостей, неминуемых и несравненно больших, чем высшие слои общества?

— Может быть, но временно; а зато выигрывает гораздо больше, чем теряет. Именно для народа война оставляет самые лучшие и высшие последствия. Как хотите, будьте самым гуманным человеком, но вы все-таки считаете себя выше простолюдина. Кто меряет в наше время душу на душу, христианской меркой? Меряют карманом, властью, силой, — и простолюдин это отлично знает всей своей массой. Тут не то что зависть, — тут является какое-то невыносимое чувство нравственного неравенства, слишком язвительного для простонародия. Как ни освобождайте и какие ни пишите законы, неравенство людей не уничтожится в теперешнем обществе. Единственное лекарство — война.

Пальятивное,^[133] моментальное, но отрадное для народа. Война поднимает дух народа и его сознание собственного достоинства. Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства — в жертве жизнью за общее дело, за всех, за отечество. Неужели вы думаете, что масса, самая даже темная масса мужиков и нищих, не нуждается в потребности *деятельного* проявления великодушных чувств? А во время мира чем масса может заявить свое великодушие и человеческое достоинство? Мы и на единичные-то проявления великодушия в простонародье смотрим, едва удостоивая замечать их, иногда с улыбкою недоверчивости, иногда просто не веря, а иногда так и подозрительно. Когда же поверим героизму какой-нибудь единицы, то тотчас же наделаем шуму, как перед чем-то необыкновенным; и что же выходит: наше удивление и наши похвалы похожи на презрение. Во время войны все это исчезает само собой, и наступает полное равенство героизма. Пролитая кровь важная вещь. Взаимный подвиг великодушия порождает самую твердую связь неравенств и сословий. Помещик и мужик, сражаясь вместе в двенадцатом году, были ближе друг к другу, чем у себя в деревне, в мирной усадьбе. Война есть повод массе уважать себя, а потому народ и любит войну: он слагает про войну песни, он долго потом заслушивается легенд и рассказов о ней... пролитая кровь важная вещь! Нет, война в *наше время* необходима; без войны провалился бы мир или, по

¹³³ *Пальятивное* (франц. palliatif от позднелат. pallio — прикрываю, защищаю) — прилагательное образовано от слова паллиатив: мера, не обеспечивающая полного, коренного решения поставленной задачи, полумера.

крайней мере, обратился бы в какую-то слизь, в какую-то подлую слякоть, зараженную гнилыми ранами...

Я, конечно, перестал спорить. С мечтателями спорить нельзя. Но есть, однако же, престранный факт: теперь начинают спорить и поднимают рассуждения о таких вещах, которые, казалось бы, давным-давно решены и сданы в архив. Теперь это все выкапывается опять. Главное в том, что это повсеместно.

Опять только одно словцо о спиритизме

Опять у меня не остается места для «статьи» о спиритизме, опять отлагаю до другого №. И, однако же, я был еще в феврале на этом спиритском сеансе,^[134] с «настоящим» медиумом — сеансе, который произвел на меня довольно сильное впечатление. Об этом сеансе другие, присутствовавшие на нем, уже сказали печатно, так что мне, конечно, ничего не остается сообщить, кроме этого собственного моего впечатления. Но до сих пор, в целые эти два месяца, я не хотел ничего писать об этом и — *скрыл* мое впечатление от читателя. Вперед скажу, что оно было совершенно особого рода и почти не касалось спиритизма. Это было впечатление чего-то другого и лишь проявившегося по поводу спиритизма. Мне очень жаль, что я принужден опять отложить, тем более, что теперь нажил охоту поговорить об этом, тогда как доселе чувствовал к тому как бы некоторое отвращение. Отвращение произошло от мнительности.

¹³⁴ ...я был еще в феврале на этом спиритском сеансе... — Речь идет о спиритическом сеансе у А. Н. Аксакова, где демонстрировала свои «медиумические способности» англичанка Клайр.

Некоторым из друзей моих я тогда же сообщил об этом сеансе; один человек, суждением которого я глубоко дорожу,^[135] выслушав, спросил меня, намерен ли я описать это в «Дневнике»? Я ответил, что еще не знаю. И вдруг он заметил: «Не пишите». Он ничего не прибавил, и я не настаивал, но я понял смысл: ему, очевидно, было бы неприятно, если б и я хоть чем-нибудь поспособствовал распространению спиритизма. Это меня тогда поразило потому особенно, что я, напротив, передавая об этом февральском сеансе, с искренним убеждением отрицал спиритизм. Стало быть, подметил же в моем рассказе этот человек, ненавидящий спиритизм, *нечто* как бы благоприятное спиритизму, несмотря на все мое отрицание. Вот почему я и воздерживался до сих пор говорить печатно, именно из мнительности и недоверчивости к самому себе. Но теперь я, кажется, себе уже вполне доверяю и всю эту мнительность себе разъяснил. Кроме того, я убедился, что никакими статьями моими не могу способствовать ни поддержанию спиритизма, ни искоренению его. Г-н Менделеев, читающий в самую сию минуту, как я пишу это, свою лекцию в Соляном городке,^[136] вероятно, глядит на дело иначе и читает с благородною целью «раздавить спиритизм». Лекции с такими прекрасными тенденциями всегда приятно слушать; но я думаю, что кто захочет уверовать в спиритизм, того ничем не остановишь, ни лекциями, ни даже целыми комиссиями, а неверующего, если только он вполне *не желает*

¹³⁵ ...один человек, суждением которого я глубоко дорожу... — Имеется в виду русский государственный деятель К. П. Победоносцев.

¹³⁶ *Соляной городок* — здание в Петербурге, построенное для Всероссийской промышленной выставки на месте амбаров для соли и вина.

поверить, — ничем не соблазнишь. Вот именно это-то убеждение я и выжил на февральском сеансе у А. Н. Аксакова, по крайней мере тогда в виде первого сильного впечатления. До тех пор я *просто* отрицал спиритизм, то есть, в сущности, был возмущен лишь мистическим смыслом его учения (явлений же спиритских, с которыми я и до сеанса с медиумом был несколько знаком, я не в состоянии был *вполне* отрицать никогда, даже и теперь, и особенно теперь — после того как прочел отчет учрежденной над спиритизмом ученой комиссии). Но после того замечательного сеанса я вдруг догадался или, лучше, вдруг узнал, что я мало того что не верю в спиритизм, но, кроме того, и вполне *не желаю* верить, — так что никакие доказательства меня уже не поколеблют более *никогда*. Вот что я вынес из того сеанса и потом уяснил себе. И, признаюсь, впечатление это было почти отрадное, потому что я несколько боялся, идя на сеанс. Прибавлю еще, что тут не одно только личное: мне кажется, в этом наблюдении моем есть и нечто общее. Тут мерещится мне какой-то особенный закон человеческой природы, общий всем и касающийся именно веры и неверия вообще. Мне как-то выяснилось тогда, именно чрез опыт, именно чрез этот сеанс, — какую силу неверие может найти и развить в самом себе, в данный момент, совершенно помимо вашей воли, хотя и согласно с вашим тайным желанием... Равно, вероятно, и вера. Вот об этом-то я и хотел бы сказать.

Итак, до следующего №, но теперь, однако, прибавлю еще несколько слов в дополнение сказанного уже в мартовском №, собственно по поводу все того же отчета столь известной уже теперь «Комиссии».

* * *

Я тогда сказал несколько слов об неудовлетворительности этого отчета и о том, что даже он может быть вреден своему собственному делу. Но я не сказал главного. Постараюсь теперь добавить в коротких словах, тем более что тут дело очень простое. Комиссия не захотела снизойти до главной потребности в этом деле, до потребности общества, ожидавшего ее решения. Она, кажется, так мало заботилась об общественной потребности (в противном случае пришлось бы предположить, что она просто и не сумела понять ее), что не сообразила даже того, что какими-то «мелькнувшими в темноте кринолиновыми пружинками» никого у нас не разуверишь и ничего не докажешь, если уже люди повреждены. Читая отчет, решительно начинает казаться, что эти наши ученые предполагали спиритизм существующим в Петербурге единственно лишь в квартире А. Н. Аксакова и ничего ровно не знали о жажде, проявившейся в обществе к спиритизму, и на каких основаниях спиритизм собственно у нас, у русских, начал распространяться. Но они всё это знали, а только пренебрегли. По всему видно, что они отнеслись ко всему этому совершенно как те частные лица, которые выслушивают о пагубных увлечениях нашего общества спиритизмом, лишь глумясь и хихикая над ними, да и то мимоходом, едва удостоивая вникнуть. Но, организовавшись в комиссию, эти ученые стали уже общественными деятелями, а не частными лицами. Они получили миссию, и вот этого-то они, кажется, не пожелали принять в соображение, а подсели к спиритскому столу, совершенно продолжая по-прежнему быть частными лицами, то есть смеясь, глумясь и хихикая

и разве только, кроме того, немножко сердясь на то, что им серьезно пришлось заняться такую глупостью.

Пусть, однако же, весь этот дом, вся квартира А. Н. Аксакова обтянута пружинами и проволоками, а у медиума, сверх того, какая-то машинка, щелкающая между ног (об этой хитрой догадке комиссии сообщил потом печатно Н. П. Вагнер).^[137] Но ведь всякий «серьезный» спирит (о, не смейтесь над этим словом, право, это очень серьезно) спросит, прочтя отчет: «Как же у меня-то дома, где я всех знаю по пальцам — моих детей, жену, родных и знакомых, — как же у меня-то происходят те же самые явления: стол качается, подымается, слышатся звуки, получают интеллигентные ответы? Ведь уж я-то наверно знаю и вполне убежден, что в доме моем нет машинок и проволок, а жена моя и дети мои меня не станут обманывать?» Главное то, что таких, которые скажут или подумают это, в Петербурге, в Москве и в России уже накопилось слишком довольно, чересчур даже, и вот об этом надо было бы подумать, даже снизойдя с ученой высоты; ведь это зараза, ведь этим людям надо помочь. Но высокомерие комиссии не допускает ее ни до какого раздумья: «Просто всё легкомысленные малообразованные люди, а потому и верят». «Пусть, положим, — продолжает настаивать серьезный и тревожно убежденный спирит (ибо они еще все теперь в первом удивлении и в первой тревоге, — дело ведь такое новое и необычайное), — пусть я легкомыслен и малообразован, но ведь машинки-то этой, которая щелкает, все-таки у меня нет в доме, я ведь это наверно знаю, да и средств я не имею выписывать такие

¹³⁷ Вагнер Николай Петрович (1829–1907) — зоолог и писатель.

забавные инструменты, да и откуда, кто их продает, все это, ей-богу, нам неизвестно. Так как же у нас-то щелкает, как же эти стуки-то происходят? Вот вы говорите, что мы сами как-то надавливаем на стол бессознательно; уверяю же вас, что мы не до такой степени дети и следим за собой, именно следим: не надавливаем ли сами, — опыты делаем, с любопытством, с беспристрастием...»

— Нечего вам отвечать, — заключает комиссия уже с сердцем, — вас тоже и так же обманывают, как и всех; всех обманывают, все колпаки; так должно быть, так наука говорит, мы наука.

Ну, это не объяснение. «Нет, видно, тут что-нибудь другое, — заключает „серьезно“ убежденный спирит, — не может быть, чтоб одни только фокусы. Пусть там мадам Клайр, а я свою семью знаю: некому у меня делать фокусы». И спиритизм держится.

* * *

Вот сейчас я прочитал в «Новом времени» отчет о первой лекции г-на Менделеева в Соляном городке. Г-н Менделеев делает твердое положение, в виде твердого факта, что —

«...на спиритических сеансах столы двигаются и издают стуки, как при наложении на них рук, так и без него. Из этих стуков, при условной азбуке, образуются целые слова, фразы, изречения, носящие всегда на себе оттенок умственного развития того медиума, при помощи которого производится сеанс. Это факт. Теперь надо

разъяснить, кто стучит и обо что? Для разъяснения существуют следующие 6 гипотез».

Вот это-то и главное: «Кто стучит и обо что?» И затем выставляется шесть существующих уже об этом в Европе гипотез, целых шесть, кажется, можно бы разубедить даже самого «серьезного» спирита. Но ведь любопытнее всего для добросовестного и *желающего* разъяснить дело спирита не то, что есть шесть гипотез, а то, какой гипотезы держится сам г-н Менделеев, что, собственно, говорит и на чем установилась именно наша комиссия? Свое-то нам ближе, авторитетнее, а что там в Европе или в Американских Штатах, так это все дело темное! И вот из дальнейшего изложения лекции видно, что комиссия, все-таки и опять-таки, остановилась на гипотезе фокусов, да и не простых, а именно с предвзятыми плутнями и щелкающими между ног машинками (повторяю, — по свидетельству Н. П. Вагнера). Но этого мало, мало этого ученого «высокомерия» для наших спиритов, мало даже и в том случае, *если б комиссия была и права*, и вот в чем беда. Да и кто еще знает, может быть, «серьезно» убежденный спирит и прав, заключая, что если спиритизм и вздор, то все-таки тут что-то другое, кроме одних грубых плутней, к которому и надо бы отнестись понежнее и, так сказать, поделикатнее, потому ведь, что «жена его, дети его, знакомые его не станут его обманывать» и т. д. и т. д. Поверьте, что он стал на своем, и вы его с этого не собьете. Он твердо знает, что тут «не всё одни плутни». В этом-то уж он убедился.

В самом деле, все другие положения комиссии почти точно такого же высокомерного характера: «Легкомысленны, дескать, сами надавливают

бессознательно на стол, оттого стол и качается; сами обмануть себя желают, стол и стучит; нервы расстроены, во мраке сидят, гармония играет, крючочки в рубашечных рукавчиках устроены (это, впрочем, предположение г-на Рачинского),^[138] кончиком ноги стол поднимают» и т. д. и т. д. И все-таки это никого не убедит из *желающих совратиться*. «Помилосердуйте, у меня стол в два пуда, я ни за что его не сдвину концом ноги и уж никак не подыму на воздух, да этого и нельзя совсем сделать, разве какой-нибудь факир или фокусник это сделает, или там ваша мистрисс Клэйр своей кринолинной машинкой, а у меня в семействе нет таких фокусников и эквалибристов». Одним словом, спиритизм — без сомнения, великое, чрезвычайное и глупейшее заблуждение, блудное учение и тьма, но беда в том, что не так просто все это, может быть, происходит за столом, как предписывает верить комиссия, и нельзя тоже всех спиритов сплошь обозвать рохлями и глупцами. Этим только переоскорбишь всех лично и тем скорее ничего не достигнешь. К этому заблуждению надо бы было отнестись, кажется, именно в некоторой связи с текущими общественными обстоятельствами нашими, а поэтому и тон, и прием изменить на другие. Особенно надо бы было принять во внимание мистическое значение спиритизма, эту вреднейшую вещь, которая только может быть; но комиссия именно над этим-то значением и не задумывалась. Конечно, она не в силах бы была раздавить это зло, ни в каком случае, но, по крайней мере, другими, не столь наивными и гордыми приемами могла бы вселить и в спиритах даже уважение

¹³⁸ *Рачинский* Сергей Александрович (1833–1902) — ученый-ботаник, деятель народного образования.

к своим выводам, а на шатких еще последователей так и сильное бы могла иметь влияние. Но комиссия, очевидно, считала всякий другой подход к делу, кроме как к фокусничеству, и не простому, а с плутнями, — унижительным для своего ученого достоинства. Всякое предположение, что спиритизм есть нечто, а не просто грубый обман и фокус, — для комиссии было немыслимо. Да и что сказали бы тогда об наших ученых в Европе? Таким образом, прямо задавшись убеждением, что всего-то тут только надо изловить плутню и ничего больше, — ученые тем самым сами дали решению своему вид предвзятого решения. Поверьте, что иной умный спирит (уверяю вас, что есть и умные люди, задумывающиеся над спиритизмом, не всё глупцы), — иной умный спирит, прочитав в газетах отчет о публичной лекции г-на Менделеева, а в нем такую фразу:

«Из этих стуков, при условной азбуке, образуются целые слова, фразы, изречения, носящие всегда на себе оттенок умственного развития того медиума, при помощи которого производится сеанс. Это факт», —

прочитав такую фразу, пожалуй, вдруг подумает: да ведь этот «всегдашний оттенок умственного развития того медиума» и т. д. — ведь это, пожалуй, чуть не самое существенное дело в исследовании о спиритизме, и вывод должен быть сделан на основании самых тщательных опытов, и вот наша комиссия, только лишь подседа к делу (долго ль она занималась-то!), как тотчас же и определила, что *это факт*. Уж и факт! Может быть, она руководствовалась в этом случае каким-нибудь немецким или французским мнением, но ведь в таком случае где же собственный-то ее опыт? Тут лишь мнение,

а не вывод из собственного опыта. По одной мистрисс Клэйр они не могли заключить об ответах столов, «соответственных умственному развитию медиумов», как о всеобщем факте. Да и мистрисс-то Клэйр вряд ли они исследовали с ее умственной, верхней, головной стороны, а нашли лишь щелкающую машинку, но уже совсем в другом месте. Г-н Менделеев был членом комиссии и, читая лекцию, говорил как бы от лица комиссии. Нет, такое скорое и поспешное решение комиссии, *в таком важном пункте исследования* и при таких ничтожных опытах — слишком высокомерно, да и вряд ли вполне научно...

Право, это могут подумать. Вот подобная-то высокомерная легкость *иных* заключений и даст обществу, а пуще всего всем этим убежденным уже спиритам, повод еще пуще утвердиться в своих заблуждениях: «Высокомерие, дескать, гордость, предвзятость, преднамеренность. Брюзгливы уж слишком!..» И спиритизм удержится.

* * *

P.S. Сейчас прочел отчет и о второй лекции г-на Менделеева о спиритизме. Г-н Менделеев уже приписывает отчету комиссии врачебное действие на писателей: «Суворин не так уже верит в спиритизм, Боборыкин^[139] тоже, видимо, исцелился, по крайней мере поправляется. Наконец, в «Дневнике» своем и Достоевский поправился: в январе он был склонен к спиритизму, а в марте уже бранит его: стало быть, тут «отчет». Так, стало быть, почтенный г-н Менделеев

¹³⁹ Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — сотрудник газеты «С.-Петербургские ведомости» и романист.

подумал, что я в январе хвалил спиритизм? Уж не за чертей ли?

Г-н Менделеев, должно быть, необыкновенно доброй души. Раздавив двумя лекциями спиритизм, представьте себе, ведь он в заключение второй лекции похвалил его. И за что, как вы думаете: «Честь и слава спиритам» (ух! до чести и славы дошло; да за что же так вдруг?). «Честь и слава спиритам, — сказал он, — что они вышли честными и смелыми борцами того, что им казалось истиною, не боясь предрассудков!» Очевидно, что это сказано из жалости и, так сказать, из деликатности, происшедшей от собственного пресыщения своим успехом, только не знаю — деликатно ли вышло. Это точь-в-точь как содержатели благородных пансионов аттестуют иной раз своих воспитанников перед их родителями: «Ну, а этот хотя умственными способностями, подобно старшему своему брату, похвалиться не может и далеко не пойдет, но зато чистосердечен и поведения благонадежного»: каково это младшему-то брату выслушивать! Тоже похвалил спиритов (и опять с «честь и славой») за то, что они в наш материальный век интересуются о душе. Хоть не в науках, так в вере, дескать, тверды, в Бога веруют. Почтенный профессор, должно быть, большой насмешник. Ну, а если он это наивно, не в насмешку, то, стало быть, обратное: большой не насмешник...

Май

Из частного письма

Меня спрашивают: буду ль я писать про дело Каировой? Я получил уже несколько писем с этим

вопросом. Одно письмо особенно характерно и писано, очевидно, не для печати; но позволю себе привести из него несколько строк, с соблюдением, конечно, полнейшего анонима. Надеюсь, что многоуважаемый корреспондент на меня не посетует; я и цитирую из него лишь убежденный в его совершенной искренности, которую в полной степени могу оценить.

«...С чувством глубочайшего омерзения прочли мы дело Каировой. Это дело, как фокус объектива, выразило собою картину утробных инстинктов, для которой главное действующее лицо (Каирова) формировалось путем культурной подготовки: мать во время беременности вдалась в пьянство, отец был пьяница, родной брат от пьянства потерял рассудок и застрелился, двоюродный брат зарезал свою жену, мать отца была сумасшедшая, — и вот из этой-то культуры вышла личность деспотическая и необузданная в своих утробных пожеланиях. Обвинительная даже власть стала в недоумении перед нею и задала себе вопрос: не сумасшедшая ли она? Эксперты частью положительно это отрицали, а частью допустили возможность сумасшествия, но не лично в ней, а в ее поступках. Но сквозь весь этот процесс проглядывает не сумасшедшая, а женщина, дошедшая до крайних пределов отрицания всего святого; для нее не существует ни семьи, ни прав другой женщины — не только на мужа, но и на самую жизнь — всё для одной только нее и ее утробных похотей.

Ее оправдали, может быть, как сумасшедшую, это еще слава богу! По крайней мере, нравственная

распущенность отнесена не к прогрессу ума, а к разряду психических болезней.

Но в «нижнем помещении публики, занятом *исключительно дамами*, слышались аплодисменты» («Биржев<ые> вед<омости>»).

Чему аплодисменты? Оправданию сумасшедшей или торжеству расходившейся страстной натуры, цинизму, проявившемуся в лице женщины?

Рукоплещут дамы! Рукоплещут жены, матери! Да им не рукоплескать, им плакать надобно при таком поругании идеала женщины...

(NB. Здесь опускаю несколько слишком уж резких строк.)

Неужели вы обойдете это молчанием?»

Областное новое слово

Поднимать историю Каировой (кажется, всем уже известную) слишком поздно, да и слову моему в таких характерных явлениях текущей нашей жизни и среди таких характерных настроений нашей публики я не придаю никакого значения; но *по поводу* этого «дела» все-таки стоило бы сказать хоть одно словцо, хотя бы даже и поздно. Ибо ничто не прекращается, а потому ничто и не поздно; всякое дело, напротив, продолжается и обновляется, хотя бы и минуло в своей первой инстанции; а главное и опять-таки — пусть извинит меня мой корреспондент за выписку из письма его. Судя хоть только по письмам, которые я один получаю, — можно бы сделать заключение об одном чрезвычайно замечательном явлении нашей русской жизни, о котором я уже косвенно и намекал недавно, а именно: все

беспокоятся, все во всем принимают участие, все желают высказать мнение и заявить себя, и вот только одного не могу решить, чего больше желают: обособиться ли в своем мнении каждый или спеться в один общий стройный хор. Это письмо из провинции есть письмо частное, но замечу здесь к слову, что наша провинция решительно хочет зажить своеобразно и чуть ли не эмансипироваться от столиц совсем. Это заметил не я один, гораздо раньше меня об этом сказано в печати. У меня вот уже два месяца лежит на столе даже целый литературный сборник «Первый шаг», изданный в Казани, и об нем надо бы было давно сказать некоторое слово, — именно потому, что он выступает решительно с намерением сказать новое слово, не столичное, а областное и «настоятельно необходимое». Что же, все это лишь новые голоса в старом русском хоре; а потому полезны и уж во всяком случае любопытны. Это новое направление из чего-нибудь да берется же. Правда, из всех этих проектированных новых слов, в сущности, еще ни одного не произнесено, но, может быть, действительно послышится что-нибудь из наших областей и окраин еще доселе неслыханное. Отвлеченно, теоретически судя, все это так и должно произойти: пока, с самого Петра, Россию вели Петербург и Москва; теперь же, когда роль Петербурга и культурный период прорубленного в Европу окошка^[140] кончились, — теперь... но теперь-то вот и вопрос: неужели роль Петербурга и Москвы окончилась? По-моему, если и изменилась, то очень немного; да и прежде-то, за все-то полтора года лет, Петербург ли собственно и Москва ли

¹⁴⁰ ...культурный период прорубленного в Европу окошка... — Достоевский иронически использует здесь слова из «Вступления» к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».

вели Россию? Так ли это было в самом-то деле? И не вся ли Россия, напротив, притекала и толпилась в Петербурге и Москве, во все полтора-два десятилетия, и, в сущности, сама себя и вела, непрерывно обновляясь свежим притоком новых сил из областей своих и окраин, в которых, мимоходом говоря, задачи были совсем одни и те же, как и у всех русских в Москве или Петербурге, в Риге или на Кавказе, или даже где бы то ни было. Ведь уж чего бы кажется противоположнее, как Петербург с Москвой, если судить по теории, в принципе: Петербург-то и основался как бы в противоположность Москве и *всей ее идее*. А между тем эти *два центра* русской жизни, в сущности, ведь составили один центр, и это тотчас же, с самого даже начала, с самого даже преобразования, и нисколько не взирая на разделявшие их некоторые характеристики. Точь-в-точь то же, что зарождалось и развивалось в Петербурге, немедленно и *точь-в-точь так же самостоятельно* — зарождалось, укреплялось и развивалось в Москве, и *обратно*. Душа была единая, и не только в этих двух городах, но в двух городах и во всей России вместе, *так что везде по всей России в каждом месте была вся Россия*. О, мы понимаем, что каждый угол России может и должен иметь свои местные особенности и полное право их развивать; но таковы ли эти особенности, чтобы грозить духовным разъединением или даже просто каким-нибудь недоумением? Вообще у нас будущее «темна вода»,^[141] но тут, мне кажется, еще яснее, чем где-либо. Во всяком случае, дай бог развиваться всему, что только может развиваться, конечно из хорошего, и это первое, а второе и

¹⁴¹ ...у нас будущее «темна вода»... — Крылатое выражение «темна вода во облацех», употребляемое для обозначения чего-нибудь непонятного, восходит к стиху из библейского псалма.

главное: дай бог ни за что не терять единства, ни за какие даже блага, посулы и сокровища — лучше вместе, чем врознь, и, главное, во всяком случае. Сказано новое слово будет, это несомненно, но все же я не думаю, чтобы сказано было что-нибудь слишком уж новое и особенно нашими областями и окраинами, по крайней мере теперь, сейчас, слишком уж что-нибудь неслыханное и трудно выносимое. Великорус теперь только что начинает жить, только что подымается, чтобы сказать свое слово, и, может быть, уже всему миру; а потому и Москве, этому центру великоруса, — еще долго, по-моему, жить, да и дай бы бог. Москва еще третьим Римом не была,^[142] а между тем должно же исполниться пророчество, потому что «четвертого Рима не будет», а без Рима мир не обойдется. А Петербург теперь больше чем когда-нибудь вместе с Москвой заодно. Да, признаюсь, я и под Москвой-то подразумеваю, говоря теперь, не столько город, сколько некую аллегория, так что никакой Казани и Астрахани обижаться почти совсем не за что. А ихним сборникам мы рады, и если даже выйдет и «Второй шаг», то тем лучше, тем лучше.

Суд и г-жа Каирова

Однако далеко уехали от дела Каировой. Я хотел лишь заметить моему корреспонденту, что хоть я и согласен во взгляде на «распущенность инстинктов и деспотическую необузданность желаний», тем не менее в мнении почтенного корреспондента моего нахожу

¹⁴² *Москва еще третьим Римом не была...* — Подразумевается складывавшаяся с середины XV века теория «Москва — третий Рим», согласно которой Россия является религиозной и политической наследницей «второго Рима» (Византии), руководительницей православного мира.

слишком много строгости, даже бесцельной (ибо чуть ли он и сам не признает в преступнице сумасшедшую), слишком много тоже преувеличения, тем более что ведь кончает же он тем, что сам признает *повлиявшую среду*, почти до невозможности борьбы с нею. Что до меня, то я просто рад, что Каирову отпустили, я не рад лишь тому, что ее оправдали. Я рад, что отпустили, хотя и не верю сумасшествию ни на грош, несмотря на мнения части экспертов: пусть уж это мое личное мнение, я оставляю его при себе. К тому же без сумасшествия эту несчастную как-то жалче. В сумасшествии — «не ведала, что творила»... а без сумасшествия — подите-ка, перетащите-ка на себе столько муки! Убийство, если только убивает не «Червонный валет»,^[143] — есть тяжелая и сложная вещь. Эти несколько дней нерешимости Каировой по приезде к ее любовнику его законной жены, это накапливающее все более и более оскорбление, эта нарастающая с каждым часом обида (о, обидчица она, Каирова, я ведь не сошел еще с ума, но ведь тем и жалче, что она в падении своем не могла понимать даже, что она-то и есть обидчица, а видела и чувствовала совершенно обратное!) — и, наконец, этот последний час перед «подвигом», ночью, на ступеньках лестницы, с бритвой в руках, которую купила накануне, — нет, все это довольно тяжело, особенно для такой беспорядочной и шатающейся души, как Каирова! Тут не по силам бремя, тут как бы слышатся стоны придавленной. А затем — десять месяцев мытарств, сумасшедших домов, экспертов, и — столько ее таскали,

¹⁴³ ...если только убивает не «Червонный валет»... — Червонными валетами называли себя члены шайки московских мошенников, совершавшие дерзкие уголовные преступления. Название происходит от заглавия романа французского писателя П.-А. Понсона дю Террайля «Клуб червонных валетов».

таскали, таскали, и при этом эта бедная тяжкая преступница, вполне виновная, — в сущности представляет из себя нечто до того несерьезное, безалаберное, до того ничего не понимающее, незаконченное, пустое, предающееся, собой не владеющее, серединное, и так даже до самой последней минуты приговора, — что как-то легче стало, когда ее совсем отпустили. Жаль только, что нельзя было этого сделать, не оправдав, а то вышел скандал, как хотите. Г-н присяжный поверенный Утин,^[144] мне кажется, мог бы наверно предчувствовать оправдание, а потому и ограничиться лишь простым изложением факта, а не пускаться в похвалы преступлению, потому что ведь он *почти похвалил преступление...* То-то и есть, что у нас ни в чем нет мерки. На Западе Дарвинова теория — гениальная гипотеза, а у нас давно уже аксиома. На Западе мысль, что преступление весьма часто есть лишь болезнь, — имеет глубокий смысл, потому что сильно *различается*, у нас же эта мысль не имеет никакого смысла, потому что совсем не различается — и все, всякая пакость, сделанная даже червонным валетом, и та чуть ли не признается болезнью и — увы! — даже видят в этом нечто либеральное! Разумеется, я не про серьезных людей говорю (хотя много ли у нас серьезных-то людей в этом смысле?). Я говорю про улицу, про бездарную средину, с одной стороны, и про плутов, торгующих либерализмом, — с другой, и которым решительно все равно, только чтобы было или казалось либерально. Что же до присяжного поверенного Утина, то он «похвалил преступление», вероятно воображая, что, как присяжный поверенный, он и не мог иначе

¹⁴⁴ УТИН Евгений Исакович (1843–1894) — адвокат и журналист.

поступить, — и вот так-то увлекаются бесспорно умные люди, и в результате выходит совсем даже не умно. Я так думаю, что будь в ином положении присяжные, то есть имей они возможность сказать другой приговор, — то, пожалуй, за такое преувеличение они и вознегодовали бы на г-на Утина, так что он сам повредил бы своей клиентке. Но все дело состояло именно в том, что они буквально не могли вынести иного приговора. В печати их за этот приговор одни похвалили, другие, слышно, хулят; я думаю, тут нет места ни похвале, ни хуле: просто сказали такой приговор по решительной невозможности сказать что-нибудь иное. Рассудите сами, вот что читаем в газетном отчете:

«На поставленный судом, согласно требованиям обвинения, вопрос о том: *«нанесла ли Каирова, заранее обдумав свое деяние, Александре Великановой, с целью лишить ее жизни, несколько ран бритвой по шее, голове и груди, но от дальнейшего приведения в исполнение своего намерения убить Великанову была остановлена самой Великановой и ее мужем»*, — присяжные ответили отрицательно».

Остановимся здесь. Это ответ на первый вопрос. Ну, можно ли отвечать на вопрос, *так* поставленный? Кто, чья совесть возьмется ответить на такой вопрос утвердительно? (Правда, тут и отрицательно-то равно невозможно ответить, но мы говорим лишь об утвердительном решении присяжных.) Тут, на вопрос, *так* поставленный, ответить утвердительно можно, лишь имея сверхъестественное божеское всеведение. Да и сама Каирова совершенно могла не знать того: *«дорежет ли она или нет»*, а присяжных спрашивали положительно: *«дорезала ли бы она или нет, если б не остановили ее?»* Да она, купив за день бритву, хоть и

знала, для чего ее купила, все-таки могла не знать: «станет ли еще она резать-то или нет, а не только дорезет ли или нет?» И вернее всего, что не знала об этом ни слова даже и тогда, когда сидела на ступеньках лестницы, уже с бритвой в руке, а сзади ее, на ее постели, лежали ее любовник с ее соперницей. Никто, никто в мире не мог знать об этом ни одного слова. Да мало того, хоть и покажется абсурдом, но я утверждаю, что и когда уже резала, то могла *еще не знать*: хочет ли она ее зарезать или нет, и с *этой ли целью ее режет*? Заметьте, этим я вовсе не говорю, что она была в бессознательном состоянии; я даже ни малейшего помешательства не допускаю. Напротив, наверно, в ту минуту, когда резала, *знала, что режет*, но хочет ли, сознательно *поставив себе это целью*, лишит свою соперницу жизни — этого она могла в высшей степени не знать, и, ради бога, не считайте этого абсурдом: она могла резать, в гневе и ненависти, не думая вовсе о последствиях. Судя по характеру этой беспорядочной и измученной женщины, — это именно так, вероятно, и было. А заметьте, что от ответа присяжных, например, утвердительно: что дорезала бы, и главное, резала с непременною целью зарезать, зависела бы вся участь несчастной. Тут гибель, тут каторга. Как же брать на себя присяжным такую обузу на свою совесть? Они и ответили отрицательно, потому что не могли варьировать свой ответ иначе. Вы скажете, что преступление Каировой было не выдуманное, не головное, не книжное, а тут просто было «бабье дело», весьма несложное, весьма простое, и что на ее постели вдобавок лежала ее соперница. Так ли, простое ли? А что, если она, полоснув раз бритвой по горлу Великановой, закричала бы, задрожала бы и бросилась бы вон бежать? Почему вы

знаете, что этого не случилось бы? А случилось бы, так очень может быть, что и до суда ничего не дошло бы. А теперь вас приперли к стене и допытываются у вас положительно: «дорезала бы она или нет», и, уж разумеется, с тем, чтоб услать ее или нет — сообразно с вашим ответом. И уж малейшая варьация в вашем ответе соответствует целым годам заключения или каторги! А что, если бы так случилось, что она, полоснув раз и испугавшись, принялась бы сама себя резать, да, может быть, тут бы себя и зарезала? А что, наконец, если бы она не только не испугалась, а, напротив, почувствовав первые брызги горячей крови, вскочила бы в бешенстве и не только бы dokonчила резать Великанову, но еще начала бы ругаться над трупом, отрезала бы голову «напрочь», отрезала бы нос, губы, и только потом, вдруг, когда у нее уже отняли бы эту голову, догадалась бы: что это она такое сделала? Я потому так спрашиваю, что все это могло случиться и выйти от одной и той же женщины, из одной и той же души, при одном и том же настроении и при одной и той же обстановке; говорю это потому, что как-то чувствую, что не ошибаюсь. Итак, как же было ответить после того на такой мудреный вопрос суда? Ведь тут не домашний разговор за чайным столом, ведь тут решение судьбы. Так можно ставить вопросы, сильно рискуя не получить на них никакого ответа.

Но, скажут на это, в таком случае никогда нельзя ни обвинять, ни судить в убийстве или в намерении убить, если только преступление было не dokonчено или жертва выздоровела? Нет, мне кажется, за это нечего беспокоиться, потому что есть слишком явные случаи убийств, в которых хотя преступление и не dokonчено (даже хотя бы собственной волей преступника), то все-таки слишком явно, что оно было предпринято

единственно *с целью убийства* и никакой иной цели и иметь не могло. А главное, повторяю, — на то есть совесть присяжных, а это главная и великая вещь; в этом-то и благодеяние нового суда, и эта совесть действительно подскажет присяжным новое решение. Если уж в такой важный момент человек ощутит в себе возможность твердо ответить: «да, виновен», то, по всей вероятности, не ошибется в виновности преступника. По крайней мере, ошибки случались анекдотически редко. Одно только желательно, чтоб эта совесть присяжных была воистину просвещена, воистину тверда и укреплена гражданским чувством долга и избегала увлечения в ту или другую сторону, то есть увлечений жестокости или пагубной сентиментальности. Правда и то, что это второе желание, то есть насчет избежания сентиментальности, таки довольно трудно исполнимое. Сентиментальность так всем по плечу, сентиментальность такая легкая вещь, сентиментальность не требует никакого труда, сентиментальность так выгодна, сентиментальность с направлением даже ослу придает теперь вид благовоспитанного человека...

Равно и на второй вопрос, поставленный присяжным судом: «нанесла ли она эти раны, и *с тою же целью*, в запальчивости и раздражении?» — присяжные опять-таки не могли ответить иначе как отрицательно, то есть «нет, не нанесла», ибо опять тут фраза «с тою же целью» означала «с обдуманном заранее намерением лишить Великанову жизни». И особенно трудно стало ответить на это ввиду того, что «запальчивость и раздражение» в чрезвычайном большинстве случаев исключают «обдуманное заранее намерение»; так что в этом втором вопросе суда заключался как бы даже некоторый и абсурд.

Зато в *третьем* вопросе суда: «действовала ли Каирова в точно доказанном припадке умоисступления?» — заключался уже довольно твердый абсурд, ибо при существовании первых двух вопросов эти два вопроса и третий положительно исключают один другой; в случае же отрицательного ответа присяжных на первые два вопроса или даже просто в случае оставления их без ответа оставалось непонятным: об чем спрашивают и что даже значит слово «действовала», то есть об каком именно поступке спрашивают и как его определяют? Присяжные же никак не могли варьировать свой ответ, за неременной обязанностью ответить лишь *да* или *нет*, без варьаций.

Наконец, и *четвертый* вопрос суда: «если действовала не под влиянием умоисступления, то виновна ли в означенном в первом или во втором вопросе преступлении?» — присяжные тоже оставили без ответа, конечно, ввиду того, что он был лишь повторением первых двух вопросов.

Таким образом суд и *отпустил* Каирову. В ответе присяжных, «нет, не нанесла», конечно, заключался абсурд, ибо отвергался самый факт нанесения ран, — факт никем не оспариваемый и для всех очевидный, но им трудно было сказать что-нибудь иное при такой постановке вопросов. Но, по крайней мере, нельзя сказать, что суд, отпуская Каирову или даже, так сказать, милуя ее, *оправдал* подсудимую, а г-н Утин именно оправдывал поступок преступницы, почти находил его правильным, хорошим. Конечно, это невероятно, а между тем так вышло.

Г-н защитник и Каирова

Речь г-на Утина я разбирать не стану; притом она даже и не талантлива. Ужасно много высокого слога, разных «чувств» и той условно-либеральной гуманности, к которой прибегает теперь чуть не всякий, в «речах» и в литературе, и даже самая полная иногда бездарность (так что г-ну Утину уж совсем бы и некстати), чтоб придать своему произведению приличный вид, благодаря которому оно бы могло «пройти». Эта условно-либеральная гуманность обличает себя у нас чем дальше, тем больше. И всякий теперь знает, что все это — лишь подручное пособие. Я так даже бы думал, что теперь уж и мало кому это нравится, — не десять лет тому назад, — а меж тем, глядь, еще столько простодушия в людях, особенно у нас в Петербурге! А простодушие-то наше и любо «деятелю». Деятелю некогда, например, заняться «делом», вникнуть в него; к тому же почти все они отчасти и поочерствели с годами и с успехами и, кроме того, достаточно уж послужили гуманности, выслужили, так сказать, пряжку гуманности, чтобы заниматься там еще несчастьями какой-нибудь страдающей и безалаберной душонки сумасбродного, навязавшегося им клиента, а вместо сердца в груди многих из них давно уже бьется кусочек чего-то казенного, и вот он, раз навсегда, забирает напрокат, на все грядущие экстренные случаи, запасик условных фраз, словечек, чувствиц, мыслиц, жестов и воззрений, все, разумеется, по последней либеральной моде, и затем надолго, на всю жизнь, погружается в спокойствие и блаженство. Почти всегда сходит. Повторяю, это определение новейшего деятеля я положительно не отношу к г-ну Утину: он талантлив, и чувство у него,

вероятнее всего, натуральное. Но трескучих фраз он все-таки напустил не в меру много в свою речь, что и заставляет подозревать — не то чтобы недостаток вкуса, а именно некоторое небрежное и, может быть, даже и не совсем гуманное отношение к делу в настоящем случае. Надобно сознаться, что наши адвокаты, чем талантливее они, тем больше заняты, а стало быть, у них нет и времени. Было бы и у г-на Утина больше времени, то и он бы, по мнению моему, отнесся к делу сердечнее, а отнесся бы сердечнее, то оказался бы и обдуманнее, не запел бы дифирамба в сущности крайне пошлой интриге, не напустил бы высокого слога про «встрепенувшихся львиц, у которых отнимают детенышей», не напал бы с такою простодушною яростью на жертву преступления, г-жу Великанову, не попрекнул бы ее тем, что ее не дорезали (почти ведь так!), и не изрек бы, наконец, своего неожиданнейшего каламбура на Христовы слова о грешнице из Евангелия. Впрочем, может быть, в натуре все это произошло и не так, и г-н Утин произнес свою речь, имея совершенно серьезный вид; я в суде не был; но по газетным, однако, отчетам выходит, что как будто тут была какая-то, так сказать, распущенность свысока... одним словом, что-то ужасно не задумывающееся и сверх того много комического.

Я с самого начала почти речи стал в тупик и не мог понять: смеется ли г-н Утин, благодаря прокурора за то, что обвинительная речь его против Каировой, кроме того, что была «блестяща и талантлива, красноречива и гуманна», была сверх того и скорее защитительная, чем обвинительная. Что речь прокурора была красноречива и гуманна, в этом не могло быть сомнения, равно как и в том, что она была и в высшей степени либеральна, и вообще эти господа ужасно хвалят друг друга, а

присяжные это слушают. Но, похвалив *обвинителя* — прокурора за его *защитительную* речь, г-н Утин не захотел только быть оригинальным до конца и, вместо защиты, приняться обвинять свою клиентку, г-жу Каирову. Это жаль, потому что было бы очень забавно и, может быть, подошло бы к делу. Я думаю даже, что присяжные не очень бы и удивились, потому что наших присяжных удивить трудно. Это невинное замечание мое, конечно, лишь шутка с моей стороны: г-н Утин не обвинял, он защищал, и если были в его речи недостатки, то именно в том, напротив, что уж слишком страстно защищал, так сказать, даже пересолил, что, как я и упомянул выше, я и объясняю лишь некоторою предварительною небрежностью отношения к «делу». «Отделаюсь, когда придет время, высоким слогом и довольно этой... „галерее“, — вот как, вероятно, теперь думают всего чаще иные из наших более занятых адвокатов. Г-н Утин из себя, например, выходит, чтоб представить свою клиентку как можно больше в идеальном, романтическом и фантастическом виде, а это было вовсе не нужно: без прикрас г-жа Каирова даже понятнее; но г-н защитник бил, конечно, на дурной вкус присяжных. Все-то в ней идеально, всякий-то шаг ее необыкновенен, великодушен, грациозен, а любовь ее это — это что-то кипящее, это поэма! Каирова, например, не быв никогда на сцене, вдруг подписывает контракт в актрисы и уезжает на край России, в Оренбург. Г-н Утин не утверждает и не настаивает на том, что в этом поступке ее „сказалось обычное ее благодущие и самопожертвование“, но „тут есть, — продолжал г-н Утин, — какая-то идеальность, известного рода сумасбродство и главным образом самоотречение. Ей нужно было искать место, чтобы помогать матери, и вот

она принимает место, которое ей вовсе несвойственно, бросает Петербург и отправляется одна в Оренбург" и т. д. и т. д. Ну, и что же такое, казалось бы, ничего особенного и поражающего тут не произошло вовсе; мало ли кто куда отправляется, мало ли девушек бедных, прекрасных, несчастных, талантливых соглашаются на отъезд и принимают кондиции далеко похуже той, которая досталась г-же Каировой. Но у г-на защитника, как видите, выходит какая-то жертва самоотречения, а из контракта в актрисы почти подвиг. Ну, и дальше все в таком же роде. Каирова очень скоро „сходится" с Великановым, антрепренером труппы. Дела его были плохи: „она хлопчет за него, выпрашивает субсидию, выхлопатывает освобождение". Ну, что ж такое, опять ничего бы особенного, да и многие женщины, особенно с живым подвижным характером, как у Каировой, начали бы в таком случае „хлопотать" ради милого человека, если уж завели с ним интрижку. Начались сцены с женой Великанова, и, описав одну из таких сцен, г-н Утин замечает, что с этой минуты его клиентка считала Великанова „своим", видела в нем свое создание, свое „милое дитя". Кстати, это „милое дитя", говорят, высокого роста, плотного, гренадерского сложения, с вьющимися волосиками на затылке. Г-н Утин в своей речи утверждает, что она смотрела на него, как на „свое дитя", как на свое „творение", хотела его „возвысить, облагородить". Г-н Утин, видимо, отвергает, что г-жа Каирова могла бы привязаться к Великанову без этой именно специальной цели, а между тем это „милое дитя", это „творение" нисколько не благородится, а напротив, чем дальше, тем хуже.

Одним словом, у г-на Утина везде выходит какой-то слишком уж не подходящий к этим лицам и к этой

обстановке высокий настрой, так что подчас становится удивительно. Начинаются похождения; «милое дитя» и Каирова приезжают в Петербург, потом он едет в Москву искать места. Каирова пишет ему задушевные письма, она полна страсти, чувства, а он решительно не умеет писать письма и с этой точки ужасно «неблагороден». «В этих письмах, — замечает г-н Утин, — начинает проглядывать то облачко, которое потом затянуло все небо и произвело грозу». Но г-н Утин и не умеет объясняться проще, у него все везде таким слогом. Наконец, Великанов опять возвращается, и они опять живут в Петербурге (*maritale-ment*,^[145] разумеется), — и вот вдруг важнейший эпизод романа — приезжает жена Великанова, и Каирова «встрепенулась, как львица, у которой отнимают детеныша». Тут действительно начинается много красноречия. Если б не было этого красноречия, то, конечно, было бы жальче эту бедную, сумасбродную женщину, мечущуюся между мужем и женой и не знающую, что предпринять. Великанов оказывается «вероломным», попросту слабым человеком. Он — то жену обманывает, уверяя ее в любви, то едет с дачи в Петербург к Каировой и успокоивает ее тем, что жена скоро уедет за границу. Г-н Утин представляет любовь своей клиентки не только в заманчивом, но даже в назидательном и, так сказать, высоконравственном виде. Она, видите ли, хотела даже обратиться к Великановой с предложением уступить ей мужа вовсе (про которого, положительно, стало быть, думала, что имеет почему-то на него полное право); «хотите взять его — возьмите, хотите жить с ним — живите, но или уезжайте отсюда, или я уеду. Решитесь на что-нибудь».

¹⁴⁵ Как супруги (*франц.*).

Это она хотела сказать, не знаю только: сказала ли. Но никто ни на что не решился, а Каирова, вместо того чтобы самой уехать (если уж так хотелось чем-нибудь кончить) без всяких вопросов и не дожидаясь никаких невозможных решений, — только металась и кипела. «Отдать его без борьбы, да это была бы не женщина...» — вдруг замечает г-н Утин. Ну, так для чего же бы и говорить столько о разных хотениях, вопросах, «предложениях»? «Страсть обуревала ее, — растолковывает суду г-н Утин, — ревность уничтожила, поглотила ее ум и заставила играть страшную игру». И потом: «ревность искрошила ее рассудок, от него ничего не осталось. Как же могла она управлять собою». Так продолжалось десять дней. «Она томилась; ее бросало в жар и лихорадку, она не ела, не спала, бежала то в Петербург, то в Ораниенбаум, и когда она таким образом была измучена, наступил злополучный понедельник 7-го июля». В этот злополучный понедельник измученная женщина приезжает к себе на дачу, и ей говорят, что жена Великанова тут; она подходит к спальне и...

«Разве, г-да присяжные заседатели, возможно, чтобы женщина осталась спокойною? Для этого нужно быть камнем; нужно, чтоб у ней не было сердца. Любимый страстно ею человек — в ее спальне, на ее постели, с другой женщиной! Это было свыше ее сил. Ее чувства били бурным потоком, который истребляет все, что ему попадется на пути; она рвала и метала; она могла *истребить все окружающее* (!!!). Если мы спросим этот поток, что он делает, зачем причиняет зло, то разве он может нам ответить. Нет, он безмолвствует».

Эк ведь фраз-то, эк ведь «чувств-то»! «Было бы горячо, а вкус верно какой-нибудь выйдет». Но остановимся, однако же, на этих фразах; они очень

нехороши; и тем хуже, что это самое главное место в защите г-на Утина.

Я слишком согласен с вами, г-н защитник, что Каирова не могла оставаться спокойной в сцене, которую вы описали, но лишь потому только, что она — Каирова, то есть слабая, может быть, очень добрая, если хотите, женщина, пожалуй, симпатичная, привязчивая (про эти ее качества я, впрочем, до сих пор знаю лишь из вашей речи), но в то же время ведь и беспутная же она, не правда ли? Я не развратную беспутность природы здесь разумею: женщина эта несчастна, и не стану я ее оскорблять, тем более, что и судить-то в этом пункте совсем не возьмусь. Я разумею лишь беспутность ее ума и сердца, которая для меня бесспорна. Ну, вот по этой-то беспутности и не могла она в эту роковую минуту решить дело иначе, как она его решила, а не потому, что, решая иначе, «нужно быть камнем, нужно, чтоб у нее не было сердца», как определили вы, г-н защитник. Подумайте, г-н защитник, ведь, утверждая это, вы как будто и исхода другого, более ясного, более благородного и великодушного совсем не допускаете. И если б нашлась женщина, способная в такую минуту бросить бритву и дать делу другой исход, то вы бы, стало быть, обозвали ее камнем, а не женщиной, женщиной без сердца. Таким образом вы «почти похвалили преступление», как я сказал про вас выше. Это, конечно, было увлечение с вашей стороны, и уж бесспорно благородное, но жаль, что такие необдуманные слова уже раздаются с юных общественных трибун наших. Вы меня извините, г-н защитник, что я отношусь к вашим словам столь серьезно. А затем подумайте: есть высшие типы и высшие идеалы женщины. Эти идеалы были же и являлись же на свете, это бесспорно. И что, если б даже

сама г-жа Каирова и уже в последнюю минуту, с бритвой в руках, вдруг взглянула бы ясно в судьбу свою (не беспокойтесь, это очень иногда возможно и именно в последний момент), сознала бы несчастье свое (ибо любить такого человека есть несчастье), сознала бы весь стыд и позор свой, все падение свое (ибо не одно же ведь в самом деле «великодушие и самоотвержение» в этих «грешницах», г-н защитник, а и много лжи, стыда, порока и падения) — ощутила бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь, сознавшую при этом, что ведь и она — «обидчица», кроме того, — что, оставив этого человека, она может еще больше и вернее его облагородить, и, почувствовав все это, встала бы и ушла, залившись слезами: «до чего, дескать, я сама упала!» Ну, что же, если бы это случилось даже с самой г-жой Каировой — неужели бы вы не пожалели ее, не нашли бы отзывчивого чувства в добром, бесспорно, сердце вашем, а назвали бы эту вдруг воскресшую духом и сердцем женщину — камнем, существом без сердца и заклеили бы ее всенародно с нашей юной трибуны, к которой все так жадно еще прислушиваются, вашим презрением?

Слышу, однако же, голоса: «Не требуйте же от всякой, это бесчеловечно». Знаю, я и не требую. Я содрогнулся, читая то место, когда она подслушивала у постели, я слишком могу понять и представить себе, что она вынесла в этот последний час, с своей бритвой в руках, я очень, очень был рад, когда отпустили г-жу Каирову, и шепчу про себя великое слово: «налагают бремена тяжкие и неудобноносимые»; но Тот, Кто сказал это слово, когда потом прощал преступницу, Тот

прибавил: «иди и не греши».^[146] Стало быть, грех все-таки назвал грехом; простил, но не оправдал его; а г-н Утин говорит: «она была бы не женщина, а камень, существо без сердца», так что даже не понимает, как можно поступить было иначе. Я только робко осмеливаюсь заметить, что зло надо было все-таки назвать злом, несмотря ни на какую гуманность, а не возносить почти что до подвига.

Г-н защитник и Великанова

И уж если провозглашать гуманность, то можно бы пожалеть и г-жу Великанову. Кто уж слишком жалеет обидчика, тот, пожалуй, не жалеет обиженного. А между тем г-н Утин отнимает у г-жи Великановой даже ее качество «жертвы преступления». Мне кажется, я решительно не ошибусь заключением, что г-ну Утину, в продолжение всей его речи, поминутно хотелось сказать что-нибудь дурное про г-жу Великанову. Признаюсь, прием этот слишком уж простодушен и, кажется, самый неловкий; он слишком первоначален и тороплив; ведь скажут, пожалуй, г-н защитник, что вы гуманны лишь для своих клиентов, то есть по должности, а разве это правда? Вот вы подхватили и привели, например, «дикую, ужасную» сцену, когда Великанова в раздражении сказала вслух, что «расцелует ручки-ножки у того, кто избавит ее от такого мужа», и что Каирова, тут бывшая, тотчас же сказала на это: «я возьму его», а Великанова ей на то: «ну и возьмите». Вы даже заметили, передав этот *факт*, что вот с этой-то минуты Каирова и стала считать этого господина *своим*, стала

¹⁴⁶ ...Тот прибавил: «иди и не греши». — Имеется в виду евангельская притча о Христе и блуднице.

видеть в нем свое создание и «свое милое дитя». Все это очень наивно. И, во-первых, что тут «дикого и ужасного»? Сцена и слова скверные бесспорно; но ведь если вы допускаете возможность извинить даже бритву в руках Каировой и признать, что Каирова не могла оставаться спокойной, в чем я вам в высшей степени верю, то как же не извинить нетерпеливое, хотя и нелепое, восклицание несчастной жены! Ведь сами же вы признаете, что Великанов человек невозможный и даже до того, что самый факт любви к нему Каировой уже может достаточно засвидетельствовать о ее безумии. Как же вы удивляетесь после того словам Великановой: «ручки-ножки». С невозможным человеком и отношения принимают иногда характер невозможный, и фразы вылетают подчас невозможные. Но ведь это только *подчас* и всего только фраза. И, признаюсь, если б г-жа Каирова так серьезно поняла, что жена в самом деле отдает ей мужа и что с этих пор она уж и право имеет считать его своим, то была бы большая шутница. Вероятно, все это произошло как-нибудь иначе. И не надо смотреть на иную фразу иного бедного, удрученного человека так свысока. В этих семействах (да и не в этих только одних, а знаете ли еще в каких семействах?) говорят и не такие фразы. Бывает нужда, жизненная тягота, и отношения семейные под гнетом ее иногда невольно грубеют, так что и допускаются иные словечки, которых бы не сказал, например, лорд Байрон своей леди Байрон, даже в самую минуту их окончательного разрыва, или хоть Арбенин Нине в «Маскараде» Лермонтова. Конечно, этого неряшества извинять нельзя, хотя это всего лишь неряшество, дурной нетерпеливый тон, а *сердце* остается, может быть, еще лучше нашего, так что если смотреть попроще,

то, право, будет гуманнее. А если хотите, то выходка г-жи Каировой — «я возьму его», по-моему, гораздо мерзче: тут страшное оскорбление жене, тут истязание, насмешка в глаза торжествующей любовницы, отбившей мужа у жены. У вас, г-н защитник, есть чрезвычайно ядовитые слова про эту жену. Сожалея, например, что она не явилась в суд, а прислала медицинское свидетельство о болезни, вы заметили присяжным, что если б она явилась, то свидетельство это потеряло бы всякое значение, потому что присяжные увидели бы здоровую, сильную, красивую женщину. Но какое вам дело, в данном случае, до ее красоты, силы и здоровья? Вы говорите далее: «Г-да присяжные! Что это за женщина, которая приезжает к мужу, который живет с другою, приходит в дом любовницы своего мужа, зная, что Каирова там живет; решается остаться ночевать и ложится в ее спальне, на постеле... Это превышает мое понятие». Пусть превышает, но все-таки вы слишком аристократичны и — несправедливы. И знаете ли, г-н защитник, что клиентка ваша, может быть, даже много выиграла тем, что г-жа Великанова не явилась в суд.

Про Великанову в суде на сказано было много дурного, про ее характер например. Я не знаю ее характера, но мне почему-то даже нравится, что она не явилась. Она не явилась, может быть, по гордости оскорбленной женщины, может быть, жалея даже мужа. Ведь никто ничего не может сказать, почему она не явилась... Но во всяком случае видно, что она не из тех особ, которые любят рассказывать о своих страстях публично и описывать всенародно свои женские чувства. И кто знает, может быть, если б она явилась, то ей ничего бы не стоило разъяснить: почему она остановилась в квартире любовницы своего мужа, чему

вы так удивляетесь и что ставите ей в такой особенный стыд. Мне кажется, она остановилась не у Каировой, а у своего раскаявшегося мужа, который призвал ее. И ниоткуда не следует, что г-жа Великанова рассчитывала, что г-жа Каирова будет продолжать платить за эту квартиру. Ей даже, может быть, и трудно было распознать сейчас по приезду: кто тут платит и кто хозяин. Муж звал ее к себе, значит, муж и квартиру оставил за собой; и весьма вероятно, что он так и сказал ей; ведь он же их тогда обеих обманывал. Точь-в-точь и ваша тонкость про спальню и про постель. Тут какой-нибудь волосок, какая-нибудь самая ничтожная подробность могла бы, может быть, разъяснить все разом. Вообще, мне кажется, к этой бедной женщине были все несправедливы, и мне сдается, что застань Великанова Каирову в спальне с своим мужем и прирежь ее бритвой, то кроме грязи и каторги она ничего бы не добила в своем ужасном качестве законной жены. Ну, возможно ли, например, сказать, как вы сказали, г-н защитник, что в этом «деле» Великанова не потерпела, потому что через несколько дней после происшествия явилась уже на подмостках театра и играла потом всю зиму, тогда как Каирова просидела десять месяцев в заключении. О бедной клиентке вашей мы все жалеем не меньше вас, но согласитесь, что и г-жа Великанова потерпела немало. Не говоря уже о том, сколько она потерпела как жена и как уважающая себя женщина (последнего я решительно не вправе отнять от нее), — вспомните, г-н защитник, вы, такой тонкий юрист и так гуманно заявивший себя в своей речи человек, — вспомните, сколько она должна была вынести в ту ужасную ночь? Она вынесла несколько минут (слишком много минут) *смертного страху*. Знаете ли, что такое

смертный страх? Кто не был близко у смерти, тому трудно понять это. Она проснулась ночью, разбуженная бритвой своей убийцы, полоснувшей ее по горлу, увидела яростное лицо над собою; она отбивалась, а та продолжала ее полосовать; она, уж конечно, была убеждена в эти первые, дикие, невозможные минуты, что уже зарезана и смерть неминуема, — да ведь это невыносимо, это горячешный кошмар, только наяву и, стало быть, во сто раз мучительнее; это почти все равно, что смертный приговор привязанному у столба к расстрелянию и когда на привязанного уже надвинут мешок^[147] ... Помилуйте, г-н защитник, и это такое истязание вы считаете пустяками! и неужели никто из присяжных даже не улыбнулся, это слушая. Ну, и что же такое, что Великанова через две недели уже играла на сцене: уменьшает ли это тот ужас, который она две недели перед тем вынесла, и вину вашей клиентки? Вон мачеха недавно выбросила из четвертого этажа свою шестилетнюю падчерицу, а ребенок стал на ножки совсем невредимый: ну, неужели это сколько-нибудь изменяет жестокость преступления, и неужели эта девочка так-таки ровно ничего не претерпела? Кстати, я уж воображаю себе невольно, как эту мачеху будут защищать адвокаты: и безвыходность-то положения, и молодая жена у вдовца, выданная за него насильно или вышедшая ошибкой. Тут пойдут картины бедного быта бедных людей, вечная работа. Она, простодушная, невинная, выходя, думала как неопытная девочка (при нашем-то воспитании особенно!), что замужем одни только радости, а вместо радостей — стирка

¹⁴⁷ ...на привязанного уже надвинут мешок... — Эта ассоциация связана с воспоминаниями Достоевского о казни петрашевцев.

запачканного белья, стряпня, обмывание ребенка, — «Г-да присяжные, она естественно должна была возненавидеть этого ребенка (кто знает, ведь, может, найдется и такой „защитник“, что начнет чернить ребенка и приищет в шестилетней девочке какие-нибудь скверные, ненавистные качества!), — в отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня себя, она схватывает эту девочку и... Г-да присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого? Кто бы из вас не вышвырнул из окна ребенка?»

Мои слова, конечно, карикатура, но если взяться *сочинить* эту речь, то, действительно, можно сказать что-нибудь довольно похожее и именно в этом самом роде, то есть именно в роде этой карикатуры. Вот это-то и возмутительно, что именно в роде этой карикатуры, тогда как действительно поступок этого изверга-мачехи слишком уж странен и, может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы. И потому подосадуешь иногда на простодушие и шаблонство приемов, входящих, по разным причинам, в употребление у наших талантливейших адвокатов. С другой стороны, думаешь так: ведь трибуны наших новых судов — это решительно нравственная школа для нашего общества и народа. Ведь народ учится в этой школе правде и нравственности; как же нам относиться хладнокровно к тому, что раздастся подчас с этих трибун? Впрочем, с них раздаются иногда самые невинные и веселые шутки. Г-н защитник в конце своей речи применил к своей клиентке цитату из Евангелия: «она много любила, ей многое простится». Это, конечно, очень мило. Тем более что г-н защитник отлично хорошо знает, что Христос вовсе не *за такую любовь* простил

«грешницу». Считаю кощунством приводить теперь это великое и трогательное место Евангелия; вместо этого не могу удержаться, чтобы не привести одного моего давнишнего замечания, очень мелкого, но довольно характерного. Замечание это, разумеется, несколько не касается г-на Утина. Я заметил еще с детства моего, с юнкерства, что у очень многих подростков, у гимназистов (иных), у юнкеров (побольше), у прежних кадетов (всего больше) действительно вкореняется почему-то с самой школы понятие, что Христос именно за эту любовь и простил грешницу, то есть именно за клубничку или, лучше сказать, за усиленность клубнички, пожалел, так сказать, привлекательную эту немощь. Это убеждение встречается и теперь у чрезвычайно многих. Я помню, что раз-другой я даже задавал себе серьезно вопрос: отчего эти мальчики так склонны толковать в эту сторону это место Евангелия? Небрежно ли их так учат Закону Божию? Но ведь остальные места Евангелия они понимают довольно правильно. Я заключил, наконец, что тут, вероятно, действуют причины более, так сказать, физиологические: при несомненном добродушии русского мальчика тут, вероятно, как-нибудь тоже действует в нем и тот особый избыток юнкерских сил, который вызывается в нем при взгляде на всякую женщину. А впрочем, чувствую, что это вздор, и не следовало бы приводить вовсе. Повторяю, г-н Утин, уж конечно, отлично знает, как надо толковать этот текст, и для меня сомнения нет, что он просто пошутил в заключение речи, но для чего — не знаю.

Нечто об одном здании. Соответственные мысли

Ложь и фальшь, вот что со всех сторон, и вот что иногда несносно!

И как раз, когда шел в суде процесс г-жи Каировой, я попал в Воспитательный дом, в котором никогда не был и куда давно порывался посмотреть. Благодаря знакомому врачу осмотрели все. Впрочем, о подробных впечатлениях моих потом; я даже ничего не записал и не отметил, ни годов, ни цифр; с первого шага стало ясно, что с одного раза нельзя осмотреть и что сюда слишком стоит еще и еще воротиться. Так мы и положили сделать с многоуважаемым моим руководителем, врачом. Я даже намерен съездить в деревни, к чухонкам, которым розданы на воспитание младенцы. Следовательно, описание мое все в будущем, а теперь мелькают лишь воспоминания: памятник Бецкому,^[148] ряд великолепных зал, в которых размещены младенцы, удивительная чистота (которая ничему не мешает), кухни, питомник, где «изготавливаются» телята для оспопрививания, столовые, группы маленьких деток за столом, группы пяти— и шестилетних девочек, играющих в лошадки, группа девочек-подростков, по шестнадцати и семнадцати, может быть, лет, бывших воспитанниц Дома, приготавлиющихся в нянюшки и старающихся восполнить свое образование: они уже кое-что знают, читали Тургенева, имеют ясный взгляд и очень мило говорят с вами. Но г-жи надзирательницы мне больше

¹⁴⁸ *Бецкой* Иван Иванович (1704–1795) — деятель педагогической реформы в России в XVIII веке.

понравились: они имеют такой ласковый вид (ведь не притворились же они для нашего посещения), такие спокойные, добрые и разумные лица. Иные, видимо, имеют образование. Очень заинтересовало меня тоже известие, что смертность младенцев, собственно растущих в этом доме (в этом здании то есть), несравненно меньшая, чем смертность младенцев на воле, в семействах, чего, однако, нельзя сказать про младенцев, розданных по деревням. Видел, наконец, и комнату внизу, куда вносят младенцев их матери, чтоб оставить их здесь навеки... Но все это потом. Я помню только, что с особенным и с каким-то странным, должно быть, взглядом приглядывался к этим грудным детям. Как ни абсурдно было это, а они мне показались ужасно дерзкими, так что я, помню, внутри, про себя, улыбнулся даже на мою мысль. В самом деле, вот он где-нибудь там родился, вот его принесли, — посмотрите, как он кричит, орет, заявляет, что у него груденка здорова и что он жить хочет, копошится своими красными ручками и ножками и кричит-кричит, как будто имеет право так вас беспокоить; ищет груди, как будто имеет право на грудь, на уход; требует ухода, как будто имеет точь-в-точь такое же право, как и те дети — там, в семействах: так вот все и бросятся и побегут к нему — дерзость, дерзость! И, право, вовсе без юмору говорю это, право, оглядишься кругом и нет-нет, а невольно мелькает мысль: а что, а ну как в самом деле он кого-нибудь разобидит? А ну как впрямь кто-нибудь вдруг его возьмет и осадит: «вот тебе, пузырь, что ты, княжеский сын, что ли?» Да разве и не осаживают? Это не мечта. Швыряют даже из окон, а однажды, лет десять назад, одна, тоже, кажется, мачеха (забыл уж я, а лучше бы, если бы мачеха), наскучив таскать ребенка, доставшегося от

прежней жены и все кричавшего от какой-то боли, подошла к кипящему, клопочущему самовару, подставила прямо под кран ручку досадного ребеночка и... отвернула на нее кран. Это было тогда во всех газетах. Вот осадил-то, милая! Не знаю только, как ее осудили, — да и судили ли, полно? Не правда ли, что «достойна всякого снисхождения»: иногда ужасно ведь эти ребятишки кричат, расстроят нервы, ну, а там бедность, стирка, не правда ли? Впрочем, иные родные матери, так те хоть и «осадят» крикуна, но гораздо гуманнее: заберется интересная, симпатичная девица в укромный уголок — и вдруг с ней там обморок, и она ничего далее не помнит, и вдруг, откуда ни возьмись, ребеночек, дерзкий, крикса, ну и попадет нечаянно в самую влагу, ну и захлебнется. Захлебнуться все же легче крана, не правда ли? Этакую и судить нельзя: бедная, обманутая, симпатичная девочка, ей бы только конфетки кушать, а тут вдруг обморок, и как вспомнишь еще вдобавок Маргариту «Фауста» (из присяжных встречаются иногда чрезвычайно литературные люди), то как судить, — невозможно судить, а даже надо подписку сделать. Так что даже порадуешься за всех этих деток, что попали сюда в это здание. И, признаюсь, у меня тогда все рождались ужасно праздные мысли и смешные вопросы. Я, например, спрашивал себя мысленно и ужасно хотел проникнуть: когда именно эти дети начинают узнавать, что они всех хуже, то есть что они не такие дети, как «те другие», а гораздо хуже и живут совсем не по праву, а лишь, так сказать, из гуманности? Проникнуть в это нельзя, без большого опыта, без большого наблюдения над детками, но а priori^[149] я все-таки решил и убежден,

¹⁴⁹ Априори, независимо от опыта, до опыта (лат.).

что узнают они об этой «гуманности» чрезвычайно рано, то есть так рано, что, может быть, и нельзя поверить. В самом деле, если б ребенок развивался только посредством научных пособий и научных игр и узнавал мироздание через «утку», то, я думаю, никогда бы не дошел до той ужасающей, невероятной глубины понимания, с которой он вдруг осиливает, совсем неизвестно каким способом, иные идеи, казалось бы совершенно ему недоступные. Пяти-шестилетний ребенок знает иногда о Боге или о добре и зле такие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле согласишься, что этому младенцу даны природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже, на основании педагогики, должны бы были почти отвергнуть. О, без сомнения, он не знает фактов о Боге, и если тонкий юрист начнет пробовать шестилетнего насчет зла и добра, то только расхохочется. Но вы только будьте немножко потерпеливее и повнимательнее (ибо это стоит того), извините ему, например, факты, допустите иные абсурды и добейтесь лишь *сущности понимания* — и вы вдруг увидите, что он знает о Боге, может быть, уже столько же, сколько и вы, а о добре и зле и о том, что стыдно и что похвально, — может быть, даже и гораздо более вас, тончайшего адвоката, но увлекающегося иногда, так сказать, торопливостью. К числу таких ужасно трудных идей, столь неожиданно и неизвестно каким образом усваиваемых ребенком, я и отношу у этих здешних детей, как сказал выше, и это первое, но твердое и на всю жизнь незыблемое понятие о том, что они «всех хуже». И я уверен, что не от нянек и мамок узнает ребенок об этом; мало того, он живет так, что, не видя «тех других» детей, и сравнения сделать не

может, а между тем вдруг вы присматриваетесь и видите, что он ужасно уже много знает, что он слишком много уже раскусил с самой ненужной поспешностью. Я, конечно, зафилософствовался, но я тогда никак не мог сладить с течением мыслей. Мне, например, вдруг пришел в голову еще такой афоризм: если судьба лишила этих детей семьи и счастья возрастая у родителей (потому что не все же ведь родители вышвыривают детей из окон или обваривают их кипятком), — то не вознаградить ли их как-нибудь другим путем; возрадив, например, в этом великолепном здании, — дать имя, потом образование и даже самое высшее образование всем, провести через университеты, а потом — а потом приискать им места, поставить на дорогу, одним словом, не оставлять их как можно дальше, и это, так сказать, всем государством, приняв их, так сказать, за общих, за государственных детей. Право, если уже прощать, то прощать вполне. И тогда же мне подумалось про себя: а ведь иные, пожалуй, скажут, что это значит поощрять разврат, и вознегодуют. Но какая смешная мысль: вообразить только, что все эти симпатичные девицы нарочно и усиленно начнут рождать детей только что услышат, что тех отдадут в университеты.

«Нет, — думал я, — простить их и простить совсем; уж коли прощать, так совсем!» Правда, многим, очень многим людям завидно станет, самым честным и работающим людям будет завидно: «Как, я, например, — подумает иной, — всю жизнь работал как вол, ни одного бесчестного дела не сделал, любил детей и всю жизнь бился, как бы их образовать, как бы их сделать гражданами, и не мог, не мог; гимназии даже не мог дать вполне. Вот теперь кашляю, одышка, на будущей неделе

помру, — прощай, мои детушки, милые, все восемь штук! Все-то тотчас перестанут учиться, все тотчас разбредутся по улицам да на папиросные фабрики, и это бы еще дай бог... А те вышвырки университет доканчивать будут, места получат, да еще я же свою копейку ежегодно на их содержание косвенно или прямо платил!»

Этот монолог непременно скажется и — какие, в самом деле, противоречия? В самом деле, отчего это все так устроилось, что ничего согласить нельзя? Подумайте, ну что, казалось бы, могло быть законнее и справедливее этого монолога? А между тем ведь он в высшей степени незаконен и несправедлив. Стало быть, и законен и, стало быть, и незаконен, что за путаница!

Не могу, однако, не досказать и иного чего, что мне тогда померещилось. Например: «если простить им, так простят ли они?» Вот ведь тоже вопрос. Есть иные высшего типа существа, те простят; другие, может быть, станут мстить за себя, — кому, чему, — никогда они этого не разрешат и не поймут, а мстить будут. Но насчет «мщения обществу» этих «вышвырков», если б таковое происходило, скажу так: я убежден, что это мщение всегда скорее может быть отрицательное, чем прямое и положительное. Прямо и сознательно мстить никто и не станет, да и сам даже не догадается, что мстить хочет, напротив, дайте только им воспитание, ужасно многие из вышедших из этого «здания» выйдут именно с жаждой почтенности, родоначальности, с жаждой семейства; идеал их будет завести свое гнездо, начать имя, приобрести значение, взвести деток, возлюбить их, а при воспитании их отнюдь, отнюдь не прибегать к «зданию», или к помощи на казенный счет. И вообще, первым правилом будет даже забыть дорогу к этому зданию, имя его. Напротив, этот новый родоначальник будет

счастлив, если проведет своих деток через университет, на свой собственный счет. Что же, — эта жажда буржуазного, *данного* порядка, которая будет преследовать его всю жизнь, — что это будет: лакейством или самую высшую независимостью? По-моему, скорее последним, но душа все-таки останется на всю жизнь не совсем независимую, не совсем *господскою*, и потому многое будет не совсем приглядно, хотя и в высшей степени честно. Полную независимость духа дает совсем другое... но об этом потом, это тоже длинная история.

Одна несоответственная идея

Я сказал, однако, сейчас: «независимость»? Но любят ли у нас независимость — вот вопрос. И что такое у нас независимость? Есть ли два человека, которые бы понимали ее одинаково; да и не знаю, есть ли у нас хоть одна такая идея, в которую хоть кто-нибудь серьезно верит? Рутинная наша, и богатая и бедная, любит ни о чем не думать и просто, не задумываясь, развратничать, пока силы есть и не скучно. Люди лучше рутинны «обособляются» в кучки и делают вид, что чему-то верят, но, кажется, насильно и сами себя тешат. Есть и особые люди, взявшие за формулу: «Чем хуже, тем лучше» и разрабатывающие эту формулу. Есть, наконец, и парадоксалисты, иногда очень честные, но, большей частью, довольно бездарные; те, особенно если честны, кончают непрерывными самоубийствами. И право, самоубийства у нас до того в последнее время усилились, что никто уж и не говорит об них. Русская земля как будто потеряла силу держать на себе людей. И сколько в ней несомненно честных людей и особенно честных женщин! Женщины у нас подымаются и, может быть,

многое спасут, об этом я еще буду говорить. Женщины — наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую роковую минуту; но вот в чем беда: честных-то у нас много, очень много, то есть, видите ли: скорее добрых, чем честных, но никто из них не знает, в чем честь, решительно не верит ни в какую формулу чести, даже отрицает самые ясные прежние ее формулы, и это почти везде и у всех, что за чудо? А так называемая «живая сила», живое чувство бытия, без которого ни одно общество жить не может и земля не стоит, — решительно бог знает куда уходит. И почему это я раздумался об самоубийствах в этом здании, смотря на этот питомник, на этих младенцев? Вот уж несоответственная-то идея.

Несоответственных идей у нас много, и они-то и придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, — и вот он под ним корчится, а освободиться не умеет. Иной соглашается жить и придавленный, а другой не согласен и убивает себя. Чрезвычайно характерно одно письмо одной самоубийцы, девицы, приведенное в «Новом времени», длинное письмо. Ей было двадцать пять лет. Фамилия — Писарева. Была она дочь достаточных когда-то помещиков, но приехала в Петербург и отдала долг прогрессу, поступила в акушерки. Ей удалось, она выдержала экзамен и нашла место земской акушерки; сама свидетельствует, что не нуждалась вовсе и могла слишком довольно заработать, но она *устала*, она очень «устала», так устала, что ей захотелось отдохнуть. «Где же лучше отдохнешь, как не в могиле?» Но устала она действительно ужасно! все письмо этой бедной дышит усталостью. Письмо даже сварливо, нетерпеливо: отстаньте только, я устала, устала. «Не забудьте велеть

стащить с меня новую рубашку и чулки, у меня на столике есть старая рубашка и чулки. Эти пусть наденут на меня». Она не пишет *снять*, а *стащить*, — и все так, то есть во всем страшное нетерпение. Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпение от усталости; она даже бранится: «Неужели вы верили, что я домой поеду? Ну, на кой черт я туда поеду?» Или: «Теперь, Липарева, простите вы меня и пусть простит Петрова (у которой на квартире она отравилась), в особенности Петрова. Я делаю свинство, пакость...» Родных своих она, видимо, любит, но пишет: «Не давайте знать Лизаньке, а то она скажет сестре, и та приедет выть сюда. Я не хочу, чтобы надо мной выли, а родственники все без исключения воют над своими родными». *Воют*, а не *плачут*, — все это, видимо, от брюзгливой и нетерпеливой усталости: поскорей, поскорей бы только — и дайте покой!.. Брезгливого и цинического неверия в ней страшно, мучительно много; она и в Липареву, и в Петрову, которых так любит, не верит. Вот слова, которыми начинается письмо: «Не теряйте головы, не ахайте, сделайте над собой усилие и прочтите до конца; а потом рассудите, как лучше сделать. Петрову не пугайте. Может быть, ничего не выйдет, кроме смеха. Мой вид на жительство в чемоданной крышке».

Кроме смеха! Эта мысль, что над нею, над бедным телом ее будут смеяться, и кто же — Липарева и Петрова — эта мысль скользнула в ней в такую минуту! Это ужасно!

До странности занимают ее денежные распоряжения той крошечной суммой, которая после нее осталась: «те-то деньги чтоб не взяли родные, те-то Петровой, двадцать пять рублей, которые дали мне Чечоткины на дорогу, отвезите им». Эта важность,

приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни «о камнях, обращенных в хлебы». Одним словом, проглядывает руководящее убеждение всей жизни, то есть «были бы все обеспечены, были бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений. Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды» и т. д. и т. д. В этом-то и состоит весь этот маленький, обиходный и ужасно характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такою верою (и несмотря на то так скоро все наскучивают и своей верою и жизнью), которыми они заменяют все, живую жизнь, связь с землей, веру в правду; все, все. Она устала, очевидно, от скуки жить и утратив всякую веру в правду, утратив всякую веру в какой-нибудь долг; одним словом, полная потеря высшего идеала существования.

И умерла бедная девушка. Я не вою над тобой, бедная, но дай хоть пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучилась. Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта темная, глухая могила? Смотрите, на небе яркое весеннее солнце, распустились деревья, а вы устали не живши. Ну как не *выть* над вами матерям вашим, которые вас растили и так любовались на вас, когда еще вы были младенцами? А в младенце столько надежд! Вот я смотрю, вот эти здешние «вышвырки», — ведь как они хотят жить, как они заявляют о своем праве жить! Так и ты была младенцем, и хотела жить, и твоя мать это помнит, и как сравнит теперь твое мертвое лицо с тем смехом и радостью, которые видела и помнит на

твоим младенческим личике, то как же ей не «взвыть», как же упрекать их за то, что они воют? Вот мне показали сейчас девочку Дуню: она родилась с искривленной ножкой, то есть совсем без ноги; вместо ноги у нее что-то вроде какой-то тесемки. Ей всего только полтора года, она здоровенькая и замечательно хороша собой; ее все ласкают, и она всякому-то кивнет головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то поцелует языком. Она еще ничего не знает про свою ножку, не знает, что она урод и калека, но неужели и этой тоже суждено возненавидеть жизнь? «Мы ей вставим ножку, дадим костыль и выучим ходить, и не заметит», — говорил доктор, лаская ее. Ну и дай бог, чтоб *не заметила*. Нет, устать, возненавидеть жизнь, возненавидеть, значит, и всех, о, нет, нет, пройдет это жалкое, уродливое, недоношенное племя, племя корчащихся под свалившимися на них камнями, засветит как солнце новая великая мысль, и укрепится шатающийся ум, и скажут все: «Жизнь хороша, а мы были гадки». Не виню ведь я, говоря, что гадки. Вон я вижу эта баба, эта грубая кормилица, это «нанятое молоко» вдруг поцеловала ребенка, — этого-то ребенка, «вышвырка-то»! Я и не думал, что здесь кормилицы целуют этих ребят; да ведь за этим только, чтоб это увидеть, стоило бы сюда съездить! А она поцеловала и не заметила и не видела, что я смотрел. За деньги, что ли, они их любят? их нанимают, чтоб ребят кормить, и не требуют, чтоб целовали. У чухонки по деревням детям, рассказывают, хуже, но некоторые из них до того привыкают к своим выкормкам, что, передавали мне, сдают их опять в Дом, плача, приходят потом нарочно их повидать издалека, из деревень приносят гостинца, «воют над ними». Нет, тут не деньги: «родные ведь все

воют», — как решила Писарева в своей предсмертной записке, вот и эти приходят выть, и целуют, и гостинца своего деревенского бедного тащут. Это не одни только наемные груди, заменившие груди матерей, это *материнство*, это та «живая жизнь», от которой так устала Писарева. Да правда ли, что русская земля перестает на себе держать русских людей? Отчего же жизнь рядом, тут же, бьет таким горячим ключом?

И, уж конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя на ступеньках дач и точат бритвы на своих соперниц. Скажу в заключение: эти бритвы в своем роде могут быть очень симпатичны, но я очень жалел, что попал сюда, в это здание, в то время, когда следил за процессом г-жи Каировой. Я вовсе не знаю жизнеописания г-жи Каировой и решительно не могу и права не имею применить к ней что-нибудь насчет этого здания, но весь этот роман ее и все это красноречивое изложение ее страстей на суде как-то решительно потеряли для меня всякую силу и убили во мне всякую к себе симпатию, как только я вышел из этого здания. Я прямо сознаюсь в этом, потому что, может быть, оттого-то и написал так бесчувственно о «деле» г-жи Каировой.

Несомненный демократизм. Женщины

Чувствую, что надо бы ответить и еще на одно письмо одного корреспондента. В прошлом, апрельском № «Дневника», говоря о политических вопросах, я, между прочим, включил одну, положим, фантазию:

«...Россия окажется сильнее всех в Европе. Произойдет это от того, что в Европе уничтожатся все

великие державы по весьма простой причине: они все будут обессилены и подточены неудовлетворенными демократическими стремлениями огромной части своих низших подданных, своих пролетариев и нищих. В России же этого не может случиться совсем: наш демос доволен, и чем далее, тем более будет удовлетворен, ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием. А потому и останется один только колосс на континенте Европы — Россия».

Мой корреспондент в ответ на это мнение приводит один любопытнейший и назидательный факт и выставляет его как причину сомнения в том, что «наш демос доволен и удовлетворен». Почтенный корреспондент слишком хорошо поймет (если ему попадутся эти строки), почему я не могу теперь поднять этот сообщенный им факт и ответить на него, хотя и не теряю надежды в возможность поговорить именно об этом факте в самом непродолжительном будущем. Но теперь я хочу лишь сказать одно слово в объяснение о демосе, тем более что получил уже сведение и о некоторых других мнениях, тоже не согласных с моим убеждением о довольстве нашего «демоса». Я хочу лишь обратить внимание моих оппонентов на одну строчку выписанного выше места из апрельского номера: «...ибо все к тому идет, общим настроением или, лучше, согласием». В самом деле, если б этого общего *настроения* или, лучше, *согласия* не было даже в самых моих оппонентах, то они пропустили бы мои слова без возражения. И потому настроение это несомненно существует, несомненно демократическое и несомненно бескорыстное; мало того, оно всеобщее. Правда, много в теперешних демократических заявлениях и фальши, много и журнального плутовства; много увлечения,

например, в преувеличении нападков на противников демократизма, которых, к слову сказать, у нас теперь очень мало. Тем не менее честность, бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому сомнению. В этом отношении мы, может быть, представили или начинаем представлять собою явление, еще не объявлявшееся в Европе, где демократизм до сих пор и повсеместно заявил себя еще только снизу, еще только воюет, а побежденный (будто бы) верх до сих пор дает страшный отпор. Наш верх побежден не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен, и — кто же может отрицать это? А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность. И если в настоящем еще многое неприглядно, то, по крайней мере, позволительно питать большую надежду, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и непрерывным влиянием впредь таких огромных *начал* (ибо иначе и назвать нельзя), *как всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие* на то всех русских людей, начиная с самого верху. Вот в этом-то смысле я и выразился, что наш демос доволен и «чем далее, тем более будет удовлетворен». Что же, в это трудно не верить.

А в заключение мне хочется добавить еще одно слово о русской женщине. Я сказал уже, что в ней заключена одна наша огромная надежда, один из залогов нашего обновления. Возрождение русской женщины в последние двадцать лет оказалось несомненным. Подъем в запросах ее был высокий, откровенный и безбоязненный. Он с первого раза внушил уважение, по крайней мере заставил задуматься, невзирая на несколько паразитных неправильностей,

обнаружившихся в этом движении. Теперь, однако, уже можно свести счеты и сделать безбоязненный вывод. Русская женщина целомудренно пренебрегла препятствиями, насмешками. Она твердо объявила свое желание участвовать в общем деле и приступила к нему не только бескорыстно, но и самоотверженно. Русский человек, в эти последние десятилетия, страшно поддался разврату стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению идее. В жажде высшего образования она проявила серьезность, терпение и представила пример величайшего мужества. «Дневник писателя» дал мне средство ближе видеть русскую женщину; я получил несколько замечательных писем: меня, неумелого, спрашивают они: «что делать?» Я ценю эти вопросы и недостаток умения в ответах стараюсь искупить искренностью. Я сожалею, что многого не могу и права не имею здесь сообщить. Вижу, впрочем, и некоторые недостатки современной женщины и главный из них — чрезвычайную зависимость ее от некоторых собственно мужских идей, способность принимать их на слово и верить в них без контроля. Говорю далеко не обо всех женщинах, но недостаток этот свидетельствует и о прекрасных чертах сердца: ценят они более всего свежее чувство, живое слово, но главное, и выше всего, искренность, а поверив искренности, иногда даже фальшивой, увлекаются и мнениями, и вот это иногда слишком. Высшее образование впереди могло бы этому очень помочь. Допустив искренно и вполне высшее образование женщины, со всеми правами, которые дает оно, Россия еще раз ступила бы огромный и своеобразный шаг перед всей Европой в великом деле обновления человечества. Дай бог тоже русской

женщине менее «уставать», менее разочаровываться, как «устала», на пример, Писарева. Но скорее пусть, как жена Шапова, она утолит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью.^[150] Но и та и другая одинаково мучительные и незабвенные явления, — одна по своей маловознагражденной высокой женственной энергии, другая — как бедная усталая, уединившаяся, поддавшаяся, побежденная...

Июнь

Мой парадокс

Вновь сшибка с Европой (о, не война еще: до войны нам, то есть России, говорят, все еще далеко), вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос, вновь на русских смотрят в Европе недоверчиво... Но, однако, чего нам гоняться за доверчивостью Европы? Разве смотрела когда Европа на русских доверчиво, разве может она смотреть на нас когда-нибудь доверчиво и не враждебно? О, разумеется, *когда-нибудь* этот взгляд переменится, когда-нибудь и нас разглядит и раскусит Европа получше, и об этом *когда-нибудь* очень и очень стоит поговорить, но пока — пока мне пришел на ум как бы посторонний и боковой вопрос, и недавно я очень занят был его разрешением. Пусть со мной будет никто не согласен, но мне кажется, что я хоть отчасти, а прав.

¹⁵⁰ ...*пусть, как жена Шапова, она утолит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью.* — О. И. Шапова, урожденная Жемчужникова, сознательно связала свою судьбу с больным человеком и последовала за мужем в ссылку. Шапов А. П., профессор русской истории в Казанском университете, в 1861 году был отстранен от преподавания и арестован за участие в панихиде по крепостным, убитым во время волнений в селе Бездна Казанской губернии. В 1864 году был выслан в Сибирь и проживал в Иркутске до дня смерти (27 февраля 1876 года).

Я сказал, что русских не любят в Европе. Что не любят — об этом, я думаю, никто не заспорит, но, между прочим, нас обвиняют в Европе, всех русских, почти поголовно, что мы страшные либералы, мало того — революционеры и всегда, с какою-то даже любовью, склонны примкнуть скорее к разрушительным, чем к консервативным элементам Европы. За это смотрят на нас многие европейцы насмешливо и свысока — ненавистно: им непонятно, с чего это нам быть в *чужом деле* отрицателями, они положительно отнимают у нас право европейского отрицания — на том основании, что не признают нас принадлежащими к «цивилизации». Они видят в нас скорее варваров, шатающихся по Европе и радующихся, что что-нибудь и где-нибудь можно разрушить, — разрушить лишь для разрушения, для удовольствия лишь поглядеть, как все это развалится, подобно орде дикарей, подобно гуннам, готовым нахлынуть на древний Рим и разрушить святыню, даже без всякого понятия о том, какую драгоценность они истребляют. Что русские действительно в большинстве своем заявили себя в Европе либералами, — это правда, и даже это странно. Задавал ли себе кто когда вопрос: почему это так? Почему чуть не девять десятых русских, во все наше столетие, культурясь в Европе, всегда примыкали к тому слою европейцев, который был либерален, к «левой стороне», то есть всегда к той стороне, которая сама отрицала свою же культуру, свою же цивилизацию, более или менее конечно (то, что отрицает в цивилизации Тьер, и то, что отрицала в ней Парижская коммуна 71-го года, — чрезвычайно различно). Так же «более или менее» и так же многообразно либеральны и русские в Европе, но все же, однако, повторю это, они склоннее европейцев

примкнуть прямо к крайней левой с самого начала, чем витать сперва в нижних степенях либерализма, — одним словом, Тьеров из русских гораздо менее найдешь, чем коммунаров. И, заметьте, это вовсе не какие-нибудь подбитые ветром люди, по крайней мере — не все одни подбитые ветром, а и имеющие даже и очень солидный и цивилизованный вид, иногда даже чуть не министры. Но виду-то этому европейцы и не верят: «Grattez le russe et vous verrez le tartare», — говорят они (поскоблите русского, и окажется татарин). Все это, может быть, справедливо, но вот что мне пришло на ум: потому ли русский в общении своем с Европой примыкает, в большинстве своем, к крайней левой, что он татарин и любит разрушение, как дикий, или, может быть, двигают его другие причины, — вот вопрос!.. и согласитесь, что он довольно любопытен. Сшибки наши с Европой близятся к концу; роль прорубленного окна в Европу кончилась, и наступает что-то другое, должно наступить по крайней мере, и это теперь всяк сознает, кто хоть сколько-нибудь в состоянии мыслить. Одним словом, мы все более и более начинаем чувствовать, что должны быть к чему-то готовы, к какой-то новой и уже гораздо более оригинальной встрече с Европой, чем было это доселе, — в Восточном ли вопросе это будет или в чем другом, кто это знает!.. А потому всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы, и те могут быть любопытны хоть тем одним, что могут навести на мысль. А как же не любопытно такое явление, что те-то именно русские, которые наиболее считают себя европейцами, называются у нас «западниками», которые тщеславятся и гордятся этим прозвищем и до сих пор еще дразнят другую половину русских квасниками и зипунниками, — как же не любопытно,

говоря я, что те-то скорее всех и примыкают к отрицателям цивилизации, к разрушителям ее, к «крайней левой», и что это вовсе никого в России не удивляет, даже вопроса никогда не составляло? Как же это не любопытно?

Я прямо скажу: у меня ответ составился, но я доказывать мою идею не буду, а лишь изложу ее слегка, попробую развить лишь факт. Да и нельзя доказывать уже по одному тому, что всего не докажешь.

Вот что мне кажется: не сказала ли в этом факте (то есть в примыкании к крайней левой, а в сущности, к отрицателям Европы даже самых яростных наших западников), — не сказала ли в этом протестующая русская душа, которой европейская культура была всегда, с самого Петра, ненавистна и во многом, слишком во многом, сказывалась чуждой русской душе? Я именно так думаю. О, конечно, этот протест происходил почти все время бессознательно, но дорого то, что чутье русское не умирало: русская душа хоть и бессознательно, а протестовала именно во имя своего русизма, во имя своего русского и подавленного начала! Конечно, скажут, что тут нечему радоваться, если б и было так: «все же отрицатель — гунн, варвар и татарин — отрицал не во имя чего-нибудь высшего, а во имя того, что сам был до того низок, что даже и в два века не мог разглядеть европейскую высоту».

Вот что несомненно скажут. Я согласен, что это вопрос, но на него-то я отвечать и не стану, а лишь объявлю голословно, что предположение о татарине отрицаю из всех сил. О, конечно, кто теперь из всех русских, и особенно когда все прошло (потому что период этот и впрямь прошел), кто из всех даже русских

будет спорить против дела Петрова, против прорубленного окошка, восставать на него и мечтать о древнем Московском царстве? Не в том вовсе и дело и не об том завел я мою речь, а об том, что как это все ни было хорошо и полезно, то есть все то, что мы в окошко увидели, но все-таки в нем было и столько дурного и вредного, что чутье русское не переставало этим возмущаться, не переставало протестовать (хотя до того заблудилось, что и само, в огромном большинстве, не понимало, что делало) и протестовало не от татарства своего, а и в самом деле, может быть, от того, что хранило в себе нечто высшее и лучшее, чем то, что видело в окошке... (Ну, разумеется, не против всего протестовало: мы получили множество прекрасных вещей и неблагодарными быть не желаем, ну, а уж против половины-то, по крайней мере, могло протестовать.)

Повторяю, все это происходило чрезвычайно оригинально: именно самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформу и становились в то же время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой... И что же: вышло так, что тем самым сами и обозначили себя самыми ревностными русскими, борцами за Русь и за русский дух, чему, конечно, если б им в свое время разъяснить это, — или рассмеялись бы, или ужаснулись. Сомнения нет, что они не сознавали в себе никакой высоты протеста, напротив, все время, все два века отрицали свою высоту и не только высоту, но отрицали даже самое уважение к себе (были ведь и такие любители!) и до того, что тем дивили даже Европу; а выходит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я и называю моим парадоксом.

Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей человек, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социалистам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у нас, в русской литературе, воевал с славянофилами до конца, по-видимому, совсем за противоположное. Как удивился бы он, если б те же славянофилы сказали ему тогда, что он-то и есть самый крайний боец за русскую правду, за русскую особь, за русское начало, именно за все то, что он отрицал в России для Европы, считал басней, мало того: если б доказали ему, что в некотором смысле он-то и есть по-настоящему консерватор, — и именно потому, что в Европе он социалист и революционер? Да и в самом деле оно ведь почти так и было. Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон, и прежде всего та, что все эти тогдашние западники Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно и — отрицая Европу и порядок ее, думали, что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое существо. Разглядеть, что это не Европа, а другое существо, и приглашали славянофилы, прямо указывая, что западники уравнивают нечто непохожее и несоизмеримое и что заключение, которое пригодно для Европы, неприложимо вовсе к России, отчасти и потому уже, что все то, чего они желают в Европе, — все это давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, и даже составляет сущность ее, только не в революционном виде, а в том, в каком и должны эти идеи всемирного человеческого обновления явиться: в виде божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-нибудь да осуществится же на земле и

которая всецело сохраняется в православии. Они приглашали сперва поучиться России, а потом уже делать выводы; но учиться тогда нельзя было, да, по правде, и средств не было. Да и кто тогда мог что-нибудь знать о России? Славянофилы, конечно, знали во сто раз более западников (и это минимум), но и они действовали почти что ошупью, умозрительно и отвлеченно, опираясь более на чрезвычайное чутье свое. Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последнее двадцатилетие: но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что начало положено изучению, а чуть явится вдруг важный вопрос — и все у нас тотчас же в разноголосицу. Ну вот, начинается вновь теперь Восточный вопрос; ну, сознайтесь, много ли у нас, и кто именно — способны согласиться по этому вопросу на какое-нибудь одно общее решение? И это в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе! Да что Восточный вопрос! Куда брать такие большие вопросы! Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных текущих вопросов — и что за всеобщая шатость, что за неустановившийся взгляд, что за непривычка к делу! Вот Россию безлесят, помещики и мужики сводят лес с каким-то остервенением. Положительно можно сказать, что он идет за десятую долю цены, ибо — долго ли протянется предложение? Дети наши не успеют подрасти, как на рынке будет уже в десять раз меньше леса. Что же выйдет, — может быть гибель. А между тем, подите, попробуйте сказать что-нибудь о сокращении прав на истребление леса, и что услышите? С одной стороны, государственная и национальная необходимость, а с другой — нарушение прав собственности, две идеи противоположные. Тотчас же явятся два лагеря, и

неизвестно еще, к чему примкнет либеральное, все решающее мнение. Да два ли, полно, лагеря? И дело станет надолго. Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что если и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончательно уничтожится телесное наказание розгами, потому что волостным судам нечем уж будет пороть провинившихся мужиков и баб.

Конечно, это утешение, но и этому как-то не верится: хоть не будет совсем леса, а на порку всегда хватит, из-за границы привозить станут. Вон жида становятся помещиками, — и вот, повсеместно, кричат и пишут, что они умерщвляют почву России, что жид, затратив капитал на покупку поместья, тотчас же, чтобы воротить капитал и проценты, иссушает все силы и средства купленной земли. Но попробуйте сказать что-нибудь против этого — и тотчас же вам возопят о нарушении принципа экономической вольности и гражданской равноправности. Но какая же тут равноправность, если тут явный и талмудный *Status in Statu*^[151] прежде всего и на первом плане, если тут не только истощение почвы, но и грядущее истощение мужика нашего, который, освободясь от помещиков, несомненно и очень скоро попадет теперь, всей своей общиной, в гораздо худшее рабство и к гораздо худшим помещикам — к тем самым новым помещикам, которые уже высосали соки из западнорусского мужика, к тем самым, которые не только поместья и мужиков теперь закупают, но и мнение либеральное начали уже закупать и продолжают это весьма успешно. Почему это все у нас? Почему такая нерешимость и несогласие на всякое

¹⁵¹ Государство в государстве (*лат.*).

решение, на какое бы ни было даже решение (и заметьте: ведь это правда)? По-моему, вовсе не от бездарности нашей и не от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося нашего незнания России, ее сути и особи, ее смысла и духа, несмотря на то, что сравнительно со времен Белинского и славянофилов у нас уже прошло теперь двадцать лет школы. И даже вот что, в эти двадцать лет школы изучение России фактически даже очень продвинулось, а чутье русское, кажется, уменьшилось сравнительно с прежним. Что за причина? Но если славянофилов спасало тогда их русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы могли бы счесть его своим самым лучшим другом. Повторяю, тут было великое недоразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже говоривший иногда довольно чуткие вещи, что «если б Белинский прожил долее, то наверно бы примкнул к славянофилам». В этой фразе была мысль.

Вывод из парадокса

Итак, скажут мне, вы утверждаете, что «всякий русский, обращаясь в европейского коммунара, тотчас же и тем самым становится русским консерватором»? Ну нет, это было бы уж слишком рискованно заключить. Я только хотел заметить, что в этой идее, даже и буквально взятой, есть капельку правды. Тут, главное, много бессознательного, а с моей стороны, может быть, слишком сильная вера в непрерывающееся русское чутье и в живучесть русского духа. Но пусть, пусть я и сам знаю, что тут парадокс, но вот что, однако, мне хотелось бы представить на вид в заключение: это тоже один факт и один вывод из факта. Я сказал выше, что русские

отличаются в Европе либерализмом и что, по крайней мере, девять десятых примыкает к левой, и к крайней левой, чуть только они соприкоснутся с Европой... На цифре я не настаиваю, может быть, их и не девять десятых, но настаиваю лишь на том, что либеральных русских даже несравненно больше, чем нелиберальных. Но есть и нелиберальные русские. Да, действительно есть и всегда были такие русские (имена многих из них известны), которые не только не отрицали европейской цивилизации, но, напротив, до того преклонялись перед нею, что уже теряли последнее русское чутье свое, теряли русскую личность свою, теряли язык свой, меняли родину и если не переходили в иностранные подданства, то, по крайней мере, оставались в Европе целыми поколениями. Но факт тот, что все эти такие, в противоположность либеральным русским, в противоположность их атеизму и коммунарству, немедленно примыкали к правой, и крайней правой, и становились страшными и уже европейскими консерваторами.

Многие из них меняли свою веру и переходили в католицизм. Это ли уж не консерваторы, это ли уж не крайняя правая? Но позвольте: консерваторы в Европе и, напротив, совершенные отрицатели России. Они становились разрушителями России, врагами России! Итак, вот что значило перемолоться из русского в настоящего европейца, сделаться уже настоящим сыном цивилизации, — замечательный факт, полученный за двести лет опыта. Вывод тот, что русскому, ставшему действительным европейцем, нельзя не сделаться в то же время естественным врагом России. Того ли желали те, кто прорубал окно? Это ли имели в виду? Итак, получилось два типа цивилизованных русских: европеец

Белинский, отрицавший в то же время Европу, оказался в высшей степени русским, несмотря на все провозглашенные им о России заблуждения, а коренной и древнейший русский князь Гагарин, став европейцем, нашел необходимым не только перейти в католичество, но уже прямо перескочить в иезуиты. Кто же, скажите теперь, из них больше друг России? Кто из них остался более русским? И не подтверждает ли этот второй пример (с крайней правой) мой первоначальный парадокс, состоящий в том, что русские европейские социалисты и коммунары — прежде всего не европейцы и кончат-таки тем, что станут опять коренными и славными русскими, когда рассеется недоумение и когда они выучатся России, и — второе, что русскому ни за что нельзя обратиться в европейца серьезного, оставаясь хоть сколько-нибудь русским, а коли так, то и Россия, стало быть, есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем непохожее и само по себе серьезное. Да и сама Европа, может быть, вовсе несправедлива, осуждая русских и смеясь над ними за революционерство: мы, стало быть, революционеры не для разрушения только, там, где не строили, не как гунны и татары, а для чего-то другого, чего мы пока, правда, и сами не знаем (а те, кто знает, те про себя таят). Одним словом, мы — революционеры, так сказать, по собственной какой-то необходимости, так сказать, даже из консерватизма... Но все это переходное, все это, как я сказал уже, постороннее и боковое, а теперь на сцене вечно неразрешимый Восточный вопрос.

Восточный вопрос

Восточный вопрос! Кто из нас в этот месяц не переживал довольно необыкновенных ощущений, и

сколько было толков в газетах! И какое смущение в иных головах, какой цинизм в иных приговорах, какой добрый честный трепет в иных сердцах <...> Одно верно, бояться нечего, хотя и много было пугающих. Да и трудно представить, чтоб в России было уж так много трусов. В ней есть *умышленно* трусливые, это правда, но они, кажется, ошиблись сроком, и теперь даже и им уже поздно трусить и не расчет: успеха не приобретут. Но и умышленно трусливые, конечно, знают себе предел и все же не потребуют от России бесчестия, подобно тому как в старину, отправляя послов к королю Стефану Баторию,^[152] царь Иван Васильевич Грозный потребовал от них, чтоб переносили, буде надо, и побои, лишь бы мир выпросили. Одним словом, мнение общества, кажется, обозначилось и на побои ни для какого мира не согласно.

Князь Милан Сербский и князь Николай Черногорский, надеясь на Бога и на право свое, выступили против султана, и, когда будут читать эти строки, то уже, может быть, будет известно о какой-нибудь значительной встрече или даже о решительном сражении. Дело пойдет теперь быстро. Нерешительность и медленность великих держав, дипломатический выверт Англии, отказавшейся примкнуть к заключениям берлинских конференций, и вдруг затем последовавшая революция в Константинополе и вспышка мусульманского фанатизма, а наконец, ужасное избиение башибузуками^[153] и

¹⁵² *Стефан Баторий* (1533–1586) — польский король.

¹⁵³ *Башибузуки* — солдаты нерегулярной турецкой армии, которых вербовали среди самых отсталых, диких и воинственных племен, проживавших на территории Турецкой империи.

черкесами шестидесяти тысяч мирных болгар, стариков, женщин и детей — все это разом зажгло и двинуло войну. У славян много надежд. У них, если сосчитать все их силы, до ста пятидесяти тысяч бойцов, из которых более трех четвертей порядочного регулярного войска. Но главное — дух: они идут, веря в свое право, веря в свою победу, тогда как у турок, несмотря на фанатизм, большое безначалие и большое смущение, и — не диво будет, если смущение это, после самых первых встреч, обратится в панический страх. Кажется, можно уже предсказать, что если вмешательства Европы не воспоследует, то славяне победят наверно. Невмешательство Европы, по-видимому, решено, но трудно сказать, чтобы в европейской политике в настоящую минуту было что-нибудь твердое и законченное. Ввиду огромного и вдруг восставшего вопроса все как бы положили про себя ждать и медлить последним решением. Слышно, однако же, что союз трех великих восточных держав продолжается, продолжают и личные свидания трех монархов, так что невмешательство в борьбу славян с этой стороны пока верно. Уединившаяся Англия ищет союзников: найдет ли их — это вопрос. Если и найдет, то, кажется, не во Франции. Одним словом, вся Европа будет глядеть на борьбу христиан и султана, не вмешиваясь в нее, но... пока только, до времени... до дележа наследства. Но возможно ли будет это наследство? Еще будет ли какое наследство? Если Бог пошлет славянам успех, то до какого предела в успехе допустит их Европа? Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой?^[154] Последнее очень трудно предположить. Не

¹⁵⁴ Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой? — «Больным

решат ли, напротив, после нового и торжественного консилиума, опять лечить его?.. Так что усилия славян, даже и в случае очень большого успеха, могут быть вознаграждены лишь довольно слабыми пальятивами. Сербия вышла в поле, надеясь на свою силу, но, уж разумеется, она знает, что окончательная судьба ее зависит вполне от России; она знает, что только Россия сохранит ее от гибели в случае большого несчастья — и что Россия же, могущественным влиянием своим, поможет ей сохранить за собою, в случае удачи, возможный максимум выгоды. Она знает про это и надеется на Россию, но знает тоже и то, что вся Европа смотрит теперь на Россию с затаенною недоверчивостью и что положение России озабоченное. Одним словом, все в будущем, но как же, однако, поступит Россия?

Вопрос ли это? Для всякого русского это не может и не должно составлять вопроса. Россия поступит *честно* — вот и весь ответ на вопрос. Пусть в Англии первый министр^[155] извращает правду пред парламентом из политики и сообщает ему официально, что истребление шестидесяти тысяч болгар произошло не турками, не башибузуками, а славянскими выходцами, — и пусть весь парламент из политики верит ему и безмолвно одобряет его ложь: в России ничего подобного быть не может и не должно. Скажут иные: не может же Россия идти во всяком случае навстречу явной своей невыгоде? Но, однако, в чем выгода России? Выгода России именно, коли надо, пойти даже и на явную невыгоду, на явную

человеком» назвал Турцию Николай I в беседе с английским послом.

¹⁵⁵ ...первый министр... — Речь идет о Бенджамине Дизраэли, графе Биконсфилде (1804–1881), лидере консервативной партии, премьер-министре Англии (1868, 1874–1880).

жертву, лишь бы не нарушить справедливости. Не может Россия изменить великой идее, завещанной ей рядом веков и которой следовала она до сих пор неуклонно. Эта идея есть, между прочим, и всеединение славян; но всеединение это — не захват и не насилие, а ради всеслужения человечеству. Да и когда, часто ли Россия действовала в политике из прямой своей выгоды? Не служила ли она, напротив, в продолжение всей петербургской своей истории всего чаще чужим интересам с бескорыстием, которое могло бы удивить Европу, если б та могла глядеть ясно, а не глядела бы, напротив, на нас всегда недоверчиво, подозрительно и ненавистно. Да бескорыстие в Европе и вообще никто и ни в чем не поверит, не только русскому бескорыстию, — поверят скорее плутовству или глупости. Но нам нечего бояться их приговоров: в этом самоотверженном бескорыстии России — вся ее сила, так сказать, вся ее личность и все будущее русского назначения. Жаль только, что сила эта иногда довольно-таки ошибочно направлялась.

Опять о женщинах

В газетах почти уже все перешли к сочувствию восставшим на освобождение братьев своих сербам и черногорцам, а в обществе и даже уже в народе с жаром следят за успехами их оружия. Но славяне нуждаются в помощи. Получены известия и, кажется, весьма точные, что туркам, хотя и анонимно, весьма деятельно помогают австрийцы и англичане. Впрочем, почти и не анонимно. Помогают деньгами, оружием, снарядами и — людьми. В турецкой армии множество иностранных офицеров. Огромный английский флот стоит у Константинополя... из политических соображений, а вернее — на всякий

случай. У Австрии уже готова огромная армия — тоже на всякий случай. Австрийская пресса раздражительно относится к восставшим сербам и — к России. Надо заметить, что если Европа смотрит на славян в настоящее время так *бесчувственно*, то уже, конечно, потому, что и русские — славяне. Иначе австрийские газеты не боялись бы так сербов, слишком ничтожных военной силой перед австрийским могуществом, и не сравнивали бы их с Пьемонт— том^[156] ...

А потому русскому обществу надо опять помочь славянам — разумеется, хотя лишь деньгами и кое-какими средствами. Генерал Черняев^[157] уже сообщал в Петербург, что санитарная часть всей сербской армии чрезвычайно слаба: нет докторов, лекарств, мало ухода за ранеными. В Москве славянский комитет^[158] объявил энергическое воззвание на всю

¹⁵⁶ *Пьемонт* — главная область королевства Сардинии, вокруг которой произошло объединение Италии. Название «Пьемонта Балкан» Сербия получила еще в 60-е годы вследствие того, что в своей внешней политике она преследовала объединительные цели, претендуя на роль ядра, вокруг которого должны были, по ее замыслу, объединиться христианские славянские государства по мере сбрасывания ига Турции. Сравнение Сербии с Пьемонтом было привычным в публицистике 1876 года.

¹⁵⁷ *Черняев* Михаил Григорьевич (1829–1898) — отставной русский генерал, добровольно отправившийся на Балканы. В июне 1876 года войну Турции объявили Сербия и Черногория. Во главе сербской армии стал Черняев.

¹⁵⁸ *...славянский комитет...* — Московский славянский благотворительный комитет был основан в 1858 году с целью оказания помощи школам, библиотекам, церквям в славянских землях и славянам, учившимся в России. Позднее были организованы отделения комитета и в других городах (Петербургское — 1868 год). Объединяя людей славянофильских и панславистских убеждений, Славянский комитет не удовлетворялся лишь благотворительной деятельностью и стремился играть активную политическую роль в славянском мире. Таким моментом был, в частности, 1876 год, когда Славянский комитет стал в России центром движения в поддержку национально-освободительной борьбы народов Балканского полуострова. Критика официальной внешней политики, стремление действовать независимо от царского правительства в период Восточного кризиса

Россию о помощи восставшим братьям нашим и присутствовал во всем составе своем, при многочисленном стечении народа, на торжественном молебствии в церкви сербского подворья^[159] — о даровании победы сербскому и черногорскому оружию. В Петербурге начинаются в газетах заявления публики с присылкою пожертвований. Движение это, очевидно, разрастается, несмотря даже на так называемый «мертвый летний сезон». Но ведь он только в Петербурге мертвый.

Я уже хотел было заключить мой «Дневник» и уже просматривал корректуру, как вдруг ко мне позвонила одна девушка.^[160] Она познакомилась со мной еще зимою, уже после того, как я начал издание «Дневника». Она хочет держать один довольно трудный экзамен, энергически готовится к нему и, конечно, его выдержит. Из дому она даже богатого и в средствах не нуждается, но очень заботится о своем образовании и приходила спрашивать у меня советов: что ей читать, на что именно обратить наиболее внимания. Она посещала меня не более раза в месяц, оставалась всегда не более десяти минут, говорила лишь о своем деле, но не многоречиво, скромно, почти застенчиво, с чрезвычайной ко мне доверчивостью. Но нельзя было не разглядеть в

70-х годов привели к закрытию Московского славянского комитета, ограничению деятельности других Славянских комитетов.

¹⁵⁹ *Сербское подворье* — Сербское церковное представительство в Москве при храме св. Кира и Иоанна, открытое в 1874 году по инициативе Московского славянского комитета и по ходатайству сербского митрополита Михаила. Доходы от домов Сербского подворья отсылались на нужды сербской церкви.

¹⁶⁰ *...ко мне позвонила одна девушка.* — Софья Ефимовна Лурье, дочь банкира, приехавшая в Петербург из Минска. Между Достоевским и Лурье завязалась переписка, которая поддерживалась и впоследствии.

ней весьма решительного характера, и я не ошибся. В этот раз она вошла и прямо сказала:

— В Сербии нуждаются в уходе за больными. Я решила пока отложить мой экзамен и хочу ехать ходить за ранеными. Что бы вы мне сказали?

И она почти робко посмотрела на меня, а между тем я уже ясно прочел в ее взгляде, что она уже решила и что решение ее неизменно. Но ей надо было и мое напутствие. Я не могу передать наш разговор в полной подробности, чтобы какою-нибудь хотя малейшей чертой не нарушить анонима, и передаю лишь одно общее.

Мне вдруг стало очень жаль ее, — она так молода. Пугать ее трудностями, войной, тифом в лазаретах — было совсем лишнее: это значило бы подливать масла в огонь. Тут была единственно лишь жажда жертвы, подвига, доброго дела и, главное, что всего было дороже, — никакого тщеславия, никакого самоупоения, а просто желание — «ходить за ранеными», принести пользу.

— Но ведь вы не умеете ходить за ранеными?

— Да, но я уже справляюсь и была в комитете. Поступающим дают срок в две недели, и я, конечно, приготовлюсь.

И конечно, приготовится; тут слово с делом не рознится.

— Слушайте, — сказал я ей, — я не пугать вас хочу и не отговаривать, но сообразите мои слова и постарайтесь взвесить их по совести. Вы росли совсем не в той обстановке, вы видели лишь хорошее общество и никогда не видали людей иначе как в их спокойном состоянии, в котором они не могли нарушать хорошего

тона. Но те же люди на войне, в тесноте, в тяготе, в трудах становятся иногда совсем другие. Вдруг вы всю ночь ходили за больными, служили им, измучились, едва стоите на ногах, и вот доктор, может быть, очень хороший сам по себе человек, но усталый, надорванный, только что отрезавший несколько рук и ног, вдруг, в раздражении, обращается к вам и говорит: «Вы только портите, ничего не делаете! Коли взялись, надо служить» и проч., и проч. Не тяжело ли вам будет вынести? А между тем это непременно надо предположить, и я подымаю перед вами лишь самый крошечный уголок. Действительность иногда очень неожиданна. И наконец, перенесете ли вы, уверены ли вы, что перенесете, несмотря на всю твердость решения вашего, самый этот уход? Не упадете ли в обморок в виду иной смерти, раны, операции? Это происходит мимо воли, бессознательно...

— Если мне скажут, что я порчу дело, а не служу, то я очень пойму, что этот доктор сам раздражен и устал, а мне довольно лишь знать про себя, что я не виновата и исполнила все как надо.

— Но вы так еще молоды, как можете вы ручаться за себя?

— Почему вы думаете, что я так молода? *Мне уже восемнадцать лет*, я совсем не так молода...

Одним словом, уговаривать было невозможно: ведь все равно она бы завтра же уехала, но только с грустью, что я ее не одобрил.

— Ну бог с вами, — сказал я, — ступайте. Но кончится дело, приезжайте скорей назад.

— О, разумеется, мне надо сдать экзамен. Но вы не поверите, как вы меня обрадовали.

Она ушла с сияющим лицом и, уж конечно, через неделю будет там.

В начале этого «Дневника», в статье о Жорж Занде я написал несколько слов о ее характерах девушек, которые мне особенно нравились в повестях ее первого, самого раннего периода. Ну, вот это именно вроде тех девушек, тут именно тот же самый прямой, честный, но неопытный юный женский характер, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено даже от соприкосновения с пороком. Тут потребность жертвы, дела, будто бы от нее именно ожидаемого, и убеждение, что нужно и должно начать самой, первой, и безо всяких отговорок, все то хорошее, чего ждешь и чего требуешь от других людей, — убеждение в высшей степени верное и нравственное, но, увы, всего чаще свойственное лишь отроческой чистоте и невинности. А главное, повторю это, тут одно дело и для дела и ни малейшего тщеславия, ни малейшего самомнения и самоупоения собственным подвигом, — что, напротив, очень часто видим в современных молодых людях, даже еще только в подростках.

По уходе ее мне опять невольно пришла на мысль потребность у нас высшего образования для женщин, — потребность самая настоятельная и именно теперь, ввиду серьезного запроса деятельности в современной женщине, запроса на образование, на участие в общем деле. Я думаю, отцы и матери этих дочерей сами бы должны были настаивать на этом, для себя же, если любят детей своих. В самом деле, только лишь высшая наука имеет в себе столько серьезности, столько обаяния и силы, чтоб умирить это почти волнение, начавшееся среди наших женщин. Только наука может дать ответ на их вопросы, укрепить ум, взять, так сказать, в опеку

расходившуюся мысль. Что же до этой девушки, то хоть и жалка мне ее молодость, но остановить ее я, кроме того что не мог, но отчасти думаю, что, может быть, это путешествие будет ей, с одной стороны, даже и полезно: все же это не книжный мир, не отвлеченное убеждение, а предстоящий огромный опыт, который, может быть, в неизмеримой благодати своей, судил ей сам Бог, чтоб спасти ее. Тут — готовящийся ей урок живой жизни, тут предстоящее расширение ее мысли и взгляда, тут будущее воспоминание на всю жизнь о чем-то дорогом и прекрасном, в чем она участвовала и что заставит ее дорожить жизнью, а не устать от нее — не живши, как устала несчастная самоубийца Писарева, о которой я говорил в прошлом, майском «Дневнике» моем.

Июль — август

Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах

<....>

Переезд из Петербурга до Берлина — длинный, почти в двое суток, а потому взял с собой, на всякий случай, две брошюры и несколько газет. Именно «на всякий случай», потому что всегда боюсь оставаться в толпе незнакомых русских интеллигентного нашего класса, и — это везде, в вагоне ли, на пароходе ли, или в каком бы то ни было собрании. Я признаюсь в этом как в слабости и прежде всего отношу ее к моей собственной мнительности. За границей, в толпе иностранцев, мне всегда бывает легче: тут каждый идет совершенно прямо, если куда наметил, а наш идет и оглядывается: «что, дескать, про меня скажут». Впрочем, на вид тверд

и незыблем, а на самом деле ничего нет более шатающегося и в себе неуверенного. Незнакомый русский если начинает с вами разговор, то всегда чрезвычайно конфиденциально и дружественно, но вы с первой буквы видите глубокую недоверчивость и даже затаившееся мнительное раздражение, которое, чуть-чуть не так, и мигом выскочит из него или колкостью, или даже просто грубостью, несмотря на все его «воспитание», и, главное, ни с того ни с сего. Всякий как будто хочет отмстить кому-то за свое ничтожество, а между тем это может быть вовсе и не ничтожный человек, бывает так, что даже совсем напротив. Нет человека, готового повторять чаще русского: «какое мне дело, что про меня скажут», или: «совсем я не забочусь об общем мнении», — и нет человека, который бы более русского (опять-таки цивилизованного) более боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от глубокого в нем затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении и тщеславии. Эти две противоположности всегда сидят *почти* во всяком интеллигентном русском и для него же первого и невыносимы, так что всякий из них носит как бы «ад в душе». Особенно тяжело встречаться с неизвестными русскими за границей, где-нибудь глаз на глаз, так что нельзя уже убежать, в случае какой беды, именно, например, если вас запрут вместе в вагоне. А меж тем, казалось бы, «так приятно встретиться на чужбине с соотечественником». Да и разговор-то всегда почти начинается с этой самой фразы; узнав, что вы русский, соотечественник непременно начнет: «Вы русский? как приятно встретиться на чужбине с соотечественником: вот я здесь тоже»... и тут сейчас же начинаются

какие-нибудь откровенности, именно в самом дружественном и, так сказать, в братском тоне, приличном двум соотечественникам, обнявшимся на чужбине. Но не верьте тону: соотечественник хоть и улыбается, но уже смотрит на вас подозрительно, вы это видите из глаз его, из его сюсюкания и из нежной скандировки слов; он вас меряет, он уже непременно боится вас, он уже хочет лгать; да и не может он не смотреть на вас подозрительно и не лгать, именно потому, что вы тоже русский и он вас поневоле меряет с собой, а может быть, и потому, что вы действительно это заслужили. Замечательно тоже, что всегда или, по крайней мере, очень нередко русский незнакомец за границей (за границей чаще, за границей почти всегда) почти с первых трех фраз поспешит вернуть: что он вот только что встретил такого-то или только что слышал что-нибудь от такого-то, то есть от какого-нибудь замечательного или знатного лица из наших, из русских, но выставляя его при этом именно в самом милом фамильярном тоне, как приятеля, не только своего, но и вашего — «ведь вы, конечно, знаете, скитается бедный по всем здешним медицинским знаменитостям, те его на воды шлют, убит совершенно, знакомы вы?» Если вы ответите, что совсем не знаете, то незнакомец тотчас же отыщет в этом обстоятельстве нечто для себя обидное: «ты, дескать, уж не подумал ли, что я хотел похвалиться перед тобой знакомством с знатным лицом?» Вы этот вопрос уже читаете в глазах его, а между тем это именно, может быть, так и было. Если же вы ответите, что знаете то лицо, то он обидится еще пуще, и тут уж, право, не знаю почему. Одним словом, неискренность и враждебность растут с обеих сторон и — разговор вдруг обрывается и умолкает. Соотечественник от вас вдруг

отвертывается. Он готов проговорить все время с каким-нибудь немецким булочником, сидящим напротив, но только не с вами, и именно чтоб вы это заметили. Начав с такой дружбы, он прерывает с вами все сношения и отношения и грубо не замечает вас вовсе. Наступит ночь, и если есть место, он растянется на подушках, чуть-чуть не доставая вас ногами, даже, может быть, нарочно доставая вас ногами, а кончится путь, то выходит из вагона, не кивнув даже вам головою. «Да чем же он так обиделся?» — думаете вы с горестию и с великим недоумением. Всего лучше встречаться с русскими генералами. Русский генерал за границей больше всего хлопочет, чтоб не осмелился кто из встречающихся русских с ним не по чину заговорить, пользуясь тем, что, дескать, «мы за границей, а потому и сравнялись». А потому с первой минуты, в дороге например, погружается в строгое и мраморное молчание; а тем и лучше, никому не мешает. Кстати, русский генерал, отправляющийся за границу, иногда даже очень любит надеть статское платье и заказывает у первейшего петербургского портного, а приехав на воды, где всегда так много хорошеньких дам со всей Европы, очень любит пощеголять. Он с особенным удовольствием, кончив сезон, снимает с себя фотографию в штатском платье, чтоб раздарить карточки в Петербурге своим знакомым или осчастливить подарком преданного подчиненного. Но, во всяком случае, припасенная книга или газета чрезвычайно помогают в дороге, именно от русских: «я, дескать, читаю, оставьте меня в покое».

Нечто о петербургском баден-баденстве

Стал читать и попал как раз в «Биржевых ведомостях» на брань за мой июньский «Дневник».^[161] Впрочем, не на брань, статья написана довольно мило, но не очень. Фельетонист, г-н Б., ужасно подшучивает надо мной, хотя и вежливо, но свысока, за то, что я насажал парадоксов, «взял Константинополь». «Итак, Константинополь уже взят, — говорит он, — как-то странно, волшебным образом, но взят. Мы и в войне-то не участвовали, но он все-таки нам принадлежит единственно потому, что принадлежать должен». Но, милостивый г-н Б., ведь это вы все сами сочинили: я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, «в которой мы не участвовали», я говорил, что это сбудется *во времени*, и прибавил только, что, может быть, в скором времени, и кто знает, может быть, я ведь и не ошибся. И не виноват ведь я, что ваш взгляд на Россию и на ее назначение сузился под конец в Петербурге до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже фюрстентум Нассау,^[162] в котором теперь сижу и пишу это. Вы вот думаете, что будет все один Петербург продолжаться. Уж и теперь начинается местами протест провинциальной печати против Петербурга (да и не против Петербурга вовсе, а против вас же, усевшихся в Петербурге и в нем обособившихся) — и которая хочет

¹⁶¹ ...попал как раз в «Биржевых ведомостях» на брань за мой июньский «Дневник». — Речь идет о статье «Наброски и недомолвки» И. Ф. Василевского, выступавшего под псевдонимом «Буква».

¹⁶² ...до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже фюрстентум Нассау... — Имеются в виду немецкие княжества.

что-то там сказать у себя новое. Так ведь что вы думаете, может, и скажет, особенно когда перестанет сердиться, а теперь, правда, еще гнев мешает. Идея о Константинополе и о будущем Восточного вопроса так, как я ее изложил, — есть идея старая, и вовсе не славянофилами сочиненная. И не старая даже, а *древняя* русская историческая идея, а потому реальная, а не фантастическая, и началась она с Ивана III. Кто ж виноват, что у вас теперь везде и во всем Баден-Баден. Я ведь не про вас одного говорю; если б шло дело про вас одного, я бы и не заговорил, но в Петербурге и мимо вас много завелось баден-баденства. Я понимаю, что вас так шокировало: это будущее предназначение России в семье народов, об котором я заключил словами: «вот как я понимаю русское предназначение *в его идеале*». Вас это раздражило. Будущее, близкое будущее человечества полно страшных вопросов. Самые передовые умы, наши и в Европе, согласились давно уже, что мы стоим накануне «последней развязки». И вот вы *стыдитесь* того, что и Россия может принять участие в этой развязке, стыдитесь даже и предположения, что Россия осмелится сказать свое новое слово в общечеловеческом деле. Но вам это стыд, а для нас это вера. И даже то вера, что она скажет не только собственное, но, может, и окончательное слово. Да этому должен, обязан верить каждый русский, если он член великой нации и великого союза людей, если, наконец, он член великой семьи человеческой. Вам дико, что я осмелился предположить, что в народных началах России и в ее православии (под которым я подразумеваю *идею*, не изменяя, однако же, ему вовсе) заключаются залогом того, что Россия может сказать слово живой жизни в грядущем человечестве? И что вы говорите о славянофилах: их надобно знать, чтоб

говорить о них. А кто об них теперь знает? Все больше понаслышке и по старой памяти. У нас теперь многое люди забыли и давно уже многому разучились, хотя ни во что не переучились. У меня большая ошибка в том, что я начал прямо с конца, сказал результат, последнее слово моей веры. Беда до конца высказываться. Вот вы и глумитесь: «Ах, дескать, об этом все стыдятся говорить, а он говорит: осмеять его!» Недоговаривать лучше и выгоднее. Все писать, все намекать и никогда не высказываться: этим можно снискать большое уважение, даже можно, не имея ни одной мысли, прослыть мыслителем. Да я-то этого не хочу. Меня упрекнул, я знаю это, мои же читатели за то, что «отвечаю на критику», как уже и упрекали не раз. Но ведь это не одному ответ, а многим. Тут факт. Не ответить, так отметить его все-таки надо.

Идеалисты-циники

А помнит ли кто статью незабвенного профессора и незабвенного русского человека — Тимофея Николаевича Грановского о Восточном вопросе,^[163] писанную им, если только правда это, в 1855 году, в самый разгар войны нашей с Европой и когда уже началась осада Севастополя? Я взял ее с собою в вагон и перечел именно ввиду теперь поднимающегося вновь Восточного вопроса, и эта старая почтенная статья вдруг показалась мне необыкновенно любопытною, несравненно любопытнее, чем когда я читал ее в первый раз и когда остался в высшей степени с нею согласен. В

¹⁶³ А помнит ли кто статью незабвенного профессора... о Восточном вопросе... — Имеется в виду анонимная статья «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года», которая ошибочно приписывалась историку Т. Н. Грановскому.

этот раз поразило меня одно особенное соображение: во-первых, взгляд тогдашнего западника на народ, а во-вторых, и главное — так сказать, психологическое значение статьи. Не могу не поделиться моим впечатлением с читателем.

Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и прекрасное. Идеалист сороковых годов в высшем смысле, и, бесспорно, он имел свой собственный и чрезвычайно оригинальный оттенок в ряду тогдашних передовых людей наших, известного закала. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе «Бесы» и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его) — и, может быть, без малейшей комической черты, довольно свойственной этому типу. Но я сказал, что меня поразило *психологическое* значение статьи, и эта мысль показалась мне весьма забавною. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но когда наш русский идеалист, заведомый идеалист, знающий, что все его и считают лишь за идеалиста, так сказать «патентованным» проповедником «прекрасного и высокого», вдруг по какому-нибудь случаю увидит необходимость подать или заявить свое мнение в каком-нибудь деле (но уже «настоящем» деле, практическом, текущем, а не то что там в какой-нибудь поэзии, в деле уже важном и *серьезном*, так сказать, в гражданском почти деле), и заявить не как-нибудь, не мимоходом, а с тем, чтобы высказать решающее и судящее слово, и с тем, чтоб непременно иметь влияние, — то вдруг обращается весь, каким-то чудом, не только в завязатого реалиста и прозаика, но даже в циника. Мало того: цинизмом-то,

прозой-то этой он, главное, и гордится. Подает мнение и сам чуть не щелкает себе языком. Идеалы побоку, идеалы вздор, поэзия, стихи; наместо них одна «реальная правда», но вместо реальной правды всегда пересолит до цинизма. В цинизме-то и ищет ее, в цинизме-то и предполагает ее. Чем грубее, чем суше, чем бессердечнее, тем, по его, и реальнее. Отчего это так? А потому, что наш идеалист, в подобном случае, непременно устыдится своего идеализма. Устыдится и убоится, что ему скажут: «ну, вы идеалист, что вы в „делах“ понимаете; проповедуйте там у себя *прекрасное*, а «дела» решать предоставьте нам». Даже в Пушкине была эта черта: великий поэт не раз стыдился того, что он *только* поэт. Может быть, эта черта встречается и в других народностях, но, однако, вряд ли. Вряд ли, по крайней мере, в такой степени, как у нас. Там, от давнишней привычки к делу всех и каждого, успели рассортироваться веками занятия и значения людей, и почти каждый там знает, понимает и уважает себя — и в своем занятии, и в своем значении. У нас же, при двухсотлетней отвычке от всякого дела — несколько иначе. Затаенное глубоко внутреннее неуважение к себе не минует даже таких людей, как Пушкин и Грановский.

И действительно, найдя необходимым вдруг превратиться из профессора истории в дипломата, этот невиннейший и правдивейший человек дошел до удивительных вещей в своих приговорах. Он, например, совершенно отрицает даже возможность благодарности к нам Австрии за то, что мы ей помогли в ее споре с венгерцами^[164] и буквально спасли ее от распада. И

¹⁶⁴ ...в ее споре с венгерцами... — Спором Австрии с венгерцами Достоевский называет здесь Венгерскую революцию 1848–1849 гг.

не потому отрицает, что Австрия «коварна» и что это нам следовало предугадать; нет, он не видит никакого коварства и прямо выводит, что Австрия не могла поступить иначе. Но этого ему мало: он прямо выводит, что она и *не должна* была поступить иначе, что она, напротив, должна была поступить именно так, как поступила, — и что, стало быть, надежды наши на ее благодарность составляют лишь непростительный и смешной промах нашей политики. Частный-де человек одно, а государство — другое; у государства свои высшие, текущие цели, свои собственные выгоды, и требовать благодарности даже до жертвы собственным интересам — просто смешно. «У нас коварство и неблагодарность Австрии, — говорит Грановский, — сделались общим ходячим местом. Но говорить о неблагодарности или благодарности в политических делах показывает только их непонимание. Государство не частное лицо; ему нельзя из благодарности жертвовать своими интересами, тем более что в политических делах самое великодушное *никогда не бывает бескорыстное*» (то есть и не должно быть, что ли? мысль именно та); одним словом, почтенный идеалист наговорил чрезвычайно умных вещей, но главное — *реальных*: не всё, дескать, мы стишки пишем!.. Умно-то это умно, это правда, тем более что и не ново, а живет с тех пор, как на свете живут дипломаты, но все же оправдывать с таким жаром поступок Австрии, и не то что оправдывать, а прямо доказывать, что *ине должна* была она поступить иначе, — воля ваша, это как-то режет ум пополам. Что-то есть тут такое, с чем никак нельзя согласиться, с чем претит согласиться, несмотря даже на необычайный практический и политический ум, столь вдруг и столь

неожиданно выказанный нашим историком — поэтом и жрецом прекрасного. Ведь с этим признанием святости текущей выгоды непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плевка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, — ведь с этим можно очень далеко зайти. Ведь с этим, пожалуй, можно оправдать политику Меттерниха^[165] из высших и *реальных* государственных целей. Да и практические ли только выгоды, текущие ли только барыши составляют настоящую выгоду нации, а потому и «высшую» ее политику, в противоположность всей этой «шиллеровщине» чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос. Напротив, не лучшая ли политика для *великой* нации именно эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб ее интересам (а на деле никогда не в ущерб)? Неужели наш историк не знал, что вот эти-то великие и честные идеи (а не один барыш и шерсти клок) и торжествуют наконец в народах и нациях, несмотря на всю, казалось бы, смешную непрактичность этих идей и на весь их идеализм, столь унижительный в глазах дипломатов и Меттернихов, что политика чести и бескорыстия есть не только высшая, но, может быть, и самая *выгодная* политика для великой нации, именно потому, что она великая. Политика текущей практичности и непрерывного бросания себя туда, где повыгоднее, где понасущнее, изобличает мелочь, внутреннее бессилие государства, горькое положение. Дипломатический ум,

¹⁶⁵ *Меттерних* Виннебург (1773–1859) — министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства в 1809–1821 годах, канцлер в 1821–1848 годах. Противник объединения Германии, стремился помешать укреплению позиций России в Европе. Имя Меттерниха перерастает здесь в символ коварной политики Австрии, вдохновителем которой он был. Политический курс Меттерниха продолжался и после его ухода в отставку.

ум практической и *насущной* выгоды всегда оказывался ниже правды и чести, а правда и честь кончали тем, что всегда торжествовали. А если не кончали тем, то кончат тем, потому что так того, неизменно и вечно, хотели и хотят люди. Когда уничтожалась торговля неграми, разве не было глубоких и высокоумных возражений, что это «уничтожение» непрактично, что оно повредит самым насущным и необходимейшим интересам народов и государств? Доходили до того, что торговлю неграми выставляли даже нравственно необходимым делом, оправдывали ее естественным различием племен и заключали, что негр почти не человек... Когда Северо-Американские колонии Англии взбунтовались против нее, не кричали ли в практической Англии столько лет сряду, что освобождение колоний от автономии Англии будет гибелью английских интересов, потрясением, бедой. Когда у нас освобождали крестьян, не раздавались ли и у нас такие же крики по местам, не говорили ли «глубокие и практические умы», что государство вступает на дурную дорогу, неведомую и ужасную, на потрясение всей державы и что не такова должна быть политика высшая, наблюдающая интересы реальные, а не основанные лишь на модных экономических соображениях и теориях, опытом не проверенных, да на «чувствительности». Да чего далеко идти! вот перед нами славянский вопрос: вот бы нам бросить теперь славян совсем! Хотя Грановский и настаивает на том, что мы хотим славянами только усилиться и действуем только для нашей практической выгоды, но, по-моему, он и тут обмолвился. Ну, какая с ними практическая выгода, даже в будущем-то, и чем тут усилишься? Средиземное-то море когда-нибудь или Константинополь, «которого нам никогда не дадут»? Так

ведь это только журавль в небе, да хоть и поймать его, так еще больше хлопот наживем. На 1000 лет наживем. Это ли благоденствие, это ли взгляд мудреца, это ли настоящий практический интерес? С славянами только возня и хлопоты; особенно теперь, когда они еще не наши. Из-за них на нас уже сто лет косится Европа, а теперь и не косится только, а — при малейшем нашем шевелении — тотчас же выхватывает меч и наводит на нас пушку. Просто — бросить их, да и навсегда, чтоб успокоить раз навсегда Европу. Да и не просто бросить их: Европа-то, пожалуй, и не поверит теперь, что мы бросили, стало быть, бросить надо с доказательствами: надо нам же самим наброситься на славян и передавить их по-братски, чтоб поддержать Турцию: «Вот-де, милые братцы славяне, государство не частное лицо, ему нельзя из великодушия жертвовать своими интересами, а вы и не знали этого?» И сколько выгод, практических, настоящих и уже немедленных выгод, а не мечтательных каких-то в будущем, получила бы тотчас Россия! Тотчас же бы кончился Восточный вопрос, Европа возвратила бы нам хоть на время свою доверенность, а вследствие того военный наш бюджет убавляется, наш кредит восстанавливается, наш рубль входит в свою настоящую цену, — да это ли только: ведь журавль-то никуда не улетит, он все летать будет! Теперь-то мы покривим, переждем: «государство не частное лицо, ему нельзя жертвовать своими интересами», — ну, а со временем... Что ж, ведь уж если суждено славянам не обойтись без нас, то они сами примкнут к нам, когда придет время, вот мы тогда к ним и опять примажемся с любовью и братством. А впрочем, Грановский именно это-то и находит в нашей политике. Он именно уверяет, что наша политика только и делала, что весь последний век

давила славян, «доносила на них и выдавала их туркам», что славянская политика наша и всегда была политикой захвата и насилия, да и не могло быть иначе. (То есть и должна была быть такою? Ведь оправдывает же он других за такую политику, вот бы и нас оправдать.) Но так ли это, неужто, в самом деле, такова была наша всегдашняя политика в славянском вопросе, и неужто она и теперь даже не выяснилась, — вот вопрос!

Постыдно ли быть идеалистом?

Грановский был, конечно, самолюбив, но самолюбие, и даже иногда раздраженное, мне кажется, должно было быть и у всех тогдашних наших способных людей, — именно по неимению дела, по невозможности приискать себе дело, так сказать, из тоски по делу. Доходило до того, что и имевшие, казалось бы, занятие (иной профессор, например, литератор, поэт, даже великий поэт) мало ценили свою профессию, и не по одному только стеснению, в котором видели себя и свою профессию, а и потому еще, что почти каждый из них был склонен предполагать в себе зачатки другого дела, более, по его понятиям, высшего, более полезного, более гражданского, чем то, которым он занимался. Раздраженность самолюбия в лучших передовых и способных наших людях (иных, разумеется) поразительна и теперь, и все от той же причины. (Впрочем, я об одних только способных и даровитых людях и говорю, а о безобразном, непозволительно раздраженном самомнении и тщеславии столь многих бездарных и пустых современных «деятелей», воображающих себя гениями, я пока пропускаю, хотя это явление, именно в настоящее время, очень бьет в глаза.) Эта тоска по делу, это вечное искание дела, происходящее единственно от

нашего двухвекового безделья, дошедшего до того, что мы теперь не умеем даже и подойти к делу, мало того — даже узнать, где дело и в чем оно состоит, — страшно раздражает у нас людей. Является самомнение, иногда даже неприличное, судя по нравственной высоте лица, делает его чуть не смешным; но все это именно потому, что этот высокий нравственный человек сам иногда не в силах определить себя, своих сил и значения, узнать, так сказать, свой собственный удельный вес и настоящую свою стоимость на практике, на деле. Узнав это, он, как высокоодухотворенный человек, конечно, не почел бы для себя низостью сознаться в том, в чем он чувствует себя неспособным; в настоящую же пору он обидчив и в раздражительности берется часто не за свое дело. Статья Грановского, повторяю, написана очень умно, хотя есть и политические ошибки, подтвердившиеся потом в Европе фактами, — и, уж конечно, их можно бы было указать; но я не об этих ошибках хочу говорить, да и не берусь судить в этом Грановского. Меня поразила лишь, в этот раз, чрезвычайная раздражительность статьи. О, не самолюбию его приписываю я ее раздражительность и не на известную тенденциозность статьи *нападаю* я; я слишком понимаю «злобу дня», отразившуюся в этом сочинении, чувство гражданина, скорбь гражданина. Есть, наконец, моменты, когда и справедливейший человек не может быть беспристрастным (увы, Грановский не дожил до освобождения крестьян и даже не воображал этого тогда и в мечтах своих!)... нет, не на это я нападаю, но зачем же он так презрительно в этом Восточном вопросе взглянул на народ и не отдал ему должного? Участия народа, мысли народной он не хочет замечать в этом деле вовсе. Он положительно утверждает, что народ, в деле славян и в тогдашнюю

войну, не имел никакого мнения вовсе, а только чувствовал тяготу повинностей и наборов. По-видимому, и не должен иметь мнения, — Грановский пишет:

«Прежде всего надо устранить мысль, что эта война (то есть 53–54 и 55 годов) — священная; правительство старалось уверить народ, что оно идет на защиту прав единоверцев и христианской церкви. Защитники православия и славянской народности *с радостью подняли это знамя* и проповедовали крестовый поход против мусульман. *Но век крестовых походов прошел; в наше время никто не подвинется на защиту гроба Господня (и на защиту славян тоже?), никто не смотрит на магометан как на вечных врагов христианства;* ключи Вифлеемского храма^[166] служат только предлогом для достижения целей политических (в другом месте прямо говорится это и насчет славян)».

Конечно, и мы готовы согласиться, что русская политика в славянском вопросе, в это последнее столетие, может, и бывала порою небезупречна; моментами она могла бывать слишком уж сдержанною и осторожною и потому, на иной нетерпеливый взгляд, казалась неискреннею. Может быть, и бывала излишняя боязнь за текущие интересы, двусмыслие, вследствие иных внешних дипломатических внушений, полумеры, приостановки, но в сущности, в целом, вряд ли политика

¹⁶⁶ *Вифлеемский храм* — Вифлеемский храм в палестинском городе Вифлееме, построенный над пещерой, в которой, по евангельскому преданию, родился Иисус Христос. Спор о «святых местах», послуживший непосредственным поводом к Крымской войне, касался, в частности, вопроса о том, кому владеть ключами от Вифлеемского храма. Показательно, что даже высшее русское духовенство оставалось равнодушным к распре относительно «святых мест» до тех пор, пока ее не начали раздувать в международный конфликт по указке Николая I и Наполеона III, каждый из которых искал предлога для осуществления своих политических целей на Ближнем Востоке.

России хлопотала *только* об одном лишь захвате славян под свою власть, об умножении тем своей силы и политического значения. Нет, конечно, это было не так, и в *сущности* своей политика наша, даже во весь петербургский период нашей истории, вряд ли рознилась в славянском, то есть Восточном вопросе от древнейших исторических заветов и преданий наших и воззрения народного. И правительство наше всегда твердо знало, что чуть народ наш слышит призыв его в этом деле, то всегда отзовется на него всецело, а потому Восточный вопрос в высшей сущности своей, всегда был у нас народным вопросом. Но Грановский не признает этого вовсе. О, Грановский глубоко любил народ! В статье своей он скорбит и плачет о страданиях его в войну и о тягостях, им вынесенных. Да такие люди, как Грановский, разве могут не любить народа? В этом сострадании, в этой любви выказалась вся прекрасная душа его, но в то же время высказался невольно и взгляд на народ наш заклятого западника, готового всегда признать в народе прекрасные зачатки, но лишь в «пассивном виде» и на степени «замкнутого идиллического быта», а об настоящей и возможной деятельности народа — «лучше уж и не говорить». Для него народ наш, даже во всяком случае, лишь косная и безгласная масса, — и что же: мы все почти ведь тогда ему и поверили. Вот почему я и не смею «нападать» на Грановского и обличаю лишь время, а не его. Статья эта ходила тогда по рукам и имела влияние... То-то и есть, что меня всего более поразила параллель этой замечательной статьи и замечательного взгляда ее с настоящей, теперешней нашей минутой. Нет, теперь даже западник Грановский мог бы изумиться, а пожалуй, и *поверить*. Эти добровольные жертвы и приношения народные для православных славян, эти

жертвы старообрядцев, посылающих от обществ своих санитарные отряды, эти жертвы артельных рабочих из последних грошей или целыми деревнями, по мирским приговорам, жертвы, наконец, солдат и матросов из их жалованья, наконец — русские люди всех сословий, едущие сражаться за угнетенных православных братьев, проливать за них кровь, — нет, это нечто уже обозначившееся и нельзя сказать чтоб пассивное, нечто, с чем нельзя не считаться. Движение обозначилось, и уже оспорить его нельзя. Дамы, знатные барыни ходят по улицам с кружками, собирая милостыню на братьев славян, и он важно и умилительно смотрит на это совсем новое для него явление: «значит, все опять собираются вместе, значит, — не всегда же рознь, значит, мы все такие же христиане», — вот что непременно чувствует народ, а может, уже и думает. И, уж конечно, до него доходят и сведения: он слушает газеты и сам уже начинает читать их. И, уж конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева,^[167] положившего жизнь свою за народное дело, и, кто знает, может быть, сложит об этой смерти и жертве свою народную песню —

И хоть падет, но будет жив

¹⁶⁷ *И, уж конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева...* — Киреев Николай Алексеевич (1841–1876) — отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка, один из самых деятельных членов Славянского комитета в Петербурге. По поручению комитета он в середине апреля 1876 года выехал за границу для оценки перспектив и возможностей подготовлявшегося в Болгарии восстания. Прибыв в начале июня в Сербию, он занялся формированием болгарских добровольческих отрядов и принял над ними командование. С началом военных действий его отряд, в который влились и сербские подразделения, принял участие в боях с турками. 6 июля Н. А. Киреев геройски погиб в сражении.

В сердцах и памяти народной
И он, и пламенный порыв
Души прекрасной и свободной;
Славна кончина за народ!^[168]

Да, это была «кончина за народ», и не за один лишь славянский народ, а и за дело всеобщее, православное и русское дело, и народ всегда это хорошо поймет. Нет, народ наш не матерьялист и не развращен еще духом настолько, чтоб думать об одних только насущных выгодах и о положительном интересе. Он рад духовно, если предстанет великая цель, и примет ее как хлеб духовный. И неужели народ теперь, в настоящую минуту, не знает и не смекает, что дальнейшее развитие этого «дела о славянах» может даже и нам грозить войной, зажечь войну? Ведь тогда ему опять, как и в восточную войну, двадцать лет назад, выпадут на долю повинности и тяготы; взгляните же на него теперь: боится ли он чего-нибудь? Нет, в народе нашем видно побольше духовных и деятельных сил, чем предполагают о нем иные его «знатоки». Предоставил бы лучше Грановский взгляд этот другим, вот тому самому множеству этих наших «знатоков народа» и даже, пожалуй, иным нашим писателям о народе, которые так и остались, во весь свой век, лишь обучившимися русскому мужику иностранцами.

Повторю в заключение: у нас идеалист часто забывает, что идеализм есть дело вовсе не стыдное. У идеалиста и реалиста, если только они честны и

¹⁶⁸ *И хоть падет, но будет жив... Славна кончина за народ!* — Цитата из думы К. Ф. Рылеева «Волынский».

великодушны, одна и та же сущность — любовь к человечеству и один и тот же объект — человек, только лишь одни *формы* представления объекта различные. Стыдиться своего идеализма нечего: это тот же путь и к той же цели. Так что идеализм, в сущности, точно так же реален, как и реализм, и никогда не может исчезнуть из мира. Не Грановским стыдиться, что они являются именно затем, чтоб проповедовать «прекрасное и высокое». А если устыдятся уж и Грановские и, убоясь насмешливых и высокомерных мудрецов ареопага, примкнут чуть не к Меттерниху, то кто же будут тогда нашими пророками? И *не историку бы Грановскому* не знать, что народам дороже всего — иметь идеалы и сохранить их и что иная святая идея, как бы ни казалась вначале слабою, непрактичною, идеальною и смешною в глазах мудрецов, но всегда найдется такой член ареопага и «женщина именем Фамарь», которые еще изначала поверят проповеднику и примкнут к светлому делу, не боясь разрыва с своими мудрецами. И вот маленькая, несовременная и непрактическая «смешная идея» растет и множится и под конец побеждает мир, а мудрецы ареопага умолкают.^[169]

Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии

Эмс — место блестящее и модное. Сюда съезжаются со всего света больные преимущественно грудью, «катарами дыхательных путей» и весьма успешно

¹⁶⁹ *А если устыдятся уж и Грановские... мудрецы ареопага умолкают.* — В этом отрывке используется евангельский рассказ о проповеди апостола Павла в афинском ареопаге, высшем органе судебной и политической власти в древних Афинах.

лечатся у его источников. Перебывает в лето до 14-ти и до 15 тысяч посетителей, всё, конечно, людей богатых или уж по крайней мере таких, которые в состоянии не отказать себе в заботе о собственном здоровье. Но есть и бедные, которые тоже *приходят* сюда полечиться. Их перебывает до сотни человек, и может быть, что и не приходят, а приезжают. Меня очень заинтересовали *четвертые* классы, устроенные на немецких железных дорогах, не знаю только, на всех ли? Во время одной остановки в пути я попросил кондуктора (все почти кондукторы на немецких железных дорогах не только очень распорядительны, но и внимательны и любезны к пассажиру) растолковать мне, что это за четвертый класс. Он показал мне пустой вагон, то есть без всяких скамеек и в котором были только стены и пол. Оказывалось, что пассажиры должны стоять.

— Может быть, на пол садятся?

— О да, конечно, кто как хочет.

— А сколько мест полагается на вагон?

— Двадцать пять мест.

Прикинув мысленно размер этого пустого вагона на двадцать пять человек, я заключил, что они непременно должны стоять, да еще плечом к плечу; таким образом, в случае если б впрямь набилось двадцать пять человек, то есть полный комплект, ни один из них не мог бы сесть никак, несмотря на «кто как хочет». Поклажу свою, разумеется, должен держать в руках; впрочем, у них ведь узелки какие-нибудь.

— Да, но зато здесь цены ровно наполовину менее против третьего класса, а это уже чрезвычайное благодеяние для бедного.

Ну, это действительно чего-нибудь да стоит. И так, эти «бедные», прибывающие в Эмс, не только лечатся, но и содержатся на счет... вот уж этого и не знаю — на чей счет. Только что вы приезжаете в Эмс и занимаете квартиру в отеле (а в Эмсе все дома — отели), к вам на второй, на третий день непременно явятся, один вслед за другим, два сбирателя пожертвований с книжками, — люди вида смиренного и терпеливого, но и при некотором собственном достоинстве. Один из них собирает на содержание вот этих самых бедных больных. К книжке приложено печатное приглашение эмских докторов эмским пациентам — вспомнить о бедных. Вы даете посильную жертву и вписываете ваше имя. Я пересмотрел книгу, и пожертвования поразили меня своею скудостью: одна марка, полмарки, редко три марки, ужасно редко пять марок, а казалось бы, здесь не очень-то надоедают публике просьбами о пожертвованиях: кроме этих двух «сбирателей», нет никаких других. В то время, когда вы жертвуете и вписываетесь в книгу, чиновник (буду уж называть его чиновником) смиренно стоит у вас посреди комнаты.

— А много вы набираете во весь сезон? — спросил я.

— До тысячи талеров, мейн гер, а между тем это слишком малая сумма сравнительно с тем, что требуется: их много, их до ста человек, и мы их совершенно содержим, лечим, поим и кормим и помещение даем.

Действительно маловато; тысяча талеров — это три тысячи марок; если перебивает публики до 14 тысяч человек, то — по сколько же придется жертвы на каждого? Стало быть, есть и такие, которые совсем не жертвуют, отказываются и выгоняют сбирателя (и есть,

и именно *выгоняют*, я это узнал впоследствии). Между тем публика блестящая, чрезвычайно даже блестящая. Выйдите, когда пьют воды или на музыку, и посмотрите эту толпу.

Кстати, я читал еще весной в наших газетах, что мы, русские, очень мало пожертвовали для восставших славян (это, конечно, было высказано еще до теперешних пожертвований) и что, сравнительно с нами, в Европе все пожертвовали гораздо более, не говоря уже об Австрии, которая одна пожертвовала множество (?) миллионов гульденов на содержание несчастных семейств повстанцев, десятками тысяч перебравшихся на ее территорию; что в Англии, например, пожертвовали несравненно более нашего, и даже во Франции и в Италии. Но, воля ваша, я не верю громадности этих европейских пожертвований на славян. Про Англию много говорили, но любопытно бы, однако, узнать настоящую цифру ее пожертвований, которая, кажется, еще никому в точности не известна. Что же до Австрии, с самого начала восстания уже имевшей в виду приобретение части Боснии (об котором теперь уже заходит в дипломатическом мире речь), то жертвовала она, стало быть, не бескорыстно, а ввиду будущего своего интереса, и жертва ее была вовсе не общественная, а просто-запросто казенная. Но и тут «множество» миллионов гульденов, кажется, можно бы подвергнуть сомнению. Жертвы были, или, лучше сказать, ассигнованы деньги были, но велика ли была эта помощь на самом деле, — это обозначится разве лишь в будущем.

Другой чиновник, то есть эмский сборщик пожертвований, неуклонно являющийся вслед за первым,

сбирает на «blödige Kinder^[170]», то есть на маленьких детей-идиотов. Это здешнее заведение. Уж разумеется, этих идиотов доставляет в это заведение не один только Эмс, да и неприлично было бы такому маленькому городку народить столько идиотов. На заведение это ассигнована казенная сумма, но, видно, приходится прибегать и к пожертвованиям. Блестящий человек или великолепная дама вылечиваются, получают здоровье благодаря именно здешним источникам и — не то что в благодарность к месту, но хоть на память, оставляют две-три марки на бедных, брошенных, несчастных маленьких существ. В этой второй книге пожертвований тоже — марка, две марки, иногда, страшно редко, мелькает даже 10 марок. Сбирает этот второй чиновник в сезон до 1500 талеров: «но прежде было лучше, прежде больше давали», — прибавил он с горестию. В этой книге бросилось мне в глаза одно пожертвование, так сказать, как бы с направлением: 5 пфеннигов (1 1/2 копейки серебр<ом>). Это напомнило мне пожертвование одного русского статского советника, вписанное в книгу в Пятигорске, на памятник Лермонтову: он пожертвовал *одну копейку серебр.* и подписал свое имя. С год тому это передавали в газетах, но имени жертвователя не объявили, и, по-моему, совершенно напрасно: ведь он сам подписал свое имя публично и, может быть, именно мечтая о славе. Но статский советник имел, очевидно, в виду выказать свою умственную силу, взгляд, направление, он протестовал против искусства, против ничтожности поэзии в наш век «реализма», пароходов и железных дорог, то есть против всего того, на что восстает обыкновенно и всякая либеральная (а верней —

¹⁷⁰ Слабоумные дети (нем.).

с чужого голоса либеральствующая) обшмыга третьего разряда. Но этот-то, другой-то, здешний-то blödige что хотел выразить своими пятью пфеннигами? Уж и не понимаю, к чему тут приложить направление. Blödige Kinder — это маленькие несчастные существа, выброски из беднейших семейств, — чего уж бы тут-то острить? «И если напоите бедного хоть единым стаканом воды, то и то зачтется вам в царствии небесном». А впрочем, что ж я: стакан воды в Эмсе, уж конечно, не стоит более пяти пфеннигов, даже ни в каком случае, а стало быть, и за пять пфеннигов можно в рай попасть. Именно рассчитал minimum расхода на рай: «к чему давать лишнее?» Просто дитя века; нынче, дескать, никого не надуешь.

* * *

С самого первого моего приезда в Эмс, то есть еще третьего года, и с самого первого дня меня заинтересовало одно обстоятельство — и вот продолжает интересоваться в каждый мой приезд. Два самые общеупотребительные источника в Эмсе, несмотря на несколько других, — это Кренхен и Кессельбрунен. Над источниками выстроен дом, и самые источники отгорожены от публики балюстрадой. За этой балюстрадой стоит несколько девушек, по три у каждого источника — приветливых, молодых и чисто одетых. Вы им подаете ваш стакан, и они тотчас же вам наливают воду. В определенные два часа, положенные на утреннее питье, у этих балюстрад перебиваются тысячи больных; каждый больной выпивает в течение этих двух часов по нескольку стаканов, по два, по три, по четыре — сколько ему предписано; то же и во время вечернего питья. Таким образом, каждая из этих трех девушек нальет и раздаст, в эти два часа, чрезвычайное множество

стаканов. Но мало того, что это делается совершенно в порядке, не суетливо, спокойно, методически и вас ни разу не задержат, — удивительнее всего то, что каждая из этих девиц, по-моему, обладает каким-то чуть не сверхъестественным соображением. Вы только один раз скажете ей, в первый раз по приезде: «вот мой стакан, мне столько-то унций кренхена и столько-то унций молока» — и она уже во весь месяц лечения ни разу не ошибется. Кроме того, она уже вас знает наизусть и различает в толпе. Толпа теснится густо, в несколько рядов, все протягивают стаканы; она берет их по шести, по семи стаканов зараз, зараз все их и наполняет в какую-нибудь четверть минуты и, не пролив, не разбив, раздает каждому без ошибки. Она сама протягивает к вам стакан и знает, что из тысячи стаканов — вот этот ваш, а этот другого, помнит наизусть, сколько вам унций воды, сколько молока и сколько вам предписано выпить стаканов. Никогда не случается ни малейшей ошибки; я к этому присматривался и нарочно справлялся. И главное — тут несколько тысяч больных. Очень может быть, что все это самая обыкновенная вещь и нет ничего удивительного, но для меня, вот уже третий год, это почти непостижимо, и я все еще смотрю на это, как на какой-то непостижимый фокус. И хоть и смешно всему удивляться, но эту задачу я положительно не могу разрешить. По-видимому, надо заключить о необыкновенной памяти и быстроте соображения этих немок, а между тем тут, может быть, всего только привычка к работе, усвоение работы с самого раннего детства и, так сказать, *победа над трудом*. Что касается собственно труда, то для присматривающегося русского тут тоже большое недоумение. Живя месяц в отеле (то есть, собственно, не в отеле, тут всякий дом отель, и

большинство этих отелей, кроме нескольких больших гостиниц, — просто квартиры с прислугой и с содержанием по уговору), я просто дивился на служанку отеля. В том отеле, где я жил, было двенадцать квартир, все занятые, а в иной и целые семейства. Всякий-то позвонит, всякий-то требует, всем надо услужить, всем подать, взбежать множество раз на день по лестнице — и на все это, во всем отеле, всей прислуги была одна только девушка девятнадцати лет. Мало того, хозяйка держит ее же и на побегушках по поручениям: за вином к обеду тому-то, в аптеку другому, к прачке для третьего, в лавочку для самой хозяйки. У этой хозяйки-вдовы было трое маленьких детей, за ними надо было все-таки присмотреть, услужить им, одеть поутру в школу. Каждую субботу надо вымыть во всем доме полы, каждый день убрать каждую комнату, переменить каждому постельное и столовое белье и каждый раз, после каждого выбывшего жильца, немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. Ложится спать эта девушка в половине двенадцатого ночи, а наутро хозяйка будит ее колокольчиком ровно в пять часов. Все это буквально так, как я говорю, я не преувеличиваю нисколько. Прибавьте, что она служит за самую скромную плату, немислимую у нас в Петербурге, и, сверх того, с нее требуется, чтоб одета была чисто. Заметьте, что в ней нет ничего приниженного, забитого: она весела, смела, здорова, имеет чрезвычайно довольный вид, при ненарушимом спокойствии. Нет, у нас так не работают; у нас ни одна служанка не пойдет на такую каторгу, даже за какую угодно плату, да, сверх того, не сделает так, а сто раз забудет, прольет, не принесет, разобьет, ошибется, рассердится, «нагрубит», а тут в целый месяц ни на что ровно нельзя было

пожаловаться. По-моему, это удивительно — и я, в качестве русского, уж и не знаю: хвалить или хулить это? Я, впрочем, рискну и похвалю, хотя есть над чем и задуматься. Здесь каждый принял свое состояние так, как оно есть, и на этом успокоился, не завидуя и не подозревая, по-видимому, еще ничего, — по крайней мере, в огромнейшем большинстве. Но труд все-таки прельщает, труд установившийся, веками сложившийся, с обозначившимся методом и приемом, достигающимся каждому чуть не со дня рождения, а потому каждый умеет подойти к своему делу и *овладеть* им вполне. Тут каждый свое дело знает, хотя, впрочем, каждый только свое дело и знает. Говорю это потому, что здесь все так работают, не одни служанки, а и хозяева их.

Посмотрите на немецкого чиновника, — ну, вот хоть бы почтамтский чиновник. Всякий знает, что такое чиновник русский, из тех особенно, которые имеют ежедневно дело с публикою: это нечто сердитое и раздраженное, и если не высказывается иной раз раздражение видимо, то затаенное, угадываемое по физиономии. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно это наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле»: публика толпится, составился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, квитанцию, взять билет. И вот он на вас не обращает никакого внимания. Вы добились наконец вашей очереди, вы стоите, вы говорите — он вас не слушает, он не глядя на вас, он обернул голову и разговаривает с сзади сидящим чиновником, он взял бумагу и с чем-то справляется, хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только

так и что вовсе не надо ему справляться. Вы, однако, готовы ждать и — вот он встает и уходит. И вдруг бьют часы и присутствие закрывается — убирайся, публика! Сравнительно с немецким, у нас чиновник несравненно меньше часов сидит во дню за делом. Грубость, невнимательность, пренебрежение, *враждебность* к публике, потому только, что она публика, и главное — мелочное юпитерство. Ему непременно нужно выказать вам, что вы от него зависите: «Вот, дескать, я какой, ничего-то вы мне здесь за балюстрадой не сделаете, а я с вами могу все, что хочу, а рассердитесь — сторожа позову, и вас выведут». Ему нужно кому-то отмстить за какую-то обиду, отмстить вам за свое ничтожество. Здесь, в Эмсе, в почтамте сидят обыкновенно два, много три чиновника. Бывают месяцы, во время сезона (июнь, июль, например), в которые столпятся приезжие тысячами, можно представить, какая переписка и какая почтамту работа. За исключением каких-нибудь двух часов на обед и проч., они заняты сплошь весь день. Надобно принять почту, отправить ее, тысяча человек приходит спрашивать *poste restante* или об чем-нибудь справиться. Для каждого-то он пересмотрит целые вороха писем, каждого-то выслушает, каждому-то выдаст справку, объяснение — и все это терпеливо, ласково, вежливо и в то же время с сохранением достоинства. Он из мелкой букашки человеком становится, а не обращается из человека в букашку... По приезде в Эмс я долго не получал нетерпеливо ожидаемого мною письма — и каждый день справлялся в *poste restante*. В одно утро, возвратясь с питья вод, нахожу письмо это у себя на столе. Оно только что пришло, и чиновник, упомянувший мою фамилию, но не знавший, где я живу, нарочно справился о том в печатном листе о приезжих, в

котором обозначаются все прибывшие и где они остановились, и прислал мне письмо экстренно, несмотря на то, что оно адресовано было *poste restante* (до востребования), и все это единственно потому, что накануне, когда я справлялся, он заметил чрезвычайное мое беспокойство. Ну, кто из наших чиновников так сделает?

Что же до остроты немецкого ума и немецкой сообразительности, пришедших мне на ум именно по поводу немецкого труда и всего, что я сказал о нем выше, то об этом в свете существует несколько вариантов. Французы, никогда и прежде не любившие немцев, постоянно находили и находят немецкий ум туговатым, но уже, разумеется, не тупым. Они признают в немецком уме какую-то как бы склонность всегда и во всем обойти прямое и, напротив, всегдашнее желание прибегнуть к чему-нибудь посредствующему, из единичного сделать нечто как бы двусложное, двухколенное. У нас же, русских, про туготу и тупость немцев всегда ходило множество анекдотов, несмотря на все искреннее преклонение наше перед их ученостью. Но у немцев, кажется мне, лишь слишком сильная своеобразность, слишком уж упорная, даже до надменности, национальная характеристика, которая и поражает иной раз до негодования, а потому и доводит иногда до неверного о них заключения. Впрочем, в общежитии, и особенно на свежеприбывшего в Германию иностранца, немец действительно производит вначале иногда странное впечатление.

Дорогою из Берлина в Эмс поезд остановился у одной станции на 4 минуты. Была ночь; я устал сидеть в вагоне, и мне захотелось хоть немного походить и выкурить на воздухе папиросу. Все вагоны спали, и в

целом длинном поезде никто, кроме меня, не вышел. Но раздаётся звонок, и я вдруг замечаю, что, по всегдашней моей рассеянности, забыл номер вагона, а выходя, сам же и затворил его. Оставалось, может быть, несколько секунд, я уже хотел идти к кондуктору, который был на другом конце поезда, как вдруг слышу, что кто-то зовет из окна одного вагона: pst! pst! ну, думаю, вот и мой вагон! Действительно, немцы, в своих маленьких вагонных купе, в которых помещается максимум по 8 человек, в продолжении пути очень наблюдают друг за другом. Немец, если остановка на большой станции, где обед или ужин, выходя сам из вагона, непременно позаботится разбудить заснувшего соседа, чтоб он потом не тужил, что проспал ужин, и проч. Я и подумал, что это один из проснувшихся товарищей по вагону, который звал меня, заметив, что я потерял мое место. Я подошел, высунулось озабоченное немецкое лицо.

— Was suchen Sie? (Что вы ищете?)

— Мой вагон. Я не с вами сижу? Это мой вагон?

— Нет, здесь не ваш вагон, и вы не здесь сидите. Но где же ваш вагон?

— Да то-то и есть, что я его потерял!

— И я не знаю, где ваш вагон.

И только в самую последнюю, можно сказать, секунду явившийся кондуктор указал мне мой вагон. Спрашивается, для чего же звал и расспрашивал меня тот немец? Но, поживя в Германии, вы скоро убеждаетесь, что и всякий немец точно такой же и точно так же поступит.

Лет десять назад я приехал в Дрезден — и на другой же день, выйдя из отеля, прямо отправился в

картинную галерею. Дорогу я не спросил: Дрезденская картинная галерея такая замечательная вещь в целом мире, что уж наверно каждый встречный дрезденец, образованного класса, укажет дорогу, подумал я. И вот, пройдя улицу, я останавливаю одного немца, весьма серьезной и образованной наружности.

— Позвольте узнать, где здесь картинная галерея?

— Картинная галерея? — остановился, соображая, немец.

— Да.

— Ко-ро-левская картинная галерея? (Он особенно ударил на слово: королевская.)

— Да.

— Я не знаю, где эта галерея.

— Но... здесь разве есть еще какая-нибудь другая галерея?

— О, нет, нету никакой.

Русский или французский язык?

Какая бездна русских на всех этих немецких водах, тем более на модных, как в Эмсе. Вообще русские очень любят лечиться. Даже у Вундерфрау,^[171] в лечебнице близ Мюнхена, где нет, впрочем, вод, главный контингент больных, как рассказывают, добывается из России. К этой фрау ездят, впрочем, всё более лица солидные и, так сказать, генеральские, предварительно

высылая ей из Петербурга свои пузыри^[172] и выпрашивая себе, еще с зимы, место в ее заведении. Женщина эта грозная и строптивая. В Эмсе же вы различаете русских, разумеется, прежде всего по говору, то есть по тому русскому-французскому говору, который свойствен только одной России и который даже иностранцев начал уже повергать в изумление. Я говорю: «уже начал», но доселе нам за это слышались лишь одни похвалы. Я знаю, скажут, что ужасно старо нападать на русских за французский язык, что и тема, и нравоучение слишком изношенные. Но для меня вовсе не то удивительно, что русские между собою говорят не по-русски (и даже было бы странно, если б они говорили по-русски), а то удивительно, что они воображают, что хорошо говорят по-французски. Кто вбил нам в голову этот глупый предрассудок? Безо всякого сомнения, он держится лишь нашим невежеством. Русские, говорящие по-французски (то есть огромная масса интеллигентных русских), разделяются на два общие разряда: на тех, которые уже бесспорно плохо говорят по-французски, и на тех, которые воображают про себя, что говорят как настоящие парижане (все наше высшее общество), а между тем говорят так же бесспорно плохо, как и первый разряд. Русские первого разряда доходят до нелепостей. Я сам, например, встретил в одну уединенную вечернюю прогулку мою по берегу Ланна двух русских — мужчину и даму, людей пожилых и разговаривающих с самым озабоченным видом о каком-то, по-видимому, очень важном для них семейном обстоятельстве, очень их занимавшем и даже беспокоившем. Они говорили в волнении, но объяснялись по-французски и очень плохо,

¹⁷² Пузыри — склянки с мочой.

книжно, мертвыми, неуклюжими фразами и ужасно затрудняясь иногда выразить мысль или оттенок мысли, подсказывали, но никак не могли догадаться взять и начать объясняться по-русски; напротив, предпочли объясниться плохо и даже рискуя не быть понятыми, но только чтоб было по-французски. Это меня вдруг поразило и показалось мне невероятною нелепостью, а между тем я встречал это уже сто раз в жизни. Главное в том, что тут наверно не бывает предпочтения, — хоть я и сказал сейчас «предпочли говорить», — или выбора языка: просто говорят на скверном французском по привычке и по обычаю, не ставя даже и вопроса, на каком языке говорить удобнее. Отвратительно тоже в этом неумелом мертвом языке это грубое, неумелое, мертвое тоже произношение. Русский французский язык второго разряда, то есть язык высшего общества, отличается опять-таки прежде всего произношением, то есть действительно говорит как будто парижанин, а между тем это вовсе не так — и фальшь выдает себя с первого звука, и прежде всего именно этой усиленной надорванной выделкой произношения, грубостью подделки, усиленностью картавки и грассейемана, неприличием произношения буквы *p* и, наконец, в нравственном отношении — тем нахальным самодовольством, с которым они выговаривают эти картавые буквы, тою детскою хвастливостью, не скрываемою даже и друг от друга, с которою они щеголяют один перед другим подделкой под язык петербургского парикмахерского гарсона. Тут самодовольство всем этим лакейством отвратительно. Как хотите, хоть все это и старо, но это все продолжает быть удивительным, именно потому, что живые люди, в цвете здоровья и сил, решаются говорить языком тощим,

чахлым, болезненным. Разумеется, они сами не понимают всей дрянности и нищеты этого языка (то есть не французского, а того, на котором они говорят) и, по неразвитости, короткости и скудости своих мыслей ужасно пока довольны тем материалом, который предпочли для выражения этих коротеньких своих мыслей. Они не в силах рассудить, что выродиться совершенно во французов им все-таки нельзя, если они родились и выросли в России, несмотря на то, что самые первые слова свои лепечут уже по-французски от бонн, а потом практикуются от гувернеров и в обществе; и что потому язык этот выходит у них непременно мертвый, а не живой, язык не натуральный, а сделанный, язык фантастический и сумасшедший, — именно потому, что так упорно принимается за настоящий, одним словом, язык совсем не французский, потому что русские, как и никто, никогда не в силах усвоить себе всех основных родовых стихий живого французского языка, если только не родились совсем французами, а усваивают лишь прежде данный чужой жаргон, и много что парикмахерское нахальство фразы, а затем, пожалуй, и мысли. Язык этот как бы краденый, а потому ни один из русских парижан не в силах породить во всю жизнь свою на этом краденом языке ни одного своего собственного выражения, ни одного нового оригинального слова, которое бы могло быть подхвачено и пойти в ход на улицу, что в состоянии, однако, сделать каждый парикмахерский гарсон. Тургенев рассказывает в одном своем романе анекдот, как один из таких русских, войдя в Париже в Café de Paris, крикнул: «Garçon, beftek aux pommes de terre»,^[173] а другой русский, уже успевший

¹⁷³ «Официант, бифштекс с картофелем!» (франц.).

перенять, как заказывают бифштекс по-новому, пришел и крикнул: «Garçon, beftek-pommes». Русский, крикнувший по-старому «aux pommes de terre», был в отчаянии, как это он не знал и пропустил это новое выражение — «beftek-pommes», и в страхе, что теперь, пожалуй, гарсоны могут посмотреть на него с презрением. Рассказ этот, очевидно, взят автором с истинного происхождения. Ползая рабски перед формами языка и перед мнением гарсонов, русские парижане естественно также рабы и перед французской мыслью. Таким образом сами осуждают свои бедные головы на печальный жребий не иметь во всю жизнь ни одной своей мысли.

Да, рассуждения о вреде усвоения чужого языка, вместо своего родного, с самого первого детства — бесспорно смешная и старомодная тема, наивная до неприличия, но, мне кажется, вовсе еще не до того износившаяся, чтоб нельзя было попытаться сказать на эту тему и свое словцо. Да и нет такой старой темы, на которую нельзя бы было сказать что-нибудь новое. Я, конечно, не претендую на *новое* (где мне!), но рискну хоть для очистки совести: все-таки скажу. Мне бы ужасно тоже хотелось как-нибудь изложить мои аргументы попопулярнее, в надежде, что какая-нибудь маменька высшего света прочтет меня.

На каком языке говорить отцу отечества?

Я спросил бы маменьку так: знает ли она, что такое язык, и как она представляет себе, для чего дано слово? Язык есть, бесспорно, форма, тело, оболочка мысли (не объясняя уже, что такое мысль), так сказать, последнее и заключительное слово органического развития. Отсюда

ясно, что чем богаче тот материал, те формы для мысли, которые я усвоиваю себе для их выражения, тем буду я счастливее в жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее себе и другим, владычнее и победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу это и тем глубже сам пойму то, что хотел сказать, тем буду крепче и спокойнее духом — и, уж конечно, тем буду умнее. Опять-таки: знает ли маменька, что человек хоть и может мыслить с быстротою электричества, но никогда не мыслит с такою быстротою, а все-таки несравненно медленнее, хотя и несравненно скорее, чем, например, говорит. Отчего это? Оттого, что он все-таки мыслит непременно на каком-нибудь языке. И действительно, мы можем не примечать, что мы мыслим на каком-нибудь языке, но это так, и если не мыслим словами, то есть произнося слова хотя бы мысленно, то все же, так сказать, мыслим «стихийной основной силой того языка», на котором предпочли мыслить, если возможно так выразиться. Понятно, что чем гибче, чем богаче, чем многообразнее мы усвоим себе тот язык, на котором предпочли мыслить, тем легче, тем многообразнее и тем богаче выразим на нем нашу мысль. В сущности, ведь для чего мы учимся языкам европейским, французскому например? Во-первых, попросту, чтоб читать по-французски, а во-вторых, чтоб говорить с французами, когда столкнемся с ними; но уж отнюдь не между собой и не сами с собой. На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка не достанет, именно потому, что он нам все-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся. Но вот тут-то и запятая: русские, по крайней мере высших классов русские, в большинстве своем, давным-давно уж не родятся с

живым языком, а только впоследствии приобретают какой-то искусственный и русский язык узнают почти что в школе, по грамматике. О, разумеется, при большом желании и прилежании, можно наконец перевоспитать себя, научиться даже до некоторой степени и живому русскому языку, родившись с мертвым. Я знал одного русского писателя,^[174] составившего себе имя, который не только русскому языку выучился, не зная его вовсе, но даже и мужику русскому обучился — и писал потом романы из крестьянского быта. Этот комический случай повторялся у нас нередко, а иногда так даже в весьма серьезных размерах: великий Пушкин, по собственному своему признанию, тоже принужден был перевоспитать себя и обучался и языку, и духу народному, между прочим, у няни своей Арины Родионовны. Выражение *«обучиться языку»* особенно идет к нам, русским, потому что мы, высший класс, уже достаточно оторваны от народа, то есть от живого языка (язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль!). Но скажут: уж если пришлось *«обучаться»* живому языку, то ведь все равно, что русскому, что французскому, — но в том-то и дело, что русский язык русскому все-таки легче, несмотря ни на бонн, ни на обстановку, и эту легкостью непременно, пока время есть, надо воспользоваться. Чтоб усвоить себе этот русский язык натуральнее, без особой надсатки и не по одной только науке (под наукой я, конечно, не одну школьную грамматику здесь разумею), надо непременно еще с детства перенимать его от русских нянек, по

¹⁷⁴ ...Знал одного русского писателя... — Имеется в виду Д. В. Григорович, воспитывавшийся в частном французском пансионе, мать и бабушка будущего писателя были француженки. Русскому языку он выучился от дворовых и крестьян.

примеру Арины Родионовны, не боясь того, что она сообщит ребенку разные предрассудки — о трех китах, например (господи! ну, как киты-то у него на всю жизнь останутся!); сверх того, не бояться простонародья и даже слуг, от которых так предостерегают родителей иные деятели. Затем уже в школе непременно заучивать наизусть памятники нашего слова, с наших древних времен — из летописей, из былин и даже с церковнославянского языка, — и именно наизусть, невзирая даже на ретроградство заучивания наизусть. Усвоив себе таким образом родной язык, то есть язык, на котором мы мыслим, по возможности, то есть хоть настолько хорошо, чтоб хоть походило на что-нибудь живое, и приучив себя непременно на этом языке мыслить, мы тем самым извлечем тогда пользу из нашей оригинальной русской способности европейского языкознания и многоязычия. В самом деле, только лишь усвоив в возможном совершенстве первоначальный материал, то есть родной язык, мы в состоянии будем в возможном же совершенстве усвоить и язык иностранный, но не прежде. Из иностранного языка мы невидимо возьмем тогда несколько чуждых нашему языку форм и согласим их, тоже невидимо и невольно, с формами нашей мысли — и тем расширим ее. Существует один знаменательный факт: мы, на нашем еще неустроенном и молодом языке, можем передавать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем на европейские языки, преимущественно на французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художественных литературных наших произведений до сих пор

совершенно непереводаемо и непередаваемо. Я не могу без смеха вспомнить один перевод (теперь очень редкий) Гоголя на французский язык, сделанный в середине 40-х годов, в Петербурге, г-м Виардо, мужем известной певицы, в сообществе с одним русским,^[175] теперь по праву знаменитым, но тогда лишь начинавшим молодым писателем. Вышла просто какая-то галиматья, вместо Гоголя. Пушкин тоже во многом непереводаем. Я думаю, если б перевести такую вещь, как сказание протопопа Аввакума,^[176] то вышла бы тоже галиматья, или, лучше сказать, ровно ничего бы не вышло. Почему это так? Ведь страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так многообразен и более замкнуто-своеобразен, чем наш, несмотря даже на то, что уже несомненно законченнее и отчетливее выразился, чем наш. Но если это страшно сказать, то, по крайней мере, нельзя не признать, с надеждой и с веселием духа, что нашего-то языка дух — бесспорно многообразен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных еще формах своих, а уже мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, что переданы они точно и верно. И вот этакого «материала» мы сами лишаем своих детей, — для чего? Чтоб сделать их несчастными, бесспорно. Мы презираем этот материал, считаем грубым подкопытным языком, на котором неприлично выразить великосветское чувство или великосветскую мысль.

¹⁷⁵ ...в сообществе с одним русским... — Имеется в виду И. С. Тургенев.

¹⁷⁶ Протопоп Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) — основатель русского старообрядчества.

Кстати, ровно пять лет назад произошла у нас так называемая классическая реформа обучения. Математика и два древних языка, латинский и греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт, и факт бесспорный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый. Но вот в чем дело: рядом с страшно усиленным преподаванием этих двух древних великих языков и математики, почти совсем подавлено у нас преподавание языка русского. Спрашивается: как, каким средством и через какой матерьял наши дети усвоят себе формы этих двух древних языков, если русский язык в упадке. Неужели только один механизм преподавания этих двух языков (да еще учителями чехами) и составляет всю развивающую их силу. Да и с механизмом нельзя справиться, не ведя в параллель самое усиленное и углубленное преподавание *живого* языка. Вся нравственно-развивающая сила этих двух древних языков, этих двух наиболее законченных форм человеческой мысли и уже поднявших, веками, весь бывший варварский Запад до высочайшей степени развития и цивилизации, — вся эта сила, естественно, минует нашу новую школу, именно из-за упадка в ней русского языка. Или, может быть, реформаторы наши считали, что русскому языку у нас не надо учиться вовсе, кроме разве того, где ставить букву ъ, потому что с ним родятся? Но то-то и есть, что мы, в высших классах общества, уже перестаем родиться с живым русским языком — и давно уже. Живой же язык явится у нас не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом. Но я увлекся, ведь я заговорил было с маменькой, а перешел на классическую реформу и на соединение с народом.

Маменьке, конечно, скучно все это слушать; маменька в негодовании махает ручкой и с насмешкой отвертывается. Маменьке все равно, на каком бы языке сынок ни мыслил, а коль на парижском, так тем даже лучше: «и изящнее, и умнее, и больше вкуса». Но она даже и того не знает, что для этого нужно переродиться во француза совсем, а с боннами и гувернерами этого счастья все-таки никак не достигнешь, а сделаешь разве лишь одну первую станцию по этой дороге, то есть перестанешь быть русским. О, маменька не знает, каким ядом она отравляет свое детище еще с двухлетнего возраста, приглашая к нему бонну. Всякая мать и всякий отец знают, например, об одной ужасной детской физической привычке, начинающейся у иных несчастных детей чуть ли еще не с десятилетнего возраста и, при недосмотре за ними, могущей переродить их иногда в идиотов, в дряблых, хилых стариков еще в юношестве. Прямо осмелюсь сказать, что бонна, то есть французский язык с первого детства, с первого детского лепета, есть все равно — в нравственном смысле, что та ужасная привычка в физическом. Хорошо еще, если он от природы глуп или благонадежно-ограничен; тогда он проживет свою жизнь и на французском языке, шутя, с коротенькими идейками и с парикмахерским развитием, а умрет, совсем не заметив, что всю жизнь был дураком. Но что, если это человек со способностями, человек с мыслью в голове и с порывами великодушия в сердце, — разве он может быть счастлив? Не владея матерьялом, чтоб организовать на нем всю глубину своей мысли и своих душевных запросов, владея всю жизнь языком мертвым, болезненным, краденым, с формами робкими, заученными, для него не раздвигающимися и грубыми, — он будет вечно томиться непрерывным усилием и

надрывом, умственным и нравственным, при выражении себя и души своей (господи, да неужели так трудно понять, что это язык неживой и ненатуральный!). Он сам заметит с мучением, что мысль его коротка, легковесна, цинична — цинична именно по своей короткости, вследствие ничтожных, мелочных форм, в которые всю жизнь облечена была; заметит, наконец, что даже и сердце его развратно. Разврат придет и от тоски. О, конечно, карьера его не пострадает: все эти — родящиеся с боннами предназначаются своими маменьками непременно в будущие отцы отечества и имеют претензию думать, что без них нельзя обойтись. Он будет блистать, повелевать и «подгонять»; будет вводить порядки и сумеет распорядиться, — одним словом, очень даже часто будет собою доволен, особенно когда будет говорить длинные речи чужими мыслями и чужими фразами и в которых будет plus de poblesse, que de sincerité.^[177] А между тем если он чуть-чуть человек, то в целом он будет несчастен. Он будет вечно тосковать как бы от какого-то бессилия, именно как те старцы-юноши, страдающие преждевременным истощением сил от скверной привычки. Но, увы, какая маменька поверит мне, что все эти бедствия могут произойти от французского языка и от бонны! Предчувствую, что и не одна маменька скажет мне, что я преувеличил; а между тем, в строгом смысле, я сказал правду без преувеличения. Возразят, напротив, что тем даже и лучше, что живешь на чужом языке, что тем проживешь легче, легковеснее, приятнее, и что вот именно этих вопросов и запросов жизни и надо избегать, и что всему этому именно способствует французский

¹⁷⁷ Больше благородства, чем искренности (франц.).

язык, не как французский язык, а как чужой язык, усвоенный вместо родного. Как? Этот блестящий молодой человек, этот салонный очарователь и бонмотист^[178] будет несчастен? Он так одет, так причесан, так здоров, с таким аристократическим цветом лица и с такой прелестной розой в бутоньерке?^[179] Маменька надменно усмехается. А между тем и без того уже (то есть и без французского воспитания) интеллигентный русский, даже и теперь еще, в огромном числе экземпляров — есть не что иное, как умственный пролетарий, нечто без земли под собою, без почвы и начала, международный межеумок, носимый всеми ветрами Европы. А уж этот-то прошедший через бонн и гувернеров, даже в самых лучших случаях, даже если он об чем-нибудь и мыслит и что-нибудь чувствует, — в сущности все-таки не более как превосходно гантированный^[180] молодой человек, может быть уже проглотивший несколько модных увражей,^[181] но ум которого бродит в вечных тенебрах,^[182] а сердце жаждет одних аржанов.^[183] Отцом отечества он, повторяю, будет, конечно, ему ли не дослужиться, да и кому же быть, как не ему (отцы отечества начинаются у нас с чина тайного

¹⁷⁸ *Бонмотист* (от *франц.* bon mot — острота) — остряк.

¹⁷⁹ *Бутоньерка* (*франц.* boutonnière) — петлица или маленький сосуд для букетика или цветка, прикалываемого к платью.

¹⁸⁰ *Гантированный* (от *франц.* ganter — надевать перчатки) — в перчатках.

¹⁸¹ *Увраж* (*франц.* ouvrage) — сочинение, литературное произведение.

¹⁸² *Тенебры* (*франц.* ténébres) — тьма, мрак, невежество.

¹⁸³ *Аржан* (*франц.* argent) — деньги.

советника), — ну, вот маменьке пока и довольно; но ведь только маменьке!..

ЧТО НА ВОДАХ ПОМОГАЕТ:

Воды или хороший тон?

Эмс я описывать не буду; к тому же на русском языке существуют подробнейшие описания Эмса, например книжка доктора Гиршгорна «Эмс и его целебные источники», изданная в Петербурге. Там все можно почерпнуть, начиная с медицинских сведений об источниках до самых мельчайших подробностей об жизни в отелях, об гигиене, прогулках, местоположении и даже о публике Эмса. Что до меня, то я и не умею этого описывать, и если б заставили меня теперь, когда уже я приехал домой, то я прежде всего припомнил бы яркое солнце, действительно живописное ущелье Таунуса, в котором расположился Эмс, огромную нарядную толпу со всего света и — глубокое, глубочайшее уединение мое в этой толпе. И, однако ж, несмотря на уединение, я даже люблю этакую толпу, конечно особенным образом. В толпе этой я нашел даже одного знакомого, русского, вот того самого *парадоксалиста*, который когда-то, давно уже, отстаивал в споре со мной войну и находил в ней все правды и истины, каких нельзя найти в современном обществе (смотри апрельский № «Дневника»). Я уже объявил, что это самого смиренного и статского вида человек. Всем известно, что мы, русские, или, лучше сказать, мы, петербуржцы, так сложили свою жизнь, что видимся и ведем дела подчас бог знает с кем, а друзей наших хоть и не забываем (разве может петербуржец что-нибудь или кого-нибудь забыть), но преспокойно не видимся с ними иногда даже по целым годам. Приятель

мой тоже что-то пил в Эмсе. Лет ему примерно сорок пять от роду, может быть, меньше.

— Это вы правы, — сказал он мне. — Эту здешнюю толпу как-то любишь и даже не знаешь за что. Да и везде как-то любишь толпу, разумеется фешенебельную, сливки. Можно не якшаться ни с кем из всего этого общества, но в целом — ведь ничего пока лучшего на свете нет.

— Ну, полноте...

— Я с вами не спорю, не спорю, — согласился он поскорей. — Когда настанет на земле лучшее общество — и человек согласится жить, так сказать, разумнее, то мы на это теперешнее общество и посмотреть не захотим и помянуть даже не захотим, разве только два слова во всемирной истории. Но теперь-то что вы, вместо него, можете представить лучшего?

— Неужели же нельзя и теперь ничего представить лучше этой праздной толпы обеспеченных людей, людей, которые если б не толкались теперь на водах, то наверно не знали бы, что делать и как изломать свой день. Хорошие отдельные личности — это так, это еще можно найти и в этой толпе, но в целом — в целом она не стоит не только каких-нибудь особых похвал, но даже особого внимания!..

— Вы говорите это как глубокий человеконенавистник или просто по моде. Вы говорите: «не знали бы, что делать и как изломать свой день»!.. Поверьте, что у каждого из них есть свое дело и даже такое, из-за которого он уже изломал всю свою жизнь, а не только день. Не виноват же каждый из них, что не может сделать из жизни рая, а потому и страдает. Вот

мне и нравится глядеть, как все эти страдальцы здесь смеются.

— Смеются из приличия?

— Смеются из обычая, который их всех ломит и заставляет принимать участие в игре в рай, пожалуй, если хотите так назвать. Он не верит раю, он играет в эту игру скрепя сердце, но все же играет, а тем развлекается. Обычай-то уж слишком силен. Тут есть такие, которые этот обычай даже совсем за серьезную вещь приняли — и тем лучше для них, конечно: они уже в настоящем раю. Если вы их всех любите (а вы их должны любить), — то должны радоваться, что им есть возможность отдохнуть и забыться, ну, хоть в мираже.

— Да вы смеетесь? И зачем я должен любить их?

— Да ведь это человечество, другого ведь и не бывает, а как же не любить человечества. В последнее десятилетие нельзя не любить человечества. Здесь есть одна русская дама, которая очень любит человечество. И совсем я не смеюсь. И, чтоб не продолжать на эту тему, я вам прямо скажу в заключение, что всякое общество хорошего тона, вот этакая вот фешенебельная толпа, имеет в себе даже некоторые положительные достоинства. Например: всякое фешенебельное общество уже тем хорошо, что оно хоть карикатурно, а соприкасается с природой больше, чем всякое иное, например даже земледельческое, которое в большинстве своем везде пока живет совсем неестественно. Я уж не говорю про фабрики, про войска, про школы, про университеты: все это верх неестественности. Эти же всех свободнее, потому что всех богаче, а потому, по крайней мере, могут жить как хотят. О, разумеется, они соприкасаются с природой лишь насколько позволяют

приличие и хороший тон. Раздвинуться, раствориться, раскрыться навстречу природе совершенно, навстречу вот этому золотому солнечному лучу, который светит на нас, грешных, с голубого неба, без разбора: стоим ли мы того или нет, — без сомнения, неприлично в той мере, в какой хотелось бы теперь нам обоим или там какому-нибудь поэту; маленький стальной замочек хорошего тона по-прежнему висит над каждым сердцем и над каждым умом. Тем не менее нельзя не согласиться, что хороший тон все-таки ступил хоть маленький шаг по дороге соприкосновения с природой не только в наше столетие, но даже в наше поколение. Я наблюдал и прямо вывожу, что в наш век чем дальше, тем больше понимают и соглашаются, что соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. Войдите и погрузитесь в эту толпу: на лицах радость, веселие. Все говорят один с другим кротко, то есть необыкновенно вежливо, все ласковы и необыкновенно веселы. Подумаешь, все счастье этого молодца с розой в бутоньерке — развеселить вот эту пятидесятилетнюю толстую барыню. В самом деле, что заставляет его около нее стараться? Неужели он и впрямь желает ей счастья и веселья? Конечно, нет, и наверно его заставляют стараться какие-нибудь особые и слишком частные причины, до которых нам с вами нет дела; но ведь вот что главное: его может и в силах заставить к тому и один лишь хороший тон, без всяких особенных и частных причин, — а это уж чрезвычайно важный результат; это показывает, до чего может осилить в наш век хороший тон иную даже дикую природу иного молодца. Поэзия выводит Байронов, а те Корсаров, Гарольдов, Лар, — но посмотрите, как мало

прошло времени с их появления, а уж все эти лица забракованы хорошим тоном, признаны за самое дурное общество, а уж тем паче наш Печорин или Кавказский Пленник: те оказались уж вполне дурного тона; это петербургские чиновники, одну минуту имевшие успех. А почему забракованы? Потому что эти лица истинно злы, нетерпеливы и хлопочут о себе одних откровенно, так что нарушают гармонию хорошего тона, который из всех сил должен делать вид, что всякий живет для всех, а все для каждого. Смотрите, вот несут цветы, это букеты дамам и отдельные розы для бутоньерок кавалерам; вы только посмотрите, как обработаны эти розы, как подобраны, как обрызганы водой! Никогда дева полей не подберет и не подстрижет ничего изящнее для молодого парня, которого любит. А меж тем эти розы принесены на продажу по пяти и по десяти немецких грошей за штуку, и дева полей до них не прикасалась вовсе. Золотой век еще весь впереди, а теперь промышленность; но вам-то какое дело и не все ли равно: они рядятся, они прекрасны, и выходит действительно точно рай. Да и не все ли равно: «рай» или «точно рай»? А меж тем вникните: сколько вкуса и какая верная идея! ну, что может больше идти к питью вод, то есть к надежде выздороветь, к здоровью, как не цветы? Цветы — это надежды. Сколько вкуса в этой идее. Вспомните текст: «Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон во дни славы своей не одевался как они, кольми паче оденет вас Бог».^[184] В точности не упомяну, но какие прекрасные слова! В них вся поэзия жизни, вся правда природы. Но пока правда природы

¹⁸⁴ *Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон во дни славы своей не одевался, как они, кольми паче оденет вас Бог.* — Неточная цитата из Евангелия.

наступит и люди в простоте и в веселии сердца будут венчать друг друга цветами искренней человеческой любви, — все это теперь продается и покупается за пять грошей без любви. А не все ли вам, опять-таки говорю, равно? По-моему, даже удобнее, потому что, право, я вам скажу, от иной еще любви убежишь, ибо слишком уж много благодарности потребует, а тут вынул грош — и квит. А меж тем, действительно, получается подобие золотого века — и если вы человек с воображением, то вам и довольно. Нет, современное богатство должно быть поощряемо, хотя бы на счет других. Оно дает роскошь и хороший тон, чего никогда не даст мне эта остальная толпа человечества. Здесь я имею изящную картину, которая меня веселит, а за веселье и всегда деньги платят. Веселье и радость всегда всего дороже стоили, а между тем я, нищий человек, ничего не платя, могу тоже участвовать во всеобщей радости тем, что, по крайней мере, языком пощелкаю. Посмотрите: раздаётся музыка, люди смеются, дамы одеты так, как, уж конечно, никто не одевался во дни Соломоновы, — и хоть все это мираж, но ведь вам и мне весело, и, наконец, по совести, разве я порядочный человек? (я про себя одного говорю) — но, благодаря водам, вот и я участвую, вместе с самыми, так сказать, сливками людей. И с каким аппетитом пойдете вы теперь пить ваш сквернейший немецкий кофе! Вот что я называю положительной стороной хорошего общества.

— Ну, это вы все смеетесь, и очень даже не ново.

— Смеюсь, а скажите, улучшился ли ваш аппетит с тех пор, как вы приходите сюда пить воды?

— О, конечно, чрезвычайно.

— Значит, положительная сторона хорошего тона до того сильна, что даже на желудок действует?

— Помилуйте, да ведь это действие вод, а не хорошего тона.

— И, несомненно хорошего тона. Так что еще неизвестно, что главное на водах помогает: воды или хороший тон. Даже доктора здешние сомневаются, чему отдать преимущество, и вообще трудно и выразить, какой огромный прогрессивный шаг сделала в наш век медицина: у нее теперь родились даже идеи, а прежде были одни лекарства.

Один из благодетельствованных современной женщиной

Но я, конечно, не буду описывать всех наших разговоров с этим старого покроя человеком. Я знал, впрочем, что самая щекотливая для него тема — это женщины. И вот мы с ним однажды разговорились о женщинах. Он заметил мне, что я очень уж всматриваюсь.

— Это я всматриваюсь в англичанок, и с особой целью. Я взял с собой сюда в дорогу две брошюры: одну Грановского о Восточном вопросе, а другую — о женщинах.^[185] В этой брошюре о женщинах есть несколько прекраснейших и самых зрелых мыслей. Но одна фраза, представьте себе, совсем меня сбила с толку. Автор вдруг пишет:

¹⁸⁵ ...а другую — о женщинах. — Речь идет о брошюре Н. Н. Страхова «Женский вопрос. Разбор сочинения Стюарта Милля „О подчинении женщины“».

«И однако же, всему свету известно, что такое англичанка. Это очень высокий тип женской красоты и женских душевных качеств, и с этим типом не могут равняться наши русские женщины...»

Как? Я с этим не согласен. Неужели англичанка составляет уж такой высокий тип женщины в сравнении с нашими русскими женщинами? Я глубоко с этим не согласен.

— Кто автор брошюры?

— Так как я не хвалил то, что можно в брошюре похвалить, то и, выдернув эту единственную фразу автора, с которой не могу согласиться, умолчу его имя.

— Должно быть, автор холостой человек и не успел еще узнать всех качеств русской женщины.

— Хотя вы это сказали и из язвительности, но вы сказали правду о «качествах» русской женщины. Да, не русскому отречься от своих женщин. Чем наша женщина ниже какой бы то ни было? Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, — на женщин Тургенева, Льва Толстого, хотя уж это одно большое доказательство: если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то откуда-нибудь они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть и в действительности. Не стану тоже говорить, например, о декабристках, о тысяче других примеров, ставших известными. И нам ли, знающим русскую действительность, не знать о тысячах женщин, не ведать о тысячах незримых, никому не видимых подвигах их, и иногда в какой обстановке, в каких темных, ужасных углах и трущобах, среди каких пороков и ужасов! Короче, я не буду защищать прав русской женщины на высокое

положение среди женщин всей Европы, но вот что только скажу: не правда ли, мне кажется, должен существовать такой естественный закон в народах и национальностях, по которому каждый мужчина должен по преимуществу искать и любить женщин в своем народе и в своей национальности? Если же мужчина начнет ставить женщин других наций выше своих и прельщаться ими по преимуществу, то тогда наступит пора разложения этого народа и шатания этой национальности. Ей-богу, у нас уже начиналось нечто подобное в этом роде, в последние сто лет, именно пропорционально разрыву нашему с народом. Мы прельщались поляками, француженками, даже немками; теперь вот есть охотники ставить выше своих англичанок. По-моему, в этом признаке ровно ничего нет утешительного. Тут две точки: или духовный разрыв с национальностью, или просто гаремный вкус. Надо воротиться к своей женщине, надо учиться своей женщине, если мы разучились понимать ее...

— Я с приятностью готов согласиться с вами во всем, хотя и не знаю, существует ли такой закон природы или национальности. Но позвольте вас спросить: почему вы подумали, что я будто бы с язвительностью заметил, что автор брошюры, как холостой человек, должно быть, не имел случая познакомиться со всеми высшими качествами русской женщины? Тут уж по тому одному не может быть ни малейшей с моей стороны язвительности, что сам я, могу сказать, благодетельствован русской женщиной. Да, каков я ни есть и каков бы я вам ни казался, я сам был некоторое время моей жизни женихом русской женщины. Эта девица была, так сказать, даже выше меня по положению в свете, она была окружена искателями, она могла выбирать, и она...

— Предпочла вас? Извините, я не знал...

— Нет, она не предпочла, а именно забракела меня, но в том-то и состояло все дело! Я вам откровенно скажу, пока я не был женихом, все было ничего, и я был счастлив лишь тем, что мог видеть эту особу почти ежедневно. Даже осмелюсь заметить, впрочем совершенно вскользь, что, может быть, я и не производил совершенно уже дурного впечатления. Прибавлю тоже, что девица эта имела в доме своем много свободы. И вот однажды, в одну чрезвычайно странную и ни на что не похожую (могу даже так сказать) минуту, она вдруг дает мне слово, — и вы не поверите, что со мной тогда случилось. Все это, конечно, было между нами в секрете, но когда я, огорошенный, воротился на мою квартиру, то мысль, что я буду владетелем и половиной такого блестящего существа, просто придавила меня, как гирей. Я скользил взглядом по моей мебели, по всем дрянным моим холостым вещам и вещицам, для меня, однако ж, столь необходимым, — и я так стыдился и себя, и своего положения в свете, и фигуры моей, и волос моих, и вещиц моих, и ограниченности моего ума и сердца, что тысячу раз готов был решиться даже на проклятие своего жребия при мысли, что я, такой ничтожнейший из людей, буду обладать такими неподходящими мне сокровищами. Я вам к тому это все обозначаю, чтоб выразить одну довольно неизвестную сторону брачной истины или, лучше сказать, чувство, которое, к сожалению, слишком редко кто ощущает из женихов, а именно: чтоб жениться, нужно иметь чрезвычайно много в запасе самой глупейшей надменности, знаете, этакой самой глупенькой, пошленькой гордости, — и все это при самом смешном тоне, к которому деликатный человек не может

быть ни за что способен. Ну как сравнить себя хоть одно мгновение с таким существом, как светская девица, с таким утонченным совершенством, начиная с воспитания, с локонов, с газового платья, с танцев, с невинности, с простодушной, но вместе с тем со светской прелестью суждений и чувств ее? И представить себе, что все это войдет в мою квартиру, а я буду даже в халате, — вы смеетесь? А между тем это ужасная мысль! И вот еще задача, скажу вам: если вы боитесь такого совершенства и чувствуете себя для него непригодным, то возьмите замарашку (то есть во всяком случае не нравственную замарашку). И что же, ведь ни-ни: не соглашаешься даже с негодованием и ничего сбавлять не намерен. Одним словом, я не буду вам описывать подробностей, всё такие же. Например, когда я лег в отчаянии и бессилии на мой диван (надо вам сказать, сквернейший диван во всем мире, с толкучего рынка и с сломанной пружиной), то меня, между прочим, посетила одна ничтожненькая мысль: «Вот женюсь, и будут наконец теперь постоянно уж тряпочки, — ну, от выкровок, что ли, вытирать перья». Ну чего бы, кажется, обыкновеннее такого рассуждения и что в нем такого ужасного? Соображение это мелькнуло, без сомнения, нечаянно, мимолетом, вы это сами должны понимать, потому что бог знает какие идеи способны иногда мелькнуть в душе человеческой, и даже в ту минуту, когда эту душу тащут на гильотину. Помыслил же я так, вероятно, потому, что до нервных припадков не люблю оставлять стальных перьев невытертыми, что делают, однако же, все на свете. И что же? Я горько упрекнул себя за эту мысль в ту же минуту: ввиду такой огромности события и предмета мечтать о тряпочках для перьев, находить время и место для такой низкой обыкновенной идеи, — «ну чего ж ты после этого

стоишь?». Одним словом, я почувствовал, что вся моя жизнь пройдет теперь в упреках самому себе, за всякую мысль мою и за всякий поступок мой. И что же, когда она вдруг объявила мне, несколько дней спустя, со смехом в лице, что она пошутила и выходит, напротив, замуж за одного сановника, то я, я... А впрочем, я тут вместо радости выказал такой испуг, такое падение, что даже сама она испугалась и сама побежала за стаканом воды. Я оправился, но испуг мой послужил мне же на пользу: она поняла, как я любил ее, и... как ценил, как высоко ценил... «А я-то думала, — сказала она потом, уже замужем, — что вы такой гордый и ученый и что вы меня ужасно будете презирать». С тех пор я имею в ней друга, и, повторяю, если кто был когда-либо благодетельствован женщиной, или, лучше сказать, русской женщиной, то уж это, конечно, я, и я этого никогда не забуду.

— Так что вы стали другом этой особы?

— То есть, видите ли, в высшей степени, но мы видимся редко, из года в год, и даже реже. Русские друзья обыкновенно видятся в пять лет по одному разу, а многие чаще и не вынесли бы. Сначала я не посещал их, потому что положение в свете ее супруга было выше моего, теперь же, — теперь она столь несчастна, что мне самому тяжело смотреть на нее. Во-первых, муж ее старик шестидесяти двух лет и через год после свадьбы угодил под суд. Он должен был отдать, для пополнения казенного недочета, чуть не все свое состояние, под судом лишился ног — и теперь его возят в креслах в Крейцнахе,^[186] где я видел их обоих дней десять тому

¹⁸⁶ *Крейцнах* — город в Рейнской провинции Пруссии.

назад. Она, как возят кресло, постоянно идет подле с правой стороны и тем исполняет высокий долг современной женщины, — заметьте, все время и постоянно выслушивая его язвительнейшие упреки. Мне так тяжело стало смотреть на нее, или, лучше сказать, на них обоих, — потому что я еще до сих пор не знаю, кого больше жалеть, — что я их тотчас же там и оставил, а сам приехал сюда. Я очень рад, что не сказал вам ее фамилии. Вдобавок же имел несчастье даже в этот короткий срок рассердить ее, и, кажется, окончательно, передав ей откровенно мой взгляд на счастье и на обязанность русской женщины.

— О, конечно, вы не могли сыскать более удобного случая.

— Вы критикуете? Но кто же бы ей это высказал? Мне всегда, напротив, казалось, что величайшее счастье — это знать по крайней мере, отчего несчастлив. И позвольте, так как уж вышло к слову, то я и вам выскажу мой взгляд на счастье и обязанность русской женщины; в Крейцнахе я всего не договорил.

Детские секреты

Но здесь я пока останавлиюсь. Я только чтобы вывести лицо и познакомить его предварительно с читателем. Да и хотелось бы мне вывести его лишь как рассказчика, а со взглядами его я не совсем согласен. Я уже объяснял, что это «парадоксалист». Взгляд же его на «счастье и обязанность современной женщины» даже и не блистает оригинальностью, хотя излагает он его с каким-то почти гневом; подумаешь, что это у него самое больное место. Просто-напросто, по его пониманию, женщина, чтоб быть счастливою и исполнить все свои

обязанности, должна непременно выйти замуж и в браке народить как можно больше детей, «не двух, не трех, а шестерых, десятерых, до изнеможения, до бессилия». «Тогда только она соприкоснется с живою жизнью и узнает ее во всевозможных проявлениях».

— Помилуйте, не выходя из спальни!

— Напротив, напротив! Я предчувствую и знаю все возражения заранее. Я взвесил все: «университет, высшее образование и т. д. и т. д.». Но не говоря уже о том, что и из мужчин лишь десятитысячный становится ученым, я вас серьезно спрошу: чем может помешать университет браку и рождению детей? Напротив, университет непременно должен наступить для всех женщин, и для будущих ученых и для просто образованных, но потом, после университета, — «брак и роди детей». Умнее как родить детей ничего до сих пор на свете еще не придумано, а потому, чем больше запасешь для этого ума, тем лучше выйдет. Ведь это Чацкий, что ли, провозгласил, что

...чтоб иметь детей

Кому ума не доставало?^[187]

И провозгласил именно потому, что сам-то он и был в высшей степени необразованным москвичом, всю жизнь свою только кричавшим об европейском образовании с чужого голоса, так что даже завещания не сумел написать, как оказалось впоследствии, а оставил имение неизвестному лицу, «другу моему Сонечке». Эта острота насчет «кому ума не доставало» тянулась

¹⁸⁷ ...чтоб иметь детей//Кому ума не доставало?— Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

пятьдесят лет именно потому, что и целых пятьдесят лет потом у нас не было людей образованных. Теперь, слава богу, образованные люди начинают и у нас появляться и, поверьте, первым делом поймут, что иметь детей и родить их — есть самое главное и самое серьезное дело в мире, было и не переставало быть. «Кому недоставало ума, скажите пожалуйста?» Да вот же недостает: современная женщина в Европе перестает родить. Про наших я пока умолчу.

— Как перестает родить, что вы?

Я должен включить мимоходом, что в этом человеке есть одна самая неожиданная странность: он любит детей, любитель детей и именно маленьких, крошек, «еще в ангельском чине». Он любит до того, что бегают за ними. В Эмсе он даже стал этим известен. Всего более любил он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей. Он знакомился с ними, даже только с годовалыми, и достигал того, что многие из детей узнавали его, ждали его, усмехались ему, протягивали ему ручки. Немку-няньку он расспросит непременно, сколько ребенку годков или месяцев, расхвалит его, похвалит косвенно и няньку, чем ей польстит. Одним словом, это в нем вроде страсти. Он всегда был в особенном восторге, когда каждое утро на водах, в аллеях, среди публики, вдруг показывались целыми толпами дети, идущие в школу, одетые, прибранные, с бутербродами в руках и с ранчиками за плечами. Надо признаться, что действительно эти толпы детей были хороши, особенно четырех-, пяти-, шестилетние, то есть самые маленькие.

— Tel que vous me voyez,^[188] я сегодня купил две дудки, — сообщил он мне в одно утро, с чрезвычайно довольным видом, — не этим, не школьникам — эти большие, и я только что вчера имел удовольствие познакомиться с ихним школьным учителем: самый достойнейший человек, какой только может быть. Нет, это были два пузана, два брата, один трех, а другой двух лет. Трехлетний водит двухлетнего, много ума-то у обоих; и оба остановились у палатки с игрушками, разинув рты, в этом глупом и прелестном детском восхищении, которого прелестнее ничего в мире не выдумаешь. Торговка, немка хитрая, сейчас смекнула, как я смотрю, — и мигом всучила им по дудке: я должен был заплатить две марки-с. Восторг неописанный, ходят и дудят. Это было час тому, но я сейчас опять туда наведалься — всё дудят. Я вам как-то говорил, указывая на здешнее общество, что пока лучше его ничего еще не может дать мир. Я соврал, а вы мне поверили, не отрекайтесь, поверили. Напротив, вот где лучшее, вот где совершенство: эти толпы этих эмских детей, с бутербродами в руках и с ранчиками за плечами, идущих в школы... Что же, солнце, Таунус, дети, смех детей, бутерброды и изящная толпа всех милордов и маркизов в мире, любующаяся на этих детей, — всё вместе это прелестно. Вы заметили, что толпа на них каждый раз любуется: это все-таки в ней признаки вкуса и — порыв серьезности. Но Эмс глуп, Эмс не может быть не глуп, а потому он еще продолжает родить детей, но Париж — Париж уже приостановился.

— Как приостановился?

¹⁸⁸ Я, знаете ли (франц.).

— В Париже есть такая огромная промышленность под названием Articles de Paris,^[189] которая, вместе с шелком, французским вином и фруктами, помогла выплатить пять миллиардов контрибуции.^[190] Париж слишком чтит эту промышленность и занимается ею до того, что забывает производить детей. А за Парижем и вся Франция. Ежегодно министр торжественно докладывает палатам о том, что «la population reste stationnaire».^[191] Ребятишки, видите ли, не рождаются, а и рождаются — так не стоят; зато, прибавляет министр с похвальбой, «старики у нас стоят, старики, дескать, во Франции долговечны». А по-моему, хоть бы они передохли, старые <—>, которыми Франция начиняет свои палаты. Есть чему радоваться — их долговечности; песку, что ли, сыплется мало?

— Я вас, все-таки, не понимаю. К чему тут Articles de Paris?

— А дело просто. Впрочем, вы сами романист, а стало быть, может, и знаете одного бестолковейшего и очень талантливого французского писателя и идеалиста старой школы, Александра Дюма-фиса? Но за этим Александром Дюма есть несколько хороших, так сказать, движений. Он требует, чтоб французская женщина родила. Мало того: он прямо возвестил всем известный секрет, что женщины во Франции, из достаточной буржуазии, все сплошь, родят по двое детей; как-то так ухитряются с своими мужьями, чтоб родить только двух

¹⁸⁹ Парижские изделия (*франц.*).

¹⁹⁰ *Контрибуция* — сумма, выплачиваемая побежденным государством государству-победителю.

¹⁹¹ Численность населения остается постоянной (*франц.*).

— и ни больше ни меньше. Двух родят и забастуют. И все уже так, и не хотят родить больше, — секрет распространяется с удивительною быстротою. Потомство уже получается и с двумя, и, кроме того, имения на двух останется больше, чем на шестерых, это раз. Ну, а во-вторых, сама женщина сохраняется дольше: красота дольше тянется, здоровье, на выезды больше времени выгадывается, на наряды, на танцы. Ну, а насчет родительской любви, — нравственной стороны то есть вопроса, — так двух, дескать, еще больше любишь, чем шестерых, а шестеро-то нашалят еще, пожалуй, надоедят, разобьют, возись с ними!.. по башмакам только одним сосчитать на них, так сколько досады выйдет и т. д. и т. д. Но не в том дело, что Дюма сердится, а в том, что прямо решился заявить о существовании секрета: двух, дескать, — и ни больше ни меньше, да еще с мужьями продолжают жить брачно в свое удовольствие, словом, все спасено. Мальтус,^[192] столь боявшийся увеличения населения в мире, и не предположил бы даже в фантазии вот таких средств. Что ж, все это слишком соблазнительно. Во Франции, как известно, страшное количество собственников, буржуазии городской и буржуазии земельной: для них это находка. Это их изобретение. Но находка перешагнет и за пределы Франции. Пройдет еще каких-нибудь четверть века, и увидите, что даже глупый Эмс поумнеет. Берлин, говорят, страшно уж поумнел в этом же смысле. Но хоть и уменьшаются дети, но все же министр во Франции не заметил бы этой разницы, если б обошлось лишь одной

¹⁹² *Томас Роберт Мальтус* (1766–1834) — английский экономист, основоположник концепции мальтузианства, считавший, что соответствие между численностью населения и количеством средств существования может регулироваться эпидемиями, голодом, войнами, непосильным трудом.

буржуазией, то есть достаточным классом, и если б не было в этом деле другого конца. Другой конец — пролетарии, восемь, десять, а пожалуй, и все двенадцать миллионов пролетариев, людей некрещеных и невенчанных, живущих, вместо брака, в «разумных ассоциациях», для «избежания тирании». Эти прямо вышвыривают детей на улицы. Родятся Гавроши,^[193] мрут, не стоят; а устоят, так наполняют воспитательные дома и тюрьмы для малолетних преступников. У Zola, так называемого у нас реалиста, есть одно очень меткое изображение современного французского рабочего брака, то есть брачного сожития, в романе его «Le ventre de Paris».^[194] И заметьте: Гавроши уж не французы, но замечательнее всего, что и эти сверху, вот — которые родятся собственниками, по двое и в секрете, — тоже ведь не французы. По крайней мере, я осмеливаюсь утверждать это, так что два конца и две противоположности сходятся. Вот уж и первый результат: Франция начинает переставать быть Францией. (Ну возможно ли сказать, чтоб эти 10 миллионов считали Францию за отечество!) Я знаю, найдутся, что скажут, тем лучше: уничтожатся французы — останутся люди. Но ведь люди ли? Люди-то, положим, но это будущие дикие, которые проглотят Европу. Из них изготовляется исподволь, но твердо и неуклонно, будущая бесчувственная мразь. Что поколение вырождается физически, бессилеет, пакостится, по-моему, нет уже никакого сомнения. Ну, а физика тащит за собой и нравственность. Это плоды царства буржуазии. По-моему, вся причина — земля, то есть

¹⁹³ *Гаврош* — персонаж романа В. Гюго «Отверженные».

¹⁹⁴ «Чрево Парижа» (франц.).

почва и современное распределение почвы в собственность. Я вам это, так и быть, объясню.

Земля и дети

— Земля всё, — продолжал мой Парадоксалист. — Я землю от детей не розню, и это у меня как-то само собой выходит. Впрочем, я вам этого развивать не хочу, поймете и так, коли призадумаетесь. Дело в том, что всё от земельной ошибки. Даже, может, и все остальное, и все-то остальные беды человеческие, — все тоже, может быть, вышли от земельной ошибки. У миллионов нищих земли нет, во Франции особенно, где слишком уж, и без того, малоземельно, — вот им и негде родить детей, они и принуждены родить в подвалах, и не детей, а Гаврошей, из которых половина не может назвать своего отца, а еще половина так, может, и матери. Это с одного краю, с другого же краю, с высшего, тоже, думаю, земельная ошибка, но только уж другого рода ошибка, противоположная, а идет, может быть, еще с Хлодвига,^[195] покорителя Галлии: у этих уж слишком много земли на каждого, слишком уж велик захват, не по мерке, да и слишком уж сильно они им владеют, ничего не уступают, так что и там и тут ненормальность. Что-нибудь тут должно произойти, переменить, но только у всех должна быть земля, и дети должны родиться на земле, а не на мостовой. Не знаю, не знаю, как это поправится, но знаю, что пока там негде родить детей. По-моему, работай на фабрике: фабрика тоже дело законное и родится всегда подле возделанной уже земли: в том ее и закон. Но пусть каждый фабричный

¹⁹⁵ *Хлодвиг* (ок. 466–511) — король салических франков с 481 года. Завоевал почти всю Галлию, что положило начало Франкскому государству.

работник знает, что у него где-то там есть Сад, под золотым солнцем и виноградниками, собственный, или, вернее, общинный Сад, и что в этом Саду живет и его жена, славная баба, не с мостовой, которая любит его и ждет, а с женой — его дети, которые играют в лошадки и все знают своего отца. Que diable,^[196] всякий порядочный и здоровый мальчишка родится вместе с лошадкой, это всякий порядочный отец должен знать, если хочет быть счастливым. Вот он туда и будет заработанные деньги носить, а не пропивать в кабаке с самкой, найденной на мостовой. И хоть Сад этот и не мог бы, в крайнем случае (во Франции, например, где так мало земли), прокормить его вместе с семьей, так что и не обошлось бы без фабрики, но пусть он знает, по крайней мере, что там его дети с землей растут, с деревьями, с перепелками, которых ловят, учатся в школе, а школа в поле, и что сам он, наработавшись на своем веку, все-таки придет туда отдохнуть, а потом и умереть. А ведь, кто знает, — может, и совсем прокормить достанет, да и фабрик-то, может, нечего бояться, может, и фабрика-то среди Сада устроится. Одним словом, я не знаю, как это все будет, но это сбудется. Сад будет. Помяните мое слово хоть через сто лет и вспомните, что я вам об этом в Эмсе, в искусственном саду и среди искусственных людей, толковал. Человечество обновится в Саду и Садам выправится — вот формула. Видите, как это было: сначала были замки, а подле замков землянки; в замках жили бароны, а в землянках вассалы. Затем стала подыматься буржуазия в огороженных городах, медленно, микроскопически. Тем временем кончились замки и настали столицы королей, большие города с

¹⁹⁶ Черт возьми (франц.).

королевскими дворцами и с придворными отелями, и так вплоть до нашего века. В наш век произошла страшная революция, и одолела буржуазия. С ней явились страшные города, которые не снились даже и во сне никому. Таких городов, какие явились в XIX веке, никогда прежде не видало человечество. Это города с хрустальными дворцами, с всемирными выставками,^[197] с всемирными отелями, с банками, с бюджетами, с зараженными реками, с дебаркадерами, со всевозможными ассоциациями, а кругом них с фабриками и заводами.

Теперь ждут третьего фазиса: кончится буржуазия и настанет Обновленное Человечество. Оно поделит землю по общинам и начнет жить в Саду. «В Саду обновится и Садам выправится». Итак, замки, города и Сады. Если хотите всю мою мысль, то, по-моему, дети, настоящие то есть дети, то есть дети людей, должны родиться на земле, а не на мостовой. Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. А европейские пролетарии теперь все — сплошь мостовая. В Саду же детки будут выскакивать прямо из земли, как Адамы, а не поступать девяти лет, когда еще играть хочется, на фабрики, ломая там спинную кость над станком, тупя ум перед подлой машиной, которой молится буржуа, утомляя и губя воображение перед бесчисленными рядами рожков газа, а нравственность — фабричным развратом, которого не

¹⁹⁷ ...с хрустальными дворцами, с всемирными выставками... — Достоевский подразумевал здесь здание из стекла и бетона, в котором проводились всемирные выставки. В более широком смысле хрустальный дворец является для Достоевского символом самодовольного буржуазного процветания, лишенного нравственной ориентации.

знал Содом.^[198] И это мальчики и это девочки, десяти лет, и где же, добро бы здесь, а то уж у нас в России, где так много земли, где фабрики еще только шутка, а городишки стоят каждый для трех подьячих. А между тем если я вижу где зерно или идею будущего — так это у нас, в России. Почему так? А потому, что у нас есть и по сих пор уцелел в народе один принцип, и именно тот, что земля для него всё, и что он все выводит из земли и от земли, и это даже в огромном еще большинстве. Но главное в том, что это-то и есть нормальный закон человеческий. В земле, в почве есть нечто сакраментальное. Если хотите переродить человечество к лучшему, почти что из зверей поделайте людей, то наделите их землю — и достигнете цели. По крайней мере у нас земля и община в сквернейшем виде, согласен, — но все же огромное зерно для будущей идеи, а в этом и штука. По-моему, порядок в каждой стране — политический, гражданский, всякий — всегда связан с почвой и с характером землевладения в стране. В каком характере сложилось землевладение, в таком характере сложилось и все остальное. Если есть в чем у нас в России наиболее теперь беспорядка, так это в владении землей, в отношениях владельцев к рабочим и между собою, в самом характере обработки земли. И покамест это все не устроится, не ждите твердого устройства и во всем остальном. Я ведь никого и ничего не виню: тут всемирная история, — и мы понимаем. По-моему, мы так еще дешево от крепостного права откупились, благодаря *согласию* земли. Вот на это-то согласие я бью и во всем остальном. Это согласие — ведь это опять одно из

¹⁹⁸ ...*фабричным развратом, которого не знал Содом.* — Согласно библейскому преданию, жители городов Содом и Гоморра в Древней Палестине предавались безудержному разврату.

народных начал, вот тех самых, которые в нас до сих пор еще Потугины отрицают. Ну-с, а все эти железные дороги наши, наши новые все эти банки, ассоциации, кредиты — все это, по-моему, пока только лишь тлен, я из железных дорог наших одни только стратегические признаю. Все это должно бы было после устройства земли завестись, тогда бы оно явилось естественно, а теперь это только биржевая игра, жид встрепенулся. Вы смеетесь, вы несогласны, пусть; а вот я только что читал одни мемуары одного русского помещика,^[199] писанные им в середине столетия, — и желавшего, в двадцатых годах еще, отпустить своих мужичков на волю. Тогда это было редкою новостью. Между прочим, заехав в деревню, он завел в ней школу и начал учить крестьянских детей хорошему церковному пению. Сосед помещик, завернув к нему и послушав хор, сказал: «Это вы хорошо придумали; вот вы теперь их обучите и наверно найдете покупателя на весь хор. Это любят, вам хорошие деньги за хор дадут». Значит, когда еще можно было продавать «на своз» хоры малых ребятишек от отцов и матерей, то, стало быть, отпуск на волю крестьян был еще мудреной диковиной в русской земле. Вот он и стал мужичкам говорить об этой диковинке; те выслушали, задивились, перепугались, долго меж собой переговаривались, вот и приходят к нему: «Ну, а земля?» — «А земля моя; вам избы, усадьбы, а землю вы мне ежегодно убирайте исполу».^[200] — Те почесали головы: «Нет, уж лучше по-старому: мы ваши, а земля наша». Конечно, это удивило помещика: дикий, дескать, народ; свободы даже

¹⁹⁹ ...мемуары одного русского помещика... — Имеются в виду «Записки Ивана Дмитриевича Якушкина».

²⁰⁰ *Исполу* — пополам с кем-нибудь.

не хотят в нравственном падении своем, свободы — сего первого блага людей и т. д. и т. д. Впоследствии эта поговорка, или, вернее, формула: «мы ваши, а земля наша», — стала всем известною и никого уже не дивила. Но, однако же, важнее всего: откуда могло появиться такое «неестественное и ни на что не похожее» понимание всемирной истории, если только сравнить с Европой? И, заметьте, именно в это-то время и свирепствовала у нас наиболее война между нашими умниками о том: «есть или нет у нас, в самом деле, какие-то там народные начала, которые бы стоили внимания людей образованных?» Нет-с, позвольте: значит, русский человек с самого начала и никогда не мог и представить себя без земли. Но всего здесь удивительнее то, что и после крепостного права народ остался с сущностью этой же самой формулы и в огромном большинстве своем все еще не может вообразить себя без земли. Уж когда свободы без земли не хотел принять, значит, земля у него прежде всего, в основании всего, земля — все, а уж из земли у него и все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, все, что есть драгоценного. Вот из-за формулы-то этой он и такую вещь, как община, удержал. А что есть община? Да тяжелее крепостного права иной раз! Про общинное землевладение всяк толковал, всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же время не лежит ли в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как произойдет, но что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас у одних может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом, а опять-таки великим и всеобщим согласием, а согласием потому, что за него и

теперь даны великие жертвы. Вот и будут родиться детки в Саду и выправятся, и не будут уже десятилетние девочки сивуху с фабричными по кабакам пить. Тяжело деткам в наш век взростать, сударь! Я ведь только и хотел лишь о детках, из-за того вас и беспокоил. Детки — ведь это будущее, а любишь ведь только будущее, а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться. Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого и детей любишь больше всего.

Оригинальное для России лето

На другой день я сказал моему чудаку:

— А вот вы всё об детях толкуете, а я только что прочел в курзале,^[201] в русских газетах, около которых, замечу вам, все здешние русские теперь толпятся, — прочел в одной корреспонденции об одной матери, болгарке, там у них в Болгарии, где целыми уездами истреблялись люди. Она старуха, уцелела в одной деревне и бродит, обезумевшая, по своему пепелищу. Когда же ее начинают расспрашивать, как было дело, то она не говорит обыкновенными словами, а тотчас прикладывает правую руку к щеке и начинает петь и напевом рассказывает, в импровизированных стихах, о том, как у ней были дом и семья, был муж, были дети, шестеро детей, а у деток, у старших, были тоже деточки, маленькие внуки ее. И пришли мучители и сожгли у стены ее старика, перерезали соколов ее детей, изнасиловали малую девочку, увели с собой другую, красавицу, а младенчикам вспороли всем ятаганам животики, а потом зажгли дом и пошвыряли их всех в

²⁰¹ Курзал — помещение для концертов и собраний на курортах.

лютое пламя, и все это она видела и крики деточек слышала.

— Да, я тоже читал, — ответил мой чудака, — замечательно, замечательно. Главное, в стихах. А у нас, наша русская критика хоть и хвалила иногда стишки, но всегда, однако, склоннее была полагать, что они более для баловства устроены. Любопытно проследить натуральный эпос в его, так сказать, стихийном зачатии. Вопрос искусства.

— Ну, полноте, не притворяйтесь. Впрочем, я заметил, вы не очень-то любите разговаривать о Восточном вопросе.

— Нет, я тоже пожертвовал. Я, если хотите, действительно кое-что не жалую в Восточном вопросе.

— Что именно?

— Ну, хоть любвеобильность.

— И, полноте, я уверен...

— Знаю, знаю, не договаривайте, и вы совершенно правы. К тому же я пожертвовал в самом даже начале. Видите ли, Восточный вопрос, действительно, был у нас до сих пор, так сказать, лишь вопросом любви и выходил от славянофилов. Действительно, на любвеобильности многие выехали, особенно прошлой зимой с герцеговинцами; составилось даже несколько любвеобильных карьер. Заметьте, я ведь ничего не говорю; к тому же любвеобильность сама в себе вещь превосходнейшая, но ведь можно и заездить клячу, — вот, вот этого-то я и боялся еще с весны, а потому и не верил. Потом я и летом даже еще здесь боялся, чтоб с нас все это братство вдруг как-нибудь не соскочило. Но теперь, — теперь даже уж и я не боюсь; да и русская уж

кровь пролита, а пролитая кровь важная вещь, соединительная вещь!

— А неужели вы в самом деле думали, что братство наше соскочит?

— Грешный человек, полагал. Да как и не предположить. Но теперь уж не предполагаю. Видите ли, даже здесь в Эмсе, в десяти верстах от Рейна, получались известия из самого, так сказать, Белграда. Являлись путешественники, которые сами слышали, как в Белграде винят Россию. С другой стороны, я сам читал в «Temps» и в «Débats», как в Белграде, после того как прорвались в Сербию турки, кричали: «Долой Черняева!» Другие же корреспонденты и другие очевидцы уверяют, напротив, что все это вздор и что сербы только и делают, что обожают Россию и ждут всего от Черняева. Знаете: я и тем и другим известиям верю. И те и другие крики были наверно, да и не могли не быть: нация молодая, солдатов нет, воевать не умеют, великодушия пропасть, деловитости никакой. Черняев там принужден был армию создавать, а ведь они, я уверен, в огромном большинстве, не могут понять, какая это задача армию создать в такой срок и при таких обстоятельствах; потом поймут, но тогда уж наступит всемирная история. Кроме того, я уверен, что даже из самых крепких и, так сказать, министерских ихних голов найдутся такие, которые убеждены, что Россия спит и видит, как бы их в свою власть захватить и ими безмерно усилиться политически. Ну так вот я и боялся, чтоб на наше русское братолюбие все это не подействовало холодной водой. Но оказалось напротив, — до того напротив, что для многих даже и русских неожиданно. Вся земля русская вдруг заговорила и вдруг свое главное слово сказала. Солдат, купец, профессор, старушка божия — все в одно слово. И ни

одного звука, заметьте, об захвате, а вот, дескать: «на православное дело». Да и не то что гроши на православное дело, а хоть сейчас сами готовы нести свои головы. И опять-таки, заметьте, что эти два слова: «на православное дело» — это чрезвычайно, чрезвычайно важная политическая формула и теперь, и в будущем. Даже можно так сказать, что это формула нашего будущего. А то, что об «захвате» ниоткуда ни звука, то это ужасно оригинально. Европа никак и ни за что не могла бы поверить тому, потому что сама бы действовала не иначе как с захватом, а потому ее даже и винить нельзя за ее крик против нас, в строгом смысле, знаете ли вы это? Одним словом, в этот раз началось наше окончательное столкновение с Европой и... разве оно могло начаться иначе как с недоумения? Для Европы Россия — недоумение, и всякое действие ее — недоумение, и так будет до самого конца. Да, давно уже не заявляла себя так земля русская, так сознательно и согласно, и, кроме того, мы действительно ведь родных и братьев нашли, и уж это не высокий лишь слог. И уж не через славянский лишь комитет, а прямо, так-таки всей землей нашли. Вот это для меня и неожиданно, вот этому-то я бы никак не поверил. Согласию-то этому нашему, всеобщему и столь, так сказать, *внезапно*, трудно бы было поверить, если б даже кто и предсказывал. А меж тем совершившееся совершилось. Вы вот про Мать-болгарку несчастную рассказали, а я знаю, что и другая мать объявилась нынешним летом: Мать-Россия новых родных деток нашла, и раздался ее великий жалобный голос об них. И именно деток, и именно материнский великий плач, и опять-таки политическое великое указание в будущем, заметьте это себе: «мать их, а не госпожа!» И хоть бы даже и

случилось так, что новые детки, не понимая дела, — на одну минутку, впрочем, — возроптали бы на нее: нечего ей этого слушать и на это глядеть, а продолжать благотворить с бесконечным и терпеливым материнством, как и должна поступить всякая истинная мать. Нынешнее лето, знаете ли вы, что нынешнее лето в нашей истории запишется? И сколько недоумений русских разом разъяснилось, на сколько вопросов русских разом ответ получен! Для сознания русского это лето было почти эпохой.

Post scriptum

«Русский народ бывает иногда ужасно *неправдоподобен*» — словцо это удалось мне услышать тоже нынешним летом и, опять-таки, конечно, потому, что и для произнесшего это словцо многое, случившееся нынешним летом, было делом неожиданным, а может быть, и в самом деле «неправдоподобным». Но что же, однако, случилось такого нового, и не лежало ли, напротив, все, что вышло наружу, давно уже и даже всегда в сердце народа русского?

Поднялась, во-первых, народная идея и сказалось народное чувство: чувство — бескорыстной любви к несчастным и угнетенным братьям своим, а идея — «Православное дело». И действительно, уже в этом одном сказалось нечто как бы и неожиданное. Неожиданного (впрочем, далеко не для всех) было то, что народ не забыл свою великую идею, свое «Православное дело» — не забыл в течение двухвекового рабства, мрачного невежества, а в последнее время — гнусного разврата, матерьялизма, жидовства и сивухи. Во-вторых, неожиданным было то,

что с народной идеей, с «Православным делом» — соединились вдруг почти все оттенки мнений самой высшей интеллигенции русского общества — вот тех самых людей, которых считали мы уже совсем оторвавшимися от народа. Заметьте при этом необычайное у нас одушевление и единодушие почти всей нашей печати... Старушка божия подает свою копеечку на славян и прибавляет: «на Православное дело». Журналист подхватывает это словцо и передает его в газете с благоговением истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем своим за то же самое «Православное дело»: вы это чувствуете, читая статью. Даже, может быть, и ничему не верующие поняли теперь у нас наконец, что значит, в сущности, для русского народа его Православие и «Православное дело»? Они поняли, что это вовсе не какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с другой стороны, вовсе не какой-нибудь fanatisme religieux^[202] (как уже и начинают выражаться об этом всеобщем теперешнем движении русском в Европе), а что это именно есть прогресс человеческий и всеочеловечение человеческое, так именно понимаемое русским народом, ведущим все от Христа, воплощающим все будущее свое во Христе и во Христовой истине и не могущим и представить себя без Христа. Либералы, отрицатели, скептики, равно как и проповедники социальных идей, — все вдруг оказываются горячими русскими патриотами, по крайней мере, в большинстве. Что ж, они, стало быть, ими и были; но можем ли мы утверждать, что доселе мы про это знали, и не раздавалось ли до сих пор, напротив, чрезвычайно много горьких взаимных упреков, оказавшихся теперь во

²⁰² Религиозный фанатизм (франц.).

многим напрасными? Русских, истинных русских, оказалось у нас вдруг несравненно более, чем полагали до сих пор многие, тоже истинные русские. Что же соединило этих людей воедино или, вернее, — что указало им, что они, во всем главном и существенном, и прежде не разъединялись? Но в том-то и дело, что Славянская идея, в высшем смысле ее, перестала быть лишь славянофильскою, а перешла вдруг, вследствие напора обстоятельств, в самое сердце русского общества, высказалась отчетливо в общем сознании, а в *живом* чувстве совпала с движением народным. Но что же такое эта «Славянская идея в высшем смысле ее»? Всем стало ясно, что это такое: это, прежде всего, то есть прежде всяких толкований исторических, политических и проч., — есть жертва, потребность жертвы даже собою за братьев, и чувство добровольного долга сильнейшему из славянских племен заступиться за слабого, с тем, чтоб, уравнив его с собою в свободе и политической независимости, тем самым основать впредь великое всеславянское единение во имя Христовой истины, то есть на пользу, любовь и службу всему человечеству, на защиту всех слабых и угнетенных в мире. И это вовсе не теория, напротив, в самом теперешнем движении русском, братском и бескорыстном, до сознательной готовности пожертвовать даже самыми важными своими интересами, даже хотя бы миром с Европой, — это обозначилось уже как факт, а в дальнейшем — всеединение славян разве может произойти с иною целью, как на защиту слабых и на служение человечеству? Это уже потому так должно быть, что славянские племена, в большинстве своем, сами воспитались и развились лишь страданием. Мы вот написали выше, что удивимся, как русский народ не

забыл, в крепостном рабстве, в невежестве и в угнетении, своего великого «Православного дела», своей великой православной обязанности, не озверел окончательно и не стал, напротив, мрачным замкнувшимся эгоистом, заботящимся лишь об одной собственной выгоде? Но, вероятно, таково именно свойство его, как славянина, то есть — подыматься духом в страдании, укрепляться политически в угнетении и, среди рабства и унижения, соединяться взаимно в любви и в Христовой истине.

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя!^[203]

Вот потому-то, что народ русский сам был угнетен и перенес многовековую крестную ношу, — потому-то он и не забыл своего «Православного дела» и страдающих братьев своих, и поднялся духом и сердцем, с совершенной готовностью помочь всячески угнетенным. Вот это-то и поняла высшая интеллигенция наша и всем сердцем своим примкнула к желанию народа, а примкнув, вдруг, всецело, ощутила себя в единении с ним. Движение, охватившее всех, было великодушное и гуманное. Всякая высшая и единая мысль и всякое верное единое всех чувство — есть величайшее счастье в жизни наций. Это счастье посетило нас. Мы не могли не ощутить всецело нашего умножившегося согласия, разъяснения многих прежних недоумений,

²⁰³ *Удрученный ношей крестной... Исходил, благословляя!* — Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...».

усилившегося самосознания нашего. Обнаружилась вдруг, ясно сознаваемая обществом и народом, политическая мысль. Чуткая Европа тотчас же это разглядела и следит теперь за русским движением с чрезвычайным вниманием. Сознательная политическая мысль в нашем народе — для нее совершенная неожиданность. Она предчувствует нечто новое, с чем надо считаться; в ее уважении мы выросли. Самые слухи и толки о политическом и социальном разложении русского общества, как национальности, давно уже крепившиеся в Европе, несомненно должны получить теперь, в глазах ее, сильное опровержение: оказалось, что, когда надо, русские умеют и соединяться. Да и самые разлагающие силы наши, — буде она существованию таковых продолжает верить, естественно должны теперь, в ее убеждении, принять сами собою другое направление и другой исход. Да, много взглядов с этой эпохи должно впредь измениться. Одним словом, это всеобщее и согласное русское движение свидетельствует уже и о зрелости национальной в некоторой значительной даже степени и не может не вызывать к себе уважения.

Русские офицеры едут в Сербию и слагают там свои головы. Движение русских офицеров и отставных русских солдат в армию Черняева все время возрастало и продолжает возрастать прогрессивно. Могут сказать: «это потерянные люди, которым дома было нечего делать, поехавшие, чтоб куда-нибудь поехать, карьеристы и авантюристы». Но, кроме того, что (по многим и точным данным) эти «авантюристы» не получили никаких денежных выгод, а в большинстве даже едва доехали, кроме того, некоторые из них, еще бывшие на службе, несомненно должны были проиграть

по службе своим, хотя бы и временным, выходом в отставку. Но — кто бы они ни были, что, однако, мы слышим и читаем об них? Они умирают в сражениях десятками и выполняют свое дело геройски; на них уже начинает твердо опираться юная армия восставших славян, созданная Черняевым. Они славят русское имя в Европе и кровью своею единят нас с братьями. Эта геройски пролитая их кровь не забудется и зачтется. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Это пионеры русской политической идеи, русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европою.

Обозначилась и еще одна русская личность, обозначилась строго, спокойно и даже величаво, — это генерал Черняев. Военные действия его шли доселе с переменным счастьем, но в целом — до сих пор пока еще с очевидным перевесом в его сторону. Он создал в Сербии армию, он выказал строгий, твердый, неуклонный характер. Кроме того, отправляясь в Сербию, он рисковал всей своей военной славой, уже приобретенной в России, а стало быть, и своим будущим. В Сербии, как обозначилось лишь недавно, он согласился принять начальство лишь над отдельным отрядом и лишь недавно только был утвержден в звании главнокомандующего. Армия, с которою он выступил, состояла из милиции, из новобранцев, никогда не видавших ружья, из мирных граждан — прямо от сохи. Риск был чрезвычайный, успех сомнительный: это была воистину жертва для великой цели. Создав армию, обучив ее, устроив и направив по возможности, генерал Черняев стал оперировать тверже, смелее. Ему удалось одержать весьма значительную победу. В последнее время он должен был отступить перед напором втрое сильнеею неприятели. Но он

отступил, сохранив армию, не разбитый, сильный, вовремя, и занял крепкую позицию, которую не осмелились атаковать «победители». Если судить по-настоящему, генерал Черняев едва только лишь начинает свои главные действия. Армия его, впрочем, не может уже более ждать ниоткуда поддержки, тогда как неприятельская может чрезвычайно еще возрасти в силах. К тому же политические соображения сербского правительства могут сильно помешать ему довести свое дело до конца. Тем не менее это лицо уже обозначилось твердо и ясно: военный талант его бесспорен, а характером своим и высоким порывом души он, без сомнения, стоит на высоте русских стремлений и целей. Но об генерале Черняеве еще вся речь впереди. Замечательно, что с отъезда своего в Сербию он в России приобрел чрезвычайную популярность, его имя стало народным. И немудрено: Россия понимает, что он начал и повел дело, совпадающее с самыми лучшими и сердечными ее желаниями, — и поступком своим заявил ее желания Европе. Что бы ни вышло потом, он может уже гордиться своим делом, а Россия не забудет его и будет любить его.

Октябрь

Простое, но мудреное дело

Пятнадцатого октября решилось в суде дело той мачехи, которая, помните, полгода назад, в мае месяце, выбросила из окошка, из четвертого этажа, свою маленькую падчерицу, шести лет, и еще ребенок каким-то чудом остался цел и здоров. Эта мачеха, крестьянка Екатерина Корнилова, двадцати лет, была за вдовцом, который с нею, по показаниям ее, ссорился, не

пускал ее в гости к родным, да и родных ее не принимал к себе, попрекал ее покойной женой своей и тем, что при той хозяйстве у него шло лучше, и т. д. и т. д., словом, «довел ее до того, что она перестала любить его», и, чтоб отомстить ему, вздумала выкинуть его дочь от той прежней жены, которую он попрекал ее, за окошко, что и исполнила. Одним словом, история, — кроме чудесного спасения ребенка, — по-видимому, представляется довольно простою и ясною историей. С этой точки, то есть с точки «простоты», взглянул на дело и суд, и тоже самым простейшим образом присудил Екатерину Корнилову, «имевшую при совершении преступления более семнадцати лет и менее двадцати, сослать в каторжные работы на два года и восемь месяцев, а по окончании работ сослать в Сибирь навсегда».

И однако, несмотря на всю простоту и ясность, остается тут как бы нечто и не совсем разъяснившееся. Подсудимая (довольно приятная лицом женщина) судилась в последнем периоде беременности, так что в зал заседания суда, на всякий случай, была приглашена и акушерка. Еще в мае, когда случилось это преступление (и когда, стало быть, подсудимая была на четвертом месяце беременности), я записал в моем майском «Дневнике» (впрочем, мельком и мимоходом, рассматривая рутинность и казенщину приемов нашей «адвокатуры») следующие слова: «Вот это-то и возмутительно... тогда как, действительно, поступок этого изверга-мачехи *слишком уж странен* и, может быть, в самом деле должен потребовать тонкого и глубокого разбора, который мог бы даже послужить к облегчению преступницы». Вот что я написал тогда. Теперь проследите по фактам. Во-первых, подсудимая сама признала себя виновною, и это сейчас после совершения

преступления, сама же и донесла на себя. Она рассказала тогда же, в участке, что еще накануне думала покончить с падчерицей, которую возненавидела из злобы на мужа, но накануне вечером помешало присутствие мужа. На другой же день, когда тот ушел на работу, она отворила окно, составила на одну сторону подоконника горшки с цветами и велела девочке влезть на подоконник и посмотреть вниз, в окошко. Девочка, разумеется, полезла, может быть даже с охотой, думая и бог знает что под окном увидет; но как только влезла, стала на колени и заглянула, опершись руками, в окно, то мачеха приподняла ее сзади за ножки, и та бултыхнулась в пространство. Преступница, поглядев вниз на слетевшего ребенка (так сама рассказывает), затворила окошко, оделась, заперла комнату и отправилась в участок — доложить о случившемся. Вот факты, кажется, чего бы проще, а между тем сколько тут фантастического, не правда ли? наших присяжных обвиняли до сих пор, и даже нередко, за иные, действительно уже фантастические, оправдания подсудимых. Иногда возмущалось даже нравственное чувство самых, так сказать, посторонних людей. Мы понимали, что можно жалеть преступника, но нельзя же зло называть добром в таком важном и великом деле, как суд; между тем бывали оправдания почти что в этом роде, то есть зло почти что признавалось добром, по крайней мере очень немного недоставало к тому. Являлась или ложная сентиментальность, или непонимание самого принципа суда, непонимание того, что в суде первое дело, первый принцип дела состоит в том, чтобы зло было определено по возможности, по возможности указано и названо злом всенародно. А там, потом, смягчение участи преступника, забота об

исправлении его и т. д. и т. д., — это всё уже другие вопросы, весьма глубокие, огромные, но совершенно различные от дела судебного, а относящиеся совсем к другим отделам жизни общества — отделам, надо сознаться, еще далеко не определившимся и даже совсем у нас не формулированным, так что по этим отделам общественной деятельности, может быть, еще и первого аза не произнесено. А пока в судах наших эти обе *разные идеи* смешиваются, и выходит иногда бог знает что. Выходит, что преступление как бы не признается преступлением вовсе; обществу, напротив, как бы возвещается, да еще судом же, что совсем, дескать, и нет преступления, что преступление, видите ли, есть только болезнь, происходящая от ненормального состояния общества, — мысль до гениальности верная в *иных* частных применениях и в известных разрядах явлений, но совершенно ошибочная в применении к целому и общему, ибо тут есть некоторая черта, которую невозможно переступить, иначе пришлось бы совершенно обезличить человека, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его к пушинке, зависящей от первого ветра, одним словом, возвестить как бы какую-то новую природу человека, теперь только что открытую какой-то новой наукой. Между тем этой науки еще нет и даже не начиналось. Так что все эти милостивые приговоры суда присяжных, в которых иногда ясно доказанное и подкрепленное полным сознанием преступника преступление отрицалось прямо: «не виновен, не делал, не убивал», — все эти милостивые приговоры (кроме редких случаев, когда они были действительно у места и безошибочны) удивляли народ, а в обществе возбуждали насмешку и недоумение. И что ж, вот теперь, как только я прочел о решении

судьбы крестьянки Корниловой (в каторгу на два года и восемь месяцев), мне вдруг пришло в голову: вот бы им теперь-то оправдать ее, — вот бы теперь сказать: «не было преступления, не убивала, не вышвыривала из окошка». Впрочем, не буду пускаться в какие-нибудь отвлеченности или в чувства, чтоб развить мою мысль. Мне *просто* кажется, что тут был даже как бы незаконнейший повод оправдать подсудимую, — а именно, — ее беременность.

Всем известно, что женщина во время беременности (да еще первым ребенком) бывает весьма часто даже подвержена иным странным влияниям и впечатлениям, которым странно и фантастично подчиняется ее дух. Эти влияния принимают иногда, — хотя, впрочем, в редких случаях, — чрезвычайные, ненормальные, почти нелепые формы. Но что в том, что это редко случается (то есть слишком уж чрезвычайные-то явления), — в настоящем случае слишком довольно и того соображения для решающих судьбу человека, что они случаются и даже только могут случаться. Доктор Никитин, исследовавший преступницу (уже после преступления), заявил, что, по его мнению, Корнилова совершила свое преступление *сознательно*, хотя можно допустить раздражение и аффект. Но, во-первых, что может означать тут слово: *сознательно*? Бессознательно редко что-нибудь делается людьми, разве в лунатизме, в бреду, в белой горячке. Разве не знает даже хоть и медицина, что можно совершить нечто и совершенно сознательно, а между тем неменяемо. Да вот хоть бы взять сумасшедших: большинство их безумных поступков происходит совершенно сознательно, и они их помнят; мало того, дадут вам в них отчет, будут их защищать перед вами, будут из-за них с вами спорить, и иногда так логично,

что, пожалуй, и вы станете в тупик. Я, конечно, не медик, но я, например, запомнил, как рассказывали, еще в детстве моем, про одну даму в Москве, которая, каждый раз, когда бывала беременна и в известные периоды беременности, получала необычайную, неудержимую страсть к воровству. Она воровала вещи и деньги у знакомых, к которым ездила в гости, у гостей, которые к ней ездили, даже в лавках и магазинах, куда заезжала что-нибудь купить. Потом эти краденые вещи возвращались ее домашними по принадлежности. Между тем это была дама слишком не бедная, образованная, хорошего круга; по прошествии этих нескольких дней странной страсти, ей и в голову бы не могло прийти воровать. Всеми решено было тогда, не исключая и медицины, что это лишь временный аффект беременности. Между тем, уж конечно, она воровала сознательно и вполне давая себе в этом отчет. Сознание сохранялось вполне, но лишь перед влечением она не могла устоять. Надо полагать, что медицинская наука вряд ли может сказать и до сих пор, в подобных явлениях, что-нибудь в точности, то есть насчет духовной стороны этих явлений: по каким именно законам происходят в душе человеческой такие переломы, такие подчинения и влияния, такие сумасшествия без сумасшествия, и что собственно тут может значить и какую играет роль сознание? Довольно того, что возможность влияний и чрезвычайных подчинений, во время беременности женщин, кажется неоспорима... И что в том, повторяю, что слишком чрезвычайные влияния эти слишком редко и встречаются: для совести судящего достаточно, в таких случаях, лишь соображения, что они все же могут случиться. Положим, скажут: не пошла же она воровать,

как та дама, или не выдумала же чего-нибудь необыкновенного, а, напротив, сделала все именно как раз *относящееся к делу*, то есть просто отомстила ненавистному мужу убийством его дочери от той прежней жены его, которою ее попрекали. Но, воля ваша: хоть тут и понятно, но все же *не просто*; хоть тут и логично, но согласитесь, что — не будь она беременна, может быть, этой логики и не произошло бы вовсе. Произошло бы, например, вот что: оставшись одна с падчерицей, прибитая мужем, в злобе на него, она бы подумала в горьком раздражении, про себя: «Вот бы вышвырнуть эту девчонку, ему назло, за окошко», — подумала бы, *да и не сделала*. Согрешила бы мысленно, а не делом. А теперь, в беременном состоянии, *взяла да и сделала*. И в том, и в другом случае логика была та же, но разница-то большая.

По крайней мере присяжные, если б оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: «хоть и редко-де бывают такие болезненные аффекты, но ведь все же бывают; ну так что, если и в настоящем случае был аффект беременности?» Вот соображение. По крайней мере, в этом случае милосердие было бы всем понятно и не возбуждало бы шатания мысли. И что в том, что могла выйти ошибка: лучше уж ошибка в милосердии, чем в казни, тем более, что тут и проверить-то никак невозможно. Преступница первая же считает себя виновною; она сознается сейчас же после преступления, созналась и через полгода на суде. Так и в Сибирь, может быть, пойдет, по совести и глубоко в душе считая себя виновною; так и умрет, может быть, каясь в последний час и считая себя душегубкой; и вдомек ей не придет, да и никому на свете, о каком-то болезненном аффекте, бывающем в беременном состоянии, а он-то,

может быть, и был всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло... Нет, из двух ошибок уж лучше бы выбрать ошибку милосердия. Спать было бы лучше потом... А впрочем, что ж я: занятому человеку не о спанье думать; у занятого человека сто таких дел, и спит он крепко, когда дорвется до постели усталый. Это у праздного человека, у которого в целый год одно такое дело случится или два, — это у того бывает много времени думать. Такому, пожалуй, и начнет мерещиться, от нечего делать. Одним словом, праздность есть мать всех пороков.

А кстати, тут ведь сидела акушерка и — посмотрите: осудив преступницу, осудили вместе с нею и ее младенца, еще не родившегося, — не правда ли, как это странно? Положим, что неправда; но согласитесь, что как будто очень похоже на правду, да еще самую полную. В самом деле, ведь вот уж он, еще прежде рождения своего, осужден в Сибирь вслед за матерью, которая его вскормить должна. Если же он пойдет с матерью, то отца лишится; если же обернется как-нибудь дело так, что оставит его у себя отец (не знаю, может ли он теперь это сделать), то лишится матери... Одним словом, еще до рождения лишен семьи, это во-первых, а потом он вырастет, узнает все про мать и будет... А впрочем, мало ли что будет, лучше смотреть на дело *просто*. Просто посмотреть — и исчезнут все фантазмагии. Так и надо в жизни. Я даже так думаю, что все этикие вещи, с виду столь необыкновенные, на деле всегда обделываются самым обыкновенным и до неприличия прозаическим образом. В самом деле, посмотрите: этот Корнилов теперь опять вдовец — ведь он тоже теперь свободен, брак его расторгнут ссылкой в Сибирь его жены; и вот его жена — не жена, родит ему на днях сына (потому что

разродиться-то ей уж наверно дадут до дороги), и пока она будет больна, в острожной больнице или там, куда ее на это время положат, Корнилов, бьюсь об заклад в этом, будет ее навещать самым прозаическим образом и, знаете, ведь почем знать, может быть, с этой же девчонкой, за окошко вылетевшей, и будут они сходитья и говорить всё об делах самых простых и насущных, об каком-нибудь там мизерном холсте, об теплых сапогах и валенках ей в дорогу. Почем знать, может быть, самым задушевным образом сойдутся теперь, когда их развели, а прежде ссорились. И не попрекнут, может быть, друг друга даже и словом, а разве так только поохают на судьбу. Друг дружку и себя жалеючи. Эта же вылетевшая из окна девчонка, повторяю, наверно будет бегать от отца каждый день на побегушках «к мамоньке», калачи ей носить: «Вот, дескать, мамонька, тятенька вам чаю с сахаром еще прислали, а завтра сами зайдут». Самое трагическое будет то, что завоют, может быть, в голос, когда будут прощаться на железной дороге, в последнюю минуту, между вторым и третьим звонком; завоюет тут же и девчонка, разинув рот до ушей, на них глядя, а они наверно поклонятся оба, каждый в свою очередь, друг другу в ноги: «прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, не помяни лихом»; а та ему: «прости и ты меня, батюшка Василий Иванович (или там как его), виновата я перед тобой, вина моя великая...» А тут еще грудной младенчик заголосит, который уж наверно тут же будет находиться, — возьмет ли она его с собой или у отца оставит. Одним словом, с нашим народом никогда поэмы не выйдет, не правда ли? Это самый прозаический народ в мире, так что почти даже стыдно за него в этом отношении становится. Ну, то ли, например, вышло бы в Европе: какие страсти, какие мщения и при каком

достоинстве! Ну, попробуйте описать это дело в повести, черту за чертой, начиная с молодой жены у вдовца до швырка у окна, до той минуты, когда она поглядела в окошко: расшибся ли ребенок, — и тотчас в часть пошла; до той минуты, как сидела на суде с акушеркой, и вот до этих последних проводин и поклонов, и... и представьте, ведь я хотел написать «и, уж конечно, ничего не выйдет», а между тем ведь оно, может, вышло бы лучше всех наших поэм и романов с героями «с раздвоенною жизнью и высшим прозрением». Даже, знаете, ведь я просто не понимаю, чего это смотрят наши романисты: ведь вот бы им сюжет, вот бы описать черту за чертой одну правду истинную! А, впрочем, что ж я, забыл старое правило: не в предмете дело, а в глазе: есть глаз — и предмет найдется, нет у вас глаза, слепы вы, — и ни в каком предмете ничего не отыщете. О, глаз дело важное: что на иной глаз поэма, то на другой — куча...

А неужели нельзя теперь смягчить как-нибудь этот приговор Корниловой? Неужели никак нельзя? Право, тут могла быть ошибка... Ну так вот и мерещится, что ошибка!

Несколько заметок о простоте и упрощенности

Теперь о другом. Теперь бы мне хотелось заявить кое-что насчет простоты вообще. Мне припомнился один маленький и старинный со мной анекдот. Лет тринадцать тому назад, в самое «смутное» время наше, на иной взгляд, и в самое «прямолинейное» — на другой, раз, зимой, вечером, я зашел в одну библиотеку для чтения, в Мещанской (тогда еще) улице, по соседству от меня: я

надумал тогда одну критическую статью, и мне понадобился один роман Теккерея для выписки из него. В библиотеке меня встретила одна барышня (тогдашняя барышня). Я спросил роман; она выслушала меня с строгим видом.

— Мы такого вздора не держим, — отрезала она мне с невыразимым презрением, которого, ей-богу, я не заслуживал.

Я, конечно, не удивился и понял в чем дело. Тогда много было подобных явлений, и они как-то вдруг тогда начались, с восторгом и внезапностью. Идея попала на улицу и приняла самый уличный вид. Вот тогда-то страшно доставалось Пушкину и вознесены были «сапоги».^[204] Однако я все-таки попытался поговорить.

— Неужели вы считаете и Теккерея вздором? — спросил я, принимая самый смиренный вид.

— К стыду вашему относится, что вы это спрашиваете. Нынче прежнее время прошло, нынче разумный спрос...

С тем я и ушел, оставив барышню чрезвычайно довольною прочитанным мне уроком. Но простота взгляда поразила меня ужасно, и именно тогда я задумался о *простоте* вообще и об нашей русской стремительности к обобщению, в частности. Эта удовлетворимость наша простейшим, малым и ничтожным по меньшей мере поразительна. Мне скажут на это, что случай этот маленький и вздорный, что барышня была неразвитая дурочка и, главное,

²⁰⁴ Вот тогда-то страшно доставалось Пушкину, и вознесены были «сапоги». — Формулой «сапоги выше Пушкина» Достоевский характеризовал утилитаризм журнала «Русское слово».

необразованная, что и вспоминать анекдота не стоило и что барышне, например, ничего не стоило представить себе, что вот до нее все и вся Россия были дураки, а вот теперь вдруг явились все умники, и она в том числе. Я это все сам знаю, знаю тоже, что эта барышня наверно только это и умела сказать, то есть об «разумном спросе» и об Теккерее, да и то с чужого голоса, и это по лицу ее было видно, но все же анекдот этот остался у меня с тех пор в уме, как сравнение, как аполог,^[205] даже почти как эмблема. Вникните в теперешние суждения, вникните в теперешний «разумный спрос» и в теперешние приговоры, и не только об Теккерее, но и обо всем народе русском: какая иногда *простота!* Какая прямолинейность, какая скорая удовлетворимость мелким и ничтожным на слово, какая всеобщая стремительность поскорее успокоиться, произнести приговор, чтоб уж не заботиться больше, и — поверьте, это чрезвычайно еще долго у нас простоит. Посмотрите: все теперь верят в искренность и действительность народного движения в этом году, а между тем даже вера уж не удовлетворяет, требуется еще чего-нибудь попроще. При мне рассказывал один из членов одной комиссии, что он получил довольно много писем с такими, например, вопросами: «Для чего тут непременно славяне? Для чего мы помогаем славянам как славянам? И если б в таком положении были скандинавы, то будем ли мы точно так же помогать им, как и славянам?» Одним словом, для чего эта рубрика славян (помните заботы о рубрике единоверия в «Вестнике Европы», о которых я говорил в прошлом «Дневнике» моем). Казалось бы, на первый взгляд, что тут вовсе не простота, не стремление

²⁰⁵ *Аполог* — басня, иносказательное повествование поучительного характера.

упростить, а, напротив, в вопросах этих слышится беспокойство; но простота в этом случае заключается именно в желании добиться до nihil'я^[206] и до tabula rasa, — значит, тоже в своем роде успокоиться. Ибо что проще и что успокоительнее нуля? Заметьте тоже, что в этих вопросах опять хоть и косвенно слышался «разумный спрос» и «к стыду вашему относится».

Сомнения нет, что есть очень многие из самых интеллигентных и, так сказать, высших людей наших, которым это народное, тихое и смиренное, но твердое и сильное слово в высшей степени не понравилось — и не потому, что не поняли они его, а, напротив, потому, что слишком поняли, до того, что оно их несколько даже и призадачило. По крайней мере, несомненно начинаются теперь признаки сильной реакции. Я не про те невинные голоса говорю, которые еще и прежде слышались, в виде невольного брюзжания и несогласия из-за излюбленных старых принципов на старые темы, например на ту, что «не надо-де уж так очень спешить и увлекаться таким делом, все же ведь грубым и непросвещенным, как помощь славянам как славянам, потому, что они какие-то там наши „братья“, и пр. и пр. Нет, я не про этих разумно-либеральных старичков говорю, пережевывающих старые фразы, а про настоящую реакцию народному движению, которая, по всем признакам, очень скоро подымет голову. Вот эта-то реакция естественно и невольно примыкает к тем господам, которые, давно уже упростив свой взгляд на Россию до последних пределов ясности, готовы сказать: „Взять бы, дескать, да и запретить все явление, чтобы все лежало в косном порядке по-прежнему“. И

²⁰⁶ До ничего (лат.).

представьте, ведь этим упрощителям вовсе не по фантастичности своей не нравится это „явление“, то есть в том, например, смысле, что вот такая до сих пор косная бестолковая простота осмелилась вдруг заговорить, как будто и в самом деле нечто сознательное и живое. Такой смысл был бы понятен: просто обидно стало, вот и всего. Напротив, не понравилось им все это явление именно за то, что из фантастического стало оно вдруг всем понятно: „как смело оно стать вдруг всем понятным, как смело получить такой упрощенный и разумный вид?“ Вот это-то негодование, как я сказал уже, встретило поддержку себе и в интеллигентных старичках наших, всеми силами старающихся „упростить“ и низвести „явление“ с разумного на что-то стихийное, первоначальное, хоть и добродушное, но все же невежественное и могущее повредить. Одним словом, реакция из всех сил и всеми путями стремится прежде всего к упрощению... А между тем от этой чрезмерной упрощенности воззрений на иные явления иногда ведь проигрывается собственное дело. В иных случаях простота вредит самим упрощителям. Простота не меняется, простота „прямолинейна“ и сверх того — высокомерна. Простота враг анализа. Очень часто кончается ведь тем, что в простоте своей вы начинаете не понимать предмета, даже не видите его вовсе, так что происходит уже обратное, то есть ваш же взгляд из простого сам собою и невольно переходит в фантастический. Это именно происходит у нас от взаимной, долгой и все более и более возрастающей оторванности одной России от другой. Наша оторванность именно и началась с *простоты взгляда одной России на другую*. Началась она ужасно давно, как известно, еще в Петровское время, когда выработалось

впервые необычайное упрощение взглядов высшей России на Россию народную, и с тех пор, от поколения к поколению, взгляд этот только и делал у нас, что упрощался.

Два самоубийства

Недавно как-то мне случилось говорить с одним из наших писателей^[207] (большим художником) о комизме в жизни, о трудности определить явление, назвать его настоящим словом. Я именно заметил ему перед этим, что я, чуть не сорок лет знающий «Горе от ума», только в этом году понял как следует один из самых ярких типов этой комедии, Молчалина, и понял именно, когда он же, то есть этот самый писатель, с которым я говорил, разъяснил мне Молчалина, вдруг выведя его в одном из своих сатирических очерков.^[208] (Об Молчалине я еще когда-нибудь поговорю, тема знатная.)

— А знаете ли вы, — вдруг сказал мне мой собеседник, видимо давно уже и глубоко пораженный своей идеей, — знаете ли, что, что бы вы ни написали, что бы ни вывели, что бы ни отметили в художественном произведении, — никогда вы не сравняетесь с действительностью. Что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вы вот думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть! Действительность тотчас же

²⁰⁷ ...случилось говорить с одним из наших писателей... — Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине.

²⁰⁸ ...в одном из своих сатирических очерков. — Имеется в виду сатирический цикл Салтыкова-Щедрина «Господа Молчалины».

представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы еще и не предлагали и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение!..

Это я знал еще с 46-го года, когда начал писать, а может быть и раньше, — и факт этот не раз поражал меня и ставил меня в недоумение о полезности искусства при таком видимом его бессилии. Действительно, проследите иной, даже вовсе и не такой яркий на первый взгляд факт действительной жизни, — и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Но ведь в том-то и весь вопрос: *на чем глаз и кто в силах?* Ведь не только чтоб создавать и писать художественные произведения, но и чтоб только приметить факт, нужно тоже в своем роде художника. Для иного наблюдателя все явления жизни проходят в самой трогательной простоте и до того понятны, что и думать не о чем, смотреть даже не на что и не стоит. Другого же наблюдателя те же самые явления до того иной раз озаботят, что (случается даже и нередко) — не в силах, наконец, их обобщить и упростить, вытянуть в прямую линию и на том успокоиться, — он прибегает к другого рода упрощению и *просто-запросто* сажает себе пулю в лоб, чтоб погасить свой измученный ум вместе со всеми вопросами разом. Это только две противоположности, но между ними помещается весь наличный смысл человеческий. Но, разумеется, никогда нам не исчерпать всего явления, не добраться до конца и начала его. Нам знакомо одно лишь насущное видимо-текущее, да и то понаглядке, а концы и начала — это все еще пока для человека фантастическое.

К стати, один из уважаемых моих корреспондентов^[209] сообщил мне еще летом об одном странном и неразгаданном самоубийстве, и я все хотел говорить о нем. В этом самоубийстве все, и снаружи и внутри, — загадка. Эту загадку я, по свойству человеческой породы, конечно, постарался как-нибудь разгадать, чтоб на чем-нибудь «остановиться и успокоиться». Самоубийца — молодая девушка лет двадцати трех или четырех, не больше, дочь одного слишком известного русского эмигранта^[210] и родившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. В газетах, кажется, смутно упоминалось о ней в свое время, но очень любопытны подробности: «Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать... Так и умерла. Перед смертью написала следующую записку:

«Je m'en vais entreprendre un long voyage. Si cela ne réussit pas qu'on se rassemble pour fêter ma résurrection avec du Cliquot. *Si cela réussit*, je prie qu'on ne me laisse enterrer que tout à fait morte, puisqu'il est très désagréable de se réveiller dans un cercueil sous terre. *Ce n'est pas chic!*»

То есть по-русски:

«Предпринимаю длинное путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами

²⁰⁹ ...один из уважаемых моих корреспондентов... — Имеется в виду К.П. Победоносцев.

²¹⁰ ...дочь одного слишком известного русского эмигранта... — Имеется в виду дочь А. И. Герцена Елизавета, подлинный текст письма которой отличается от приведенного, цитируемого через опосредованные источники.

Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землей. *Очень даже не шикарно выйдем!»*

В этом гадком, грубом шике, по-моему, слышится вызов, может быть негодование, злоба, — но на что же? Просто грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимой, внешней причины, а по тону записки видно, что у нее не могло быть такой причины. На что же могло быть негодование?.. на простоту представляющегося, на бессодержательность жизни? Это те, слишком известные, судьи и отрицатели жизни, негодующие на «глупость» появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которой нельзя помириться? Тут слышится душа именно возмущившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конечно, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее; всему она, чему научена была с детства, верила прямо, на слово, и это вернее всего. Значит, просто умерла от «холодного мрака и скуки», с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто стало душно жить вроде того, как бы воздуху не достало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно потребовала чего-нибудь более сложного...

С месяц тому назад во всех петербургских газетах появилось несколько коротеньких строчек мелким шрифтом об одном петербургском самоубийстве: выбросилась из окна, из четвертого этажа одна бедная

молодая девушка, швея, — «потому что никак не могла приискать себе для пропитания работы». Прибавлялось, что выбросилась она и упала на землю, *держа в руках образ*. Этот образ в руках — странная и неслыханная еще в самоубийстве черта! Это уж какое-то кроткое, смиренное самоубийство. Тут даже, видимо, не было никакого ропота или попрека: просто — стало нельзя жить, «Бог не захотел» и — умерла, помолившись. Об иных вещах, как они с виду ни *просты*, долго не перестаете думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноваты. Эта кроткая, истребившая себя душа невольно мучает мысль. Вот эта-то смерть и напомнила мне о сообщенном мне еще летом самоубийстве дочери эмигранта. Но какие, однако же, два разные создания, точно обе с двух разных планет! И какие две разные смерти! А которая из этих душ больше мучилась на земле, если только приличен и позволителен такой праздный вопрос?

Приговор

Кстати, вот одно рассуждение одного самоубийцы от скуки, разумеется матерьялиста.

«...В самом деле: какое право имела эта природа производить меня на свет, вследствие каких-то там своих вечных законов? Я создан с сознанием и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня, без моей воли на то, сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего, но я не хочу страдать — ибо для чего бы я согласился страдать? Природа, чрез сознание мое, возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Человеческое сознание наделало из этого возвещения религий. Она говорит мне, что я, — хоть и знаю вполне,

что в «гармонии целого» участвовать не могу и никогда не буду, да и не пойму ее вовсе, что она такое значит, — но что я все-таки должен подчиниться этому возвещению, должен смириться, принять страдание в виду гармонии в целом и согласиться жить. Но если выбирать сознательно, то, уж разумеется, я скорее пожелаю быть счастливым лишь в то мгновение, пока я существую, а до целого и его гармонии мне ровно нет никакого дела после того, как я уничтожусь, — останется ли это целое с гармонией на свете после меня или уничтожится сейчас же вместе со мною. И для чего бы я должен был так заботиться о его сохранении после меня — вот вопрос? Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди *соглашаются* жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные, то есть есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей. Есть, пить и спать по-человеческому значит наживаться и грабить, а устраивать гнездо значит по преимуществу грабить. Возразят мне, пожалуй, что можно устроиться и устроить гнездо на основаниях разумных, на научно верных социальных началах, а не грабежом, как было доныне. Пусть, а я спрошу: для чего? Для чего устроиваться и употреблять столько стараний устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? На это, уж конечно, никто не сможет мне дать ответа. Все, что мне могли бы ответить, это: «чтоб получить наслаждение». Да, если б я был

цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, даже и при самом высшем и *непосредственном* счастье любви к ближнему и любви ко мне человечества, ибо знаю, что завтра же все это будет уничтожено: и я, и все счастье это, и вся любовь, и все человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос. А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его. Ну, пусть бы я умер, а только человечество оставалось бы вместо меня вечно, тогда, может быть, я все же был бы утешен. Но ведь планета наша невечна, и человечеству срок — такой же миг, как и мне. И как бы разумно, радостно, праведно и свято ни устроилось на земле человечество, — все это тоже приравняется завтра к тому же нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству, глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого.

И наконец, если б даже предположить эту сказку об устроенном наконец-то на земле человеке на разумных и научных основаниях — возможною и поверить ей, поверить грядущему наконец-то счастью людей, — то уж одна мысль о том, что природе необходимо было, по каким-то там косным законам ее, истязать человека тысячелетия, прежде чем довести его до этого счастья, одна мысль об этом уже невыносимо возмутительна.

Теперь прибавьте к тому, что той же природе, допустившей человека наконец-то до счастья, почему-то необходимо обратить все это завтра в нуль, несмотря на все страдание, которым заплатило человечество за это счастье, и, главное, нисколько не скрывая этого от меня и моего сознания, как скрыла она от коровы, — то невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль: «ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтоб только посмотреть: уживется ли подобное существо на земле или нет?» Грусть этой мысли, главное — в том, что опять-таки нет виноватого, никто пробы не делал, некого проклясть, а просто все произошло по мертвым законам природы, мне совсем непонятным, с которыми сознанию моему никак нельзя согласиться. Ergo:^[211]

Так как на вопросы мои о счастье я через мое же сознание получаю от природы лишь ответ, что могу быть счастлив не иначе как в гармонии целого, которой я не понимаю, и очевидно для меня, и понять никогда не в силах —

Так как природа не только не признает за мной права спрашивать у нее отчета, но даже и не отвечает мне вовсе — и не потому, что не хочет, а потому, что и не может ответить —

Так как я убедился, что природа, чтоб отвечать мне на мои вопросы, предназначила мне (бессознательно) *меня же самого* и отвечает мне моим же сознанием (потому что я сам это все говорю себе) —

Так как, наконец, при таком порядке, я принимаю на себя в одно и то же время роль истца и ответчика,

²¹¹ Следовательно (лат.).

подсудимого и судьи и нахожу эту комедию, со стороны природы, совершенно глупую, а переносить эту комедию, с моей стороны, считаю даже унижительным —

То, в моем несомненном качестве истца и ответчика, судьи и подсудимого, я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого».

N. N.

Лучшие люди

Лучшие люди, — эта тема стоит того, чтоб сказать о ней несколько слов. Это те люди, без которых не живет и не стоит никакое общество и никакая нация, при самом даже широком равенстве прав. *Лучшие люди* бывают, естественно, двух родов: 1) перед которыми и сам народ и сама нация добровольно и свободно склоняют себя, чтя их истинную доблесть, и 2) перед которыми все или очень многие, из народа или нации, преклоняют себя по некоторому, так сказать, уже принуждению, и если и считают их «лучшими людьми», то уже несколько условно, а не то чтобы вполне в самом деле. На существование этого «условного» разряда лучших людей, так сказать, официально признанных лучшими для высших целей порядка и твердости управления, — роптать нельзя: ибо происходят этого сорта «лучшие люди» по закону историческому и существовали доселе во всех нациях и государствах с начала мира, так что никакое даже общество не могло устроиться и связать себя в целое без некоторого в этом роде добровольного

над собою насилия. Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо кого-нибудь и что-нибудь уважать непременно, и, главное, всем обществом, а не то чтобы каждому как он хочет про себя. Так как лучшие люди первого разряда, то есть истинно доблестные и перед которыми все или величайшее большинство нации преклоняются сердечно и несомненно, — отчасти иногда неуловимы, потому что даже идеальны, подчас трудно определимы, отличаются странностями и своеобразностью, а снаружи так и весьма нередко имеют несколько даже неприличный вид, то взамен их и устанавливаются лучшие люди уже *условно*, в виде, так сказать, касты лучших людей, под официальным покровительством: «Вот, дескать, сих уважайте». Если же при этом эти «условные» и действительно совпадают с лучшими людьми первого разряда (потому что не все же и в первом разряде имеют неприличный вид) и тоже истинно доблестны, то цель не только вполне, но и вдвойне достигается. Таковыми лучшими людьми были у нас с изначала княжеская дружина, потом бояре, священство (но лишь высшее), даже иные именитые купцы, — но последних бывало весьма немного. Надо заметить, что эти лучшие люди, и у нас, и везде, то есть и в Европе, всегда вырабатывали себе под конец довольно стройный кодекс правил доблести и чести, и хоть этот кодекс в целом всегда бывал, конечно, довольно условен и с идеалами народными иногда даже сильно разнился, но в некоторых пунктах и он бывал довольно высок. «Лучший» человек обязательно должен был умереть, например, за отечество, если жертва эта от него требовалась, и он умирал действительно по долгу чести, «потому-де поруха роду моему будет большая», — и, уж конечно, все-таки это было несравненно лучше,

чем право на бесчестье, при котором человек бросает все и всех в минуту опасности и бежит прятаться: «пропадай, дескать, всё на свете, был бы я и животы мои целы». Так велось у нас весьма долго, и надо заметить еще раз, что у нас, в России, эти условные лучшие люди, очень и очень часто и очень во многом, сходились в своих идеалах с лучшими людьми безусловными, то есть народными. Ну, конечно, не во всем и даже далеко, но, по крайней мере, смело можно сказать, что несравненно больше было тогда нравственного сближения между русскими боярами и русским народом, чем в Европе почти повсеместно в то же самое время между победителями тиранами — рыцарями и побежденными рабами — народом.

Но вдруг в организации наших лучших людей явилась и у нас некоторая радикальная даже перемена: лучшие люди, все, по государеву указу, рассортированы были на четырнадцать разрядов,^[212] один другого выше, в виде как бы лестницы, под именем классов, так что получилось ровно четырнадцать разрядов человеческой доблести с немецкими именами. Изменение это в дальнейшем развитии своем отчасти и не достигло первоначальной цели, с которой было устроено, ибо прежние «лучшие люди» тотчас же сами заняли и наполнили все эти четырнадцать новых разрядов, и вместо бояр стали только называться дворянством, но отчасти изменение это и достигло цели, потому что оно, даже и очень сильно, раздвинуло старый забор. Явился прилив новых сил снизу общества, по нашей

²¹² ...рассортированы на четырнадцать разрядов... — Подразумевается утвержденная Петром I «Табель о рангах», согласно которой все чины гражданского, военного и придворного ведомств разделялись в строгой иерархии на четырнадцать классов — от канцлера до коллежского регистратора.

терминологии, демократических уже сил, — и особенно из семинаристов. Прилив этот привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслыханным по тогдашнему времени, хотя в то же время и чрезвычайно презиравшие свое прежнее происхождение и с жадностью спешившие преобразиться, посредством чинов, поскорее в чистокровных дворян. Надо заметить, что кроме семинаристов, из народа и из купцов например, лишь весьма немногие пробились в разряд «лучших людей», и дворянство продолжало стоять во главе нации. Разряд этот был весьма сильно организован, и тогда как деньги, собственность, золотой мешок уже царили во всей Европе и считались там уже от искреннего сердца всем, что есть доблестного, всем, что есть лучшего в людях и между людьми, у нас в России, — и это на памяти еще нашей, генерал, например, до того ценился, что и самый богатый купец считал за великую честь залучить его к себе на обед. Еще недавно я читал один анекдот, которому бы не поверил, если б не знал, что он совершенная правда, про одну петербургскую даму, из верхнеклассного круга, которая всенародно согнала в одном концерте одну десятиллионную купчиху с кресел и заняла ее место, да еще выбрала ее публично, — и это всего каких-нибудь тридцать лет назад! Впрочем, надо сказать и то, что эти «лучшие» люди, столь окрепнув на своем месте, усвоили себе и несколько весьма даже хороших правил, например почти *обязательность* для себя хоть какого-нибудь образования, так что вся эта каста лучших людей была в то же время и по преимуществу образованным в России сословием, хранителем и

носителем русского просвещения, каково бы оно ни было. Нечего уж и говорить, что оно было тоже и единственным хранителем и носителем правил чести, но уже совершенно по европейскому шаблону, так что буква и форма правил совершенно осилили под конец искренность содержания: чести было много, ну, а честных людей под конец-то стало уж и не так много. В этот период, и особенно в конце его, сословие «лучших» очень уже отдалилось от народа в своих идеалах «лучшего человека», так что над всеми почти народными представлениями о «лучшем» даже вслух смеялось. Но вдруг произошел один из самых колоссальных переворотов, которые когда-либо переживала Россия: уничтожилось крепостное право и произошла глубокая перемена во всем. Правда, все четырнадцать классов остались как были, но «лучшие люди» как будто поколебались. Вдруг как бы утратилось прежнее обаяние в массе общества, как будто изменились в чем-то взгляды на «лучшее». Правда, изменились частью и не к лучшему; мало того, началось что-то до крайности уже сбивчивое и неопределенное в понимании лучшего; тем не менее прежний взгляд уже не удовлетворял, так что очень у многих начался в сознании чрезвычайно серьезный вопрос: «кого же теперь считать будут *лучшими*, и, главное, откуда их ждать, где взять, кто возьмет на себя провозгласить их лучшими и на каких основаниях? И надобно ль кому-нибудь это брать на себя? Известны ли, наконец, хоть новые основания-то эти, и кто поверит, что они именно те самые, на которых надо столь многое вновь воздвигнуть»? Право, эти вопросы начались было уже очень у многих...

О том же

Все дело заключалось в том, что от прежних «лучших людей» как бы удалилось покровительство авторитета, как бы уничтожилась их официальность. Таким образом, на первый случай, хоть то утешало, что прежняя кастовая форма «лучших людей» если и не разрушилась окончательно, то, по крайней мере, сильно подалась и раздвинулась, так что всякий из них, если б пожелал удержать за собой прежнее значение, то, волей-неволей, из «условных лучших людей» должен был перейти в натуральные. Являлась прекрасная надежда, что «натуральные-то» и займут таким образом, мало-помалу, все места прежних «лучших». Но как это совершится, — разумеется, оставалось загадкой. Для многих, впрочем, весьма почтенных людей, но горячих и либеральных, тут не было никакой загадки. У них все было уже решено как по писаному, а иные так даже думали, что уже все достигнуто и что «натуральный» человек если и не стал еще на первое место сегодня, то завтра, только лишь чуть-чуть рассветет, непременно и станет... Между тем более задумчивые люди не переставали задавать вопросы на прежнюю тему: «да кто они, натуральные-то? знает ли кто-нибудь, как они теперь называются? Не потерян ли, напротив, у нас их идеал окончательно? Где теперь общепризнанный „лучший человек“? Что и кого чтить всем обществом и кому подражать?»

Все это, может быть, и не раздавалось буквально в этих выражениях и именно в форме этих вопросов, но несомненно, однако же, что все это «волнение» пережилось нашим обществом в той или другой форме. Люди пламенные и восторженные кричали скептикам,

что «новый человек» есть, найден, определен, дан. Решили наконец, что этот новый и «лучший» человек есть просто человек просвещенный, «человек» науки и *без прежних предрассудков*. Мнение это не могло, однако, быть принято очень многими по самому простому соображению: что человек образованный — не всегда человек честный и что наука еще не гарантирует в человеке доблести. В эту минуту общей шатости и неопределенности иные попробовали предложить: не обратиться ли, дескать, к народу или к народным началам? Но уж одно слово «народные начала» ужасно многим было давно уже противно и ненавистно; притом же и народ, по освобождении своем, как-то не особенно поспешил заявить себя с своей доблестной стороны, так что искать в нем разрешения таких вопросов было уже сомнительно. Напротив, доходили слухи о беспорядочности, распущенности, страшной сивухе, неудающемся самоуправлении, о кулаках и мироедах, занимающих место прежних помещиков, и, наконец, — о жиде. «Умнейшие» даже писатели провозгласили, что кулак и мироед в народе царствуют, да и вдобавок сам народ принимает их за настоящих «лучших» людей своих. Явилось, наконец, даже одно, совершенно либеральное в высшем смысле, воззрение, что народ наш даже и *не может быть* теперь компетентен в создании идеала лучшего человека, да и не то что сам компетентен, а и участвовать в этом подвиге даже не в силах, что его нужно самого обучить сперва грамоте, образить его, развить его, настроить школ и проч. и проч. Надо признаться, что очень многие из скептиков стали в тупик и не знали, что на это ответить.

А между тем находила новая гроза, наступала новая беда — «золотой мешок»! На место прежних «условных»

лучших людей являлась новая *УСЛОВНОСТЬ*, которая почти вдруг получила у нас страшное значение. О, конечно, золотой мешок был и прежде: он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера; но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время. Прежний купец наш, несмотря на ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллион и капитал, — имел у нас, говоря сравнительно, довольно невысокое место в общественной иерархии. Надо правду сказать — он и не стоил большего. Оговорюсь вперед: я говорю лишь про богатых купцов; большинство же их, не развратившееся еще богатством, жило в виде типов Островского и, может быть, было очень многих не хуже, если только говорить сравнительно, а низшее и самое многочисленное купечество — так даже почти вполне совпадало с народом. Но чем более богател прежний купец, тем становился хуже. В сущности это был тот же мужик, но лишь развращенный. Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда — на тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински, и нравственно и физически. Самое еще лучшее, что в них было, — это их любовь к колоколам и к голосистым диаконам. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсем разрывали с народом. Трудно представить себе что-нибудь менее сходящееся нравственно, как народ и иной миллионер-фабрикант. Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь^[213] через

²¹³ *Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь...* — Петербургский купец-миллионер, торговец мукой С. Т. Овсянников был признан виновным в умышленном поджоге арендованной мельницы, совершенном для получения

Казань, вышвыривал, говорят, ногами подаянные копейки, которые ему наивно кидал народ в экипаж: это уже последняя степень нравственной разорванности с народом, полная потеря самого малейшего понимания народного смысла и духа. И никогда народ не бывал в такой кабале, как на фабриках у иных из этих господ! Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках с фортепианами, нередко орденом за большие пожертвования, нестерпимым чванством над всем, что его пониже, презрением к обыкновенному «обеденному» генералу и в то же время самую низкую приниженность перед высшим сановником, особенно если случалось, иногда бог знает какими происками и стараниями, залучить такого к себе на бал или обед, разумеется для него же и устроенный. Эти старания дать обед особе обращались в программу жизни. Это жаждалось: почти ведь для того и жил миллионер на свете. Само собою, что этот прежний богач купец молился своему миллиону как богу: миллион был в глазах его все, миллион вытащил его из ничтожества, дал ему все значение. В грубой душе этого «развращенного мужика» (так как он продолжал быть им, несмотря на все свои фраки) никогда не могло зародиться ни одной мысли и ни одного чувства, которые хотя бы на мгновение возвысили его в сознании над собственным миллионом. Само собою, несмотря на наружный лоск, вся семья такого купца вырастала безо всякого образования. Миллион не только не способствовал образованию, но, напротив, бывал в этом

большой прибыли.

случае главной причиной невежества: станет сын такого миллионщика учиться в университете, когда и безо всякого ученья можно все получить, тем более что все эти миллионщики, достигая миллиона, весьма часто заручались правами дворянскими. Кроме разврата с самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило в души этого юношества, плотоядного и наглого. А извращенность миросозерцания была чудовищная, ибо надо всем стояло убеждение, преобразившееся для него в аксиому: «Деньгами все куплю, всякую почесть, всякую доблесть, всякого подкуплю и от всего откуплюсь». Трудно представить сухость сердца юношей, возраставших в этих богатых домах. Из чванства и чтобы не отстать от других, такой миллионер, пожалуй, и жертвовал иногда огромные суммы на отечество, в случае, например, опасности (хотя случай такой был лишь раз в двенадцатом году), — но пожертвования он делал в виду наград и всегда готов был, в каждую оставшуюся минуту своего существования, соединиться хоть с первым жидом, чтобы предать всех и всё, если того требовал его барыш; патриотизма, чувства гражданского почти не бывает в этих сердцах.

О, разумеется, я говорю про наш русский торговый миллион лишь в значении касты. Исключения же бывают везде и всегда. Можно указать и у нас на купцов, отличавшихся европейским образованием и доблестными гражданскими подвигами; но из миллионеров их все-таки было крайне немного, даже все наперечет; каста не теряет свой характер от исключений.

И вот, прежние рамки прежнего купца вдруг страшно раздвигаются в наше время. С ним вдруг роднится европейский спекулянт, на Руси еще прежде

неведомый, и биржевой игрок. Современному купцу уже не надо залучать к себе на обед «особу» и давать ей балы; он уже роднится и братается с особой на бирже, в акционерном собрании, в устроенном вместе с особой банке; он уже теперь сам лицо, сам особа. Главное, он вдруг увидал себя решительно на одном из самых высших мест в обществе, на том самом, которое во всей Европе давно уже, и официально и искренно, отведено миллиону, и — уж разумеется, не усумнился сам в себе, что он и впрямь достоин этого места. Одним словом, он все более и более убеждается теперь сам, от самого чистого сердца, что он-то и есть теперь «лучший» человек на земле взамен даже всех бывших прежде него. Но грозящая беда не в том, что он думает такие глупости, а в том, что и другие (и уже очень многие), кажется, начинают точно так же думать. Мешок у *страшного* большинства несомненно считается теперь за все лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. Повторю еще: силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле. В официальной же рассортировке русских людей прежний купеческий мешок даже чиновника не мог пересечь в общественной иерархии. А теперь даже и прежняя иерархия, без всякого даже принуждения со стороны, как будто сама собою готова отодвинуться на второй план перед столь любезным и прекрасным новым «условием» лучшего человека, «столь долго и столь ошибочно не входившего в настоящие права свои». Теперешний биржевик нанимает для услуг своих литераторов, около него увивается адвокат: «эта юная

школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере надобности, школа всевозможных посягновений бесстрашных и безнаказанных, постоянно и неустанно, по мере спроса и требования» — эта юная школа сильно уже попала в тон современному биржевику и запела ему хвалебную песнь. О, не подумайте, что я намекаю на «дело Струсберга»:^[214] адвокаты, провозгласившие в этом деле своих «попавшихся» клиентов идеалами людей, пропевшие им гимн как «лучшим людям всей Москвы» (именно в этом роде), — лишь дали маху. Они показали, что сами-то они — не только люди без малейших серьезных убеждений, но даже без всякой выдержки и без чувства меры, и если и играют у нас роли «европейских талантов», то единственно на безрыбье. В самом деле, они, как дипломаты, запросили сколь возможно больше, чтоб добиться наибольшего *minimum'a*: «не только правы — святы!» Говорят, в публике раздалось даже однажды шиканье. Но адвокат прежде всего не дипломат; сравнение это не верно в самой сущности. Вернее, гораздо вернее было бы, указав на клиента, спросить по-евангельски: «Господа присяжные, кто из вас без греха?»^[215] О, я не против приговора говорю: приговор прав — и я преклоняюсь; он должен был быть произнесен хотя бы над одним только банком. Именно дело было такого характера, что осудить

²¹⁴ ...«дело Струсберга»... — Речь идет о судебном процессе, проходившем в октябре 1876 года в Москве и связанном с крахом Московского коммерческого ссудного банка. Главной фигурой среди подсудимых был немец Б. Г. Струсберг, возглавлявший строительство железной дороги Брест — Гараево и получивший с помощью подкупа ссуду в семь миллионов рублей под обеспечение ничего не стоивших бумаг.

²¹⁵ ...кто из вас без греха? — Цитата из евангельской притчи о Христе и блуднице.

«общественною совестью» этот «попавшийся» несчастный московский ссудный банк — значило тут же осудить и все наши банки, и всю биржу, и всех биржевиков, хотя бы те еще не попались, да ведь не все ли равно? Кто без греха, без того же самого греха, ну-тка, по совести? Кто-то уж напечатал, что наказали их слабо. Оговорюсь, я не на Ляндау^[216] указываю: этот виноват действительно в чем-то необыкновенном, а я и разбирать-то этого не хочу, но Данила Шумахер, приговоренный «за мошенничество»,^[217] ей-богу, наказан ужасно. Взглянем в сердца свои: многие ли из нас не сделали бы того же самого? Вслух не надо признаваться, а так про себя бы только это подумать. Но да здравствует юстиция, мы их все-таки упекли! «Вот, дескать, вам за наше биржевое и развращенное время, вот вам за то, что мы все эгоисты, за то, что мы таких подлых материальных понятий о счастье в жизни и о ее наслаждениях, за наше сухое и предательское чувство самосохранения!» Нет, осудить хоть один банк полезно за наши собственные грехи...

Но, боже, куда я забрался? Неужели и я пишу «о деле Струсберга»? Довольно, и поспешу сократить. Я ведь говорил про «лучшего человека» и хотел лишь вывести, что идеал настоящего лучшего человека, даже «натурального», сильно уже грозил у нас помутиться. Старое разбилось и износилось, новое еще летало в фантазиях, а в действительности и в очах наших

²¹⁶ *Ляндау* — один из подкупленных Струсбергом директоров банка.

²¹⁷ ...*Данила Шумахер, приговоренный «за мошенничество»*... — Бывший московский городской голова и член совета банка обвинялся в том, что воспользовался должностью и полностью получил свой вклад после утраты банком значительной части капитала.

появилось нечто отвратительное с неслыханным еще на Руси развитием. Обаяние, которое придано было этой новой силе, золотому мешку, начинало зарождать даже страх в иных сердцах, слишком мнительных, хотя бы за народ, например. О, мы, верхнее общество, положим, хоть и могли бы соблазниться новым идолом, но все же не пропали бы бесследно: недаром двести лет сиял над нами светоч образования. Мы во всеоружии просвещения, мы можем отразить чудовище. В минуту самого грязного биржевого разврата упекли же мы вот хоть бы ссудный московский банк! Но народ, стомиллионный народ наш, эта «косная, развратная, бесчувственная масса» <...> — что он противопоставит идущему на него чудовищу материализма в виде золотого мешка? Свою нужду, свои лохмотья, свои подати и неурожаи, свои пороки, сивуху, порку? Мы боялись, что он сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком и что не пройдет поколения, как закрепостится ему весь хуже прежнего. И не только силой подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. Мы именно боялись, что он-то и скажет прежде всех: «Вот где главное, вот она где сила, вот где покой, вот где счастье! Сему поклонюсь и за сим пойду». Вот чего можно было очень и очень опасаться, по крайней мере, на долгое время. Многие задумывались, — и вдруг...

* * *

Но что *вдруг* случилось нынешним летом, о том речь я оставляю до будущего «Дневника». Мне хочется поговорить об этом уже без «юмора», а от всего сердца и *попроще*. Что случилось нынешним летом, то — до того умирительно и радостно, что даже невероятно.

Невероятно, потому что мы уже махали рукой на этот народ и признавали его грубо-некомпетентным сказать свое слово о том: каков должен быть русский «лучший человек». Мы думали, что весь организм этого народа уже заражен материальным и духовным развратом; мы думали, что народ уже забыл свои духовные начала, не уберег их в сердце своем; в нужде, в разврате потерял или искажил свои идеалы. И вдруг, вся эта «единообразная и косная масса» (то есть на взгляд иных наших умников, конечно), разлегшаяся в стомиллионном составе своем на многих тысячах верст, неслышно и бездыханно, в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии что-нибудь сказать или сделать, в виде чего-то вечно стихийного и послушного, — вдруг вся эта Россия просыпается, встает и смиренно, но твердо выговаривает всенародно прекрасное свое слово... Мало того, русские люди берут свои посохи и идут сотенными толпами, провожаемые тысячами людей, в какой-то новый крестовый поход (именно так и называют уже это движение; это англичане первые сравнили это русское движение наше с крестовым походом) — в Сербию, за каких-то братьев, потому что прослышали, что те там замучены и угнетены. Отец, старик солдат, чем бы жить на спокойное, вдруг ополчается и идет пешком, спрашивая дорогу, за тысячи верст, подраться с турком за братию, и с собою ведет девятилетнюю дочку (это факт): «дочку найдутся из христиан, что поберегут, пока я хожу», отвечает он на вопросы, «а уж я пойду, послужу делу Божию». И идет... И такие примеры — тысячами! Ну, скажи кто заранее, еще зимой например, что это у нас случится, и мы не поверили бы, — не поверили бы этому «крестовому походу», въявь начавшемуся (но далеко еще не завершившемуся). Даже и теперь, хоть и въявь

видишь, но невольно спрашиваешь себя в иную минуту: «Да как же оно могло случиться, как же могло совершиться такое неожиданное никем дело?» Заявлено вслух землей русской все, что чтит она и чему верует, указано ею то, что она считает «лучшим» и каких людей почитает «лучшими». Вот о том: какие это люди и какие обозначились идеалы — я и отлагаю до следующего «Дневника». В сущности, эти идеалы, эти «лучшие люди» ясны и видны с первого взгляда: «лучший человек» по представлению народному — это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью. Мне именно хотелось бы вывести, почему мы, образованные, можем смело и твердо теперь надеяться, что не только не утерян у нас на Руси образ «лучшего человека», но, напротив, воссиял светлее, чем когда-нибудь, и податель его, хранитель и носитель его, есть именно теперь простой народ русский, которого мы, в просвещенном высокомерии нашем, а вместе и в простодушном неведении нашем, считали столь «некомпетентным». Мне бы хотелось особенно вывести, каким образом запросы и требования нашей «образованности» могли бы и теперь даже, в вопросе о «лучшем человеке», сойтись вполне с указанием народным, несмотря даже на столь явно наивные и простодушные формы, в которых народ «лучшего человека» указывает. Важна не форма, а содержание ее (хотя и форма прекрасная). Содержание же неоспоримо. Вот почему мы можем в радости предаться новой надежде: слишком очистился горизонт наш, слишком ярко всходит новое солнце наше... И если б только возможно было, чтоб мы все согласились и

сошлись с народом в понимании: кого отселе считать человеком «лучшим», то с нынешнего лета, может быть, зачался бы новый период истории русской.

Декабрь

Опять о простом, но мудреном деле

Ровно два месяца назад, в октябрьском «Дневнике» моем, я сделал заметку об одной несчастной преступнице, Катерине Прокофьевой Корниловой, — той самой мачехе, которая в мае месяце, в злобе на мужа, выбросила из окна свою шестилетнюю падчерицу. Дело это особенно известно тем, что эта маленькая девочка, падчерица, выброшенная из окна четвертого этажа, не ушиблась, не повредила себе ничего и теперь жива и здорова. Не буду припоминать мою октябрьскую статью в подробности, — может быть, читатели ее не забыли. Напомню лишь о цели моей статьи: мне сразу показалось все это дело слишком необыкновенным, и я тотчас же убедился, что на него нельзя смотреть *слишком просто*. Несчастливая преступница была беременна, была раздражена попреками мужа, тосковала. Но не то, то есть не желание отмстить попрекавшему и огорчавшему ее мужу, было причиной преступления, а «аффект беременности». По моему мнению, она переживала в то время несколько дней или недель того особого, весьма неисследованного, но неоспоримо существующего состояния иных беременных женщин, когда в душе беременной женщины происходят странные переломы, странные подчинения и влияния, сумасшествия без сумасшествия, и которые могут иногда доходить до

слишком сильных уродливостей. Я представил пример, известный мне еще с детства, одной дамы в Москве, которая каждый раз в известный период своей беременности впадала в странное желание и подчинялась странной прихоти — воровству. Между тем эта дама ездила в карете и совсем не нуждалась в тех вещах, которые похищала, но, уж конечно, воровала сознательно и вполне давая себе в этом отчет. Сознание сохранялось вполне, но лишь перед странным влечением своим она не могла устоять. Вот что я писал два месяца назад и, признаюсь, писал с самою отдаленною и безнадежною целью: нельзя ли хоть как-нибудь и чем-нибудь помочь и облегчить участь несчастной, несмотря на страшный приговор, уже произнесенный над нею. В статье моей я не мог удержаться и не высказать, что если наши присяжные выносили столько раз совершенно оправдательные приговоры, преимущественно женщинам, несмотря на полное их сознание в совершении преступления и на очевидные доказательства этого преступления, вполне выясненного судом, — то, как казалось мне, можно бы было оправдать и Корнилову. (Как раз несколько дней спустя после приговора над несчастной беременной Корниловой, осужденной в каторжную работу и в Сибирь навеки, была совершенно оправдана одна престранная преступница-убийца,^[218] Кирилова.) Впрочем, выпишу, что я написал тогда:

«По крайней мере присяжные, если б оправдали подсудимую, могли бы на что-нибудь опереться: „Хоть и

²¹⁸ ...престранная преступница-убийца... — Двадцатисемилетняя мещанка Анна Кирилова застрелила из ревности директора машинно-вагонного завода С. Ф. Малевского, у которого находилась на содержании.

редко-де бывают такие болезненные аффекты, но ведь все же бывают; ну что, если и в настоящем случае был аффект беременности?” Вот соображение. По крайней мере в этом случае милосердие было бы всем понятно и не возбуждало бы шатания мысли. И что в том, что могла выйти ошибка: лучше уж ошибка в милосердии, чем в казни, тем более что тут и проверить-то никак невозможно. Преступница первая же считает себя виновною; она сознается сейчас же после преступления, созналась и через полгода на суде. Так и в Сибирь, может быть, пойдет, по совести и глубоко в душе считая себя виновною; так и умрет, может быть, каюсь в последний час и считая себя душегубкой; и вдомек ей не придет, да и никому на свете, о каком-то болезненном аффекте, бывающем в беременном состоянии, а он-то, может быть, и был всему причиной, и не будь она беременна, ничего бы и не вышло... Нет, из двух ошибок уж лучше бы выбрать ошибку милосердия».

Написав все это тогда, я, увлеченный моей идеей, размечтался и прибавил в статье моей, что вот эта бедная двадцатилетняя преступница, которая на днях должна родить в тюрьме, может быть, уже сошлась опять с своим мужем. Может быть, муж (теперь свободный и имеющий право вновь жениться) ходит к ней в тюрьму, в ожидании отсылки ее в каторгу, и оба вместе плачут и горюют. Может быть, и потерпевшая девочка ходит к «мамоньке», забывши все и от всей души к ней ласкаясь. Нарисовал даже сцену их прощания на железной дороге. Все эти «мечты» мои вылились тогда у меня под перо не для эффекта и не для картин, а мне просто почувствовалась жизненная правда, состоящая тут в том, что оба они, и муж, и жена, хотя и считают — он ее, а она себя — несомненно преступницей, но на деле *не*

могли не простить друг друга, не помириться опять, — и не по христианскому только чувству, а именно по невольному инстинктивному ощущению, что совершенное преступление, в их простых глазах столь явное и несомненное, — в сущности, *может быть, вовсе не преступление*, а что-то такое странно случившееся, странно совершившееся, как бы не по своей воле, как бы Божиим определением за грехи их обоих...

Закончив тогдашнюю статью и выдав №, я, под впечатлением того, что сам намечтал, решил постараться из всех сил повидать Корнилову, пока еще она в остроге. Сознаюсь, что мне очень любопытно было проверить: угадал ли я вправду что-нибудь в том, что написал о Корниловой и о чем потом размечтался? Как раз случилось одно весьма благоприятное обстоятельство, доставившее мне скорую возможность посетить Корнилову и с ней познакомиться. И вот я даже сам был удивлен: представьте себе, что из мечтаний моих по крайней мере три четверти оказались истиною: я угадал так, как будто сам был при том. Муж действительно приходил и приходит, действительно оба плачут, горюют друг над другом, прощаются и прощают. «Девочка пришла бы, — сказала мне сама Корнилова, — но она теперь в какой-то школе, в закрытом заведении». Я жалею, что не могу передать всего, что узнал из жизни этого разрушенного семейства, а тут есть черты весьма даже любопытные, ну, конечно, может быть, в своем роде. О, разумеется, я кое в чем и ошибся, но не в существенном: Корнилов, например, хоть и крестьянин, но ходит в немецком платье, гораздо моложе, чем я предполагал о нем, служит черпальщиком в экспедиции заготовления государственных бумаг и получает довольно значительное для крестьянина помесечное

жалованье, стало быть, гораздо богаче, чем я предполагал в мечтах моих. Она же — швея, была швеей и даже и теперь, в остроге, занимается швейной работой по заказу и достает тоже деньги порядочные. Одним словом, дело идет не совсем «о холсте и валенках ей в дорогу и о чае с сахаром», а тон несколько повыше. Когда я пришел в первый раз, она уже несколько дней как родила, и не сына, а дочь, и проч. и проч. Несходства мелкие, но в главном, в сущности ошибки никакой.

Она была тогда, на время родов, в особом помещении и сидела одна; в углу, рядом на кровати, лежала новорожденная, которую накануне лишь окрестили. Ребенок, как я вошел, слабо вскрикнул с тем особым маленьким треском в голосе, какой бывает у всех новорожденных. Кстати, эта тюрьма почему-то даже и тюрьмой не называется, а «домом предварительного содержания преступников». В ней, впрочем, содержится очень много преступников, особенно по иным весьма любопытным отделам преступлений, и о которых, когда придет время, может быть, я и поговорю. Но прибавлю кстати, что я вынес весьма утешительное впечатление, по крайней мере в этом женском отделении тюрьмы, видя несомненную гуманность отношений надзирательниц к преступницам. Потом я был и в других камерах, например в той, где были соединены преступницы, имеющие грудных детей. Я сам видел заботы, внимательность, уход за ними этих почтенных ближайших их начальниц. И хоть не очень долго наблюдал, но есть же такие черты, такие слова, такие поступки и движения, которые разом сказывают о многом. С Корниловой я пробыл в первый раз минут двадцать: это миловидная, очень молодая женщина, с взглядом интеллигентным, но очень даже простодушная.

Сначала, минуты две, она была несколько удивлена моим приходом, но быстро поверила, что видит подле себя *своего*, ей сочувствующего, каким я и отрекомендовался ей при входе, и стала со мной совсем откровенна. Она не из очень разговорчивых и не из очень находчивых в разговоре, но то, что говорит, то говорит твердо и ясно, видимо правдиво и — всегда ласково, но без всякой улаженности, без всякой искательности. Она говорила со мной не то что как с ровным, а почти как с своим. Тогда еще, вероятно под влиянием очень недавних родов и воспоминания о произнесенном, тоже столь недавно, над нею приговоре (в самые последние дни беременности), она была несколько возбуждена и даже заплакала, вспомнив об одном показании, сделанном против нее в суде, о выговоренных будто бы ею каких-то словах сейчас в день преступления и которых она будто бы никогда не говорила. Она очень горевала о несправедливости этого показания, но поразило меня то, что говорила она вовсе не желчно и всего лишь воскликнула: «Значит, уж такая была судьба!» Когда я тут же заговорил об ее новорожденной дочке, она тотчас же стала улыбаться: «Вчера, дескать, окрестили». — «Как же зовут?» — «А как меня, Катериной». Эта улыбка приговоренной в каторгу матери на своего ребенка, родившегося в остроге сейчас после приговора, которым осужден и он, еще не бывший тогда и на свете, вместе с матерью, — эта улыбка произвела во мне странное и тяжелое ощущение. Когда я стал ее расспрашивать осторожно о ее преступлении, то тон ее ответов тотчас же мне чрезвычайно понравился. Она отвечала на все прямо и ясно, нисколько не уклончиво, так что я сейчас увидал, что никаких особенных предосторожностей тут не надо. Она вполне сознавалась, что она преступница

во всем, в чем ее обвинили. Сразу поразило меня тоже, что про мужа своего (в злобе на которого и выбросила в окно девочку) она не только не сказала мне чего-нибудь злобного, хоть капельку обвинительного, но даже было совсем напротив. «Да как же все это сделалось?» — и она прямо рассказала, как сделалось. «Пожелала злое, только совсем уж тут не моя как бы воля была, а чья-то чужая». Помню, она прибавила (на мой вопрос), что хоть и пошла сейчас в участок заявить о случившемся, но «идти в участок совсем не хотела, а как-то так сама пришла туда, не знаю зачем, и все на себя показала».

* * *

Я еще накануне посещения узнал, что защитник ее, господин Л., подал приговор на кассацию; стало быть, все же оставалась некоторая, хотя и слабая, надежда. Но у меня, кроме того, была еще в голове и некоторая другая надежда, о которой я, впрочем, теперь умолчу, но о которой тогда же, под конец моего посещения, ей сообщил. Она выслушала меня без большой веры в успех моих мечтаний, но расположению моему к ней поверила от всей души и тут же меня поблагодарила. На мой вопрос: не могу ли я ей в чем-нибудь сейчас быть полезным, она, тотчас же догадавшись, об чем я заговариваю, ответила мне, что ни в чем не нуждается, что деньги у ней есть и работа есть. Но в этих словах не прозвучало ни малейшей обидчивости, так что если б у ней не было денег, то она, может быть, вовсе не отказалась бы принять от меня небольшое вспоможение.

Раза два я потом опять заходил к ней. Между прочим, я нарочно заговорил однажды об совершенном оправдании убийцы Кириловой, происшедшем всего только несколько дней спустя после обвинительного

приговора над ней, Корниловой, — но не заметил в ней ни малейшей зависти или ропота. Положительно, она склонна думать о себе как о чрезвычайной преступнице. Присматриваясь к ней ближе, я невольно заметил, что в основе этого довольно любопытного женского характера лежит много ровности, порядка и, что особенно заинтересовало меня, — веселости. Тем не менее ее видимо мучают воспоминания: она с глубоким искренним горем сожалеет о том, что была строга к ребенку, «невзлюбила его», била его, слушая непрерывные попреки мужа покойной женой и, как я догадался, видимо ревнуя его к этой покойной жене. Ее заметно смущает, между прочим, мысль, что муж ее теперь свободен и даже может жениться, и она с большим удовольствием передала мне однажды, тотчас же как я пришел к ней, что недавно приходил к ней муж и сам ей сказал, что «до того ли ему теперь, чтобы об женитьбе думать!», — значит, именно она сама, и первая, заговорила с ним об этом, подумал я. Повторю опять, она вполне понимает, что после приговора, над нею произнесенного, ее муж совсем уж ей не муж и что брак их расторгнут. Действительно у них происходят, стало быть, прелюбопытные свидания и разговоры, подумалось мне тут же.

В эти посещения мне случилось говорить об ней с несколькими надзирательницами острога и с г-жой А. П. Б. — помощницей смотрительницы острога. Я подивился той видимой симпатии, которую в них во всех возбудила к себе Корнилова. Г-жа А. П. Б. сообщила мне, между прочим, одно любопытное свое наблюдение, а именно: когда вступила к ним в острог Корнилова (вскоре после преступления), то это было совсем как бы другое существо, грубое, невежливое, злое, скорое на злые

ответы. Но не прошло двух-трех недель, как она совсем и как-то вдруг изменилась: явилось существо доброе, простодушное, кроткое, «и вот так и до сих пор». Сообщение это показалось мне весьма подходящим к *делу*. Но беда была в том, что дело-то было уже решено и подписано и приговор произнесен. И вот на днях меня известили, что приговор суда, поданный на кассацию, кассирован (вследствие нарушения 693 ст. угол. суд.) и поступит вновь на рассмотрение другого отделения суда с участием присяжных заседателей. Таким образом, теперь, в настоящую минуту, Корнилова опять подсудимая, не каторжная и опять законная жена своего мужа, а он ей законный муж! Стало быть, опять для нее засияла надежда. Дай бог, чтоб эту молодую душу, столь много уже перенесшую, не сломило окончательно новым обвинительным приговором. Тяжело переносить такие потрясения душе человеческой: похоже на то, как бы приговоренного к расстрелянию вдруг отвязать от столба, подать ему надежду, снять повязку с его глаз, показать ему вновь солнце и — через пять минут вдруг опять повести его привязывать к столбу. В самом деле, неужели так-таки не будет дано ни малейшего внимания обстоятельству беременности подсудимой во время совершения злодеяния? Важнейшая часть обвинения состоит, разумеется, в том, что все же она совершила преступление *сознательно*; но опять-таки — что и какую роль играет в этом случае сознание? Сознание могло сохраниться вполне, но против сумасшедшего, извращенного болезненным аффектом желанием своего устоять она не могла, несмотря на самое яркое сознание. Неужели это кажется столь невозможным? Не будь она беременна, она в момент своего злобного раздражения подумала бы, может быть, так: «Скверная девчонка,

выбросить бы ее за окно, чтоб он не попрекал меня каждый час ее матерью», — подумала бы и не сделала бы; а в беременном состоянии — *не устояла* и сделала. Разве это не могло так именно случиться? И что в том, что она сама показывает на себя, что еще накануне хотела выбросить из окна ребенка, да муж помешал? Все же это преступное намерение, так логически и твердо задуманное и так методически (с перестановкой горшков с цветами и проч.) на другое утро выполненное, ни в каком случае нельзя отнести к обыкновенному расчетливому злодейству: тут именно случилось нечто неестественное, ненормальное. Подумайте об одном: выбросив девочку и заглянув в окно посмотреть, как она упала (девочка в первую минуту была без чувств и ее из окна, конечно, можно было почесть за убитую), убийца закрывает окно, одевается и — идет в участок, где все на себя показывает. Но для чего ей показывать на себя, если б она задумала злодеяние твердо и спокойно и с хладнокровным расчетом? Кто, где свидетели, что это она выбросила ребенка, а не сам ребенок выпал по неосторожности? Да она и воротившегося мужа могла бы тотчас же уверить в том, что ребенок сам выпал, а она ни в чем не виновата (так что мужу бы отомстила, а себя оправдала). Да если б она даже убедилась тогда же, выглянув в окно, что ребенок не расшибся, а, напротив, жив и может, стало быть, потом дать на нее показание, — то и тут она могла бы ничего не бояться: что могло бы значить в глазах судебного следствия показание шестилетней девочки о том, что ее приподняли сзади за ноги и выбросили в окно? Да всякий эксперт-доктор мог бы тут подтвердить, что ей именно могло показаться (то есть если б даже она и сама упала) в минуту потери равновесия и падения, что кто-то как бы

схватил ее сзади за ножки и толкнул вниз. Но если так, то для чего же преступница сама тотчас же отправилась на себя показывать? Ответят, конечно: «Была в отчаянии, хотела покончить с собой так или этак». Действительно, другого объяснения и приискать нельзя, но уж одно это объяснение показывает, в каком душевном напряжении и расстройстве была эта *беременная*. Любопытны ее собственные слова: «Я в участок идти не хотела, а так как-то сама пришла». Значит, действовала как в бреду, «*не своей как бы волей*», несмотря на полное сознание.

С другой стороны, свидетельство г-жи А. П. Б. тоже страшно много поясняет: «Это было совсем другое существо, грубое, злое, и вдруг через две-три недели совсем изменившееся: явилось существо кроткое, тихое, ласковое». Почему же так? А вот именно кончился известный болезненный период беременности — период больной воли и «сумасшествия без сумасшествия», с ним прошел болезненный аффект и — явилось существо другое.

Вот что: еще раз вновь осудят ее в каторгу, вновь ее, столь уже пораженную и столь вынесшую, поразят и раздавят *вторым* приговором и, двадцатилетнюю, еще почти не начавшую жить, с грудным младенцем на руках ринут в каторгу и — что же выйдет? Много вынесет она из каторги? Не ожесточится ли душа, не развратится ли, не озлобится ли навеки? Кого когда исправила каторга? И главное — все это при совершенно неразъясненном и неопровергнутом сомнении о болезненном аффекте тогдашнего беременного ее состояния. Опять повторю, как два месяца назад: «Лучше уж ошибиться в милосердии, чем в казни». Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у которой, может быть,

столь много еще впереди жизни и столь много добрых для нее зачатков. В каторге же наверно все погибнет, ибо развратится душа, а теперь, напротив, страшный урок, уже вынесенный ею, уберезет ее, может быть, на всю жизнь от худого дела; а главное, может быть, сильно поможет развернуться и созреть тем семенам и зачаткам хорошего, которые видимо и несомненно заключены в этой юной душе. И если бы даже сердце ее было действительно черствое и злое, то милосердие смягчило бы его наверно. Но уверяю вас, что оно далеко не черствое и не злое и что об этом не я один свидетельствую. Неужели ж нельзя оправдать, *рискнуть* оправдать?

Запоздавшее нравоучение

Этот октябрьский № моего «Дневника» наделал мне и кроме того хлопот, в своем роде конечно. Там есть коротенькая статья «Приговор», оставившая во мне самом некоторого рода сомнение. Этот «Приговор» есть исповедь самоубийцы, последнее слово самоубийцы, записанное им самим для оправдания и, может быть, для *назидания*, перед самым револьвером. Некоторые из тех друзей моих, мнением которых я дорожу наиболее, отнесли к статейке этой даже с похвалой, но тоже подтвердили мои сомнения. Похвалили они то, что действительно как бы найдена формула этого рода самоубийц, ясно выражающая их сущность, но они усомнились: понятна ли будет цель статьи для всех и каждого из читателей? Не произведет ли, напротив, она на кого-нибудь совершенно обратного впечатления? Мало того: иные, вот те самые, которым уже начинали мерещиться еще до того револьвер или петля, — не соблазнятся ли даже ею, по прочтении ее, и не

утвердятся ли еще более в своих несчастных намерениях? Одним словом, высказаны были сомнения точь-в-точь те же самые, которые во мне самом уже зародились. В результате вывод: что надо бы было прямо и просто в конце статьи разъяснить ясными словами, от автора, цель, с которой она написана, и даже прямо приписать нравоучение.

Я с этим согласился; да я и сам, когда еще писал статью, чувствовал, что нравоучение необходимо; но мне как-то совестно стало тогда приписать его. Мне показалось стыдно предположить, даже в самом простодушном из читателей, столько простоты, чтобы он сам не догадался о *подкладке* статьи и цели ее, о нравоучении ее. Для меня самого эта цель была столь ясна, что я невольно предполагал ее столь же ясною и для всякого. Оказалось, что я ошибся.

Справедливое замечание, сделанное одним писателем еще несколько лет тому назад, что признаваться в непонимании некоторого рода вещей считалось прежде за стыд, потому что прямо свидетельствовало о тупости признающегося, о невежестве его, о скудном развитии его ума и сердца, о слабости умственных способностей. Теперь же, напротив, весьма часто фраза «Я не понимаю этого» выговаривается почти с гордостью, по меньшей мере с важностью. Человек тотчас же как бы ставится этой фразой на пьедестал в глазах слушателей и, что еще комичнее, в своих собственных, нимало не стыдясь при этом дешевизны приобретенного пьедестала. Ныне слова «Я ничего не понимаю в Рафаэле» или «Я нарочно прочел всего Шекспира и, признаюсь, ровно ничего не нашел в нем особенного» — слова эти ныне могут быть даже приняты не только за признак глубокого ума, но

даже за что-то доблестное, почти за нравственный подвиг. Да Шекспир ли один, Рафаэль ли один подвержены теперь такому суду и сомнению?

Это замечание о гордых невеждах, которое я передал здесь своими словами, довольно верно. Действительно, гордость невежд началась непомерная. Люди мало развитые и тупые нисколько не стыдятся этих несчастных своих качеств, а, напротив, как-то так сделалось, что это-то им и «духу придает». Замечал я тоже нередко, что в литературе и в частной жизни наступали великие обособления и исчезала многосторонность знания: люди, до пены у рта оспаривавшие своих противников, по десятку лет не читали иногда ни строчки из написанного их противниками: «Я, дескать, не тех убеждений и не стану читать глупостей». Подлинно, на грош амуниции, а на рубль амбиции. Такая крайняя односторонность и замкнутость, обособленность и нетерпимость явились лишь в наше время, то есть в последние двадцать лет преимущественно. Явилась при этом у очень многих какая-то беззастенчивая смелость: люди познаний ничтожных смеялись, и даже в глаза, людям, в десять раз их более знающим и понимающим. Но хуже стало, что чем дальше, тем больше воцаряется «прямолинейность»: стало, например, заметно теряться чутье к применению, к иносказанию, к аллегории. Заметно перестали (вообще говоря) понимать шутку, юмор, а уж это, по замечанию одного германского мыслителя, — один из самых ярких признаков умственного и нравственного понижения эпохи. Напротив, народились мрачные тупицы, лбы нахмурились и заострились, — и всё прямо и прямо, всё в прямой линии и в одну точку. Думаете, что я лишь про молодых и про либералов говорю? Уверяю вас, что и про

старичков и про консерваторов. Как бы в подражание молодым (теперь уже, впрочем, седым) еще двадцать лет тому появились странные прямолинейные консерваторы, раздраженные старички, и уж ровно ничего не понимавшие в текущих делах, в новых людях и в молодом поколении. Прямолинейность их, если хотите, даже иногда была жестче, жесточе и тупее прямолинейности «новых людей». О, весьма может быть, что все это у них от избытка хороших желаний и от великодушного, но огорченного чувства новейшими безрассудствами; но все же они иногда слепее даже новейших прямолинейников. А впрочем, мне кажется, я сам, осуждая прямолинейность, слишком уже заехал в сторону.

Только что появилась моя статья, и на письмах и лично посыпались мне запросы: что, дескать, значит ваш «Приговор»? Что вы хотите этим сказать и неужели вы самоубийство оправдываете? Иные же, показалось мне, были чему-то даже рады. И вот на днях присылает мне один автор, г-н Энпе, свою статейку,^[219] учтиво-ругательную, напечатанную им в Москве в еженедельном журнале «Развлечение». Я «Развлечения» не получаю и не думаю, чтоб мне прислал этот № издатель его, а потому приписываю эту присылку любезности самого автора статьи. Он мою статью осуждает и смеется над ней:

«Получил я октябрьский выпуск „Дневника писателя“, прочитал и задумался: много хороших вещей в этом выпуске, но много и *странных*. Выскажем наше недоумение в самой сжатой форме. Зачем было,

²¹⁹ ...присылает мне один автор, г-н Энпе, свою статейку... — Речь идет о статье Энпе «Дневник благонамеренного сатирика».

например, помещать в этом выпуске «рассуждение» одного самоубийцы от скуки? Положительно не понимаю, зачем? Это *рассуждение*, если можно так назвать бред полусумасшедшего человека, давно известно, разумеется несколько перефразированное, *всем тем, кому о том знать и ведать надлежит*, а потому появление его *в наше время*, в дневнике такого писателя, как Ф. М. Достоевский, служит смешным и жалким анахронизмом. Теперь век *чугунных понятий*, век положительных мнений, век, держащий знамя: «Жить во что бы то ни стало!..» Разумеется, как во всем и везде, есть исключения, есть самоубийства *с рассуждением* и *без рассуждения*, но на это пошлое геройство нынче никто не обращает никакого внимания: уж очень оно, это геройство-то, глупо! Было время, когда самоубийство, особенно *с рассуждением*, возводилось на степень величайшего «сознания» — только неизвестно *чего?* — и героизма, тоже неизвестно в чем состоящего, но это *гнилое* время прошло, и прошло безвозвратно, — и слава богу, жалеть нечего.

Каждый самоубийца, умирающий с рассуждением, подобным тому, которое напечатано в дневнике г-на Достоевского, не заслуживает никакого сожаления; это грубый эгоист, честолюбец и самый вредный член человеческого общества. Он даже не может сделать своего глупого дела без того, чтобы об нем не говорили; он даже и тут не выдерживает своей роли, своего напускного характера; он пишет *рассуждение*, хотя бы легко мог умереть без всякого рассуждения...

О, фальстафы^[220] жизни! Ходульные рыцари!..»

²²⁰ *Фальстаф* — персонаж пьес Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские

Прочитав это, я впал даже в уныние. Господи, да неужели много таких у меня читателей и неужели г-н Энпе, утверждающий, что мой самоубийца не заслуживает никакого сожаления, серьезно подумал, что я выставил его ему на «сожаление»? Конечно, единичное мнение г-на Энпе было бы не так важно. Но дело в том, что в настоящем случае г-н Энпе несомненно выражает собою целый тип, целую коллекцию таких же, как он, господ Энпе, тип, даже отчасти похожий на тот беззастенчивый тип, о котором я только что говорил выше, беззастенчивый и прямолинейный, — тип ну вот тех самых «чугунных понятий», о которых сам же г-н Энпе говорит в сделанной мною выписке из его статьи. Это подозрение о целой коллекции, ей-богу, даже страшно. Конечно, я, может быть, слишком принимаю к сердцу. Но, однако, прямо скажу: несмотря на такую мою восприимчивость, я и коллекции не стал бы отвечать, и вовсе не от пренебрежения к ней (почему же не поговорить с людьми?), а просто потому, что мало в № места. Итак, если отвечаю теперь и жертвую местом, то отвечаю, так сказать, на свои собственные сомнения и, так сказать, себе самому. Вижу, что к октябрьской статейке моей надо неотложно приставить нравоучение, разъяснить и даже разжевать цель ее. По крайней мере совесть моя будет спокойна, вот что.

Голословные утверждения

Статья моя «Приговор» касается основной и самой высшей идеи человеческого бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой. Подкладка этой исповеди погибающего

насмешницы»; здесь в смысле — бесполезный и безнравственный хвостун.

«от логического самоубийства» человека — это необходимость тут же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, невыносимо и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. Веры в бессмертие для него не существует, он это объясняет в самом начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельности и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной нелепости существования человеческого на земле. Для него становится ясно как солнце, что *согласиться* жить могут лишь те из людей, которые похожи на низших животных и ближе подходят под их тип по малому развитию своего сознания и по силе развития чисто плотских потребностей. Они соглашаются жить именно как животные, то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей». О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его. Между тем высшие типы ведь царят на земле и всегда царили, и кончалось всегда тем, что за ними шли, когда восполнялся срок, миллионы людей. Что такое высшее слово и высшая мысль? Это слово, эту мысль (без которых не может жить человечество) весьма часто произносят в первый раз люди бедные, незаметные, не имеющие никакого значения и даже весьма часто гонимые, умирающие в гонении и в неизвестности. Но мысль, но произнесенное ими слово не умирают и никогда не исчезают бесследно, никогда не могут исчезнуть, лишь бы только раз были произнесены, — и это даже поразительно в человечестве. В следующем же поколении или через два-три десятка лет мысль гения

уже охватывает всё и всех, увлекает всё и всех, — и выходит, что торжествуют не миллионы людей и не материальные силы, по-видимому, столь страшные и незыблемые, не деньги, не меч, не могущество, а незаметная вначале мысль, и часто какого-нибудь, по-видимому, ничтожнейшего из людей. Г-н Энпе пишет, что появление такой исповеди у меня в «Дневнике» «служит» (кому, чему служит?) «смешным и жалким анахронизмом»... ибо ныне «век чугуновых понятий, век положительных мнений, век, держащий знамя: „Жить во что бы то ни стало!..“ (Так, так! вот потому-то, вероятно, так и усилились в наше время самоубийства в классе интеллигентном.) Уверяю почтенного г-на Энпе и подобных ему, что этот „чугун“ обращается, когда приходит срок, в пух перед иной идеей, сколь бы ни казалась она ничтожною вначале господам „чугуновых понятий“. Для меня же лично, одно из самых ужасных опасений за наше будущее, и даже за ближайшее будущее, состоит именно в том, что, на мой взгляд, в весьма уже, в слишком уже большой части интеллигентного слоя русского по какому-то особому, странному... ну хоть предопределению все более и более и с чрезвычайно прогрессивною быстротою укореняется совершенное неверие в свою душу и в ее бессмертие. И мало того, что это неверие укореняется убеждением (убеждений у нас еще очень мало в чем бы то ни было), но укореняется и повсеместным, странным каким-то индифферентизмом к этой высшей идее человеческого существования, индифферентизмом, иногда даже насмешливым, бог знает откуда и по каким законам у нас водворяющимся, и не к одной этой идее, а и ко всему, что жизненно, к правде жизни, ко всему, что дает и питает жизнь, дает ей здоровье, уничтожает разложение

и зловоние. Этот индифферентизм есть в наше время даже почти русская особенность сравнительно хотя бы с другими европейскими нациями. Он давно уже проник и в русское интеллигентное семейство и уже почти что разрушил его. Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна*, и именно — идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее одной вытекают*. В этом могут со мной спорить (то есть об этом именно единстве источника всего высшего на земле), но я пока в спор не вступаю и идею мою выставляю лишь голословно. Разом не объяснишь, а исподволь будет лучше. Впереди еще будет время.

Мой самоубийца есть именно страстный выразитель своей идеи, то есть необходимости самоубийства, а не индифферентный и не чугунный человек. Он действительно страдает и мучается, и, уж кажется, я это выразил ясно. Для него слишком очевидно, что ему жить нельзя, и — он слишком знает, что прав и что опровергнуть его невозможно. Перед ним неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: «Для чего жить, когда уже он сознал, что по-животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? И что может в таком случае удержать его на земле?» На вопросы эти разрешения он получить не может и знает это, ибо хотя и сознал, что есть, как он выражается, «гармония целого», но я-то, говорит он, «ее не понимаю, понять никогда не в силах, а что не буду в ней сам участвовать, то это уж необходимо и само собою выходит». Вот эта-то ясность и dokonчила его. В чем же беда, в чем он ошибся? Беда единственно лишь в потере веры в бессмертие.

Но он сам горячо ищет (то есть искал, пока жил, и искал с страданием) примирения; он хотел найти его в «любви к человечеству». «Не я, так человечество может быть счастливо и когда-нибудь достигнет гармонии. Эта мысль могла бы удержать меня на земле», — проговаривается он. И, уж конечно, это великодушная мысль, великодушная и страдальческая. Но неотразимое убеждение в том, что жизнь человечества в сущности такой же миг, как и его собственная, и что на завтра же по достижении «гармонии» (если только верить, что мечта эта достижима) человечество обратится в тот же *нуль*, как и он, силою косных законов природы, да еще после стольких страданий, вынесенных в достижении этой мечты, — эта мысль возмущает его дух окончательно, именно из-за любви к человечеству возмущает, оскорбляет его за все человечество, и — по закону отражения идей — убивает в нем даже самую любовь к человечеству. Так точно видали не раз, как в семье, умирающей с голоду, отец или мать под конец, когда страдания детей их становились невыносимыми, начинали ненавидеть этих столь любимых ими доселе детей именно за *невыносимость* страданий их. Мало того, я утверждаю, что сознание своего совершенного бессилия помочь или принести хоть какую-нибудь пользу или облегчение страдающему человечеству, в то же время при полном вашем убеждении в этом страдании человечества, может даже *обратить в сердце вашем любовь к человечеству в ненависть к нему*. Господа чугунных идей, конечно, не поверят тому, да и не поймут этого вовсе: для них любовь к человечеству и счастье его — все это так дешево, все так удобно устроено, так дано и написано, что и думать об этом не стоит. Но я намерен насмешить их окончательно: я объявляю (опять-таки

пока бездоказательно), что любовь к человечеству даже совсем немыслима, непонятна и *совсем невозможна без совместной веры в бессмертие души человеческой*. Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, поднимают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Пусть пожмут плечами на такое утверждение мое мудрецы чугуновых идей. Но мысль эта мудренее их мудрости, и я несомненно верую, что она станет когда-нибудь в человечестве аксиомой. Хотя опять-таки я и это выставляю пока лишь голословно.

Я даже утверждаю и осмеливаюсь высказать, что любовь к человечеству *вообще* есть, *как идея*, одна из самых непостижимых идей для человеческого ума. Именно как идея. Ее может оправдать лишь одно чувство. Но чувство-то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (И опять голословно.)

В результате ясно, что самоубийство, при потере идеи о бессмертии, становится совершенною и неизбежною даже необходимостью для всякого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем развитии над скотами. Напротив, бессмертие, обещающая вечную жизнь, тем крепче связывает человека с землей. Тут, казалось бы, даже противоречие: если жизни так много, то есть кроме земной и бессмертная, то для чего бы так дорожить земною-то жизнью? А выходит именно напротив, ибо только с верой в свое бессмертие человек постигает всю разумную цель свою на земле. Без убеждения же в своем бессмертии связи человека с землей порываются,

становятся тоньше, гнилее, а потеря высшего смысла жизни (ощущаемая хотя бы лишь в виде самой бессознательной тоски) несомненно ведет за собою самоубийство. Отсюда обратно и нравоучение моей октябрьской статьи: «Если убеждение в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человечества, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой *существует несомненно*». Словом, идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества. Вот цель статьи, и я полагал, что ее невольно уяснит себе всякий, прочитавший ее.

Кое-что о молодежи

Кстати уж. Мне, пожалуй, укажут, что в наш век убивают себя люди и никогда не занимавшиеся никакими высшими вопросами; тем не менее убивают себя загадочно, безо всякой видимой причины. Мы действительно видим очень много (а обилие это опять-таки своего рода загадка) самоубийств, странных и загадочных, сделанных вовсе не по нужде, не по обиде, без всяких видимых к тому причин, вовсе не вследствие материальных недостатков, оскорбленной любви, ревности, болезни, ипохондрии или сумасшествия, а так, бог знает из-за чего совершившихся. Такие случаи в наш век составляют большой соблазн, и так как совершенно невозможно в них отрицать эпидемию, то обращаются для многих в самый беспокойный вопрос. Все эти самоубийства я, конечно, объяснять не возьмусь, да и, разумеется, не могу,^[221] но зато я несомненно убежден,

²²¹ Я получаю очень много писем с изложением фактов самоубийств и с

что в большинстве, в целом, прямо или косвенно, эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни — от отсутствия высшей идеи существования в душе их. В этом смысле наш индифферентизм, как современная русская болезнь, заел все души. Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит, то есть не то что не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. И, однако, это вовсе иногда не чугунный, не скотского, не низшего типа человек. А меж тем лишь из этой одной веры, как уже и говорил я выше, выходит весь высший смысл и значение жизни, выходит желание и охота жить. О, повторяю, есть много охотников жить без всяких идей и без всякого высшего смысла жизни, жить просто животною жизнью, в смысле низшего типа; но есть, и даже слишком уж многие и, что всего любопытнее, с виду, может быть, и чрезвычайно грубые и порочные натуры, а между тем природа их, может быть им самим неведомо, давно уже тоскует по высшим целям и значению жизни. Эти уж не успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их. Этаким застрелится именно с виду не из чего, а между тем непременно от тоски, хотя и бессознательной, по высшему смыслу жизни, не найденному им нигде. А иной из таких вдобавок застрелится, предварительно выкинув какую-нибудь скандальную мерзость, скверность, чудовищность. О, глядя на многих из этаких, разумеется, трудно поверить, чтоб они покончили с собою из-за «тоски по высшим целям жизни»: «Да они ни об каких

вопросами: как и что я об этих самоубийствах думаю и чем их объясняю?

целях совсем и не думали, они ни об чем таком никогда и не говорили, а только делали „пакости“» — вот всеобщий голос! Но пусть не заботились и делали пакости: высшая тоска эта — знаете ли вы твердо, какими сложными путями в жизни общества передается иногда иной душе и заражает ее? Идеи летают в воздухе, но непременно по законам; идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым; идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу своим влиянием? Укажут мне, пожалуй, опять, что в наш век умерщвляют себя даже дети или такая юная молодежь, которая и не испытала еще жизни. А у меня именно есть таинственное убеждение, что молодежь-то наша и страдает, и тоскует у нас от отсутствия высших целей жизни. В семьях наших об высших целях жизни почти и не упоминается, и об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их детства, да еще, пожалуй, с нарочным назиданием.

«Да семейства у нас вовсе нет», — заметил мне недавно, возражая мне, один из наших талантливейших писателей.^[222] Что же, это ведь отчасти и правда: при нашем всеобщем индифферентизме к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации. Ясно по крайней мере до

²²² ...один из наших талантливейших писателей. — Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин.

наглядности то, что наше юное поколение обречено само отыскивать себе идеалы и высший смысл жизни. Но это-то отъединение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно. Это вопрос слишком, слишком значительный в теперешний момент, в теперешний миг нашей жизни. Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит никаких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей и вообще от руководителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь взгляд сатирический, но уже ничего *положительного*, — то есть во что верить, что уважать, обожать, к чему стремиться, — а все это так нужно, так необходимо молодежи, всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде! А если бы и смогли и в силах еще были ей передать что-нибудь из правильных указаний в семье или в школе, то опять-таки и в семье и в школе (конечно, не без некоторых исключений) слишком уж стали к этому индифферентны за множеством иных, более практических и современно-интересных задач и целей. Молодежь шестого декабря на Казанской площади,^[223] без сомнения, лишь «настеганное стадо» в руках каких-то хитрых мошенников, судя по крайней мере *по фактам*, указанным «Московскими ведомостями»; что выйдет и что окажется из этого дела — я далее ничего не знаю. Без сомнения, тут дурь, злостная и безнравственная, обезьянья подражательность с чужого голоса, но все же их могли собрать, лишь уверив, что они собраны во имя чего-то высшего и прекрасного, во имя какого-то удивительного самопожертвования для величайших

²²³ *Молодежь шестого декабря на Казанской площади...* — 6 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге состоялась революционная демонстрация, проведенная созданной в этом же году организацией «Земля и воля».

целей. Пусть даже это «искание своего идеала» слишком в немногих из них, но эти немногие царят над остальными и ведут их за собою, — это-то уже ясно. Что же, кто виноват теперь, что их идеал так уродлив? Уж конечно, и сами они, но ведь и не одни они. О, без сомнения, даже и теперешняя окружающая их действительность могла бы спасти их от их уродливой оторванности от всего насущного и реального, от их грубейшего непонимания самых простых вещей; но в том-то и дело, что наступили, значит, такие сроки, что оторванность от почвы и от народной правды в нашем юнейшем поколении должна уже удивить и ужаснуть даже самих «отцов» их, столь давно уже от всего русского оторвавшихся и доживающих свой век в блаженном спокойствии высших критиков земли русской. Ну вот и урок, — урок и семье и школе и блаженно-убежденнейшим критикам: сами же они теперь не узнают *своих последствий* и от них отрекаются, но... но ведь и их-то, «отцов»-то, разве можно опять-таки винить *окончательно*? Сами-то они не суть ли продукты и следствия каких-то особых роковых законов и предопределений, которые стоят над всем интеллигентным слоем русского общества уже чуть ли не два века сряду, почти вплоть до великих реформ нынешнего царствования? Нет, видно, двухсотлетняя оторванность от почвы и от *всякого дела* не спускаются даром. Винить недостаточно, надо искать и лекарств. По-моему, еще есть лекарства: они в народе, в святынях его и в нашем соединении с ним. Но... но об этом еще после. Я и «Дневник» предпринимал отчасти для того, чтоб об этих лекарствах говорить, насколько сил достанет.

О самоубийстве и о высокомерии

Но надо кончить с г-ном Энпе. С ним случилось то, что бывает со многими из его «типа»: для них что ясно и что слишком скоро они могут понять, то и глупо. Ясность они гораздо склоннее презирать, чем хвалить. Другое дело что-нибудь с завитком и с туманом: «А, мы этого не понимаем, значит, тут глубина».

Он говорит, что «рассуждение» моего самоубийцы есть лишь «бред полусумасшедшего человека» и *«давно известно»*. Я очень склонен думать, что «рассуждение» это стало ему «известным» лишь по прочтении моей статьи. Что же касается до «брета полусумасшедшего», то этот бред (известно ли это г-ну Энпе и всей их коллекции?) — этот бред, то есть вывод необходимости самоубийства, есть для многих, даже для слишком уже многих в Европе — как бы последнее слово науки. Я в кратких словах выразил это «последнее слово науки» ясно и популярно, но единственно чтоб его опровергнуть, — и не рассуждением, не логикой, ибо логикой оно неопровержимо (и я призываю не только г-на Энпе, но и кого угодно опровергнуть логически этот «бред сумасшедшего»), — но верой, выводом необходимости веры в бессмертие души человеческой, выводом убеждения, что вера эта есть единственный источник живой жизни на земле — жизни, здоровья, здоровых идей и здоровых выводов и заключений...

А в заключение нечто совсем уж комическое. В том же октябрьском № я сообщил о самоубийстве дочери эмигранта: «Она намочила вату хлороформом, обвязала себе этим лицо и легла на кровать. Так и умерла. Пред смертью написала записку: „Предпринимаю длинное

путешествие. Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресенье из мертвых с бокалами Клико. А если удастся, то я прошу только, чтоб схоронили меня, вполне убедясь, что я мертвая, потому что совсем неприятно проснуться в гробу под землю. Очень даже не шикарно выйдет”.

Г-н Энпе высокомерно рассердился на эту «пустенькую» самоубийцу и заключил, что поступок ее «никакого внимания не заслуживает». Рассердился и на меня за «мой наивный до крайности» вопрос о том, которая из двух самоубийц больше мучилась на земле? Но тут вышло нечто смешное. Он вдруг прибавил: «Смею думать, что человек, желающий *приветствовать* свое возвращение к жизни с бокалами шампанского в руках» (разумеется, в руках) «не много *мучился* в этой жизни — когда опять с таким торжеством вступает в нее, ничуть не изменяя ее условий — и даже не думая о них...»

Какая смешная мысль и какое смешное соображение! Тут, главное, соблазнило его шампанское: «Кто пьет шампанское, тот, стало быть, не может мучиться». Да ведь если б она так любила шампанское, то осталась бы жить, чтоб пить его, а ведь она написала про шампанское перед смертью, то есть перед серьезною смертью, слишком хорошо зная, что наверно умрет. Шансу очнуться опять она не могла очень верить, да и не представлял он ей ничего отрадного, потому что очнуться опять значило для нее, конечно, очнуться для нового самоубийства. Шампанское, стало быть, тут ни при чем, то есть вовсе не для того, чтоб пить его, — и неужели это разъяснять надо? Написала же она о шампанском из желания сделать, умирая, какой-нибудь выверт померзче и погрязнее. Потому-то и выбрала шампанское, что грязнее и мерзче этой картины питья

его при своем «воскресении из мертвых» не нашла другой. Нужно же ей было написать это для того, чтоб оскорбить этой грязью все, что она оставляла на земле, проклясть землю и земную жизнь свою, плюнуть на нее и заявить этот плевок к сведению тех близких ей, которых она покидала. Из-за чего же такая злоба в этой семнадцатилетней девочке? (NB.. Ей было семнадцать лет, а не двадцать, я ошибся в моей статье, и меня потом поправили знавшие это дело лучше.) И на кого злоба? Ее никто не обижал, она ни в чем не нуждалась, она умерла, по-видимому, тоже совсем без причины. Но именно эта-то записка, именно то, что она так *интересовалась* в такой час сделать такой грязный и злобный выверт (что очевидно), именно это и наводит на мысль, что жизнь ее была безмерно чище этого грязного выверта и что злоба, что безмерное озлобление этого выверта и свидетельствует, напротив, о страдальческом, мучительном настроении ее духа, о ее отчаянии в последнюю минуту жизни. Если б она умерла от какой-нибудь апатичной скуки, не зная зачем, то не сделала бы этого выверта. К такому состоянию духа надо относиться человеколюбивее. Страдание тут очевидное, и умерла она непременно от духовной тоски и много мучившись. Чем она успела так измучиться в 17 лет? Но в этом-то и страшный вопрос века. Я выразил предположение, что умерла она от тоски (слишком ранней тоски) и бесцельности жизни — лишь вследствие своего извращенного теорией воспитания в родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни, с намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие. Пусть это лишь мое предположение, но ведь не для того же, в самом деле, умерла она, чтоб оставить лишь после себя подлую

записку — на удивление, как, кажется, и предполагает г-н Энпе? «Никто же плоть свою возненавиде».^[224] Истребление себя есть вещь серьезная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных классах, есть слишком серьезная вещь, стоящая неустанного наблюдения и изучения. Года полтора назад мне показывал один высокоталантливый и компетентный в нашем судебном ведомстве человек^[225] пачку собранных им писем и записок самоубийц, собственноручных, писанных ими перед самою смертью, то есть за пять минут до смерти. Помню две строчки одной пятнадцатилетней девочки, помню тоже каракули карандашом, писанные в ехавшей карете, в которой тут же и застрелился самоубийца, не доехав куда везли его. Я думаю, если б даже и г-н Энпе переглядел эту интереснейшую пачку, то и в его душе, может быть, совершился бы некоторый переворот и в спокойное сердце его проникло бы смятение. Но не знаю. Во всяком случае к этим фактам надо относиться человеколюбивее и отнюдь не так высокомерно. В фактах этих, может быть, мы и сами все виноваты, и никакой чугун не спасет нас потом от бедственных последствий нашего спокойствия и высокомерия, когда восполнятся сроки и придет время этих последствий.

Но довольно. Я не одному г-ну Энпе, а многим господам Энпе ответил.

²²⁴ «Никто же плоть свою возненавиде». — Цитата из Евангелия.

²²⁵ ...один высокоталантливый и компетентный в нашем судебном ведомстве человек... — Речь идет об известном адвокате А. Ф. Кони.

Анекдот из детской жизни

Расскажу, чтоб не забыть.

Живут на краю Петербурга, и даже подальше, чем на краю, одна мать с двенадцатилетней дочкой. Семья небогатая, но мать имеет занятие и добывает средства трудом, а дочка посещает в Петербурге школу и каждый раз, когда уезжает в школу или возвращается из школы домой, ездит в общественной карете, отправляющейся от Гостиного двора до того места, где они живут, и обратно по несколько раз в день, в известные сроки.

И вот однажды, недавно, месяца два назад, как раз когда у нас вдруг и так быстро установилась зима и начался первопут с целой неделей тихих, светлых дней, в два-три градуса морозу, однажды вечером мать, смотря на дочку, сказала ей:

— Саша, я вижу, ты никаких уроков не твердишь, вот столько уже вечеров замечаю. Знаешь ли ты уроки-то?

— Ах, мамочка, не беспокойся, я все приготовила; на всю даже неделю вперед приготовила.

— Хорошо, коли так.

Назавтра отправилась Саша в школу, а в шестом часу кондуктор общественной кареты, в которой должна была воротиться Саша, соскочив мимоездом у их ворот, подал «мамочке» от нее записку следующего содержания:

«Милая мамочка, я всю неделю была очень дурной девочкой. Я получила три нуля и все тебя обманывала. Воротиться мне к тебе стыдно, и я уж больше к тебе не

вернусь. Прощай, милая мамочка, прости меня, твоя Саша».

Можно представить, что случилось с матерью. Разумеется, тотчас же хотела бросить занятия и лететь в город разыскивать Сашу хоть по каким-нибудь следам. Но где? Как? Случился тут один близкий знакомый, принявший горячее участие и вызвавшийся тотчас же отправиться в Петербург и там, справившись в школе, искать и искать по всем знакомым и хоть целую ночь. Главное, представившееся соображение, что Саша может воротиться тем временем сама, раскаявшись в прежнем решении, и если матери дома не застанет, то, пожалуй, опять уйдет, заставило мать остаться и довериться горячему участию доброго человека. В случае же, если Саша не отыщется к утру, положили чем свет заявить полиции. Оставшись дома, мать провела несколько тяжелых часов, и я их не описываю, так как можно и так понять.

«И вот, — рассказывает мать, — уже около десяти часов вдруг слышу знакомые маленькие скорые шаги во дворе по снегу и потом по лесенке. Отворяется дверь и — вот Саша.

— Мамочка, ах, мамочка, как я рада, что пришла к тебе, ах!

Сложила руки перед собой ладошками, потом закрыла себе ими лицо и села на кровать. Такая усталая, измученная. Ну, тут, разумеется, первые восклицания, первые вопросы; мать осторожна, упрекать пока не смеет.

— Ах, мамочка, как только я вчера тебе солгала про уроки, так вчера же и решилась: в школу больше не ходить и к тебе не возвращаться; потому что как же я в

школу ходить не буду, а тебя каждый день буду обманывать, что хожу?

— Да как же ты с собой-то быть хотела? Коль не в школе и не у меня, так где же?

— А я думала, что на улице. Как день, я бы все по улицам ходила. Шубка на мне теплая, я прозябну — в Пассаж зайду, а вместо обеда каждый день по булке покупать, ну а пить — так как уж нибудь, теперь снег. Одной булки мне довольно. У меня 15 копеек, по три копейки на булку, вот и пять дней.

— А там?

— А там не знаю, дальше я не подумала.

— Ну а ночевать-то, ночевать-то где?

— А ночевать, я это обдумала. Как уж темно и как уж поздно, я думала всякий день ходить на железную дорогу, туда дальше, за воксал, где никого уж нет и где ужасно много вагонов стоит. Влезть в какой-нибудь этот вагон, который уж видно, что не пойдет, и ночевать до утра. Я и пошла. И далеко зашла, туда за воксал, и никого там нет, и вижу совсем в стороне вагоны стоят и совсем не такие, в которых все ездят. Вот, думаю, влезу в какой-нибудь этот вагон, и никто не увидит. Только я начала влезать, а вдруг сторож мне и закричал:

— Куда лезешь? В этих вагонах мертвых возят.

Услышала я это, соскочила, а он уж, вижу, ко мне подходит: «Вам чего, говорит, здесь надо?» Я от него бежать, бежать, он что-то закричал, только я убежала. Иду я, так испугалась. Воротилась на улицы, хожу и вдруг вижу дом, большой дом, каменный, строится, еще только кирпичный, стекол, дверей нет и забиты досками,

а кругом забор. Вот, думаю, если б пройти как-нибудь туда в дом, то там ведь никто не увидит, темно. Зашла я с переулка и сыскала такое место, что хоть и заколочено досками, а можно пролезть. Я и пролезла, прямо как в яму, там еще земля; я пошла ощупью по стене в угол, а в углу доски, кирпичи. Вот, думаю, тут и ночую на досках. Так и легла. Только вдруг слышу, точно кто тихо очень говорит. Я приподнялась, а в самом углу, слышу, говорят, тихо, и точно на меня оттуда глаза смотрят. Тут я уж очень испугалась, побежала как раз в ту самую дверь опять на улицу, а они меня, слышу, зовут. Успела выскочить. А я-то думала, что дом пустой.

Тут как вышла я опять, то очень вдруг устала. Так устала, так устала. Иду по улицам, народ ходит, который час, не знаю. Вышла я на Невский проспект, иду около Гостиного и совсем плачу. «Вот, думаю, прошел бы какой добрый человек, пожалел бы бедную девочку, которой ночевать негде. Я уж призналась бы ему, а он бы мне сказал: пойдите к нам ночевать». Думаю я все об этом, иду и — вдруг гляжу, стоит наш дилижанс и последний раз сюда отправляться хочет, а я-то думала, что он уже давно ушел. «Ах, думаю, поеду к маме!» Села я, и так теперь, мамочка, рада, что к тебе воротилась! Никогда я тебя больше обманывать не буду и учиться буду хорошо, ах, мамочка! ах, мамочка!

— Спрашиваю ее, — рассказывает мать дальше, — Саша, да неужель ты все это сама выдумала — и в школу чтоб не ходить и на улице жить?

— Видишь, мамочка, тут я давно уже познакомилась с одной девочкой, такая же как и я, только она в другую школу ходит. Только, веришь ли, она никогда почти не ходит, а дома всем говорит каждый день, что ходит. А

мне она сказала, что учиться ей скучно, а на улице очень весело. «Я, говорит, как выйду из дому, все хожу, все хожу, а в школу вот уж две недели не показывалась, в окна в магазины смотрю, в Пассаж хожу, булку съем — до самого вечера, как домой идти». Я как узнала про это от нее, тогда же подумала: «Вот бы мне так же», и стало мне скучно в школе. Только я и намерения не имела до самого вчерашнего дня, а вчера как солгала тебе, и решилась...»

Анекдот этот — правда. Теперь, уж разумеется, матерью приняты меры. Когда мне рассказали его, я думал, что очень нелишнее напечатать его в «Дневнике». Мне позволили, конечно с полным incognito. Мне, разумеется, возразят сейчас же: «Единичный случай, и просто потому, что девочка очень глупа». Но я знаю наверно, что девочка очень не глупа. Знаю тоже, что в этих юных душах, уже вышедших из первого детства, но еще далеко не дозревших до какой-нибудь хоть самой первоначальной возмужалости, могут порою зарождаться удивительные фантастические представления, мечты и решения. Этот возраст (двенадцати— или тринадцатилетний) необычайно интересен, в девочке еще больше, чем в мальчике. Кстати о мальчиках: помните вы года четыре назад напечатанное в газетах известие о том, как из одной гимназии бежали три чрезвычайно юные гимназиста в Америку и что их поймали уже довольно далеко от их города, а вместе захватили и бывший с ними пистолет. Вообще и прежде, поколение или два назад, в головах этого очень юного народа тоже могли бродить мечты и фантазии, совершенно так же как у теперешних, но теперешний юный народ как-то решительнее и гораздо короче на сомнения и размышления. Прежние, надумав

проект (ну хоть бежать в Венецию, начитавшись о Венеции в повестях Гофмана и Жорж Занда, — я знал одного такого), все же проектов своих не исполняли и много что поверяли их под клятвою какому-нибудь товарищу, а теперешние надумают да и выполняют. Впрочем, прежних связывало и чувство их долга, ощущение обязанности, — к отцам, к матерям, к известным верованиям и принципам. Нынче же, бесспорно, связи эти и ощущения стали несколько слабее. Меньше удержу и внешнего и внутреннего, в себе самом заключающегося. Оттого, может быть, одностороннее и голова работает, и, уж разумеется, все это от чего-нибудь.

А главное, это вовсе не единичные случаи, происходящие от глупости. Повторяю, этот чрезвычайно интересный возраст вполне нуждается в особенном внимании столь занятых у нас педагогией педагогов и столь занятых теперь «делами» и не делами родителей. И как легко может все это случиться, то есть все самое ужасное, да еще с кем: с нашими родными детьми! Подумать только о том месте в этом рассказе матери, когда девочка *«вдруг устала, идет и плачет и мечтает, что встретится добрый человек, сжалятся, что бедной девочке негде ночевать, и пригласит ее с собою»*. Подумать, что ведь это желание ее, свидетельствующее о ее столь младенческой невинности и незрелости, так легко могло тут же сбыться и что у нас везде, и на улице и в богатейших домах, так и кишит вот именно этими «добрыми человечками»? Ну а потом, наутро? Или прорубь, или *стыд признаться*, а за стыдом признаться и грядущая способность, все затаив про себя, с *воспоминанием ужиться*, а потом об нем задуматься, уже с другой точки зрения, и все думать и думать, но уже с

чрезвычайным разнообразием представлений, и все это мало-помалу и само собой; ну а под конец, пожалуй, и желание повторить случай, а затем и все остальное. И это с двенадцати-то лет! И все шито-крыто. Ведь шито-крыто в полном смысле слова! А эта другая девочка, которая вместо школы в магазины заглядывает и в Пассаж заходит, и нашу девочку научила? Я прежде слыхивал в этом роде про мальчиков, которым учиться скучно, а *бродяжить* весело. (NB. Бродяжничество есть привычка, болезненная и отчасти наша национальная, одно из различий наших с Европой, — привычка, обращающаяся потом в болезненную страсть и весьма нередко зарождающаяся с самого детства. Об этой национальной страсти нашей я потом непременно поговорю.) Но вот, стало быть, возможны и *бродячие* девочки. И, положим, тут полная пока *невинность*; но будь невинна как самое первобытное существо в раю, а все не избегнет «познания добра и зла», ну хоть с краюшку, хоть в воображении только, мечтательно. Улица ведь такая бойкая школа. А главное, повторяю еще и еще: тут этот интереснейший возраст, возраст, вполне еще сохранивший самую младенческую, трогательную невинность и незрелость, с одной стороны, а с другой — уже приобревший скорую до жадности способность восприятия и быстрого ознакомления с такими идеями и представлениями, о которых, по убеждению чрезвычайно многих родителей и педагогов, этот возраст даже и представить себе будто бы ничего еще не может. Это-то вот раздвоение, эти-то две столь несходные половины юного существа в своем соединении представляют чрезвычайно много опасного и критического в жизни этих юных существ.

Дневник писателя. 1877

Январь

Фома Данилов, замученный русский герой

В прошлом году, весною, было перепечатано во всех газетах известие, явившееся в «Русском инвалиде», о мученической смерти унтер-офицера 2-го Туркестанского стрелкового батальона Фомы Данилова, захваченного в плен кипчаками и варварски умерщвленного ими после многочисленных и утонченнейших истязаний, 21 ноября 1875 года, в Маргелане, за то, что не хотел перейти к ним в службу и в магометанство. Сам хан обещал ему помилование, награду и честь, если согласится отречься от Христа. Данилов отвечал, что изменить он кресту не может и, как царский подданный, хотя и в плену, должен исполнить к царю и к христианству свою обязанность. Мучители, замучив его до смерти, удивились силе его духа и назвали его батырем, то есть по-русски богатырем. Тогда это известие, хотя и сообщенное всеми газетами, прошло как-то без особенного разговора в обществе, да и газеты, сообщив его в виде обыкновенного газетного *entrefilet*,^[226] не сочли нужным *особенно* распространиться о нем. Одним словом, с Фомой Даниловым «было тихо», как говорят на бирже. Потом, как известно, наступило славянское движение, явились Черняев, сербы, Киреев, жертвования,

²²⁶ Сообщения (франц.).

добровольцы, и об Фоме замученном позабыли совсем (то есть в газетах), и вот недавно только получились к прежнему известию дополнительные подробности. Сообщают опять, что самарский губернатор навел справки о семействе Данилова, происходившего из крестьян села Кирсановки, Самарской губернии, Бугурусланского уезда, и оказалось, что у него остались в живых жена Евфросинья 27 лет и дочь Улита шести лет, находившиеся в бедственном положении. Им помогли по благородному почину самарского губернатора, обратившегося к некоторым людям с просьбою помочь вдове и дочери замученного русского героя и к самарскому губернскому земскому собранию с предложением, не пожелает ли оно поместить дочь Данилова стипендиаткой в одно из учебных заведений. Затем собрали 1320 рублей и из них шестьсот отложили дочери до совершеннолетия, а остальную сумму выдали самой вдове на руки, а дочь Данилова приняли в учебное заведение. Кроме того, начальник Главного штаба уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова пожизненной пенсии из государственного казначейства, по сто двадцати рублей в год. Затем — затем дело, вероятно, опять будет забыто ввиду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и проч. и проч.

О, я вовсе не хочу сказать, что наше общество отнеслось к этому поразительному поступку равнодушно, как к не стоящему внимания. Факт лишь тот, что немного говорили или, лучше, почти никто не говорил об этом *особенно*. Впрочем, может быть, и говорили где-нибудь про себя, у купцов, у духовных, например, но не в обществе, не в интеллигенции нашей. В народе, конечно, эта великая смерть не забудется: этот герой принял муки

за Христа и есть великий русский; народ это оценит и не забудет, да и никогда он таких дел не забывает. И вот я как будто уже слышу некоторые столь известные мне голоса: «Сила-то, конечно, сила, и мы признаем это, но ведь все же — темная, проявившаяся слишком уж, так сказать, в допотопных, оказенившихся формах, а потому — что же нам *особенно* — то говорить? Не нашего это мира; другое бы дело сила, проявившаяся интеллигентно, сознательно. Есть, дескать, и другие страдальцы, и другие силы, есть и идеи безмерно высшие — идея общечеловечности, например...»

Несмотря на эти разумные и интеллигентные голоса, мне все же кажется позволительным и вполне извинительным сказать нечто *особенное* и об Данилове; мало того, я даже думаю, что и самая интеллигенция наша вовсе бы себя не столь унизила, если б отнеслась к этому факту повнимательнее. Меня, например, прежде всего удивляет, что не обнаружилось никакого удивления; именно удивления. Я не про народ говорю: там удивления и не надо, в нем удивления и не будет; поступок Фомы ему не может казаться необыкновенным, уже по одной великой вере народа в себя и в душу свою. Он отзовется на этот подвиг лишь великим чувством и великим умилением. Но случись подобный факт в Европе, то есть подобный факт проявления великого духа, у англичан, у французов, у немцев, и они наверно прокричали бы о нем на весь мир. Нет, послушайте, господа, знаете ли, как мне представляется этот темный безвестный Туркестанского батальона солдат? Да ведь это, так сказать, — эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность

подъема и проявления великой мысли и великого чувства. Послушайте, ведь вы все же не эти циники, вы всего только люди интеллигентно-европействующие, то есть в сущности предобрее: ведь не отрицаете же и вы, что летом народ наш проявил местами чрезвычайную силу духа: люди покидали свои дома и детей и шли умирать за веру, за угнетенных, бог знает куда и бог знает с какими средствами, точь-в-точь как первые крестоносцы девять столетий тому назад в Европе, — те самые крестоносцы, которых появление вновь Грановский, например, считал бы чуть ли не смешным и обидным «в наш век положительных задач, прогресса» и проч. и проч. Пусть это летнее движение наше, по-вашему, было слепое и даже как бы неразумное, так сказать «крестоносное», но ведь твердое же и великодушное, в этом нельзя не сознаться, если чуть-чуть пошире посмотреть. Просыпалась великая идея, вознесшая, может быть, сотни тысяч и миллионов душ разом над косностью, цинизмом, развратом и безобразием, в которых купались до того эти души. Ведь вы знаете, народ наш считают до сих пор хоть и добродушным и даже очень умственно способным, но все же темной стихийной массой, без сознания, преданной поголовно порокам и предрассудкам, и почти сплошь безобразником. Но, видите ли, я осмелюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от

обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загроубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа.

Фома Данилов с виду, может, был одним из самых обыкновенных и неприметных экземпляров народа русского, неприметных, как сам народ русский. (О, он для многих еще совсем неприметен!) Может быть, в свое время не прочь был погулять, выпить, может быть, даже не очень молился, хотя, конечно, Бога всегда помнил. И вот вдруг велят ему переменить веру, а не то — мученическая смерть. При этом надо вспомнить, что такое бывают эти муки, эти азиатские муки! Пред ним сам хан, который обещает ему свою милость, и Данилов отлично понимает, что отказ его непременно раздражит хана, раздражит и самолюбие кипчаков тем, «что смеет, дескать, христианская собака так презирать ислам». Но несмотря на все, что его ожидает, этот неприметный русский человек принимает жесточайшие муки и умирает, удивив истязателей. Знаете что, господа, ведь из нас никто бы этого не сделал. Пострадать на виду иногда даже и красиво, но ведь тут дело произошло в совершенной безвестности, в глухом углу; никто-то не смотрел на него; да и сам Фома не мог думать и наверно не предполагал, что его подвиг огласится по всей земле Русской. Я думаю, что иные великомученики, даже и первых веков христианских, отчасти все же были утешены и облегчены, принимая свои муки, тем убеждением, что смерть их послужит примером для робких и колеблющихся и еще больших привлечет к

Христу. Для Фомы даже и этого великого утешения быть не могло: кто узнает, он был один среди мучителей. Был он еще молод, там где-то у него молодая жена и дочь, никогда-то он их теперь не увидит, но пусть: «Где бы я ни был, против совести моей не поступлю и мучения приму», — подлинно уж правда для правды, а не для красоты! И никакой кривды, никакого софизма с совестью: «Приму-де ислам для виду, соблазна не сделаю, никто ведь не увидит, потом отмолюсь, жизнь велика, в церковь пожертвую, добрых дел наделаю». Ничего этого не было, честность изумительная, первоначальная, стихийная. Нет, господа, вряд ли мы так поступили бы!

Но то мы, а для народа нашего, повторю, подвиг Данилова, может быть, даже и не удивителен. В том-то и дело, что тут именно — как бы портрет, как бы всецелое изображение народа русского, тем-то все это и дорого для меня, и для вас, разумеется. Именно народ наш любит точно так же правду для правды, а не для красоты. И пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен, но приди его срок и начнись дело всеобщей всенародной правды, и вас изумит та степень свободы духа, которую проявит он перед гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти и даже перед страхом самой жесточайшей мученической смерти. И все это он сделает и проявит просто, твердо, не требуя ни наград, ни похвал, собою не красуясь: «Во что верую, то и исповедую». Тут даже самые ожесточенные спорщики насчет «ретроградства» идеалов народных не могут иметь никакого слова, ибо дело вовсе уже не в том: ретрограден идеал или нет? А лишь в способности проявления величайшей воли ради подвига великодушия. (Эту смешную идейку о «ретроградстве» идеалов я ввел здесь ради полного беспристрастия.)

Знаете, господа, надо ставить дело прямо: я прямо полагаю, что нам вовсе и нечему учить такой народ. Это софизм, разумеется, но он иногда приходит на ум. О, конечно, мы образованнее его, но чему мы, однако, научим его — вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания, — этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим, нет, а мы-то чему? Мы ведь русские, братья этому народу, а стало быть, обязаны *просветить* его. Нравственное-то, высшее-то что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти «темные» души? Просвещение народа — это, господа, наше право и наша обязанность, право это в высшем христианском смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, блуждающему во тьме брату своему, так по Евангелию. Ну и что же мы сообщим блуждающему, чего бы он сам не знал лучше нашего? Прежде всего, конечно, что учение полезно и что надо учиться, так ли? Но народ еще прежде нашего сказал, что «ученье — свет, неученье — тьма». Уничтожению предрассудков, например, низвержению идолов? Но ведь в нас самих такая бездна предрассудков, а идолов мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: «Врачу — исцелися сам».^[227] (А идолов наших он отлично умеет уже разглядывать!) Что же, самоуважению, собственному достоинству? Но народ наш, весь, в целом своем, гораздо более нашего уважает себя, гораздо глубже нашего чтит и понимает свое достоинство. В самом деле, мы самолюбивы ужасно, но ведь мы совсем не уважаем себя, и собственного достоинства в нас вовсе нет никакого и даже ни в чем.

²²⁷ ...Врачу — исцелися сам. — Цитата из Евангелия от Луки.

Ну нам ли, например, научить народ уважению к чужим убеждениям? Народ наш доказал еще с Петра Великого — уважение к чужим убеждениям, а мы и между собою не прощаем друг другу ни малейшего отклонения в убеждениях наших и чуть-чуть несогласных с нами считаем уже прямо за подлецов, забывая, что, кто так легко склонен терять уважение к другим, тот прежде всего не уважает себя. Ну нам ли учить народ вере в себя самого и в свои силы? У народа есть Фомы Даниловы, и их тысячи, а мы совсем и не верим в русские силы, да и неверие это считаем за высшее просвещение и чуть не за доблесть. Ну чему же, наконец, мы научить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце. Ну какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. О нет, господа, совсем нет: если б мы вправду и на деле любили народ, а не в статейках и книжках, то мы бы поближе подошли к нему и озаботились бы изучить то, что теперь совсем наобум, по европейским шаблонам, желаем в нем истребить: тогда, может, и сами научились бы столь многому, чего и представить теперь даже не можем.

Есть у нас, впрочем, одно утешение, одна великая наша гордость перед народом нашим, а потому-то мы так и презираем его: это то, что он национален и стоит на том изо всей силы, а мы — общечеловеческих убеждений, да и цель свою поставили в общечеловечности, а стало быть, безмерно над ним возвысились. Ну вот в этом и весь раздор наш, весь и разрыв с народом, и я прямо провозглашаю: уладь мы этот пункт, найди мы точку примирения, и разом кончилась бы вся наша рознь с народом. А ведь этот

пункт есть, ведь его найти чрезвычайно легко. Решительно повторяю, что самые даже радикальные несогласия наши в сущности один лишь мираж.

Но что же это за пункт примирения?

Примирительная мечта вне науки

И прежде всего выставляю самое спорное и самое щекотливое положение и с него начинаю:

«Всякий великий народ верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к окончательной цели, всем им предназначенной».

Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, огромное мировое влияние на судьбы человечества. Так, бесспорно, было с древним Римом, так потом было с Римом в католическое время его существования. Когда католическую идею его унаследовала Франция, то то же самое случилось и с Францией, и, в продолжение почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего погрома и уныния своего, все время и бесспорно — считала себя во главе мира, по крайней мере нравственно, а временами и политически, предводительницей хода его и указательницей его будущего. Но о том же мечтала всегда и Германия, выставившая против мировой католической идеи и ее авторитета знаменем своим протестантизм и бесконечную свободу совести и исследования. Повторяю, то же бывает и со всеми великими нациями, *более или*

менее, в зените развития их. Мне скажут, что все это неверно, что это ошибка, и укажут, например, на собственное *сознание* этих же самых народов, на сознание их ученых и мыслителей, писавших именно о совокупном значении европейских наций, участвовавших купно в создании и завершении европейской цивилизации, и я, разумеется, отрицать такого сознания не буду. Но не говоря уже о том, что такие окончательные выводы сознания и вообще составляют как бы уже конец живой жизни народов, укажу хотя бы лишь на то, что самые-то эти мыслители и сознатели, как бы там ни писали о мировой гармонии наций, все же, в то же самое время, и чаще всего, непосредственным, живым и искренним чувством *продолжали верить*, точь-в-точь как и массы народа их, что в этом хоре наций, составляющих мировую гармонию и выработанную уже сообщами цивилизацию, — они (то есть французы, например) и есть голова всего единения, самые передовые, те самые, которым предназначено вести, а те только следуют за ними. Что они, положим, если и позаимствуют у тех народов что-нибудь, то все же немножко; но зато те народы, напротив, возьмут у них все, все главнейшее, и только их духом и их идеей жить могут, да и не могут иначе сделать, как сопричаститься их духу в конце концов и слиться с ним рано или поздно. Вот и в теперешней Франции, уже унылой и раздробленной духовно, есть и теперь еще одна из таких идей, представляющая новый, но, по-нашему, совершенно естественный фазис ее же прежней мировой католической идеи и развития ее, и чуть не половина французов верит и теперь, что в ней-то и кроется спасение, не только их, но и мира, — это именно их французский социализм. Идея эта, то есть ихний

социализм, конечно, ложная и отчаянная, но не в качестве ее теперь дело, а в том, что она теперь существует, живет живой жизнью и что в исповедующих ее нет сомнения и уныния, как в остальной огромной части Франции. С другой стороны, взгляните на каждого почти англичанина, высшего или низшего типа, лорда или работника, ученого или необразованного, и вы убедитесь, что каждый англичанин прежде всего старается быть англичанином, сохраниться в виде англичанина во всех фазисах своей жизни, частной и общественной, политической и общечеловеческой, и даже любить человечество старается не иначе, как в виде англичанина. Мне скажут, что если б даже и так, если б и было все это как я утверждаю, то все-таки такое самообольщение и самомнение было бы даже унижительно для тех великих народов, умалило бы значение их эгоизмом, нелепым шовинизмом и не то чтобы придало им жизненной силы, а, напротив, повредило бы и растлило бы их жизнь в самом начале. Скажут, что подобные безумные и гордые идеи достойны не подражания, а, напротив, искоренения светом разума, уничтожающего предрассудки.

Положим, что с одной стороны это очень правда; но все же тут надо непременно посмотреть и с другой стороны, и тогда выйдет не только не унижительно, а даже совсем напротив. Что в том, что не живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые мечты могут быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чем иное благоразумие того отрока, который уже в шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже после прожитых уже бедствий и неудач, в

целом, будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. Такая вера в себя не безнравственна и вовсе не пошлое самохвальство. Так точно и в народах: пусть есть народы благоразумные, честные и умеренные, спокойные, без всяких порывов, торговцы и кораблестроители, живущие богато и с чрезвычайною опрятностью; ну и бог с ними, все же далеко они не пойдут; это непременно выйдет средина, которая ничем не сослужит человечеству: этой энергии в них нет, великого самомнения этого в них нет, трех этих шевелящихся китов под ними нет, на которых стоят все великие народы. Вера в то, что хочешь и *можешь* сказать последнее слово миру, что обновишь наконец его избытком живой силы своей, вера в святость своих идеалов, вера в силу своей любви и жажды служения человечеству, — нет, такая вера есть залог самой высшей жизни наций, и только ею они и принесут всю ту пользу человечеству, которую предназначено им принести, всю ту часть жизненной силы своей и органической идеи своей, которую предназначено им самой природой, при создании их, уделить в наследство грядущему человечеству. Только сильная такой верой нация и имеет право на высшую жизнь. Древний легендарный рыцарь верил, что пред ним падут все препятствия, все призраки и чудовища и что он победит всё и всех и всего достигнет, если только верно сохранит свой обет «справедливости, целомудрия и нищеты». Вы скажете, что все это легенды и песни, которым может верить один Дон-Кихот, и что совсем не таковы законы действительной жизни нации. Ну, так я вас, господа, нарочно поймаю и уличу, что и вы такие же Дон-Кихоты,

что у вас самих есть такая же идея, которой вы верите и через которую хотите обновить человечество!

В самом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, то есть в то, что падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. Что ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого, например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, где если есть эта вера, то не иначе как на степени какого-нибудь еще умозрительного только сознания, положим, пылкого и пламенного, но все же не более как кабинетного. А у вас, господа, то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, русских, — эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в простом народе, которому и религия его повелевает этому самому верить. Да, господа, вы думали, что вы только одни «общечеловеки» из всей интеллигенции русской, а остальные только славянофилы да националисты? Так вот нет же: славянофилы-то и националисты верят точь-в-точь тому же самому, как и вы, да еще крепче вашего!

Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они устами своих передовых деятелей, основателей и представителей своего учения? Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия, вкпе со славянством и во главе его, скажет величайшее

слово всему миру, которое тот когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческого единения, и уже не в духе личного эгоизма, которым люди и нации искусственно и неестественно единятся теперь в своей цивилизации, из борьбы за существование, положительной наукой определяя свободному духу нравственные границы, в то же время роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету. Идеалом славянофилов было единение в духе истинной широкой любви, без лжи и материализма и на основании личного великодушного примера, который предназначено дать собою русскому народу во главе свободного всеславянского единения Европе. Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите, что все это кабинетные умозрения. Но дело тут вовсе не в вопросе: как кто верует, а в том, что все у нас, несмотря на всю разноголосицу, все же сходятся и сводятся к этой одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения. Это факт, не подлежащий сомнению и сам в себе удивительный, потому что, на степени такой живой и главнейшей потребности, этого чувства нет еще нигде ни в одном народе. Но если так, то вот и у нас, стало быть, у нас всех, есть твердая и определенная национальная идея; именно *национальная*. Следовательно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. Все спасение наше лишь в том, чтоб не спорить заранее о том, как осуществится эта идея и в какой форме, в вашей или в нашей, а в том, чтоб из кабинета всем вместе перейти прямо к делу. Но вот тут-то и пункт.

Мы в Европе лишь стрюцкие^[228]

Ведь вы как переходили к делу? Вы ведь давно начали, очень давно, но что, однако, вы сделали для общечеловечности, то есть для торжества вашей идеи? Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только. Целое восемнадцатое столетие мы только и делали, что пока лишь вид перенимали. Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не морщиться: «Вот, дескать, какой я англичанин, ничего без кайенского перцу есть не могу». Вы думаете, я издеваюсь? Ничуть. Я слишком понимаю, что иначе и нельзя было начать. Еще до Петра, при московских еще царях и патриархах, один тогдашний молодой московский франт, из передовых, надел французский костюм и к боку прицепил европейскую шпагу. Мы именно должны были начать с презрения к своему и к своим, и если пробыли целые два века на этой точке, не двигаясь ни назад ни вперед, то, вероятно, таков уж был наш срок от природы. Правда, мы и двигались: презрение к своему и к своим все более и более возрастало, особенно когда мы посерьезнее начали понимать Европу. В Европе нас, впрочем, никогда не смущали резкие разъединения национальностей и резко определившиеся типы народных характеров. Мы с того и начали, что прямо «сняли все противоположности» и получили общечеловеческий тип «европейца» — то есть с самого начала подметили *общее*, всех их связующее, — это очень характерно. Затем, с течением времени поумнев еще более, мы прямо ухватились за

²²⁸ ...стрюцкие. — Так называл Достоевский подлых, дрянных, презренных людей.

цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то «всеобщее», которому предназначено соединить человечество воедино. Даже европейцы удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с восторгом встретили пришествие Руссо и Вольтера, мы с путешествующим Карамзиным умилительно радовались созванию «Национальных Штатов» в 89-м году, и если мы и приходили потом в отчаяние, в конце первой четверти уже нынешнего века, вместе с передовыми европейцами над их погибшими мечтами и разбитыми идеалами, то веры нашей все-таки не потеряли и даже самих европейцев утешали. Даже самые «белые» из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же «красными» — чрезвычайно характерная тоже черта. Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и приняли его, без малейших колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что составляло верх эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человеческую, верх уничтожения всякой свободы людей, но это нас не смущало нисколько. Напротив, видя грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей, мы с совершенною развязностью немедленно обозвали их подлецами и тупицами. Мы вполне поверили, да и теперь еще верим, что положительная наука вполне способна определить нравственные границы между личностями единиц и

наций (как будто наука, — если б и могла это она сделать, — может открыть эти тайны раньше *завершения* опыта, то есть раньше завершения всех судеб человека на земле). Наши помещики продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы, а наши Рудины^[229] умирали на баррикадах. Тем временем мы до того уже оторвались от своей земли русской, что уже утратили всякое понятие о том, до какой степени такое учение рознится с душой народа русского. Впрочем, русский народный характер мы не только считали ни во что, но и не признавали в народе никакого характера. Мы забыли и думать о нем и с полным деспотическим спокойствием были убеждены (не ставя и вопроса), что народ наш тотчас примет все, что мы ему укажем, то есть в сущности прикажем. На этот счет у нас всегда ходило несколько смешнейших анекдотов о народе. Наши общечеловеки пребыли к своему народу вполне помещиками, и даже после крестьянской реформы.

* * *

И чего же мы достигли? Результатов странных: главное, все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высокомерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. Не хотели европейцы нас почесть за своих ни за что, ни за какие жертвы и ни в каком случае: *grattez, дескать, le russe et vous verrez le*

tartare,^[230] и так и доселе. Мы у них в поговорку вошли. И чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих. Мы виляли пред ними, мы подобострастно исповедовали им наши «европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учливой усмешкой, как бы желая поскорее отвязаться, что мы это всё у них «не так поняли». Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les tartares), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками. Правда, в последнее время они что-то даже поняли. Они поняли, что мы чего-то хотим, чего-то им страшного и опасного; поняли, что нас много, восемьдесят миллионов, что мы знаем и понимаем все европейские идеи, а что они наших русских идей не знают, а если и узнают, то не поймут; что мы говорим на всех языках, а что они говорят лишь на одних своих, — ну и многое еще они стали смекать и подозревать. Кончилось тем, что они прямо обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации. Вот как они поняли нашу страстную цель стать общечеловеками!

А между тем нам от Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, — я первый страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам *почти* так же *всем* дорога, как Россия; в ней всё Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама.^[231] Как же быть?

²³⁰ Поскребите русского, и вы увидите татарина (франц.).

²³¹ ...в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого

Стать русскими во-первых, и прежде всего. Если общечеловечность есть идея национальная русская, то прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. И действительно: чем сильнее и самостоятельнее развились бы мы в национальном духе нашем, тем сильнее и ближе отозвались бы европейской душе и, породнившись с нею, стали бы тотчас ей понятнее. Тогда не отвертывались бы от нас высокомерно, а выслушивали бы нас. Мы и на вид тогда станем совсем другие. Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина; нас сочтут тогда за людей, а не за международную обшмыгу, не за стрюцких европеизма, либерализма и социализма. Мы и говорить будем с ними умнее теперешнего, потому что в народе нашем и в духе его отыщем новые слова, которые уж непременно станут европейцам понятнее. Да и сами мы поймем тогда, что многое из того, что мы презирали в народе нашем, есть не тьма, а именно свет, не глупость, а именно ум, а поняв это, мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово несет в себе не кто

племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. — Для выражения идеи всемирного братства Достоевский использует библейские образы. Согласно библейским представлениям, у праведника Ноя, спасенного после всемирного потопа, было три сына. Старший его сын Сим стал родоначальником семитических племен, потомки Хама, другого сына, заселили Африку, а из потомков младшего сына Иафета образовалась индоевропейская раса, в состав которой вошли и европейские народы — «все Афетово племя».

иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключается живая потребность всеединения человеческого, всеединения уже с полным уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению полной свободы людей и с указанием, в чем именно эта свобода и заключается, — единение любви, *гарантированное* уже делом, живым примером, потребностью на деле истинного братства, а не гильотиной, не миллионами отрубленных голов...

А впрочем, неужели и впрямь я хотел кого убедить. Это была шутка. Но — слаб человек: авось прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения...

Старина о «петрашевцах»

В настоящую минуту, как всем известно, производится суд над участниками в казанской истории 6-го декабря. О ходе процесса мои читатели, вероятно, уже знают из газет. Но в одной газете меня поразило одно замечание о бывших когда-то петрашевцах — известном преступном обществе в конце сороковых годов, в котором и мне привелось участвовать, за что я и заплатил десятилетней ссылкой в Сибирь и четырехлетней каторгой. Замечание это сделала «Петербургская газета» в горячей передовой статье о казанской истории. Между прочим, в статье этой выписаны были из сочинений г-на Стронина^[232] «Политика как наука» несколько превосходных строк, которые я приведу здесь целиком. Это совет молодежи, идущей «в народ»:

²³² А. И. Стронин (1827–1889) — ученый-социолог.

«Вместо того, чтоб идти в народ, пользуйтесь случаем, он сам придет к вам. У вас есть прислуга, есть кухарка, есть горничная, кучер, лакей, дворник. Если вам хочется быть демократом, посадите их с собою за свой стол, за свой чай, введите их в семейную жизнь вашу. Вместо того, чтобы говорить им, что нет Бога и что есть прокламация, как начинает поучать всякий глупый либерал, скажите им лучше, что есть сложение и вычитание, что есть грамота и азбука. А между тем будьте с вашими учениками честны, внимательны, серьезны и не фамильярны, и вообще подайте пример добрых или по крайней мере лучших нравов».

Теперь собственно о петрашевцах. Вот что говорит автор передовой статьи:

«Другая мысль, на которую невольно наводит „казанская история“, представляет в общественном сознании еще более утешительную сторону, а именно, что герои всех подобных печальных историй раз от раза становятся всё мизернее, незанимательнее даже для пылких умов. Когда-то, 50 лет назад, субъектами политических преступлений в России были люди, вышедшие из среды высшего, интеллигентного общества (декабристы); в 40-х годах тип русского политического преступника значительно стал мельче („петрашевцы“); в начале 60-х годов он уже измельчал до так называемого мыслящего пролетариата („чернышевцы“); в начале 70-х годов он пал до неразвитых, школьных недоучек и низкопробных нигилистов („нечаевцы“); в долгушинской истории^[233] на

²³³ Долгушинская история — арест и суд в 1873 году над членами кружка А. В. Долгушина, которые печатали прокламации и занимались революционной пропагандой среди рабочих.

поприще пропагандистов фигурирует уже полуграмотный сброд; наконец, в «казанской истории» остается не только еще полуграмотный сброд, но с большим оттенком еврейского элемента и фабричного забулдыги. Такое постепенное мельчание лучшее доказательство, что преступная политическая пропаганда после всех либеральных реформ нынешнего царствования никак уже не может рассчитывать на увлечение ею со стороны сколько-нибудь развитых элементов общества, а на народную массу она тем менее может влиять, потому что народная масса показала, как она встречает своих непрошенных пророков...»

Мысль автора о ничтожности у нас революционной пропаганды без сомнения верная, хотя и выражена неясно; тут многое надо было гораздо точнее определить ради пользы дела. Но я замечу лишь о петрашевцах, что вряд ли прав автор, указывая на их примере об измельчании политического преступника сравнительно с декабристами. Прибавлю, что мысль эту об «измельчании» я уже давно слышал; она не раз уже повторялась в печати, вот почему я и останавливаюсь на ней теперь, повстречав ее кстати. По-моему, коренное изменение типа политического преступника произошло у нас лишь за последние двадцать лет; но петрашевцы были совершенно еще одного типа с декабристами, по крайней мере по тем существенным признакам типа, на которые указывает сам автор статьи. Автор говорит, что декабристы были люди, «выходившие из среды высшего интеллигентного общества». Но чем же иным были петрашевцы? В составе декабристов действительно, может быть, было более лиц в связях с высшим и богатейшим обществом; но ведь декабристов было и несравненно более числом, чем петрашевцев, между

которыми было тоже немало лиц в связях и в родстве с лучшим обществом, а вместе с тем и богатых. К тому же высшее общество нисколько ведь не сочувствовало замыслу декабристов и в нем не участвовало даже и косвенно, так что с этой стороны не могло им придать никакого особого значения. Тип декабристов был более военный, чем у петрашевцев, но военных было довольно и между петрашевцами. Одним словом, я не знаю, в чем видит различие автор. И те и другие принадлежали бесспорно совершенно к одному и тому же *господскому*, «*барскому*», так сказать, обществу, и в этой характерной черте тогдашнего типа политических преступников, то есть декабристов и петрашевцев, решительно не было никакого различия. Если же между петрашевцами и было несколько разночинцев (крайне немного), то лишь в качестве людей образованных, и в этом качестве они могли явиться и у декабристов. Вообще же говоря, мещане и разночинцы не могли быть ни у декабристов, ни у петрашевцев в значительном числе, но лишь потому, что они тогда и не являлись в числе. Что же до «интеллигентности» как высшего качества декабристов над петрашевцами, то в этом автор совсем уже ошибся: общество декабристов состояло из людей, несравненно менее образованных, чем петрашевцы. Между петрашевцами были, в большинстве, люди, вышедшие из самых высших учебных заведений — из университетов, из Александровского лицея, из Училища правоведения и из самых высших специальных заведений. Было много преподающих и специально занимающихся наукой. Впоследствии, после помилования их, многие из них заявили себя весьма заметно, и если брать всех петрашевцев, то есть не одних сосланных в Сибирь, а и наказанных в России ссылкой по крепостям и на Кавказе,

или удалением на службу в отдаленные города, или, наконец, просто оставшихся под надзором, то весьма и весьма многие из них заявили себя потом с большою честью в науке, как профессора, как естествоиспытатели, как секретари ученых обществ, как авторы замечательных ученых сочинений, как издатели журналов, как весьма заметные беллетристы, поэты и вообще как полезные и интеллигентные деятели. Повторяю, по отношению к образованию петрашевцы представляли тип высший перед декабристами.

Разумеется, наблюдателям об «измельчании» типа многое могло представиться неверно и потому еще, что петрашевцы были несравненно малочисленнее декабристов, существовали самый короткий срок и заключали в составе своем в большинстве людей более молодых, чем декабристы.

Чтоб заключить, скажу, что вообще тип русского революционера, во все наше столетие, представляет собою лишь наияснейшее указание, до какой степени наше передовое, интеллигентное общество разорвано с народом, забыло его истинные нужды и потребности, не хочет даже и знать их и, вместо того, чтоб действительно озаботиться облегчением народа, предлагает ему средства, в высшей степени несогласные с его духом и с естественным складом его жизни и которых он совсем не может принять, если бы даже и понял их. Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие. Ныне же, от многих и сложных причин, о которых мы непременно скажем слово в одном из будущих выпусков «Дневника», — ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того,

чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится и заключится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело.

С реформами нынешнего царствования естественно началось изучение и познание нужд народных уже деятельно, в живой жизни, а не закрыто и отвлеченно, как прежде. Таким образом получается новый, еще неслыханный слой русской интеллигенции, уже понимающей народ и почву свою. Новый слой этот нарастает и укрепляется все шире и тверже, и это несомненно. На этих-то новых людей и вся надежда наша...

Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания

Занимался я в этот месяц и литературой, то есть беллетристикой, «изящной литературой», и кое-что прочел с увлечением. Кстати, недавно прочел я одно иностранное мнение о русской сатире,^[234] то есть о современной нашей сатире, теперешней. Оно высказано

²³⁴ ...одно иностранное мнение о русской сатире... — Имеется в виду статья А. Стенбока-Фермора «Отовсюду».

было во Франции. Замечателен тут один вывод, — забыл подлинные слова, но вот смысл: «Русская сатира как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не успокаивается до тех пор, пока не приищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обрадуется и закричит: „Это вовсе не хороший поступок, радоваться совсем нечему, видите сами, тут тоже подлец сидит!“

Справедливо ли это мнение? Не верю, чтоб было справедливо. Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. Публика очень любит сатиру, и, однако, мое убеждение, по крайней мере, что та же самая публика несравненно больше любит положительную красоту, алчет и жаждет ее. Граф Лев Толстой, без сомнения, любимейший писатель русской публики всех оттенков.

Сатира наша, как ни блестяща она, действительно страдает некоторою неопределенностью — вот что разве можно про нее сказать. Положительно нельзя иногда представить в целом, в общем: что именно хочется сказать нашей сатире? Так и кажется, что у ней у самой нет никакой подкладки, но может ли это быть? Чему она сама-то верит, во имя чего обличает — это как будто тонет во мраке неизвестности. Нельзя никак узнать, что сама она считает хорошим.

И вот над вопросом этим странно задумываешься.

Прочел «Новь» Тургенева и жду второй части. Кстати: вот уже тридцать лет как я пишу, и во все эти тридцать лет мне постоянно и много раз приходило в голову одно забавное наблюдение. Все наши критики (а я слежу за литературой чуть не сорок лет), и умершие, и

теперешние, все, одним словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской литературе чуть-чуть поторжественнее (прежде, например, бывали в журналах годовые январские отчеты за весь истекший год), — то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, всё одну и ту же фразу: «В наше время, когда литература в таком упадке», «В наше время, когда русская литература в таком застое», «В наше литературное безвремение», «Странствуя в пустынях русской словесности» и т. д., и т. д. На тысячу ладов одна и та же мысль. А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков. А между тем я даже и теперь, чуть не в прошлом месяце, читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности».^[235] Впрочем, это только забавное наблюдение мое; да и вещь-то совершенно невинная и не имеющая никакого значения. А так, усмехнуться можно.

Об «Нови» я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу

²³⁵ ... читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». — Речь идет о статье критика и историка литературы А. М. Скабичевского «Беседы о русской словесности (Критические письма)».

лишь одно: на 92-й странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Со— ломина.^[236]

Прочел я «Последние песни» Некрасова в январской книге «Отечественных записок». Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного! Наш поэт очень болен и — он сам говорил мне — видит ясно свое положение. Но мне не верится... Это крепкий и восприимчивый организм. Он страдает ужасно (у него какая-то язва в кишках, болезнь, которую и определить трудно), но я не верю, что он не вынесет до весны, а весной на воды, за границу, в другой климат, поскорее, и он поправится, я в этом убежден. Странно бывает с людьми; мы в жизнь нашу редко видались, бывали между нами и недоумения, но у нас был один такой случай в жизни, что я никогда не мог забыть о нем. Это именно наша первая встреча друг с другом в жизни. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он, больной, измученный, с первого слова

²³⁶ *Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина...* — Подразумеваются следующие строки о Соломине в XVI главе романа И. С. Тургенева «Новь»: «...Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров — и до некоторой степени сочувствовал им — ибо сам был из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь“ и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как те. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как мальчик со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется».

начал с того, что помнит об тех днях. Тогда (это тридцать лет тому!) произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, — из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам тогда было по двадцати с немногим лет. Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг «Бедных людей», мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши. Кончив повесть, я не знал, как с ней быть и кому отдать. Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Д. В. Григоровича, но тот и сам еще ничего тогда не написал, кроме одной маленькой статейки «Петербургские шарманщики» в один сборник. Кажется, он тогда собирался уехать на лето к себе в деревню, а пока жил некоторое время у Некрасова. Зайдя ко мне, он сказал: «Принесите рукопись» (сам он еще не читал ее); «Некрасов хочет к будущему году сборник издать, я ему покажу». Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел с своим сочинением, и поскорей ушел, не сказав с Некрасовым почти ни слова. Я мало думал об успехе, а этой «партии Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным и — «осмеет он моих „Бедных людей“!» — думалось мне иногда. Но лишь иногда: писал я их с страстью, почти со слезами — «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвращалась. Вечером того же дня, как я отдал

рукопись, я пошел куда-то далеко к одному из прежних товарищей; мы всю ночь проговорили с ним о «Мертвых душах» и читали их, в который раз не помню. Тогда это бывало между молодежью; сойдутся двое или трое: «А не почитать ли нам, господа, Гоголя!» — садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь. Тогда между молодежью весьма и весьма многие как бы чем-то были проникнуты и как бы чего-то ожидали. Воротился я домой уже в четыре часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший, и вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня, в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать, на пробу: «С десяти страниц видно будет». Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра, читая вслух и чередуясь, когда один уставал. «Читает он про смерть студента, — передавал мне потом уже наедине Григорович, — и вдруг я вижу, в том месте, где отец за гробом бежит, у Некрасова голос прерывается, раз и другой, и вдруг не выдержал, стукнул ладонью по рукописи: „Ах, чтоб его!“ Это про вас-то, и этак мы всю ночь». Когда они кончили (семь печатных листов!), то в один голос решили идти ко мне немедленно: «Что ж такое что спит, мы разбудим его, это выше сна!» Потом, приглядевшись к характеру Некрасова, я часто удивлялся той минуте: характер его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало общительный. Так, по крайней мере, он мне всегда казался, так что та минута нашей первой встречи была воистину проявлением самого глубокого чувства. Они

пробыли у меня тогда с полчаса, в полчаса мы бог знает сколько переговорили, с полслова понимая друг друга, с восклицаниями, торопясь; говорили и о поэзии, и о правде, и о «тогдашнем положении», разумеется, и о Гоголе, цитую из «Ревизора» и из «Мертвых душ», но, главное, о Белинском. «Я ему сегодня же снесу вашу повесть, и вы увидите, — да ведь человек-то, человек-то какой! Вот вы познакомитесь, увидите, какая это душа!» — восторженно говорил Некрасов, трясая меня за плечи обеими руками. «Ну, теперь спите, спите, мы уходим, а завтра к нам!» Точно я мог заснуть после них! Какой восторг, какой успех, а главное — чувство было дорого, помню ясно: «У иного успех, ну хвалят, встречают, поздравляют, а ведь эти прибежали со слезами, в четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ах хорошо!» Вот что я думал, какой тут сон!

Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. Он благоговел перед Белинским и, кажется, всех больше любил его во всю свою жизнь. Тогда еще Некрасов ничего еще не написал такого размера, как удалось ему вскоре, через год потом. Некрасов очутился в Петербурге, сколько мне известно, лет шестнадцати, совершенно один. Писал он тоже чуть не с 16-ти лет. О знакомстве его с Белинским я мало знаю, но Белинский его угадал с самого начала и, может быть, сильно повлиял на настроение его поэзии. Несмотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и на разницу лет их, между ними наверно уж и тогда бывали такие минуты, и уже сказаны были такие слова, которые влияют навек и связывают неразрывно. «Новый Гоголь явился!» — закричал Некрасов, входя к нему с «Бедными людьми». — «У вас Гоголи-то как грибы растут», — строго заметил ему Белинский, но рукопись взял. Когда

Некрасов опять зашел к нему, вечером, то Белинский встретил его «просто в волнении»: «Приведите, приведите его скорее!»

И вот (это, стало быть, уже на третий день) меня привели к нему. Помню, что на первый взгляд меня очень поразила его наружность, его нос, его лоб; я представлял его себе почему-то совсем другим — «этого ужасного, этого страшного критика». Он встретил меня чрезвычайно важно и сдержанно. «Что ж, оно так и надо», — подумал я, но не прошло, кажется, и минуты, как все преобразилось: важность была не лица, не великого критика, встречающего двадцатидвухлетнего начинающего писателя, а, так сказать, из уважения его к тем чувствам, которые он хотел мне излить как можно скорее, к тем важным словам, которые чрезвычайно торопился мне сказать. Он заговорил пламенно, с горящими глазами: «Да вы понимаете ль сами-то, — повторял он мне несколько раз и вскрикивая по своему обыкновению, — что это вы такое написали!» Он вскрикивал всегда, когда говорил в сильном чувстве. «Вы только непосредственным чутьем, как художник, это могли написать, но осмыслили ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы нам указали? Не может быть, чтобы вы в ваши двадцать лет уж это понимали. Да ведь этот ваш несчастный чиновник — ведь он до того заслужился и до того довел себя уже сам, что даже и несчастным-то себя не смеет почесть от приниженности и почти за вольнодумство считает малейшую жалобу, даже права на несчастье за собой не смеет признать, и, когда добрый человек, его генерал, дает ему эти сто рублей, — он раздроблен, уничтожен от изумления, что такого как он мог пожалеть „их превосходительство“, не его превосходительство, а „их превосходительство“, как

он у вас выражается! А эта оторвавшаяся пуговица, а эта минута целования генеральской ручки, — да ведь тут уж не сожаление к этому несчастному, а ужас, ужас! В этой благодарности-то его ужас! Это трагедия! Вы до самой сути дела дотронулись, самое главное разом указали. Мы, публицисты и критики, только рассуждаем, мы словами стараемся разъяснить это, а вы, художник, одною чертой, разом в образе выставляете самую суть, чтоб ощупать можно было рукой, чтоб самому нерассуждающему читателю стало вдруг все понятно! Вот тайна художественности, вот правда в искусстве! Вот служение художника истине! Вам правда открыта и возвещена как художнику, досталась как дар, цените же ваш дар и оставайтесь верным и будете великим писателем!..»

Все это он тогда говорил мне. Все это он говорил потом обо мне и многим другим, еще живым теперь и могущим засвидетельствовать. Я вышел от него в упоении. Я остановился на углу его дома, смотрел на небо, на светлый день, на проходивших людей и весь, всем существом своим, ощущал, что в жизни моей произошел торжественный момент, перелом навеки, что началось что-то совсем новое, но такое, чего я и не предполагал тогда даже в самых страстных мечтах моих. (А я был тогда страшный мечтатель.) «И неужели вправду я так велик», — стыдливо думал я про себя в каком-то робком восторге. О, не смейтесь, никогда потом я не думал, что я велик, но тогда — разве можно было это вынести! «О, я буду достойным этих похвал, и какие люди, какие люди! Вот где люди! Я заслужу, постараюсь стать таким же прекрасным, как и они, пребуду „верен“! О, как я легкомыслен, и если б Белинский только узнал, какие во мне есть дрянные, постыдные вещи! А всё

говорят, что эти литераторы горды, самолюбивы. Впрочем, этих людей только и есть в России, они одни, но у них одних истина, а истина, добро, правда всегда побеждают и торжествуют над пороком и злом, мы победим; о к ним, с ними!»

Я это все думал, я припоминаю ту минуту в самой полной ясности. И никогда потом я не мог забыть ее. Это была самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. Теперь еще вспоминаю ее каждый раз с восторгом. И вот, тридцать лет спустя, я припомнил всю эту минуту опять, недавно, и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. Я ему не напоминал подробно, я напомнил только, что были эти тогдашние наши минуты, и увидал, что он помнит о них и сам. Я и знал, что помнит. Когда я воротился из каторги, он указал мне на одно свое стихотворение в книге его: «Это я об вас тогда написал», — сказал он мне. А прожили мы всю жизнь врознь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей:

Песни вещице их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.^[237]

Тяжелое здесь слово это: *укоризненно*. Пребыли ли мы «верны», пребыли ли? Всяк пусть решает на свой суд и совесть. Но прочтите эти страдальческие песни сами, и

²³⁷ *Песни вещице их недопеты...* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Скоро стану добычею тленья».

пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт!
Страстный к страданию поэт!..

Именинник

Помните ли вы «Детство и отрочество» графа Толстого? Там есть один мальчик, герой всей поэмы. Но это не простой мальчик, не как другие дети, не как брат его Володя. Ему всего каких-нибудь лет двенадцать, а в голову и в сердце его уже заходят мысли и чувства не такие, как у его сверстников. Мечтам и чувствам своим он уже отдается страстно и уже знает, что их лучше хранить ему про себя. Обнаруживать их уже мешает ему стыдливое целомудрие и высшая гордость. Он завидует брату и считает его несравненно выше себя, особенно по ловкости и по красоте лица, а между тем он втайне предчувствует, что брат гораздо ниже его во всех отношениях, но он гонит свою мысль и считает ее низостью. Он смотрит на себя в зеркало слишком часто и решает, что он уродливо нехорош собою. У него мелькают мечты, что его никто не любит, что его презирают... Одним словом, это мальчик довольно необыкновенный, а между тем именно принадлежащий к этому типу семейства средне-высшего дворянского круга, поэтом и историком которого был, по завету Пушкина, вполне и всецело, граф Лев Толстой. И вот в их доме, в большом семейном московском доме, собираются гости; именинница сестра; съезжаются с большими и дети, тоже мальчики и девочки. Начались игры, танцы. Наш герой мешковат, танцует хуже всех, хочет отличиться остроумием, но ему не удается, — а тут как раз столько хорошеньких девочек и — вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. В отчаянии он решается на все, чтоб всех поразить. При всех девочках и при всех

этих гордых, старших мальчишках, считавших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком! «Теперь все узнали, каков он, он показал себя!» Его позорно тащат и запирают в чулан. Чувствуя себя погибшим, и уже навеки, мальчик начинает мечтать: вот он бежал из дому, вот он поступает в армию, на сражении он убивает множество турок и падает от ран. Победа! где наш спаситель, кричат все, целуют и обнимают его. Вот он уже в Москве, он идет по Тверскому бульвару с подвязанной рукой, его встречает государь... И вдруг мысль, что дверь отворится и войдет гувернер с розгами, рассеивает эти мечты, как пыль. Начинаются другие. Он вдруг выдумывает причину, почему его «все так не любят»: вероятно, он подкидыш, и от него это скрывают... Вихрь разрастается: вот он умирает, входят в чулан и находят его труп: «Бедный мальчик!», его все жалеют. «Он добрый мальчик! Это вы его погубили», — говорит отец гувернеру... и вот слезы душат мечтателя... Вся эта история кончается болезнью ребенка, лихорадкой, бредом. Чрезвычайно серьезный психологический этюд над детской душой, удивительно написанный.

* * *

Я нарочно припомнил этот этюд в такой подробности, получил письмо из К-ва, в котором мне описывают смерть одного ребенка, тоже двенадцатилетнего мальчика, и — и очень может быть, что тут нечто похожее. Впрочем, выпишу местами письмо, не изменяя в выписываемом ни слова. *Сюжет* любопытен.

8-го ноября, после обеда, разнеслась по городу весть, что случилось *самоубийство* — повесился *12—13-летний отрок*, воспитанник прогимназии. Обстоятельства дела таковы. Классный наставник, по предмету которого не знал в этот день урока погибший мальчик, наказал его тем, что оставил в заведении до 5 часов вечера. Походил, походил ученик, отвязал от попавшегося на глаза блока бечевку, привязал ее к гвоздю, на котором обыкновенно висит так называемая золотая или красная доска, для чего-то в этот день вынесенная, и удавился. Сторож, мывший в соседних комнатах полы, увидел несчастного, побежал к инспектору; прибежал инспектор, сняли с петли самоубийцу, но возвратить его к жизни не могли... Где причина самоубийства? Мальчик буйства и зверонравства не проявлял, учился вообще хорошо, только у своего классного наставника в последнее время получил несколько неудовлетворительных отметок, за что и был наказываем... Говорят, и отец мальчика, человек очень строгий, и сам он были в этот день именинники. Быть может, с детским восторгом мечтал молодой именинник о том, как его встретят дома — мать, отец, братишки, сестренки... И вот, сиди один-одинешенек, голодный в пустом доме и раздумывай о страшном гневе отца, который придется встретить, об унижении, стыде, а быть может, и наказании, которое предстоит перенести. О возможности покончить самому с собою он знал (да и кто из детей нашего времени не знает этого). Страшно жаль погибшего, жаль инспектора, человека и педагога прекраснейшего, которого воспитанники обожают, страшно за школу, которая в стенах своих видит подобные явления. Что почувствовали товарищи погибшего и другие дети, обучающиеся там, между

которыми в подготовительных классах есть совершенные крошки, когда они узнали о случившемся? Не слишком ли сильна такая наука? Не слишком ли много придается значения двойкам, единицам, золотым и красным доскам, на гвоздях от которых вешаются воспитанники? Не слишком ли много формализма и сухой бессердечности вносится у нас в дело воспитания?

Конечно, страшно жаль бедного маленького именинника, но я не стану распространяться о вероятных причинах этого горестного *случая*, и в особенности на тему «о двойках, о баллах, об излишней строгости» и проч. Все это и прежде было и обходилось без самоубийств, и причина, очевидно, не тут. Эпизод из «Отрочества» графа Толстого я взял из сходства обоих случаев, но есть и огромная разница. Без сомнения, именинник Миша убил себя не от злости и не от страху только. Оба чувства эти — и злость, и болезненная трусливость — слишком просты и скорее всего нашли бы *исход сами в себе*. Впрочем, действительно мог повлиять и страх наказания, особенно при болезненной мнительности, но все же чувство могло быть и при этом гораздо сложнее, и опять-таки очень может быть, что происходило нечто вроде того, что описал граф Толстой, то есть подавленные, еще не сознательные детские вопросы, сильное ощущение какой-то гнетущей несправедливости, мнительное раннее и страдальческое ощущение собственной ничтожности, болезненно развившийся вопрос: «Почему меня так все не любят», страстное желание заставить жалеть о себе, то есть то же, что страстное желание любви от *них всех*, — и множество, множество других усложнений и оттенков. Дело в том, что те или другие из этих оттенков непременно были, но — есть и черты какой-то новой

действительности, совсем другой уже, чем какая была в успокоенном и твердо, издавна сложившемся московском помещичьем семействе средне-высшего круга, *историком* которого явился у нас граф Лев Толстой, и как раз, кажется, в ту пору, когда для прежнего русского дворянского строя, утверждавшегося на прежних помещичьих основаниях, пришел какой-то новый, еще неизвестный, но радикальный перелом, по крайней мере, огромное перерождение в новые и еще грядущие, почти совсем неизвестные формы. Есть тут, в этом случае с именинником, одна особенная черта уже совершенно нашего времени. Мальчик графа Толстого мог мечтать, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о том, как *они* войдут и найдут его мертвым и начнут любить его, жалеть и себя винить. Он даже мог мечтать и о самоубийстве, но лишь *мечтать*: строгий строй исторически сложившегося дворянского семейства отозвался бы и в двенадцатилетнем ребенке и не довел бы его *мечту до дела*, а тут — *помечтал, да и сделал*. Я, впрочем, замечая это, не об одной только теперешней эпидемии самоубийств говорю. Чувствуется, что тут что-то не то, что огромная часть русского строя жизни осталась вовсе без наблюдения и без *историка*. По крайней мере, ясно, что жизнь средне-высшего нашего дворянского круга, столь ярко описанная нашими беллетристами, есть уже слишком ничтожный и обособленный уголок русской жизни. Кто ж будет *историком* остальных уголков, кажется, страшно многочисленных? И если в этом хаосе, в котором давно уже, но теперь особенно, пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона и руководящей нити даже, может быть, и шекспировских размеров художнику, то, по крайней мере, кто же осветит

хотя бы часть этого хаоса и хотя бы и не мечтая о руководящей нити? Главное, как будто всем еще вовсе не до того, что это как бы еще рано для самых великих наших художников. У нас есть бесспорно жизнь разлагающаяся и семейство, стало быть, разлагающееся. Но есть, необходимо, и жизнь вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит, и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано? Но и старое-то, прежнее-то все ли было отмечено?

Февраль

Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой.^[238] Один из неизвестнейших русских великих людей

Восточный вопрос по-прежнему у всех перед глазами. Как ни старались мы забыть его и развлечь себя всем, что было под рукой, — масленицей, «Новью», крахами, червонными валетами, — как ни нагоняли мы на себя цинизм, уверяя всех и себя прежде всех, что «ничего ровно не было, что все выдуманно и подделано», как ни прятали мы голову в подушку, как маленькие дети, чтоб только не видеть грозного привидения, — а привидение все-таки перед нами, никуда не ушло, стоит и грозит, как и прежде. Всякий — и злобствующий циник,

²³⁸ ...хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. — Достоевский использует образы из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

и искренний гражданин, и безмятежно развлекающийся гуляка, и просто ленивец — всякий чувствует и помнит, что есть это нечто, — нечто, отнюдь еще не решенное и не поконченное, а вместе с тем неотложное и необходимое, нечто, что непременно позовет нас и потребует, рано ли, поздно ли, к развязке, и что тут непременно —

Надо что-нибудь да сделать,

Надо чем-нибудь да кончить.

И уж это по меньшей мере, если что-нибудь сделать или чем-нибудь кончить, а что всего бы лучше, если б кончить получше. А между тем время идет да идет, на дворе весна и — что-то даст нам весна? Иные кричат, что ушло уже время; это бог знает; для хорошего дела всегда есть время. Да, не выработается ли что-нибудь хоть к весне, не скажется ли что-нибудь окончательно, то есть хоть бы на год? Ведь в Восточном вопросе теперь в Европе дальше как на год никто и не рассчитывает, тем более что и сама Турция вряд ли год простоит. Но дело не в ней, а в том, что после нее останется. Эти окончательные решения на год Европе, может быть, и выгодны; ну, а другим не очень; и что-то будет с другими, особенно с теми другими, там за Дунаем? Но об них думает лишь русский народ.

Да, думает, и воля ваша, как ни отрицали мы изо всех сил всю зиму наше летнее движение, но, по-моему, оно продолжалось и во всю зиму, точно так же как и летом, по всей России, неуклонно и верно, но уже спокойно и с надеждой на решение царя. И, уж конечно, продолжаться будет до самого конца, несмотря на пророков наших, умевших разглядеть (и именно в это

лето) в лице России лишь спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, с колоссальным штофом в руках. По-моему, если и не видят эти пророки наши, чем живет Россия, так тем даже и лучше: не будут вмешиваться и не будут мешать, а и вмешаются — так не туда попадут, а мимо. Видите ли: тут дело в том, что наш европеизм и «просвещенный» европейский наш взгляд на Россию — это все та же еще луна, которую делает все тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и все так же прескверно делает, что и доказывает поминутно; вот он и на днях доказал: впредь же будет делать еще сквернее, — ну, и пусть его: немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание.

Да и какое дело России до таких пророков? Теперь и не почешемся, прежнее время прошло.

В газетах упоминалось как-то, что в Москву в эту зиму привезли из славянских земель не одну партию бедных маленьких детей из разрушенных войною семейств, совершенных сирот. Их размещают по разным рукам и заведениям. Хорошо, кабы это все не прерывалось и организовалось наконец по всей России в самом обширном размере: что же, ведь это только благодеяние; а деток этих надо беречь, ведь это всё *будущие* славяне. Кстати, я несколько раз спрашивал себя: чем так-таки прокормились эти несколько сот тысяч ртов из болгар, босняков, герцеговинцев и прочих, бежавших от своих мучителей, после избиения и разорения, в Сербию, Черногорию, Австрию и куда попало. Соображая, сколько нужно денег, чтоб их прокормить, и зная, что ни у сербов, ни у черногорцев нет таких денег, да и самим теперь есть почти нечего, не понимаешь, чем эти сотни тысяч могли прокормиться с

маленькими своими детьми и во что в зиму одеть себя и детей. Говорят, недавно в Москву привезли еще «партию деток», от трех до тринадцати лет, и которых приняла к себе Покровская община сестер милосердия. Рассказывают, что этих маленьких сербских девочек покровские сестры милосердия поместили вместе с прибывшими прежде болгарками и что за ними надзирает одна из сестер, знающая по-сербски, так что дети рады и детям весело. Детям, конечно, хорошо и тепло, но я слышал недавно от одного воротившегося из Москвы приятеля прехарактерный анекдот про этих самых малюток: сербские девочки сидят-де в одном углу, а болгарки в другом, и не хотят ни играть, ни говорить друг с дружкой, а когда спрашивают сербок, отчего они не хотят играть с болгарками, то те отвечают: «Мы им дали оружие, чтоб они шли с нами вместе на турок, а они оружие спрятали и не пошли на турок». Это очень, по-моему, любопытно. Если восьми-девятилетние малютки говорят таким языком, то, значит, переняли от отцов, и если такие слова отцов переходят уже к детям, то, значит, между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь между славянами! Они запоминают ее в своих преданиях и сохраняют в песнях, и без единящего огромного своего центра — России — не бывать славянскому согласию, да и не сохраниться без России славянам, исчезнуть с лица земли вообще, — как бы там ни мечтали люди сербской интеллигенции или там разные цивилизованные по-европейски чехи... Много у них еще мечтателей. Да почти всё еще мечтатели...

Помните ли вы у Пушкина, в «Песнях западных славян», «Песню о битве у Зеницы Великой»? Там восставшие собрались с Радивоем в поход на турок.

А далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: «Возьмите нас с собою»...

.
Беглербей с своими босняками
Против нас пришел из Банялуки;
Но лишь только заржали их кони,
И на солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы Великой, —
Разбежались изменники далматы!

Кстати, я спросил: «Помните ли вы в „Песнях западных славян“ и т. д., и я вперед за всех отвечаю, что никто не помнит ни „Песни о битве у Зеницы Великой“, ни даже и самих „Песен западных славян“ Пушкина. Ну, кроме специалистов там каких-нибудь, словесников, али старых-старых каких-нибудь стариков. Пусть я гнусно ошибаюсь, но все же я в этом твердо уверен. А между тем знаете ли, господа, что „Песни западных славян“ это — шедевр из шедевров Пушкина, между шедеврами его шедевр, не говоря уже о пророческом и политическом значении этих стихов, еще пятьдесят лет тому назад появившихся. Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: это предчувствие славян русскими, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении. Ни в одной критике, однако же, я никогда не читал про эти „сочинения Пушкина“, что они его

шедевры. Считали их так себе, а между тем они именно шедевры и всё, что есть высшего по значению. По-моему, Пушкина мы еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший русское сознание еще слишком надолго. Это был уже русский, настоящий русский, сам, силою своего гения, переделавшийся в русского, а мы и теперь всё еще у хромого бочара учимся. Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских. Но я об этом распространяться пока не стану, а про „Песни“ лишь скажу, что, как всем известно, они взяты у Пушкина с французского, из книжки Мериме „La Gouzia“, книжки, сочиненной Мериме, по его собственному признанию, наобум, не выезжая из Парижа. Этот преталантливый французский писатель, впоследствии sénateur^[239] и чуть не родственник Наполеона III, теперь уже умерший, в этой «Gouzia» изобразил, под видом славян, конечно лишь французов, да еще и французов-то парижан; иначе они и не умеют: для настоящего француза, кроме Парижа, ничего на свете не существует. Пушкин, прочтя книжку и послав об ней автору в Париж запрос, сочинил по ней свои песни, то есть из французов, изображенных Мериме, восстановил славян, и — уж конечно, теперь это «Песни западных славян», настоящих славян, славян, даже породнившихся уже с русскими. Конечно, этих песен нет в Сербии, поются у них другие, но это все равно: пушкинские песни — это песни всеславянские,

²³⁹ Сенатор (франц.).

народные, вылившиеся из славянского сердца, в духе, в образе славян, в смысле их, в обычае и в истории их. Я бы тем высокообразованным сербам, из которых многие столь недоверчиво смотрели нынешним летом на русских, показал бы, например, песню Пушкина о «Георгии Черном» или эту «Песню о битве при Зенице Великой». Это два шедевра из этих песен, бриллианты первой величины в поэзии Пушкина (и непременно потому-то они совершенно неведомы в наших школах не только ученикам, но, и весьма вероятно, и учителям, которые с удивлением услышат теперь в первый раз, что это такие шедевры, а не «Кавказский пленник» и не «Цыганы»). А между тем хоть бы в прошлом году-то, по крайней мере, пустить эти песни в ход в наших школах. Впрочем, судя по ходу дел, вряд ли сербы скоро узнают этого неизвестнейшего из всех великих русских людей — так, я думаю, можно определить нашего великого Пушкина, про которого у нас тысячи и десятки тысяч из нашей интеллигенции до сих пор не знают, что это был таких великих размеров поэт и русский человек, и которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник,^[240] — черта эта войдет в нашу историю. А сербы, прочтя эти «Песни», конечно, увидели бы, как думаем мы об их свободе, чтим мы ее или нет, радуемся ли ей или нет и хотим или нет захватить их в свою власть и лишить их этой свободы. Впрочем, довольно о поэзии. И пусть не улыбаются надо мной свысока: «Вот, дескать, об каких мелочах заговорил». Это не мелочь; о Пушкине еще много и долго у нас говорить надо.

²⁴⁰ ...которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник... — В 1860 году, в связи с пятидесятилетним юбилеем Царскосельского лицея, его бывшие воспитанники задумали предпринять сбор средств на памятник Пушкину, торжественно открытый лишь 6 июня 1880 года.

**Доморощенные великаны и
приниженный сын «кучи».
Анекдот о содранной со спины
коже. Высшие интересы
цивилизации, и «да будут они
прокляты, если их надо покупать
такою ценой!»**

Сербская скупщина, собравшаяся в прошлом месяце в Белграде на одно мгновение (на полтора часа, как писали в газетах), чтоб только решить: «Заклучить мир или нет?» — скупщина эта, как слышно, выказала вовсе не такое слишком уж поспешно миролюбивое настроение, какого от нее ждали, принимая в соображение обстоятельства. Говорят, и на мир-то согласились вследствие какой-то передержки, министерской какой-то интриги. Во всяком случае, если чуть-чуть правда, что скупщина не трусила продолжения войны, то, взяв в соображение их отчаянное положение, невольно спросишь себя: «Что ж это у нас так кричали о трусости сербов?» Я получал из Сербии письма и говорил с приезжавшими оттуда и особенно запомнил одно письмо от одного юного русского,^[241] который там и остался и который пишет о сербах с восторгом и с негодованием на то, что в России находятся-де люди, думающие про них, что они трусы и эгоисты. Восторженный русский эмигрант даже извиняет

²⁴¹ ...особенно запомнил одно письмо от одного юного русского... — Письмо студента-добровольца А. П. Хитрова.

членовредительство сербских солдат у Черняева и Новоселова: это, видите ли, они до того нежный сердцем народ, до того любят свою «кучу», где каждый оставил жену, детей или мать, сестер, невесту, братьев, коня и собаку, что бросают всё, уродуют себя, отстреливают себе пальцы, чтобы не годиться к службе и поскорей воротиться в свое милое гнездо! Представьте себе, я эту нежность сердца понимаю и весь этот процесс понимаю, и, уж конечно, в таком случае это слишком нежный сердцем народ, хотя — хотя это в то же время довольно туповатые дети своей отчизны, так что сами не понимают, чего у них сердце хочет. По нежности сердца своего сербский обитатель «кучи» похож очень, по-моему, на тех детей, которых, очень может быть, и вы запомнили еще с детства: вдруг из семьи или из разрушенного и разбредшегося вдруг семейства попадают они в школу. Доселе мальчик жил только дома и ничего, кроме своего дома, не знал, и вдруг — сто человек товарищей, чужие лица, шум, гам, совсем все другое, чем дома, — боже, какая мука! Дома ему, пожалуй, было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки там было дома, он был один у себя и с собой, а здесь — ни одного-то слова ласки от начальства, строгости от учителей, такие мудреные науки, такие длинные коридоры и такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжалостные его товарищи: «Точно у них сердца нет, точно у них не было ни отца ни матери!» Ему говорили до сих пор, что лгать и обижать страшно и позорно, а вот они здесь все лгут, обманывают, обижают, да еще смеются над его ужасом. Вот они за что-то невзлюбили его, за то, что он плачет о своем гнезде, «класс марает». Вот они принимаются его колотить без пощады, всем

классом, все время, и даже так, без злобы, для развлечения. Я замечу про себя, что таких несчастных детей я довольно встречал в моем детстве в разных школах, — и какие преступления совершаются иногда в этом роде в наших воспитательных заведениях, всех разрядов и наименований, — именно преступления! Попробуй мальчик сдуру пожаловаться, и его убьют чуть не до смерти (да и до смерти убьют); школьники бьют без жалости и без осторожности. Они задразнят его фискалом на целые годы, говорить с ним не захотят, а сделают из него парию, — и что за бессердечность, какое безжалостное равнодушие при этом в начальстве! Я не помню в моем детстве ни одного педагога и не думаю, чтоб их и теперь было много: всё лишь чиновники, получающие жалованье. А между тем вот эти-то дети, которые, поступая в школу, тоскуют по семье и родимом гнезде, — вот именно из таких-то и выходят потом всего чаще люди замечательные, со способностями и с дарованиями. А те, которые, взятые из семьи, быстро уживаются в каком угодно новом порядке, в один миг ко всему привыкают, которые ни о чем никогда не тоскуют и даже сразу становятся во главе других, — эти всего чаще выходят лишь бездарностью или просто дурными людьми, пролазы и интриганы еще с восьмилетнего возраста. Разумеется, я сужу слишком вообще, но все-таки, по-моему, тот плохой ребенок, который, поступая в школу, не тоскует про себя по своей семье, разве что семьи у него вовсе не было или была слишком плохая.

С таким страдающим, в первые дни своей школы, мальчиком я еще летом, читая о них, сравнивал невольно сербского новобранца-членовредителя, — иначе как тем же самым чувством и объяснить не мог его несчастного,

нерассуждающего, животного почти желания бросить ружье и бежать скорей домой. Разница лишь в том, что при этом желании объявлялась и невероятная, феноменальная как бы тупость. Он как бы отмахивался от всякого соображения о том, что если все, как он, разбегутся, то и землю защищать будет некому, а стало быть, придут турки когда-нибудь и к ним в «кучу» и разорят эту дорогую, возлюбленную его «кучу», и зарежут и мать его, и невесту, и сестру его, и коня, и собаку их. Действительно, слишком во многих, может быть, сербских сердцах это страдание по родному гнезду своему не возвысилось до страдания по родине, что представило собою именно странный феномен. Правда, теперь, когда уж кончилась у них война и заключен мир, можно заметить и то, что и сердца высшей сербской интеллигенции далеко не всегда возвышались до страдания по родине, но, однако, по другой причине, чем сердца низшие. Сверху это объясняется у них слишком сильным, может быть, политическим честолюбием. Так, что из-за «высших» интересов родины этим высшим сердцам было даже почти и не время заниматься интересами низшими, народными, столь обыденными. Но о низшем сербе, мне кажется, все-таки можно сделать одно довольно любопытное замечание. Нельзя же объяснить его членовредительство и побег с поля битвы лишь одною нежностью сердца и тупостью соображения. Мне кажется, что, дезертируя домой, он в состоянии был очень понять, что делает худо, и очень может быть, что не хвалил себя первый сам, но в то же время никогда и не полагал, что родина его останется без защиты и без прикрытия, если он убежит: «О, останутся герои, Киреевы, останется Черняев, русские, да и свои строгие сербские начальники, а он — что такое он? Незаметная

пылинка, так, дрянь, и больше ничего: он уйдет, и никто его не хватится...» По-моему, именно это чувство и было в нем, и это очень любопытно, и рисует народ: сверху бахвалы, цивилизованные европейцы, мечтающие завоевать всех славян в одну Сербию, интригующие даже против России, словом, настоящие цивилизованные европейцы, Хорватовичи^[242] и Мариновичи,^[243] то есть все равно как бы Мольтке^[244] и Бисмарки. С другой стороны, рядом с этими великанами — приниженный сын «кучи», и именно приниженный четырьмя веками рабства; от вековой этой приниженности он и считает себя ни во что, за пылинку: «Останутся, дескать, великаны, а меня и не приметят. Я такой маленький, а они такие строгие господа...» Где-то я читал, что иные из этих строгих господ, так-таки сразу, завидев иного низшего серба, собиравшегося бежать из-под ружья, прямо отстреливали ему голову револьвером, — «вот, дескать, какими тоже могли бы мы быть железными князьями!»^[245] Они свой низший народ третируют там, кажется, несколько свысока.

²⁴² *Хорватович* Георгий (1835–1895) — военный министр Сербии.

²⁴³ *Маринович* — сербский государственный деятель, министр-президент и министр иностранных дел, по свидетельству прессы, интриговавший против России.

²⁴⁴ *Мольтке* Карл Хельмут (1800–1891) — германский фельдмаршал и военный теоретик. Сыграл видную роль в объединении Германии «сверху» и в войне Германии против Франции в 1870–1871 годах.

²⁴⁵ *...могли бы мы быть железными князьями!* — Железным канцлером или железным князем называли Бисмарка, который еще в 1862 году провозгласил доктрину внешней и внутренней политики, предусматривающую объединение Германии с помощью военной силы, с помощью «железа и крови». Политика «железа и крови» была неприемлема для Достоевского-гуманиста.

Вообще эти высшие славяне, «с столь славною будущностью» — во всяком случае чрезвычайно любопытный народ в политическом, гражданском, историческом и во всевозможных отношениях.

Теперь, когда уже Черняев оттуда выехал, а добровольцев выслали, у них, то есть от их военных людей, слышалась одна военная мысль, о которой мы прежде, летом, не слыхивали. Именно, утверждают они, что их серб и вовсе не способен служить в регулярном войске и действовать в чистом поле, а что народная сербская война — это «малая война», то есть партизанская, война шайками, в лесах, в теснинах, за камнями, за скалами. Что же, и это очень может быть: но так как мир у них уже заключен, то вряд ли это можно теперь проверить. По крайней мере, они останутся с этим военным убеждением, ну и то утешение в несчастье. Долго ли протянется этот мир? Но чтоб сказать прощальное слово об этой сербской войне, в которой мы, русские, чуть не все до единого, так участвовали нашим сердцем, то мне кажется, что сербы расстанутся с нами и с помощью нашею еще с большею недоверчивостью, чем с какою встречали нас в начале войны. Заключить можно тоже, что недоверчивость эта к нам будет в них идти, увеличиваясь все время, пока они будут умственно расти и развиваться сами; стало быть, очень долго, и что нам, стало быть, прежде всего надо не обращать никакого внимания на их недоверчивость и делать свое дело, как сами знаем. Нам в Восточном вопросе необходимо иметь в виду неустанно одну истину: что славянская главная задача не в том только, чтоб освободиться от своих мучителей, а и в том, чтоб освобождение это совершить, хоть и с помощью русских (нельзя же иначе, и — если б

только они могли обойтись без русских!), но по крайней мере оставаясь как можно меньше обязанными русским.

Между этими привезенными в Москву славянскими детьми есть, говорят, — рассказывал мне все тот же воротившийся из Москвы приятель, — один ребенок, девочка лет восьми или девяти, которая часто падает в обморок и за которую особенно ухаживают. Падает она в обморок от воспоминания: она сама, своими глазами, видела нынешним летом, как с отца ее сдирали черкесы кожу и — содрали всю. Это воспоминание при ней неотступно и, вероятнее всего, останется навсегда, может быть, с годами в смягченном виде, хотя, впрочем, не знаю, может ли тут быть смягченный вид. О цивилизация! О Европа, которая столь пострадает в своих интересах, если серьезно запретить туркам сдирать кожу с отцов в глазах их детей! Эти, столь высшие интересы европейской цивилизации, конечно, — торговля, мореплавание, рынки, фабрики, — что же может быть выше в глазах Европы? Это такие интересы, до которых и дотронуться даже не позволено не только пальцем, но даже мыслью, но — но «да будут они прокляты, эти интересы европейской цивилизации!». Это восклицание не мое, это воскликнули «Московские ведомости», и я за честь считаю присоединиться к этому восклицанию: да, да будут прокляты эти интересы цивилизации, и даже самая цивилизация, если, для сохранения ее, необходимо сдирать с людей кожу. Но, однако же, это факт: для сохранения ее необходимо сдирать с людей кожу!

О сдирании кож вообще, разные абберации в частности ненависть к авторитету при лакействе МЫСЛИ

«С людей? С каких людей? С крошечной только части людей, где-то там в уголке, с турецкой райи,^[246] о которой никто бы и не услышал ничего, если б не прокричали русские. Зато огромная остальная часть организма жива, здорова и благоденствует, торгует и фабрикует!»

Этот анекдот о маленькой болгарке, падающей в обморок, мне рассказали утром, и в тот же день мне случилось проходить по Невскому проспекту. Там в четвертом часу матери и няньки водили детей, и невольная мысль вдруг веско легла мне на душу: «Цивилизация! — думал я, — кто же смеет сказать против цивилизации? Нет, цивилизация что-нибудь да значит: не увидят по крайней мере эти дети наши, мирно гуляющие здесь на Невском проспекте, как с отцов их сдирать будут кожу, а матери их — как будут вскидывать на воздух этих детей и ловить их на штык, как было в Болгарии. По крайней мере хоть это-то приобретение наше да останется за цивилизацией! И пусть это только в Европе, то есть в одном уголке земного шара, и в уголке довольно малом сравнительно с поверхностью планеты (мысль страшная!), но все же это есть, существует, хоть в уголке да существует, положим, дорогою ценой,

²⁴⁶ *Райя* (от арабского слова, имеющего значение «стадо») — немусульманское сельское население Турции. В России этим словом называли славянское население Балканского полуострова.

сдиранием кож с родных наших братьев где-то там на краю, но зато у нас-то по крайней мере существует. Подумать только, что прежде, да и недавно еще нигде этого не было в твердом виде, даже и в Европе, и что если есть это теперь у нас в Европе, то ведь в первый раз с тех пор, как существует планета. Нет, все же это уже достигнуто и, может быть, назад уже никогда не воротится, — соображение чрезвычайно важное, невольно в душу направляющееся, вовсе не такое маленькое, на которое не стоило бы обращать внимания, тем более что мир — мир все-таки по-прежнему загадка, несмотря на цивилизацию и ее приобретения. Бог знает чем чреват еще мир и что может дальше случиться, даже и в ближайшем будущем.

И вот, только лишь я хотел воскликнуть про себя в восторге: «Да здравствует цивилизация!» — как вдруг во всем усомнился: «Да достигнуто ли даже это-то, даже для этих Невского-то проспекта детей? уж не мираж ли, полно, и здесь, и только глаза отводят?»

Знаете, господа, я остановился на том, что мираж или, помягче, почти что мираж, и если не сдирают здесь на Невском кожу с отцов в глазах их детей, то разве только случайно, так сказать, «по не зависящим от публики обстоятельствам», ну и, разумеется, потому еще, что городские стоят. О, я спешу оговориться: я вовсе не аллегория какую-нибудь подвожу, не на страдания какого-нибудь пролетария в наш век намекаю, не на родителя какого-нибудь, который говорит своему семилетнему сыну: «Вот тебе мой завет: украдешь пять рублей — прокляну, украдешь сто тысяч — благословлю». О нет, слова мои я разумею буквально. Я разумею буквально сдирание кож, вот то самое, которое происходило летом в Болгарии и которым, оказывается,

так любят заниматься победоносные турки. И вот про это-то сдирание я и утверждаю, что если его нет на Невском, то разве «случайно, по не зависящим от нас обстоятельствам» и, главное, потому, что пока еще запрещено, а что за нами, может быть, дело бы и не стало, несмотря на всю нашу цивилизацию.

По-моему, если уж все говорить, так просто боятся какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка; но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же «цель оправдывает средства», — если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятельствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. О пусть, пусть это смешнейший мой парадокс! Я первый подписываюсь под этим определением обеими руками, но тем не менее уверяю вас, что это точь-в-точь так бы и было. Цивилизация есть, и законы ее есть, и вера в них даже есть, но — явись лишь новая мода, и тотчас же множество людей изменилось бы. Конечно, не все, но зато осталась бы такая малая кучка, что даже мы с вами, читатель, удивились бы, и даже еще неизвестно, где бы мы сами-то очутились: между сдираемыми или сдирателями? Мне, разумеется, закричат в глаза, что все это дребедень, и что никогда такой моды не может быть, и что этого-то, по крайней мере, уже достигла цивилизация. Господа, какое легкоеверие с вашей стороны! Вы смеетесь? Ну, а во Франции (чтоб не заглядывать куда поближе) в 93-м году разве не

утвердилась эта самая мода сдирания кожи,^[247] да еще под видом самых священнейших принципов цивилизации, и это после-то Руссо и Вольтера! Вы скажете, что все это было вовсе не то и очень давно, но заметьте, что я прибегаю к истории единственно, может быть, чтоб не заговорить о текущем. Поверьте, что самая полная аберрация^[248] и в умах, и в сердцах всегда у людей возможна, а у нас, и именно в наше время, не только возможна, но и неминуема, судя по ходу вещей. Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно. И это не то что в каких-нибудь там «истинах», а в самом первом встречном вопросе. И с какой быстротой происходят у нас перемены и вольтфасы?^[249] Что такое в Москве червонные валеты? Мне кажется, это всего лишь та часть той фракции русского дворянства, которая не вынесла крестьянской реформы. Пусть они сами и не помещики, но они дети помещиков. После крестьянской реформы они щелкнули себя по галстуку и засвистали. Да тут и не одна крестьянская реформа была причиною, просто «новых идей» не вынесли: «Если-де всё, чему нас учили, были предрассудки, то зачем же за ними следовать? Коли *ничего* нет, значит, можно все делать, — вот идея!» Заметьте — идея до невероятности распространенная, девять десятых из последователей новых идей ее исповедуют, другими словами, девять десятых прогрессистов и не умеют у нас иначе понимать

²⁴⁷ Ну, а во Франции... в 93-м году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи... — Достоевский имеет в виду якобинский террор.

²⁴⁸ *Аберрация* (от латинск. aberratio — уклонение) — отклонение от нормы, от истины, заблуждение.

²⁴⁹ *Вольтфас* (от франц. volte-face — поворот лица) — внезапный поворот лицом к преследующему.

новых идей. У нас Дарвин, например, немедленно обращается в карманного воришку, — вот что такое и червонный валет. О, конечно, у человечества чрезвычайно много накоплено веками выжитых правил гуманности, из которых иные слывут за незыблемые. Но я хочу лишь сказать только, что, несмотря на все эти правила, принципы, религии, цивилизации, в человечестве спасается ими всегда только самая незаметная кучка, — правда, такая, за которой и остается победа, но лишь в конце концов, а в злобе дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы всё те же навсегда, то есть в огромном большинстве своем не имеют никакого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и тотчас же побежали бы все нагишом, да еще с удовольствием. Правила есть, да люди-то к правилам не приготовлены вовсе. Скажут: да и не надо готовиться, надо только правила эти отыскать! Так ли, и удержатся ли долго правила, какие бы там ни были, коли так хочется побежать нагишом?

По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно, и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители: «слишком-де много уж было деспотизму, надо свободы», а свобода эта ведет огромное большинство лишь к лакейству перед чужой мыслью, ибо страх как любит человек все то, что подается ему готовым. Мало того: мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б этот идеал и возможен был, то с *недоделанными* людьми не

осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин. С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо, чтоб поднять потом нашу «Новь», а то незачем выйдет и подымать ее.

Да? Но что хорошо и что дурно — вот ведь чего, главное, мы не знаем. Всякое чутье в этом смысле потеряли. Все прежние авторитеты разбили и наставили новых, а в новые авторитеты, чуть кто из нас поумнее, тот и не верует, а кто посмелее духом, тот из гражданина в червонного валета обращается. Мало того, ей-богу начнет сдирать со спин кожу, да еще провозгласит, что это полезно для общего дела, а стало быть, свято. Как же, в каком же смысле приступить к работе-то над собой, если не знаешь, что хорошо, что худо?

Меттернихи и Дон-Кихоты

Но чтоб не говорить отвлеченно, обратимся к данной теме. Вот мы действительно не сдираем кож, мало того, даже не любим этого (только один бог знает: любитель часто прячется, любитель мало известен, до времени стыдится, «боится предрассудка»), но если и не любим у себя и *никогда не делаем*, то должны ведь ненавидеть и в других. Мало того, что ненавидеть, должны просто не дать сдирать кож никому, так-таки взять и не дать. А между тем так ли на деле? Самые негодующие из нас вовсе не так негодуют, как бы следовало. Я даже не про одних славян говорю. Если мы уж так сострадаем, так и поступать должны бы в размере нашего сострадания, а не в размере десяти целковых пожертвования. Мне скажут, что ведь нельзя же отдать

всё. Я с этим согласен, хотя и не знаю почему. Почему же бы и не всё? В том-то и дело, что тут решительно ничего не понимаешь даже в собственной природе. А тут вдруг, с огромным авторитетом, возникает вопрос об *«интересах цивилизации»!*

Вопрос ставится прямо, ясно, научно и цинически откровенно. «Интересы цивилизации» — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу. Нужно огромное, непрерывное и прогрессивное производство по уменьшенной цене, в видах страшного наращивания пролетариев. Доставляя заработок пролетарию, доставляем ему и предметы потребления по уменьшенной цене. Чем спокойнее в Европе, тем более по уменьшенной цене. Стало быть, именно нужно в Европе спокойствие. Шум войны прогонит производство. Капитал труслив, он заботится войны и спрячется. Если ограничить право турок сдирать со спин райи кожу, то надобно затеять войну, а затей войну — сейчас выступит вперед Россия, — значит, может наступить такое усложнение войны, при котором война обнимет весь свет; тогда прощай производство, и пролетарий пойдет на улицу. А пролетарий опасен на улице. В речах палатам уже упоминается прямо и откровенно, вслух на весь мир, что пролетарий опасен, что с пролетарием беспокойно, что пролетарий внимает социализму. «Нет, уж лучше пусть где-то там в глуши сдирают кожу. Неприкосновенность турецких прав должна быть незыблема. Надо потушить Восточный вопрос и дать сдирать кожу. Да и что такое эти кожи? Стоят ли две-три каких-нибудь кожицы спокойствия всей Европы, ну двадцать, ну тридцать тысяч кож — не все ли равно? Захотим, так и не услышим вовсе, стоит уши зажать...»

Вот мнение Европы (решение, может быть); вот — *интересы цивилизации*, и — да будут они опять-таки прокляты! И тем более прокляты, что аберрация умов (а русских преимущественно) предстоит несомненная. Ставится прямо вопрос: что лучше — многим ли десяткам миллионов работников идти на улицу или единицам миллионов райи пострадать от турок? Выставляют числа, пугают цифрами. Кроме того, выступают политики, мудрые учителя: есть, дескать, такое правило, такое учение, такая аксиома, которая гласит, что нравственность одного человека, гражданина, единицы — это одно, а нравственность государства — другое. А стало быть, то, что считается для одной единицы, для одного лица — подлостью, то относительно всего государства может получить вид величайшей премудрости!

Это учение очень распространено и давнишнее, но — да будет и оно проклято! Главное, пусть не пугают нас цифрами. Пусть там в Европе как угодно, а у нас пусть будет другое. Лучше верить тому, что счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допущилось злодейство. Россия никогда не умела производить настоящих, своих собственных Меттернихов и Биконсфильдов;^[250] напротив, все время своей европейской жизни она жила не для себя, а для чужих, именно для «общечеловеческих интересов». И действительно, бывали случаи в эти двести лет, что она, может быть, и старалась кой-когда подражать Европе и заводила и у себя Меттернихов, но как-то всегда обозначалось в конце концов, что русский Меттерних оказывался вдруг Дон-Кихотом и тем ужасно дивил

²⁵⁰ *Биконсфилд* Бенджамин (Дизраэли) — английский политический деятель.

Европу. Над Дон-Кихотом, разумеется, смеялись; но теперь, кажется, уже восполнились сроки, и Дон-Кихот начал уже не смешить, а пугать. Дело в том, что он несомненно осмыслил свое положение в Европе и не пойдет уже сражаться с мельницами. Но зато он остался верным рыцарем, а это-то всего для них и ужаснее. В самом деле: в Европе кричат о «русских захватах, о русском коварстве», но единственно лишь чтобы напугать свою толпу, когда надо, а сами крикуны отнюдь тому не верят, да и никогда не верили. Напротив, их смущает теперь и страшит, в образе России, скорее нечто правдивое, нечто слишком уж бескорыстное, честное, гнушающееся и захватом и взяткой. Они предчувствуют, что подкупить ее невозможно и никакой политической выгодой не завлечь ее в корыстное или насильственное дело. Разве обманом, — но Дон-Кихот хоть и великий рыцарь, а ведь и он бывает иногда ужасно хитер, так что ведь и не даст себя обмануть. Англия, Франция, Австрия — да есть ли там хоть одна такая нация, с которой нельзя было бы соединиться при удобном случае из политической выгоды с насильственной корыстной целью: стоит лишь не пропустить ту минуту, в которую подкупаемая нация всего дороже может продать себя. Одну Россию ничем не прельстишь на неправый союз, никакой ценой. А так как Россия в то же время страшно сильна и организм ее очевидно растет и мужает не по дням, а по часам, что отлично хорошо понимают и видят в Европе (хотя подчас и кричат, что колосс расшатан), — то как же им не бояться?

Кстати, этот взгляд на неподкупность внешней политики России и на вечное служение ее общечеловеческим интересам даже в ущерб себе оправдывается историей, и на это слишком надо бы

обратить внимание. В этом наша особенность сравнительно со всей Европой. Мало того, этот взгляд на характер России так мало распространен, что и у нас вряд ли многие ему поверят. Разумеется, *ошибки* русской политики при этом не должны быть поставлены в счет, потому что дело идет теперь лишь о духе и нравственном характере нашей политики, а не об удачах ее в прошедшем и давнопрошедшем. В последнем случае действительно бывали в старину ветряные мельницы, но, повторяю, кажется, их время совсем прошло.

Нет, серьезно: что в том благосостоянии, которое достигается ценою неправды и сдирания кож? Что правда для человека как лица, то пусть остается правдой и для всей нации. Да, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. Но пусть зато останется нравственно здоров организм нации — и нация несомненно более выиграет, даже и материально. Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живут они там всего только день за днем, одной только настоящей минутой, и сами не знают, что с ними станет завтра; мы же, Россия, мы всё еще верим в нечто незыблемое, у нас создающееся, а следовательно, ищем выгод постоянных и существенных. А потому мы, и как политический организм, всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней. Поверьте, что Дон-Кихот свои выгоды тоже знает и рассчитать умеет: он знает, что выиграет в своем достоинстве и в сознании этого достоинства, если по-прежнему останется рыцарем; кроме того, убежден, что на этом пути не утратит искренности в стремлении к

добру и к правде и что такое сознание укрепит его на дальнейшем поприще. Он уверен, наконец, что такая политика есть, кроме того, и лучшая школа для нации. Надо, чтоб червонный валет не смел сказать мне в глаза: «Ведь и у вас всё условно, ведь и у вас всё на выгоде». Надо, чтоб и юноша энтузиаст возлюбил свою нацию, а не шел бы искать правды и идеалы на стороне и вне общества. И он кончит тем, что возлюбит свою нацию, когда время тяжелой, страшно тяжелой нашей школы пройдет. Правда как солнце, ее не спрячешь: назначение России станет наконец ясно самым кривым умам, и у нас, и в Европе. У нас почему теперь возможны такие aberrации умов, как нигде? Потому что полуторавековым порядком вся интеллигенция наша только и делала, что отвыкала от России, и кончила тем, что раззнакомилась с ней окончательно и сносилась с нею только через канцелярию. С реформами нынешнего царствования начался новый век. Дело пошло и остановиться не может.

А Европа прочла осенний манифест русского императора^[251] и его запомнила, — не для одной текущей минуты запомнила, а надолго, и на будущие текущие минуты. Обнажим, если надо, меч во имя угнетенных и несчастных, хотя даже и в ущерб текущей собственной выгоде. Но в то же время да укрепится в нас еще тверже вера, что в том-то и есть настоящее назначение России, сила и правда ее, и что жертва собою за угнетенных и брошенных всеми в Европе во имя интересов цивилизации есть настоящее служение настоящим и истинным интересам цивилизации.

²⁵¹ ...осенний манифест русского императора... — Имеется в виду одна из правительственных дипломатических акций в связи с сербо-турецкой войной.

Нет, надо, чтоб и в политических организациях была признаваема та же правда, та самая Христова правда, как и для каждого верующего. Хоть где-нибудь да должна же сохраняться эта правда, хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. Иначе что же будет: все затемнится, замешается и потонет в цинизме. Иначе не сдержите нравственности и отдельных граждан, а в таком случае как же будет жить целый-то организм народа? Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало. Солнце показалось на Востоке, и для человечества с Востока начинается новый день. Когда просияет солнце совсем, тогда и поймут, что такое настоящие «интересы цивилизации». А то выставится знамя с надписью на нем: «Après nous le déluge» (После нас хоть потоп)! Неужели столь славная «цивилизация» доведет европейского человека до такого девиза, да тем с ним и покончит? К тому идет.

Один из главнейших современных вопросов

Мои читатели, может быть, уже заметили, что я, вот уже с лишком год издавая свой «Дневник писателя», стараюсь как можно меньше говорить о текущих явлениях русской словесности, а если и позволяю себе кой-когда словцо и на эту тему, то разве лишь в восторженно-хвалебном тоне. А между тем в этом добровольном воздержании моем — какая неправда! Я — писатель, и пишу «Дневник писателя», — да я, может быть, более чем кто-нибудь интересовался за весь этот год тем, что появлялось в литературе; как же скрывать, может быть, самые сильные впечатления? «Сам, дескать, литератор-беллетрист, а стало быть, всякое суждение

твое о беллетристической литературе, кроме безусловной похвалы, почтется пристрастным; разве говорить лишь о давно прошедших явлениях» — вот соображение, меня останавливавшее.

И все же я рискну на этот раз нарушить это соображение. Правда, в чисто беллетристическом и критическом смысле я и не буду говорить ни о чем, а разве лишь, в случае нужды, «по поводу». Повод вышел и теперь. Дело в том, что месяц назад я попал на одну до того серьезную и характерную в текущей литературе вещь, что прочел ее даже с удивлением, потому что давно уже ни на что подобное в таких размерах не рассчитывал в беллетристике. У писателя — художника в высшей степени, беллетриста по преимуществу, я прочел три-четыре страницы настоящей «злобы дня», — все, что есть важнейшего в наших русских текущих политических и социальных вопросах, и как бы собранное в одну точку. И главное, — со всем характернейшим оттенком настоящей нашей минуты, именно так, как ставится у нас этот вопрос в данный момент, ставится и оставляется неразрешенным... Я говорю про несколько страниц в «Анне Карениной» графа Льва Толстого, в январском № «Русского вестника».

Собственно обо всем этом романе скажу лишь полслова, и то лишь в виде самого необходимого предисловия. Начал я читать его, как и все мы, очень давно. Сначала мне очень понравилось; потом, хоть и продолжали нравиться подробности, так что не мог оторваться от них, но в целом стало нравиться менее. Все казалось мне, что я это где-то уже читал, и именно в «Детстве» и «Отрочестве» того же графа Толстого и в «Войне и мире» его же, и что там даже свежее было. Все та же история барского русского семейства, хотя,

конечно, сюжет не тот. Лица, как Вронский например (один из героев романа), которые и говорить не могут между собою иначе как об лошадях, и даже не в состоянии найти об чем говорить, кроме как об лошадях, — были, конечно, любопытны, чтоб знать их тип, но очень однообразны и сословны. Казалось, например, что любовь этого «жеребца в мундире», как назвал его один мой приятель, могла быть изложена разве лишь в ироническом тоне. Но когда автор стал вводить меня в внутренний мир своего героя серьезно, а не иронически, то мне показалось это даже скучным. И вот вдруг все предубеждения мои были разбиты. Явилась сцена смерти героини (потом она опять выздоровела) — и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековая жизненная правда и разом все озарила. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого, — единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла, и явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые (Вронский) вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились; но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немислимы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в

которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем часто за самые высшие, — все это чаще всего лишь самая мелкая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды, даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже. Момент этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо и необходимо и воочию. Кажется, именно это-то и хотел доказать нам поэт, начиная свою поэму. Русскому читателю об этой вековечной правде слишком надо было напомнить: многие стали у нас об ней забывать. Этим напоминанием автор сделал хороший поступок, не говоря уже о том, что выполнил его как необыкновенной высоты художник.

Затем опять потянулся роман, и вот, к некоторому удивлению моему, я встретил в шестой части романа сцену, отвечающую настоящей «злобе дня» и, главное, явившуюся не намеренно, не тенденциозно, а именно из самой художественной сущности романа. Тем не менее, повторяю это, для меня это было неожиданно и несколько меня удивило: такой «злобы дня» я все-таки не ожидал. Я почему-то не думал, что автор решится довести своих героев в их развитии до таких «столпов». Правда, в столпах-то этих, в этой крайности вывода и весь смысл действительности, а без того роман имел бы вид даже неопределенный, далеко не соответствующий ни текущим, ни существенным интересам русским: был бы нарисован какой-то уголок жизни, с намеренным

игнорированием самого главного и самого тревожного в этой же жизни. Впрочем, я, кажется, пускаюсь решительно в критику, а это не мое дело. Я только хотел указать на одну сцену. Больше ничего как обозначились два лица с той именно стороны, с которой они наиболее для нас теперь могут быть характерны, и, тем самым, тот тип людей, к которому принадлежат эти два лица, поставлен автором на самую любопытнейшую точку в наших глазах в их современном социальном значении.

Оба они дворяне, родовые дворяне и коренные помещики, оба взяты после крестьянской реформы. Оба были «крепостными помещиками», и теперь вопрос: что остается от этих дворян, в смысле дворянском, после крестьянской реформы? Так как тип этих двух помещиков чрезвычайно общ и распространен, то вопрос отчасти и разрешен автором. Один из них Стива Облонский, эгоист, тонкий эпикуреец, житель Москвы и член Английского клуба. На этих людей обыкновенно смотрят как на невинных и милых жуиров, приятных эгоистов, никому не мешающих, остроумных, живущих в свое удовольствие. У этих людей бывает часто и многочисленное семейство; с женой и детьми они ласковы, но мало об них думают. Очень любят легких женщин, разряда, конечно, приличного. Образованы они мало, но любят изящное, искусства, и любят вести разговор обо всем. С крестьянской реформы этот дворянин тотчас же понял в чем дело: он сосчитал и сообразил, что у него все-таки еще что-нибудь да остается, а стало быть, меняться незачем и — *Après moi le déluge* (После меня хоть потоп). Об судьбе жены и детей он не заботится думать. Остатками состояния и связями он избавлен от судьбы червонного валета; но если б состояние его рушилось и нельзя бы было получать даром жалованья, то, может

быть, он и стал бы валетом, разумеется, употребив все усилия ума, нередко очень острого, чтоб стать валетом как можно приличнейшим и великосветским. В старину, конечно, для уплаты карточного долга или любовнице ему случалось отдавать людей в солдаты; но такие воспоминания никогда не смущали его, да и забыл он их вовсе. Хоть он и аристократ, но дворянство свое он всегда считал ни во что, а по устранении крепостных отношений — так даже исчезнувшим: для него из *людей* остались лишь *человек в случае*, затем чиновник с известного чина, а затем богач. Железнодорожник и банкир стали силою, и он немедленно с ними затеял сношения и дружбу. Да и разговор начался с упрека ему Левиным, родственником его и помещиком (но уже совершенно обратного типа и живущим в своем поместье), за то, что он ездит к железнодорожникам, на их обеды и праздники, к людям двусмысленным, по убеждению Левина, вредным. Облонский опровергает его с едкостью. Да и вообще между ними, с тех пор как они породнились, установились довольно едкие отношения. Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почерпаемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. Разговор происходит на охоте, в летнюю ночь. Охотники на ночлеге, в крестьянской риге, и ночуют на сене. Облонский доказывает, что презрение к железнодорожникам, к их интригам, к их скорой наживе, вымаливанью концессий, перепродажам — не имеет смысла, что это такие же люди, действуют трудом и умом, как и все, а в результате — дают дорогу.

— Но всякое приобретение, не соответственное положенному труду, — не честно, — говорит Левин.

— Да кто ж определит соответствие? — продолжает Облонский. — Ты не определил черты между честным и бесчестным трудом. То, что я получаю жалованья больше, чем мой столоначальник, хотя он лучше меня знает дело, — это бесчестно?

— Я не знаю.

— Ну, так я тебе скажу: то, что ты получаешь за свой труд в хозяйстве лишних, положим, пять тысяч, а этот мужик, как бы он ни трудился, не получит больше пятидесяти рублей, точно так же бесчестно, как то, что я получаю больше столоначальника...

— Нет, позволь, — продолжает Левин. — Ты говоришь, что несправедливо, что я получу пять тысяч, а мужик пятьдесят рублей: это правда. Это несправедливо, и я чувствую это, но...

— Да, ты чувствуешь, но ты не отдаешь ему своего имения, — сказал Степан Аркадьевич, как будто нарочно задиравший Левина...

— Я не отдаю, потому что никто этого от меня не требует, и если б я хотел, то мне нельзя отдать... и некому.

— Отдай этому мужику, он не откажется.

— Да, но как же я отдам ему? Поеду с ним и совершу купчую?

— Я не знаю, но если ты убежден, что ты не имеешь права...

— Я вовсе не убежден. Я, напротив, чувствую, что не имею права отдать, что у меня есть обязанности и к земле и к семье.

— Нет, позволь; но если ты считаешь, что это неравенство несправедливо, то почему же ты не действуешь так...

— Я и действую, только отрицательно, в том смысле, что я не буду стараться увеличить ту разницу положения, которая существует между мною и им.

— Нет, уж извини меня, это парадокс...

Так-то, мой друг. Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, или признаваться, что пользуешься несправедливыми преимуществами, *как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием.*

— Нет, если б это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват.*

«Злоба дня»

Вот разговор. И уж согласитесь, что это «злоба дня», даже все что есть наизлобнейшего в нашей злобе дня. И сколько самых характерных, чисто русских черт! Во-первых, лет сорок назад все эти мысли и в Европе-то едва начинались, многим ли и там были известны

Сен-Симон^[252] и Фурье — первоначальные «идеальные» толковники этих идей, а у нас — у нас знали тогда о начинавшемся этом новом движении на Западе Европы лишь полсотни людей в целой России.^[253] И вдруг теперь толкуют об этих «вопросах» помещики на охоте, на ночлеге в крестьянской риге, и толкуют характернейшим и компетентнейшим образом, так что по крайней мере отрицательная сторона вопроса уже решена и подписана ими бесповоротно. Правда, это помещики высшего света, говорят в Английском клубе, читают газеты, следят за процессами и из газет и из других источников; тем не менее уж один факт, что такая идеальнейшая дребедень признается самой насущной темой для разговора у людей далеко не из профессоров и не специалистов, а просто светских, Облонских и Левиных, — эта черта, говорю я, одна из самых характерных особенностей настоящего русского положения умов. Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. Но с легким сердцем и с веселостью каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». Заметьте, что вот эти-то Стивы всегда со всем этим первые согласны. Одной чертой он осудил весь христианский порядок, личность, семейство, — о, это ему ничего не стоит.

²⁵² Сен-Симон Анри Клод (1760–1825) — французский социалист-утопист.

²⁵³ ...лишь полсотни людей в целой России. — Подразумевается кружок М. В. Петрашевского.

Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что они начали говорить об этом всего лишь вчера, и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы без всякого колебания. Но тут третья характернейшая черта: этот господин прямо говорит: «Надо одно из двух: или признавать, что настоящее устройство общества справедливо, тогда отстаивать свои права, *или признаваться, что пользуемся несправедливыми преимуществами, как я и делаю, и пользоваться ими с удовольствием*». То есть в сущности он, подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей своих, прямо объявляет, что это до него не касается: «Я, дескать, сознаю, что я подлец, но останусь подлецом в свое удовольствие. „Après moi le déluge“». Это потому он так спокоен, что у него еще есть состояние, но случись, что он его потеряет, — почему же ему не стать валетом, — самая прямая дорога. Итак, вот этот гражданин, вот этот семьянин, вот этот русский человек — какая характернейшая чисто русская черта! Вы скажете, что он все-таки исключение. Какое исключение и может ли это быть? Припомните, сколько цинизма увидели мы в эти последние двадцать лет, какую легкость оборотов и переворотов, какое отсутствие всяких коренных убеждений и какую быстроту усвоения первых встречных с тем, конечно, чтоб завтра же их опять продать за два гроша. Никакого нравственного фонда, кроме après moi le déluge (после меня потоп).

Но всего любопытнее то, что рядом с этим, многочисленнейшим и владычествующим, типом стоит другой, — другой тип русского дворянина и помещика и уже обратно противоположный тому, — все что есть

противоположного. Это Левин, но Левиных в России — тьма, почти столько же, сколько и Облонских. Я не про лицо его говорю, не про фигуру, которую создал ему в романе художник, я говорю лишь про одну черту его сути, но зато самую существенную, и утверждаю, что черта эта до удивления страшно распространена у нас, то есть среди нашего-то цинизма и калмыцкого отношения к делу. Черта эта с некоторого времени заявляет себя поминутно; люди этой черты судорожно, почти болезненно стремятся получить ответы на свои вопросы, они твердо надеются, страстно веруют, хотя и ничего почти еще разрешить не умеют. Черта эта выражается совершенно в ответе Левина Стиве: «Нет, если бы это было несправедливо, ты бы не мог пользоваться этими благами с удовольствием, *по крайней мере я не мог бы, мне, главное, надо чувствовать, что я не виноват*».

И он в самом деле не успокоится, пока не разрешит: виноват он или не виноват? И знаете ли, до какой степени не успокоится? Он дойдет до последних столпов, и если надо, если только надо, если только он докажет себе, что это надо, то в противоположность Стиве, который говорит: «Хоть и негодяем, да продолжаю жить в свое удовольствие», — он обратится в «Власа», в «Власа» Некрасова, который роздал свое имение в припадке великого умиления и страха

И собирать на построение

Храма божьего пошел.

И если не на построение храма пойдет собирать, то сделает что-нибудь в этих же размерах и с такую же ревностью. Заметьте, опять повторяю и спешу повторить,

черту: это множество, чрезвычайное современное множество этих новых людей, этого нового корня русских людей, которым *нужна правда*, одна правда без условной лжи, и которые, чтоб достигнуть этой правды, отдадут всё решительно. Эти люди тоже объявились в последние двадцать лет и объявляются все больше и больше, хотя их и прежде, и всегда, и до Петра еще можно было предчувствовать. Это наступающая будущая Россия честных людей, которым нужна лишь одна правда. О, в них большая и нетерпимость: по неопытности они отвергают всякие условия, всякие разъяснения даже. Но я только-то хочу заявить изо всей силы, что их влечет истинное чувство. Характернейшая черта еще в том, что они ужасно не спелись и пока принадлежат ко всевозможным разрядам и убеждениям: тут и аристократы и пролетарии, и духовные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники. Разлад в убеждениях непомерный, но стремление к честности и правде неколебимое и нерушимое, и за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества, говорю — обратится в Власа. Закричат, пожалуй, что это дикая фантазия, что нет у нас столько честности и искания честности. Я именно провозглашаю, что есть, рядом с страшным развратом, что я вижу и предчувствую этих грядущих людей, которым принадлежит будущность России, что их нельзя уже не видеть и что художник, сопоставивший этого отжившего циника Стиву с своим новым человеком Левиным, как бы сопоставил это отпетое, развратное, страшно многочисленное, но уже покончившее с собой собственным приговором общество русское, с обществом новой правды, которое не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и

отдаст все, чтоб очистить сердце свое от вины своей. Замечательно тут то, что действительно наше общество делится почти что только на эти два разряда, — до того они обширны и до того они всецело обнимают собою русскую жизнь, — разумеется, если откинуть массу совершенно ленивых, бездарных и равнодушных. Но самая характернейшая, самая русская черта этой «злобы дня», указанной автором, состоит в том, что его новый человек, его Левин, *не умеет* решить смутивший его вопрос. То есть он уже и решил его *почти*, в сердце своем, и не в свою пользу, *подозревая*, что он *виноват*, но что-то твердое, прямое и реальное восстает из всей его природы и удерживает его пока от последнего приговора. Напротив, Стива, которому все равно, виноват он или нет, — решает без малейшего колебания, это ему даже на руку: «Коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно все делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд». Любопытно еще то, что именно самая слабая сторона вопроса и смутила Левина и поставила его в тупик, и это чисто по-русски и совершенно верно отмечено автором: все дело в том, что все эти мысли и вопросы у нас в России — одна лишь теория, все к нам занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей, из Европы, где они имеют давно уже свою историческую и практическую сторону. Что ж делать: оба наши дворянина — европейцы, и от европейского авторитета освободиться им нелегко, надо и тут отдать дань Европе. И вот Левин, русское сердце, смешивает чисто русское и единственно возможное решение вопроса с европейской его постановкой. Он смешивает христианское решение с историческим «правом». Представим, для ясности, себе такую картинку:

Стоит Левин, стоит, задумавшись после ночного разговора своего на охоте с Стивой, и мучительно, как честная душа, желает разрешить смутивший и уже прежде, стало быть, смущавший его вопрос.

— Да, — думает он, полурешая, — да, если по-настоящему, то за что мы, как сказал давеча Весловский, «едим, пьем, охотимся, ничего не делаем, а бедный вечно, вечно в труде»? Да, Стива прав, я *должен* разделить мое имение бедным и пойти работать на них.

Стоит подле Левина «бедный» и говорит:

— Да, ты действительно должен и обязан отдать свое имение нам, бедным, и пойти работать на нас.

Левин выйдет совершенно прав, а «бедный» совершенно не прав, разумеется, решая дело, так сказать, в высшем смысле. Но в том-то и вся разница постановки вопроса. Ибо нравственное решение его нельзя смешивать с историческим; не то — безысходная путаница, которая и теперь продолжается, особенно в теоретических русских головах — и в головах негодяев Стив, и в головах чистых сердцем Левиных. В Европе жизнь и практика уже поставили вопрос — хоть и абсурдно в идеале его исхода, но все же реально в его текущем ходе, и уже не смешивая двух разнородных взглядов, нравственного и исторического, по крайней мере, по возможности. Разъясним нашу мысль еще, хоть двумя словами.

Злоба дня в Европе

В Европе был феодализм и были рыцари. Но в тысячу с лишком лет усилилась буржуазия и наконец задала повсеместно битву, разбила и согнала рыцарей и

— стала сама на их место. Исполнилась в лицах поговорка: «Ôte-toi de là que je m'y mette» (Убирайся, а я на твое место). Но став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска хлеба. Наш русский Стива решает про себя, что он не прав, но сознательно хочет оставаться негодяем, потому что ему жирно и хорошо; заграничный Стива с нашим не согласен и признает себя совершенно правым, и, уж конечно, он в этом по-своему логичнее, ибо, по его мнению, тут вовсе и нет никакого *права*, а есть только *история*, исторический ход вещей. Он стал на место рыцаря, потому что победил рыцаря силой, и он отлично хорошо понимает, что пролетарий, бывший во время борьбы его с рыцарем еще ничтожным и слабым, очень может усилиться и даже усиливается с каждым днем. Он отлично предчувствует, что когда тот совсем усилится, то скovyрнет его с места, как он когда-то рыцаря, и точь-в-точь так же скажет ему: «Убирайся, а я на твое место». Где же тут право, тут одна история. О, он бы готов был на компромисс, как-нибудь поладить с врагом, и даже пробовал. Но так как он отлично догадался, да и на опыте знает, что враг ни за что не расположен мириться, делиться не хочет, а хочет *всего*; кроме того: что если он и уступит что, то только себя ослабит, — то и решил не уступать ничего и — готовиться к битве. Положение его, может быть, безнадежно, но по свойству человеческой природы укрепляться духом перед борьбою, — он не отчаивается, напротив, укрепляется на бой все более и более, пускает все средства в ход, изо всей силы, пока сила есть; ослабляет противника и пока только это и делает.

Вот на какой точке это дело теперь в Европе. Правда, прежде, недавно даже, была и там *нравственная* постановка вопроса, были фурьеристы и кабетисты, были споры, споры и дебаты об разных, весьма тонких вещах. Но теперь предводители пролетария всё это до времени устранили. Они прямо хотят задать битву, организуют армию, собирают ее в ассоциации, устраивают кассы и уверены в победе: «А там, после победы, все само собою устроится практически, хотя, очень может быть, что после рек пролитой крови». Буржуа понимает, что предводители пролетариев прельщают их просто грабежом и что в таком случае нравственную сторону дела и ставить не стоит. И, однако, между и теперешними даже предводителями случаются такие коноводы, которые проповедуют и нравственное право бедных. Высшие предводители допускают этих коноводов собственно для красоты, чтоб скрасить дело, придать ему вид высшей справедливости. Из этих «нравственных» коноводов есть много интриганов, но много и пламенно верующих. Они прямо объявляют, что для себя ничего не хотят, а работают лишь для человечества, хотят добиться нового строя вещей для счастья человечества. Но тут их ждет буржуа на довольно твердой почве и им прямо ставит на вид, что они хотят заставить его стать братом пролетарию и поделить с ним имение — палкой и кровью. Несмотря на то, что это довольно похоже на правду, коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, способными стать братьями народу, а потому-то и идут на них просто силой, из братства их исключают вовсе: «Братство-де образуется потом, из пролетариев, а вы — вы сто миллионов обреченных к истреблению голов, и только. С вами покончено, для счастья человечества». Другие из коноводов прямо уже

говорят, что братства никакого им и не надо, что христианство — бредни и что будущее человечество устроится на основаниях научных. Все это, конечно, не может поколебать и убедить буржуа. Он понимает и возражает, что это общество, на основаниях научных, чистая фантазия, что они представили себе человека совсем иным, чем устроила его природа; что человеку трудно и невозможно отказаться от безусловного права собственности, от семейства и от свободы; что от будущего своего человека они слишком много требуют жертвований, как от личности; что устроить так человека можно только страшным насилием и поставив над ним страшное шпионство и непрерывный контроль самой деспотической власти. В заключение они вызывают указать ту силу, которая бы смогла соединить будущего человека в согласное общество, а не в насильственное. На это коноводы выставляют пользу и необходимость, которую сознает сам человек, и что сам он, чтоб спасти себя от разрушения и смерти, согласится добровольно сделать все требуемые уступки. Им возражают, что польза и самосохранение никогда одни не в силах породить полного и согласного единения, что никакая польза не заменит своеволия и прав личности, что эти силы и мотивы слишком слабы и что все это, стало быть, по-прежнему гадательно. Что если б они действовали только нравственной стороной дела, то пролетарий и слушать бы их не стал, а если идет за ними теперь и организуется в битву, то единственно потому, что прельщен обещанным грабежом и взволнован перспективою разрушения и битвы. А стало быть, в конце концов, нравственную сторону вопроса надобно совсем устранить, потому что она не выдерживает ни малейшей критики, а надо просто готовиться к бою.

Вот европейская постановка дела. И та и другая сторона страшно не правы, и та и другая погибнут во грехах своих. Повторяем, всего тяжелее для нас, русских, то, что у нас даже Левины над этими же самыми вопросами задумываются, тогда как единственно возможное разрешение вопроса, и именно русское, и не только для русских, но и для всего человечества, — есть постановка вопроса нравственная, то есть христианская. В Европе она немыслима, хотя и там, рано ли, поздно ли, после рек крови и ста миллионов голов, должны же будут признать ее, ибо в ней только одной и исход.

Русское решение вопроса

Если вы почувствовали, что вам тяжело «есть, пить, ничего не делать и ездить на охоту», и если вы действительно это почувствовали и действительно так вам жаль «бедных», которых так много, то отдайте им свое имение, если хотите, пожертвуйте на общую пользу и идите работать на всех и «получите сокровище на небеси, там, где не копят и не посягают». Пойдите, как Влас, у которого

Сила вся души великая

В дело Божие ушла.

И если не хотите собирать, как Влас, на храм Божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, учите его. Если б и все роздали, как вы, свое имение «бедным», то, разделенные на всех, все богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее, потому что оно не в

золотых платьях заключается, а в радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастье, ему и детям его. И не говорите, что вы лишь слабая единица и что если вы один раздадите имение и пойдете служить, то ничего этим не сделаете и не поправите. Напротив, если даже только несколько будет таких как вы, так и тогда двинется дело. Да в сущности и не надо даже раздавать *непрерывно* имения, — ибо всякая *непрерывность* тут, в деле любви, похожа будет на мундир, на рубрику, на букву. Убеждение, что исполнил букву, ведет только к гордости, к формалистике и к лени. Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик». Тачка опять-таки мундир.

Напротив, если чувствуете, что будете полезны всем как ученый, идите в университет и оставьте себе на то средства. Не раздача имения обязательна и не надевание зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать все ради деятельной любви*, все что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания «опроститься» — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком «сложны», чтоб опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей «осложненности». Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого «опрощения». Но пуще всего не запугивайте себя сами, не говорите: «Один в поле не воин» и проч. Всякий, кто искренно захотел истины, тот уже страшно

силен. Не подражайте тоже некоторым фразерам, которые говорят поминутно, чтобы их слышали: «Не дают ничего делать, связывают руки, вселяют в душу отчаяние и разочарование!» и проч. и проч. Всё это фразеры и герои поэм дурного тона, рисующиеся собою лентяи. Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. Истинный делатель, вступив на путь, сразу увидит перед собою столько дела, что не станет жаловаться, что ему не дают делать, а непременно отыщет и успеет хоть что-нибудь сделать. Все настоящие делатели про это знают. У нас одно изучение России сколько времени возьмет, потому что ведь у нас лишь редчайший человек знает нашу Россию. Жалобы на разочарование совершенно глупы: радость на воздвигающееся здание должна утолить всякую душу и всякую жажду, хотя бы вы только по песчинке приносили пока на здание. Одна награда вам — любовь, если заслужите ее. Положим, вам не надо награды, но ведь вы делаете дело любви, а стало быть, нельзя же вам не домогаться любви. Но пусть никто и не скажет вам, что вы и без любви должны были сделать все это, из собственной, так сказать, пользы, и что иначе вас бы заставили силой. Нет, у нас в России надо насаждать другие убеждения, и особенно относительно понятий о свободе, равенстве и братстве. В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода — лишь в одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий момент быть самому себе настоящим хозяином. А разнузданность желаний ведет лишь к рабству вашему. Вот почему чуть-чуть не весь нынешний мир полагает свободу в денежном обеспечении и в законах,

гарантирующих денежное обеспечение: «Есть деньги, стало быть, могу делать все, что угодно; есть деньги — стало быть, не погибну и не пойду просить помощи, а не просить ни у кого помощи есть высшая свобода». А между тем это в сущности не свобода, а опять-таки рабство, рабство от денег. Напротив, самая высшая свобода — не копить и не обеспечивать себя деньгами, а «разделить всем, что имеешь, и пойти всем служить». Если способен на то человек, если способен одолеть себя до такой степени, — то он ли после того не свободен? Это уже высочайшее проявление воли! Затем, что такое в нынешнем образованном мире равенство? Ревнивое наблюдение друг за другом, чванство и зависть: «Он умен, он Шекспир, он тщеславится своим талантом; унижить его, истребить его». Между тем настоящее равенство говорит: «Какое мне дело, что ты талантливее меня, умнее меня, красивее меня? Напротив, я этому радуюсь, потому что люблю тебя. Но хоть я и ничтожнее тебя, но как человека я уважаю себя, и ты знаешь это, и сам уважаешь меня, а твоим уважением я счастлив. Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за это благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе не ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способностей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».

Если так будут говорить все люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радостной жизни, от полноты любви.

Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» — есть «царство небесное» и возможно разве лишь в царстве небесном. Да, Стивы очень рассердились бы, если б наступило царство небесное. Но надобно взять уже то одно, что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и принципов. Но если б даже и существовали такие порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых притом из прежнего строя общества, — то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся, а, напротив, станут лишь в тягость. Я же безгранично верую в наших будущих и уже начинающих людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они страшно как разбиты на кучки и лагеря в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насильем, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу «Новь». Прежде чем проповедовать людям: «как им быть», — покажите это на

себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что тут невозможного — не понимаю! Правда, мы очень развратны, очень малодушны, а потому не верим и смеемся. Но теперь почти не в нас и дело, а в грядущих. Народ чист сердцем, но ему нужно образование. Но чистые сердцем поднимаются и в нашей среде — и вот что самое важное! Вот этому надо поверить прежде всего, это надобно уметь разглядеть. А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага.

Апрель — июнь

Освобождение подсудимой Корниловой

22 апреля сего года в здешнем окружном суде вторично решалось дело подсудимой Корниловой с новым составом суда и присяжных заседателей. Прежний приговор суда, состоявшийся еще в прошлом году, был кассирован сенатом за недостаточно произведенной медицин-ской экспертизой. Может быть, большинство моих читателей очень помнит об этом деле. Молодая мачеха (тогда еще несовершеннолетняя), в беременном состоянии, в злобе на мужа, попрекавшего ее прежней женой, и после жестокой с ним ссоры, выбросила свою шестилетнюю падчерицу, дочь своего мужа от прежней жены, из окошка, из четвертого этажа (5 1/2 саж. высоты), причем случилось почти чудо: ребенок не разбился, не сломал и не повредил себе ничего и скоро очнулся; теперь же жив и здоров. Это зверское действие

молодой женщины сопровождалось такой бессмыслицей и загадочностью всех ее остальных поступков, что само собою являлось соображение: в здравом ли уме она действовала? И не была ли она, например, хоть под влиянием своего беременного состояния? Проснувшись утром, когда уже муж ушел на работу, она дала выспаться ребенку; потом одела ее, обула и напоила кофе. Затем отворила окно и выбросила ее за окно. Не взглянув даже из окна вниз, чтоб посмотреть, что случилось с ребенком, она затворила окно, оделась и отправилась в участок. Там объявила о происшедшем, отвечала на вопросы грубо и странно. Когда ей уже несколько часов спустя возвестили, что ребенок остался жив, она, не обнаружив ни радости, ни досады, совершенно равнодушно и хладнокровно заметила, как бы в задумчивости: «Какая живучая». Затем в продолжение почти полутора месяца, в двух тюрьмах, в которых ей пришлось находиться, она продолжала быть угрюмой, грубой, неразговорчивой. И вдруг все разом прошло: все остальные четыре месяца до разрешения от бремени и все остальное время, на первом суде и после суда, начальница женского отделения тюрьмы не могла ей нахвалиться: явился характер ровный, тихий, ласковый, ясный. Впрочем, я все это уже описывал прежде. Одним словом, прежний приговор был кассирован, а затем состоялся новый, 22 апреля, которым Корнилова была оправдана.

Я был в зале суда и вынес много впечатлений. Жаль только, что нахожусь в полной невозможности передать их и буквально принужден ограничиться лишь самыми немногими словами. Да и сообщаю о деле единственно потому, что прежде много писал о нем, а стало быть, считаю не лишним сообщить читателям и об исходе его.

Суд продолжался вдвое долее прежнего раза. Состав присяжных заседателей был особенно замечателен. Призвана была новая свидетельница — начальница женского отделения тюрьмы. Показание ее о характере Корниловой было очень веско и в ее пользу. Замечательно очень было показание мужа подсудимой: с необычайною честностью он не скрыл ничего, ни ссор, ни обид с его стороны, оправдывал жену, говорил сердечно, прямо, откровенно. Он всего только крестьянин, правда, носящий немецкое платье, читающий книги и получающий тридцать рублей ежемесячного жалованья. Затем замечателен был подбор экспертов. Приглашено было шесть человек — всё известности и знаменитости в медицине; из них давали показания пятеро: трое заявили не колеблясь, что болезненное состояние, свойственное беременной женщине, весьма *могло* повлиять на совершение преступления и в данном случае. Один лишь доктор Флоринский с этим мнением был не согласен, но, к счастью, он не психиатр, и мнение его прошло без всякого значения. Последним показывал известный наш психиатр Дюков. Он говорил почти около часу, отвечая на вопросы прокурора и председателя суда. Трудно представить себе более тонкое понимание души человеческой и болезненных ее состояний. Поражало тоже богатство и разнообразие многолетних и необычайно любопытных наблюдений. Что до меня, то я выслушал некоторые из показаний эксперта решительно с восхищением. Мнение эксперта было вполне в пользу подсудимой: он *утвердительно* и *доказательно* заключил о несомненном, по его мнению, болезненном состоянии души подсудимой, во время совершения ею страшного преступления.

Кончилось тем, что сам прокурор, несмотря на свою грозную речь, отказался от обвинения в преднамеренности, то есть от самой главной злобы обвинения. Защитник подсудимой, присяжный поверенный Люстиг, тоже чрезвычайно ловко отбил несколько обвинений, а одно, важнейшее, — долгую будто бы ненависть мачехи к падчерице, — привел к полному нулю, осязательно обнаружив в нем лишь коридорную сплетню. Затем, после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправдательный приговор, произведший почти восторг в многочисленной публике. Многие крестились, другие поздравляли друг друга, жали друг другу руки. Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, счастливая, вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного ею урока на всю жизнь и явного божьего перста во всем этом деле, — хотя бы только начиная с чудесного спасения ребенка.

Об анонимных ругательных письмах

Я за границу не поехал и нахожусь теперь в Курской губернии. Мой доктор, узнав, что я имею случай провести лето в деревне, да еще в такой губернии, как Курская, прописал мне пить в деревне эссентукскую воду и прибавил, что это будет для меня несравненно полезнее Эмса, к воде которого я-де уже привык. Долгом считаю заявить, что я получил весьма много писем от моих читателей с самым сочувственным выражением их ко мне участия по поводу моего объявления о болезни. И

вообще, к слову скажу, за все время издания моего «Дневника» я получил и продолжаю получать много писем, подписанных и анонимных, столь для меня лестных и столь одобрявших и поддерживавших меня в труде моем, что, прямо скажу, я никогда не рассчитывал на такое всеобщее сочувствие и никогда не считал себя достойным того. Эти письма я сберегу как драгоценность и — что тут приторного, если я заявляю об этом печатно? Неужто дурно, что я ценю и дорожу общим вниманием? Но, скажут, вы теперь хвалитесь, хвастаетесь. Пусть скажут это, я знаю про себя, что это не хвастовство, что я заявляю лишь мою благодарность, мое искреннее чувство, и слишком уж не молод, чтоб не понимать, как раздражаю иных господ моим заявлением. Но и господ этих, кажется, у меня тоже слишком немного. Из нескольких сот писем, полученных мною за эти полтора года издания «Дневника», по крайней мере сотня (но наверное больше) было анонимных, но из этих ста анонимных писем лишь два письма были абсолютно враждебные. Есть не согласные со мной в убеждениях, те прямо излагают свои возражения, но всегда серьезно, искренно, без малейших личностей, и в подписанных, и в анонимных письмах, и я лишь жалею, что, по множеству получаемых писем, никак не могу всем ответить. Но эти два письма — исключения, и написаны не для возражения, а для ругательства. И вот эти-то господа сочинители этих писем и будут раздражены моим заявлением благодарности. Последнее из этих писем как раз касается моего объявления о болезни. Мой анонимный корреспондент рассердился не на шутку: как, дескать, я осмелился объявить печатно о таком частном, личном деле, как моя болезнь, и в письме ко мне написал на мое объявление свою пародию, весьма неприличную и

грубую. Но, отлагая главную цель письма — ругательство, я невольно заинтересовался вопросом, именно: если я, например, поставлен в необходимость, по расстроенному здоровью, уехать лечиться, а потому принужден не выдать майский № «Дневника» своевременно, а вместе с июньским, и так как я каждый раз, в каждом выпуске «Дневника», объявлял о времени выхода следующего номера, — то мне и показалось, что прямое, голословное, безо всяких объяснений объявление о том, что следующий выпуск «Дневника» выйдет вместе с июньским, было бы несколько бесцеремонным, и почему же было не объявить причину, из-за которой так вышло? И разве, в объявлении моем, так уж много я расписал о моей болезни? Но все это, конечно, пустяки, и если б дело шло лишь от человека, серьезно шокированного в своем чувстве литературного и общественного приличия, то получился бы любопытный, хотя отчасти, пожалуй, и почтенный экземпляр господина, стоящего, может быть, и вне литературы, но из бескорыстной любви к ней, так сказать, сгорающего почтенным огнем соблюдения литературных приличий, и хоть доводящего свои стремления до щепетильности, тем не менее выводящего их из источника уважаемого и любопытного, так что я, из одной только деликатности, не мог бы отказать такому анониму в своего рода уважении. Но ругательства всё испортили: ясное дело, что в них-то и была вся цель. И уж, без сомнения, припоминать все это здесь и не стоило бы; но мне давно хотелось сказать слова два вообще об анонимных письмах, то есть собственно о ругательных анонимных письмах, и я рад, что набрел на случай.

Дело в том, что мне давно казалось, что в наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь

исполненное перемен и столь мало кого удовлетворяющее (да так и должно быть), — непременно должно было развестись чрезвычайное множество людей, так сказать, обойденных, позабытых, оставленных без внимания и досаждующих: «Зачем, дескать, везде *они*, а не я, зачем не обращают и на меня внимания». В этом состоянии личного раздражения и неудовлетворенного, так сказать, идеала иной господин готов подчас взять спичку и идти зажигать, — до того это чувство мучительно, я это очень понимаю, и, чтоб осуждать это, надо вооружиться скорее гуманностью, чем негодованием. Но зажигать спичкой уже крайность и, так сказать, удел натур могучих, байроновских. К счастью, есть выходы не столь ужасные для натур не столь могучих. Такой выход — просто напакостить, ну там наклеветать, налгать, насплетничать или анонимное ругательное письмо пустить. Одним словом, я стал давно уже подозревать, и подозреваю до сих пор, что наше время должно быть непременно временем хотя и великих реформ и событий, это бесспорно, но вместе с тем и усиленных анонимных писем ругательного характера. Что касается литературы, то тут нет никакого сомнения: анонимные ругательные письма составляют, так сказать, неотъемлемую часть современной русской литературы и сопровождают ее по всем направлениям, — и кто только из издателей и писателей не получает их, я даже справлялся кой в каких изданиях, и в одном из них — именно в одном из тех, которые пошли вдруг, произвели впечатление быстрое, внезапное, и угодили публике в такой степени, что сами даже на такой успех не рассчитывали, — в этом издании один из ближайших участников его поведал мне, что они получают такое множество ругательных анонимных писем, что уж и не

читают их вовсе, а только распечатывают. Он было хотел рассказать мне иные из таких посланий в подробности, но с первых же слов залился неудержимым смехом. Да так и должно быть; наши неопытные анонимы и не подозревают еще, кажется, что чем ругательнее их письма, тем они невиннее и безвреднее. Черта хорошая: она обозначает, что наши анонимы хоть и горячи, но все же без выдержки и не понимают, что чем вежливее, чем достойнее тон язвительного анонимного письма, тем оно будет злее и сильнее подействует. Иезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у нас, во второй, *ВЫСШИЙ* фазис свой не вступило это дело, а, стало быть, находится еще в самом только начале и, стало быть, есть всего лишь плод первого необузданного пыла, а не плод обдуманного, строго воспитанного злобного чувства. Это не испанское, так сказать, мщение, готовое принести для достижения цели своей даже великие жертвы и научившееся выдержке. Наш анонимный ругатель далеко еще не тот таинственный незнакомец из драмы Лермонтова «Маскарад» — колоссальное лицо, получившее от какого-то офицера когда-то пощечину и удалившееся в пустыню тридцать лет обдумывать свое мщение. Нет, действует пока все еще та же славянская природа наша, которой всего бы только поскорей выругаться, да тем и покончить (а чего доброго, так даже тут же и помириться), и, согласитесь, что все это в одном смысле отрадно, ибо и тут, стало быть, все это, так сказать, юно, молодо, свежо, вроде как бы весна жизни, хотя надо сознаться, препакостная. Долгом считаю присовокупить еще наблюдение: кажется, наше молодое поколение, то есть слишком юное, подростки, анонимных ругательных писем не пишут. Я получаю от молодежи множество писем и все подписанные. Не подписанные из

них только те, которые выражают слишком уж дружеские чувства. Не согласные же со мною из молодежи всегда подписываются. (Анонимное же ругательное письмо слишком легко узнать и слишком ясно, по многим признакам и приемам, что оно не из молодого поколения идет, не от юного подростка.) Итак, молодежь наша, очевидно, понимает, что, во-первых, можно написать весьма даже резкое письмо, но что подпись под таким письмом придаст выражениям чрезвычайную цену и что весь характер такого письма изменится к лучшему через подпись, которая придаст ему дух прямоты, мужества, готовности постоять и ответить за свои убеждения, да и самая резкость выражений покажет лишь горячку убеждения, а не желание оскорбить. Итак, ясное дело, что неподписывающийся ругатель желает, главное, выругаться площадными ругательствами, желает доставить себе, прежде всего, это именно удовольствие, а другой цели не имеет. И ведь сам он знает, что делает пакость и что сам себе вредит, то есть силе письма своего, но уж такова потребность выругаться. Эту черту, то есть эту потребность, надо заметить, ибо она все еще преобладает в нашем интеллигентном обществе. И пусть не смеются надо мной, что я верю, что такая черта у нас *преобладает*; я убежден, что не преувеличиваю и что мы стоим теперь на этой именно точке развития, так сказать, в массе нашей. К тому же сообразите и то, что можно во всю жизнь не написать ни одного анонимного ругательного письма, а между тем всю жизнь носить в себе душу анонимного ругателя; а ведь это тоже важное соображение. И что в том, что я, в полтора года, получил всего лишь два ругательных письма; это лишь доказывает мою невинность и незначительность, равно как

и малый круг моей деятельности, а сверх того и то, что я имею дело лишь с порядочными людьми. Другие же деятели, более моего приметные (а, стало быть, уже по тому одному более моего виновные) и, сверх того, принужденные действовать по самому роду и характеру изданий своих в чрезвычайно расширенном круге действия, получают ругательных писем, может быть, по двести, а не по два в полтора года. Одним словом, я убежден, что европейская цивилизация чрезвычайно мало привила к нам гуманности и что у нас людей, желающих выругаться быстро и непосредственно, в каждом случае, который им чуть-чуть не понравится, даже, может быть, до того немало, что страшно сказать; а желающих выругаться — притом же и безнаказанно, анонимно и безопасно, из-за двери, еще того больше, и вот как раз анонимное письмо дает эту возможность: письмо не прибьешь, и письмо не краснеет.

В старину у нас европейской чести не было, наши бояре ругивались и даже дирались между собою откровенно, и плюха за большую и окончательную поруху чести не считалась. Но зато у них была своя честь, хоть и не в европейской форме, но не менее чем там, священная и серьезная, и из-за этой чести боярин пренебрегал иной раз всем — состоянием своим, положением своим при дворе, даже царскою милостью. Но, с переменою костюма и с введением европейской шпаги, началась у нас новая, европейская честь и — в целые два века не принялась серьезно, так что старое забыли и оплевали, а новое приняли недоверчиво и скептически. Приняли, так сказать, механически, а душевно позабыли, что значит честь, и сердечную потребность в ней утратили, и это, страшно признаться, за весьма, может быть, малыми исключениями.

В эти два века нашего европейского и шпажного, так сказать, периода честь и совесть, странно даже сказать, сохранилась наиболее и даже целиком в нашем народе, до которого почти и не коснулся шпажный период нашей истории. Пусть народ грязен, невежествен, варварствен, пусть смеются над моим предположением без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш несравненно чище сердцем высших наших сословий и что ум его далеко не настолько раздвоен, чтоб рядом с самою светлою идеею лелеять тут же, тотчас же, и самый гаденький антитез ее, как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще оставаться с обеими этими идеями, не зная, которой из них веровать и отдать преимущество на практике, да еще называть это состояние ума и души своей — богатством развития, благами европейского просвещения, и хоть и умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время из всех сил смеяться над простым, не тронутым еще чужою цивилизацией народом нашим за наивность и прямодушие его верований... Но тема эта обширная. Просто скажу: самый грубый из народа постыдится иных мыслей и побуждений иного нашего «высшего деятеля», я уверен в том, и с отвращением отвернется от большей части дел наших интеллигентных людей. Я уверен, что он не понимает и долго еще не поймет, что можно наедине, за дверями, когда никто не подглядывает, делать про себя пакости и считать их вполне дозволительными, нравственно дозволенными, единственно потому, что нет свидетелей и никто не подглядывает, — а между тем эта черта до ужаса часто практикуется в интеллигентном сословии нашем, да еще без малейшего зазрения совести, и даже, напротив, весьма часто с высшим удовлетворением ума и высших

свойств просвещенного духа. По понятиям народа, то, что пакостно на миру, пакостно и за дверями. Между тем мы на народ-то и смотрим именно как на похабника, пакостника, обскурантного ругателя и находящего лишь наслаждение в ругательстве. Кстати припомнить, тем более, что это уже давно прошло и изменилось. Во времена моей юности было у военных людей, в огромном большинстве их, убеждение, что русский солдат, как вышедший из народа, чрезвычайно любит говорить похабности, ругатель и сквернослов. А потому, чтоб быть популярными, иные командиры, на учениях например, позволяли себе так ругаться, с такими утонченностями и вывертами, что солдаты буквально краснели от этих ругательств, а потом, у себя в казармах, старались забыть высказанное начальством, и на того, который припоминал, вскрикивали всюю артелью. *Я бывал сам лично тому свидетелем.* А командиры-то как довольны были в душе, что вот, дескать, как они подделались под дух русского солдата! Да чего, — даже Гоголь в «Переписке с друзьями» советовал приятелю, распекая крепостного мужика всенародно, употреблять непременно крепкие слова, и даже приводил, какие именно: то есть именно те из них, которые садче, в которых как можно больше бы оказывалось, так сказать, нравственной похабности, чем наружной, утонченности чтоб в ругательстве больше было. Между тем народ русский хоть и ругается, к сожалению, крепкими словами, но далеко не весь, далеко не весь, в самой незначительной даже своей доле (поверят ли тому?), а главное (и бесспорно), ругается он скорее машинально, чем с нравственною утонченностью, скорее по привычке, чем с умыслом, и вот это-то, последнее-то, то есть с умыслом, случается лишь в чрезвычайно редких

экземплярах у бродяг, пропойц и всяких стрюцких, презираемых народом. Народ хоть и ругается по привычке, но сам знает, что эта привычка скверная, и осуждает ее. Так что отучить народ от ругательств, по-моему, есть просто дело механической отвычки, а не нравственного усилия. Вообще эта идея о народе нашем как о любителе подлых ругательств, по моему мнению, укоренилась в интеллигентном слое нашем, главное, уже тогда, когда уже произошел окончательный, нравственный разрыв его с народом, кончившийся, как известно, со стороны интеллигентного слоя нашего совершенным непониманием народа. Тогда-то явилось много и других всяких ошибочных идей о нашем народе. Пусть не поверят мне и свидетельству моему, что народ наш вовсе не такой ругатель, как до сих пор его представляли себе и описывали, пусть: я ведь убежден, что свидетельство мое оправдывается. Те же надежды, которые возлагаю я на народ, возлагаю я и на юное поколение наше. Народ и юное поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо ближе и успешнее поймут друг друга, чем то было в наше время и в наше поколение. В молодежи нашей есть серьезность, и дай только бог, чтоб она была умнее направлена. Кстати о молодежи: один весьма молодой человек прислал мне недавно в письме весьма резкое возражение на одну тему, на какую — умолчу, и подписался под своим резким (но отнюдь не невежливым) письмом *en toutes lettres*,^[254] да еще выставил адрес. Я пригласил его к себе объясниться. Он пришел и поразил меня горячностью и серьезностью своего отношения к делу. Кой в чем он со мной

²⁵⁴ Полностью (*франц.*).

согласился и ушел в раздумье. Замечу еще, что, как мне кажется, юное поколение наше гораздо лучше умеет спорить, чем старики, то есть собственно в манере спора: они выслушивают и дают говорить — и это именно оттого, что для них разъяснение дела дороже их самолюбия. Уходя, он пожалел о резкости письма своего, и все это вышло у него с неподдельным достоинством. Руководителей нет у нашей молодежи, вот что! А уж как она в них нуждается, как часто она устремлялась с восторгом вослед людей, хотя и не стоивших того, но чуть-чуть если искренних! И каковы или каков должен быть этот будущий руководитель — там кто бы он ни был? Да и пошлет ли еще нам таких людей наша русская судьба — вот вопросы!

План обличительной повести из современной жизни

А ведь я об анонимном ругателе еще не кончил. Дело в том, что этакой человек может представить собою чрезвычайно серьезный литературный тип, в романе или повести. Главное, тут можно и надо взглянуть с иной уже точки зрения, с точки общей, гуманной и согласить ее с русским характером вообще и с современною текущею причинностью появления у нас этого типа в особенности. В самом деле, чуть-чуть вы начнете работать над этим характером, как тотчас сознаетесь, что у нас без таких людей теперь и не может быть, или еще ближе — что только подобного рода людей мы, скорее всего, и ожидать должны в наше время, и что если их сравнительно еще мало, то это именно по особой милости Божией. В самом деле, все это народ, выросший в наших недавних шатких семействах, у недовольных

скептических отцов, передавших детям одно равнодушие ко всему насущному и много-много что какое-то неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического, но во что, однако же, склонны уверовать даже эти так называемые *ГОТОВЫЕ* реалисты и холодные ненавистники нашего настоящего. Да сверх того передавших им, разумеется, свой скептический бессильный смех, хотя и мало сознательный, но всегда вседовольный. Мало ли взросло за последние двадцать — двадцать пять лет детей у этих гадких завистников, проживших последние выкупные и оставивших детям нищету и завет подлости, — разве мало таких семейств? И вот молодой человек вступает, положим, на службу. Фигуры нет, «остроумия нет», связей никаких. Есть природный ум, который, впрочем, у всякого есть, но так как он у него воспитан прежде всего на бесцельном зубоскальстве, вот уж двадцать пять лет принимающемся у нас за либерализм, то, уж конечно, наш герой свой ум немедленно принимает за гений. О, боже, как не оказаться безграничному самолюбию, когда человек вырос без малейшей нравственной выдержки. И сначала он куражится ужасно, но так как в нем все-таки ум (я для типа предпочитаю взять человека несколько умнее середины людей, чем глупее, ибо только в этих двух случаях и возможно появление такого типа), то он скоро догадывается, что зубоскальство все же вещь отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. И что если довольствовался им его батюшка, то ведь потому, что тот был все же старый колпак, хоть и либеральный человек, ну, а он, сынок, все же гений, и только вот покамест проявить себя затрудняется. О, он, конечно, готов на всякую самую положительную подлость в душе, «ибо почему же не употребить

подлость в дело? Да и кто может доказать в наш век, что подлость есть подлость» и т. д. и т. д. Одним словом, он ведь взрос на этих готовых вопросах. Но он скоро догадывается, что ныне, чтоб даже и подлость-то употребить в дело, надо ждать долгой вакансии, да к тому же от нравственной готовности на подлость до дела даже и ему, пожалуй, далеко, и надо предварительно еще, так сказать, практически выровняться. Ну, конечно, будь он поглупее, он бы мигом устроился: «Высшие поползновения долой и примоститься поскорее к тому-то или к такому-то, да уж и тянуть за ним лямку послушно и убежденно и — в конце карьера». Но самолюбие-то, убеждение-то в своей гениальности пока еще долго мешает: не может он даже и в мысли своей слить столь славную предполагаемую судьбу свою с судьбой такого-то иль такого-то. «Нет-с, мы пока еще в оппозиции, а если они захотят меня, то пусть сами придут — поклонятся». И вот он ждет, пока кто-нибудь ему поклонится, и злится, злится и ждет, а между тем под боком у него такой-то уже шагнул выше его, другой уже примостился, а третий уже сел ему в начальники, — этот третий, которому он же, там, в их «высшем училище», изобрел прозвище и пустил на него эпиграмму в стихах, когда рукописный, училищный журнал издавал и слыл там за гения. «Нет-с, это обидно! Нет, зачем же не я, а он? И везде-то, везде-то все занято! Нет, — думает он, — тут не моя карьера, да и что служить, служат мешки, мое поприще литература», — и вот он начинает рассылать по редакциям свои произведения, сначала incognito, потом с обозначением полного имени. Ему, разумеется, не отвечают; в нетерпении он пускается лично обивать пороги редакций. При случае, получая обратно рукопись, позволяет себе даже поострить,

желчно позубоскальничать, так сказать, сердце сорвать, но все это не помогает. «Нет, видно, и тут все занято», — думает он, скорбно усмехаясь. Главное, его все мучит роковая забота отыскивать всегда и везде как можно больше людей хуже себя. О, он бы и понять никогда не мог, как это можно радоваться тому, что есть и лучше его! Вот тогда-то он и натывается в первый раз на мысль пустить в какую-нибудь редакцию, из тех, где его наиболее обидели, злобное неподписанное письмо. Написал, пустил, повторил в другой раз — понравилось. Но последствий все-таки никаких, все по-прежнему кругом его глухо, немо и слепо. «Нет, что ж это за карьера», — решает он окончательно и решает наконец «примоститься». Он выбирает *лицо* — именно своего начальника-директора, тут, может быть, как-нибудь помогает ему и случай и связишки. И Поприщин у Гоголя начал ведь с того, что отличился чинкою перьев и был вытребован для сей цели в квартиру его превосходительства, где и увидал директорскую дочку, для которой очинил два пера. Но время Поприщиных прошло, да и перьев теперь не чинят, да и не может изменить наш герой своему характеру: не перья в его голове, а самые дерзкие мечты. Короче, в самый короткий срок, он уже убежден, что пленил директорскую дочку и что та по нем изнывает. «Ну вот и карьера, — думает он, — да и к чему бы годились женщины, если б нельзя было через них сделать умному человеку карьеру: в этом, в сущности, весь женский вопрос и заключается, если реально-то обсудить его. А главное, и не стыдно: мало ли кто выходил на дорогу через женщин?» Но — но тут как раз подвертывается, как и у Поприщина, адъютант! Поприщин поступил по своему характеру: он сошел с ума на мечте о том, что он

испанский король. И как естественно! Что могло оставаться униженному Поприщину, без связей, без карьеры, без смелости и без всякой инициативы, да еще в то петербургское время, как не броситься в самое отчаянное мечтание и поверить ему? Но наш Поприщин, современный нам Поприщин, — ни за что в мире не в состоянии поверить, что он такой же самый Поприщин, как и первоначальный, только повторившийся тридцать лет спустя. В душе его громы и молнии, презрение и сарказмы, и — и вот он бросается тоже в мечту, но в другую. Он вспоминает, что на свете могут быть анонимные письма и что они уже раз употреблены им, и — вот он рискует свое письмецо, но уже не в журнальную редакцию, а почище-с: он чувствует, что вступает в новый практический фазис. О, как он запирается в своей камере от своей хозяйки, как трепещет, чтоб за ним не подглядели, но он строчит, строчит, изменяя почерк, создает четыре страницы клевет и ругательств, перечитывает с наслаждением и — просидев ночь, к рассвету запечатывает письмо и адресует — к жениху адъютанту. Почерк он изменил, он не боится. Вот он рассчитывает часы, вот теперь письмо должно дойти — это жениху об его невесте, — о, тот, конечно, откажется, он испугается, ведь это же не письмо, а «шедевр»! И молодой наш друг из всех сил знает, что он подленький негодяй; но он этому только рад: «Ныне-де время раздвоения мысли и широкости, ныне прямолинейной мыслью не проживешь».

Разумеется, письмо не оказало действия, свадьба состоялась, но начало сделано, и герой наш как бы напал на свою карьеру. Его обуял своего рода мираж, как и Поприщина. С жаром бросается он в новую деятельность, в анонимные письма. Он выведывает про своего

генерала, он соображает, он изливает все, что накопилось в нем за целые годы неудовлетворенной службы, раздраженного самолюбия, желчи, зависти. Он критикует все действия генерала, он осмеивает его самым беспощадным образом, и это в нескольких письмах, в целом ряде писем. И как ему это сначала нравится! И поступки-то генерала, и жену-то его, и любовницу, и глупость всего их ведомства — все, все изобразил он в своих письмах. Мало-помалу он кидается даже в государственные соображения, он komponует письмо к министру, в котором предлагает изменить Россию, уже не церемонясь. «Нет, министр не может не поразиться, гений поразит его, и письмо дойдет, пожалуй, до... До такого то есть лица, что... Одним словом, кураж, топ enfant,^[255] и когда станут разыскивать автора, тут-то я разом и объявлюсь, так сказать, уже без застенчивости». Одним словом, он упивается своими произведениями и поминутно воображает, как распечатываются его письма и что затем происходит на лицах тех лиц... В таком расположении духа он позволяет себе иногда даже и пошалить: для шутки пишет к иным самым смешным даже лицам, не пренебрегает каким-нибудь даже Егором Егоровичем, своим старичком столоначальником, которого и вправду чуть не сводит с ума, анонимно уверив его, что его супруга завела любовную связь с местным частным приставом (главное, что тут наполовину могло быть и правды). Так проходит некоторое время, но... но вдруг странная идея осеняет его — именно: что ведь он Поприщин, не более как Поприщин, тот же самый Поприщин, но только в миллион раз подлее, и что все

²⁵⁵ Дитя мое (франц.).

эти пасквили из-за угла, все это анонимное могущество его есть в сущности мираж и больше ничего, да еще самый гаденький мираж, самый паскудненький и позорный, хуже даже, чем мечта об испанском престоле. А тут как раз случилось обстоятельство уже серьезное — не позорное какое-нибудь: «что позор, позор вздор, позора боятся теперь лишь аптекари», а действительно страшное обстоятельство, в самом деле страшное. Дело в том, что хоть рассудок и был у него, но все же он не удержался и во время своего упоения новой карьерой, именно после-то письмеца к министру, сболтнул о своих письмах — кому же? немке, хозяйке своей, — ну, конечно, не все, она бы и не поняла всего, конечно, чуть-чуть, так, от избытка лишь сердца; но каково же было его изумление, когда, через месяц, тихоня-чиновник другого ведомства, проживавший у той же хозяйки в отдаленной комнатке, злобно-молчаливый человек, вдруг, рассердившись на что-то, намекнул ему, проходя мимо в коридоре, на то, что он, — то есть вот он, чиновник-тихоня, — есть «человек нравственный и анонимных писем, по примеру некоторых господ, не пишет». Каково! Сначала он не так испугался, мало того, проэкзаменовав чиновника — а для того нарочно и даже унизительно помирившись с ним, — он убедился, что тот ничего почти и не знает. Но... ну, а если знает? К тому же в департаменте давно уже начался слух о том, что кто-то пишет начальству по городской почте ругательства и что это непременно кто-то из своих. Несчастный начинает задумываться, даже не спит по ночам. Одним словом, можно особенно ярко выставить его душевные муки, его мнительность, его промахи. Наконец, он почти уже совсем убежден, что все всё знают, что ему только не говорят до времени; что же об исключении его из

службы, то это уже решено, что этим, конечно, не ограничатся, — одним словом, он почти сходит с ума. И вот раз сидит он в департаменте, и почти беспредельное негодование подымает его сердце на всё и на всех. «О злые, проклятые люди, — думает он, — ну можно ли так притворяться! Ведь они знают же, что *это я*, знают все до единого, ведь они об этом шепотом говорят друг с другом, когда я прохожу мимо, знают и бумагу, которая обо мне там в кабинете приготовлена и... и все притворяются! Все скрывают от меня! Им хочется насладиться, увидеть, как меня потащат... Так нет же! Нет же!» И вот он, час спустя, случайно относит какую-то бумагу в кабинет его превосходительства. Он входит, кладет почтительно бумагу на стол, генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и — вдруг, так, как падают в бездну, бросается к ногам его превосходительства, за секунду и не подозревая о том, что бросится: «Все равно погибать, лучше уж сам сознаюсь!» «Только потише, ваше превосходительство, только, пожалуйста, потише, ваше превосходительство! Чтоб там не услышал нас кто-нибудь, а я вам все расскажу, все расскажу, все расскажу!» — умоляет он, как безумный, изумленного его превосходительство, сложив перед ним по-дурацки руки. И вот, отрывочно, бессвязно, весь дрожа, глупо признается во всем, к вящему изумлению его превосходительства, совсем ничего и не подозревавшего. Но ведь и тут герой наш выдержал характер вполне, — ибо для чего он бросился к ногам генерала? Конечно, от болезни, конечно, от мнительности, но *главное и от того*, что он, — и струсивший, и униженный, и себя во всем обвиняющий, — а все же мечтал по-прежнему, как всеупоенный самомнением дурачок, что, может быть, его

превосходительство, выслушав его, и все же, так сказать, пораженный его гением, — раскроет обе руки свои, которыми он столь много подписывает на пользу отечества бумаг, и заключит его в свои объятия: «Неужели, дескать, ты до того доведен был, несчастный, но даровитый молодой человек! О, это я, я во всем виноват, я просмотрел тебя! Беру всю вину на себя. О, боже мой, вот до чего принуждена доходить наша талантливая молодежь из-за вины наших старых порядков и предрассудков! Но приди, приди на грудь мою, и — вместе со мной раздели пост мой и мы... и мы перевернем департамент!» Но так не случилось, и потом, долго спустя, в позоре и в унижении, вспоминая о пинке носком генеральского сапога, пришедшегося ему прямо тогда в лицо, он почти искренно обвинял судьбу и людей: «Раз, дескать, в жизни моей я раскрыл людям мои объятия вполне, и что же удостоился получить?» Финал ему можно придумать какой-нибудь самый натуральный и современный, например, его, уже выгнанного из службы, нанимают в фиктивный брак, за сто руб., причем после венца он в одну сторону, а она в другую к своему лабазнику. «И мило и благородно», — как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же случае.

Одним словом, мне кажется, что тип анонимного ругателя — весьма недурная тема для повести. И серьезная. Тут, конечно бы, нужен Гоголь, но... я рад, по крайней мере, что случайно набрел на идею. Может быть, и в самом деле попробую вставить в роман.

Прежние земледельцы — будущие дипломаты

Но куда я удалился от дела? Я начал с того, что я в деревне и рад тому. Давненько-таки я не жывал в русской деревне. Но о деревне потом, а здесь лишь вставлю, что я уже потому, между прочим, рад, что я в деревне, а не за границей, что не увижу за границей слоняющихся там наших русских. В самом деле, в наше, столь народное, столь единительное и патриотическое время, когда именно всюду ищешь у себя дома русских, ждешь русских, желаешь и требуешь русских, в такое время слишком тяжело видеть за границей, куда вот уже двадцать лет ежегодно экспатрируется и где колонизируется наша интеллигенция, — претворение чисто русского, сырого и превосходного, может быть, материала в жалкую международную дрянь, обезличенную, без характера, без народности и без отечества. Я не про отцов говорю, — отцы неисправимы и бог с ними, — а про их несчастных детей, которых они губят за границей. Отцы же даже отъявленным нашим русским европейцам становятся наконец смешны. Г-н Буренин,^[256] отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях», проживающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «зрелище борьбы» (разумеется, с самого почтительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уж сорок лет острят эти господа,

²⁵⁶ Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — публицист, поэт, прозаик, драматург.

то есть над русским духом, над славянофилами и проч. и проч. Он потому-де живет за границей, что у нас в России «все еще нечего делать серьезному и порядочному человеку». (NB: Я привожу цитаты на память.) Одна из удачнейших острот его состояла в том, что «уже сделано распоряжение по железным дорогам привезти в особом вагоне, ввиду вступления наших войск в Болгарию и обновления славянства, — тень Хомякова». Но этому седокудруму господину можно бы было заметить, что сам он очень тоже похож на тень какого-нибудь, может быть, и весьма почтенного западно-либерального говорильщика сороковых годов, но который теперь, если б столько лет спустя и дожив до седых кудрей, повторял бы то же самое, на чем остановился в своих сороковых годах, то, уж конечно, даже будь он хоть сам Грановский, казался бы непременно точь-в-точь таким же самым шутком, как и этот господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны тень Хомякова и о том, что в нашей России все еще нечего делать порядочному человеку.

Эмигрировали из России (я удерживаю это слово) двадцать лет назад наиболее помещики, и с тех пор эмиграция продолжается с каждым годом. Конечно, в этом числе много и не помещиков, были всякие, но, в огромном большинстве, если не все, — более или менее ненавидящие Россию, иные нравственно, вследствие убеждения, «что в России таким порядочным и умным, как они, людям нечего делать», другие уже просто ненавидя ее безо всяких убеждений, так сказать, натурально, физически: за климат, за поля, за леса, за порядки, за освобожденного мужика, за русскую историю, одним словом, за все, за все ненавидя. Замечу,

что такая ненависть может быть и весьма пассивная, очень спокойная и до апатии равнодушная. А тут как раз почувствовались в руках выкупные и, сверх того, ужасно многих озарило убеждение, что с освобождением крестьян все погибло — и деревня, и землевладение, и дворянство, и Россия. Правда и то, что с освобождением крестьян сельский труд остался без достаточной организации и обеспечения, и личное землевладение натурально струсило и сконфузилось так, как ни в какой исторический переворот не могло бы случиться больше. Вот и пустились помещики продавать и продавать, и часть их (слишком не малая) бросилась за границу. Но что бы ни выставляли они себе в оправдание, но не могут же они утаить, и перед согражданами, и перед детьми своими, что главная причина их эмигрирования была тоже и приманка эгоистического «ничегонеделанья». И вот с тех пор русская личная поземельная собственность в полнейшем хаосе, продается и покупается, меняет своих владельцев поминутно, меняет даже вид свой, обезлесивается, — и во что обратится она, за кем останется она окончательно, из кого составитя окончательно обновленное русское землевладельческое сословие, в какую форму преобразится оно в конце концов — все это трудно предсказать, а между тем, если хотите, в этом главнейший вопрос русской будущности. Это уж какой-то закон природы, не только в России, но и во всем свете: кто в стране владеют землей, те и хозяева той страны, во всех отношениях. Так бывало везде и всегда. Но у нас, скажут, сверх того община, — вот, значит, и хозяева. Но... вопрос об общине разве из решенных у нас окончательно? Разве пятнадцать лет назад он не вошел у нас тоже в новый фазис, как и все остальное? Но об этом

обо всем потом, а заключу пока мою мысль голословно: если в стране владение землей *серьезное*, то и все в этой стране будет серьезно, во всех то есть отношениях, и в самом общем и в частностях. Хлопочут, например, у нас теперь о просвещении, о народных школах, а я вот верю только тому, что школы тогда только примутся у нас серьезно и основательно, когда землевладение и земледелие наше организуются у нас серьезно и основательно, и что скорее не от школы получится хорошее земледелие, а, напротив, от хорошего лишь земледелия (то есть от правильного землевладения) получится хорошая школа, но никак не раньше. Параллельно же с этим примером и все: и порядки, и законы, и нравственность, и даже самый ум наций, и все, наконец, всякое правильное отправление национального организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное землевладение. То же самое можно сказать и о характере землевладения: будь характер аристократический, будь демократический, но каков характер землевладения, таков и весь характер нации.

Но теперь пока наши бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, с голыми ножками, напоказ Европе. А Европа-то смотрит и дивится: «Вот ведь сколько у них там богатых людей и, главное, столь образованных, столь жаждущих европейского просвещения. Это ведь из-за деспотизма им до сих пор не выдавали заграничных паспортов, и вдруг сколько у них оказалось землевладельцев и

капиталистов и удалившихся от дел рантьееров,^[257] — да больше, чем даже во Франции, где столько рантьееров!» И расскажите Европе, растолкуйте ей, что это чисто-русское явление, что никакого тут нет рантьеерства, а, напротив, пожирание основных своих фондов, сжигание свечки с обоих концов, то Европа, конечно, не поверит этому, невозможному у ней, явлению, да и не поймет его вовсе. И ведь, главное, эти сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер, эти Лукуллы,^[258] проживающиеся в ресторанах Парижа, — ведь сами они знают и с некоторою даже болью все же предчувствуют, что ведь фонды-то они свои наконец проедят и что детям их, вот этим самым херувимчикам в английских костюмчиках, придется, может быть, просить по Европе милостыню (и будут просить милостыню!) или обратиться в французских и немецких рабочих (и обратятся в французских и немецких рабочих!). «Но, думают они, après nous le déluge, да и кто виноват: виноваты все те же наши русские порядки, наша неуклюжая Россия, в которой порядочному человеку до сих пор еще ничего сделать нельзя». Вот как они думают, а либеральнейшие из них, те, которые могут назваться высшими и чистейшими западниками сороковых годов, те прибавляют еще, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унаследуют идею, благородную закваску истинного священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они не будут

²⁵⁷ *Рантьееры* (франц. rentier) — лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала.

²⁵⁸ *Лукулл* Люций Люциний (106—57 до н. э.) — римский полководец, известный вошедшими в поговорку обильными пирами («Лукуллов пир»).

знать попов и глупое слово „отечество“. Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый пагубнейший из всех существующих в мире. Из них выйдут благородные общечеловеческие умы. Мы и только мы, русские, положим начало этим новым умам. Именно тем, что проживаем за границей наши выкупные, мы полагаем основание новому, грядущему международному гражданству, которое рано ли, поздно ли, а обновит Европу, и вся честь за то нам, потому что мы начали раньше всех». Впрочем, так говорят лишь «седокудрые», то есть еще очень немногие, ибо много ли передовых-то? Более же практические, и даже из «седокудрых» *не столь благородные*, в конце концов все еще надеются на «связишки»: «Мы-то здесь проживаемся, это правда, да ведь и наживаем же что-нибудь все-таки, ну, там знакомства, связишки, которые потом, в „отечестве“-то, и пригодятся. К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь все ж джентльменами, — а в этом ведь и все главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших сферах всегда обозначал и сопровождал у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего-то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. И что ж, мы детей растим за границей и — как раз, значит, готовим их в дипломаты. Что за прелесть здесь все эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездна этих милейших местечек, и как восхитительно дотированных!^[259] Вот и хватит на наших детишек: и покойно, и хорошо, и денежно, и прочно, да и служба

²⁵⁹ *Дотированный* (франц. doter — снабжать, давать дотацию) — обеспеченный финансовыми средствами.

всегда на виду. Да и служба чистенькая, щегольская, джентльменская; а работа, — ну, а работа прелегкая: знай знакомься с русскими за границей, из тех, кто попорядочнее, а из тех, кто накуролесят да защитить себя консула просят, — мы тех свысока обернем, поначальственнее, и слушать-то не станем: «Не верим вам, дескать, беспорядки производите сами, все еще воображаете себя в милом отечестве, тогда как здесь место чистое. Из-за вас неприятности получай, да и стоит еще из-за такого, как вы, иноземное начальство беспокоить: вы только посмотрите на себя в зеркало, до чего вы дошли-с!» Вот и вся служба в этом! Одним словом, сумеют и наши деточки выйти в люди, да-с, были бы только связи — вот что первое всего надо родительскому сердцу наблюсти, а прочее все приложится по востребованию».

Итак, все не столь благородные из проживающихся за границей более или менее рассчитывают на связишки. Но ведь что такое связи? Ну хоть и значат что-нибудь, но ведь эта *матерья* ужасно скоро изнашивается. И далеко бы не мешало, кроме связей, запasti себе — ну хоть немножко знания России и собственного ума, хоть на всякий случай. Теперь же именно, в эпоху реформ и новых начал, у нас как нарочно все собственным умом хотят жить, все того захотели, — идея, бесспорно, просвещенная, но то беда, что никогда еще у нас не бывало столь мало собственного ума, как теперь, при общем желании иметь его. Почему это так — решать не возьмусь, да и трудно, но одну из причин, почему херувимчики наши, бесспорно, будут дурачками, — основательно знаю, и хоть она стара, но укажу на нее. А впрочем, все то же самое, об чем я говорил и в прошлом году. Причина — русский язык, то есть недостаток

русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда водилось, и прежде, то есть, недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков возрастет за границей. Положим, они готовятся в дипломаты, а дипломатический язык, известно, французский язык; русский же язык довольно знать лишь и грамматически. Но так ли это? Вопрос этот хоть и до пошлости старый, а между тем он до того еще нерешенный, что недавно даже в печати о нем опять заговорили, хоть и косвенно, по поводу сочинений г-на Тургенева на французском языке. Выражено было даже мнение, что «не все ли равно г-ну Тургеневу сочинять на французском или на русском языке и что тут такого запрещенного?». Запрещенного, конечно, нет ничего и особенно такому огромному писателю и знатоку русского языка, как Тургенев, и если у него такая фантазия, то почему же ему не писать на французском, да и к тому же если он французский язык почти как русский знает. И потому о Тургеневе ни слова, но... но я вижу, что я решительно повторяюсь и прошлого года говорил решительно то же самое, на ту же самую тему, и в этих же заграничных месяцах, толкуя с загранично-русской маменькой о вреде французского языка для ее херувимчиков. Но маменька готовит теперь херувимчиков в дипломаты, и вот собственно лишь по поводу дипломатии-то хоть и неприятно повторяться, но рискну и еще ей словцо.

«Но ведь дипломатический язык французский», — прерывает меня маменька на этот раз, не дав мне даже и начать. Увы, она с прошлого года приготовилась, она третирует меня свысока. «Так, сударыня, — отвечаю я, — возражение ваше сильное, и я согласен с вами

бесспорно. Но, во-первых, ведь что я говорил о знании русского языка, надо приложить и к французскому, ведь не правда ли? Ведь, чтоб выразить богатства своего организма на французском языке, надо и французский язык усвоить себе богатейшим образом. Ну так знайте же, есть такая тайна природы, закон ее, по которому только тем языком можно владеть в совершенстве, с каким родился, то есть каким говорит тот народ, которому принадлежите вы. Вы морщитесь, я вас обидел, вы смотрите насмешливо. Вы махаете ручкой и уверяете меня, что слышали это еще прошлого года и что я повторяюсь. Хорошо-с, я вам уступаю, да и тема эта не *дамская*. Я вам просто-запросто уступлю и соглашусь с вами, что можно и русскому усвоить себе французский язык в совершенстве, но с огромным условием: родиться во Франции, вырасти в ней и с самого первого часа своей жизни преобразиться в француза. О, вы развеселились, вы уже улыбаетесь, но заметьте, однако, сударыня, что это даже и для вас не совсем возможно будет исполнить касательно вашего херувимчика, несмотря даже на все удобства, то есть эмиграцию, выкупные, парижскую бонну и проч. и проч. К тому же возьмите в соображение и природные, так сказать, дары, потому что нельзя же ведь сравнивать г-на Тургенева и вашего, например, херувимчика относительно этих даров. Много ль, скажите, родится Тургеневых-то... Ах нет, нет, что я! Я опять ошибся, сболтнул: из вашего херувимчика выйдет наверно Тургенев, или даже три Тургенева разом, оставим это, но...» — «Но, — прерываете вы вдруг меня, — ведь дипломаты и без того все умны, так зачем же уж так хлопотать об уме? Поверьте, были бы только

связи. Mon mari...»^[260] — «Вы совершенно правы, сударыня, — перебиваю и я поскорее, — были бы связи, и, оставляя вашего супруга как можно более в стороне, все-таки прибавлю, что к связям не худо бы хоть немного ума. И, во-первых, дипломаты вовсе не потому умны, что они дипломаты, а потому только, что они и до дипломатии были умные люди, а поверьте, что есть даже чрезвычайно много дипломатов замечательно глупых людей». — «Ах нет, вот уж извините, — прерываете вы меня в нетерпении, — дипломаты все всегда умные, и все на превосходных местах, и это самая благородная служба!» — «Сударыня, сударыня! — восклицаю я, — вы говорите: связи и знание языков, но ведь связи только место доставят, а там, потом... Ну представьте себе: ваш херувимчик возрастает в ресторанах Европы, кутит с модными кокотками в товариществе заграничных виконтов и наших русских графов, но ведь потом... Вот он знает все языки, и уже по тому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще смолоду в какую-то бурду, из него выходит международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения. Он дипломат, но для него история наций слагается как-то по-шутовски. Он не видит, даже не подозревает того, чем живут нации и народы, какие законы в организме их и есть ли в этих законах целое, усматривается ли общий международный закон. Он готов выводить все события мира из того только, что такая-то, например, королева рассердила фаворитку такого-то короля, вот и произошла от того война двух королевств.

²⁶⁰ Мой муж... (франц.)

Позвольте, я буду с вашей точки зрения судить. Пусть связи... Но ведь для приобретения связей нужен характер, нужна, так сказать, любезность характера, мягкость, доброта и в то же время твердость, настойчивость... Дипломат ведь должен быть пленителен, так сказать, пленять, побеждать, не правда ли? Ну, так поверите ли вы или нет, когда я вам прямо и в высшей степени определенно скажу, что без знания натурального своего языка, без обладания им нельзя даже выровнять себе и характера, особенно если херувимчик хорошо и богато одарен от природы: у него начнут же в свое время рождаться мысли, идеи, чувства, его будут давить, так сказать, изнутри эти мысли и чувства, ища и требуя себе выражения, а без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения, то есть без языка, без развития его, без утонченностей его, без обладания оттенками его — сын ваш будет вечно недоволен собою: обрывки мыслей перестанут его удовлетворять, накапливающийся в уме и сердце материал потребует основательного уже выражения... Молодой человек станет озабочен, рассеян, беспредметно задумчив, потом брюзглив, несносен, потом расстроит свое здоровье, даже желудок, может быть, верите ли тому...»

Но вижу, вижу, вы покатались со смеху, я опять увлекся, согласен (а ведь, боже, какую я правду говорю!), но позвольте мне закончить, позвольте мне вам напомнить, что я давеча вам уступил, я с вами согласился, для виду, что дипломаты все же умные люди, но вы меня до того довели, сударыня, что я принужден теперь не скрывать от вас даже самую секретнейшую подкладку взгляда моего на этот предмет. Именно, сударыня, мне как нарочно несколько уже раз в жизни приходило на мысль, что в дипломатии, то есть во

всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было умных людей. Даже поражает. Напротив, скудоумие этого сословия в истории Европы нынешнего столетия... то есть, видите ли, все они умны, более или менее, это бесспорно, все остроумны, но умы-то это какие! Проникал ли хоть один из этих умов в сущность вещей, понимал ли, предчувствовал ли таинственные законы, ведущие к чему-то Европу, к чему-то неизвестному, странному, страшному — но теперь уже очевидному, почти воочию совершающемуся в глазах тех, которые чуть-чуть умеют предчувствовать? Нет-с, положительно можно изречь, что не было ни одного такого дипломата и ни одного такого ума в этом столь почтенном и фаворизированном сословии! (Я, уж конечно, говоря так, исключаю Россию и все отечественное, потому что мы, по самой сущности нашей, в этом деле «особ-статья».) Напротив, во все столетие являлись дипломатические умы, положим, прехитрейшие, интриганы, с претензией на реальнейшее понимание вещей, а между тем дальше своего носу и текущих интересов (да еще самых поверхностных и ошибочных) никто из них ничего не усматривал! Порванные ниточки как бы там связать, заплаточку на дырочку положить, «пену подбить, вызолотить, за новое сойдет» — вот наше дело, вот наша работа! И всему тому есть причины — и главнейшая, по-моему, — разъединение начал, разъединение с народом и обособление дипломатических умов в слишком уж, так сказать, великосветской и отвлеченной от человечества сфере. Ну, возьмите, например, графа Кавура^[261] — это ль был не ум, это ль не дипломат? Я

²⁶¹ *Кавур* Бенсо Камилло (1810–1861) — лидер умеренно-либерального крыла итальянского движения за объединение, после объединения Италии — глава

потому и беру его, что за ним уже решена гениальность, да к тому же и потому еще, что он умер. Но что ж он сделал, посмотрите: о, он достиг своего, объединил Италию, и что же вышло: 2500 лет носила в себе Италия мировую и объединяющую мир идею — не отвлеченную какую-нибудь, не спекуляцию кабинетного ума, а реальную, органическую, плод жизни нации, плод мировой жизни: это было объединение всего мира — сначала древнеримское, потом папское. Народы, возраставшие и переходившие в эти два с половиной тысячелетия в Италии, понимали, что они носители мировой идеи, а непонимавшие чувствовали и предчувствовали это. Наука, искусство — все облекалось и проникалось этим же мировым значением. О, положим, что мировая эта идея там, под конец, сама собой износилась и вся истратилась, вся вышла (хотя вряд ли так?), но ведь что ж наконец получилось вместо-то нее, с чем поздравить теперь-то Италию, чего достигла она лучшего-то после дипломатии графа Кавура? А явилось объединенное второстепенное королевство, потерявшее всякое мировое поприще, променявшее его на самое изношенное буржуазное начало (тридцатое повторение этого начала со времени первой французской революции), — королевство, вседозволенное своим единством, ровно ничего не означающим, единством механическим, а не духовным (то есть не прежним мировым единством), и, сверх того, в неоплатных долгах, и, сверх того, именно вседозволенное своею второстепенностью. Вот что получилось, вот создание графа Кавура! Одним словом, современный дипломат есть именно «великий зверь на малые

итальянского правительства. Пользовался непререкаемым авторитетом в среде русских либералов.

дела»!^[262] Князь Меттерних считался одним из самых глубоких и тончайших дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А между тем в чем была его идея, как понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее будущее? Увы, он со всеми основными идеями начинавшегося столетия решил справиться полицейским порядком и вполне был уверен в успехе! Посмотрим теперь на князя Бисмарка, вот этот так уж бесспорно гений, но...

— Finissons, monsieur,^[263] — строго прерывает меня маменька с видом глубоко и свысока оскорбленного достоинства. Я, разумеется, тотчас же и ужасно пугаюсь. Конечно, я не понят, конечно, с маменьками еще нельзя теперь заговаривать на такие темы, и я дал страшного маху. Но с кем можно-то теперь заговаривать о дипломатии, вот ведь вопрос? А ведь какая интереснейшая тема и как раз в наше время! Но...

Июль — август

Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу новой книжки

Выдав в Петербурге мой запоздавший май-июньский выпуск «Дневника» и возвращаясь затем в Курскую губернию, я, проездом через Москву, поговорил кой о

²⁶² ...великий зверь на малые дела! — Цитата из басни И. А. Крылова «Воспитание льва».

²⁶³ Довольно, сударь (франц.).

чем с одним из моих давних московских знакомых, с которым вижу редко, но мнение которого глубоко ценю. Разговора я в целом не привожу, хотя я узнал при этом кое-что весьма любопытное из текущего, чего и не подозревал. Но, расставаясь с моим собеседником, я, между прочим, упомянул, что хочу сделать, пользуясь случаем, маленький крюк по дороге, из Москвы полтора-два верста в сторону, чтобы посетить места первого моего детства и отрочества, — деревню, принадлежавшую когда-то моим родителям, но давно уже перешедшую во владение одной из наших родственниц. Сорок лет я там не был и столько раз хотел туда съездить, но все никак не мог, несмотря на то, что это маленькое и незамечательное место оставило во мне самое глубокое и сильное впечатление на всю потом жизнь и где все полно для меня самыми дорогими воспоминаниями.

— Вот у вас есть такие воспоминания и такие места, и у всех нас были. Любопытно: что у нынешней молодежи, у нынешних детей и подростков будет драгоценного в их воспоминаниях, и будет ли? Главное, что именно? Какого рода?

Что святыне воспоминания будут и у нынешних детей, сомнения, конечно, быть не может, иначе прекратилась бы живая жизнь. Без святого и драгоценного, унесенного в жизнь из воспоминаний детства, не может и жить человек. Иной, по-видимому, о том и не думает, а все-таки эти воспоминания бессознательно да сохраняет. Воспоминания эти могут быть даже тяжелые, горькие, но ведь и прожитое страдание может обратиться впоследствии в святыню для души. Человек и вообще так создан, что любит свое прожитое страдание. Человек, кроме того, уже по самой

необходимости склонен отмечать как бы точки в своем прошедшем, чтобы по ним потом ориентироваться в дальнейшем и выводить по ним хотя бы нечто целое, для порядка и собственного назидания. При этом самые сильнейшие и влияющие воспоминания почти всегда те, которые остаются из детства. А потому и сомнения нет, что воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и нынешними детьми в жизнь. Но что именно будет в этих воспоминаниях, что именно унесут они с собою в жизнь, как именно сформируется для них этот дорогой запас — все это, конечно, и любопытный и серьезный вопрос. Если бы можно было хоть сколько-нибудь предугадать на него ответ, то можно бы было утолить много современных тревожных сомнений, и, может быть, многие бы радостно уверовали в русскую молодежь; главное же — можно бы было хоть сколько-нибудь почувствовать наше будущее, наше русское столь загадочное будущее. Но беда в том, что никогда еще не было эпохи в нашей русской жизни, которая столь менее представляла бы данных для предчувствования и предузнания всегда загадочного нашего будущего, как теперешняя эпоха. Да и никогда семейство русское не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь. Где вы найдете теперь такие «Детства» и «Отрочества», которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего*. О, я вовсе не желаю сказать, что они были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время и совсем не про то говорю. Я

говоря лишь об их *характере*, о законченности, точности и определенности их характера — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится все более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый... в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? Иные и столь серьезные даже люди говорят прямо, что русского семейства теперь «вовсе нет». Разумеется, все это говорится лишь о русском интеллигентном семействе, то есть высших сословий, не народном. Но, однако, народное-то семейство — разве теперь оно не вопрос тоже?

— Вот что бесспорно, — сказал мне мой собеседник, — бесспорно то, что в весьма непродолжительном времени в народе явятся новые вопросы, да и явились уже, — куча вопросов, страшная масса все новых, никогда не бывавших, до сих пор в народе неслыханных, и все это естественно. Но кто ответит на эти вопросы народу? Кто готов у нас отвечать на них, и кто первый выищется, кто ждет уже и готовится? Вот вопрос, наш вопрос, да еще самой первой важности.

И, уж конечно, первой важности. Столь крутой перелом жизни, как реформа 19-го февраля, как все потом реформы, а главное, грамотность (хотя бы даже самое малое соприкосновение с нею), все это, бесспорно, родит и родило уже вопросы, потом, пожалуй, сформирует их, объединит, даст им устойчивость и — в

самом деле, кто ответит на эти вопросы? Ну кто всего ближе стоит к народу? Духовенство? Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут для себя, а живут лишь для паствы, — кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от них ответы, — ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. Другие до того отдаляют от себя паству несоразмерными ни с чем поборами, что к ним не придет никто спрашивать. На эту тему можно бы и много прибавить, но прибавим потом. Затем, одни из ближайших к народу — это сельские учителя. Но к чему годятся и к чему готовы наши сельские учителя? Что представила до сих пор эта, лишь начинающаяся, впрочем, но столь важная по значению в будущем, новая корпорация, и на что она в состоянии ответить? На это лучше не отвечать. Остаются, стало быть, ответы случайные — по городам, на станциях, на дорогах, на улицах, на рынках, от прохожих, от бродяг и, наконец, от прежних помещиков (об начальстве, само собою, не упоминаю). О, ответов, конечно, будет множество, пожалуй, еще больше, чем вопросов, — ответов добрых и злых, глупых и премудрых, но главный характер их, кажется, будет тот, что каждый ответ родит еще по три новых вопроса, и пойдет это все *crescendo*.^[264] В результате хаос, но хаос бы еще хорошо: скороспелые разрешения задач хуже хаоса.

— А главное, — нечего и говорить об этом. Вынесут.

²⁶⁴ *Crescendo* (итал.) — музыкальный термин (крещендо), означающий возрастание и усиление звучности.

Конечно, вынесут, и без нас вынесут, и без ответчиков и при ответчиках. Могуча Русь, и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такую же прежнюю, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. Ее назначение столь высоко, и ее внутреннее предчувствие этого назначения столь ясно (особенно теперь, в нашу эпоху, в теперешнюю минуту главное), что тот, кто верует в это назначение, должен стоять выше всех сомнений и опасений. «Здесь терпение и вера святых»,^[265] как говорится в священной книге.

* * *

В то утро я только что увидал, в первый раз, объявление в газетах о выходе отдельно восьмой и последней части «Анны Карениной», отвергнутой редакцией «Русского вестника», в котором печатался весь роман, с самой первой части. Всем известно было тоже, что отвергнута эта последняя, восьмая часть за разногласие ее с направлением журнала и убеждениями редакторов, и именно по поводу взгляда автора на Восточный вопрос и прошлогоднюю войну. Книгу я немедленно положил купить и, прощаясь с моим собеседником, спросил его о ней, зная, что ему давно уже известно ее содержание. Он засмеялся.

²⁶⁵ *Здесь терпение и вера святых...* — Цитата из «Откровения святого Иоанна Богослова».

— Самая невиннейшая вещь, какая только может быть! — отвечал он. — Вовсе не понимаю, зачем «Русский вестник» не поместил ее. Притом же автор предоставлял им право на какие угодно оговорки и выноски, если они с ним не согласны. А потому прямо и сделали бы выноску, что, вот, дескать, автор...

Я, впрочем, не впишу сюда содержания этой выноски, предлагавшейся моим собеседником, тем более, что и высказал он ее, все еще продолжая смеяться. Но в конце он прибавил уже серьезно:

— Автор «Анны Карениной», несмотря на свой огромный художественный талант, есть один из тех русских умов, которые видят ясно лишь то, что стоит прямо перед их глазами, а потому и прут в эту точку. Повернуть же шею направо иль налево, чтоб разглядеть и то, что стоит в стороне, они, очевидно, не имеют способности: им нужно для того повернуться всем телом, всем корпусом. Вот тогда они, пожалуй, заговорят совершенно противоположное, так как во всяком случае они всегда строго искренни. Этот переверт может и совсем не совершиться, но может совершиться и через месяц, и тогда почтенный автор с таким же задором закричит, что и добровольцев надо посылать и корпии щипать, и будет говорить все, что мы говорим...

Книжку эту я купил и потом прочел, и нашел ее вовсе не столь «невинною». И так как я, несмотря на все мое отвращение пускаться в критику современных мне литераторов и их произведений, решил непременно поговорить об ней в «Дневнике» (даже, может быть, в этом же выпуске), то и счел не лишним вписать сюда и мой разговор о ней с моим собеседником, у которого и прошу потому извинения за мою нескромность...

Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. Опять о случайном семействе

Эти «места моего детства», куда я собирался съездить, — от Москвы всего полтора верст, из коих сто сорок по железной дороге; но употребить на эти полтора верст пришлось почти десять часов. Множество остановок, пересаживаний, а на одной станции приходится ждать этого пересаживания три часа. И все это при всех неприятностях русской железной дороги, при небрежнейшем и почти высокомерном отношении к вам и к нуждам вашим кондукторов и «начальства». Всем давно известна формула русской железной дороги: «Не дорога создана для публики, а публика для дороги». Нет такого железнодорожника, с кондуктора до директора включительно, который бы сомневался в этой аксиоме и не посмотрел бы на вас с насмешливым удивлением, если бы вы стали утверждать перед ним, что дорога создана для публики. А главное, и слушать не будут.

Кстати, в это лето я изъездил до четырех тысяч верст по крайней мере, и везде по дороге меня особенно поражал этот раз народ; везде народ говорил про войну. Ничто не могло сравниться с тем интересом и с тем жадным любопытством, с которым простонародье выслушивало и расспрашивало про войну. В вагонах я

заметил даже нескольких мужиков, читавших газеты, большею частью вслух. Случалось садиться рядом с ними: какой-нибудь мещанин оглядит вас осторожно сначала, и особенно коль увидит у вас или подле вас газету, — немедленно и чрезвычайно вежливо осведомится: откуда вы? И коль ответите, что из Москвы или из Петербурга (а еще интереснее для него, если с юга, из Одессы, например), то непременно спросит: «Что слышно про войну?» Затем, чуть-чуть вы вселите в него доверчивость вашим ответом и готовностью отвечать ему, он тотчас, впрочем опять-таки с осторожностью, меняет любопытный вид на таинственный, приближается к вам и спрашивает, уже понижая голос: «А нет ли, дескать, чего особенного?», то есть поособеннее, чем в газетах, того, дескать, что скрывают? При этом прибавлю, что недовольных на правительство за объявление войны в народе нет никого, даже в самых злорадных типах, а злорадные есть, но тут особенного рода злорадство. Проходишь, например, во время остановки по платформе станции и вдруг услышишь: «Семнадцать тысяч наших легло, только сейчас была телеграмма!» Смотришь — ораторствует какой-нибудь паренек, лицо у него выражает какое-то зловещее упоение, и вовсе не то, чтоб он был рад, что наших легло семнадцать тысяч, нет, тут другое, тут вроде того, как если б вдруг погорел человек, все сгорело — изба, деньги, скот: «Смотрите, дескать, на меня, православные христиане, все пропало, в лохмотьях, один как перст!» В эти минуты тоже бывает у эдакого какая-то сладость злорадного самоупоения в лице. Но насчет «семнадцати тысяч» было и другое: «Телеграмма, дескать, такая есть, только ее задерживают, скрывают, еще не пускают... видели, сами читали...» — вот смысл. Я не утерпел, вдруг

подошел к кучке и сказал, что все вздор, слухи глупые, не могли побить семнадцать тысяч наших, все благополучно. Паренек (как будто из мещанства, а то и мужик, пожалуй) несколько хотя и сконфузился, но не очень: «Мы, дескать, люди темные, не свои слова говорим, так слышали». Толпа быстро разошлась, к тому же зазвенел и звонок. Любопытно мне теперь потому, что происходило это девятнадцатого июля, часов в пять пополудни. Накануне же, восемнадцатого, было Плевненское дело.^[266] Какая тут могла быть еще телеграмма, даже кому бы то ни было, а не то что среди поезда железной дороги? Конечно, случайное совпадение. Не думаю, впрочем, чтоб парень был сам распускатель и выдумщик ложных слухов, вернее всего, что он в самом деле от кого-нибудь слышал. Надо думать, что фабрикантов ложных слухов, и, уже конечно, злых слухов, об неудачах и несчастиях развелось по России в это лето чрезвычайное множество и, уж конечно, с целями, а не то что из одного простого вранья.

Ввиду горячего патриотического настроения народа в эту войну, ввиду той *сознательности* о значении и задачах этой войны, которая обнаружилась в народе нашем еще с прошлого года, ввиду пламенной и благоговейной веры народа в своего царя — все эти задержки и секреты в известиях с театра войны не только не полезны, но положительно вредны. Никто не может, конечно, ни требовать, ни желать, чтоб сообщались стратегические планы, цифры войск раньше

²⁶⁶ *Плевненское дело* — неудачный штурм 18 июля 1877 года осажденной Плевны, во время которого русские войска потеряли свыше семи тысяч человек убитыми и ранеными.

дела, военные секреты и проч., но, по крайней мере, то, что узнают венские газеты раньше наших, — можно бы знать и нам раньше их.^[267]

Сидя на станции, на которой приходилось ждать три часа для пересадки на другой поезд, я был в предурном расположении духа и на все досадовал. От нечего делать мне пришло вдруг на мысль исследовать: почему я досаую и не было ли тут, кроме общих причин, какой-нибудь случайной, ближайшей? Я недолго искал и вдруг засмеялся, найдя эту причину. Дело заключалось в одной недавней встрече моей, в вагоне, за две станции перед этой. В вагон вдруг вошел один джентльмен, совершенный джентльмен, очень похожий на тип русских джентльменов, скитающихся за границей. Он вошел, ведя с собой маленького своего сына, мальчика лет восьми, никак не более, даже, может быть, менее. Мальчик был премило одет в самый модный европейский детский костюмчик, в прелестную курточку, изящно обут, белье батистовое. Отец, видимо, о нем заботился. Вдруг мальчик, только что сели, говорит отцу: «Папа, дай папироску?» Папа тотчас же идет в карман, вынимает перламутровую папиросочницу, вынимает две папироски, одну для себя, другую — для мальчика, и оба, с самым обыкновенным видом, прямо свидетельствующим, что между ними уж и давно так, закуривают. Джентльмен погружается в какую-то думу, а мальчик смотрит в окошко вагона, курит и затягивается. Он выкурил свою папироску очень скоро, затем, не прошло и четверти часа, вдруг опять: «Папа, дай папироску?», — и опять оба вновь закуривают, и в продолжение двух станций,

²⁶⁷ Теперь все это, в самом важном, поправлено: почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего.

которые они просидели со мной в одном вагоне, мальчик выкурил, по крайней мере, четыре папироски. Никогда я еще не видал ничего подобного и был очень удивлен. Слабая, нежненькая, совсем не сформировавшаяся грудка такого маленького ребенка приучена уже к такому ужасу. И откуда могла явиться такая неестественно ранняя привычка? Разумеется, глядя на отца: дети так переимчивы; но разве отец может допустить своего младенца к такой отраве? Чахотка, катар дыхательных путей, каверны в легких — вот что неотразимо ожидает несчастного мальчика, тут девять из десяти шансов, это ясно, это всем известно, и именно отец-то и развивает в своем младенце неестественно преждевременную привычку! Что хотел доказать этим этот джентльмен — я не могу себе и представить: пренебрежение ли к предрассудкам, новую ли идею провести, что все, что прежде запрещалось, — вздор, а, напротив, все дозволено? — Понять не могу. Случай этот так и остался для меня неразъясненным, почти чудесным. Никогда в жизни я не встречал такого отца и, вероятно, не встречу. Удивительные в наше время попадаютца отцы! Я, впрочем, тотчас перестал смеяться. Рассмеялся я тому только, что так скоро отыскал причину моего скверного расположения духа. Тут, хотя, впрочем, без прямой связи с событием, припомнился мне вчерашний мой разговор с моим собеседником о том, что унесут дорогого и святого из своего детства в жизнь современные дети, потом напомнилась моя мысль о случайности современного семейства... и вот я вновь погрузился в весьма неприятные соображения.

Спросят: что такое эта *случайность* и что я под этим словом подразумеваю? Отвечаю: случайность современного русского семейства, по-моему, состоит в

утрате современными отцами всякой общей идеи, в отношении к своим семействам, общей для всех отцов, связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так верить детей своих, передали бы им эту веру в жизнь. Заметьте еще: эта идея, эта вера — может быть, даже, пожалуй, ошибочная, так что лучшие из детей впоследствии сами бы от нее отказались, по крайней мере, исправили бы ее для своих уже детей, но все же самое присутствие этой общей, связующей общество и семейство идеи — есть уже начало порядка, то есть нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке, положим так, — но порядка. Тогда как в наше время этого-то порядка и нет, ибо нет ничего общего и связующего, во что бы все отцы верили, а есть на место того или: во-1-х, поголовное и сплошное отрицание прежнего (но зато лишь отрицание и ничего положительного); во-2-х, попытки сказать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов, столько умов, — попытки, раздробившиеся на единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной веры в них их изобретателей. Попытки эти иногда даже и с прекрасным началом, но невыдержанные, незаконченные, а иногда так и совсем безобразные, вроде огульного допущения всего того, что прежде запрещалось, на основании принципа, что все старое глупо, и это даже до самых глупейших выходов, до позволения, например, курить табак семилетним детям. Наконец, в-3-х, ленивое отношение к делу, вялые и ленивые отцы, эгоисты: «Э, пусть будет, что будет, чего нам заботиться, пойдут дети, как и все, во что-нибудь выровняются, надоедают только они очень, хоть бы их вовсе и не было!» Таким образом, в результате —

беспорядок, раздробленность и *случайность* русского семейства, — а надежда — почти что на одного Бога: «Авось, дескать, пошлет нам какую-нибудь общую идейку, и мы вновь соединимся!»

Такой порядок, конечно, родит безотрадность, а безотрадность еще пуще родит леность, а у горячих — циническую, озлобленную леность. Но есть и теперь много совсем не ленивых, а, напротив, очень даже прилежных отцов. Большею частью это отцы с идеями. Один, наслушавшись, положим, весьма даже не глупых вещей и прочтя две-три умные книги, вдруг сводит все воспитание и все обязанности свои к семейству на один бифштекс: «Бифштекс с кровью и, конечно, Либих, дескать» и т. д. Другой, пречестнейший человек сам по себе, в свое время даже блиставший остроумием, уже согнал три няньки от своих младенцев: «Невозможно с этими шельмами, запретил настрого, вдруг захожу вчера в детскую и что же, представьте себе, слышу: Лизочку укладывает в люльку, а сама ее Богородице учит и крестит: помилуй, дескать, Господи, папу, маму... ведь настрого запретил! Решаюсь на англичанку, да выйдет ли лучше-то?» Третий, едва пятнадцатилетнему своему мальчишке, сам подыскивает уже любовницу: «А то, знаете, эти детские ужасные привычки разовьются, али пойдет как-нибудь на улицу, да болезнь скверную схватит... нет, уж лучше обеспечить ему этот пункт заранее...» Четвертый доводит своего семнадцатилетнего мальчика до самых передовых «идей», а тот самым естественным образом (ибо что может выйти из иных познаний раньше жизни и опыта?) сводит эти передовые мысли (нередко очень хорошие) на то, что «если нет ничего святого, то, стало быть, можно делать всякую пакость». Положим, в этом случае отцы горячи, но ведь у

многих ли из них эта горячка оправдывается чем-нибудь серьезным, мыслию, страданием? Много ль у нас таких-то? Большею ведь частью одно либеральное подхихикивание с чужого голоса, и вот ребенок уносит в жизнь, сверх всего, и комическое воспоминание об отце, комический образ его.

Но это «прилежные», и их не так много; несравненно больше ленивых. Всякое переходное и разлагающееся состояние общества порождает лень и апатию, потому что лишь очень немногие, в такие эпохи, могут ясно видеть перед собою и не сбиваться с дороги. Большинство же путается, теряет нитку и, наконец, махает рукой: «Э, чтоб вас! Какие там еще обязанности, когда и сами-то никто ничего толком не умеем сказать! Прожить бы только как-нибудь самому-то, а то что тут еще обязанности». И вот эти ленивые, если только богаты, исполняют даже все *как следует*: одевают детей хорошо, кормят хорошо, нанимают гувернанток, потом учителей; дети их, наконец, вступают, пожалуй, в университет, но... отца тут не было, семейства не было, юноша вступает в жизнь один как перст, сердцем он не жил, сердце его ничем не связано с его прошедшим, с семейством, с детством. И еще вот что: ведь это только богатенькие, у них был достаток, а много ли достаточных-то? Большинство, страшное большинство — ведь всё бедные, а потому, при лености отцов к семейству, детки уже в высшей степени оставлены на случайность! Нужда, забота отцов отражаются в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты, и, что хуже всего,

вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство. И долго потом в жизни, может, всю жизнь, человек склонен слепо обвинять этих прежних людей, ничего не вынеся из своего детства, чем бы мог он смягчить эту грязь воспоминаний и правдиво, реально, а стало быть, и *оправдательно* взглянуть на тех прошлых, старых людей, около которых так уныло протянулись его первые годы. Но это еще лучшие из детей, а ведь большинство-то их уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и саму грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: «Все, дескать, ходят в грязи, об идеалах бредят только одни фантазеры, а с грязнотцей-то и лучше»...

«Но что же вы хотите? Какие это такие воспоминания должны бы были они унести из детства для очистки грязи своих семейств и для *оправдательного*, как вы говорите, взгляда на отцов своих?» Отвечаю: «Что же я могу сказать один, если в целом обществе нет на это ответа?» Общего нет ничего у современных отцов, сказал я, связующего их самих нет ничего. Великой мысли нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состоянии породить *прекрасное* в воспоминаниях детей, — и даже как: несмотря даже на самую лютую обстановку их детства, бедность и даже самую нравственную грязь, окружавшую их колыбели! О, есть такие случаи, что даже самый падший из отцов, но еще сохранивший в душе своей хотя бы только отдаленный прежний образ великой мысли и великой веры в нее, мог и успевал пересаживать в восприимчивые и жаждущие

души своих жалких детей это семя великой мысли и великого чувства и был прощен потом своими детьми всем сердцем за одно это благодеяние, несмотря ни на что остальное. Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь. Посмотрите, разве современные отцы, из горячих и прилежных, не верят в это? О, они вполне верят, что без связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколение и пустить его в жизнь! Но сами-то они все вместе утратили целое, потеряли общее, разбились по частям; соединились лишь в отрицательном, да и то кое-как, и разделились все в положительном, а в сущности и сами даже не верят себе ни в чем, ибо говорят с чужого голоса, примкнули к чуждой жизни и к чуждой идее и потеряли всякую связь с родной русской жизнью.

Впрочем, повторяю, этих горячих немного, ленивых бесконечно больше. Кстати, помните ли вы процесс Джунковских? Этот процесс очень недавний и рассматривался в Калужском окружном суде всего лишь 10-го июня текущего года. На него, среди грома текущих событий, весьма может быть, немногие и обратили внимание. Я прочел его в газете «Новое время» и не знаю, был ли он перепечатан еще где-нибудь. Это — дело о перемышльских землевладельцах майоре Александре Афанасьеве Джунковском, 50 лет, и жене его Екатерине Петровой Джунковской, 40 лет, обвиняемых в жестоком обращении с малолетними детьми их Николаем, Александром и Ольгой... Здесь своевременно будет заметить, что дети, о которых идет речь, были в следующем возрасте: Николай — тринадцать лет, Ольга

— двенадцати и Александр — одиннадцати лет. Прибавлю еще, забегаая вперед, что суд оправдал подсудимых.

В этом процессе весьма, по-моему, резко выступает многое типичное из нашей действительности, а между тем что всего более в нем поразительно — это чрезвычайная обыкновенность, обыденность его. Чувствуешь, что именно таких русских семейств необыкновенное теперь множество, — конечно, не в этом самом виде, конечно, не везде такие случайности, как *чесание пяток* (о чем будет ниже), но суть-то дела, основная-то черта множества подобных семейств одна и та же. Это именно тип «ленивого семейства», о которых я сейчас только говорил. Если не целый, не правильный очень тип (особенно судя по иным весьма исключительным и характерным подробностям), то все-таки замечательная особь этого типа. Но пусть читатели судят сами. Подсудимые были преданы суду по определению московской судебной палаты; припомним же это обвинение. Перепечатаваю из «Нового времени» так, как оно там было изложено, то есть в сжатом виде.

Дело родителей Джунковских с родными детьми

Обвиняемые Джунковские, обладая известным достатком и имея надлежащее число прислуги, поставили детей своих: Николая, Александра и Ольгу, в совершенно иные отношения к себе, чем других детей. Они не только не держали себя с ними и не ласкали их как родители, но, оставив без присмотра, давали им плохое содержание, помещение, одежду, постели и стол, принуждали к занятиям вроде чесания пяток и т. п.,

возбуждая и поддерживая таким образом в них неудовольствие и раздражение, доведшее их до поступка с умершею сестрою, о чем будет сказано ниже. Все это не могло не иметь дурного влияния на здоровье детей. Так, например, из дела видно, что Ольга страдает падучею болезнию; кроме того, не способствуя ни надзором, ни попечениями своими нравственному развитию детей, подсудимые прибегали к мерам, которые нельзя признать кроткими мерами исправления родителями своих малолетних детей. Так, обвиняемые запирали детей на продолжительное время в сортир, оставляли дома в холодной комнате и почти без пищи или посылали обедать и спать в комнате прислуги, ставя их таким образом в общество лиц, мало способных содействовать их исправлению, наконец, часто били чем попало, даже кулаками, секли розгами, хворостиною, плетью, назначенной для лошадей, и с такою жестокостью, что страшно было смотреть и что (по показанию мальчика Александра) спина ребенка болела пять дней от одной из таких экзекуций. Подобные побои были последствием не всегда какой-нибудь хотя бы маловажной шалости, но и просто так себе — по желанию. Служившая прачкою у Джунковских солдатка Сергеева, между прочим, объяснила, что обвиняемые не любили детей Николая, Александра и Ольгу, которые спали отдельно от других детей, внизу, в одной комнате, на полу на войлоке, одевались чем попало (было одно рваное одеяло); ели людское кушанье, так что всегда были голодны. Одевали их плохо: летом в разные рубашки, а зимою в полушубки. Джунковская была для этих детей хуже мачехи; она била их, особенно Александра, чем попало, а то и так просто кулаками. Когда секла Николая, то страшно было глядеть. Дети

хотя и были шаловливы, но как дети. Им доставалось больше всего по вечерам, когда они чесали матери пятки, что продолжалось по часу и более — пока мать не уснет. Это делала раньше прислуга, в том числе и Сергеева, которая наконец отказалась, потому что рука отекала! Из показания Усачковой оказывается, что Александр и Ольга валялись на полу, на грязных подушках, «вообще их держали грязно — в свином логовище чище, чем у них». Живший у Джунковских, в качестве учителя, по август 1875 года дворянин Любимов утверждал, что Николая, Ольгу и Александра содержали плохо и им иногда приходилось ходить босиком. В показании девицы Шишовой (кандидатка Николаевского института), бывшей у детей подсудимых гувернанткой по август 1874 года, которое было прочитано на суде, вследствие неявки свидетельницы, — значит, что Джунковская — женщина эгоистичная, не ласкавшая никогда, равно как и муж ее, детей Александра и Николая. Отсутствие вообще порядка в доме подсудимых и равнодушное отношение к детям Шишова объясняет какую-то небрежностью обвиняемых ко всему и даже в отношении себя; дела их были постоянно запутаны, и они жили постоянно в хлопотах и не умели хозяйничать. Джунковская, старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило, поручала мужу наказывать детей, что им и было исполняемо, и хотя при экзекуциях свидетельница не присутствовала, но тем не менее удостоверяет, что «никакой жестокости в наказаниях не было». «Случалось, — продолжает педагогичка Шишова, — что Джунковская или я даже за шалости запирали детей в комнату, где стоял ватерклозет, но эта комната не холоднее других в квартире и отапливалась». Шишова и сама наказывала детей ременной плеткою, «но только

она была маленькая». При свидетельнице никогда не случилось, чтобы детям не давали есть по нескольку дней.

Затем мальчики Николай и Александр дали следователю сдержанные показания, из которых, однако, видно, что их секли розгами, ременную плетью, которою гоняют лошадь, а также и хворостиною, употреблявшеюся в дело и учителем Любимовым. Однажды у Александра пять дней болела спина после того, как мать высекла его за то, что он из кухни принес сестре Ольге картофелю для завтрака.

Джунковский в оправдание свое ссылался на полнейшую испорченность своих детей, в подтверждение чего привел следующий случай: когда умерла его старшая дочь Екатерина, мальчики Николай и Александр в то время, когда сестра их лежала на столе, — нарезав в саду прутьев, били мертвую по лицу, приговаривая: теперь-то натешимся над тобою за то, что ты на нас жаловалась.

На суде обвиняемые не признали себя виновными.

Подсудимый уверял, что тратит на воспитание своих детей более, чем позволяют его средства, но что он так несчастлив, что не достиг своей цели, и что дети делаются все хуже и хуже.

Старший сын (Николай) до отдачи в гимназию был хорошим мальчиком, но, побыв в гимназии, выучился там воровать; до поступления в гимназию он знал молитвы, но потом забыл их по той причине, что объявил себя католиком и вследствие этого не учился совсем Закону Божию, между тем было представлено метрическое

свидетельство, в котором сказано, что Николай — православного вероисповедания.

В последнем своем слове Джунковская высказала, что она нанимала к детям несколько гувернанток, но, к несчастью, все ошибалась в них, так же как и в учителе, но что в настоящее время отец сам занимается с детьми, и она надеется, что дети совершенно поправятся.

Вот этот процесс. Подсудимые, как сказано выше, были оправданы. Еще бы нет? И замечательно не то, что их оправдали, а то, что их предали под суд и судили. Кто и какой суд может обвинить их и за что? О, конечно, есть такой суд, который может их обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же суд с присяжными заседателями, судящий по написанному закону. А в написанных законах нигде нет статьи, ставящей преступлением ленивое, неумелое и бессердечное отношение отцов к детям. Иначе пришлось бы осудить пол-России, — куды, гораздо больше. Да и что такое бессердечное отношение? Вот если бы жестокие истязания, какие-нибудь ужасные, бесчеловечные. Но мне помнится, как адвокат, в процессе Кронеберга, обвинявшегося в бесчеловечном обращении с своим младенцем, раскрыл свод законов и прочел статью о жестоком обращении, жестоких истязаниях и проч., имея в виду доказать, что клиент его не подходит ни под одну из этих статей, в которых ясно и точно определено, что надо считать жестокими и бесчеловечными истязаниями. И, помню, эти определения жестоких истязаний были до того жестоки, что решительно похожи были на истязания болгар башибузуками, и если не сажание на кол и ремни из спины, то разломанные ребра, руки, ноги и не знаю еще что, так что какая-нибудь ременная плетка да еще маленькая, по показанию девицы Шишовой, —

решительно не может подойти к статье свода законов и составить пункт обвинения. «Секли, дескать, розгой». Да кто ж не сечет детей розгой? Девять десятых России сечет. Под уголовный-то закон уже никак нельзя подвести. «Секли, дескать, ни за что ни про что, за картофель». «Нет-с, не за картофель, — ответил бы г-н Джунковский, — а тут уж все вместе сошлось, за разврат, за то, что они, изверги, секли умершую дочь Екатерину по лицу». — «В сортир, дескать, запирали». — «Да ведь сортир топлёный, так чего ж вам больше, карцер всегда карцер». — «За то, дескать, что людской пищей кормили и посылали спать чуть не в свиной хлев, на какой-то подстилке, с одним рваным одеялом?» — «А это тоже за наказание-с, и притом рваное — не рваное, а я и без того трачу на обучение детей свыше моих средств и надеюсь, что закону нечего считать в моем кармане средства мои». — «За то, дескать, что вы не ласкали детей?» — «Но позвольте, покажите мне такую статью свода законов, которая повелевала бы мне, под страхом уголовного наказания, ласкать детей, да еще шалунов, бессердечных, дрянных воришек и извергов...» — «За то, наконец, что вы избрали не ту систему воспитания ваших детей?» — «А какую систему воспитания предписывает уголовный закон, под страхом уголовного наказания? Да и вообще это не дело закона...»

Одним словом, я хочу сказать, что тащить это дело Джунковских в уголовный суд было невозможно. Да так и случилось: они были оправданы, из обвинения их ничего не вышло. А между тем читатель чувствует, что из этого дела может выйти, а может быть, уже и вышла целая трагедия. О, тут дело другого суда, но какого же?

Какого? Да вот хоть бы, например, девица Шишова, педагогичка, — она дает свое показание и уже

произносит в нем приговор. Заметим, что эта г-жа Шишова хоть и секла сама детей ременной плеткой («только она была маленькая»), но, кажется, весьма умная женщина. Невозможно определить точнее и умнее характер Джунковских, как она его определяет. Г-жа Джунковская — *женщина эгоистичная*, говорит она. Дом Джунковских *в беспорядке... по небрежности обвиняемых ко всему и даже в отношении себя*. Дела их постоянно запутаны, живут они постоянно в хлопотах; не умеют хозяйничать, мучаются, а между тем всего более ищут покоя: Джунковская, *беспрерывно старавшаяся, чтобы ее ничто не беспокоило*, даже детей поручала наказывать мужу... Одним словом, г-жа Шишова унесла с собой из дома Джунковских то мнение, что эти люди — бессердечные эгоисты, а главное — ленивые эгоисты. Все от лени, и сердца у них ленивые. От лени, конечно, и вечный беспорядок в доме, беспорядок и в делах, а между тем ничего они так не ищут, как покоя: «Э, чтоб вас, только бы прожить!» Отчего же их леность, отчего их апатия — бог знает! Тяжело ли им среди современного хаоса жизни, в котором так трудно что-нибудь понять? Или так мало ответила современная жизнь на их духовные стремления, на их желания, вопросы? Или, наконец, от непонимания кругом происходящего разложились и их понятия и уже больше не собрались и наступило разочарование? Не знаю, не знаю; но, по-видимому, это люди, имеющие образование, может быть, некогда, да и теперь, пожалуй, любившие прекрасное и высокое. Чесание пяток тут ничему не могло бы противуречить. Чесание пяток — это именно что-то вроде как бы ленивого, апатичного

разочарования, ленивое дорлотерство,^[268] жажда уединения, покоя, теплоты. Тут нервы, — и именно не столько лень, сколько эта жажда покоя и уединения, то есть скорее отъединения от всех долгов и обязанностей. Да, тут, конечно, эгоизм, а эгоисты капризны и трусливы перед долгом: в них вечное трусливое отвращение связать себя каким-нибудь долгом. Заметьте, что вечное и страстное желание этого освобождения себя от всякого долга почти всегда рождает и развивает в эгоисте, наоборот, убеждение, что все, кто бы ни сталкивался с ним, ему должны что-то, как бы обложены относительно его каким-то долгом, данью, податью. Как ни бессмысленно это мечтание, но оно наконец укореняется и переходит в раздражительное недовольство всем миром и в горькое, нередко озлобленное чувство ко всему и всем. Неисполнение этих фантастических долгов принимается наконец сердцем как обида — так что вы иногда во всю жизнь не вообразите, за что иной такой эгоист постоянно на вас сердится и злобится. Это озлобленное чувство рождается даже и к собственным детям — о, к детям даже по преимуществу. Дети — это именно предназначенные жертвы этого капризного эгоизма, к тому же они всех ближе под рукою, а всего пуще то, что никакого контроля: «Мои, дескать, дети, собственные!» Не удивляйтесь же, что это ненавистное чувство, вечно раздражаемое напоминанием неисполненного относительно детей долга, раздражаемое вечным торчанием перед вами этих маленьких, новых личностей, требующих от вас всего и дерзко (увы, не дерзко, а по-детски!) не понимающих, что вам так нужен ваш покой, и считающих этот покой ни

²⁶⁸ *Дорлотерство* (от франц. *dorloter* — нежить, холить, лелеять) — нежничанье.

во что, — не удивляйтесь, говорю я, что это ненавистное чувство даже к собственным детям может переродиться наконец в настоящую месть, а под поощрением и подстреканием безнаказанности — даже в зверство. Да лень и всегда порождает зверство, заканчивается зверством. И зверство это не от жестокости, а именно от лени. Сердца эти не жестокие, а именно ленивые сердца. И вот эта, столь любящая покой дама, даже до чесания пяток возлюбившая его, озлобившаяся, наконец, на то, что лишь у ней, у *ней лишь одной* нет никогда покоя, потому что всё кругом нее в беспорядке и требует ее непрерывного присутствия и внимания, — эта дама вскакивает наконец с постели, хватая хворостину и сечет, сечет собственного ребенка, неуголимо, ненасытно, злорадно, так что «страшно было глядеть», как показывает прислуга, и за что, из-за чего: за то, что мальчик принес голодной маленькой сестре (страдающей падучей болезнью) из кухни немного картофеля, то есть сечет его за хорошее чувство, за то, что не развратилось и не очерствело еще сердце ребенка. «Все равно, дескать, я запретила, а ты принес, так вот же, не делай свое хорошее, а делай мое дурное». Нет-с, ведь это истерика. Дети спят в грязи, «в свином логовище чище», с одним прорванным одеялом на троих. «Пусть, так им и надо, — думает родная мать, — не дают они мне покоя!» И не потому думает она так, что сердце у ней жестокое, нет, сердце у ней, может быть, весьма доброе и хорошее от природы, да вот покоя-то ей никак не дают, достигнуть-то его она всю жизнь не может, и чем дальше, тем хуже, а тут эти дети («зачем они! зачем они появились!») растут, шалют и требуют каждодневно все больше и больше труда и внимания! Нет, если уже тут и истерика, то целыми годами накопленная. Рядом с этою

болезненной (доведенной до болезненности) матерью семейства стоит пред судом отец, г-н Джунковский. Что ж, может быть, он и очень хороший человек, кажется, человек образованный, вовсе не циник, напротив, сознающий отцовский долг свой, до огорчения сердца его сознающий. Вот он чуть не со слезами жалуется в суде на малолетних детей, он простирает руки: «Я сделал для них все, все, я нанимал учителей, гувернанток, я тратил на них более, чем позволяли мне средства, но они изверги, они стали воровать, они секли мертвую сестру по лицу!» Одним словом, он считает себя вполне правым. Дети стоят тут же, подле; замечательно, что они дали «показания сдержанные, осторожные», то есть мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтоб это от одного лишь страха родителей, к которым все-таки придется воротиться. Напротив, казалось бы, тот факт, что их отца уже судят за жестокое обращение с ними, должен бы их был ободрить. Просто им неловко было судиться с отцом, стоять подле него и свидетельствовать против него, тогда как он, не думая о будущем и о том, какие чувства останутся в сердце этих детей от этого дня, не подозревая даже о том, что они унесут в свое будущее из этого дня, — он обвиняет их и разоблачает все их дурное, все постыдные поступки их, жалуется суду, публике, обществу. Но он верит, что он прав, а г-жа Джунковская верит даже и в будущность, и вполне, вполне! Она объявляет суду, что *всё* от дурных учителей и гувернанток, что она разочаровалась в них, а что теперь, когда вот муж ее сам примется за обучение и воспитание детей, то дети «совершенно исправятся» (так! так!). Дай им бог, однако.

Кстати, заметим кое-что об этих шалостях маленьких Джунковских.

То, что они секли розгами по лицу мертвую сестру за то, что она когда-то на них жаловалась, конечно, возмутительно и омерзительно. Но постараемся быть беспристрастнее и, клянусь вам, увидим, что даже и это лишь детская шалость, именно — это детская «фантастичность». Тут что-нибудь от воображения детей, а не от развращенного сердца. Детское воображение даже по природе своей, и особенно в известном возрасте, чрезвычайно восприимчиво и склонно к фантастическому. И особенно в тех семействах, в которых хоть и тесно живут люди, так что каждый торчит у другого на виду, но дети все-таки отъединены в особую кучку — заботами, вечным недосугом отцов. «Учиться, за книгу, не шалить!» — только и слышат они и сидят за своими книжонками, по определенным углам, не смея даже болтнуть ногой. В свином своем хлеве, по ночам, засыпая, или сидя за скучными уроками, или запертые в сортир, маленькие Джунковские могли приучить себя к странным мечтаниям — и к добрым и сердечным, и к озлобленным, или просто по-детски, к сказочным, фантастическим: «Вот, дескать, был бы я побольше, пошел бы на войну, а там бы приехал сюда; учительшка спросил бы: где вы были? как смели уехать из класса? А я бы вынул из кармана Георгий и повесил в петлицу, тут бы он испугался и бросился на колени!» Когда умерла сестра, кто-нибудь из них троих, греясь под уголком своего рваного одеяла, мог, засыпая, придумать: «А знаешь, Николая, ведь Бог-то ее нарочно наказал за то, что она злая была, жаловалась. Она теперь видит сверху, хотела бы пожаловаться, да нельзя уже. Давайте ее завтра розгами сечь, пусть она смотрит сверху, видит и злится, что нельзя пожаловаться!» Клянусь вам, что ребяташки, может быть, через

несколько дней раскаялись в сердцах своих в том, что они сделали такую гнусную глупость. Детские сердца мягки. На этот счет я знаю вот какой маленький случай. Умерла одна мать у семерых детей. Один ребенок, девочка лет семи или восьми, увидя мертвую маму, стала ужасно рыдать. Она так плакала, что ее унесли в детскую почти в истерике и не знали, чем утешить. Дура приживалка, случившаяся тут, вдруг сказала ей, утешая: «Не плачь, что ты уж так плачешь-то, ведь она тебя не любила, она тебя, помнишь, наказала, в углу-то ты стояла, помнишь!» Дуре думалось сделать лучше: вот, дескать, перестанет и успокоится ребенок — и достигла ведь цели: девочка вдруг перестала плакать. Мало того, и на другой день, и на похоронах имела какой-то холодный, подобранный обиженный вид: «Она, дескать, меня не любила». Ей понравилась мысль, что она была обиженная, загнанная, нелюбимая. Ей-богу, это случилось с ребенком по восьмому году. Но детская «фантастичность» не продержалась долго: через несколько дней ребенок так опять затосковал о матери, что сделался болен, и никогда потом, во всю жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери без благоговейного чувства. За проступок маленьких Джунковских с мертвою сестрою их, без сомнения, следовало наказать, и строго, но поступок этот — детский, глупый, фантастический, именно детский и вовсе не означает развращения сердец. Шалость же мальчика Николая в гимназии, объявившего себя католиком, чтобы не учиться Закону Божию, есть в высшей степени лишь детская шалость: это классный выверт перед товарищами: «Вот, дескать, вы учитесь закону, а я избавился, надул их всех, благо фамилья моя похожа на польскую». Тут решительно одно только

ШКОЛЬНИЧЕСТВО — глупое, скверное, за которое следует строжайше наказать, но не следует отчаиваться за мальчика, не следует верить, что он уже до того развращен, что стал мошенником. Но Джунковский-отец, кажется, верит тому: не жаловался бы он так плачевно на суде, если бы не верил.

У нас в судах случается, что когда подсудимые бывают оправданы (и особенно когда они очевидно виновны, но отпущены лишь милосердием суда), то председатель суда, объявляя подсудимому свободу, говорит ему иногда при этом назидание на тему: как именно ему следует принять это оправдание, что вынести из всего этого в жизнь, как избежать в дальнейшем повторения беды. Председатель суда говорит в таком случае от лица как бы всего общества, государства; слова эти важные, назидание верховное. Может быть, подсудимым Джунковским объявлено было их оправдание без всякого особого, в таком роде, внушения, — этого я не знаю, но я просто сам воображаю себе: что мог бы им сказать председатель суда, отпуская их. И вот что, мне кажется, он бы мог им сказать.

Фантастическая речь председателя суда

«Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кроме этого суда есть другой суд — суд собственной вашей совести. Сделайте же так, чтоб и этот суд оправдал вас, хотя бы впоследствии. Вы объявили, что намерены теперь сами заняться воспитанием и обучением детей ваших: если б вы раньше взялись за это, то не было бы, вероятно, и сегодняшнего суда

вашего здесь с детьми вашими. Но боюсь: имеете ли вы достаточно сил в себе для исполнения доброго намерения вашего? Не достаточно лишь решиться на такое дело, надо спросить себя: достанет ли ревности и терпения на исполнение его? Не хочу и не смею сказать про вас, что вы родители бессердечные, ненавистники детей ваших. Да и ненавидеть детей своих — вещь, в сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидеть же столь малых еще детей — вещь безрассудная и даже смешная. Но леность, но равнодушие, но ленивая отвычка от исполнения такой первой естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание собственных детей, действительно могут породить даже нелюбовь к ним, почти ненависть, почти чувство личной какой-то мести к ним, особенно по мере их возрастания, по мере все возрастающих природных требований их, по мере вашего сознания о том, что для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из собственного вседозволенного отъединения и покоя. К тому же всё возрастающие шалости оставленных в пренебрежении детей и ускорение в них дурных привычек, видимое извращение умов и сердец их могут вселить наконец прямое отвращение к ним даже и в родительских сердцах. В горячих, слезных жалобах ваших на пороки ваших детей мы все слышали здесь и увидели глубокую, неподдельную горечь вашу, горечь несчастного и оскорбленного своими детьми отца. Но подумайте, однако, немного и рассудите: из чего им было и сделаться лучше? Выяснилось, например, на суде, что за леность их и за шалости вы их запирали на несколько иногда часов в сортир. Конечно: карцер есть карцер, да и сортир ваш *отапливался*, стало быть, не было тут

жестокого истязания, но ведь так ли, однако? Сидя там, чувствуя унижительное и срамное положение свое, ребенок мог ожесточаться, в голове его могли проходить самые фантастические извращенные и цинические мечты; он мог окончательно потерять любовь, любовь к родному гнезду и к вам даже, родителям его, ибо ему могло казаться, что вы уже совершенно не дорожите ни чувствами его к вам, ни человеческим его достоинством, а у ребенка, даже у самого малого, есть тоже и уже сформировавшееся человеческое достоинство, заметьте это себе. О том, что эти мысли, а главное — сильные, хотя и детские впечатления эти он унесет потом в жизнь и проносит их в сердце своем, может быть, до самой могилы, вы, кажется, совсем не подумали. Да и сделали ли вы сами-то хоть что-нибудь предварительно, чтоб избежать этой обижающей ребенка необходимости сажать его в такое место и тем позорить его и издеваться над ним? Ведь впоследствии, в жизни, он этот вопрос непременно подымет и поставит перед собой. Вы утверждаете, что вы сделали для детей своих *все*, и как будто сами убеждены в этом, но я не верю тому, что вы сделали все; и когда вы с таким огорченным чувством произносили это, я убежден был, что в вас самих было уже большое сомнение насчет этого самого пункта. Вы уверяете, что нанимали учителей и тратили свыше средств ваших. Без сомнения, учитель необходим для детей, и, пригласив учителя, вы поступили, конечно, как ревностный отец; но нанять учителя для преподавания детям наук не значит, конечно, сдать ему детей, так сказать, с плеч долой, чтоб отвязаться от них и чтоб они больше уж вас не беспокоили. А вы, кажется, именно это-то и сделали и думали, что, заплатив деньги, уже совершенно все сделали, и даже более чем всё —

«свыше средств». Между тем, уверяю вас, что вы сделали лишь наименьшее из того, что могли бы сделать для них; вы лишь откупились от долга и от обязанности родительской деньгами, а думали, что уже все совершили. Вы забыли, что их маленькие, детские души требуют непрерывного и неустанного соприкосновения с вашими родительскими душами, требуют, чтоб вы были для них, так сказать, всегда духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного подражания. Наука наукой, а отец перед детьми всегда должен быть как бы добрым, наглядным примером всего того нравственного вывода, который умы и сердца их могут почерпнуть из науки. Сердечная, всегда наглядная для них забота ваша о них, любовь ваша к ним согрели бы как теплым лучом все посеянное в их душах, и плод вышел бы, конечно, обильный и добрый. Но, кажется, ничего не посеяв сами и сдав их чуждому семье вашей сеятелю, — вы потребовали уже жатвы, и, непривычные к этому делу, потребовали этой жатвы слишком рано; не получив же ее, озлобились и ожесточились... на малюток, на собственных детей ваших, и тоже рано, слишком рано!

Все оттого, что воспитание детей есть труд и долг, для иных родителей сладкий, несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень многих достаточных родителей, — это самый гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот почему и стремятся они откупиться от него деньгами, если есть деньги. Если же и деньги не помогают, или, как у многих, их и вовсе нет, то прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости, к истязанию, к розге. Я вам скажу, что такое розга. Розга в семействе есть продукт лени родительской, неизбежный результат этой лени. Все, что можно бы сделать трудом и

любовью, неустанной работой над детьми и с детьми, все, чего можно было бы достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, воспитанием и примером, — всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: «Не разьясню, а прикажу, не внушу, а заставляю». Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный непременно покорится и обманет вас, и розга ваша не исправит, а только развратит его. Ребенка слабого, трусливого и сердцем нежного — вы забудете. Наконец, ребенка доброго, простодушного, с сердцем прямым и открытым — вы сначала измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно детскому сердцу отрываться от тех, кого оно любит; но если оно уже оторвется, то в нем зарождается страшный, неестественно ранний цинизм, ожесточение, и извращается чувство справедливости. Все это, конечно, в том только случае, если жестокость происходит от эгоизма родителей и если хозяин нивы, не посеяв сам, потребует с нее доброй жатвы. В таких случаях жестокость и несправедливость идут со стороны отцов усиливаясь, без удержу, и это всего чаще. «Не делай свое хорошее, а делай мое дурное!» — вот, наконец, что становится девизом, и ребенка наказывают даже за доброе дело, за картофель, который он принес сестре из кухни: как же не ожесточиться сердцу и как не извратиться понятиям? Не будучи жестокими и даже любя их, вы наказывали их вашим пренебрежением к ним, унижением их: они спали в нечистой комнате, на какой-то подстилке, ели пищу не с вашего стола, а со слугами. И, конечно, вы думали, что они наконец почувствуют вину свою и исправятся. В противном случае надо бы было предположить, что вы делали так

от ненависти к ним, от мести к ним, чтобы им сделать зло? Но суд не захотел так заключить и приписал поступки ваши ошибочному расчету воспитателя. Но вот теперь вы сами собираетесь воспитывать и учить их: трудное это дело, несмотря на то, что супруге вашей кажется оно легким.

Детей ваших нет в зале, я приказал их вывести, а потому я могу коснуться до самого главного в этом предстоящем вам трудном деле. Самое главное в нем то, что предстоит многое простить с обеих сторон. Они должны простить вам горькие, тяжелые впечатления их детских сердец, ожесточение свое, пороки свои. Вы же должны простить им ваш эгоизм, ваше пренебрежение к ним, извращение чувств ваших к ним, жестокость вашу и то, наконец, что вы сидели здесь и судились за них. Говорю так потому, что не себя обвините вы во всем этом, выйдя из залы суда, а непременно их, я уверен в этом! Итак, начиная ваше трудное дело воспитания детей ваших, спросите сами себя: можете ли вы обвинить за все эти проступки и преступления ваши не их, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успеете в труде вашем! Значит, Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу совесть. Если же не можете, то лучше и не принимайтесь за ваше намерение.

Второе, что предстоит вам тяжелого в вашем труде, это побороть, истребить в их сердцах и изменить в них слишком многие прежние впечатления и воспоминания. Но тут надо столь многое заставить забыть и столь многое вновь создать, что недоумеваю: каким путем этого достигнете? О, если научитесь любить их, то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и любви надобно учиться, верите ли вы тому? Верите ли вы, наконец, убеждены ли вы, что вас не

остановят и не победят, в прекрасном предприятии вашем, иные самые мелкие, самые первоначальные, самые пошлые обыденные заботы, о которых вы, может быть, теперь и не думаете, но которые, однако, могут составить наиважнейшее препятствие добрым начинаниям вашим. Всякий ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед детьми своими в обыденной семейной жизни от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности их и разнузданности, воздерживать себя от дурных и безобразных привычек, а главное — от невнимания и пренебрежения к детскому их мнению о вас самих, к неприятному, безобразному и комическому впечатлению, которое может зародиться в них столь часто при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих. О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то дети многое простят им и многое забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за иные совсем уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. Но совсем другое может случиться в семействах несогласных и ожесточенных. Ваша супруга, как оказалось на суде, имеет болезненную привычку заставлять чесать себе перед сном ноги. Служанка засвидетельствовала, что эта обязанность была для нее даже мучительна, что «затекали руки». Представьте же себе этого мальчика, вашего сына, которого вместо служанки заставляют чесать? О, если б мать любила его искренно и сердечно и он бы уверен был в том, то он бы и теперь, да и всегда потом, вспоминал об этой немощи дорогого ему человека

с добродушной улыбкою, хотя, может быть, злился бы и досадовал в те минуты, когда его заставляли чесать. Но воображаю, как он смотрел и что он чувствовал, что заходило ему в голову, когда он сидел, по часу и более, над смешным занятием перед существом, не любившим его, которое вот-вот вскочит и начнет сечь его ни за что ни про что. Тогда требование от него этой услуги несомненно должно было казаться ему унижающим его, пренебрежительным к нему и презрительным. Не мог не сознавать он или, лучше сказать, не почувствовать, что матери своей он не нужен как сын, что как сына она его презирает, забывает, посылает спать на какую-то подстилку, а если вспоминает о нем, то для того лишь, чтоб бить его, но что он нужен, стало быть, ей не как сын, а всего только как какая-то чесалка! И вы же жалуетесь после того, что они развратились, что они бессердечные изверги, что «научились воровать»! Напрягите немного ваше воображение, вообразите сына вашего в будущем, уже тридцати, положим, лет и подумайте, с каким отвращением, с каким озлобленным чувством и презрением припомнит он этот эпизод своего детства... Что он будет помнить о нем до могилы, в том нет сомнения. Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, свое детство, проклянет свое бывшее родное гнездо и тех, кто был с ним в этом гнезде! Эти воспоминания предстоит вам теперь непременно искоренить, непременно пересоздать, надо заглушить их иными, новыми, сильными и святыми впечатлениями, — какой огромный труд! Страшно подумать! Нет: дело, предпринимаемое вами, гораздо труднее, чем кажется вашей супруге!

Не сердитесь, не обижайтесь словами моими. Говоря вам, я исполняю неременную обязанность. Я говорю от

лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения или, лучше сказать, отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей. Всего ужаснее то, что это так распространено: вы не одни такие, хотя другие впадают в те же ошибки, как вы, может быть, и под другими формулами. Но внушительнее всего то, что вы не только еще не худшие, но даже многим лучшие из современных отцов, ибо все же в сердцах ваших не умерло сознание вашего долга, хотя вы и не исполняли его. Абсолютного отрицания долга в вас нет. Вы не холодные эгоисты, а, напротив, раздраженные — на себя ли, на детей ли ваших, не стану определять того, но вы оказались способными принять к сердцу ваш неуспех и глубоко огорчиться им! Итак, да поможет вам Бог в решении вашем исправить ваш неуспех. Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всеильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? Вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить времена и сроки».^[269] Ради них сократится мучение перерождения

²⁶⁹ ...сократить времена и сроки. — Цитата из «Деяний святых апостолов».

человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей!

А теперь ступайте, вы оправданы...

ОПЯТЬ ОБОСОБЛЕНИЕ.

Восьмая часть «Анны Карениной»

У нас очень многие теперь из интеллигентных русских повадились говорить: «Какой народ? я сам народ». В восьмой части «Анны Карениной» Левин, излюбленный герой автора романа, говорит про себя, что он *сам народ*. Этого Левина я как-то прежде, говоря об «Анне Карениной», назвал «чистый сердцем Левин». Продолжая верить в чистоту его сердца по-прежнему, я не верю, что он народ; напротив, вижу теперь, что и он с любовью норовит в обособление. Убедился я в этом, прочитав вот ту самую восьмую часть «Анны Карениной», о которой я заговорил в начале этого июль-августовского дневника моего. Левин, как факт, есть, конечно, не действительно существующее лицо, а лишь вымысел романиста. Тем не менее этот романист — огромный талант, значительный ум и весьма уважаемый интеллигентною Россиею человек, — этот романист изображает в этом идеальном, то есть придуманном, лице частью и собственный взгляд свой на современную нашу русскую действительность, что ясно каждому, прочитавшему его замечательное произведение. Таким образом, судя об несуществующем Левине, мы будем судить и о действительном уже взгляде одного из самых значительных современных русских людей на текущую русскую действительность. А это уже предмет для

суждения серьезный даже и в наше столь гремучее время, столь полное огромных потрясающих и быстро сменяющихся действительных фактов. Взгляд этот столь значительного русского писателя, и именно на столь интересное для всех русских дело, как всеобщее национальное движение всех русских людей за последние два года по Восточному вопросу, выразился точно и окончательно именно в этой восьмой и последней части его произведения, отвергнутой редакцией «Русского вестника» по несходству убеждений автора с ее собственными и появившейся весьма недавно отдельной книжкой. Сущность этого взгляда, насколько я его понял, заключается, главное, в том, что, во-1-х, все это так называемое национальное движение нашим народом отнюдь не разделяется, и народ вовсе даже не понимает его, во-2-х, что все это нарочно подделано, сперва известными лицами, а потом поддержано журналистами из выгод, чтоб заставить более читать их издания, в-3-х, что все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы, в-4-х, что весь этот так называемый подъем русского национального духа за славян был не только подделан известными лицами и поддержан продажными журналистами, но и подделан вопреки, так сказать, самых основ... И наконец, в-5-х, что все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать в нас, русских, непосредственного чувства жалости и что «такого непосредственного чувства к угнетению славян *нет и не может быть*». Последнее выражено окончательно и категорически.

Таким образом, «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся с огромным большинством русских людей. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не

оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлой зимой у нас в Петербурге и людям далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала. Отчего произошло столь мрачное обособление Левина и столь угрюмое отъединение в сторону — не могу определить. Правда, это человек горячий, «беспокойный», всеанализирующий и, если строго судить, ни в чем себе не верующий. Но все-таки человек этот «сердцем чистый», и я стою на том, хотя трудно и представить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может проникнуть иной раз самое неестественное, самое выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей степени искреннее и чистое сердце. Впрочем, замечу еще, что хотя и утверждают многие, и даже я сам ясно вижу (как и сообщил выше), что в лице Левина автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью, но лицо самого Левина, так, как изобразил его автор, я все же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю. Говорю это, находясь в некотором горьком недоумении, потому что хотя очень многое из выраженного автором, в лице Левина, очевидно, касается собственно одного Левина, как художественно изображенного типа, но все же не того ожидал я от такого автора!

Признания славянофила

Да, не того. Здесь я принужден выразить некоторые чувства мои, хотя и положил было, начиная с прошлого года издавать мой «Дневник», что литературной критики у меня не будет. Но чувства не критика, хотя бы и

высказал я их по поводу литературного произведения. В самом деле, я пишу мой «дневник», то есть записываю мои впечатления по поводу всего, что наиболее поражает меня в текущих событиях, — и вот я почему-то намеренно предписываю сам себе придуманную обязанность непременно скрывать и, может быть, самые сильнейшие из переживаемых мною впечатлений лишь потому только, что они касаются русской литературы. Конечно, в основе этого решения была и верная мысль, но буквенное исполнение этого решения неверно, я вижу это, уже потому только, что тут буква. Да и литературное-то произведение, о котором я умолчал до сих пор, для меня уже не просто литературное произведение, а целый *факт* уже иного значения. Я, может быть, выражусь слишком наивно, но, однако же, решаюсь сказать вот что: этот *факт* впечатления от романа, от выдумки, от поэмы совпал в душе моей, нынешней весной, с огромным фактом объявления теперь идущей войны, и оба факта, оба впечатления нашли в уме моем действительную связь между собою и поразительную для меня точку обоюдного соприкосновения. Вместо того чтоб смеяться надо мною, выслушайте меня лучше.

Я во многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже и теперь, славянофильство, как в старину, например, для Белинского, означает лишь квас и редьку. Белинский *действительно* дальше не заходил в понимании славянофильства. Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает стремление к освобождению и объединению всех славян под

верховным началом России — началом, которое может быть даже и не строго политическим. И наконец, для третьих славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединении всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я.

Тут трунить и смеяться опять-таки нечего: слова эти старые, вера эта давнишняя, и уже одно то, что не умирает эта вера и не умолкают эти слова, а, напротив, все больше и больше крепнут, расширяют круг свой и приобретают себе новых адептов, новых убежденных деятелей, — уж одно это могло бы заставить наконец противников и пересмешников этого *учения* взглянуть на него хоть немного серьезнее и выйти из пустой, закаменевшей в себе враждебности к нему. Но об этом пока довольно. Дело в том, что весной поднялась наша великая война для великого подвига, который, рано ли, поздно ли, несмотря на все временные неудачи, отдаляющие разрешение дела, а будет-таки доведен до конца, хотя бы даже и не удалось его довести до полного

и вожделенного конца именно в теперешнюю войну. Подвиг этот столь велик, цель войны столь невероятна для Европы, что Европа, конечно, должна быть возмущена против нашего *коварства*, должна не верить тому, о чем объявили мы ей, начиная войну, и всячески, всеми силами должна вредить нам и, соединившись с врагом нашим хотя и не явным, не формальным политическим союзом, — враждовать с нами и воевать с нами, хотя бы тайно, в ожидании явной войны. И всё, конечно, от объявленных намерений и целей наших! «Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства»;^[270] не покорять, не приобретать, не расширять границы он хочет, а освободить, восстановить угнетенных и забытых, дать им новую жизнь для блага их и человечества. Ведь как ни считай, каким скептическим взглядом ни смотри на это дело, а в сущности цель ведь эта, эта самая, и вот этому-то и не хочет поверить Европа! И поверьте, что не столько пугает ее предполагаемое усиление России, как именно то, что Россия способна предпринимать такие задачи и цели. Заметьте это особенно. Предпринимать что-нибудь не для прямой своей выгоды кажется Европе столь непривычным, столь вышедшим из международных обычаев, что поступок России естественно принимается Европой не только как за варварство «отставшей, зверской и непросвещенной» нации, способной *на низость и глупость* затеять в наш век что-то вроде прежде бывших в темные века крестовых походов, но

²⁷⁰ *Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства...* — Неточная цитата из «Предсказания» Иоанна Лихтенбергера, содержащего астрологический прогноз на будущее и впервые напечатанного в 1488 году в Страсбурге, а затем многократно переиздававшегося на разных языках Европы.

даже и за безнравственный факт, опасный Европе и угрожающий будто бы ее великой цивилизации. Взгляните, кто нас любит в Европе теперь особенно? Даже *друзья* наши, отъявленные, форменные, так сказать, друзья, и те откровенно объявляют, что *рады нашим неудачам*. Поражение русских милее им собственных ихних побед, веселит их, льстит им. В случае же удач наших эти друзья давно уже согласились между собой употребить все силы, чтоб из удач России извлечь себе выгод еще больше, чем извлечет их для себя сама Россия...

Но и об этом после. Заговорил я, главное, о впечатлении, которое должны были ощутить в себе все верующие в будущее великое, общечеловеческое значение России нынешнею весною, после объявления этой войны. Эта неслыханная война, за слабых и угнетенных, для того чтоб дать жизнь и свободу, а не отнять их, — эта давно уже теперь неслыханная в мире цель войны для всех наших верующих явилась вдруг, как факт, торжественно и знаменательно подтверждавший веру их. Это была уже не мечта, не гадание, а действительность, *начавшая совершаться*. «Если уже начало совершаться, то дойдет и до конца, до того великого нового слова, которое Россия, во главе союза славян, скажет Европе. И даже самое слово это уже начало сказываться, хотя Европа еще далеко не понимает его и долго будет не верить ему». Вот как думали «верующие». Да, впечатление было торжественное и знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и окрепнуть. Но, однако же, начиналось дело столь важное, что и для них настали тревожные вопросы: «Россия и Европа! Россия обнажает меч против турок, но

кто знает, может быть, столкнется и с Европой — не рано ли это? Столкновение с Европой — не то что с турками, и должно совершиться не одним мечом» — так всегда понимали верующие. Но готовы ли мы к другому-то столкновению? Правда, слово уже начало сказываться, но не то что Европа, а и у нас-то понимают ли все его? Вот мы, верующие, пророчествуем, например, что лишь Россия заключает в себе начала разрешить всеевропейский роковой вопрос низшей братии, без боя и без крови, без ненависти и зла, но что скажет она это слово, когда уже Европа будет залита своею кровью, так как раньше никто не услышал бы в Европе наше слово, а и услышал бы, то не понял бы его вовсе. Да, мы, верующие, в это верим, но, однако, что пока отвечают нам у нас же, наши же русские? Нам отвечают они, что все это лишь исступленные гадания, конвульсионерство,^[271] бешеные мечты, припадки, и спрашивают от нас доказательств, твердых указаний и совершившихся уже фактов. Что же укажем мы им, пока, для подтверждения наших *пророчеств*? Освобождение ли крестьян — факт, который еще столь мало понят у нас в смысле степени проявления русской духовной силы? Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, все яснее и яснее выходящего в наше время наружу из-под всего, что давило его веками, и несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят, что все эти факты опять-таки наше конвульсионерство, бешеная мечта, а не факты, и что толкуются они многообразно и сбивчиво и

²⁷¹ ...конвульсионерство... — Здесь имеется в виду экстатическое, испуганное состояние.

доказательством ничему, покамест, служить не в силах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы — сталкиваемся с Европой! Европа — но ведь это страшная и святая вещь, Европа! О, знаете ли вы, господа, как дорога нам, мечтателям-славянофилам, по-вашему, ненавистникам Европы — эта самая Европа, эта «страна святых чудес»!^[272] Знаете ли вы, как дороги нам эти «чудеса» и как любим и чтим, более чем братски любим и чтим мы великие племена, населяющие ее, и все великое и прекрасное, совершенное ими. Знаете ли, до каких слез и сжатий сердца мучают и волнуют нас судьбы этой дорогой и *родной* нам страны, как пугают нас эти мрачные тучи, все более и более заволакивающие ее небосклон? Никогда вы, господа, наши европейцы и западники, столь не любили Европу, сколько мы, мечтатели-славянофилы, по-вашему, исконные враги ее! Нет, нам дорога эта страна — будущая мирная победа великого христианского духа, сохранившегося на Востоке... И в опасении столкнуться с нею в текущей войне, мы всего более боимся, что Европа не поймет нас и по-прежнему, по-всегдашнему, встретит нас высокомерием, презрением и мечом своим, все еще как диких варваров, недостойных говорить перед нею. Да, спрашивали мы сами себя, что же мы скажем или покажем ей, чтоб она нас поняла? У нас, по-видимому, еще так мало чего-нибудь, что могло бы быть ей *понятно* и за что бы она нас уважала? Основной, главной идеи нашей, нашего зачинающегося «нового слова» она долго, слишком долго еще не поймет. Ей надо фактов *теперь* понятных, понятных на ее *теперешний* взгляд. Она

²⁷² ...страна святых чудес! — Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта».

спросит нас: «Где ваша цивилизация? Усматривается ли строй экономических сил ваших в том хаосе, который видим мы все у вас. Где *ваша* наука, *ваше* искусство, *ваша* литература?»»

«Анна Каренина» как факт особого значения

И вот тогда же, то есть нынешней же весной, раз вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей.^[273] Встречаемся мы с ним очень редко, в несколько месяцев раз, и всегда случайно, все как-нибудь на улице. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть почему-то «плеядою». По крайней мере, критика, вслед за публикой, отделила их особо, перед всеми остальными беллетристами, и так это пребывает уже довольно давно, — все тот же пяток, «плеяда» не расширяется. Я люблю встречаться с этим милым и любимым моим романистом, и люблю ему доказывать, между прочим, что не верю и не хочу ни за что поверить, что он устарел, как он говорит, и более уже ничего не напишет. Из краткого разговора с ним я всегда уношу какое-нибудь тонкое и дальновидное его слово. В этот раз было об чем говорить, война уже начиналась. Но он тотчас же и прямо заговорил об «Анне Карениной». Я тоже только что успел прочитать седьмую часть, которую закончился роман в «Русском вестнике». Собеседник мой на вид человек не восторженный. На этот раз, однако, он

²⁷³ ...случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. — Речь идет об И. А. Гончарове.

поразил меня твердостью и горячею настойчивостью своего мнения об «Анне Карениной».

— Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас, из писателей, может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них, во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое бы могло стать рядом?

Меня поразило, главное, то в этом приговоре, который я и сам вполне разделял, что это указание на Европу как раз пришлось к тем вопросам и недоумениям, которые столь многим представлялись тогда сами собой. Книга эта прямо приняла в глазах моих размер факта, который бы мог отвечать за нас Европе, того искомого факта, на который мы могли бы указать Европе. Разумеется, возопят смеясь, что это — всего лишь только литература, какой-то роман, что смешно так преувеличивать и с романом являться в Европу. Я знаю, что возопят и засмеются, но не беспокойтесь, я не преувеличиваю и трезво смотрю: я сам знаю, что это пока всего лишь только роман, что это только одна капля того, чего нужно, но главное тут дело для меня в том, что эта капля уже есть, дана, действительно существует, взаправду, а стало быть, если она уже есть, если гений русский мог родить этот *факт*, то, стало быть, он не обречен на бессилие, может творить, может давать *свое*, может начать *свое* собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. Притом это далеко не капля только. О, я и тут не преувеличиваю: я очень знаю, что не только в одном каком-нибудь члене этой плеяды, но и во всей-то плеяде не найдете того, строго говоря, что называется гениальной, творящей силою. Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во

всей литературе нашей было всего только три: Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь. Вся же плеяда эта (и автор «Анны Карениной» в том числе) вышла прямо из Пушкина, одного из величайших русских людей, но далеко еще не понятого и не растолкованного. В Пушкине две главные мысли — и обе заключают в себе прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России, а стало быть, и всей будущей судьбы нашей. Первая мысль — *всемирность* России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. Мысль эта выражена Пушкиным не как одно только указание, учение или теория, не как мечтание или пророчество, но исполнена *им на деле*, заключена вековечно в гениальных созданиях его и доказана ими. Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко сознающий гений свой, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. Всем этим народам он сказал и заявил, что русский гений знает их, понял их, соприкоснулся им как родной, что он может *перевоплощаться* в них во всей полноте, что лишь одному только русскому духу дана всемирность, дано назначение в будущем постигнуть и объединить все многообразие национальностей и снять все противоречия их. Другая мысль Пушкина — это поворот его к народу и упование единственно на силу его, завет того, что лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело весь наш русский гений и сознание назначения его. И это, опять-таки, Пушкин не только указал, но и совершил первый, на деле. С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немислимый еще до него с самой реформы Петра. Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по

его указаниям, *НОВОГО* после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. Да к тому же она разработала лишь самую малую часть им указанного. Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их. «Анна Каренина» — вещь, конечно, не новая по идее своей, не неслыханная у нас доселе. Вместо нее мы, конечно, могли бы указать Европе прямо на источник, то есть на самого Пушкина, как на самое яркое, твердое и неоспоримое доказательство самостоятельности русского гения и права его на величайшее мировое, общечеловеческое и всеединящее значение в будущем. (Увы, сколько бы мы ни указывали, а наших долго еще не будут читать в Европе, а и станут читать, то долго еще не поймут и не оценят. Да и оценить еще они совсем не в силах, не по скудости способностей, а потому, что мы для них совсем другой мир, точно с луны сошли, так что им даже самое существование наше допустить трудно. Все это я знаю, и об «указании Европе» говорю лишь в смысле нашего собственного убеждения в нашем праве перед Европой на самостоятельность нашу.) Тем не менее «Анна Каренина» есть совершенство как художественное произведение, подвернувшееся как раз кстати, и такое, с которым ничто подобное из европейских литератур в настоящую эпоху не может сравниться, а во-вторых, и по идее своей это уже нечто наше, наше *свое* родное, и именно то самое, что составляет нашу особенность перед европейским миром, что составляет уже наше национальное «новое слово» или, по крайней мере, начало его, — такое слово, которого именно не слышать в Европе и которое, однако, столь необходимо ей, несмотря на всю ее гордость. Я не могу пуститься здесь в

литературную критику и скажу лишь небольшое слово. В «Анне Карениной» проведен взгляд на виновность и преступность человеческую. Взятые люди в ненормальных условиях. Зло существует прежде них. Захваченные в круговорот лжи, люди совершают преступление и гибнут неотразимо: как видно, мысль на любимейшую и стариннейшую из европейских тем. Но как, однако же, решается такой вопрос в Европе? Решается он там повсеместно двояким образом. Первое решение: закон дан, написан, формулован, составлялся тысячелетиями. Зло и добро определено, взвешено, размеры и степени определялись исторически мудрецами человечества, неустанной работой над душой человека и высшей научной разработкой над степенью единительной силы человечества в общежитии. Этому выработанному кодексу повелевается следовать слепо. Кто не последует, кто преступит его — тот платит свободой, имуществом, жизнью, платит буквально и бесчеловечно. «Я знаю, — говорит сама их цивилизация, — что это и слепо, и бесчеловечно, и невозможно, так как нельзя выработать окончательную формулу человечества в середине пути его, но так как другого исхода нет, то и следует держаться того, что написано, и держаться буквально и бесчеловечно; не будь этого — будет хуже. С тем вместе, несмотря на всю ненормальность и нелепость устройства того, что называем мы нашей великой европейской цивилизацией, тем не менее пусть силы человеческого духа пребывают здравы и невредимы, пусть общество не колеблется в вере, что оно идет к совершенству, пусть не смеет думать, что затемнился идеал прекрасного и высокого, что извращается и коверкается понятие о добре и зле, что нормальность непрерывно сменяется условностью, что простота и естественность гибнут,

подавляемые непрерывно накапливающейся ложью!» Другое решение обратное: «Так как общество устроено ненормально, то и нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответствен, и преступления пока не существует. Чтобы покончить с преступлениями и людскою виновностью, надо покончить с ненормальностью общества и склада его. Так как лечить существующий порядок вещей долго и безнадежно, да и лекарств не оказалось, то следует разрушить все общество и снести старый порядок как бы метлой. Затем начать все новое, на иных началах, еще неизвестных, но которые все же не могут быть хуже теперешнего порядка, напротив, заключают в себе много шансов успеха. Главная надежда на науку». Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людскою западноевропейский мир не представляет.

Во взгляде же русского автора на виновность и преступность людей ясно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество «четвертого сословия», никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следовательно, и от виновности и преступности. Выражено это в огромной психологической разработке души человеческой, с страшной глубиной и силою, с небывалым доселе у нас реализмом художественного изображения. Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще

неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны и столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей *окончательных*, а есть Тот, который говорит: «Мне отмщение, и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Человек же пока не может браться решать ничего с гордостью своей непогрешности, не пришли еще времена и сроки. Сам судья человеческий должен знать о себе, что он не судья окончательный, что он грешник сам, что весы и мера в руках его будут нелепостью, *если* сам он, держа в руках меру и весы, не преклонится перед законом неразрешимой еще тайны и не прибегнет к единственному выходу — к Милосердию и Любви. А чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. Но потом, в конце романа, в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, прослеженного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, связывает каждое движение его, парализует всякую силу сопротивления, всякую мысль, всякую охоту борьбы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душой вместо света, — в этой

картине столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и вес, что, конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: «Нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», — и не поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно светом исхода и уже *сознательно* отверг его. К букве, по крайней мере, не прибегнет...

Если у нас есть литературные произведения такой силы мысли и исполнения, то почему у нас не может быть *впоследствии* и *своей* науки, и своих решений экономических, социальных, почему нам отказывает Европа в самостоятельности, в нашем *своем собственном* слове, — вот вопрос, который рождается сам собою. Нельзя же предположить смешную мысль, что природа одарила нас лишь одними литературными способностями. Все остальное есть вопрос истории, обстоятельств, условий времени. Так могли бы рассудить наши, по крайней мере, европейцы, в ожидании, пока рассудят европейские европейцы...

Сентябрь — октябрь

Ложь ложью спасается

Однажды Дон-Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый великодушный из всех рыцарей, бывших в мире, самый простой душой и один из самых великих сердцем людей, скитаясь с своим верным оруженосцем Санхой в погоне за приключениями, вдруг был объят некоторым недоумением, которое заставило его долго думать. Дело в том, что часто великие древние рыцари, начиная с Амадиса Галльского, истории которых уцелели в

правдивейших книгах, именуемых рыцарскими романами (для приобретения коих Дон-Кихот не пожалел продать несколько лучших акров своего маленького поместья), — часто эти рыцари, во время полезных всему миру и славных странствований своих, встречали вдруг и неожиданно целые армии, во сто даже тысяч воинов, насылаемых на них злою силою, злыми волшебниками, им завидовавшими и мешавшими им всячески достигнуть великой цели их и соединиться наконец с их прекрасными дамами. Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую чудовищную и злою армию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе имя своей дамы и затем врубался один в самую средину врагов, которых и уничтожал всех, до единого человека. Кажется бы, дело ясное, но Дон-Кихот вдруг задумался, и над чем же: ему показалось вдруг невозможным, чтобы один рыцарь, какой бы он силы ни был и даже если бы махал своим победоносным мечом целые сутки без всякой усталости, мог зараз уложить сто тысяч врагов, и это в одном сражении. Чтобы убить каждого человека, нужно все-таки время, чтобы убить сто тысяч людей, нужно огромное время, и как ни махай мечом, а в несколько каких-нибудь часов, и зараз, одному этого не сделать. Между тем в этих правдивых книгах повествуется, что дело кончалось именно в одно сражение. Как же это могло происходить?

— Я разрешил это недоумение, друг мой Санхо, — сказал наконец Дон-Кихот. — Так как все эти великаны, все эти злые волшебники, были нечистая сила, то и армии их носили такой же волшебный и нечистый характер. Я полагаю, что эти армии состояли не совсем из таких же людей, как мы, например. Люди эти были лишь наваждение, создание волшебства, и, по всей

вероятности, тела их не походили на наши, а были более похожи на тела, как, например, у слизняков, червей, пауков. Таким образом, крепкий и острый меч рыцаря, в могучей его руке, упавая на эти тела, проходил по ним мгновенно, почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то действительно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и даже по десяти, если те стояли в тесной куче. Понятно после того, что дело чрезвычайно ускорялось, и рыцарь действительно мог истреблять, в несколько часов, целые армии этих злых арапов и других чудовищ...

Здесь подмечена великим поэтом и сердцеведом одна из глубочайших и таинственнейших сторон человеческого духа. О, это книга великая, не такая, какие теперь пишут; такие книги посылаются человечеству по одной в несколько сот лет. И таких подмеченных глубочайших сторон человеческой природы найдете в этой книге на каждой странице. Взять уже то, что этот Санхо, олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой середины, попал в друзья и спутники к самому сумасшедшему человеку в мире; именно он, а не кто другой! Все время он обманывает его, надувает как ребенка и в то же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован величиною сердца его, вполне верит во все фантастические сны великого рыцаря и ни разу, во все время, не сомневается, что тот завоюет ему наконец остров! Как бы желалось, чтоб с этими великими произведениями всемирной литературы основательно знакомились наше юношество. Чему учат теперь в классах литературы — не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, несомненно возвысило бы душу юноши

великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствовало бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу середины, вседозвольному самомнению и пошлomu благоразумию. Эту самую *грустную* из книг не забудет взять с собою человек на последний суд Божий. Он укажет на сообщенную в ней глубочайшую и роковую тайну человека и человечества. Укажет на то, что величайшая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум — все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара — именно: *гения*, чтоб управлять всем богатством этих даров и всем могуществом их, — управлять и направить все это могущество на правдивый, а не фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! Но гения, увы, отпускается на племена и народы так мало, так редко, что зрелище той злой иронии судьбы, которая столь часто обрекает деятельность иных благороднейших людей и пламенных друзей человечества — на свист и смех и на побиение камнями, единственно за то, что те, в роковую минуту, не сумели прозреть в истинный смысл вещей и отыскать их *новое слово*, это зрелище напрасной гибели столь великих и благороднейших сил может довести действительно до отчаяния иного друга человечества, возбудить в нем уже не смех, а горькие слезы и навсегда озлобить сомнением дотоле чистое и верующее сердце его...

Впрочем, я хотел только указать на ту любопытнейшую черту, которую, вместе с сотней других таких же глубоких наблюдений, подметил и указал Сервантес в сердце человеческого. Самый фантастический из людей, до помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и недоумение, почти поколебавшее всю его веру. И любопытно, что могло поколебать: не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые об них рассказаны в «правдивейших книгах», нет, а самое, напротив, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство. Фантастический человек вдруг *затосковал о реализме!* Не акт появления волшебных армий смущает его: о, это не подвержено сомнению, и как же бы могли эти великие и прекрасные рыцари проявить всю свою доблесть, если б не посылались на них все эти испытания, если б не было завистливых великанов и злых волшебников? Идеал странствующего рыцаря столь велик, столь прекрасен и полезен и так очаровал сердце благородного Дон-Кихота, что отказаться верить в него совсем уже стало для него невозможностью, стало равносильно измене идеалу, долгу, любви к Дульцинее и к человечеству. (Когда он отказался, когда он излечился от своего помешательства и поумнел, возвратясь после второго своего похода, в котором он был побежден умным и здравомыслящим цирюльником Караско, отрицателем и сатириком, он тотчас же умер, тихо, с грустной улыбкою, утешая плачущего Санхо, любя весь мир всею великою силой любви, заключенной в святом сердце его, и понимая,

однако, что ему уже нечего более в этом мире делать.) Нет, но смутило его лишь то, самое верное, однако, и математическое соображение, что как бы ни махал рыцарь мечом и сколь бы ни был он силен, все же нельзя победить армию во сто тысяч в несколько часов, даже в день, избив всех до последнего человека. Между тем в правдивых книгах это написано. Стало быть, написана ложь. А если уж раз ложь, то и всё ложь. Как же спасти *истину*? И вот он придумывает для спасения истины другую мечту, но уже вдвое, втрое фантастичнее первой, грубее и нелепее, придумывает сотни тысяч наважденных людей с телами слизняков, но зато по которым острый меч рыцаря может вдесятеро удобнее и скорее ходить, чем по обыкновенным человеческим. *Реализм*, стало быть, удовлетворен, *правда спасена*, и верить в первую, в главную мечту, можно уже без сомнений — и все, опять-таки, единственно благодаря второй, уже гораздо нелепейшей мечте, придуманной лишь для спасения *реализма* первой.

Спросите самих себя: не случилось ли с вами сто раз, может быть, такого же обстоятельства в жизни? Вот вы возлюбили какую-нибудь свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт, поразивший вас, женщину, наконец, околдовавшую вас. Вы устремляетесь за предметом любви вашей всеми силами вашей души. Правда, как ни ослеплены вы, как ни подкуплены сердцем, но если есть в этом предмете любви вашей ложь, *наваждение*, что-нибудь такое, что вы сами преувеличили и исказили в нем вашей страстностью, вашим первоначальным порывом — единственно, чтоб сделать из него вашего идола и поклониться ему, — то уж, разумеется, вы втайне это чувствуете про себя, сомнение тяготит вас, дразнит ум,

ходит по душе вашей и мешает жить вам покойно с излюбленной вашей мечтой. И что ж, не помните ли вы, не осознаетесь ли сами, хоть про себя: чем вы тогда вдруг утешились? Не придумали ли вы новой мечты, новой лжи, даже страшно, может быть, грубой, но которой вы с любовью поспешили поверить, потому только, что она разрешала первое сомнение ваше?

Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. Несомненный удел будущей русской женщины

Есть теперь странные недоумения и странные заботы. Положительно есть русские люди, *боящиеся* даже русских успехов и русских побед. Не потому боятся они, что желают зла русским, напротив — они скорбят об всякой русской неудаче сердечно, они хорошие русские, но они боятся и удач, и побед русских, — «потому-де, что явится после победоносной войны самоуверенность, самовосхваление, шовинизм, застой». Но вся ошибка этих добрых людей в том, что они всегда видели русский прогресс единственно в самооплевании. Да самонадеянность-то нам, может быть, и всего нужнее теперь! Самоуважение нам нужно, наконец, а не самооплевание. Не беспокойтесь: застоя не будет. Война осветит столько нового и заставит столько изменить старого, что вы бы никогда не добились того самооплеванием и поддразниванием, которые обратились в последнее время лишь в простую забаву. Зато обнаружится и многое такое, что прежде считалось даже умниками-обличителями нашими лишь мелочью,

смешными пустяками и даже последним делом, но что, однако же, составляет главнейшую нашу сущность дела во всем. Да и не нам, не нам предаваться шовинизму и самоупоению! Где и когда это случалось в русском обществе! Утверждающие это просто не знают русской истории. Об нашем самоупоении много говорили после Севастополя: самоуверенность-де нас тогда погубила. Но никогда интеллигентное общество не было у нас менее самоуверенно и даже более в разложении, как в эпоху пред Севастополем.

Кстати замечу: из писавших о нашем самоупоении и дразнивших нас им после Севастополя было несколько новых молодых писателей, обративших тогда на себя большое внимание общества и возбудивших в нем горячее сочувствие к их обличениям. И, однако, к этим истинно желавшим добра обличителям присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу, явилось столько свистопляски, столько людей, совсем не понимавших, в чем сущность дела, а между тем воображавших себя спасителями России, мало того — явилось в их числе столько даже откровенных врагов России, что они, под конец, сами повредили тому делу, к которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. Но сначала и они имели успех, единственно потому, что чистые сердцем русские люди, действительно жаждавшие тогда повсеместно обновления и нового слова, не разобрали в них негодяев, людей бездарных и без убеждений, и даже продажных. Напротив, думали, что они-то и за Россию, за ее интересы, за обновление, за народ и общество. Кончилось тем, что огромное большинство русских людей наконец разочаровалось и отвернулось от них, — а затем уж пришли биржевики и железнодорожники... Теперь

этой ошибки, кажется, не повторится, потому что несомненно явятся новые люди, уже с новой мыслью и с новой силой.

Эти новые люди не побоятся самоуважения, но и не побоятся не плыть за старым. Не побоятся и умников: они будут скромны, но будут уже многое знать, по опыту и уже на деле, из того, что и не снилось мудрецам нашим. По опыту и на деле они научатся уважать русского человека и русский народ. Это-то познание они уж наверно принесут с собой, и в нем-то и будет состоять их главная точка опоры. Они не станут сваливать всех наших бед и всех *неумений* наших единственно лишь на свойства русского человека и русской природы, что обратилось уже в казенный прием у наших умников, потому что это и покойно и ума не требует. Они первые засвидетельствуют собою, что русский дух и русский человек в этих ста тысячах взваленных на них обвинений не виноваты нисколько, что там, где только есть возможность прямого доступа русскому человеку, там русский человек сделает свое дело не хуже другого. О, эти новые люди поймут наконец, несмотря на всю свою скромность, как часто наши умники, даже и чистейшие сердцем и желающие истинной пользы, — садились между двух стульев, желая отыскать корень зла. К этим-то новым людям, которые несомненно явятся после войны, примкнет много живых сил из народа и русской молодежи. Они и до войны уже объявлялись, но мы всё еще их не могли тогда заметить, и когда мы все здесь ожидали увидеть лишь зрелища цинизма и растления, они там явили зрелище такого сознательного самоотвержения, такого искреннего чувства, такой полной веры в то, за что пошли отдавать свои головы, что мы здесь лишь дивились: откуда взялось все это?

Некоторые иностранные корреспонденты иностранных газет упрекали некоторых русских офицеров за то, что они самолюбивы, карьеристы, рвутся к отличиям, забывая главную цель: любовь к родине и к тому делу, которому взялись служить. Но если и есть у нас такие офицеры, то все же этим корреспондентам не дурно было бы узнать и о той молодежи или об тех, незаметных даже по чину своему офицерах, скромных слугах отечества и правого дела, которые умирали вместе с своими солдатами доблестно, с полным самоотвержением, вовсе уже не для награды, не для красоты и не для карьеры, а потому только, что были великие сердца, великие христиане и *незаметные* великие русские люди, которых так много, чуть не до последнего солдата, в нашей войске. Заметьте тоже, что, говоря о грядущем новом человеке, я вовсе не указываю лишь на одних наших воинов, в ожидании того, когда они воротятся. Явятся и бесчисленные другие — *все те, которые прежде так жаждали верить в русского человека*, но не могли проявиться и идти против всеобщего, царившего наружу, отрицания и пессимизма. Но теперь, созерцая, с какой *верой* в свои силы проявился русский человек *там*, они поневоле ободрятся и поверят, что есть настоящие русские силы и здесь: откуда тамошние-то взялись, как не отсюда же? А ободрившись, сплотятся и скромно, но твердо примутся уже за настоящее дело, не боясь ничьих громких и звонких слов. И всё таких старых, старых слов! А умные старички наши всё еще до сих пор уверены, что они-то и есть самые новые и *молодые* люди и что говорят самые новые слова!

Но главное и самое спасительное обновление русского общества выпадет, бесспорно, на долю русской женщины. После нынешней войны, в которую так высоко,

так светло, так свято проявила себя наша русская женщина, нельзя уже сомневаться в том высоком уделе, который несомненно ожидает ее между нами. Наконец-то падут вековые предрассудки, и «варварская» Россия покажет, какое место отведет она у себя «матушке» и «сестрице» русского солдата, самоотверженнице и мученице за русского человека. Ей ли, этой ли женщине, столь явно проявившей доблесть свою, продолжать отказывать в полном равенстве прав с мужчиной по образованию, по занятиям, по должностям, тогда как на нее-то мы и возлагаем все надежды наши теперь, после подвига ее, в духовном обновлении и в нравственном возвышении нашего общества! Это уже будет стыдно и неразумно, тем более, что не совсем от нас это и зависеть будет теперь, потому что русская женщина сама стала на подобающее ей место, сама перешагнула те ступени, где доселе ей полагался предел. Она доказала, какой высоты она может достигнуть и что может совершить. Впрочем, говоря так, я говорю про *русскую женщину*, а не про тех чувствительных дам, которые кормили турок конфетами. В доброте к туркам, конечно, нет худа, но все же ведь это не то, что совершили там *те женщины*: а потому *эти* всего только русские *старые* барыни, а те — *новые* русские женщины. Но и не про тех одних женщин говорю я, которые там подвизаются в деле Божием и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, что в русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение, — потому что, опять-таки, откуда же те-то взялись, как не отсюда же? Но о русской женщине и о несомненном ближайшем жребии ее в нашем обществе я хотел бы поговорить

побольше и особо, а потому и возвращусь еще к этой теме в следующем, октябрьском «Дневнике» моем.

Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос наш: кто виноват?

Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания окружного суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного над ним приговора присяжных. А потому я думаю, что все читатели «Дневника» уже знают более или менее об этом чрезвычайном и трагическом происшествии и подробно объяснять его мне уже нечего. Общий смысл в том, что человек, в значительном чине и круга высшего, сходится с бывшим портным, а потом процентщиком и дисконтером^[274] Занфтлебенем, и не потому только, что принужден был занимать у него деньги, а даже как бы и дружественно, принимает, например, на себя обязанность его душеприказчика, и, по-видимому, очень охотно. Затем, по смерти Занфтлебена, происходит несколько вопиющих вещей: пропадает вексельная книга неизвестно куда; векселя, бумаги и документы, с совершенным нарушением порядка, предписанного законом, отвозятся Гартунгом к себе на квартиру. Гартунг, как оказывается, вступает в соглашение с одной частью наследников в ущерб другой (хотя, может быть, и не подозревает того сам). Затем к нему врывается один из наследников, и бедному душеприказчику уже на деле

²⁷⁴ *Дисконтер* (от *англ.* discount, *итал.* sconto — учетный процент, учет векселей) — человек, занимающийся учетом векселей.

приходится узнать, что он попал в такое общество, в какое и не ожидал. Затем начинаются обвинения уже прямо — в краже векселей, вексельной книги, в переписке векселей, в исчезновении документов с лишком на сто или даже на двести тысяч рублей имущества... Затем начинается суд. Прокурор даже рад суду и тому, что генерал сидит рядом с простолудином и тем дает повод русской Фемиде произнести торжество равенства перед законом сильных и высших с малыми и ничтожными.

Суд, однако же, идет весьма нормальным порядком (что бы ни говорили об этом), и в конце концов присяжные выносят почти неминуемое обвинение, в том числе и о Гартунге, смысл которого: «виновен и похитил». Суд удаляется составить приговор, но генерал Гартунг дожидаться его не захотел: выйдя в другую комнату, он, говорят, сел к столу и схватил обеими руками бедную свою голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собой и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже заранее заготовленную записку, в которой он «клянется *всемогущим Богом*, что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает». Таким образом, он умер в сознании своей невинности и в сознании своего джентльменства.

И вот эта-то смерть и взволновала всех в Москве и все газеты во всей России. Говорят, и судьи и прокурор вышли из своих комнат совсем бледные. Присяжные, говорят, будто бы тоже были сконфужены. Газеты завопили даже об «очевидно несправедливом решении», и одни из них замечали, что наши суды нельзя уже теперь обвинять за мягкие и потворствующие приговоры: «Вот, дескать, пример: пал невинный». Другие

справедливо заметили, что таким торжественным и последним словам человека на земле почти невозможно не верить, а, стало быть, почти несомненно можно заключить, что произошла плачевная судебная ошибка. И многое, многое говорили и писали газеты. Надо признаться, некоторые из отзывов газет были странны: слышалась какая-то фальшь, может быть, горячая и искренняя, но фальшь. Гартунга жалко, но тут скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь стороны ошибка. Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентного общества, и характеры, в этом обществе выровнявшиеся и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточно обрусевших молодых судов. Но ведь когда все огулом виноваты, значит, порознь нет никого виновного. Из всех газетных отзывов мне всего более понравился отзыв «Нового времени». Я накануне как раз говорил с одним из наших тонких юристов^[275] и знатоков русской жизни, и оказалось, что насчет этого дела у нас один и тот же вывод, причем мой собеседник весьма метко указал на «трагизм» этого дела и на причины трагизма. На другой день, в фельетоне Незнакомца, я прочел очень многое весьма похожее на то, об чем мы только что говорили накануне. А потому, если и скажу теперь несколько слов, то лишь в частности и «по поводу».

²⁷⁵ ...говорил с одним из наших тонких юристов... — Возможно, речь идет о А. Ф. Кони.

Русский джентльмен.

Джентльмену нельзя не остаться до конца джентльменом

Дело в том, что старые характеры еще не перевелись, и, кажется, еще долго не переведутся, потому что на все надобен срок и везде природа. Я говорю о характерах нашего интеллигентного общества. Здесь, впрочем, настойчиво и с упором замечу: что и не хорошо было бы, если б мы вдруг как флюгера изменялись, потому что самая противная вещь в наших интеллигентных характерах именно это свойство легковесности и бессодержательности. Она напоминает что-то лакейское, лакея, рядящегося в барское платье. Одно из свойств, например, нашего джентльменничанья, если мы почему-нибудь раз прикоснулись к богатым и знатным, и особенно если к ним проникли, — это *представительность*, потребность обставить себя широко. Заметьте, я лично о Гартунге не говорю теперь ни слова, я совершенно не знаю его биографии; я только хочу отметить несколько штрихов всем известного характера нашего интеллигентного человека, говоря вообще, и с которым, при известных обстоятельствах, могло бы случиться точь-в-точь то же самое, что и с генералом Гартунгом. Человек, например, ничтожный, в малом чине, без гроша в кармане, вдруг попадает в высшее общество или хоть почему-либо соприкоснется с ним. И вот у бедняка, ничего не имевшего, кроме способности профильтроваться в высшее общество, вдруг является своя карета, квартира, в которой «возможно» жить, лакеи, костюмы, перчатки. Может быть, он хочет сделать карьеру, выбиться в люди, но чаще всего бывает так, что

просто подражать хочет: все, дескать, так живут, как же я-то? Тут какой-то в нем стыд, которого никак нельзя пересилить, одним словом: честь и порядочность понимаются как-то странно, собственного же достоинства не оказывается никакого. В параллель этому непониманию такой первейшей вещи, как чувство собственного достоинства, можно поставить, мне кажется, лишь непонимание, чуть не всем интеллигентным европейским веком нашим, свободы, в чем состоит она, — но об этом потом. Вторая и опять-таки почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека — это его податливость, его готовность на соглашение. О, есть множество кулаков, биржевиков, противных, но стойких мерзавцев; есть даже и хорошие стойкие люди, но их мало ужасно, в большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. И вовсе это даже не от добродушия, равно как далеко не от трусости, а так, деликатность какая-то или неизвестно уж что тут. Сколько раз вам, например, приходилось в разговоре с упорным, например, человеком, налегавшим на вас и требовавшим вашего отзыва, согласиться и уступить ваше мнение или ваш даже голос в каком-нибудь заседании, хотя вы, может быть, внутри себя и вовсе бы того не желали. Увлекает тоже очень русского человека слово *все*: «я как и все», — «я с общим мнением согласен», — «все идем, ура!» Но есть тут и еще странность: русский человек сам себя обольстить, прельстить, увлечь и уговорить очень любит. И не хочется ему сделать то и то, пойти, например, в душеприказчики к Занфтлебену, но уговорит себя: «Что ж, дескать, такое, пойду...»

Бывают в этом слое интеллигентных русских людей типы, с некоторой стороны даже чрезвычайно привлекательные, но именно с этими несчастными свойствами русского джентльменства, на которые я сейчас намекал. Иные из них почти невинны, почти Шиллеры; их незнание «дел» придает им почти нечто трогательное, но чувство чести в них сильное: он застрелится, как Гартунг, если, по своему мнению, потеряет честь. Может быть, их даже довольно и числом. Но вряд ли эти люди знают, например, когда-нибудь сумму своих долгов. И не то чтоб все они были кутилы, иные, напротив, прекрасные мужья и отцы, но деньги можно мотать и кутиле и прекрасному отцу. Весьма многие из них входят в жизнь с слабыми остатками прежних родовых имений, которые быстро улетучиваются в первые же дни юности. Затем брак, затем чин и хорошее казенное местечко, которое так себе, а все же дает какой-нибудь доход и основание в жизни, нечто уже солидное, в противоположность великосветскому бродяжеству в прежнюю жизнь. Но долги идут непрерывно, он, конечно, платит их, потому что он джентльмен, но платит новыми долгами. Положительно можно сказать, что многие из них, обдумывая в иную минуту свое положение про себя, наедине, могли бы смело и с великим благородством произнести: «Мы ничего не похищали и ничего не хотим похитить». Между тем вот какая тут мелкая черточка может даже произойти: при случае (ну очень понадобилось) он способен взять займы даже у няньки детей своих какие-нибудь накопленные ею 10 рублей. Да что же такое, помилуйте, почему же нет? Притом старушка-нянька, весьма часто, есть обжившийся близкий и интимный в доме человек. Она почти член

семьи, ее ласкают, ей даже самые важные ключи на хранение передают. Добрый генерал, ее барин, давно уже обещал ей место в богадельне на старость, да вот только дела-то эти всё мешают ему позаботиться, а давно бы надо там об ней словечко замолвить. А нянька так и напомнить страшится, напоминает разве один разик в год о богадельне, все трепещет досадить такому нервному и обеспокоенному всегда человеку, как ее генерал. «Добрые ведь они, сами вспомнят», — думает она подчас, укладывая в постель свои старые кости; об 10-ти же рублях и напомнить так даже стыдится, у ней своя совесть есть, у старушки. И вот вдруг умирает генерал, и — ни места у старушки, ни десяти рублей. Все это, разумеется, пустяки и мелочь страшная, но если бы вдруг на том свете напомнили генералу, что нянька-то ведь 10-ти рублей не получила, то он бы страшно покраснел: «Какие десять рублей? Неужто! Ах да, ведь в самом деле, года четыре назад! Mais comment, comment,^[276] и как это могло случиться!» И этот долг мучил бы его сильнее, чем иной даже десятитысячный, оставленный им на земле! Ему было бы ужасно как стыдно: «О, поверьте, я не хотел того, поверьте, что я даже не думал о том, забыл думать!» Но бедного генерала слушали бы там только ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька все-таки осталась бы без десяти рублей на земле, и жалко ей их иногда, старушке: «Ну да бог с ними, грех поминать этим, а человек были самый драгоценный, самый как ни на есть праведный барин».

И вот что еще: если бы этот прелестный человек как-нибудь опять очутился на земле и воплотился в

²⁷⁶ Но как, как (франц.).

прежнего генерала — отдал бы он 10 рублей няньке или нет?

Но не всё ведь они занимают. Вот приятель, благо-р-роднейший Иван Петрович, просит его выдать ему векселей тысяч на шесть: заложу, дескать, в банк, где я состою, и дисконтирую, а вот тебе, дражайший друг, встречные на шесть тысяч. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича он часто встречает потом в клубе, оба забыли, разумеется, и думать о выданных векселях, потому что оба суть самый цвет, так сказать, порядочных людей в нашем обществе, и вдруг, через шесть месяцев, все шесть тысяч падают на плечи генералу: «Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство». Ну вот тут и бросаются к людям как Занфтлебен и пишут документы, в сто на сто.

Поверьте опять-таки, что я, в изображении моем, ни одной чертой не претендую обличать покойного генерала Гартунга: я его совсем не знал и ничего не слыхал о нем лично. Я только имел претензию чуть-чуть начертить характер одного из членов этого общества, но который, однако, если б попался в такую же передрагу, как генерал Гартунг к Занфтлебену, то с ним могло бы произойти совершенно то же самое, как и с Гартунгом, до самоубийства включительно. А потому, мне кажется, в деле Гартунга нечего ни стыдить суд, ни стыдиться суду. Тут ведь фатум, трагедия: генерал Гартунг до самой последней минуты своей считал себя не виновным и оставил записку...

— Да, но ведь вот, однако ж, эта записка, — скажут другие. — Ведь невозможно же, чтобы в такую минуту человек, да еще верующий, как оказывается, мог солгать. Значит, он ничего не похитил, коли так торжественно

заявил, что не похитил. Да и сделки тут никакой не могло быть у него даже с совестью: как бы ни был шаток и затемнен смысл человека всей этой путаницей, но уж коли он говорит «я не похитил», то он не может не знать: «похитил он или не похитил?» Это ведь просто дело рук человеческих. Тут просто вопрос: клал в карман или не клал? Как же он мог не знать, если б положил?

Это совершенно справедливо, но вот ведь что может тут быть, и даже наверно: ведь он написал только про одного себя: «Я, дескать, ничего не похитил, и не думал о похищении», — но ведь могли похитить другие.

— Совершенно невозможно, — возразят мне. — Если он дал похитить другим и, зная о том как опекун, смолчал, то, стало быть, *и он похитил* с другими! Генерал Гартунг не мог не понимать, что тут нет разницы.

Отвечу: во-первых, можно еще оспорить аргумент, что «если знал и дал похитить, то, стало быть, и он похитил», а во-вторых, тут несомненно есть разница. А в-третьих, генерал Гартунг мог именно написать в этом лишь буквальном смысле, о котором мы говорим: «То есть я, дескать, лично не брал и *не хотел* брать ровно ничего, сделали другие и против моей воли. Я виновен лишь в слабости, но не в мошенничестве, потому что сам ничего не хотел брать ни у кого и даже сопротивлялся. Сделали другие...» Он именно мог написать в этом смысле свои роковые слова, но в то же время, будучи столь честен и благороден, ни за что не мог бы согласиться, что «коли попустил украсть, значит, сам украл». Он к Богу шел, и он знал, что не хотел ни украсть, ни попустить, а так само укралось. Да к тому же заметьте, он никак бы и не мог разъяснить в этой записке свои слова пошире: то есть что виновен в послаблении, а

не в похищении и проч. Не мог же он, джентльмен, доносить на других, — особенно в такую торжественную минуту, в которую он «простил врагам своим».

А наконец, и это всего вероятнее, он, может быть, не мог в своем сердце сознаться даже и в послаблении, в слабости, в добродушном попусчении. Тут, может быть, была такая сеть обстоятельств, которую он до самой последней минуты, включительно, осмыслить не мог, с тем и ушел на тот свет. «Похищена-де вексельная книга» — и вот толковые люди, которым он вполне доверяется, убеждают его в самом начале, что ведь это просто пустяки, пропала сама как-нибудь, потому что ведь никому она и не нужна. Они выводят ему цифрами, математически, что вексельная книга была бы во вред, а не к пользе самим даже наследникам. (Ведь этот самый аргумент представляла же на суде потом защита, и, кажется, он был справедлив.) В этом смысле могло быть и все остальное выставлено и растолковано Гартунгу. Ведь он дел не знал, и его можно было убедить во всем. «Поверьте, дескать, мы тоже благородные люди, мы, как и вы, не хотим похитить ничего у наследников, но дела-то у Занфтлебена остались в таком щекотливом виде, что если там они (наследники) узнают теперь про вексельную книгу и все это, то могут прямо нас обвинить в мошенничестве, а потому надо скрыть от них». Эти «беспорядки Занфтлебена», разумеется, открывались не вдруг, а постепенно, так что Гартунг узнавал истину или, лучше сказать, терял истину и втягивался в ложь каждый день постепенно. И вот вдруг к нему прямо врывается один из наследников, и если не кричит, что генерал Гартунг вор, то ведь все равно что кричит: он ведь вошел с торжеством, с победоносной и злой улыбкой и уж вполне уверенный, что теперь смеет сделать в квартире

генерала всякую пакость. И тут только генерал вполне узнал, в какую трущобу забился. Потом он совсем потерялся, он стал предлагать компромиссы, сделки и запутал, конечно, себя еще более, а обвиняющая сторона жадно вцепилась в новые компрометирующие его факты насчет компромиссов и сделок. Все пошло в дело. Одним словом, Гартунг умер в сознании совершенной своей личной невинности, но и ошибки... судебной ошибки, в строгом смысле, никакой не было. Был фатум, случилась трагедия: слепая сила почему-то выбрала одного Гартунга, чтоб наказать его за пороки, столь распространенные в его обществе. Таких, как он, может быть, 10 000, но погиб один Гартунг. Невинный и высоко честный этот человек, с своей трагической развязкой, конечно, мог возбудить наибольшую симпатию, из всех этих десяти тысяч, а суд над ним приобрести наибольшую огласку по России для предупреждения «порочных»; но вряд ли судьба, слепая богиня, на это именно рассчитывала, поражая его.

ЛОЖЬ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ИСТИНЫ.

Ложь на ложь дает правду.

Правда ли это?

И, однако, во мне все-таки воскресло одно, еще прежнее впечатление, которым хочется поделиться, хотя, может быть, очень наивное. Это уже вообще об нашем суде. Гласный суд с присяжными заседателями принято считать во всем мире чуть не за достигнутое совершенство: «Это, так сказать, победа, высший плод ума». Я верю со всеми, потому что вам скажут, например: «Ну выдумайте лучше» — и ведь вы не выдумаете.

Следственно, необходимо согласиться уже по тому одному, что нельзя лучше выдумать. А между тем вот всходит на сцену... то бишь на эстраду, г-н прокурор. Представим, что это человек превосходный, умный, совестливый, образованный, с христианскими убеждениями и знающий Россию и русского человека, как мало в России знают. Ну-с, а вот этот совестливейший человек прямо начинает с того, что он «даже рад, что случилось это преступление, потому только, что пришла наконец кара этому злодею, вот этому подсудимому, потому что если б вы только знали, господа присяжные, какая это каналья!» То есть он, разумеется, «каналью» не употребит, но ведь это все равно: он самым вежливейшим, самым мягким и самым гуманным образом выставит его под конец даже хуже канальи, хуже даже всякой канальи. Скорбя сердцем, он деликатнейшим образом передает, что ведь и мать его была такова, что он, наконец, не мог не украсть, потому что самый низкий разврат увлекал его все более и более в бездну. Сделал же он все сознательно и преднамереннейшим образом. Вспомните, как хорошо ему послужил пожар в соседней улице в минуту совершения им преступления, потому что пожар, произведя тревогу, отвлек к себе внимание и дворников и всего околота. «О, я, разумеется, далек от всякого *прямого* обвинения в поджоге, но, господа присяжные, согласитесь, что тут странное совпадение двух обстоятельств, неизбежно наводящих на известную мысль, но я молчу, молчу, — но, конечно, вы этого вора, убийцу (потому что он непременно бы убил, если б встретил кого в квартире) и, наконец, поджигателя, отъявленного, доказанного поджигателя, — конечно, уж вы его ушлете куда-нибудь подальше и тем дадите возможность вздохнуть добрым людям, хозяйкам

спокойно удаляться из квартиры за покупкой провизии, а владельцам домов не трепетать за свое имущество, хотя бы таковое и было застраховано в том или другом страховом обществе. А главное, напрасно я это все вывожу: взгляните на него! вот он сидит, не смея взглянуть в глаза честным людям, и разве мало одного простого взгляда, чтоб убедиться, что это и вор, и убийца, и поджигатель. Об одном лишь торжественно сожалею, что ему не удалось сделать десять таких же покраж белья, зарезать десять таких же хозяек и поджечь десять таких же домов, потому что тогда самая уже колоссальность преступления потрясла бы граждански-сонливое общество наше и заставила бы его прибегнуть наконец к самозащите и выйти из преступного своего гражданского усыпления...»

О, мы знаем, что г-н прокурор будет говорить гораздо благороднее. Слова наши карикатура и годятся лишь для юмористической воскресной газетки с куплетами и карикатурами, положим. Положим, это будет даже одно из таких дел, которые возбуждают глубокие социальные и гражданские вопросы, а главное, в нем будут психологические места, а в психологии, как известно, чрезвычайно бойки прокуроры даже во всей Европе. Ну, и что же, все-таки выйдет в заключение то же самое, то есть что жаль, дескать, что не было вместо одного — десяти, тридцати, пятисот отравлений, потому что тогда бы содрогнулись ваши сердца и вы бы встали как один человек, и т. д. и т. д.

Но, возразят мне, что ж тут такого? Положим, ужасно много прокуроров совсем не ораторы, но прокурор, во-первых, чиновник и должен действовать сообразно службе своей, и во-вторых, что прокуроры всегда преувеличивают обвинение — в том нет не только

ничего предосудительного, но, напротив, все полезное. Ибо так именно и надо. Зато, в противоположность ему, есть защитник подсудимого, которому позволено вполне опровергать прокурора. Кроме того, даже во всей Европе позволено доказывать, конечно, с полнейшей вежливостью, что прокурор глуп, нелеп, подловат и что «если кто зажег третьего дня в 3-й линии на Васильевском дом, так это именно этот самый человек, потому что он как раз в это время был на Васильевском острове на именинах генерала Михайлова, превосходнейшего и благо-о-р-роднейшего существа, а что он зажег дом, то в этом нет сомнения по тому одному даже (опять психология), что не подожги он этот дом, по вражде с домовладельцем купцом Иваном Бородатым, то ему бы никогда не могло прийти в голову такое глупое, такое ни на что не похожее и пошлое обвинение подсудимого в поджигательстве для отвода глаз всей улицы во время совершения этого мнимого и несообразного ни с чем преступления. Собственный поджог его именно и навел на мысль». Наконец, возьмите и то, что защитнику позволено делать жесты, проливать слезы, скрежетать зубами, рвать свои волосы, стучать стульями (но не замахиваться ими) и, наконец, падать в обморок, если он уже очень благороден и не может вынести несправедливости, что, впрочем, кажется, не позволено прокурору, как бы ни был он благороден, потому что как-то странно было бы вдруг упасть навзничь чиновнику в мундире. Не употребляется это вовсе.

Опять-таки все, что я говорю, — карикатура, одна карикатура, и ничего этого не бывает, а обходится все на самой благородной ноге, я согласен (хотя стульями-то стучали и в обморок-то падали)! Но ведь я только

хлопочу о сущности дела, потому что в самых благороднейших выражениях доходят до того же самого, как и в неблагороднейших.

— Как, что вы, — укажут мне, — да это-то и надо, именно преувеличение-то и надо, с обеих сторон! Присяжный иногда человек не столь образованный, и к тому же занятой, у него там своя лавка, дела, он подчас рассеян, а подчас так и просто не в силах сам углубиться. А потому именно его надо углубить, показать ему все фазисы дела, даже самые невозможные, чтобы он уже вполне был уверен, что обвинением все, что только может прийти в голову, уже исчерпано и что думать над этим уже больше нечего, равно как защитой подведено все, что только возможно и невозможно предположить, к убелению подсудимого, паче горнего снега. А потому, там в особой комнате, сводя итоги, они уже знают, так сказать, механически, что должно выскочить, плюс или минус, так что совестью по крайней мере они могут быть совершенно спокойны. В результате ясно, что все это совершенно необходимо для истины, то есть и ожесточенное нападение и ожесточенная защита, и даже так, что ожесточенное-то нападение обвинителя, если только взять в самом строгом смысле, даже полезнее подсудимому, чем самому обвинителю, так что опять-таки ничего нельзя выдумать лучше.

Одним словом, современный суд не только победа или высший плод ума, но и самая мудреная вещь. С этим нельзя не согласиться. Суд притом гласный; стекается публика даже сотнями человек — и неужели предположить, что они стекаются из праздности, для спектакля только? Нет, конечно: из какого бы побуждения ни собирались они, а надо, чтобы уходили с впечатлением высшим, сильным, назидательным и

целебным. Между тем все сидят и видят, что тут, в основе, какая-то ложь — о, не в суде, конечно, не в значении приговора, а просто, например, в иных привычках, с такою счастливою легкостью воспринятых у Европы и укоренившихся в наших представителях защиты и обвинения. Я вот уйду домой и дома про себя думаю: ведь Ивана Христофорыча, прокурора, я лично знаю, умнейший и добрейший человек, а между тем ведь он лгал, и знал, что лгал. Дело какого-нибудь выговора или двухмесячного заключения он натянул на двадцатилетнюю ссылку в отдаленнейшие места. Пусть это даже надо для самой ясности дела, но все же он лгал, и лгал сознательно, а ведь дело-то об шее человека идет. Как же это так согласить, особенно если он человек с талантом: ведь *Il en reste toujours quelque chose*,^[277] особенно если защита плоховата и только стульями умеет стучать. Положим, тут даже самолюбие Ивана Христофоровича разыгралось, чисто человеческая черта, но извинительная ли в таком важном деле? Куда же тут человек-то девался, высший-то человек, гуманный, цивилизованный?

Пусть, пусть, наконец, из этого-то из всего и выходит истина, и выходит, так сказать, механически даже, самым хитрейшим путем, но ведь собирающаяся на суд публика, пожалуй, и впрямь будет собираться тогда на зрелище, на созерцание механического и хитрейшего пути, и, слушая с восторгом, как, например, талантливый защитник так отлично лжет против совести, она чуть не аплодирует ему с своих стульев: «Как, дескать, лжет хорошо человек!» Ведь от этого зарождается в массе этой публики цинизм и фальшь, и укореняются

²⁷⁷ Всегда что-то остается (*франц.*).

незаметно. Жаждут уже не истины, а таланта, лишь бы повеселил и развлек. Тупеет гуманное чувство, которое уже не восстановите кувырканиями в обморок. Ну, а представьте опять-таки, если лжец действительно с огромным талантом?

Я знаю, что все это лишь праздное с моей стороны нытье. Но послушайте, учреждение гласного присяжного суда все же ведь не русское, а скопированное с иностранного. Неужели нельзя надеяться, что русская национальность, русский дух когда-нибудь сгладят шероховатости, уничтожат фальшь... дурных привычек, и дело пойдет уже во всем по правде и по истине. Правда, теперь это невозможно: теперь именно защита и обвинение блистают этими дурными привычками, ибо одни ищут денег, а другие карьеры. Но ведь когда-нибудь можно же будет прокурору даже защищать подсудимого, вместо того чтоб обвинять его, так что защитники, если бы захотели возразить, что даже и той малой доли обвинения, которую прокурор все же оставил на подсудимом, нельзя применить к нему, то присяжные заседатели им просто бы не поверили.

Я даже так думаю, что такой прием скорее бы и вернее гораздо способствовал к отысканию истины, чем прежний механический способ преувеличения, состоящий в крайности обвинения и в зверстве защиты? Ответят, конечно, что это решительно невозможно, а так как то же самое и в Европе, то и быть не должно, и что *«чем механичнее, тем даже и лучше»*.

Вот этот механизм-то, этот механический способ вытаскивать наружу правду, может быть, у нас и заменится... просто правдой. Искусственное преувеличение исчезнет с обеих сторон. Все явится

искренним и правдивым, а не игрой в отыскание истины. На сцене будет не зрелище, не игра, а урок, пример, назидание. Правда, адвокатам будут платить гораздо меньше. Но все эти утопии возможны будут, разве когда у нас вырастут крылья и все обратятся в ангелов. Но ведь и судов тогда не будет...

Декабрь

Смерть Некрасова о том, что сказано было на его могиле

Умер Некрасов. Я видел его в последний раз за месяц до его смерти. Он казался тогда почти уже трупом, так что странно было даже видеть, что такой труп говорит, шевелит губами. Но он не только говорил, но и сохранял всю ясность ума. Кажется, он все еще не верил в возможность близкой смерти. За неделю до смерти с ним был паралич правой стороны тела, и вот 28 утром я узнал, что Некрасов умер накануне, 27-го, в 8 часов вечера. В тот же день я пошел к нему. Страшно изможденное страданием и искаженное лицо его как-то особенно поражало. Уходя, я слышал, как псалтирщик четко и протяжно прочел над покойным: «Несть человек, иже не согрешит». Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу; взял все три тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до шести часов утра, и все эти тридцать лет как будто я прожил снова. Эти первые четыре стихотворения, которыми начинается первый том его стихов, появились в «Петербургском сборнике», в котором явилась и моя первая повесть. Затем, по мере чтения (а я читал сподряд), передо мной пронеслась как бы вся моя жизнь. Я узнал и припомнил и

те из стихов его, которые первыми прочел в Сибири, когда, выйдя из моего четырехлетнего заключения в остроге, добился наконец до права взять в руки книгу. Припомнил и впечатление тогдашнее. Короче, в эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов, и буквально в первый раз дал себе отчет: как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет, занимал места в моей жизни! Как поэт, конечно. Лично мы сходились мало и редко и лишь однажды вполне с беззаветным, горячим чувством, именно в самом начале нашего знакомства, в сорок пятом году, в эпоху «Бедных людей». Но я уже рассказывал об этом. Тогда было между нами несколько мгновений, в которые, раз навсегда, обрисовался передо мною этот загадочный человек самой существенной и самой затаенной стороной своего духа. Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то *никогда не заживавшая* рана его и была началом и источником всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме, о своей матери — и то, как говорил он о своей матери, та сила умиления, с которой он вспоминал о ней, рождали уже и тогда предчувствие, что если будет что-нибудь святое в его жизни, но такое, что могло бы спасти его и послужить ему маяком, путевой звездой даже в самые темные и роковые мгновения судьбы его, то, уж конечно, лишь одно это первоначальное детское впечатление детских слез, детских рыданий вместе, обнявшись, где-нибудь украдкой, чтоб не видали (как рассказывал он мне), с мученицей матерью, с существом, столь любившим его. Я думаю, что ни одна потом привязанность в жизни его не

могла бы так же, как эта, повлиять и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. Потом, помню, мы как-то разошлись, и довольно скоро; близость наша друг с другом продолжалась не долее нескольких месяцев. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Затем, много лет спустя, когда я уже воротился из Сибири, мы хоть и не сходились часто, но, несмотря даже на разницу в убеждениях, уже тогда начинавшуюся, встречаясь, говорили иногда друг другу даже странные вещи — точно как будто в самом деле что-то продолжалось в нашей жизни, начатое еще в юности, еще в сорок пятом году, и как бы не хотело и не могло прерваться, хотя бы мы и по годам не встречались друг с другом. Так однажды в шестьдесят третьем, кажется, году, отдавая мне томик своих стихов, он указал мне на одно стихотворение, «Несчастные», и внушительно сказал: «Я тут об вас думал, когда писал это» (то есть об моей жизни в Сибири), «это об вас написано». И наконец, тоже в последнее время, мы стали опять иногда видеть друг друга, когда я печатал в его журнале мой роман «Подросток»...

На похороны Некрасова собралось несколько тысяч его почитателей. Много было учащейся молодежи. Процессия выноса началась в 9 часов утра, а разошлись с кладбища уже в сумерки. Много говорилось на его гробе речей, из литераторов говорили мало. Между прочим, прочтены были чьи-то прекрасные стихи. Находясь под глубоким впечатлением, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов.

Я именно начал с того, что это было раненое сердце, раз на всю жизнь, и незакрывавшаяся рана эта и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает от насилия, от жестокости необузданной воли, что гнетет нашу русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в горькой, так часто, доле его. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил собою ряд тех поэтов, которые приходили со своим «новым словом». В самом деле (устраняя всякий вопрос о художественной силе его поэзии и о размерах ее), — Некрасов, действительно, был в высшей степени своеобразен и, действительно, приходил с «новым словом». Был, например, в свое время поэт Тютчев, поэт обширнее его и художественнее, и, однако, Тютчев никогда не займет такого видного и памятного места в литературе нашей, какое бесспорно останется за Некрасовым. В этом смысле он, в ряду поэтов (то есть приходивших с «новым словом»), должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. Когда я вслух выразил эту мысль, то произошел один маленький эпизод: один голос из толпы крикнул, что Некрасов был *выше* Пушкина и Лермонтова и что те были всего только «байронисты». Несколько голосов подхватили и крикнули: «Да, выше!» Я, впрочем, о высоте и о сравнительных размерах трех поэтов и не думал высказываться. Но вот что вышло потом: в «Биржевых ведомостях» г-н Скабичевский, в послании своем к молодежи по поводу значения Некрасова, рассказывая, что будто бы когда кто-то (то есть я), на могиле Некрасова, «вздумал сравнивать его имя с именами Пушкина и Лермонтова, вы все (то есть вся учащаяся молодежь) в *один голос, хором* прокричали:

«Он был выше, выше их». Смею уверить г-на Скабичевского, что ему не так передали и что мне твердо помнится (надеюсь, я не ошибаюсь), что сначала крикнул всего один голос: «Выше, выше их», и тут же прибавил, что Пушкин и Лермонтов были «байронисты», — прибавка, которая гораздо свойственнее и естественнее одному голосу и мнению, чем *всем*, в один и тот же момент, то есть тысячному хору, — так что факт этот свидетельствует, конечно, скорее в пользу моего показания о том, как было это дело. И затем уже, сейчас после первого голоса, крикнуло еще несколько голосов, но всего только несколько, тысячного же хора я не слышал, повторяю это и надеюсь, что в этом не ошибаюсь.

Я потому так на этом настаиваю, что мне все же было бы чувствительно видеть, что вся наша молодежь впадает в такую ошибку. Благодарность к великим отшедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. Без сомнения, иронический крик о байронистах и возгласы: «Выше, выше», — произошли вовсе не от желания затеять над раскрытой могилой дорогого покойника литературный спор, что было бы неуместно, а что тут просто был горячий порыв заявить как можно сильнее все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга к великому и столь сильно волновавшему нас поэту, и который, хотя и в гробе, но все еще к нам так близок (ну, а те-то великие прежние старики уже так далеко!). Но весь этот эпизод, тогда же, на месте, зажег во мне намерение объяснить мою мысль яснее в будущем № «Дневника» и выразить подробнее, как смотрю я на такое замечательное и чрезвычайное явление в нашей жизни и в нашей поэзии, каким был

Некрасов, и в чем именно заключается, по-моему, суть и смысл этого явления.

Пушкин, Лермонтов и Некрасов

И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть был и моментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в жизни и всего человечества. Байронизм появился в минуту страшной тоски людей, разочарования их и почти отчаяния. После исступленных восторгов новой веры в новые идеалы, провозглашенной в конце прошлого столетия во Франции, в передовой тогда нации европейского человечества наступил исход, столь не похожий на то, чего ожидали, столь обманувший веру людей, что никогда, может быть, не было в истории Западной Европы столь грустной минуты. И не от одних только внешних (политических) причин пали вновь воздвигнутые на миг кумиры, но и от внутренней несостоятельности их, что ясно увидели все прозорливые сердца и передовые умы. Новый исход еще не обозначался, новый клапан не отворялся, и все задыхалось под страшно понизившимся и сузившимся над человечеством прежним его горизонтом. Старые кумиры лежали разбитые. И вот в эту-то минуту и явился великий и могучий гений, страстный поэт. В его звуках зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах. Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству, все оно откликнулось ему. Это именно было как бы отворенный клапан; по крайней мере, среди

всеобщих и глухих стонов, даже большею частью бессознательных, это именно был тот могучий крик, в котором соединились и согласились все крики и стоны человечества. Как было не откликнуться на него и у нас, да еще такому великому, гениальному и руководящему уму, как Пушкин? Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма. Да и не по одному лишь сочувствию к Европе и к европейскому человечеству издали, а потому, что и у нас, и в России, как раз к тому времени, обозначилось слишком много новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком много старых разочарований... Но величие Пушкина, как руководящего гения, состояло именно в том, что он так скоро, и окруженный почти совсем не понимавшими его людьми, нашел твердую дорогу, *нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него*. Этот исход был — народность, *преклонение перед правдой народа русского*. «Пушкин был явление великое, чрезвычайное». Пушкин был «не только русский человек, но и первым русским человеком». Не понимать русскому Пушкина значит не иметь права называться русским. Он понял русский народ и постиг его назначение в такой глубине и в такой обширности, как никогда и никто. Не говорю уже о том, что он, всечеловечностью гения своего и способностью откликаться на все многообразные духовные стороны европейского человечества и почти перевоплощаться в гении чужих народов и национальностей, засвидетельствовал о всечеловечности и о всеобъемлемости русского духа и тем как бы провозвестил и о будущем предназначении гения России во всем человечестве, как всеединящего, всепримиряющего и всё возрождающего в нем начала.

Не скажу и о том даже, что Пушкин первый у нас, в тоске своей и в пророческом предвидении своем, воскликнул:

Увижу ли народ освобожденный

И рабство, павшее по манию царя!^[278]

Я скажу лишь теперь о любви Пушкина к народу русскому. Это была любовь всеобъемлющая, такая любовь, какую еще никто не выказывал до него. «Не люби ты меня, а полюби ты *мое*» — вот что вам скажет всегда народ, если захочет увериться в искренности вашей любви к нему.

Полюбить, то есть пожалеть народ за его нужды, бедность, страдания, может и всякий барин, особенно из гуманных и европейски просвещенных. Но народу *надо*, чтоб его не за одни страдания его любили, а чтоб полюбили и *его самого*. Что же значит *полюбить его самого*? «А полюби ты то, что я люблю, почти ты то, что я чту» — вот что значит и вот как вам ответит народ, а иначе он никогда вас за своего не признает, сколько бы вы там об нем ни печалились. Фальшь тоже всегда разглядит, какими бы жалкими словами вы ни соблазняли его. Пушкин именно так полюбил народ, как народ того требует, и он не угадывал, как надо любить народ, не приготавлился, не учился: он сам вдруг оказался народом. Он преклонился перед правдой народной, он признал народную правду как свою правду. Несмотря на все пороки народа и многие смердящие привычки его, он сумел различить великую суть его духа тогда, когда никто почти так не смотрел на народ, и принял эту суть народную в свою душу как свой идеал. И

²⁷⁸ *Увижу ли народ освобожденный//И рабство, павшее по манию царя!* — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня».

это тогда, когда самые наиболее гуманные и европейски развитые любители народа русского сожалели откровенно, что народ наш столь низок, что никак не может подняться до парижской уличной толпы. В сущности эти любители всегда презирали народ. Они верили, главное, что он раб. Рабством же извиняли падение его, но раба не могли ведь любить, раб все-таки был отвратителен. Пушкин первый объявил, что русский человек *не раб* и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (в целом, конечно, в общем, не в частных исключениях) — вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве), — черта, свидетельствующая в Пушкине о глубокой непосредственной любви к народу. Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (опять-таки в целом, мимо всегдашних и неотразимых исключений), он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния, — чего не понимали, например, замечательнейшие образованные русские европейцы уже гораздо позднее Пушкина и ожидали совсем другого от народа нашего. О, они любили народ искренно и горячо, но по-своему, то есть по-европейски. Они кричали о зверином состоянии народа, о зверином положении его в крепостном рабстве, но и верили всем сердцем своим, что народ наш действительно зверь. И вдруг этот народ очутился свободным с таким мужественным достоинством, без малейшего позова на оскорбление бывших владетелей своих: «Ты сам по себе, а я сам по себе, если хочешь, иди ко мне, за твое хорошее всегда тебе от меня честь». Да, для многих наш крестьянин по

освобождении своем явился странным недоумением. Многие даже решили, что это в нем от неразвитости и тупости, остатков прежнего рабства. И это теперь, что же было во времена Пушкина? Не я ли слышал сам, в юности моей, от людей передовых и «компетентных», что образ пушкинского Савельича в «Капитанской дочке», раба помещиков Гриневых, упавшего в ноги Пугачеву и просившего его пощадить барчонка, а «для примера и страха ради повесить уж лучше его, старика», — что этот образ не только есть образ раба, но и апофеоз русского рабства!

Пушкин любил народ не за одни только страдания его. За страдания сожалеют, а сожаление так часто идет рядом с презрением. Пушкин любил все, что любил этот народ, чтил все, что тот чтил. Он любил природу русскую до страсти, до умиления, любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, это был человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его. Умаление Пушкина как поэта, более исторически, более архаически преданного народу, чем на деле, — ошибочно и не имеет даже смысла. В этих исторических и архаических мотивах звучит такая любовь и такая *оценка народа*, которая принадлежит народу *вековечно*, всегда, и теперь и в будущем, а не в одном только каком-нибудь давнопрошедшем историческом народе. Народ наш любит свою историю главное за то, что в ней встречает незыблемую ту же самую святыню, в которую сохранил он свою веру и теперь, несмотря на все страдания и мытарства свои. Начиная с величавой, огромной фигуры летописца в «Борисе Годунове», до изображения спутников Пугачева, — все это у Пушкина — народ в его

глубочайших проявлениях, и все это понятно народу, как собственная суть его. Да это ли одно? Русский дух разлит в творениях Пушкина, русская жилка бьется везде. В великих, неподражаемых, несравненных песнях будто бы западных славян, но которые суть явно порождение русского великого духа, вылилось все воззрение русского на братьев славян, вылилось все сердце русское, объявилось все мировоззрение народа, сохраняющееся и доселе в его песнях, былинах, преданиях, сказаниях, высказалось все, что любит и чтит народ, выразились его идеалы героев, царей, народных защитников и печальников, образы мужества, смирения, любви и жертвы. А такие прелестные шутки Пушкина, как, например, болтовня двух пьяных мужиков, или Сказание о медведе, у которого убили медведицу, — это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное в его созерцании народа. Если б Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища для понимания народного, которые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма, — к народной правде, к народной силе и к сознанию народного назначения. Вот это-то поклонение перед правдой народа вижу я отчасти (увы, может быть, один я из всех его почитателей) — и в Некрасове, в сильнейших произведениях его. Мне дорого, очень дорого, что он «печальник народного горя» и что он так много и страстно говорил о горе народном, но еще дороже для меня в нем то, что в великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни он, несмотря на все противоположные влияния и даже на собственные убеждения свои, преклонялся перед народной правдой

всем существом своим, о чем и засвидетельствовал в своих лучших созданиях. Вот в этом-то смысле я и поставил его как пришедшего после Пушкина и Лермонтова с тем же самым отчасти новым словом, как и те (потому что «слово» Пушкина до сих пор еще для нас новое слово. Да и не только новое, а еще и неизданное, неразобранное, за самый старый хлам считающееся).

Прежде чем перейду к Некрасову, скажу два слова и о Лермонтове, чтоб оправдать то, почему я тоже поставил и его как уверовавшего в правду народную. Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой своеобразной поэтической силе своей и байронист-то особенный — какой-то насмешливый, капризный и брюзгливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б он перестал возиться с больною личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашников, убив за бесчестье свое государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные его очи, отвечает ему, что убил он государева слугу Кирибеевича «вольной волею, а не нехотя». Помните ли вы, господа, «раба Шибанова»? Раб Шибанов был раб князя Курбского, русского эмигранта

XVI столетия, писавшего все к тому же царю Ивану^[279] свои оппозиционные и почти ругательные письма из-за границы, где он безопасно приютился. Написав одно письмо, он призвал раба своего Шибанова и велел ему письмо снести в Москву и отдать царю лично. Так и сделал раб Шибанов. На Кремлевской площади он остановил выходившего из собора царя, окруженного своими приспешниками, и подал ему послание своего господина, князя Курбского. Царь поднял жезл свой с острым наконечником, с размаху вонзил его в ногу Шибанова, оперся на жезл и стал читать послание. Шибанов с проколотой ногою не шевельнулся. А царь, когда стал потом отвечать письмом князю Курбскому, написал, между прочим: «Устыдися раба твоего Шибанова». Это значило, что он сам устыдился раба Шибанова. Этот образ русского «раба», должно быть, поразил душу Лермонтова. Его Калашников говорит царю без укора, без попрека за Кирибеевича, говорит он, зная про верную казнь, его ожидающую, говорит царю «всю правду истинную», что убил его любимца «вольной волею, а не нехотя». Повторяю, остался бы Лермонтов жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного «печальника горя народного». Но это имя досталось Некрасову...

Опять-таки, я не равняю Некрасова с Пушкиным, я не меряю аршином, кто выше, кто ниже, потому что тут не может быть ни сравнения, ни даже вопроса о нем. Пушкин, по обширности и глубине своего русского гения,

²⁷⁹ ...князя Курбского, русского эмигранта XVI столетия, писавшего все к тому же царю Ивану... — Имеется в виду переписка князя Андрея Михайловича Курбского с Иваном Грозным.

до сих пор есть как солнце над всем нашим русским интеллигентным мировоззрением. Он великий и непонятый еще предвозвеститель. Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним, малая планета, но вышедшая из этого же великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им заслуженное, и я уже сказал почему — за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. И это тем замечательнее в Некрасове, что он всю жизнь свою был под влиянием людей хотя и любивших народ, хотя и печалившихся о нем, может быть, весьма искренно, но никогда не признававших в народе правды и всегда ставивших европейское просвещение свое несравненно выше истины духа народного. Не вникнув в русскую душу и не зная, чего ждет и просит она, им часто случалось желать нашему народу, со всею любовью к нему, того, что прямо могло бы послужить к его бедствию. Не они ли в русском народном движении, за последние два года, не признали почти вовсе той высоты подъема духа народного, которую он, может быть, в первый раз еще выказывает в такой полноте и силе и тем свидетельствует о своем здоровом, могучем и неколебимом доселе живом единении в одной и той же великой мысли и почти предузнает сам будущее предназначение свое. И мало того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетельствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. Некрасов же, несмотря на замечательный, чрезвычайно сильный ум свой, был лишен, однако, серьезного образования, по

крайней мере, образование его было небольшое. Из известных влияний он не выходил во всю жизнь, да и не имел сил выйти. Но у него была своя, своеобразная сила в душе, не оставлявшая его никогда, — это истинная, страстная, а главное, непосредственная любовь к народу. Он болел о страданиях его всей душою, но видел в нем не один лишь униженный рабством образ, звериное подобие, но смог силой любви своей постичь почти бессознательно и красоту народную, и силу его, и ум его, и страдальческую кротость его и даже частию уверовать и в будущее предназначение его. О, сознательно Некрасов мог во многом ошибаться. Он мог воскликнуть в недавно напечатанном в первый раз экспромте его, с тревожным укором созерцая освобожденный уже от крепостного состояния народ:

...Но счастлив ли народ?^[280]

Великое чутье его сердца подсказало ему скорбь народную, но если б его спросили, «чего же пожелать народу и как это сделать?», то он, может быть, дал бы и весьма ошибочный, даже пагубный ответ. И, уж конечно, его нельзя винить: политического смысла у нас еще до редкости мало, а Некрасов, повторяю, был всю жизнь под чужими влияниями. Но сердцем своим, но великим поэтическим вдохновением своим он неудержимо примыкал, в иных великих стихотворениях своих, к самой сути народной. В этом смысле это был народный поэт. Всякий, выходящий из народа, при самом малом даже образовании, поймет уже много у Некрасова. Но лишь при образовании. Вопрос о том, поймет ли Некрасова теперь прямо весь народ русский, — без сомнения,

²⁸⁰ ...Но счастлив ли народ? — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия».

вопрос явно немыслимый. Что поймет «простой народ» в шедёврах его: «Рыцарь на час», «Тишина», «Русские женщины»? Даже в великом «Власе» его, который может быть понятен народу (но не вдохновит нисколько народ, ибо все это поэзия, давно уже вышедшая из непосредственной жизни), народ отличит два-три фальшивые штриха наверно. Что разберет народ в одной из самых могучих и самых зовущих поэм его «На Волге»? Это настоящий дух и тон Байрона. Нет, Некрасов пока еще — лишь поэт русской интеллигенции, с любовью и со страстью говоривший о народе и страданиях его той же русской интеллигенции. Не говорю в будущем, — в будущем народ отметит Некрасова. Он поймет тогда, что был когда-то такой добрый русский барин, который плакал скорбными слезами о его народном горе и ничего лучше и придумать не мог, как, убегая от своего богатства и от грешных соблазнов барской жизни своей, приходил в очень тяжкие минуты свои к нему, к народу, и в неудержимой любви к нему очищать свое измученное сердце, — ибо любовь к народу у Некрасова была лишь *исходом его собственной скорби по себе самом...*

Но прежде чем разъясню, как понимаю я эту «собственную скорбь» дорогого нам усопшего поэта по себе самом, — не могу не обратить внимание на одно характерное и любопытное обстоятельство, обозначившееся почти во всей нашей газетной прессе сейчас после смерти Некрасова, почти во всех статьях, говоривших о нем.

Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке

Все газеты, чуть только заговаривали о Некрасове, по поводу смерти и похорон его, чуть только начинали определять его значение, как тотчас же и прибавляли, все без изъятия, некоторые соображения о какой-то «практичности» Некрасова, о каких-то недостатках его, пороках даже, о какой-то двойственности в том образе, который он нам оставил о себе. Иные газеты лишь намекали на эту тему чуть-чуть, в каких-нибудь двух строках, но важно то, что все-таки намекали, видимо по какой-то даже необходимости, которой избежать не могли. В других же изданиях, говоривших о Некрасове обширнее, выходило и еще страннее. В самом деле: не формулируя обвинений в подробности и как бы избегая того, от глубокой и искренней почтительности к покойному, они все-таки пускались... оправдывать его, так что выходило еще непонятнее. «Да в чем же вы оправдываете? — срывался невольно вопрос; — если знаете что, то прятаться нечего, а мы хотим знать, нуждается ли еще он в оправданиях ваших?» Вот какой зажигался вопрос. Но формулировать не хотели, а с оправданиями и с оговорками спешили, как будто желая поскорее предупредить кого-то, и, главное, опять-таки, — как будто и не могли никак избежать этого, хотя бы, может быть, и хотели того. Вообще чрезвычайно любопытный случай, но если вникнуть в него, то и вы, и всякий, кто бы вы ни были, несомненно придете к заключению, чуть лишь размыслите, что случай этот совершенно нормальный, что, заговорив о Некрасове как о поэте, действительно никак нельзя миновать говорить о нем как и о лице, потому что в

Некрасове поэт и гражданин — до того связаны, до того оба необъяснимы один без другого и до того взятые вместе объясняют друг друга, что, заговорив о нем как о поэте, вы даже невольно переходите к гражданину и чувствуете, что как бы принуждены и должны это сделать и избежать не можете.

Но что же мы можем сказать и что именно мы видим? Произносится слово «практичность», то есть умение обделывать свои дела, но и только, а затем спешат с оправданиями: «Он-де страдал, он с детства был заеден средой», он вытерпел еще юношей в Петербурге, бесприютным, брошенным, много горя, а следственно, и сделался «практичным» (то есть как будто и не мог уж не сделаться). Другие идут даже дальше и намекают, что без этой-то ведь «практичности» Некрасов, пожалуй, и не совершил бы столь явно полезных дел на общую пользу, например, совладал с изданием журнала и проч. и проч. Что же, для хороших целей оправдывать, стало быть, дурные средства? И это говоря о Некрасове-то, человеке, который потрясал сердца, вызывал восторг и умиление к доброму и прекрасному стихами своими. Конечно, все это говорится, чтоб извинить, но, мне кажется, Некрасов не нуждается в таком извинении. В извинениях на подобную тему всегда заключается как бы нечто принизительное, и как бы затемняется и умаляется образ извиняемого чуть не до пошлых размеров. В самом деле, чуть я начну извинять «двойственность и практичность» лица, то тем как бы и настаиваю, что эта двойственность даже естественна при известных обстоятельствах, чуть не необходима. А если так, то совершенно приходится примириться с образом человека, который сегодня бьется о плиты родного храма, кается, кричит: «Я упал, я упал».

И это в бессмертной красоте стихах, которые он в ту же ночь запишет, а на завтра, чуть пройдет ночь и обсохнут слезы, и опять примется за «практичность», потому-де, что она, мимо всего другого — и необходима. Да что же тогда будут означать эти стоны и крики, облекшиеся в стихи? Искусство для искусства, не более, и даже в самом пошлом его значении, потому что он эти стихи сам похваливает, сам на них любит, ими совершенно доволен, их печатает, на них рассчитывает: придадут, дескать, блеск изданию, взволнуют молодые сердца. Нет, если все это оправдывать, да не разъяснив, то мы рискуем впасть в большую ошибку и порожаем недоумение, и на вопрос: «Кого вы хороните?» — мы, провожавшие гроб его, принуждены бы были ответить, что хороним «самого яркого представителя искусства для искусства, какой только может быть». Ну, а было ли это так? Нет, *воистину это не было так*, а хоронили мы воистину «печальника народного горя» и вечного страдальца о себе самом, вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя, и сам с отвращением и самобичеванием отвергал дешевое примирение.

Нужно выяснить дело, выяснить искренно и беспристрастно, и что выяснится, то принять как оно есть, несмотря ни на какое лицо и ни на какие дальнейшие соображения. Тут надо именно выяснить всю суть по возможности, чтобы как можно точнее добыть из выяснений фигуру покойного, лицо его; так наши сердца требуют, для того чтоб не оставалось у нас о нем ни малейшего такого недоумения, которое невольно чернит память, оставляет нередко и на высоком образе недостойную тень.

Сам я знал «практическую жизнь» покойника мало, а потому приступить к анекдотической части этого дела

не могу, но если б и мог, то не хочу, потому что прямо окунусь в то, что сам признаю сплетнею. Ибо я твердо уверен (и прежде был уверен), что из всего, что рассказывали про покойного, по крайней мере половина, а может быть и все три четверти, — чистая ложь. Ложь, вздор и сплетни. У такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, — не могло не быть врагов. А то, что действительно было, что в самом деле случилось, — то не могло тоже не быть подчас преувеличено. Но приняв это, все-таки увидим, что нечто все-таки остается. Что же такое? Нечто мрачное, темное и мучительное бесспорно, потому что — что же означают тогда эти стоны, эти крики, эти слезы его, эти признания, что «он упал», эта страстная исповедь перед тенью матери? Тут самобичевание, тут казнь? Опять-таки в анекдотическую сторону дела вдаваться не буду, но думаю, что суть той мрачной и мучительной половины жизни нашего поэта как бы предсказана им же самим, еще на заре дней его, в одном из самых первоначальных его стихотворений, набросанных, кажется, еще до знакомства с Белинским (и потом уж позднее обделанных и получивших ту форму, в которой явились они в печати). Вот эти стихи:

Огни зажигались вечерние,
Выл ветер и дождик мочил,
Когда из Полтавской губернии
Я в город столичный входил.
В руках была палка предлинная,
Котомка пустая на ней,

На плечах шубенка овчинная,
В кармане пятнадцать грошей.
Ни денег, ни званья, ни племени,
Мал ростом и с виду смешон,
Да сорок лет минуло времени, —
В кармане моем миллион.^[281]

Миллион — вот демон Некрасова! Что ж, он любил так золото, роскошь, наслаждения и, чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и унижительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. Я думаю, этот демон присосался еще к сердцу ребенка, ребенка пятнадцати лет, очутившегося на петербургской мостовой, почти бежавшего от отца. Робкая и гордая молодая душа была поражена и уязвлена, покровителей искать не хотела, войти в соглашение с этой чуждой толпой людей не желала. Не то чтобы неверие в людей закралось в сердце его так рано, но скорее скептическое и слишком раннее (а стало быть, и ошибочное) чувство к ним. Пусть они не злы, пусть они не так страшны, как об них говорят (наверно думалось ему), но они, все, все-таки слабая и робкая дрянь, а потому и без злости погубят, чуть лишь дойдет до их интереса. Вот тогда-то и начались, может

²⁸¹ ...Огни зажигались вечерние... В кармане моем миллион... — Строфы из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет (Опыт современной баллады)».

быть, мечтания Некрасова, может быть, и сложились тогда же на улице стихи: «В кармане моем миллион».

Это была жажда мрачного, угрюмого, отъединенного самообеспечения, чтобы уже не зависеть ни от кого. Я думаю, что я не ошибаюсь, я припоминаю кое-что из самого первого моего знакомства с ним. По крайней мере мне так казалось всю потом жизнь. Но этот демон все же был низкий демон. Такого ли *самообеспечения* могла жаждать душа Некрасова, эта душа, способная так отзываться на все святое и не покидавшая веры в него. Разве таким самообеспечением ограждают себя столь одаренные души? Такие люди пускаются в путь босы и с пустыми руками, и на сердце их ясно и светло. Самообеспечение их не в золоте. Золото — грубость, насилие, деспотизм! Золото может казаться обеспечением именно той слабой и робкой толпе, которую Некрасов сам презирал. Неужели картины насилия и потом жажда сластолюбия и разврата могли ужиться в таком сердце, в сердце человека, который сам бы мог воззвать к иному: «Брось все, возьми посох свой и иди за мной».^[282]

Уведи меня в стан погибающих

За великое дело любви.^[283]

Но демон осилил, и человек остался на месте и никуда не пошел.

²⁸² *Брось все, возьми посох свой и иди за мной.* — Соединение разных евангельских текстов.

²⁸³ *Уведи меня в стан погибающих//За великое дело любви.* — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

За то и заплатил страданием, страданием всей жизни своей. В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о внутренней борьбе его с своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь продолжавшейся? Я и не говорю уже о добрых делах Некрасова: он об них не публиковал, но они несомненно были, люди уже начинают свидетельствовать об гуманности, нежности этой «практичной» души. Г-н Суворин уже публиковал нечто, я уверен, что обнаружится много и еще добрых свидетельств, не может быть иначе. «О, скажут мне, вы тоже ведь оправдываете, да еще дешевле нашего». Нет, я не оправдываю, я только разъясняю и добился того, что могу поставить вопрос, — вопрос окончательный и всеразрешающий.

Свидетель в пользу Некрасова

Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе. «Что ему Гекуба?» — спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный *искренно* заплакать о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить затем скорбь свою (настоящую скорбь) в бессмертной красоте стихах и на завтра же способный действительно утешиться... этой красотой стихов. Красотой стихов, и только. Мало того: взглянуть на эту красоту стихов как на «практическую» же вещь, способную доставить прибыль, деньги, славу, и употребить эту вещь в этом смысле? Или, напротив того, скорбь поэта не проходила и после стихов, не удовлетворялась ими; красота их, сила, в них выраженная, угнетала и мучила его самого, и если, будучи не в силах совладать с своим вечным демоном, с страстями, победившими его на всю жизнь, он

и опять падал, то спокойно ли примирялся с своим падением, не возобновлялись ли его стоны и крики еще сильнее в тайные святые минуты покаяния, — повторялись ли, усиливались ли в сердце его с каждым разом так, что сам он, наконец, мог видеть ясно, чего стоит ему его демон и как дорого заплатил он за те блага, которые получил от него. Одним словом, если он и мог примиряться моментально с демоном своим и даже сам мог пускаться оправдывать «практичность» свою в разговорах с людьми, то оставалось ли такое примирение и успокоение навечно или, напротив, улетало мгновенно из сердца, оставляя по себе еще жгуче боль, стыд и угрызения? Тогда, — если б только можно было решить этот вопрос, — тогда нам что ж бы оставалось? Оставалось бы только осудить его за то, что, будучи не в силах совладать с соблазнами своими, он не покончил с собой, например, как тот древний печерский многострадалец,^[284] который, тоже будучи не в силах совладать с змием страсти, его мучившей, закопал себя по пояс в землю и умер, если не изгнав своего демона, то, уж конечно, победив его. В таком случае, мы сами, то есть каждый из нас, очутились бы в унижительном и комическом положении, если б осмелились брать на себя роль судей, произносящих такие приговоры. Тем не менее поэт, который сам написал о себе:

Поэтом можешь ты не быть,

Но гражданином быть обязан,^[285]

²⁸⁴ ...древний печерский многострадалец... — Речь идет о борьбе с плотским искушением Иоанна-затворника, судьба которого сообщена в патерике (сборнике жизнеописаний святых) Киево-Печерского монастыря.

²⁸⁵ ...Поэтом можешь ты не быть, // Но гражданином быть обязан... — Строки из

тем самым как бы и признал над собой суд людей как «граждан». Как лицам нам бы, конечно, было стыдно судить его. Сами-то мы каковы, каждый-то из нас? Мы только не говорим лишь о себе вслух и прячем нашу мерзость, с которою вполне миримся, внутри себя. Поэт плакал, может быть, о таких делах своих, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их. Ведь мы знаем о падениях его, о демоне его из его же стихов. Не было бы этих стихов, которые он в покаянной искренности своей не убоился огласить, то и все, что говорилось о нем как о человеке, о «практичности» его и о прочем, — все это умерло бы само собою и стерлось бы из памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни, так что всякое оправдание его оказалось бы вовсе и не нужным ему. Замечу кстати, что для практического и столь умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем. Тем не менее, повторяю, на суд граждан он должен идти, ибо сам признал этот суд. Таким образом, если б тот вопрос, который поставился у нас выше: удовлетворялся ли поэт стихами своими, в которые облекал свои слезы, и примирялся ли с собою до того спокойствия, которое опять позволяло ему пускаться с легким сердцем в «практичность», или же, напротив того, — примирения бывали лишь моментальные, так что он сам презирал себя, может быть, за позор их, потом мучился еще горче и больше, и так во всю жизнь, — если б этот вопрос, повторяю, мог бы быть разрешен в пользу второго предположения, то, уж конечно, тогда мы бы

тотчас могли примириться и с «гражданином» Некрасовым, ибо собственные страдания его очистили бы перед нами вполне нашу память о нем. Разумеется, тут сейчас является возражение: если вы не в силах разрешить такой вопрос (а кто может его разрешить?), то и ставить его не надо было. Но в том-то и дело, что его можно разрешить. Есть свидетель, который может его разрешить. Этот свидетель — народ.

То есть любовь его к народу! И, во-первых, для чего бы «практическому» человеку так увлекаться любовью к народу. Всякий занят своим делом: один практичностью, другой печалью по народу. Ну, положим, прихоть, так ведь поиграл и отстал. А Некрасов не отставал во всю жизнь. Скажут: народ для него — это та же «Гекуба», предмет слез, облеченных в стихи и дающих доход. Но я уже не говорю о том, что трудно до того подделать такую искренность любви, какая слышится в стихах Некрасова (об этом спор может быть бесконечный), но я о том только скажу, что мне ясно, почему Некрасов так любил народ, почему его так тянуло к нему в тяжелые минуты жизни, почему он шел к нему и что находил у него. Потому, как сказал я выше, что любовь к народу была у Некрасова как бы *исходом его собственной скорби по себе самом*. Поставьте это, примите это — и вам ясен весь Некрасов, и как поэт и как гражданин. В служении сердцем своим и талантом своим народу он находил все свое очищение перед самим собой. Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов. В любви к нему он находил свое оправдание. Чувствами своими к народу он возвышал дух свой. Но что главное — это то, что он не нашел предмета любви своей между людей, окружавших его, или в том, что чтут эти люди и пред чем они преклоняются. Он отрывался,

напротив, от этих людей и уходил к оскорбленным, к терпящим, к простодушным, к униженным, когда нападало на него отвращение к той жизни, которой он минутами слабодушно и порочно отдавался; он шел и бился о плиты бедного сельского родного храма и получал исцеление. Не избрал бы он себе такой исход, *если б не верил в него*. В любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. А если так, то, стало быть, и не находил ничего святее, незыблее, истиннее, перед чем преклониться. Не мог же он полагать все самооправдание лишь в стихах о народе. А коли так, то, стало быть, и он преклонялся перед *правдой народной*. Если не нашел ничего в своей жизни более достойного любви, как народ, то, стало быть, признал и *истину народную*, и *истину в народе*, и что истина есть и сохраняется лишь в народе. Если не вполне сознательно, не в убеждениях признавал он это, то сердцем признавал, неудержимо, неотразимо. В этом порочном мужике, униженный и унижительный образ которого так его мучил, он находил, стало быть, и что-то истинное и святое, что не мог не почитать, на что не мог не отзываться всем сердцем своим. В этом смысле я и поставил его, говоря выше об его литературном значении, тоже в разряд тех, которые признавали правду народную. Вечное же искание этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими

практическими оправданиями. А если так, то он, стало быть, страдал всю свою жизнь... И какие же мы судьи его после того? Если и судьи, то не обвинители.

Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше печальное, переходное время. Но этот человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так часто были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу и страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупить...

Дневник писателя. 1880

Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи о Пушкине

Речь моя о Пушкине и о значении его, помещаемая ниже и составляющая основу содержания настоящего выпуска «Дневника писателя» (единственного выпуска за 1880 год^[286]), была произнесена 8 июня сего года в торжественном заседании Общества любителей российской словесности, при многочисленной публике, и произвела значительное впечатление. Иван Сергеевич Аксаков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы предводителем славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь «составляет событие». Не для похвальбы вспоминаю это теперь, а для того, чтобы заявить вот что: если моя речь составляет событие, то только с одной и единственной точки зрения, которую обозначу ниже. Для сего и пишу это предисловие. Собственно же в речи моей я хотел обозначить лишь следующие четыре пункта в значении Пушкина для России.

1) То, что Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и

²⁸⁶ Издание «Дневника писателя» надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит мое здоровье.

в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и Лаврецкие, Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество других, уже появлением своим засвидетельствовавшие о правде первоначально данной мысли Пушкиным. Ему честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую большую язву составившегося у нас после великой петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознаванием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной, ибо

2) Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его стихотворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». Главное же, что надо особенно подчеркнуть, — это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его

взяты всецело из народного духа. Тут уже надобно говорить всю правду: не в нынешней нашей цивилизации, не в «европейском» так называемом образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и *только в нем*. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду: «Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены». Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно.

Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения — способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного. Я сказал в моей речи, что в Европе были величайшие художественные мировые гении: Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры, но что ни у кого из них не видим этой способности, а видим ее только у Пушкина. Не в отзывчивости одной тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения. Эту способность, понятно, я не мог не отметить в оценке Пушкина, именно как характернейшую особенность его гения, принадлежащую из всех всемирных художников ему только одному, чем и отличается он от них от всех. Но не для умаления такой величины европейских гениев, как Шекспир и Шиллер, сказал я это; такой глупенький вывод из моих слов мог бы сделать только дурак. Всемирность, *всепонятность* и неисследимая глубина мировых типов человека арийского племени, данных Шекспиром на веки веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. И если б

Шекспир создал Отелло действительно *венецианским* мавром, а не англичанином, то только придал бы ему ореол местной национальной характерности, мировое же значение этого типа осталось бы по-прежнему то же самое, ибо и в итальянце он выразил бы то же самое, что хотел сказать, с такою же силою. Повторяю, не на мировое значение Шекспиров и Шиллеров хотел я посягнуть, обозначая гениальнейшую способность Пушкина перевоплощаться в гении чужих наций, а желая лишь в самой этой способности и в полноте ее отметить великое и пророческое для нас указание, ибо

4) Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во все двухсотлетие с петровской реформы не раз. Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно. И не надо, не надо возмущаться сказанным мною, «что нищая земля наша,

может быть, в конце концов скажет новое слово миру». Смешно тоже и уверять, что прежде чем сказать новое слово миру, «надобно нам самим развиться экономически, научно и гражданственно, и тогда только мечтать о „новых словах“ таким совершенным (будто бы) организмам, как народы Европы». Я именно напираю в моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь *нравственная* черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? Может ли кто сказать, что русский народ есть только косная масса, осужденная лишь служить *экономически* преуспеянию и развитию европейской интеллигенции нашей, возвысившейся над народом нашим, сама же в себе заключает лишь мертвую косность, от которой ничего и не следует ожидать и на которую совсем нечего возлагать никаких надежд? Увы, так многие утверждают, но я рискнул объявить иное. Повторяю, я, конечно, не мог доказать «этой фантазии моей», как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической

силы. Наша нищая неурядная земля, кроме высшего слоя своего, вся сплошь как один человек. Все восемьдесят миллионов ее населения представляют собою такое духовное единение, какого, конечно, в Европе нет нигде и не может быть, а, стало быть, уже по сему одному нельзя сказать, что наша земля неурядна, даже в строгом смысле нельзя сказать, что и нищая. Напротив, в Европе, в этой Европе, где накоплено столько богатств, все гражданское основание всех европейских наций — все подкопано и, может быть, завтра же рухнет бесследно на веки веков, а взамен наступит нечто неслыханно новое, ни на что прежнее не похожее. И все богатства, накопленные Европой, не спасут ее от падения, ибо «в один миг исчезнет и богатство».^[287] Между тем на этот, именно на этот подкопанный и зараженный их гражданский строй и указывают народу нашему как на идеал, к которому он должен стремиться, и лишь по достижении им этого идеала осмелиться пролепетать свое какое-либо слово Европе. Мы же утверждаем, что вмещать и носить в себе силу любящего и всеединящего духа можно и при теперешней экономической нищете нашей, да и не при такой еще нищете, как теперь. Ее можно сохранять и вмещать в себе даже и при такой нищете, какая была после нашествия Батыева^[288] или после погрома Смутного времени, когда единственно всеединящим духом народным была спасена Россия. И наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для

²⁸⁷ ...в один миг исчезнет и богатство. — Достоевский использует рассказ о судьбе Вавилона — Рима из «Откровения Иоанна Богослова»: «...ибо в один час погибло также богатство».

²⁸⁸ Батый (1208–1255) — монгольский хан, внук Чингисхана. Предводитель общемонгольского похода на Восточную и Центральную Европу. С 1243 года хан Золотой Орды.

того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они непохожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной все досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!), — если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиваться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм? А еще толкуют о естественных науках! «Этого народ не позволит», — сказал по одному поводу, года два назад, один собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво. И был он не кто-нибудь, а один из представителей нашей интеллигенции. Анекдот этот верен.

Четырьмя этими пунктами я обозначил значение для нас Пушкина, и речь моя, повторяю, произвела впечатление. Не заслугами своими произвела она это впечатление (я напирал на это), не талантливостью изложения (соглашаюсь в этом со всеми моими противниками и не хвалюсь), а искренностью ее и, осмелюсь сказать это, — некоторою неотразимостью выставленных мною фактов, несмотря на всю краткость и

неполноту моей речи. Но в чем же, однако, заключалось «событие»-то, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А вот именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (боже, у нас есть «русская партия»!), сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заявили всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — историческою необходимостью, историческим фатумом, так что в конце концов и в итоге, если когда-нибудь будет он подведен, обозначится, что западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений «русских иноземцев». Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, «событием», ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь — да и заявил это в самой речи моей, — что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению «партии» нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не

высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту. Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что «западникам и славянофилам не о чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как все отныне разъяснено». С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы «событием». Но увы, слово «событие» произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники,^[289] и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальной, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно: не в первых ли «попыхах» увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и несколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности, — но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав (*Nota bene*, я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напираю): «А, —

²⁸⁹ ...подошли ко мне пожать мою руку и западники... — Имеются в виду И. С. Тургенев и П. В. Анненков.

скажут, может быть, западники (слышите: только „может быть“, не более), — а, вы согласились-таки наконец после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена, — что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, — но... тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то это положение — все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, напротив — оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества, — ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, — если уж невозможно и

нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. Вся история народа нашего есть абсурд, из которого вы до сих пор черт знает что выводили, а смотрели только мы трезво. Надобно, чтоб такой народ, как наш, — не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Надобно, чтоб имело историю лишь одно наше интеллигентное общество, которому народ должен служить лишь своим трудом и своими силами.

Позвольте, не беспокойтесь и не кричите: не закабалить народ наш мы хотим, говоря о послушании его, о, конечно, нет! не выводите, пожалуйста, этого: мы гуманны, мы европейцы, вы слишком знаете это. Напротив, мы намерены образовать наш народ помаленьку, в порядке, и увенчать наше здание, вознеся народ до себя и переделав его национальность уже в иную, какая там сама наступит после образования его. Образование же его мы оснуем и начнем, с чего сами начали, то есть на отрицании им всего его прошлого и на проклятии, которому он сам должен предать свое прошлое. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европой, ну хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, — словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен, и хотя из них есть несколько прекрасных и музыкальных,

но мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль, сколь бы вы там ни сердились на это. Одним словом, для доброй цели мы, многочисленнейшими и всякими средствами, подействуем прежде всего на слабые струны характера, как и с нами было, и тогда народ — наш. Он застыдится своего прежнего и проклянет его. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш, — вот наша формула! Мы ее всецело приложим, когда примемся возносить народ до себя. Если же народ окажется неспособным к образованию, то — «устранить народ». Ибо тогда выставится уже ясно, что народ наш есть только недостойная, варварская масса, которую надо заставить лишь слушаться. Ибо что же тут делать: в интеллигенции и в Европе лишь правда, а потому хоть у вас и восемьдесят миллионов народу (чем вы, кажется, хвастаетесь), но все эти миллионы должны прежде всего послужить этой европейской правде, так как другой нет и не может быть. Количественно же миллионов нас не испугаете. Вот всегдашний наш вывод, только теперь уж во всей наготе, и мы остаемся при нем. Не можем же мы, приняв ваш вывод, толковать вместе с вами, например, о таких странных вещах, как *le Pravoslavié* и какое-то будто бы особое значение его. Надеемся, что вы от нас хотя этого-то не потребуете, особенно теперь, когда последнее слово Европы и европейской науки в общем выводе есть атеизм, просвещенный и гуманный, а мы не можем же не идти за Европой.

А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим «началам» — уж извините, мы не можем принять...» Вот

какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно наскажут в этом роде и, может быть, даже уж и насажали. (Nota bene. Насчет веры, например, уже было заявлено в одном издании, со всем свойственным ему остроумием, что цель славянофилов — это перекрестить всю Европу в православие.) Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представителей нашего европеизма. И если они примут хоть только половину нашего вывода и наших надежд на них, то честь им и слава и за это, и мы встретим их в восторге нашего сердца. Если даже одну половину примут они, то есть признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединящее его стремление, то и тогда уже будет почти не о чем спорить, по крайней мере из основного, из главного. Тогда действительно моя речь послужила бы к основанию нового события. Не она сама, повторяю в последний раз, была бы событием (она не достойна такого наименования), а великое Пушкинское торжество, послужившее событием нашего единения — единения уже всех образованных и искренних русских людей для будущей прекраснейшей цели.

Пушкин

(очерк)

Произнесено 8 июня в заседании Общества любителей российской словесности

«Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание. Я делю деятельность нашего великого поэта на три периода. Говорю теперь не как литературный критик: касаясь творческой деятельности Пушкина, я хочу лишь разъяснить мою мысль о пророческом для нас значении его и что я в этом слове разумею. Замечу, однако же, мимоходом, что периоды деятельности Пушкина не имеют, кажется мне, твердых между собою границ. Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. Принято тоже говорить, что в первом периоде своей деятельности Пушкин

подражал европейским поэтам. Парни, Андре Шенье и другим, особенно Байрону. Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влияние на развитие его гения, да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная самостоятельность его гения. В подражаниях никогда не появляется такой самостоятельности страдания и такой глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, в «Цыганах» — поэме, которую я всецело отношу еще к первому периоду его творческой деятельности. Не говорю уже о творческой силе и о стремительности, которой не явилось бы столько, если б он только лишь подражал. В типе Алеко, герое поэмы «Цыганы», сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то

все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это все тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции — и все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому придан некоторый благодушный русский характер, — но ведь все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя. Алеко,

конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него все это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: «Правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественной и гражданской жизнью». И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну и что же в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству и, даже весьма вероятно, обладая крепостными людьми, он позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и на время стал в цыганском таборе водить и показывать Мишку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта,^[290] всего скорее

²⁹⁰ ...женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта... — Вероятно, имеются в виду слова Я. П. Полонского из его статьи «По поводу последней

могла подать ему надежду на исход тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бросается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где, может быть, мое счастье здесь, на лоне природы, далеко от света, здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что же оказывается: при первом столкновении своем с условиями этой дикой природы он не выдерживает и обагрывает свои руки кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цыган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его — без отмщения, без злобы, величаво и простодушно:

Оставь нас, гордый человек;

Мы дики, нет у нас законов,

Мы не терзаем, не казним.^[291]

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то человек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, именно, чуть не по нем, и он злобно растерзает и казнит за свою обиду или, что даже удобнее, вспомнив о принадлежности своей к одному из четырнадцати классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и это), к закону, терзающему и казнящему, и призовет его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подсказывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись,

повести графа Л. Н. Толстого „Казак“ (Письмо редактору „Времени“).

²⁹¹ *Оставь нас, гордый человек, // Мы дики, нет у нас законов, // Мы не терзаем, не казним.* — Слова из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», вот это решение по народной правде и народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в «Евгении Онегине», поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностию, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй.

Онегин приезжает из Петербурга — непременно из Петербурга, это несомненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог упустить такой крупной реальной черты в биографии своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, особенно потом, когда он восклицает в тоске:

Зачем, как тульский заседатель,

Я не лежу в параличе?^[292]

Но теперь, в начале поэмы он пока еще наполовину фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб

²⁹² *Зачем, как тульский заседатель, // Я не лежу в параличе?* — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить

Бес благородный скуки тайной.^[293]

В глуши, в сердце своей родины, он, конечно, не у себя, он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он скитается в тоске по родной земле и по землям иностранным, он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слышал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве, а на верующих в эту возможность, — и тогда, как и теперь, немногих, — смотрит с грустною насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины, и ей предназначил поэт высказать мысль поэмы в знаменитой сцене последней встречи Татьяны с

²⁹³ *Бес благородный скуки тайной.* — Слова из стихотворения Н. А. Некрасова «Отраднo видеть, что находит...».

Онегиным. Можно даже сказать, что такой красоты положительный тип русской женщины почти уже и не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в «Дворянском гнезде» Тургенева. Но манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства и действительно, может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конечно, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это отвлеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю его жизнь. Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, «постигал душой все ее совершенства». Но это только слова: она прошла в его жизни мимо него не признанная и не оцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировую тоской своею и с пролитую в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее, и, кипя здоровьем и силою, восклицать с проклятиями:

Я молод, жизнь во мне крепка,

Чего мне ждать, тоска, тоска!

Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившего дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недостижимой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и «нравственный эмбрион» останавливается наконец в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:

Уж не пародия ли он?

Да, она должна была прошептать это, она разгадала. В Петербурге, потом, спустя долго, при новой встрече их, она уже совершенно его знает. Кстати, кто сказал, что светская, придворная жизнь тлетворно коснулась ее души и что именно сан светской дамы и новые светские понятия были отчасти причиной отказа ее Онегину? Нет, это не так было. Нет, это та же Таня, та же прежняя деревенская Таня! Она не испорчена, она, напротив, удручена этою пышною петербургскою жизнью, надломлена и страдает; она ненавидит свой сан светской дамы, и кто судит о ней иначе, тот совсем не понимает того, что хотел сказать Пушкин. И вот она твердо говорит Онегину:

Но я другому отдана

И буду век ему верна.

Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофеоза. Она высказывает правду поэмы. О, я

ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака — нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: «Я вас люблю», потому ли, что она, «как русская женщина» (а не южная или не французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием чести, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она «другому отдана и будет век ему верна». Кому же, чему же верна? Каким это обязанностям? Этому-то старику генералу, которого она не может же любить, потому что любит Онегина, и за которого вышла потому только, что ее «с слезами заклинаний молила мать», а в обиженной, израненной душе ее было тогда лишь отчаяние и никакой надежды, никакого просвета? Да, верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся. Пусть ее «молила мать», но ведь она, а не кто другая, дала согласие, она ведь, она сама поклялась ему быть честной женой его. Пусть она вышла за него с отчаяния, но теперь он ее муж, и измена ее покроет его позором, стыдом и убьет его. А разве может человек основать свое счастье на несчастье другого? Счастье не в одних только наслаждениях любви, а и в высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит нечестный, безжалостный, бесчеловечный поступок? Ей бежать из-за того только, что тут мое счастье? Но какое же может быть счастье, если оно основано на чужом несчастье? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот

представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо, мало того — пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь, а просто честного старика, мужа молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен. И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах этого обещанного старика возвести ваше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос. И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых вы строили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного, и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Скажите, могла ли решить иначе Татьяна, с ее высокою душой, с ее сердцем, столь пострадавшим? Нет; чистая русская душа решает вот как: «Пусть, пусть я одна лишусь счастья, пусть мое несчастье безмерно сильнее, чем несчастье этого старика, пусть, наконец, никто и никогда, а этот старик тоже, не узнают моей жертвы и не оценят ее, но не хочу быть счастливою, загубив другого!» Тут трагедия, она и совершается, и перейти предела нельзя, уже поздно, и вот Татьяна отсылает Онегина. Скажут: да ведь несчастен же и Онегин; одного спасла, а другого погубила! Позвольте, тут другой вопрос, и даже, может быть, самый важный в поэме. Кстати, вопрос: почему Татьяна не пошла с Онегиным, имеет у нас, по крайней мере в литературе нашей, своего рода историю весьма характерную, а потому я и позволил себе так об этом вопросе

распространиться. И всего характернее, что нравственное разрешение этого вопроса столь долго подвергалось у нас сомнению. Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если б умер ее старый муж и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера! Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидел вдруг женщину, которою прежде пренебрег, в новой блестящей недосыгаемой обстановке, — да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. Ведь этой девочке, которую он чуть не презирал, теперь поклоняется свет — свет, этот страшный авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые стремления, — вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а «счастье было так возможно, так близко!». И как прежде Алеко к Земфире, так и он устремляется к Татьяне, ища в новой причудливой фантазии всех своих разрешений. Да разве этого не видит в нем Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия. Ведь если она пойдет за ним, то он завтра же разочаруется и взглянет на свое увлечение насмешливо. У него никакой почвы, это былинка, носимая ветром. Не такова она вовсе: у ней и в отчаянии и в страдальческом сознании, что погибла ее жизнь, все-таки есть нечто

твердое и незыблемое, на что опирается ее душа. Это ее воспоминания детства, воспоминания родины, деревенской глуши, в которой началась ее смиренная, чистая жизнь, — это «крест и тень ветвей над могилой ее бедной няни». О, эти воспоминания и прежние образы ей теперь всего драгоценнее, эти образы одни только и остались ей, но они-то и спасают ее душу от окончательного отчаяния. И этого немало, нет, тут уже многое, потому что тут целое основание, тут нечто незыблемое и неразрушимое. Тут соприкосновение с родиной, с родным народом, с его святынею. А у него что есть и кто он такой? Не идти же ей за ним из сострадания, чтобы только потешить его, чтобы хоть на время из бесконечной любовной жалости подарить ему призрак счастья, твердо зная наперед, что он завтра же посмотрит на это счастье свое насмешливо. Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла пойти за Онегиным.

Итак, в «Онегине», в этой бессмертной и недостижимой поэме своей, Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с исторической судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других

произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. Еще раз напомню: говорю не как литературной критик, а потому и не стану разъяснять мысль мою особенно подробным литературным обсуждением этих гениальных произведений нашего поэта. О типе русского инока-летописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да, это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть, стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна. Повсюду у Пушкина слышится вера в русский характер, вера в его духовную мощь, а коль вера, стало быть, и надежда, великая надежда за русского человека,

В надежде славы и добра

Гляжу вперед я без боязни,^[294] —

²⁹⁴ *В надежде славы и добра//Гляжу вперед я без боязни...* — Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы».

сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задумчиво и родственно с народом своим, как Пушкин. О, у нас есть много знатоков народа нашего между писателями, и так талантливо, так метко и так любовно писавших о народе, а между тем если сравнить их с Пушкиным, то, право же, до сих пор, за одним, много что за двумя исключениями из самых позднейших последователей его, это лишь «господа», о народе пишущие. У самых талантливых из них, даже вот у этих двух исключений, о которых я сейчас упомянул, нет-нет, а и промелькнет вдруг нечто высокомерное, нечто из другого быта и мира, нечто желающее поднять народ до себя и осчастливить его этим поднятием. В Пушкине же есть именно что-то сроднившееся с народом *взаправду*, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления. Возьмите Сказание о медведе и о том, как убил мужик его боярыню-медведицу, или припомните стихи:

Сват Иван, как пить мы станем,

и вы поймете, что я хочу сказать.

Все эти сокровища искусства и художественного прозрения оставлены нашим великим поэтом как бы в виде указания для будущих грядущих за ним художников, для будущих работников на этой же ниве. Положительно можно сказать: не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. По крайней мере, не проявились бы они в такой силе и с такою ясностью, несмотря даже на великие их дарования, в какой удалось им выразиться впоследствии, уже в наши дни. Но не в

поэзии лишь одной дело, не в художественном лишь творчестве: не было бы Пушкина, не определились бы, может быть, с такою непоколебимой силой (в какой это явилось потом, хотя все еще не у всех, а у очень лишь немногих) наша вера в нашу русскую самостоятельность, наша сознательная уже теперь надежда на наши народные силы, а затем и вера в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов. Этот подвиг Пушкина особенно выясняется, если вникнуть в то, что я называю третьим периодом его художественной деятельности.

* * *

Еще и еще раз повторяю: эти периоды не имеют таких твердых границ. Некоторые из произведений даже этого третьего периода могли, например, явиться в самом начале поэтической деятельности нашего поэта, ибо Пушкин был всегда цельным, целокупным, так сказать, организмом, носившим в себе все свои зачатки разом, внутри себя, не воспринимая их извне. Внешность только будила в нем то, что было уже заключено во глубине души его. Но организм этот развивался, и периоды этого развития действительно можно обозначить и отметить, в каждом из них, его особый характер и постепенность вырождения одного периода из другого. Таким образом, к третьему периоду можно отнести тот разряд его произведений, в которых преимущественно засияли идеи всемирные, отразились поэтические образы других народов и воплотились их гении. Некоторые из этих произведений явились уже после смерти Пушкина. И в этот-то период своей деятельности наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде

и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспир, Сервантес, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такою силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаще всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один из всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность. Вот сцены из «Фауста»,^[295] вот «Скупой рыцарь» и баллада «Жил на свете рыцарь бедный». Перечтите «Дон-Жуана»,^[296] и если бы не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написал не испанец. Какие глубокие, фантастические образы в поэме «Пир во время чумы»! Но в этих фантастических образах слышен гений Англии; эта чудесная песня о чуме героя поэмы, эта песня Мери со стихами:

Наших деток в шумной школе

²⁹⁵ ...сцены из «Фауста»... — Имеется в виду пушкинская «Сцена из Фауста» (1825).

²⁹⁶ Перечтите «Дон Жуана»... — имеется в виду «Каменный гость».

Раздавались голоса,

это английские песни, это тоска британского гения, его плач, его страдальческое предчувствие своего грядущего. Вспомните странные стихи:

Однажды странствуя среди долины дикой...

Это почти буквальное переложение первых трех страниц из странной мистической книги, написанной в прозе, одного древнего английского религиозного сектатора,^[297] — но разве это только переложение? В грустной и восторженной музыке этих стихов чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, безбрежного мистика, с его тупым, мрачным и непреодолимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и веровали вместе с ними в то, во что они поверили. Кстати: вот рядом с этим религиозным мистицизмом религиозные же строфы из Корана или «Подражания Корану»: разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее? А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти земные боги, севшие над народом своим богами, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не

²⁹⁷ ...одного древнего религиозного сектатора... — Имеется в виду английский поэт и пуританский проповедник XVII века Джон Беньян.

верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца. Нет, положительно скажу, не было поэта с такою всемирною отзывчивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости тут дело, а в изумляющей глубине ее, а в перевоплощении своего духа в дух чужих народов, перевоплощении почти совершенном, а потому и чудесном, потому что нигде ни в каком поэте целого мира такого явления не повторилось. Это только у Пушкина, и в этом смысле, повторяю, он явление невиданное и неслыханное, а по-нашему, и пророческое, ибо... ибо тут-то и выразилась наиболее его национальная русская сила, выразилась именно народность его поэзии, народность в дальнейшем своем развитии, народность нашего будущего, таящегося уже в настоящем, и выразилась пророчески. Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк.

В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений и европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал

производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полной любовью приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и склонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и

сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: «Это нам-то, дескать,

нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?» Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос.^[298] Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь.

²⁹⁸ ...эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. — Достоевский перефразирует слова из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...».

Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем.

О сборнике

В настоящий сборник включены основные публицистические произведения Достоевского, представляющие интерес для широкого круга читателей. Тексты печатаются по изданию: *Достоевский* Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–1987. Тексты печатаются в сокращении. Сокращения обозначены угловыми скобками. Комментарии к указанному изданию послужили основой для данных примечаний.

Объем книги не позволяет издать «Дневник писателя» полностью. Поэтому в нее не вошли произведения, требующие подробных комментариев академического типа и специальной читательской подготовки. Само перечисление исключенных глав («Три идеи», «Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года», «Германский мировой вопрос. Германия — страна протестующая», «Черное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации», «Мечты о Европе», «Римские клерикалы у нас в России», «О том, что думает теперь Австрия» и т. п.) говорит о том, что в них речь идет преимущественно об узко или, напротив, глобально политических вопросах, либо потерявших свою актуальность, либо предполагающих глубочайшее знание мировой истории. К тому же время не подтвердило отдельные прогнозы Достоевского, в которых отразилась запутанность происходивших в его

время социальных процессов, имевших весьма сложную генеалогию.

Противоречивость реальной исторической обстановки 60—70-х годов необходимо иметь в виду и тогда, когда, например, Достоевский на страницах «Дневника» вступает в философско-публицистическую полемику с Белинским или Герценом, Чернышевским или Салтыковым-Щедриным по вопросам духовного обновления общества и ведущих к нему путей. «Противоположение между олимпийским величием теории и болезненной чувствительностью жизни и составляет болящую рану современного человека» — так характеризовал одну из важнейших особенностей этой обстановки Салтыков-Щедрин. Достоевский отдавал должную дань «величию теории» поборников справедливого общественного переустройства, и у него можно встретить весьма прочувствованные слова о них. Например, он называл Добролюбова «бойцом за правду», а о Белинском в полемике с либералами писал: «...самые заблуждения Белинского, если только они есть, выше вашей правды, да и всего, что вы натворили и написали».

Однако Достоевский не мог не видеть «болящую рану» жизни, когда высокие идеи истины, добра и справедливости компрометировались «нигилятиной 60-х годов», практическим осуществлением якобинских призывов Бакунина, Ткачева, Нечаева. Такое смещение или его потенциальная возможность вызывали у Достоевского резкое неприятие.

Подобная позиция характерна для Достоевского и по отношению ко всякому общественному направлению. Размышляя над декабристским движением, он отмечал:

«Меж тем с исчезновением декабристов — исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь... Это до того опоганило, что, когда раскусили Белинского, — все повалило за ним...» Так писатель признает, что после поражения декабристов «чистый элемент» общества пошел за Белинским. И именно повторение истории, происходившее на его глазах растворение «чистого элемента» в деяниях примазывавшихся к демократическому движению авантюристов и беспокоило его больше всего.

Это же беспокойство («считаю себя всех либеральнее, хотя бы по тому одному, что совсем не желаю успокаиваться») обнаруживается у Достоевского и по отношению к либералам, которые «выкидывают иногда такие либерализмы, что и самому страшному деспотизму и насилию не придумать». С точки зрения свободного развития народа и искажения высоких идей не жаловал Достоевский и консервативную часть современного ему общества: «...сколько подлецов к ней примкнули». И хотя в пылу полемики и страстной жажды справедливости Достоевский мог и противоречить самому себе, и заблуждаться, то были заблуждения взыскующего истину мудрого человека, из которого никогда не исчезал «чистый элемент». Подобные противоречия и следует иметь в виду читателю, когда он будет знакомиться с «Дневником писателя».

Примечания

1

я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка»... — Речь идет о романе В. П. Мещерского «Один из наших Бисмарков».

2

...принадлежат известному перу. — Имеется в виду редактор — издатель «Московских ведомостей» М. Н. Катков.

3

«Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве»... — Иронический намек на покаянные слова Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями».

4

...Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье... — Михаил Петрович Погодин (1800–1875) — историк, профессор Московского университета. Речь идет о статье Погодина «А. И. Герцен» (Заря. 1870. № 2).

5

Русский дворянин и гражданин мира (*франц.*).

6

Интернационалка — Международное товарищество рабочих, I Интернационал.

7

«Жизнь Иисуса» (франц.).

8

...один из друзей Белинского... — Вероятно, писатель и критик В. П. Боткин.

9

...начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе... — И. С. Тургенев.

10

Жорж Занд (Санд) — псевдоним французской писательницы Авроры Дюдеван (1804–1876).

11

Кабет — Этьен Кабе (1788–1856) — французский коммунист-утопист.

12

Пьер Леру (1797–1871) — французский философ, один из основателей христианского утопического социализма.

13

Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) — французский публицист, теоретик анархизма.

14

Фурье Шарль (1772–1837) — французский социалист-утопист.

15

Фейербах Людвиг (1804–1872) — немецкий философ-материалист.

16

Штраус Давид Фридрих (1803–1874) — немецкий историк-богослов, философ, публицист, автор книги «Жизнь Иисуса» (1835–1836), пользовавшейся в России большой популярностью, несмотря на то что она была запрещена.

17

Нобльмен — человек высшего сословия, от английского nobleman — дворянин, пэр.

18

Абсентеисты — так Достоевский называл русских, живущих за границей, от латинского absentia — отсутствие.

19

...Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из «Фауста»... — героини трагедии «Ромео и Джульетта» (1595), комедии «Много шума из ничего» (1598) Уильяма Шекспира, трагедии «Фауст» (1808–1832) Иоганна Вольфганга Гете.

20

Достоевский использует стихотворение Н. А. Некрасова «Влас» для высказывания своих любимых идей о русском характере и национальных идеалах.

21

...точно это не вы, а кто другой заместо вас кривлялся потом «на Волге», в великолепных тоже стихах, про бурлацкие песни. — Имеется в виду стихотворение Н. А. Некрасова «На Волге».

22

Дюбарри Мари-Жанна (1743–1793) — фаворитка французского короля Людовика XV.

23

«Еще минуточку, господин палач, еще минуточку!»
(франц.)

24

«*Птенцы гнезда Петрова*» — эти слова из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» Достоевский использует для обозначения образованного дворянства, сформировавшегося в России после петровских преобразований.

25

«*Эта скудная природа*»... — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...», особенно любимого Достоевским.

26

...окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)... — Имеется в виду статья Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», где упоминается стихотворение английского поэта Т.

Гуда «Песня о рубашке», изображающее тяжелое положение женщины-швеи и направленное против эксплуатации женского труда.

27

Я читал две последние поэмы Некрасова... — Речь идет о поэмах «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская», напечатанных под общим заглавием «Русские женщины».

28

Бронников Ф. А. (1827–1902) — профессор исторической живописи, автор упомянутой в тексте картины «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869), написанной в академической манере, на характерный для этого художника возвышенный античный сюжет.

29

После меня хоть потоп (*франц.*).

30

Но с чтением статей г-на Пыпина я отрезвился. — Пыпин Александр Николаевич (1833–1904) — историк литературы, долголетний сотрудник «Современника» и «Отечественных записок», автор работ по древней и новой русской литературе, истории, общественной мысли, этнографии, фольклору. Речь идет о шестой части («Славянофильство») его труда «Характеристики литературных мнений от двадцатых до пятидесятих годов. Исторические очерки».

31

...бронзовую руку у Ивана Сусанина отпилили и в кабак снесли... — Имеется в виду памятник герою борьбы против польских интервентов Ивану Сусанину в Костроме.

32

Спасович Владимир Данилович (1829–1906) — известный русский адвокат и писатель.

33

Боткин Сергей Петрович (1832–1889) — врач-терапевт, основатель физиологического направления в русской клинической медицине.

34

Либих Юстус (1803–1873) — немецкий химик.

35

Бисмарк Отто Эдуард Леопольд (1815–1898) — государственный и политический деятель Пруссии и Германии. С основания Германской империи в 1871 году до 1890 года занимал пост имперского канцлера. Оказал существенную помощь при подавлении Парижской коммуны. Сторонник укрепления Германии под прусской эгидой.

36

Нечаевское дело — убийство слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, совершенное 21 ноября 1869 года организатором тайного общества «Народная расправа» С. Г. Нечаевым при участии П. Г.

Успенского, А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова, Н. Н. Николаева.

37

Блан Жан Жозеф Луи (1811–1882) — французский политический деятель, публицист, историк.

38

Араго Доминик Франсуа (1786–1853) — французский ученый и политический деятель.

39

Консидеран Виктор (1808–1893) — французский социалист-утопист, ученик Фурье.

40

Милль Джон Стюарт (1805–1873) — английский философ, логик, экономист.

41

Дарвин Чарлз Роберт (1809–1882) — основоположник научной теории развития органического мира.

42

Непременное условие (*букв.* — без чего нет) (*лат.*).

43

Заметка (*франц.*).

44

Помните вы рассказ у Кельсиева о бедном офицеришке... — Речь идет об очерке русского литератора

Василия Ивановича Кельсиева «Из рассказов об эмигрантах» (1869).

45

Уверяют печатно... что они много думают. — Полемический намек на рассказ М. Е. Салтыкова-Щедрина «Непочтительный Коронат».

46

Пустота (*букв.* — чистая доска) (*лат.*).

47

...всем известный Незнакомец, в одном из недавних фельетонов своих... — Речь идет о фельетоне «Недельные очерки и картинки» А. С. Суворина, выступавшего под псевдонимом Незнакомец.

48

Квиетизм (от лат. *quietus* — спокойный безмятежный) — религиозное учение, доводящее идеал пассивного подчинения воле Бога до требования быть безразличным к собственному «спасению». Возникло в XVII веке внутри католицизма, было осуждено церковными инстанциями. Переносное значение — созерцательность, бездейственность.

49

...когда нам новы//Все впечатленья бытия... — Перефразированная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Демон».

50

*Что устрицы, пришли? О радость//Летит обжорливая
младость//Глотать...* — Цитата из «Евгения Онегина» А.
С. Пушкина.

51

...какими-то саккадами... (от франц. saccade —
рывок) — сильный толчок.

52

Алкивиад (около 450–404 до н. э.) — афинский
политик и полководец.

53

Лукреция — добродетельная красавица, жена
римлянина Коллатина. История Лукреции, обесчещенной
сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшейся
кинжалом, рассказана Титом Ливием и воплощена во
многих литературных произведениях.

54

...пироновское, так сказать, остроумие... —
Прилагательное образовано от имени французского
поэта Алексиса Пирона, известного остроумными
репликами и едкими эпиграммами.

55

*...и в рот мне водку скверную//Безжалостно
вливал...* — Неточная цитата из стихотворения Н. А.
Некрасова «Детство».

56

Павел Аполлонович Ровинский (1831–1916) — этнограф, путешественник, публицист.

57

Литовский замок — тюремное заведение в Петербурге.

58

Петропавловка — так назывался карцер по аналогии с тюрьмой Петропавловской крепости в Петербурге.

59

Нотабена, нотабене (лат. nota bene — заметь хорошо) — буквы N. B. или знак NB на полях книги или рукописи, обращающие внимание на данное место в тексте.

60

Потугин — персонаж романа И. С. Тургенева «Дым», представлявший, по словам самого автора, «совершенного западника». Отношение Достоевского к этому роману и его персонажу было резко отрицательным. Имя Потугина часто встречается на страницах «Дневника писателя» как символ непонимания России.

61

Образить — словцо народное, дать образ, восстановить в человеке образ человеческий. Долго пьянствующему говорят, укоряя: «Ты хошь бы образил себя». Слышал от каторжных. (*Примеч. авт.*)

62

Пропагатор (франц. *propagateur*) — распространитель.

63

Я прежде осуждал было г-на Суворина за случай его с г-ном Голубевым... — Речь идет о реакции Достоевского на нашумевшее в 1873 году столкновение между фельетонистом «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Сувориным и управляющим Орловско-Витебской железной дорогой В. Ф. Голубевым.

64

...извещая о недавней смерти одного из них... — Речь идет о кончине декабриста Е. Е. Лачинова.

65

«Записки учителя фехтования» (франц.).

66

...в хижине дядей Эдди... — Братья Горацио и Вильям Эдди из американской фермерской семьи приобрели широкую известность своими выступлениями в качестве медиумов. Достоевский иронически перефразирует название романа американской писательницы Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома».

67

Гоголь пишет в Москву с того света... — Имеются в виду сообщения в петербургских газетах о московском спирите, которому дух Гоголя диктовал второй том «Мертвых душ» по сожженной рукописи.

68

Кто подобен зверю сему? Хвала ему, он сводит нам огонь с небеси! — Цитата составлена из двух различных стихов тринадцатой главы Апокалипсиса.

69

И загнило бы человечество, люди покрылись бы язвами и стали кусать языки свои в муках... — Образ, заимствованный из Апокалипсиса.

70

...камни, обращенные в хлебы. — Образ, заимствованный из евангельской притчи об искушении Христа дьяволом в пустыне.

71

Уильям Крукс (1832–1919) — английский физик и химик.

72

Генри Стил Олькот (1832–1907) — американский юрист, журналист.

73

...верит же он Иванам Филипповичам. — Соединение имен двух предводителей хлыстовской секты.

74

Тюльери — дворец Тюильри в Париже, взорванный в период Парижской коммуны в мае 1871 года.

75

...по уверению Якова Петровича Полонского. — Имеется в виду стихотворение Я. П. Полонского «Старые и новые духи».

76

Потоп (*букв. — сигнал тревоги: «Спасайся кто может!»*) (*франц.*).

77

«Я так сказал, и баста!» (*букв.: «Я здесь и здесь останусь»*) (*франц.*).

78

Патрис Мак-Магон (1808–1893) — маршал Франции, командовал войсками версальцев, подавивших Парижскую коммуну в 1871 году. В 1871–1879 гг. президент Франции.

79

...в статье незабвенного и дорогого всем русским покойного Константина Аксакова... — Речь идет о статье К. С. Аксакова «О современном человеке».

80

Порядок (*франц.*).

81

Сергий — Сергий Радонежский (около 1315–1392) — основатель Троице-Сергиева монастыря, святой русской православной церкви.

82

Феодосий Печерский (умер в 1074) — основатель Киево-Печерского монастыря.

83

Тихон Задонский (1724–1783) — святой русской православной церкви.

84

Четьи-Минеи — сборники духовно-учительной литературы, в которой материал для чтения распределен по месяцам и числам.

85

Обязательно (*лат.*).

86

Исповедания веры (*франц.*).

87

Майдан (воровской жаргон) — игорный дом или карточная игра.

88

«Ненавижу этих разбойников!» (*франц.*)

89

...по свидетельству одного эксперта... — Имеется в виду адъюнкт-профессор Петербургской медико-хирургической академии В. М. Флоринский.

90

...съездить к одному слишком мне известному, хотя и очень мало знакомому человеку... — Вероятно, речь идет о журналисте А. С. Суворине или юристе А. Ф. Кони.

91

«Я воровка, лгунья» *(франц.)*.

92

Но ведь какой-то след непременно останется *(франц.)*.

93

...у Гоголя где-то (забыл где) один вралья... — речь идет о Ноздреве в «Мертвых душах».

94

Романист Теккерей, рисуя одного такого светского враля и забавника... — Речь идет о литераторе Уэгге, персонаже романа Уильяма Теккерей «Пенденнис» (1850).

95

Ревет ли зверь в лесу глухом... — Первая строка стихотворения А. С. Пушкина «Эхо».

96

Ламартин Альфонс (1790–1869) — французский поэт-романтик и политический деятель.

97

Кипсек (от англ. keepsake — подарок на память, альбом с иллюстрациями) — подарочное иллюстрированное издание.

98

«Поэтические и религиозные гармонии» *(франц.)*.

99

От самых истоков, с азов *(букв. — от яйца) (лат.)*.

100

Геркулесовы столпы. — Согласно мифу, Геракл поставил эти столпы (скалы на противоположных берегах Гибралтарского пролива) в память своих странствий. Крылатое выражение «дойти до Геркулесовых столпов» означает «дойти до предела».

101

Налагают бремена тяжкие и неудобноносимые... — Неточно цитируемые слова Христа о книжниках и фарисеях, ревнителях «буквы» религиозных правил.

102

Из ложного пристрастия *(франц.)*.

103

Надо обладать мужеством иметь свое мнение *(франц.)*.

104

Гамма — псевдоним журналиста Г. К. Градовского, с которым часто полемизировал Достоевский.

105

Дон Карлос — Дон Карлос Младший (1848–1909) — претендент на испанский престол под именем Карла VII, организатор второй карлистской войны. Карлистские войны — династические войны между двумя ветвями дома испанских Бурбонов.

106

Уаткин Эдуард Уильям (1819–1901) — член английского парламента.

107

Куперник Лев Абрамович — адвокат и публицист, защитник во многих политических процессах, в том числе и в нечаевском деле. Достоевский имеет в виду газетные сообщения о том, что Куперник в целях ускорения езды угрожал ямщикам стрельбою из пистолета.

108

К вящей славе божьей (*лат.*). — девиз ордена иезуитов.

109

Тайные братья (*англ.*). — название благотворительного общества.

110

Въезд и выезд свободный (*франц.*).

111

Себастиани Франсуа Орас Бастьен (1772–1851) — французский дипломат и военный деятель.

112

Доббель Синди Томпсон (1824–1874) — английский поэт.

113

Редсток Гренвил Валдигрев (1831–1913) — английский проповедник-евангелист.

114

Миллениум — тысячелетнее «царство божие на земле», которое, по учению различных сект, должно установиться со вторым пришествием Христа и предшествовать концу мира.

115

Татарина Екатерина Филипповна (1783–1856) — основательница сектантского союза, родственного хлыстам и скопцам.

116

Тамплиеры — средневековый католический рыцарско-духовный орден.

117

Аксаков Александр Николаевич (1832–1903) — пропагандист спиритизма в России, автор книги «Спиритизм и наука».

118

Авсеенко Василий Григорьевич (1842–1913) — писатель-беллетрист и критик.

119

...имеете дар одно худое видеть... — Цитата из басни И. А. Крылова «Свинья».

120

Фадеев Ростислав Андреевич (1824–1883) — отставной генерал, публицист.

121

Апраксинское купечество — купцы, торговавшие в бывшем Апраксином дворе на Садовой улице в Петербурге.

122

Бурмистр — назначенный помещиком управляющий из крепостных крестьян.

123

Причетник — младший член церковного причта (духовенства какой-либо церкви).

124

Питерщик — крестьянин, уходивший на заработки в Петербург (Питер).

125

...это водевильчик-то: один залез под стол, а другой вытащил его за ногу? — Неточная цитата из «Театрального разъезда» Н. В. Гоголя.

126

Любим Торцов — персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок».

127

... коленкоровых манишек беспощадные Ювеналы... — Цитата из стихотворения Н. Ф. Щербины «Физиология „Нового поэта“».

128

...с его устрицами и сторублевыми арбузами на балах... — Имеются в виду бытовые детали из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина и «Ревизора» Н. В. Гоголя.

129

Фрол и Лавр (II в.) — святые православной церкви.

130

... Гораций Корнеля... — герой трагедии французского драматурга Пьера Корнеля «Гораций» (1640).

131

Аполлон Бельведерский — хранящаяся в Ватикане римская копия древнегреческой скульптуры Аполлона, сына Зевса, бога-целителя и прорицателя, покровителя искусств.

132

Крымская кампания — Крымская война 1853–1856 гг.

133

Пальятивное (франц. palliatif от позднелат. pallio — прикрываю, защищаю) — прилагательное образовано от слова паллиатив: мера, не обеспечивающая полного, коренного решения поставленной задачи, полумера.

134

...я был еще в феврале на этом спиритском сеансе... — Речь идет о спиритическом сеансе у А. Н. Аксакова, где демонстрировала свои «медиумические способности» англичанка Клайр.

135

...один человек, суждением которого я глубоко дорожу... — Имеется в виду русский государственный деятель К. П. Победоносцев.

136

Соляной городок — здание в Петербурге, построенное для Всероссийской промышленной выставки на месте амбаров для соли и вина.

137

Вагнер Николай Петрович (1829–1907) — зоолог и писатель.

138

Рачинский Сергей Александрович (1833–1902) — ученый-ботаник, деятель народного образования.

139

Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921) — сотрудник газеты «С.-Петербургские ведомости» и романист.

140

...культурный период прорубленного в Европу окошка... — Достоевский иронически использует здесь слова из «Вступления» к поэме А. С. Пушкина «Медный всадник».

141

...у нас будущее «темна вода»... — Крылатое выражение «темна вода во облацех», употребляемое для обозначения чего-нибудь непонятного, восходит к стиху из библейского псалма.

142

Москва еще третьим Римом не была... — Подразумевается складывавшаяся с середины XV века теория «Москва — третий Рим», согласно которой Россия является религиозной и политической наследницей «второго Рима» (Византии), руководительницей православного мира.

143

...если только убивает не «Червонный валет»... — Червонными валетами называли себя члены шайки

московских мошенников, совершавшие дерзкие уголовные преступления. Название происходит от заглавия романа французского писателя П.-А. Понсона дю Террайля «Клуб червонных валетов».

144

Утин Евгений Исакович (1843–1894) — адвокат и журналист.

145

Как супруги (*франц.*).

146

...Тот прибавил: «иди и не греши». — Имеется в виду евангельская притча о Христе и блуднице.

147

...на привязанного уже надвинут мешок... — Эта ассоциация связана с воспоминаниями Достоевского о казни петрашевцев.

148

Бецкой Иван Иванович (1704–1795) — деятель педагогической реформы в России в XVIII веке.

149

Априори, независимо от опыта, до опыта (*лат.*).

150

...пусть, как жена Щапова, она утолит тогда свою грусть самопожертвованием и любовью. — О. И. Щапова, урожденная Жемчужникова, сознательно связала свою судьбу с больным человеком и последовала за мужем в

ссылку. Шапов А. П., профессор русской истории в Казанском университете, в 1861 году был отстранен от преподавания и арестован за участие в панихиде по крепостным, убитым во время волнений в селе Бездна Казанской губернии. В 1864 году был выслан в Сибирь и проживал в Иркутске до дня смерти (27 февраля 1876 года).

151

Государство в государстве (*лат.*).

152

Стефан Баторий (1533–1586) — польский король.

153

Башибузуки — солдаты нерегулярной турецкой армии, которых вербовали среди самых отсталых, диких и воинственных племен, проживавших на территории Турецкой империи.

154

Позволит ли стащить с постели больного человека совсем долой? — «Больным человеком» назвал Турцию Николай I в беседе с английским послом.

155

...первый министр... — Речь идет о Бенджамине Дизраэли, графе Биконсфилде (1804–1881), лидере консервативной партии, премьер-министре Англии (1868, 1874–1880).

156

Пьемонт — главная область королевства Сардинии, вокруг которой произошло объединение Италии. Название «Пьемонта Балкан» Сербия получила еще в 60-е годы вследствие того, что в своей внешней политике она преследовала объединительные цели, претендуя на роль ядра, вокруг которого должны были, по ее замыслу, объединиться христианские славянские государства по мере сбрасывания ига Турции. Сравнение Сербии с Пьемонтом было привычным в публицистике 1876 года.

157

Черняев Михаил Григорьевич (1829–1898) — отставной русский генерал, добровольно отправившийся на Балканы. В июне 1876 года войну Турции объявили Сербия и Черногория. Во главе сербской армии стал Черняев.

158

...славянский комитет... — Московский славянский благотворительный комитет был основан в 1858 году с целью оказания помощи школам, библиотекам, церквям в славянских землях и славянам, учившимся в России. Позднее были организованы отделения комитета и в других городах (Петербургское — 1868 год). Объединяя людей славянофильских и панславистских убеждений, Славянский комитет не удовлетворялся лишь благотворительной деятельностью и стремился играть активную политическую роль в славянском мире. Таким моментом был, в частности, 1876 год, когда Славянский комитет стал в России центром движения в поддержку национально-освободительной борьбы народов

Балканского полуострова. Критика официальной внешней политики, стремление действовать независимо от царского правительства в период Восточного кризиса 70-х годов привели к закрытию Московского славянского комитета, ограничению деятельности других Славянских комитетов.

159

Сербское подворье — Сербское церковное представительство в Москве при храме св. Кира и Иоанна, открытое в 1874 году по инициативе Московского славянского комитета и по ходатайству сербского митрополита Михаила. Доходы от домов Сербского подворья отсылались на нужды сербской церкви.

160

...ко мне позвонила одна девушка. — Софья Ефимовна Лурье, дочь банкира, приехавшая в Петербург из Минска. Между Достоевским и Лурье завязалась переписка, которая поддерживалась и впоследствии.

161

...попал как раз в «Биржевых ведомостях» на брань за мой июньский «Дневник». — Речь идет о статье «Наброски и недомолвки» И. Ф. Василевского, выступавшего под псевдонимом «Буква».

162

...до размеров какого-нибудь Баден-Бадена или даже фюрстентум Нассау... — Имеются в виду немецкие княжества.

163

А помнит ли кто статью незабвенного профессора... о Восточном вопросе... — Имеется в виду анонимная статья «Восточный вопрос с русской точки зрения 1855 года», которая ошибочно приписывалась историку Т. Н. Грановскому.

164

...в ее споре с венгерцами... — Спором Австрии с венгерцами Достоевский называет здесь Венгерскую революцию 1848–1849 гг.

165

Меттерних Виннебург (1773–1859) — министр иностранных дел и фактически глава австрийского правительства в 1809–1821 годах, канцлер в 1821–1848 годах. Противник объединения Германии, стремился помешать укреплению позиций России в Европе. Имя Меттерниха перерастает здесь в символ коварной политики Австрии, вдохновителем которой он был. Политический курс Меттерниха продолжался и после его ухода в отставку.

166

Вифлеемский храм — Вифлеемский храм в палестинском городе Вифлееме, построенный над пещерой, в которой, по евангельскому преданию, родился Иисус Христос. Спор о «святых местах», послуживший непосредственным поводом к Крымской войне, касался, в частности, вопроса о том, кому владеть ключами от Вифлеемского храма. Показательно, что даже высшее русское духовенство оставалось

равнодушным к распре относительно «святых мест» до тех пор, пока ее не начали раздувать в международный конфликт по указке Николая I и Наполеона III, каждый из которых искал предлога для осуществления своих политических целей на Ближнем Востоке.

167

И, уж конечно, слышал, да и в церкви молился за упокой души Николая Алексеевича Киреева... — Киреев Николай Алексеевич (1841–1876) — отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии конного полка, один из самых деятельных членов Славянского комитета в Петербурге. По поручению комитета он в середине апреля 1876 года выехал за границу для оценки перспектив и возможностей подготавливавшегося в Болгарии восстания. Прибыв в начале июня в Сербию, он занялся формированием болгарских добровольческих отрядов и принял над ними командование. С началом военных действий его отряд, в который влились и сербские подразделения, принял участие в боях с турками. 6 июля Н. А. Киреев героически погиб в сражении.

168

И хоть падет, но будет жив... Славна кончина за народ! — Цитата из думы К. Ф. Рылеева «Волынский».

169

А если устыдятся уж и Грановские... мудрецы ареопага умолкают. — В этом отрывке используется евангельский рассказ о проповеди апостола Павла в афинском ареопаге, высшем органе судебной и политической власти в древних Афинах.

170

Слабоумные дети (*нем.*).

171

Вундерфрау (*нем.* Wunderfrau — знахарка) — здесь: немецкая знахарка по фамилии Гогенестер.

172

Пузыри — склянки с мочой.

173

«Официант, бифштекс с картофелем!» (*франц.*).

174

...знал одного русского писателя... — Имеется в виду Д. В. Григорович, воспитывавшийся в частном французском пансионе, мать и бабушка будущего писателя были француженки. Русскому языку он выучился от дворовых и крестьян.

175

...в сообществе с одним русским... — Имеется в виду И. С. Тургенев.

176

Протопоп Аввакум Петрович (1620 или 1621–1682) — основатель русского старообрядчества.

177

Больше благородства, чем искренности (*франц.*).

178

Бонмотист (от *франц.* bon mot — острота) — остряк.

179

Бутонарька (*франц.* boutonnière) — петлица или маленький сосуд для букетика или цветка, прикалываемого к платью.

180

Гантированный (от *франц.* ganter — надевать перчатки) — в перчатках.

181

Увраж (*франц.* ouvrage) — сочинение, литературное произведение.

182

Тенебры (*франц.* ténébres) — тьма, мрак, невежество.

183

Аржан (*франц.* argent) — деньги.

184

Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон во дни славы своей не одевался, как они, кольми паче оденет вас Бог. — Неточная цитата из Евангелия.

185

...а другую — о женщинах. — Речь идет о брошюре Н. Н. Стрхова «Женский вопрос. Разбор сочинения Стюарта Милля „О подчинении женщины“.

186

Крейнцилах — город в Рейнской провинции Пруссии.

187

...чтоб иметь детей//Кому ума не доставало? — Цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума».

188

Я, знаете ли *(франц.)*.

189

Парижские изделия *(франц.)*.

190

Контрибуция — сумма, выплачиваемая побежденным государством государству-победителю.

191

Численность населения остается постоянной *(франц.)*.

192

Томас Роберт Мальтус (1766–1834) — английский экономист, основоположник концепции мальтузианства, считавший, что соответствие между численностью населения и количеством средств существования может

регулироваться эпидемиями, голодом, войнами, непосильным трудом.

193

Гаврош — персонаж романа В. Гюго «Отверженные».

194

«Чрево Парижа» (*франц.*).

195

Хлодвиг (ок. 466–511) — король салических франков с 481 года. Завоевал почти всю Галлию, что положило начало Франкскому государству.

196

Черт возьми (*франц.*).

197

...с хрустальными дворцами, с всемирными выставками... — Достоевский подразумевал здесь здание из стекла и бетона, в котором проводились всемирные выставки. В более широком смысле хрустальный дворец является для Достоевского символом самодовольного буржуазного процветания, лишённого нравственной ориентации.

198

...фабричным развратом, которого не знал Содом. — Согласно библейскому преданию, жители городов Содом и Гоморра в Древней Палестине предавались безудержному разврату.

199

...мемуары одною русского помещика... — Имеются в виду «Записки Ивана Дмитриевича Якушкина».

200

Исполу — пополам с кем-нибудь.

201

Курзал — помещение для концертов и собраний на курортах.

202

Религиозный фанатизм (*франц.*).

203

Удрученный ношей крестной... Исходил, благословляя! — Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...».

204

Вот тогда-то страшно доставалось Пушкину, и вознесены были «сапоги». — Формулой «сапоги выше Пушкина» Достоевский характеризовал утилитаризм журнала «Русское слово».

205

Аполог — басня, иносказательное повествование поучительного характера.

206

До ничего (*лат.*).

207

... случилось говорить с одним из наших писателей... — Речь идет о М. Е. Салтыкове-Щедрине.

208

...В одном из своих сатирических очерков. — Имеется в виду сатирический цикл Салтыкова-Щедрина «Господа Молчалины».

209

...один из уважаемых моих корреспондентов... — Имеется в виду К.П. Победоносцев.

210

...дочь одного слишком известного русского эмигранта... — Имеется в виду дочь А. И. Герцена Елизавета, подлинный текст письма которой отличается от приведенного, цитируемого через опосредованные источники.

211

Следовательно (*лат.*).

212

...рассортированы на четырнадцать разрядов... — Подразумевается утвержденная Петром I «Табель о рангах», согласно которой все чины гражданского, военного и придворного ведомств разделялись в строгой иерархии на четырнадцать классов — от канцлера до коллежского регистратора.

213

Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь... — Петербургский купец-миллионер, торговец мукой С. Т. Овсянников был признан виновным в умышленном поджоге арендованной мельницы, совершенном для получения большой прибыли.

214

...«дело Струсберга»... — Речь идет о судебном процессе, проходившем в октябре 1876 года в Москве и связанном с крахом Московского коммерческого ссудного банка. Главной фигурой среди подсудимых был немец Б. Г. Струсберг, возглавлявший строительство железной дороги Брест — Гараево и получивший с помощью подкупа ссуду в семь миллионов рублей под обеспечение ничего не стоивших бумаг.

215

...кто из вас без греха? — Цитата из евангельской притчи о Христе и блуднице.

216

Ляндау — один из подкупленных Струсбергом директоров банка.

217

...Данила Шумахер, приговоренный «за мошенничество»... — Бывший московский городской голова и член совета банка обвинялся в том, что воспользовался должностью и полностью получил свой вклад после утраты банком значительной части капитала.

218

... престранная преступница-убийца... — Двадцатисемилетняя мещанка Анна Кирилова застрелила из ревности директора машинно-вагонного завода С. Ф. Малевского, у которого находилась на содержании.

219

...присылает мне один автор, г-н Энпе, свою статейку... — Речь идет о статье Энпе «Дневник благонамеренного сатирика».

220

Фальстаф — персонаж пьес Шекспира «Генрих IV» и «Виндзорские насмешницы»; здесь в смысле — бесполезный и безнравственный хвостун.

221

Я получаю очень много писем с изложением фактов самоубийств и с вопросами: как и что я об этих самоубийствах думаю и чем их объясняю?

222

...один из наших талантливейших писателей. — Имеется в виду М. Е. Салтыков-Щедрин.

223

Молодежь шестого декабря на Казанской площади... — 6 декабря 1876 года на Казанской площади в Петербурге состоялась революционная демонстрация, проведенная созданной в этом же году организацией «Земля и воля».

224

«Никто же плоть свою возненавиде». — Цитата из Евангелия.

225

...один высокоталантливый и компетентный в нашем судебном ведомстве человек... — Речь идет об известном адвокате А. Ф. Кони.

226

Сообщения *(франц.)*.

227

...Врачу — исцелися сам. — Цитата из Евангелия от Луки.

228

...стриюцкие. — Так называл Достоевский подлых, дрянных, презренных людей.

229

Рудин — герой одноименного романа И. С. Тургенева.

230

Поскребите русского, и вы увидите татарина *(франц.)*.

231

...в ней все Афетово племя, а наша идея — объединение всех наций этого племени, и даже дальше, гораздо дальше, до Сима и Хама. — Для выражения идеи

всемирного братства Достоевский использует библейские образы. Согласно библейским представлениям, у праведника Ноя, спасенного после всемирного потопа, было три сына. Старший его сын Сим стал родоначальником семитических племен, потомки Хама, другого сына, заселили Африку, а из потомков младшего сына Иафета образовалась индоевропейская раса, в состав которой вошли и европейские народы — «все Афетово племя».

232

А. И. Стронин (1827–1889) — ученый-социолог.

233

Долгушинская история — арест и суд в 1873 году над членами кружка А. В. Долгушина, которые печатали прокламации и занимались революционной пропагандой среди рабочих.

234

...одно иностранное мнение о русской сатире... — Имеется в виду статья А. Стенбока-Фермора «Отовсюду».

235

... читал опять о застое русской литературы и о «пустынях русской словесности». — Речь идет о статье критика и историка литературы А. М. Скабичевского «Беседы о русской словесности (Критические письма)».

236

Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина... — Подразумеваются следующие строки о Соломине в XVI главе романа И. С.

Тургенева «Новь»: «...Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров — и до некоторой степени сочувствовал им — ибо сам был из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь“ и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как те. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется».

237

Песни вещице их недопеты... — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Скоро стану добычею тленья».

238

...хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. — Достоевский использует образы из «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

239

Сенатор (*франц.*).

240

...которому до сих пор не могли мы еще собрать денег на памятник... — В 1860 году, в связи с пятидесятилетним юбилеем Царскосельского лицея, его бывшие воспитанники задумали предпринять сбор

средств на памятник Пушкину, торжественно открытый лишь 6 июня 1880 года.

241

...особенно запомнил одно письмо от одного юного русского... — Письмо студента-добровольца А. П. Хитрова.

242

Хорватович Георгий (1835–1895) — военный министр Сербии.

243

Маринович — сербский государственный деятель, министр-президент и министр иностранных дел, по свидетельству прессы, интриговавший против России.

244

Мольтке Карл Хельмут (1800–1891) — германский фельдмаршал и военный теоретик. Сыграл видную роль в объединении Германии «сверху» и в войне Германии против Франции в 1870–1871 годах.

245

...могли бы мы быть железными князьями! — Железным канцлером или железным князем называли Бисмарка, который еще в 1862 году провозгласил доктрину внешней и внутренней политики, предусматривающую объединение Германии с помощью военной силы, с помощью «железа и крови». Политика «железа и крови» была неприемлема для Достоевского-гуманиста.

246

Райя (от арабского слова, имеющего значение «стадо») — немусульманское сельское население Турции. В России этим словом называли славянское население Балканского полуострова.

247

Ну, а во Франции... в 93-м году разве не утвердилась эта самая мода сдирания кожи... — Достоевский имеет в виду якобинский террор.

248

Аберрация (от латинск. aberratio — уклонение) — отклонение от нормы, от истины, заблуждение.

249

Вольтфас (от франц. volte-face — поворот лица) — внезапный поворот лицом к преследующему.

250

Биконсфилд Бенджамин (Дизраэли) — английский политический деятель.

251

...осенний манифест русского императора... — Имеется в виду одна из правительственных дипломатических акций в связи с сербо-турецкой войной.

252

Сен-Симон Анри Клод (1760–1825) — французский социалист-утопист.

253

...лишь полсотни людей в целой России. —
Подразумевается кружок М. В. Петрашевского.

254

Полностью (*франц.*).

255

Дитя мое (*франц.*).

256

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — публицист, поэт, прозаик, драматург.

257

Рантье́ры (*франц. rentier*) — лица, живущие на проценты с отдаваемого в ссуду капитала.

258

Лукулл Люций Люциний (106—57 до н. э.) — римский полководец, известный вошедшими в поговорку обильными пирами («Лукуллов пир»).

259

Дотированный (*франц. doter* — снабжать, давать дотацию) — обеспеченный финансовыми средствами.

260

Мой муж... (*франц.*)

261

Кавур Бенсо Камилло (1810–1861) — лидер умеренно-либерального крыла итальянского движения за объединение, после объединения Италии — глава итальянского правительства. Пользовался непререкаемым авторитетом в среде русских либералов.

262

...великий зверь на малые дела! — Цитата из басни И. А. Крылова «Воспитание льва».

263

Довольно, сударь (*франц.*).

264

Crescendo (итал.) — музыкальный термин (крещендо), означающий возрастание и усиление звучности.

265

Здесь терпение и вера святых... — Цитата из «Откровения святого Иоанна Богослова».

266

Плевненское дело — неудачный штурм 18 июля 1877 года осажденной Плевны, во время которого русские войска потеряли свыше семи тысяч человек убитыми и ранеными.

267

Теперь все это, в самом важном, поправлено: почти ни одного дня не остается публика без депеш главнокомандующего.

268

Дорлотерство (от франц. *dorloter* — нежить, холить, лелеять) — нежничанье.

269

...сократить времена и сроки. — Цитата из «Деяний святых апостолов».

270

Великий восточный орел взлетел над миром, сверкая двумя крылами на вершинах христианства... — Неточная цитата из «Предсказания» Иоанна Лихтенбергера, содержащего астрологический прогноз на будущее и впервые напечатанного в 1488 году в Страсбурге, а затем многократно переиздававшегося на разных языках Европы.

271

...конвульсионерство... — Здесь имеется в виду экстатическое, исступленное состояние.

272

...страна святых чудес! — Цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта».

273

...случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. — Речь идет об И. А. Гончарове.

274

Дисконтер (от *англ.* discount, *итал.* sconto — учетный процент, учет векселей) — человек, занимающийся учетом векселей.

275

...говорил с одним из наших тонких юристов... — Возможно, речь идет о А. Ф. Кони.

276

Но как, как (*франц.*).

277

Всегда что-то остается (*франц.*).

278

Увижу ли народ освобожденный//И рабство, павшее по манию царя! — Неточная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Деревня».

279

...князя Курбского, русского эмигранта XVI столетия, писавшего все к тому же царю Ивану... — Имеется в виду переписка князя Андрея Михайловича Курбского с Иваном Грозным.

280

...Но счастлив ли народ? — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Элегия».

281

...Огни зажигались вечерние... В кармане моем миллион... — Строфы из стихотворения Н. А. Некрасова «Секрет (Опыт современной баллады)».

282

Брось все, возьми посох свой и иди за мной. — Соединение разных евангельских текстов.

283

Уведи меня в стан погибающих//За великое дело любви. — Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Рыцарь на час».

284

...древний печерский многострадалец... — Речь идет о борьбе с плотским искушением Иоанна-затворника, судьба которого сообщена в патерике (сборнике жизнеописаний святых) Киево-Печерского монастыря.

285

...Поэтом можешь ты не быть, // Но гражданином быть обязан... — Строки из стихотворения Н. А. Некрасова «Поэт и гражданин».

286

Издание «Дневника писателя» надеюсь возобновить в будущем 1881 году, если позволит мое здоровье.

287

...в один миг исчезнет и богатство. — Достоевский использует рассказ о судьбе Вавилона — Рима из «Откровения Иоанна Богослова»: «...ибо в один час погибло также богатство».

288

Батый (1208–1255) — монгольский хан, внук Чингисхана. Предводитель общемонгольского похода на Восточную и Центральную Европу. С 1243 года хан Золотой Орды.

289

...подошли ко мне пожать мою руку и западники... — Имеются в виду И. С. Тургенев и П. В. Анненков.

290

...женщина, «дикая женщина», по выражению одного поэта... — Вероятно, имеются в виду слова Я. П. Полонского из его статьи «По поводу последней повести графа Л. Н. Толстого „Казачи“ (Письмо редактору „Времени“).

291

Оставь нас, гордый человек, // Мы дики, нет у нас законов, // Мы не терзаем, не казним. — Слова из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы».

292

Зачем, как тульский заседатель, // Я не лежу в параличе? — Цитата из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

293

Бес благородный скуки тайной. — Слова из стихотворения Н. А. Некрасова «Отрадно видеть, что находит...».

294

В надежде славы и добра//Гляжу вперед я без боязни... — Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Стансы».

295

...сцены из «Фауста»... — Имеется в виду пушкинская «Сцена из Фауста» (1825).

296

Перечтите «Дон Жуана»... — имеется в виду «Каменный гость».

297

...одного древнего религиозного сектатора... — Имеется в виду английский поэт и пуританский проповедник XVII века Джон Беньян.

298

...эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. — Достоевский перефразирует слова из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...».